ВОСПОМИНАНИЯ

ОБ Александре Грине




Лениздат

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

ВОСПОМИНАНИЯ

ВОКРУГ АЛЕКСАНДРА ГРИНА

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ Александре Грине

Составление,
подготовка текста,
вступление,
примечания,
подбор фотодокументов —
ВЛАДИМИРА САНДЛЕРА

7—3—2
154—1971

Александр Степанович Грин проработал в русской литературе четверть века. Он оставил после себя романы, повести, несколько сотен рассказов, стихи, басни, юморески.

«Знаю, что мое настоящее будет всегда звучать в сердцах людей», — говорил он.

Предвидение Грина сбылось. Он один из самых любимых писателей нашей молодежи. Праздничные, тревожные, непримиримые к фальши книги его полны огромной и требовательно-строгой любви к людям.

Грин — наш современник, друг, наставник, добрый советчик.

Один большой французский писатель как-то мудро пошутил: всякий человек, сказал он, это, в сущности, три личности: то, что о нем думают другие, то, что он сам о себе думает, и то, что он есть в действительности.

«Кто вы, — спрашивала Грина одна из его читательниц, — может быть, вы волшебник?»

Читатели вольно или невольно отождествляют писателя с его героями. В этом есть своя правда. Однако

понятие автобиографичности сложно. Если рассматривать автобиографичность узко, то, казалось бы, зачем искать какие-то материалы о писателе, зачем писать историю его жизни, зачем воспоминания: автор всё о себе рассказал в книгах своих, там и ищите ответа. Тем более что сам Грин оставил нам такие слова: «Не люблю пустого залезания в чужую душу. Словно писатель — магазинная витрина: пяль всё наружу»; «Вся моя жизнь в моих книгах, пусть там потомки и ищут ответа».

Это самооборона. Грин, как и любой художник, знает: искать его собственную жизнь в его книгах — занятие пустое. Попробуйте поймать солнечный зайчик в ручье!

Между тем соблазн заглянуть в жизнь писателя, почувствовать его связь со своим временем посредством его книг существует, и не только у читателей, но и у исследователей.

Казалось бы, Грин не писал о современности. Действие большинства его рассказов происходит в вымышленной стране, как бы вне временных границ. И тем не менее Грин теснейшим образом связан со своим временем.

После первой, подчеркнуто реалистической книги Грин постепенно, словно «колонизируя», осваивая новую страну, уходил всё дальше, всё глубже в свою «Гринландию». Переход писателя в лагерь романтиков вовсе не означал, что он навсегда ушел от реализма. И дело не только в том, что Грин до конца жизни не переставал писать рассказы, «действие которых происходит в России», а в том, что в сущности глубоко реалистическим остался его метод анализа жизни. Условна страна Грина как географическое понятие, но не условна ее фауна и флора, а главное — люди в ней живущие. И со-

вершенно не случайно, нигде в точности не указав координат долготы и широты Гринландии, писатель, как о само собой разумеющемся, писал, словно «путая» реальность с вымыслом, о путешествии из Марселя в Гертон или из Зурбагана в Москву. Герои Грина освобождены от целого ряда пут и обязательств, накладываемых антагонистическим обществом, но они живут в мире, где идет непримиримая война добра со злом, они «не освобождены» от человеческой сложности.

В сущности, вся современность, наполненная тревогой, ожиданием, внутренней и внешней борьбой, перенесена в Гринландию.

Гринландия не препятствовала сближению Грина с эпохой, а, наоборот, помогала ему лучше разглядеть ее достоинства и недостатки, «опережать естественный ход событий», быть «следопытом и разведчиком будущего», — не была башней из слоновой кости. Гром времени звучал в ней так же сильно, как в любой другой стране, обозначенной на карте. В Гринландии всё происходило *параллельно* реально существующей действительности.

В 1920 году, в промерзлом и голодном Петрограде, жители которого с надеждой заглядывали в сводки с фронтов гражданской войны, Грин написал книгу, которой суждено было бросить якорь в миллионах сердец. «„Алые паруса", — сказал Виктор Шкловский, живший в то время рядом с Грином в Доме искусств, — везли груз надежды в завтрашний день».

В предисловии к книге «Алые паруса», вышедшей в 1944 году в «Военмориздате», в Библиотеке краснофлотца, Константин Паустовский писал: «Сейчас, в дни войны, когда наша победа и будущее зависят от нашего мужества, от преданности Родине, от нашей культурности и силы, книги Грина, помогающие нам воспитывать в себе эти качества, являются по сути своей подлинными оборонными и боевыми книгами».

В середине двадцатых годов в печати проходила острая дискуссия о нравственном облике современного молодого человека. Разлагающее влияние нэпа чувствовалось очень сильно. Одним из первых тревогу забил Грин. Нравственный облик человека — это одна из основных тем Грина в двадцатые годы. В спешке, в круговерти идейных схваток, может быть, не все современники заметили высокий нравственный накал гриновских книг, ведь принято было смотреть на Грина как на писателя, стоявшего в стороне от вопросов времени. «Какая чепуховая легенда! — страстно восклицает Л. Рахманов в заметке «Земной или неземной». — Грин — над схваткой. Да он один из самых озабоченных человеческими бедами писателей... Вот уж кого не назовешь добреньким утешителем. Его книги по большей части грустны и тревожны. Кристально, пронзительно чистые, они не лелеют, не успокаивают — они волнуют нас своей недостижимо высокой нравственной красотой».

Грин предлагал современникам ответы на вопросы, поставленные временем, и ответы его оказались шире только его времени. Всё его творчество, обращенное к Человеку и его духовной сущности, живет и сейчас, не тускнея от времени.

«Кто хочет понять поэта, — говорил Гете, — тот должен отправиться в страну поэта».

Если бы мы начали книгу с воспоминаний, читатели сразу попали бы в мир уже сложившегося человека. Между тем в Грине важно понять истоки образования его характера. «Автобиографическая повесть» убедительно показывает отправные точки, изломанные пути и изломанные обстоятельства, создавшие индивидуальность по имени Грин. Или, если говорить точным и образным языком самого писателя: «Раз навсегда, в детстве ли, или в одном из тех жизненных поворотов, когда,

складываясь, характер как бы подобен насыщенной минеральным раствором жидкости: легко возмути ее — и вся она, в молниеносно возникших кристаллах, застыла неизгладимо... в одном из таких поворотов, благодаря случайному впечатлению или чему иному, — душа укладывается в непоколебимую форму».

«Автобиографическая повесть» кончается 1905 годом. В 1906 году появляются первые рассказы Грина. Он становится профессиональным писателем. 1906 год — начало воспоминаний.

В этой книге под одной обложкой сошлись люди, которым есть что рассказать о Грине. Они встречались с ним в разные годы, видели его в разных положениях и обстоятельствах. Одним довелось идти рядом с ним рука об руку в течение многих лет, другие виделись лишь несколько раз. Здесь есть воспоминания, где авторы пытаются разобраться в сотканной из противоречий личности писателя; есть и другие (В. Калицкая, Н. Грин), в которых Грин увиден с бытовой стороны. В непосредственности и неприхотливости этих воспоминаний заключено немало ценного, проливающего дополнительный свет на личность писателя.

Можно не соглашаться с отдельными мыслями авторов, кое с чем можно и, вероятно, нужно спорить, но безусловно одно — книга объединила тех, кто по-настоящему любит Грина.

Кроме воспоминаний эпоха оставила нам еще немало свидетельств — писем современников, их дневниковых записей, писем самого Грина, газетных заметок, многочисленных документов охранки об авторе «Алых парусов» и т. д., которые содержат множество интереснейших наблюдений, характеристик, оценок. Без них книга о Грине была бы значительно беднее. Эти свидетельства составили раздел «Вокруг Александра Грина».

Среди читателей, настроенных по отношению к искусству утилитарно, давно бытует устоявшееся мнение:

жизнеописание непременно должно быть примером для подражания. Меньше всего трудная жизнь Грина — пример для подражания. Но в одном Грин бесспорно заслуживает нашего восхищения и преклонения — в том, что через всю жизнь, как святыню, пронес он верность нравственным принципам искусства.

Незадолго до смерти, в день двадцатипятилетия своей литературной деятельности, уже безнадежно больной Грин высказал такую мысль:

— Когда я осознал, понял, что я художник, хочу и могу им быть, когда волшебная сила искусства коснулась меня, то всю свою последующую жизнь я никогда не изменял искусству, творчеству; ни деньги, ни карьера, ни тщеславие не столкнули меня с истинного моего пути; я был писателем, им и умру; я никогда не забывал слов Брюсова поэту: «Да будет твоя добродетель — готовность взойти на костер!»

Читатели этой книги смогут узнать, каким видят Грина люди, близко его знавшие, найдут они в ней немало прямых или косвенных автохарактеристик. Каким был Грин в действительности — читателям предстоит решить самим, прочитав не только эту, но и, прежде всего, его собственные книги. Есть только одно непременное условие: нельзя, чтобы маленькое в человеке заслоняло большое в нем. Ибо жизнь — как ее понимал Грин — не количество прожитых дней и даже не дни, закрепленные памятью, а дни, когда мы оставили людям что-то доброе.

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

БЕГСТВО В АМЕРИКУ

Потому ли, что первая прочитанная мной, еще пятилетним мальчиком, книга была «Путешествие Гулливера в страну лилипутов» — детское издание Сытина с раскрашенными картинками, или стремление в далекие страны было врожденным, — но только я начал мечтать о жизни приключений с восьми лет.

Я читал бессистемно, безудержно, запоем.

В журналах того времени: «Детское чтение», «Семья и школа», «Семейный отдых» — я читал преимущественно рассказы о путешествиях, плаваниях и охоте.

После убитого на Кавказе денщиками подполковника Гриневского — моего дяди по отцу — в числе прочих вещей отец мой привез три огромных ящика книг, главным образом на французском и польском языках; но было порядочно книг и на русском.

Я рылся в них по целым дням. Мне никто не мешал.

Поиски интересного чтения были для меня своего рода путешествием.

Помню Дрэпера, откуда я выудил сведения по алхимическому движению средних веков. Я мечтал открыть «философский камень», делать золото, натаскал в свой угол аптекарских пузырьков и что-то в них наливал, однако не кипятил.

Я хорошо помню, что специально детские книги меня не удовлетворяли.

В книгах «для взрослых» я с пренебрежением пропускал «разговор», стремясь видеть «действие». Майн Рид, Густав Эмар, Жюль Верн, Луи Жаколье были

моим необходимым, насущным чтением. Довольно большая библиотека Вятского земского реального училища, куда отдали меня девяти лет, была причиной моих плохих успехов. Вместо учения уроков я, при первой возможности, валился в кровать с книгой и куском хлеба; грыз краюху и упивался героической живописной жизнью в тропических странах.

Всё это я описываю для того, чтобы читатель видел, какого склада тип отправился впоследствии искать место матроса на пароходе.

По истории, закону божию и географии у меня были отметки 5, 5—, 5+, но по предметам, требующим не памяти и воображения, а логики и сообразительности, — двойки и единицы: математика, немецкий и французский языки пали жертвами моего увлечения чтением похождений капитана Гаттераса и Благородного Сердца. В то время как мои сверстники бойко переводили с русского на немецкий такие, например, мудреные вещи: «Получили ли вы яблоко вашего брата, которое подарил ему дедушка моей матери?» — «Нет, я не получил яблока, но я имею собаку и кошку», — я знал только два слова: копф, гунд, эзель и элефант [1]. С французским языком дело было еще хуже.

Задачи, заданные решать дома, почти всегда решал за меня отец, бухгалтер земской городской больницы; иногда за непонятливость мне влетала затрещина. Отец решал задачи с увлечением, засиживаясь над трудной задачей до вечера, но не было случая, чтобы он не дал правильного решения.

Остальные уроки я наспех прочитывал в классе перед началом урока, полагаясь на свою память.

Учителя говорили:

— Гриневский способный мальчик, память у него прекрасная, но он... озорник, сорванец, шалун.

Действительно, почти не проходило дня, чтобы в мою классную тетрадь не было занесено замечание: «Оставлен без обеда на один час»; этот час тянулся как вечность. Теперь часы летят слишком быстро, и я хотел бы, чтобы они шли так тихо, как шли тогда.

Одетый, с ранцем за спиною, я садился в рекреационной [2] комнате и уныло смотрел на стенные часы с маят-

---

К словам, отмеченным цифрой, см. прим. в конце книги (стр. 576 и дальше).

ником, звучно отбивавшим секунды. Движение стрелок вытягивало из меня жилы.

Смертельно голодный, я начинал искать в партах оставшиеся куски хлеба; иногда находил их, а иногда щелкал зубами в ожидании домашнего наказания, за которым следовал наконец обед.

Дома меня ставили в угол, иногда били.

Между тем я не делал ничего выходящего за пределы обычных проказ мальчишек. Мне просто не везло: если за уроком я пускал бумажную галку — то или учитель замечал мой посыл, или тот ученик, возле которого упала сия галка, встав, услужливо докладывал: «Франц Германович, Гриневский бросается галками!»

Немец, высокий, элегантный блондин, с надвое расчесанной бородкой, краснел как девушка, сердился и строго говорил: «Гриневский! Выйдите и станьте к доске».

Или: «Пересядьте на переднюю парту»; «Выйдите из класса вон», — эти кары назначались в зависимости от личности преподавателя.

Если я бежал, например, по коридору, то обязательно натыкался или на директора, или на классного наставника: опять кара.

Если я играл во время урока в «перышки» (увлекательная игра, род карамбольного бильярда!), мой партнер отделывался пустяком, а меня, как неисправимого рецидивиста, оставляли без обеда.

Отметка моего поведения была всегда 3. Эта цифра доставляла мне немало слез, особенно когда 3 появлялась как г о д о в а я отметка поведения. Из-за нее я был исключен на год и прожил это время, не очень скучая о классе.

Играть я любил больше один, за исключением игры в бабки, в которую вечно проигрывал.

Я выстругивал деревянные мечи, сабли, кинжалы, рубил ими крапиву и лопухи, воображая себя сказочным богатырем, который один поражает целое войско. Я делал луки и стрелы, в самой несовершенной, примитивной форме, из вереса и ивы, с бечевочной тетивой; стрелы же, выструганные из лучины, были с жестяными наконечниками и не летали дальше тридцати шагов.

На дворе я расставлял, стоймя, поленья шеренгами — и издали поражал их каменьями, — в битве с не ведомой никому армией. Из изгороди огорода я выдергивал

тычины и упражнялся в метании ими, как дротиками, Перед моими глазами, в воображении, вечно были — американский лес, дебри Африки, сибирская тайга, Слова «Ориноко», «Миссисипи», «Суматра» звучали для меня как музыка.

Прочитанное в книгах, будь то самый дешевый вымысел, всегда было для меня томительно желанной действительностью.

Делал я также из пустых солдатских патронов пистолеты, стреляющие порохом и дробью. Я увлекался фейерверками, сам составлял бенгальские огни, мастерил ракеты, колеса, каскады; умел делать цветные бумажные фонари для иллюминации, увлекался переплетным делом, но больше всего я любил строгать что-нибудь перочинным ножом; моими изделиями были шпаги, деревянные лодки, пушки. Картинки для склеивания домиков и зданий во множестве были перепорчены мной, так как, интересуясь множеством вещей, за всё хватаясь, ничего не доводя до конца, будучи нетерпелив, страстен и небрежен, я ни в чем не достигал совершенства, всегда мечтами возмещая недостатки своей работы.

Другие мальчики, как я видел, делали то же самое, но у них всё это, по-своему, выходило отчетливо, дельно. У меня — никогда.

На десятом году, видя, как меня страстно влечет к охоте, отец купил мне за рубль старенькое шомпольное ружьецо.

Я начал целыми днями пропадать в лесах; не пил, не ел; с утра я уже томился мыслью, «отпустят» или «не отпустят» меня сегодня «стрелять».

Не зная ни обычаев дичной птицы, ни техники, что ли, охоты вообще, да и не стараясь разузнать настоящие места для охоты, я стрелял во всё, что видел: в воробьев, галок, певчих птиц, дроздов, рябинников, куликов, кукушек и дятлов.

Всю добычу мою мне дома жарили, и я ее съедал, причем не могу сказать, чтобы мясо галки или дятла чем-нибудь особенно разнилось от кулика или дрозда.

Кроме того, я был запойным удильщиком — исключительно по *шеклее* *, вертлявой, всем известной рыбке больших рек, падкой на муху; собирал коллекции

---

* Уклейка. Ее местное название. — *Прим. А С. Грина.*

птичьих яиц, бабочек, жуков и растений. Всему этому благоприятствовала дикая озерная и лесная природа окрестностей Вятки, где тогда не было еще железной дороги.

По возвращении в лоно реального училища я пробыл в нем всего еще только один учебный год.

Меня погубили: сочинительство и донос.

Еще в приготовительном классе я прославился как сочинитель. В один прекрасный день можно было видеть мальчика, которого рослые парни шестого класса таскают на руках по всему коридору и в каждом классе, от третьего до седьмого, заставляют читать свое произведение.

Это были мои стихи:

Когда я вдруг проголодаюсь,
Бегу к Ивану раньше всех:
Ватрушки там я покупаю,
Как они сладки — эх!

В большую перемену сторож Иван торговал в швейцарской пирожками и ватрушками. Я, собственно, любил пирожки, но слово «пирожки» не укладывалось в смутно чувствуемый мною размер стиха, и я заменил его «ватрушками».

Успех был колоссальный. Всю зиму меня дразнили в классе, говоря: «Что, Гриневский, ватрушки сладки — эх?!!»

В первом классе, прочитав где-то, что школьники издавали журнал, я сам составил номер рукописного журнала (забыл, как он назывался), срисовал в него несколько картинок из «Живописного обозрения» и других журналов, сам сочинил какие-то рассказы, стихи — глупости, вероятно, необычайной — и всем показывал.

Отец, тайно от меня, снес журнал директору — полному, добродушному человеку, и вот меня однажды вызвали в директорскую. В присутствии всех учителей директор протянул мне журнал, говоря:

— Вот, Гриневский, вы бы побольше этим занимались, чем шалостями.

Я не знал, куда деваться от гордости, радости и смущения.

Меня дразнили двумя кличками: «Грин-блин» и «Колдун». Последняя кличка произошла потому, что, начитавшись книги Дебароля «Тайны руки», я начал всем предсказывать будущее по линиям ладони.

В общем, меня сверстники не любили; друзей у меня не было. Хорошо относились ко мне директор, сторож Иван и классный наставник Капустин[3]. Его же я и обидел, но это была умственная, литературная задача, разрешенная мной на свою же голову.

В последнюю зиму учения я прочел шуточные стихи Пушкина «Коллекция насекомых»[4] и захотел подражать.

Вышло так (я помню не всё):

Инспектор, жирный муравей,
Гордится толщиной своей...

. . . .

Капустин, тощая козявка,
Засохшая былинка, травка,
Которую могу я смять,
Но не желаю рук марать.

. . . .

Вот немец, рыжая оса,
Конечно, — перец, колбаса...

. . . .

Вот Решетов, могильщик-жук...

Упомянуты, в более или менее обидной форме, были все, за исключением директора: директора я поберег.

Имел же я глупость давать читать эти стихи всякому, кто любопытствовал, что еще такое написал «Колдун». Списывать их я не давал, а потому некто Маньковский[5], поляк, сын пристава, однажды вырвал у меня листок и заявил, что покажет учителю во время урока.

Две недели тянулась злая игра. Маньковский, сидевший рядом со мной, каждый день шептал мне: «Я сейчас покажу!» Я обливался холодным потом, умолял предателя не делать этого, отдать мне листок; многие ученики, возмущенные ежедневным издевательством, просили Маньковского оставить свою затею, но он, самый сильный и злой ученик в классе, был неумолим.

Каждый день повторялось одно и то же:

— Гриневский, я сейчас покажу...

При этом он делал вид, что хочет поднять руку.

Я похудел, стал мрачен; дома не могли добиться от меня — что со мной.

Решив наконец, что если меня исключат окончательно, то ждут меня побои отца и матери, стыдясь позора быть посмешищем сверстников и наших знакомых (между прочим, чувства ложного стыда, тщеславия,

мнительности и жажды «выйти в люди» были очень сильны в глухом городе), я стал собираться в Америку.

Была зима, февраль.

Я продал букинисту одну книгу покойного дяди «Католицизм и наука» за сорок копеек, потому что у меня никогда не было карманных денег. На завтрак мне выдавали две-три копенки, они шли на покупку одного пирожка с мясом. Продав книгу, я тайно купил фунт колбасы, спички, кусок сыра, захватил перочинный ножик. Рано утром, уложив провизию в ранец с книгами, я пошел в училище. На душе у меня было скверно. Предчувствия мои оправдались; когда начался урок немецкого языка, Маньковский, шепнув «сейчас подам», поднял руку и сказал:

— Позвольте, господин учитель, показать вам стихи Гриневского.

Учитель разрешил.

Класс притих. Маньковского со стороны дергали, щипали, шипели ему: «Не смей, сукин сын, подлец!» — но, аккуратно обдернув блузу, плотный, черный Маньковский вышел из-за парты и подал учителю роковой листок; скромно покраснев и победоносно оглядев всех, доносчик сел.

Преподаватель этого часа дня был немец. Он начал читать с заинтересованным видом, улыбаясь, но вдруг покраснел, потом побледнел.

— Гриневский!

Я встал.

— Это вы писали? Вы пишете пасквили?

— Я... Это не пасквиль.

От испуга я не помнил, что бормотал. Как в дурном сне, я слышал звон слов, упрекающих и громящих меня. Я видел, как гневно-изящно колышется красивый, с двойной бородой, немец, и думал: «Я погиб».

— Выйдите вон и ждите, когда вас позовут в учительскую.

Я вышел плача, не понимая, что происходит.

Коридор был пуст, паркет блестел, за высокими, лакированными дверями классов слышались мерные голоса учителей. Из этого мира я был вычеркнут.

Зазвенел звонок, двери пооткрывались, толпа учеников наполнила коридор, весело шумя и крича; лишь я стоял, как чужой. Классный наставник Решетов привел меня в учительскую комнату. Я любил эту

2*

комнату — в ней был прекрасный шестигранный аквариум с золотыми рыбками.

За большим столом, с газетами и стаканами чая, восседал весь синклит.

— Гриневский, — сказал, волнуясь, директор, — вот вы написали пасквиль... Ваше поведение всегда... подумали ли вы о родителях?.. Мы, преподаватели, желаем вам только добра...

Он говорил, а я ревел и повторял:

— Больше не буду!

При общем молчании Решетов начал читать мои стихи. Произошла известная гоголевская сцена последнего акта «Ревизора». Как только чтение касалось одного из осмеянных — он беспомощно улыбался, пожимал плечами и начинал смотреть на меня в упор.

Только инспектор — мрачный пожилой брюнет, типичный чиновник — не был смущен. Он холодно казнил меня блеском своих очков.

Наконец тяжелая сцена кончилась. Мне было велено отправиться домой и заявить, что я временно, впредь до распоряжения, исключен; также сказать отцу, чтобы тот явился к директору.

Почти без мыслей, как в горячке, я вышел из училища и побрел к загородному саду — так назывался полудикий парк, верст пять квадратных объемом, где летом торговал буфет и устраивались фейерверки. Парк примыкал к перелеску. За перелеском была речка; дальше шли поля, деревни и огромный, настоящий лес.

Сев на изгородь у перелеска, я сделал привал: мне предстояло идти в Америку.

Голод взял свое, — я съел колбасу, часть хлеба и начал раздумывать о направлении. Совершенно естественным казалось мне, что нигде, никто не остановит реалиста в форме, в ранце, с гербом на фуражке!

Я сидел долго. Стало смеркаться; унылый зимний вечер развертывался вокруг. Ели и снег, ели и снег... Я продрог, ноги замерзли. Калоши были полны снега.

Память подсказывала, что сегодня к обеду яблочный пирог. Как ни подговаривал я раньше кое-кого из учеников бежать в Америку, как ни разрушал воображением всякие трудности этого «простого» дела — теперь смутно почувствовал я истину жизни: необходимость знаний и силы, которых у меня не было.

Когда я пришел домой, было уже темно. Охо-хо! Даже теперь жутко всё это вспоминать.

Слезы и гнев матери, гнев и побои отца; крики: «Вон из моего дома!», стояние в углу на коленях, наказание голодом вплоть до десяти часов вечера; каждый день пьяный отец (он сильно пил); вздохи, проповеди о том, что «только свиней тебе пасти», «на старости лет думали, что сын будет подмогой», «что скажут такие-то и такие-то», «тебя мало убить, мерзавца!» — вот так, в этом роде, шло несколько дней.

Наконец буря утихла.

Отец бегал, просил, унижался, ходил к губернатору, везде искал протекции, чтобы меня не исключали.

Училищный совет склонен был смотреть на дело не очень серьезно, с тем чтобы я попросил прощения, но инспектор не согласился.

Меня исключили.

В гимназию меня отказались принять. Город, негласно, выдал мне уже волчий, неписаный паспорт. Слава обо мне росла изо дня в день.

Осенью следующего года я поступил на третье отделение городского училища[6].

ОХОТНИК И МАТРОС

Может быть, следует упомянуть, что я не посещал начальной школы, так как меня учили писать, читать и считать дома. Отец временно был уволен со службы в земстве, и мы прожили год в уездном городе Слободском; тогда мне было четыре года. Отец служил помощником управляющего пивным заводом Александрова. Мать стала учить меня азбуке; я скоро запомнил все буквы, но никак не мог постигнуть тайну слияния букв в слова.

Однажды отец принес книжку «Гулливер у лилипутов» с картинками, — крупным шрифтом, на плотной бумаге. Он посадил меня на колени, развернул книжку и сказал:

— Саша, давай читать. Это какая буква?

— «М».

— А эта?

— «О».

— Верно. Как же сказать их сразу?

В моем уме вдруг слились звуки этих букв и следующих, и, сам не понимая, как это вышло, я сказал: «море».

Так же сравнительно легко я прочел следующие слова, не помню, какие, — и так начал читать.

Арифметика, которой начали меня учить на шестом году, была куда более серьезным делом; однако я научился вычитанию и сложению.

Городское училище было грязноватым двухэтажным каменным домом. Внутри тоже было грязно. Парты изрезаны, исчерчены, стены серы, в трещинах; пол деревянный, простой, — не то что паркет и картины реального училища.

Здесь встретил я многих пострадавших реалистов, изгнанных за неуспешность и другие художества. Видеть товарищей по несчастью всегда приятно.

Был тут Володя Скопин, мой троюродный, по матери, брат; рыжий Быстров, удивительно лаконичному сочинению которого: «Мед, конечно, сладок» — я одно время страшно завидовал; тщедушный, дурашливый Демин, еще кое-кто.

Вначале, как падший ангел, я грустил, а затем отсутствие языков, бо́льшая свобода и то, что учителя говорили нам «ты», а не стеснительное «вы», начали мне нравиться.

По всем предметам, за исключением закона божьего, преподавание вел один учитель, переходя с одними и теми же учениками из класса в класс.

Они, то есть учителя, иногда, правда, перемещались, но система была такая.

В шестом классе (всего было четыре класса, только первые два делились каждый на два отделения) среди учеников были «бородачи», «старики», упорно путешествовавшие по училищу сроком на два года на каждый класс.

Там происходили бои, на которые мы, маленькие, взирали с трепетом, как на битву богов. «Бородачи» дрались рыча, скакали по партам, как кентавры, нанося друг другу сокрушительные удары. Драка вообще была обычным явлением. В реальном драка существовала как исключение и преследовалась очень строго, а здесь на всё смотрели сквозь пальцы. Дрался и я несколько раз; в большинстве случаев били, конечно, и меня.

Отметка моего поведения продолжала стоять в той

норме, которую мне определила судьба еще по реальному училищу, редко поднимаясь до «4». Зато гораздо реже оставляли меня «без обеда».

Преступления всем известные: беготня, возня в коридорах, чтение за уроками романа, подсказывание, разговоры в классе, передача какой-нибудь записки или рассеянность. Напряженность жизни этого заведения была так велика, что даже зимой, сквозь двойные рамы, на улицу вырывался гул, подобный грохоту паровой мельницы. А весной, с открытыми окнами... Лучше всех об этом выразился Деренков, наш инспектор.

— Постыдитесь, — увещевал он галдящую и скачущую ораву, — гимназистки давно уже перестали ходить мимо училища... Еще за квартал отсюда девочки наспех бормочут: «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его!» — и бегут в гимназию кружным путем.

Мы не любили гимназистов за их чопорность, щеголеватость и строгую форму, кричали им: «Вареная говядина!» (В. Г. — Вятская гимназия — литеры на пряжке ремней), реалистам кричали: «Александровский вятский разбитый урыльник!» (А. В. Р. У. — литеры на пряжках), но к слову «гимназистка» чувствовали тайную, неутоленную нежность, даже почтение.

Деренков ушел. Помедлив полчаса, гвалт продолжался до конца дня.

С переходом на четвертое отделение мои мечты о жизни начали определяться в сторону одиночества и, как прежде, — путешествий, но уже в виде определенного желания морской службы.

Моя мать скончалась от чахотки тридцати семи лет; мне было тогда тринадцать лет.

Отец женился вторично, взяв за вдовой псаломщика ее сына от первого мужа, девятилетнего Павла. Мои сестры подросли: старшая училась в гимназии, младшая — в начальной земской школе. У мачехи родился ребенок.

Я не знал нормального детства. Меня безумно, исключительно баловали только до восьми лет, дальше стало хуже и пошло всё хуже.

Я испытал горечь побоев, порки, стояния на коленях. Меня, в минуты раздражения, за своевольство и неудачное учение, звали «свинопасом», «золоторотцем», прочили мне жизнь, полную пресмыкания у людей удачливых, преуспевающих.

Уже больная, измученная домашней работой, мать со странным удовольствием дразнила меня песенкой:

Ветерком пальто подбито,
И в кармане — ни гроша,
И в неволе —
Поневоле —
Затанцуешь антраша!
Вот он, маменькин сыночек,
Шалопай — зовут его;
Словно комнатный щеночек, —
Вот занятье для него!

Философствуй тут как знаешь,
Иль, как хочешь, рассуждай, —
А в неволе —
Поневоле —
Как собака, прозябай!

Я мучился, слыша это, потому что песня относилась ко мне, предрекая мое будущее. Насколько я был чувствителен, видно хотя бы из того, что, совсем маленький, я заливался горчайшими слезами, когда отец, в шутку, мне говорил (не знаю, откуда это):

И хвостом она махнула
И сказала: не забудь!

Я ничего не понимал, но ревел.

Точно так же, довольно было показать мне палец, сказав: «Кап, кап!», как начинали капать мои слезы, и я тоже ревел.

Жалованье отца продолжало оставаться прежним, число детей увеличилось, мать болела, отец сильно и часто пил, долги росли; всё вместе, взятое создавало тяжелую и безобразную жизнь. Среди убогой обстановки, без сколько-нибудь правильного руководства, я рос при жизни матери; с ее смертью пошло еще хуже...

Однако довольно вспоминать неприятное.

У меня почти не было приятелей, за исключением Назарьева и Попова, о которых, в особенности о Назарьеве, речь будет впереди; дома были нелады, охоту я страстно любил, а потому каждый год, после петрова дня — 29 июня, — начинал я пропадать с ружьем по лесам и рекам.

К тому времени, под влиянием Купера, Э. По, Дефо и жюль-верновского «80 тысяч верст под водой», у меня начал складываться идеал одинокой жизни

в лесу, жизни охотника. Правда, в двенадцать лет я знал русских классиков до Решетникова включительно, но указанные выше авторы были сильнее не только русской, но и другой, классической европейской литературы.

Я хаживал с ружьем далеко, на озера и в лес, и часто ночевал в лесу, у костра. В охоте мне нравился элемент игры, случайности; поэтому я не делал попытки завести собаку.

Одно время у меня были старые охотничьи сапоги, купленные мне отцом; когда они сносились, я, придя к болоту, снимал свои обыкновенные сапоги, вешал их через плечо, засучивал штаны до колен, так и охотясь — босиком.

По-прежнему добычей моей были кулики разных пород: черныши, перевозчики, турухтаны, кроншнепы; изредка — водяные курочки, утки.

Стрелять влет я еще не умел. Старое шомпольное ружье — одностволка, стоимостью три рубля (прежнее разорвалось, едва не убив меня), самим способом заряжания мешало стрелять так часто и скоро, как хотелось бы. Но не только добыча привлекала меня.

Мне нравилось идти одному по диким местам, где я хочу, со своими мыслями, садиться, где хочу, есть и пить, когда и как хочется.

Я любил шум леса, запах мха и травы, пестроту цветов, волнующую охотника заросль болот, треск крыльев дикой птицы, выстрелы, стелющийся пороховой дым; любил искать и неожиданно находить.

Множество раз я строил, мысленно, дикий дом из бревен, с очагом и звериными шкурами на стенах, с книжной полкой в углу; под потолком были развешаны сети; в кладовой висели медвежьи окорока, мешки с «пеммиканом» [1], маисом и кофе. Сжимая в руках ружье с взведенным курком, я протискивался среди густых ветвей чащи, представляя, что меня ждет засада или погоня.

В виде летнего отдыха отца посылали иногда на большой Сенной остров, от города верстах в трех; там был больничный земский покос. Покос продолжался около недели; косили тихие помешанные или испытуемые из павильонов больницы. Я и отец жили тогда в хорошей палатке, с костром, чайником; спали на свежем сене и удили рыбу. Кроме того, я ходил дальше, вверх

по реке, верст за семь, где были озера в ивняке, и стрелял уток. Уток мы варили охотничьим способом, в гречневой каше. Их я приносил редко. Самой главной и обильной моей добычей, осенью, когда на полях оставались копны и жнитво, были голуби. Тысячными стаями слетались они из города и деревень на поля, подпускали близко, и от одного выстрела, бывало, ложилось сразу несколько штук. Жареные голуби жестки, поэтому я варил их с картофелем и луком; хорошее получалось кушанье.

У первого моего ружьеца был очень тугой курок, сильно разбивавший капсюль, а надеть на расшлепанный капсюль пистон являлось задачей. Он еле держался и иногда сваливался, упраздняя выстрел, или давал осечку. У второго ружья курок был слабый, что тоже вызывало осечки.

Если на охоте у меня не хватало пистонов, я, мало стесняясь этим, прицеливался, держа ружье одной рукой у плеча, а другой поднося к капсюлю горящую спичку.

Предоставляю судить специалистам, насколько такой способ стрельбы может быть успешен, так как дичь имела довольно времени надумать — стоит ли ей ждать, пока огонь накалит капсюль.

Несмотря на мою действительную страсть к охоте, у меня никогда не было должной заботы и терпения снарядиться как следует. Я таскал порох в аптекарской склянке, отсыпая его на ладонь при заряжании — на глаз, без мерки; дробь лежала в кармане, часто один и тот же номер на всякую дичь — например, крупный, № 5, шел и по кулику и по воробьиной стае или, наоборот, мелкий, как мак, № 16 летел в утку, только обжигая ее, но не сваливая.

Когда плохо сделанный деревянный шомпол ломался, я срезал длинную ветку и, очистив ее от сучков, гнал в ствол, с трудом вытаскивая обратно.

Вместо войлочного пыжа или кудельного я очень часто забивал заряд комком бумаги.

Неудивительно, что добычи у меня было мало при таком отношении к делу.

Впоследствии, в Архангельской губернии, когда я был там в ссылке[2], я охотился лучше, с настоящими припасами и патронным ружьем, но небрежность и торопливость сказывались и там.

Об этой одной из интереснейших страниц моей жизни я расскажу в следующих очерках, а пока прибавлю, что только раз я был доволен собой вполне — как охотником.

Меня взяли с собой на охоту взрослые молодые люди, бывшие наши квартирные хозяева, братья Колгушины. Уже темной ночью мы возвращались с озер к костру. Вдруг, покрякивая, свистнула крыльями утка, и, плеснув по воде, села на небольшое озерко, шагах в тридцати.

Вызвав смех спутников, я прицелился на звук плеска севшей в черной тьме утки и выстрелил. Слышно было, что утка забилась в камышах: я попал.

Две собаки не могли найти мою добычу, чем даже сконфузили и рассердили своих хозяев. Тогда я разделся, полез в воду и, по горло в воде, разыскал убитую птицу по смутно чернеющему на воде ее телу.

Время от времени мне удавалось зарабатывать немного денег. Однажды земству понадобился чертеж одного городского участка с строениями... Отец устроил этот заказ мне, я ходил по участку с рулеткой, потом чертил, испортил несколько чертежей, наконец, с грехом пополам, сделал, что нужно, и получил за это десять рублей.

Раза четыре отец давал мне переписывать листы годовой сметы земских благотворительных заведений, по десять копеек с листа, на этом деле я тоже заработал несколько рублей.

Двенадцати лет я пристрастился к переплетному мастерству, сам сделал станок для сшивания; роль пресса играли кирпичи и доска, кухонный нож был обрезальным ножом. Цветная бумага для переплетов, сафьян для углов и корешков, коленкор, краски для обрызгивания обреза книги и книжечки фальшивого (сусального) золота для тиснения букв на корешках, — всё это я приобретал постепенно, частью на деньги отца, частью на свои заработанные.

Одно время у меня было порядочно заказов; будь мои изделия сделаны тщательнее, я мог бы, учась, зарабатывать пятнадцать—двадцать рублей в месяц, но старая привычка к небрежности, поспешности сказалась и здесь, — месяца через два моя работа окончилась. Я переплел около ста книг — в том числе томы нот одному

старому учителю музыки. Мои переплеты были неровны, обрез неправилен, вся книга вихлялась, а если не вихлялась по сшитву, то отставал корешок или коробился самый переплет.

Ко дню коронации Николая II в больнице готовили иллюминацию, и мне, через отца, сделан был заказ на двести бумажных фонарей из цветной бумаги по четыре копейки за штуку, с готовым материалом.

Усерднейшим образом я работал две недели, изготовив, по обычаю своему, не очень важные изделия, за что получил восемь рублей.

Ранее, когда мне случалось заработать рубль-два, я тратил деньги на порох, дробь; зимой — на табак и гильзы. Мне разрешено было курить с четырнадцати лет, а тайно я курил с двенадцати, хотя еще не «затягивался»! Затягиваться я начал в Одессе.

Получение этих восьми рублей совпало с лотереей-аллегри[3], устроенной в городском театре. В оркестре были расставлены пирамиды вещей, как дорогих, так и дешевых. Главный выигрыш, по странному направлению провинциальных умов, был, как водится, корова, наравне с коровой шли мелкие драгоценности, самовары и пр.

Я пошел играть, вскоре туда же явился подвыпивший отец. Я проставил на билеты пять рублей, беря всё пустые трубочки. Капитал мой таял, я загрустил, но вдруг выиграл диванную бархатную подушку, расшитую золотом.

Отцу повезло: проставив сначала половину жалованья, он выиграл две брошки, рублей, скажем, на пятьдесят.

До сих пор не забыть мне, как к колесу подошла дурная, как грех, девица, взяла два билета, и оба они оказались выигрышными: самовар и часы.

Я забежал вперед, но надо было сказать всё о моих заработках. Поэтому я добавлю, что в последние две зимы жизни дома я подрабатывал еще перепиской ролей для театральной труппы — сначала малороссийской, затем драматической. За это платили пять копеек с листа, записанного кругом, и я писал не «убористо», а возможно разгонистее. Кроме того, я пользовался правом бесплатного посещения всех представлений, входа за кулисы и игры на выходных ролях, где надо, например, сказать: «Он пришел!» или «Хотим Бориса Годунова!»

Иногда я писал стихи и посылал их в «Ниву», «Родину», никогда не получая ответа от редакций, хотя прилагал на ответ марки. Стихи были о безнадежности, беспросветности, разбитых мечтах и одиночестве, — точь-в-точь такие стихи, которыми тогда были полны еженедельники. Со стороны можно было подумать, что пишет сорокалетний чеховский герой, а не мальчик одиннадцати—пятнадцати лет.

Для своего возраста я начал недурно рисовать с семи лет, и мои отметки по рисованию всегда были 4—5. Я хорошо копировал рисунки и сам научился писать акварелью, но это были тоже копии рисунков, а не самостоятельные работы, всего два раза я сделал акварелью цветы. Второй рисунок — водяную лилию — я увез с собой в Одессу, а также взял краски, полагая, что буду рисовать где-нибудь в Индии, на берегах Ганга...

В городском училище я учился посредственно, был на плохом счету, как озорник, хотя и там, кроме возни, драк, непослушания и подсказывания, ничего особенного не творил. Мне хорошо давались лишь словесность, история, закон божий и писание сочинений. Наш класс вел добрейший человек, фамилию которого я, к сожалению, забыл [4]; впоследствии он стал инспектором Глазовского городского училища.

Только по возрасту и росту я просидел последний год на задней парте, — остальное время, чтобы я всегда был на виду, меня держали на передней парте, прямо перед столом учителя.

Мое развитие было не в пример выше всех учеников училища, а потому, очень часто, на вопрос: «Кто знает?» я, подняв руку, звучал как энциклопедия. Учитель любил меня, но, любя, преследовал строже, чем других, и без стеснения посылал к доске, если замечал, что я хихикаю с кем-нибудь или под партой толкаюсь ногами со своим обидчиком (я никогда не начинал первый).

Одно мое сочинение на тему «Мой любимый уголок» учитель читал вслух всему классу, как образец. Я описал камышовый островок мельничного пруда, где любил сидеть с книгой, ружьем и хлебом. Другой раз была задана тема: «О пользе собак». Я написал «о вреде собак» (хотя думал иначе), доказывая, что случаи водобоязни во всем мире перевешивают пользу собак для эскимосов, охотников и хозяев стад. Учитель начертал

единицу, приписав: «Написано отлично, но не на тему». Это сочинение тоже было «опубликовано», и я видел, что учитель, втайне, гордится этой моей эскападой.

В пятом отделении, по странной прихоти, я написал, для себя, статью: «Вред Майн Рида и Густава Эмара», в которой развивал мысль о гибельности указанных писателен для подростков. Вывод был такой: начитавшись живописных страниц о далеких, таинственных материках, дети презирают обычную обстановку, тоскуют и стремятся бежать в Америку. Примером я выставил театральный спектакль, после которого еще мрачнее и незавиднее кажется дом, участь бедняка.

Собрав после классов несколько человек слушателей, я прочел им эту галиматью. Они выслушали, возражать не умели или не хотели; тем дело и кончилось. До сих пор не понимаю, зачем я это сделал, — я, даже теперь с волнением думающий о путешествиях.

В четвертом отделении случился выстрел: я имел глупость принести с собою в класс пистолет, собственноручно сделанный из солдатского патрона, заряжаемый порохом, дробью и воспламеняемый бумажным пистоном; я его держал в парте, трогая стальную пластинку с гвоздиком, заменяющую курок, — как вдруг курок сорвался, гром выстрела едва не сбросил учителя со стула; пошел дым столбом — и все повскакали.

За это художество меня со сторожем и запиской об исключении на две недели отправили домой.

Я ревел, просил прощения, отец стегал меня ремнем, ходил к инспектору и с трудом уладил дело, так что через три дня я опять сидел на последней парте.

В шестом отделении произошел случай посерьезнее.

Хороший учитель уехал в Глазов, а его место занял новый, ранее не служивший, Алексей Иванович Терпугов[5]. Это был крайне желчный, истеричный человек, измученный невралгией и ненавидевший учеников до того, что, забывшись, кричал на них и топал ногами.

Чем-то я провинился во время урока, — кажется, разговаривал.

— Гриневский! — крикнул мне Терпугов. — Помяни мое слово, что не миновать тебе скамьи подсудимых!

Разговаривая с соседом, я в то же время потихоньку ел принесенного с собой на завтрак рябчика. Я встал и запустил рябчиком в Терпугова. Рябчик шлепнулся о вицмундир и упал на пол.

Терпугов оцепенел. Он так побледнел, что и я испугался. Учитель сдавленным голосом приказал мне выйти вон.

Весь дрожа, со слезами обиды и гнева, я, выйдя, немедленно направился домой и рассказал отцу, что случилось.

Первый раз произошло, что отец меня не бранил (меня, как большого, он теперь не бил). Походив взад-вперед, отец направился к инспектору. Возник было вопрос о моем исключении, но всё же инспектор Деренков и другие признали неправоту в этом деле Терпугова.

Дело, после двух недель моего домашнего пребывания, кончилось формальным извинением с моей стороны.

После этого я кончил наконец училище без инцидентов и, получив аттестат (средняя отметка — 3, по поведению — 5, ради того, чтобы не портить мне жизнь), я начал собираться в Одессу.

Теперь я расскажу, с чего это началось.

Отчасти очень дальними родственниками по матери — а больше просто знакомыми — приходились нам Чернышевы. Отец Чернышев был протоиереем кафедрального собора. У него был сын — Сережа, двумя или тремя годами старше меня, тихий, малоспособный мальчик; исключили его за неуспешность, или же сами родители взяли из семинарии — точно не помню. Только в один прекрасный день я узнал, что Сережа отправился в Одессу, поступил в Херсонские мореходные классы и совершил кругосветное путешествие.

Торжествующие родители показывали цветную фотографию. На ней был изображен молодой моряк, одетый в форму матроса; на ленте бескозырной фуражки можно было прочесть: «Императрица Мария». Ленты падали от затылка через плечо на грудь. Полосы клинообразно выступающего из-за голландки с синим воротником тельника долгое время не давали мне покоя; я всё решал — есть ли это часть рубашки или же это надевается особо, как галстук. Довольно сказать, что я никогда не видел такой одежды и положительно влюбился в нее, особенно в ленты, которые, при открытой шее и бескозырьковой фуражке, придавали открытому, мужественному лицу Сережи особый поэтический оттенок. Но, главное, я увидел возможность практического решения задачи путешествий, причем Чернышев еще получал жалованье!

Кроме того, аттестата городского училища было достаточно для поступления в Мореходные классы без всякого экзамена.

Отец однажды взял меня с собой к Чернышевым, и мы выпытывали у них всё, что они знали о своем сыне. Немного я приуныл (вопрос шел о том, где остановиться в Одессе и много ли надо на поездку денег), когда мать Сережи сказала, что сыну они дали сто пятьдесят рублей, наказав остановиться в хорошей гостинице, и что продолжали посылать ежемесячно по двадцать пять рублей, пока Сережа не начал получать жалованье рулевого матроса — двадцать два рубля с копейками на всем готовом. Теперь он плавал уже в Добровольном флоте на «Саратове», был в Японии, Китае, Сингапуре...

Сингапуре!..

Я сидел подавленный и взволнованный. Ведь я до сих пор только мечтал, тогда как Чернышев с легкостью, как мне казалось, необычайной, без шума и треска, сделался моряком дальнего плавания.

Чернышевы, между прочим, говорили, что Сережа «лазил на мачты». Не зная устройства вант, я был очень встревожен, так как по гимнастическим столбам всползал плохо, а лазанье на мачты представлялось мне именно карабканьем по толстому голому столбу.

Относительно мачт меня через некоторое время просветил другой Чернышев, брат моего одноклассника Чернышева, тоже выставленного из реального училища мальчика (за неуспешность); он одно время учился в Астраханских мореходных классах и плавал на парусных судах; я понял назначение вант, и страх перед мачтами прошел. Но этот Чернышев не был для меня настоящим моряком: он плавал в *закрытом* море, был неуклюж, неприятно-широкоплеч, черен, болезненно красив и туп; в довершение всего поступил на службу в акциз.

Я старался, где мог, узнать о море, о морской службе. Одно время к деревенской девице, нашей прислуге, ходил на кухню ее брат; он же колол нам дрова. Этот парень был матросом в Одессе. О Мореходных классах он ничего не знал, и я разочаровался, потому что этот человек не понимал меня. Меня интересовали впечатления далеких стран, бурь, битв с пиратами, а он говорил о пайке, жалованье и дешевизне арбузов.

Весной 1895 года я увидел в жаркий день на пристани извозчичью «долгушу»; на ней, небрежно развалясь, сидели, обложенные чемоданами, два штурманских ученика в белой матросской форме. На ленте одного написано было «Очаков», на другой — «Севастополь». Загорелые, беспечные лица юношей, грызших семечки, привлекали внимание прохожих. Я остановился, смотрел как зачарованный на гостей из таинственного для меня, прекрасного мира.

Я не завидовал. Я испытывал восхищение и тоску. Так я и не узнал, приезжали ли эти молодые люди в гости к кому-нибудь или домой, — я больше их не видел.

Немного погодя прошел слух еще об одном моряке, явившемся домой на время; это был молодой, коротко остриженный, белесый человек серьезного типа: он одевался в штатское (особый английский шик, как я узнал позже) и курил трубку.

Отец узнал его адрес, и, страшно стесняясь, я посетил моряка; когда я пришел, он стоял у калитки; тут же мы и поговорили. Его фамилии я не помню. Ничего особенно нового я не узнал. Моряк считал парусные суда лучшей школой, был в каботаже (то есть плавал внутри Черного моря) и рассказывал, сколько для практики надо выплавать за время учения, — что-то года полтора, кажется.

Я видел, что он смотрел на море как на работу, а не как на героическую поэзию, и отвернулся от него сердцем своим.

Весной 1896 года приехал в гости домой Сережа Чернышев.

Мачеха, ставшая добрее, так как предвиделся мой скорый отъезд, и отец не раз уговаривали меня сходить к Чернышевым, чтобы поговорить с Сережей, но я ни за что не хотел — и не мог. Сам себе казался я таким ординарным, жалким, в своей серой блузе с ремнем, длинными, зачесанными назад волосами и узкими плечами, что не мог предстать перед блистательным существом в фуражке с лентой, да еще проделавшим кругосветное путешествие.

Чтобы понять это, надо знать провинциальный быт того времени, быт глухого города. Лучше всего передает эту атмосферу напряженной мнительности, ложного самолюбия и стыда рассказ Чехова «Моя жизнь». Когда я читал этот рассказ, я как бы полностью читал о Вятке.

Под разными предлогами я отказался идти.

Чернышев приехал с товарищем, земляком; я очень удивлялся, когда младший из братьев Колгушиных, воспитанник сиротского земского дома, слесарь и силач, говорил мне: «Вот, приехали эти жулики-флотчики!..» Конечно, это была зависть, но я не понимал, как можно, даже из зависти, так говорить о прекрасных детях моря.

Потом я слышал, что «флотчики», напившись в загородном саду, с кем-то жестоко дрались у городской черты, но это лишь прибавило мне восхищения: моряки *должны быть* непобедимы.

21 июня отец, получив жалованье, дал мне двадцать пять рублей на дорогу. Больше он дать не мог. От умершей матери остался маленький Борис; прибавились: Павел, мачехин сын, и, от нее же, новый ребенок, мальчик.

Из этих денег я купил за шестьдесят копеек ивовую корзинку, на сорок копеек табаку и гильз. В корзинку мне положили немного белья, мыло, серые ученические брюки из полубумажной материи, такую же курточку, я на мне были парусиновые блуза и брюки. В соломенной дешевой шляпе и тяжелых, до колен высотой, охотничьих сапогах, я собрался ехать в Одессу. Я был в чрезвычайном волнении. До сих пор, если не считать Слободского, я не покидал Вятки, а тут предстояло уехать за две тысячи верст. Множество раз в день я доставал из кармана свой старый кошелек и пересчитывал синие ассигнации с мелочью; я казался себе миллионером.

Двадцать третьего отходил пароход в Казань в двенадцать часов дня. Перед отправлением на пристань собрались меня провожать сестры, мачеха, маленький брат и Павел. Настроение было торжественное. Отец сказал:

— Надо присесть...

Присели в молчании. Потом отец встал, сказав:

— Ну, вот и вылетела птичка из гнезда.

Я видел, что он скрывает слезы.

— Ну, Александр, будь умницей, хорошо учись, надейся на себя и свои силы, помни, что я тебе уделить ничего не могу. Пиши обо всем.

— Да, завидная участь, — сказала мачеха, — увидеть чужие страны, увидеть... много чего такого. — Она простилась со мной довольно тепло.

Девочки ревели. Младший брат, Борис, тоже начал голосить.

Я с отцом сели на извозчика и через полчаса были на пристани. На дорогу мне дали разной провизии, чаю, сахару, стакан и жестяной чайник. Снеся на нижнюю палубу корзинку и одеяло с подушкой (ехал я третьим классом), я взял в кассе билет, а через минуту уже начали убирать сходни.

Я пошел наверх, стал у поручня. Пароход заворачивал на середину течения. Я долго видел на пристани, в толпе, растерянное, седобородое лицо отца, видел, как он щурился против солнца, стараясь не потерять меня из виду среди пароходной толпы.

Я тоже стоял и смотрел, махая платком, пока пароход не обогнул береговой выступ. Тогда я, с сжавшимся сердцем, пошел вниз.

Был я и смятен и ликовал. Грезилось мне море, покрытое парусами...

ОДЕССА

I

До шестнадцати лет я никогда не покидал Вятку. Мое первое самостоятельное путешествие было рядом мелких колумбиад, открытий и наблюдений. Три дня пути до Казани я рассматривал как неопределенно долгий срок, в течение которого я успею вдоволь насладиться движением по реке, сменой берегов и пристаней, мерным содроганием парохода, шумом колес. Я был счастлив уже тем, что еду.

Просунув голову в окно машинного отделения, я изучал движения блестящих частей машины, сильную круговую наддачу рычагов, бесшумное трение эксцентриков, возню внизу, у катка, замасленных кочегаров; иногда один из них влезал наверх и лил из масленки желтое масло на горячую сталь машины. Перегнувшись через борт, я смотрел на красные лопасти колеса, бьющего воду на отгоняемый им пенистый бугор; я всходил на верхнюю палубу, интересуясь действиями рулевого и лоцмана, любовался бегом дыма пароходной трубы и фонтаном пара, вырывающегося из свистка. Когда на пристанях грузили кладь, я любил стоять у трюма, смотря, как летят вниз, по катку, рогожные тюки и

деревянные ящики. Однако все эти явления интересовали меня, по преимуществу, *зрительно,* и я не помню случая, чтобы я спрашивал кого-нибудь об их технике, об их связи между собой, об их природе.

Я только смотрел и запоминал.

Когда мы проехали двести верст, пароход остановился у так называемого «переката» (песчаный нанос), потому что сел на мель. Команда работала целый день, заводя якорь и крутя ворот, но стащить пароход не удавалось. Я видел песчаное дно не глубже чем на три четверти аршина. Наконец снизу показался пароход из Казани, и оба парохода обменялись пассажирами, а также грузом, — тот, на котором я ехал из Вятки, пошел обратно, в Вятку, а пароход из Казани повернул в Казань. Пройти перекат не удалось ни тому, ни другому. С большими усилиями наш пароход приблизился к берегу; положили сходни, и пассажиры перетащили свой груз на себе; многим помогали матросы — вятские бородатые мужички в синих матросках и кожаных картузах.

Я помещался на нижней палубе, между кормой и машиной, на люке трюма, где было свалено много багажа; в гнездах этого багажа ютились третьеклассные пассажиры, мест не хватало на всех. Несколько раз в день я брал чай — в фаянсовом чайнике, с лимоном и мелко наколотым сахаром; чашка была синяя с золотым краем. Чаепитие стоило семь копеек. Чай заменял мне обед и ужин, потому что почти на каждой пристани я покупал снедь. Первый раз в жизни я тратил деньги самостоятельно и свободно. Я покупал так называемые «ярушники» — плоские овсяные хлебцы, «сушку» (сухие баранки), землянику, горячие пельмени, белый хлеб с изюмом, верхняя корка которого, смазанная яичным белком, блестела, как масляная, куски печенки, колбасу, берестяные бурачки с густыми сливками, молоко, пряники, жареную рыбу и некоторое время страдал расстройством желудка.

Утром, на пятый день плавания, я приехал в Казань. Город отстоит от Волги в пяти верстах, поэтому я не отправился осматривать город, а немедленно купил билет на пароход компании «Кавказ и Меркурий» до Нижнего Новгорода; перенес свою поклажу на пристань, сдав ее хранить сторожу, а сам отправился бродить вдоль пристаней и встретил несколько молодых жуликов, один из

которых, заступив мне дорогу, начал кричать: «Ваня, дорогой! Как ты сюда попал?» Я был всё же не настолько глуп, чтоб поддаться такой общительности, и послал мошенников к черту. Испив в береговом трактире чаю, я купил удочку, сел с ней на берег грязной речки Казанки и пытался удить рыбу, но ничего не поймал.

Я засунул удочку в штабель бревен и, захватив вещи, поехал с ними на извозчике на вокзал[1].

Я заплатил за билет до Одессы двенадцать рублен восемьдесят копеек и перешел несколько путей, чтобы сесть в поезд. Когда извозчик подъезжал к вокзалу, я увидел низко над землей два огненных глаза, силуэт трубы, услышал пыхтение, стук и догадался, что это есть тот самый паровоз, о котором я до сих пор лишь слышал и читал в книгах. Паровоз показался мне маленьким, невзрачным, я представлял его с колокольню высотой. Так же впоследствии был я удивлен разрешением долго мучившей меня загадки вагонных ступенек. В одном из еженедельников я увидел как-то иллюстрацию — рисунок зимнего поезда; по тому, что рельсы были закрыты ступеньками и выступами вагонов, я решил, что ступеньки — это полозья для скольжения поезда зимой по снегу.

Поезд отошел в одиннадцать вечера, народу было мало. Момент отхода сильно взволновал меня. Всё было ново: не то всё кружилось вокруг, не то мчалось вперед; частый стук рельсов, новая обстановка, воображаемая неимоверная быстрота и боязнь крушения долго не давали мне спать. В эту ночь я еще не открывал дверь вагона, чтобы *смотреть,* — не решался; но в дальнейшем я, главным образом, сидел на площадке, свесив наружу ноги. Удивительно, как не украли мою корзину и одеяло!

О Москве я слышал, что это город тупиков и зевак. Пока стоял поезд, я немного ходил по прилегающим к вокзалу улицам, удивляясь величине домов, выложенных цветными изразцами, шуму и движению. Действительно, я зашел в какой-то тупик, чем был очень доволен, но зевак, собирающихся будто бы толпами глазеть на крышу, если хотя один человек начнет смотреть вверх, не видел. В сравнении с тихой, мнительной и тщеславной Вяткой («выйти в люди», «быть как все», «построить пальто, костюм») мир шумных, энергичных, развязных и торопливых людей нагонял на меня робость; почти в каждом человеке я видел жулика.

Побродив около часа, я возвратился в вагон.

Теперь мне предстояло проехать до Одессы два дня и две ночи.

II

Тогда уже определенно сказалась природная беспечность моя: с шестью рублями в кармане, с малым числом вещей, не умея ни служить, ни работать, узкогрудый, слабосильный, не знающий ни людей, ни жизни, я нимало не тревожился, что будет со мною. Я был уверен, что сразу поступлю матросом на пароход и отправлюсь в кругосветное путешествие. Мне, кстати, некогда было размышлять, так как я находился среди невиданных интересных явлений. Сидя при отличной погоде на ступеньках вагона, я курил насыпанные еще дома в гильзы папиросы и рассматривал пробегающую окрестность. Некоторые пассажиры интересовались моим путешествием, а я говорил всем, что «еду на море». На больших станциях я выходил, выпивал рюмку водки, съедал пирожок с мясом и заваривал чай в жестяной чайник. Мне хотелось ехать как можно дольше.

В Киеве сел к нам странный, подозрительный человек лет тридцати, с острой бородкой, в панаме и чесунчовом костюме и пикейном с голубыми цветочками жилете. На пассажире были огромные желтые ботинки, на золотой цепи часов бренчали десятки брелоков. Он принимал изнеженные бескостные позы, разваливался, зевал, играл брелоками и курил сигареты.

По его развязности, количеству брелоков и вообще беспечной летней щеголеватости я, конечно, признал в нем мазурика высшей марки, так как читал, что жулики одеваются вызывающе хорошо, любят носить много брелоков, мимика у них оживленная, взгляд быстрый, блестящий.

Поговорив с пассажиром (жулик расспрашивал меня, что я хочу делать в Одессе, есть ли у меня знакомые, деньги и т. д.), я немедленно направился к своей соседке, пожилой еврейке, обложенной грудами багажа, и шепотом сообщил ей, что с нами едет опасный жулик. Встревоженная еврейка поверила мне на слово, особенно когда я привел такое доказательство, как брелоки. Вмешались другие пассажиры, и едва не решено было заявить о мазурике жандарму ближайшей станции.

Между тем ничего не подозревающий пассажир снова подозвал меня и начал скорбеть, что мой отец так легкомысленно отпустил меня, почти без денег, на произвол людей и стихий. Тут же вытащив карандаш, конверт и бумагу, мазурик написал письмо бухгалтеру Хохлову, в Карантинное агентство Р. О. П. и Т.

— Хохлов, Николай Иванович, знаком со многими капитанами; он может тебя устроить, — сказал мазурик. — Как приедешь, сейчас же передай ему это письмо.

Я поблагодарил, но ни письму, ни словам не поверил; однако письмо взял[2]. Кроме недоверия мне помешало отдать Хохлову письмо ложное самолюбие; я стремился жить самостоятельно, а протекция, как мне казалось, вновь делала меня мальчиком, я же считал себя взрослым.

Лишь через несколько дней я узнал, что мнимый мазурик состоит управляющим крупной мануфактурой фирмы Пташникова в Одессе. Забыв его фамилию, назову этого человека «Кондратьев». Он вышел на большой станции, вскоре после письма; на этой же станции сел в наш вагон моряк, ученик Херсонских мореходных классов — лет девятнадцати; он ездил домой, а теперь хотел поступить в Одессе матросом или *учеником.* Как я узнал от него, для поступления в Мореходные классы требовался шестимесячный опыт плавания; невыгода плавать учеником была очевидна, так как *ученик* плавал без жалованья, платя за «харчи», то есть продовольствие, восемь-девять рублей в месяц, но работал при этом как обыкновенный матрос.

Я не сомневался, что поступлю платным матросом. Я казался себе сильным, широкоплечим, молодцеватым парнем, тогда как был слабогруд, узок в плечах и сутул, — но страшно вспыльчив и нетерпелив.

Моего знакомого звали Малецкий; этот невысокий, коренастый шатен был одет в синюю матроску и «майские», то есть белые, брюки, а фуражку он носил с козырьком, морского типа, — черный околыш, ремешок, белый чехол и якорь над козырьком. Поэтому я не чувствовал к нему настоящего уважения, так как признавал подлинно морскими лишь белую матроску с синим воротником (пусть даже при белых брюках) и бескозырьковую фуражку с лентой. Малецкий многое рассказал мне о плавании, научил, как искать работу: взойдя на пароход, осведомиться у старшего помощника: «нет

ли вакансий», а если этот спросит: «где раньше плавал?» — сказать, что служил на барже или шаланде, потому что совсем неопытному человеку место найти трудно.

Мы уговорились снять вместе помещение и, приехав в Одессу, отыскали с помощью извозчика какое-то «Афонское подворье», где взяли грязнейший номер за шестьдесят копеек в сутки. Уже потрясенный, взволнованный зрелищем большого портового города, его ослепительно-знойными улицами, обсаженными акациями, я торопливо собрался идти — увидеть наконец море; не ев, не пив, отправился я на улицу. Малецкий тоже ушел в порт. Я вышел на Театральную площадь, обогнул театр и, пораженный, остановился: внизу слева и справа гремел полуденный порт. Дым, паруса, корабли, поезда, пароходы, мачты, синий рейд — всё было там, и всего было сразу не пересмотреть. Странно поразило меня такое явление: морская чуть туманная даль (горизонт) стояла вертикально, стеной, а по гребню этой стены полз длинный дым скрытого расстоянием судна. Лишь через несколько минут мое зрение освоилось с перспективой. Единственным моим недоумением было видеть горизонт ближе, чем я ожидал; я думал, что морская даль тянется значительно *дальше.*

Было так знойно, так утомительно вокруг, так всё ново, так этот новый мир, видимо, не нуждался сейчас во мне, что я решил обождать идти в порт и отправился осматривать улицы, причем выходил пять или шесть часов.

Однажды я сел в конный трамвай, проехал несколько, затем захотел выйти; видя, что я, как это делали иные, хочу спрыгнуть на ходу вагона в обратную движению сторону, пассажиры остерегли меня, но я, не поняв, в чем дело, не послушался; естественно, эффект был плачевный: затылком я так крепко хватил о мостовую, что почти лишился сознания.

Прохожие подняли меня и еще долго учили, как прыгать. Трясущимися ногами поплелся я далее, побывав на Дерибасовской, Ришельевской, удивляясь завитым зеленью террасам кафе, вынесенным на тротуар, магазинам с огромными окнами из цельного стекла; подолгу выстаивал я перед японскими вазами, фарфоровой китайской посудой, грудами серебряных часов, насыпанных на стеклянные полки, как картофель, рассматривал картины, костюмы, экзотические витрины, полные ве-

щей из резной слоновой кости, дорогих шкатулок, тканей и оружия. Кокосовые орехи, мангустаны, ананасы, персики, попугаи, обезьяны, альбеты, костюмы, прозрачные цветные портсигары из целлулоида — модные в то время, лакированные черные табакерки с цветной картинкой на крышке, щиты табачных магазинов, покрытые узором папирос и сигар... словом, я пересмотрел всё, спускался даже по Ланжероновскому спуску к портовым грязным лавчонкам, где таял при виде матросских блуз, лент, тельников и сеток, носимых кочегарами. А в кармане моем было два рубля тридцать копеек.

Как был я легкомыслен, вернее — беспечен тогда, таким остался я и теперь. Памятуя, что в Южной Америке пьют вино, курят сигареты, я купил бутылку дешевого красного вина за сорок копеек (тогда я еще не знал о существовании винных погребков, где мог бы выпить кварту за двадцать копеек) и десяток сигарет, воняющих каленым копытом; еще купил полфунта сала, маленький пеклеванный хлеб. Разыскав свое подворье, я предался кутежу; к вечеру у меня адски заболела голова. Между тем пришел Малецкий, сообщив, что поступил на пароход Российского общества транспортов, но не матросом, а за плату учеником. Он забрал вещи и скрылся, а я завидовал ему и страдал расстройством желудка от кислого вина, в которое, кстати сказать, насыпал толченого сахара.

Как наступили сумерки, я, надев свою широкополую шляпу, сошел со знаменитой «Дюковской лестницы» в порт, в легкие сумерки, обвеянные ароматом моря, угля и нефти. Я волновался и трепетал, словно шел признаваться в любви. Я дышал очарованием мира, полного чудес на каждом шагу, но всё окружающее подавляло меня силой грандиозной живописной законченности; в ней чувствовал я себя ненужным — чужим.

У высокого, как дом (так казалось), парохода «Петр» я остановился, вздохнул и поднялся по длинной сходне на борт. Тут стояли два ученика с лентами через плечо. Они встретили меня насмешливым взглядом — эти высшие существа, *свои* пароходу и морю. «Нет ли у вас вакансий?» — выговорил я с трудом. Ученики высмеяли меня, уже не помню точно, в каких выражениях, — кажется, «поповская шляпа», «семинарист», что-то в этом роде; задеты были и мои болотные сапоги, до бедер длинные, с ремешками под коленом. Дрожа от

обиды, со слезами на глазах, я ушел прочь, посетил еще два или три парохода, везде получил отказ и выслушал наконец от одного серьезно отнесшегося ко мне помощника капитана, что у такого малосильного на вид, неопытного, одетого для морской службы смешно — в ученической курточке, — надежды попасть матросом нет никакой. «Учеником я вас возьму», — слышал я уже на другой день ответы, равные отказу, потому что у меня не было денег[3].

Пришибленный, я вернулся домой, переночевал, а утром нашел в Карантине ночлежный подвал, где жило несколько босяков и грузчиков. Плата была десять копеек за сутки. Здесь жили человек пятнадцать; спали все на нарах, ели в харчевнях. У меня осталось денег тридцать копеек, а между тем я решил последовать совету Малецкого — одеться как матрос, чтобы иметь больше шансов поступить хотя бы на дрянненький пароход.

Должен сказать, что перед отправлением из Вятки в Одессу снился мне три ночи подряд странный сон. Я стоял в крытом правом проходе морского парохода. Ко мне подошел высокий старик с седой бородой, в белом тюрбане и азиатском костюме, стянутом широким дорогим поясом. Мы плыли на Ялту или Яффу — неясно я знал это.

Старик смотрел на меня огненными глазами, говоря: «Когда пароход придет в порт, ты увидишь все дни шестнадцати будущих лет твоей жизни». С этим он дал мне мешок золотых монет, и я очутился у входа в темную гору, где открылась дверь. Едва я ступил за дверь, как начало мелькать бесчисленное количество комнат или каких-то помещений, через которые меня проносило с быстротой вихря. Я видел множество сцен, лиц, но ничего не запомнил, лишь узнал, что это сцены будущих шестнадцати лет. Я вышел через последнюю дверь, и сон кончился.

При разнообразии и сложности своих снов вообще, в этом сновидении не вижу я ничего особенного, кроме того, что, узнав строение морских пароходов, я должен был признать полное сходство типа их крытых палубных проходов с тем проходом, какой видел во сне.

Единственный для меня способ достать денег был таков: продать что-нибудь из вещей. Я продал на базарном толчке за два рубля свою новую ученическую куртку, ремень с медной бляхой городского училища, се-

рые полубумажные брюки, болотные сапоги. Едва ли выручил я за всё двенадцать — пятнадцать рублей. Взамен я приобрел парусиновые штаны, белую матроску с синим воротником, тельник и ношеные башмаки, но не решился купить фуражку с лентой, считая, что не имею на то нравственного права, а потому ходил в соломенной шляпе. В отношении расхода своих грошей я вел себя еще глупее: несколько раз тратил в парке по тридцать — пятьдесят копеек на стрельбу в тире из монтекристо, по пять копеек за выстрел (хотя сбил, однако же, шарик фонтанчика), то покупал апельсины и хорошие папиросы, то ходил обедать в «Обжорку».

На конце Карантинной улицы, против Ланжероновского спуска, находилось каменное здание с открытыми дверями, откуда шла вонь кухни и грязи, — знаменитая босяцкая столовая, прозванная «Обжоркой»; за ее задней стеной, в кучах мусора, жили «дикари» — окончательно голые босяки, пропившиеся дотла.

Внутри, за обитыми цинком столами, сидел на скамьях массовый посетитель этого заведения: босяки, грузчики, бродяги и пьяницы.

Борщ в фаянсовых мисках, с хлебом и требухой, отравленный красным перцем до слез в глазах и до ощущения в горле каленых углей, стоил шесть копеек; три копейки стоили макароны в бараньем сале, печенка или каша.

Поев, я шлялся в порту безрезультатно, всходя на палубы судов с предложением взять меня матросом, кочегаром или угольщиком; сидел в библиотеке, читая что-нибудь, или томился на скамьях бульвара.

Постепенно я ознакомился с гаванью. В Карантинной гавани были пристани Русского общества пароходства и торговли. Не помня теперь названия молов, я знал тогда, где стоят угольщики частных владельцев, пароходы Российского общества транспортов, где останавливаются нефтеналивные пароходы «Блеск» и «Свет»; другие, кажется, «Айтер», «Гранвилль», «Боржом». Кому принадлежали они, я не знаю; кажется, надо думать, Русскому обществу П. и Т. Огромные пароходы Добровольного флота: «Саратов», «Петербург», «Воронеж» и другие — приваливали к соседнему с Карантинным молу. Вдоль набережной шел ряд парусников. Здесь стояли кормой к берегу греческие и турецкие суда — плоские, с широкой кормой и косыми пару-

сами, часто цветными. Эти суда поражали грязью и яркостью нелепо безвкусной окраски: голубая, желтая, зеленая, красная краски мешались в их очертаниях. Под бушпритом этих фелюк висели наклонно деревянные фигуры ангелов, голых женщин, грифов и Нептунов. В чалмах, фесках, обшитом золотом грязном тряпье бродили на палубах смуглые моряки архипелага. Фелюки напоминали грязную скотину; я не любил их, так же как не любил длинную цепь русских парусных шхун и «дубков», заполнявших огромную набережную на дальнем конце гавани. В сравнении с отчетливостью, разумным и красивым видом пароходов, а также больших парусных судов, стоявших на рейде, эти парии моря отталкивали меня, — я редко бывал в дальнем конце гавани, больше всего слоняясь между Карантином и волнорезом.

Здесь был мир иностранных грузовых пароходов — огромных и спокойных чудовищ, большею частью серого и темного цвета. Впоследствии я узнал, что побирающийся и безработный матрос всегда получит у иностранцев горсть белых галет, пачку табаку, кусок мяса. Но я, когда побирался, к иностранцам не заходил: мне было, должно быть, совестно, — совестно объяснить знаками голод.

Территория порта была прорезана рельсовыми путями, окаймлена угольными и товарными складами. Ночью порт ярко озаряли торжественным белым светом дуговые фонари. Над земными рельсами шел воздушный рельсовый путь-эстакада, высокий помост, с которого из загонов грузились на пароходы хлеб и другие товары. Ночью грохот гавани замирал, но уже с раннего утра слышались крики грузчиков: «Вира! Майна! Хабарда! (берегись!)»; полуголые, в широких, до щиколотки штанах и грязных фесках работали на пристанях артели турок, называемых «агибалами», «агибалками». Каменные сортиры у входов на молы распространяли едкий запах карболки и хлорной извести. Теперь, насквозь прокуренный, я утратил остроту обоняния, но тогда все запахи гавани — камня, угля, железа, морской воды и нечистот — резко возбуждали меня.

Я выкупался один раз у основания мола, против лестницы (не знал, где надо купаться), на глазах у сбежавшейся к пароходу публики, и нашел, что морское купанье неинтересно. Вода была холодна, тяжела, на вкус солона и лекарственно горька. Хорошо видимое дно

было здесь усеяно камнями, тряпками и жестянками. Впоследствии я купался за волнорезом и, войдя во вкус, купался раз по пяти в день, научившись недурно плавать.

С закатом солнца на Карантинной улице начиналось вечернее беснование. Среди вони подгоревшего масла, пьяных растерзанных женщин, собак, среди грязной брани и рева детей, вдоль тротуаров, на тумбах, скамьях, у решеток подвалов располагалось рабочее население: грузчики, поденщики, босяки — с закуской и водкой. Одурев, большинство их расходилось по ночлежкам, остальные — в свои углы. Утром по глубоко лежащей мостовой с мостиками вверху, соединяющими края Карантинной балки, медленно ползли вниз вереницы подвод, запряженных парой волов; таща кладь, животные шагали крупно, шевеля трущее им загривки ярмо и ворочая головами с видом угрозы. «Цоб-цобе!» — кричали возчики, пуская иногда в дело тяжелый кнут.

Я прожил в подвале дней десять. На третий день, как я появился здесь, одно купанье едва не стоило мне жизни, а впоследствии причинило много неприятностей.

По всему маячному молу (волнорезу, ограждающему море от бухты) проходит толстая стена с сквозными нишами и внутренними лесенками, ведущими на верх стены. Наружная, то есть внешняя, сторона мола окаймлена неправильно торчащими *массивами* — кубическими камнями искусственного происхождения (смесь гальки и цемента), каждая грань камня — саженной длины. Здесь спокойная вода будет по шею купальщику среднего роста.

Однажды в пасмурный ветреный день я заплыл довольно далеко от мола, не обращая внимания на поднявшееся волнение. Издали уже видел я, что мол опустел; белые взрывы воды кидались к стене, перехлестывая через массивы. Обеспокоенный, я пустился обратно и, приплыв близко к камням, очутился во власти волн. У берега волны были так велики, что, перехлестывая через массивы, били о стену. Отхлынув на момент, море просторно обнажало песок; я, вырвавшись из воды, бежал к массивам по дну более десяти шагов; едва я ухватывался руками за верхний край массива, чтобы подняться и выбраться, как — даже если я уже лежал на массиве животом, еле дыша, — убегающая волна смывала меня, несла далеко назад и снова мчала вперед.

Мгновениями я не видел света, так как тонул с головой. Я почти лишился дыхания, наглотался соленой воды и после, пожалуй, получаса избиения водой о камни, был вклинен особенно сильным валом между стеной и массивом. Чуть отдышавшись, я отполз, крепко цепляясь за камень, к ближайшему проходу и ногой очутился по ту сторону опасности, которая была велика.

Одежду мою унесло, смыло водой, руки и ноги кровоточили, ссадины ныли, голова болела от удара о камень. Я подобрал тряпку и, прикрывшись ею, несмело пошел вдоль набережной. Прохожие сурово отнеслись к такому костюму; некоторые ругались. Узнав, в чем дело, один грузчик сжалился надо мной и дал несколько хлопковых покрышек, сорвав их крюком с тюков. Кое-как обмотавшись, я добрался домой, где один сожитель отдал мне развалившиеся опорки и старую кепку. У меня были старые штаны; моя матроска осталась дома (так как я вышел купаться в сетке), и я снова оделся.

Через день я заметил на левой ноге, спереди, между ступней и коленом, две небольшие язвочки, такая же появилась на правой ноге. Особенно не беспокоясь, я ходил каждый день купаться; соленая вода разъедала язвы, и дней через пять образовались три обнаженных места воспаленного гноящегося мяса, величиной в монету в две копейки. Вокруг них при нажиме на теле оставались ямки, как в мякише.

Я сходил на больничный прием; там я получил бинты и йодоформ.

Запах от этого лекарства, особенно при жаре, был таков, что жильцы и хозяева-евреи стали посматривать на меня «со значением». Один старый бродяга, промышлявший ловлей бычков и сбором старого железа, заметив, что я делаю на дворе перевязку, прочел мне ужасную лекцию. Он заявил, что «это» кидается на голову, идет по спине, забирается в кости и разрушает желудок. Короче, он подозревал люэс. Напрасно я уверял его, что «это» не может быть; он продолжал пугать, и я вдруг поверил ему, потому что не знал медицинских указаний о природе сифилиса. Меня обуял страх; шатаясь, я бессмысленно пошел через двор и упал в обморок.

Меня привели в помещение, а вечером хозяйка заявила мне, что такого больного она держать на квартире не может, — у нее дети, жильцы в претензии и т. д.

Проведя бессонную ночь, я утром снова пошел в больницу, где врач сказал, что бродяга просто болтун, не знающий, о чем говорит. Язвы были доброкачественные, от малокровия и плохого питания. Я успокоился, но в споры с хозяевами вступать не хотел — эти люди мне не поверили бы — и тут же решил воспользоваться наконец письмом неизвестного пассажира[3].

III

Я не знаю, что писал Кондратьев Николаю Ивановичу Хохлову, старшему бухгалтеру. Мое появление и письмо произвели некоторую сенсацию.

Веснушчатый, рыжий цветом лица и с глазами навыкате, Хохлов осыпал меня вопросами: «Почему не пришел раньше? Есть ли деньги? Как отпустили мальчика из дома без денег и знакомств?»

— Я хотел сам, — твердил я. — Я хотел устроиться сам.

Хохлов дал мне рубль. Его помощник, черный, болезненного вида тщедушный человек с бородкой, Силантьев, дал шестьдесят копеек, и они назначили мне прийти завтра. Нельзя теперь припомнить, до какой степени меня утешило и ободрило доброе отношение; я уже думал, что на днях буду служить матросом.

— Поди купи себе табаку! — сказали бухгалтеры, провожая меня.

Еще ночь я переночевал в подвале, а утром, захватив свои вещи, как велел Хохлов, был в конторе.

Хохлов послал за человеком, который вскоре явился. Это был высокого роста, странно прямо державшийся, пожилой хохол, несколько комического типа, бывший матрос. Теперь по болезни он жил в бордингаузе агентства, в так называемой «береговой команде». Матроса звали Кулиш, прозвище было «Дядька».

Короче говоря, Хохлов поселил меня в бордингаузе, на полном, кроме одежды, содержании (лишь выдали башмаки), без всяких обязанностей с моей стороны, впредь до получения службы, о чем обещал хлопотать среди знакомых капитанов.

Здание береговой команды помещалось в дальнем от гавани углу огромного двора агентства, ближе к Карантинной площади. Это был одноэтажный дом из четырех больших комнат, где, как в больнице, стояли

койки и столы-шкапчики. Рядом с домом было здание кухни.

Когда я потом присмотрелся, то увидел, что, кроме старожила Кулиша, жильцы были не вечные: заболевшие, отставшие от рейса, вернувшиеся из побывки дома, в деревне; были и такие, кто долго плавал раньше на пароходах общества, — ждал вакансии. Всего жило здесь человек двадцать, и их места занимали новые.

Ящик, обитый цинком, полный белого хлеба, стоял у стены; каждый брал себе сколько хотел.

Мне выдали общий месячный паек: четверть фунта чаю, пять фунтов сахару и полфунта недорогого табаку.

Моя койка стояла в первой, самой большой комнате. У меня были три простыни, байковое одеяло, подушка; я застлал кровать и устроился.

Всем, кто меня расспрашивал, я рассказывал свою нехитрую повесть, которая, по-видимому, вызывала недоумение и очень мало доброжелательства. Более других я сошелся с задумчивым бородатым кочегаром; он был тих, его опухшее белое лицо заставляло подозревать болезнь. Однако он жил здесь потому, что находился под следствием. Суть его дела я знал, да забыл.

В этом доме я чувствовал себя одиноким, чужим. Кулиш называл меня не иначе, как «паныч». Иногда мне обиняком давали понять, что считают меня поселенным здесь затем, чтобы доносить в агентство о жизни призреваемых. Часто надо мной смеялись и издевались, — верно, я был, должно быть, смешон среди этой прожженной братии. Суть насмешек я вспомнить не могу, но бывал я часто разобижен до слез.

Среди матросов было несколько военных; их желточерная лента на фуражке не нравилась мне; я признавал только черные ленты с отпечатанным золотом на их конце якорем. Эти матросы ожидали назначения на пароходы Русского общества. Они плавали за жалованье, как и частные люди, а начальство размещало их на частных судах для практики заграничного плавания. Утром мы пили чай с хлебом и куском сала; в двенадцать часов дня приносились жестяные баки с чудным борщом; только на море умеют так варить борщ. Кусок вареного мяса и жаркое — тоже мясо или баранина — заканчивали обед. По воскресеньям давалось что-нибудь третье: сырники с сахаром, компот.

Ужин состоял из остатков борща, макарон или каши.

Встав утром, я после чая отправлялся бродить по гавани, пытаясь добыть место матроса. Куда я ни заходил, везде получал отказ; наведываясь в контору к Хохлову, слышал одно: «Еще ничего нет, потерпи».

Время от времени оба бухгалтера, встречаясь со мной на дворе, вручали мне мелочь — сорок—шестьдесят копеек на табак, но я всего прокурить не мог (я курил тогда еще не затягиваясь дымом как следует), а потому тратил деньги на апельсины, орехи и изюм.

Однажды, проходя по гавани, я встретил около парохода «Мария» (Р. О. П. и Т.), делавшего крымско-кавказские рейсы, Малецкого. Он плавал на «Марии» учеником, на своих «харчах» (как-то так выходило по штату продовольствия) и, заведя меня в свое крохотное помещение — род косой каюты, где трудно было повернуться, угостил копченой воблой. На другой день, когда этот пароход уходил в рейс, я с грустью смотрел, как Малецкий, вея ленточками, суетился у сходни, таща канат. Среди оживленной, хорошо одетой толпы пассажиров он казался мне героем, но воспоминание о вобле что-то мешало мне завидовать Малецкому.

Был случай, когда я «чуть-чуть» не поступил на огромный белый керосиновоз «Блеск», отправлявшийся через Ла-Манш в Петербург. «Блеск» погиб в Ла-Манше, — от шторма или пожара, не помню. Я просил, чтобы меня взяли хотя бы угольщиком, и старший механик внял слезным просьбам моим, но у меня не было разрешения от отца плыть за границу. Однако механик обещал дело устроить, и на другой день — к отплытию — я пришел с надеждой, но, увы, опоздал на час: только что взяли угольщика. Таким образом я остался в живых.

Другой случай подобен этому: в Практической гавани долго стояла замечательной красоты яхта «Вега» — большое океанское судно, с отделкой красным и ореховым деревом, с снежно-белыми джутовыми снастями. Там капитан также обещал взять меня матросом, — хотя бы сначала без жалованья, но, походив на «Вегу» дня три, я узнал в конце концов, что нанят настоящий матрос. Его видел я: спокойный, скучный, серый; рабочий, но не моряк душой, — не путешественник. Этому человеку завидовал я сильно и горько.

День за днем я бродил по гавани и скучал. Жара, угольная пыль, отходы и приходы судов, морская

3 Зак. № 272

даль, — всё гнело меня ужасной тоской. Я избегал часто писать отцу, потому что нечего было сообщать; сочинять также не было повода. Отец прислал мне разрешение — нотариальное — на заграничное плавание, и оно без пользы лежало у Хохлова. Раза два Силантьев спросил у меня, не хочу ли я подработать — катать вагонетки с хлопком, за что платили рубль двадцать копеек в день. Но взяться за дело грузчика казалось мне концом всех мечтаний о плавании. Я отказался, говоря, что не хочу отнимать у себя времени для поисков места. Он не настаивал, а я снова начал ходить по Одессе, гавани, уже без особого пыла, как ходит уставший охотник, видя дичь, но растратив заряды.

Самыми любимыми витринами на больших улицах были для меня витрины табачные, витрины художественного магазина, где висели длинные, подвесные, для простенков акварели, изображавшие зеленоватую солнечную рябь моря, с парусами лодок вверху, и витрины китайского фарфора. Еще я охотно разглядывал выставленные в окнах сельскохозяйственного магазина модели сеялок, веялок, плугов и т. п. Но в те времена для меня зрелищем было всё.

Особенности приморской жизни мне нравились. Многие из населения носили красные фески, чувяки; карманные платки были большею частью цветные, живую домашнюю птицу таскали связанной за ноги, головой вниз, но это возмущало меня. Из хлеба я отметил большие плетеные «халы», не столь, по-моему, вкусные, как пятачковые пеклеванные хлебцы. Невкусный черный хлеб пекся в длинных формах. На хлебе наклеивались печатные ярлыки с обозначением пекарни. Рыночные торговки продавали вареные кукурузные колосья, мне не любезные. Так называемая французская курительная бумажка имела вокруг обложки резиновый волосок. Бумага была очень тонка, а потому я с трудом научился свертывать папиросы. В большой моде были дешевые лакированные табакерки, черные, из папье-маше, с цветной картинкой на крышке: генерал, красавица или тройка. Празднично одетые матросы, гуляя, выпускали из-под фуражки особо уготованный парикмахером крендель волос, что называлось «Скандебобр, или переход через Черное море». На площадках большой лестницы из двухсот десяти широких ступеней, ведущей от порта к памятнику Дюка, то есть герцога Ришелье, про-

давались океанские раковины, трости, резные изделия из мыльного камня, грубые картинки, папиросы и т. п. Я часто ходил на Дерибасовскую в прекрасный городской сад, в парк — за Карантином, бродил и по разным улицам, но в общем город знал плохо.

Городом для меня был порт.

Жизнь мою отравляли всё увеличивавшиеся язвы ног. Ноги ныли, чесались, язвы гнили, имели вид кругло выгрызенного мяса. На втором посещении врача больницы я получил, вместо йодоформа, цинковую мазь, которая не пахла. Для перевязок мне приходилось тайно от сожителей бинтовать ноги в сортире, на дворе или за помостом, куда сгружался из вагонов хлопок, а мазь прятать под матрац.

В конце августа мне наконец повезло. Старшин помощник «Платона», парохода Российского общества транспорта, согласился взять меня учеником за плату восемь рублей пятьдесят копеек за продовольствие.

Я распрощался с Хохловым, Силантьевым, своими сожителями, продал пару белья, купил матросскую шапку и новую ленту, гласящую на лбу «Платон», и почувствовал, что я наконец моряк. Пока «Платон» грузился, я выпросил письмом у отца десять рублей, присланных телеграфом, и заплатил восемь с полтиной.

«Платон» стоял и грузился дней восемь.

IV

Боцманом на пароходе был тщедушный пожилой украинец с воровским и угодливым лицом, злое животное, не любившее учеников. Капитан, сравнительно молодой человек, мною забыт, но я хорошо помню двух матросов, учеников Херсонских мореходных классов — Врановского и Козицкого. Оба они были матросы первого класса, то есть рулевые; оба поляки, гонористые и вороватые.

Врановский носил матросскую одежду, а Козицкий, ранее плававший на английском пароходе, подражал англичанам: носил кепи, тельник под бушлатом и курил трубку; при выходе на берег надевал пиджачный костюм и узенький розовый галстук. Безусый, розоволицый, с голубыми навыкате глазами, он принадлежал к несколько «бабьей» породе, мне неприятной. С Врановским я сошелся близко.

Еще в Вятке я полюбил мелодию герцога из «Риголетто»: «Если красавица в страсти клянется...» Врановский умел, свернув бумажку трубочкой, искусно высвистывать на ней всякие вещи, особенно он любил «Если красавица...». Кроме того, Врановский кое-чему меня учил: как называются снасти, как вязать разные узлы, называл мне «технические» части судна, объяснял сущность ведения корабля по компасу.

Из остальной команды я помню двух братьев-нижегородцев, красивых людей великорусского типа, с мягкими русыми бородами. В качку, как ни странно, оба валялись больные морской болезнью, но их не рассчитывали.

Морская болезнь ужасно пугала меня. Я не знал, подвержен я ей или нет. Матросы — в насмешку, надо полагать, — советовали мне есть грязь с якоря, — будто бы помогает.

Я не раз упоминал о насмешках, об издевательстве. Кроме того, что на пароходах в отношении новичков существует этот вид спорта, — сказывалось, надо думать, внутреннее мое различие с матросами. Я был вечно погружен в свое собственное представление о морской жизни, — той самой, которую теперь испытывал реально. Я был наивен, мало что знал о людях, не умел жить тем, чем живут окружающие, был нерасторопен, не силен, не сообразителен.

Иногда, хлебнув чаю, я плевался: там была кем-то насыпанная соль или был брошен в чайную кружку полуфунтовый кусок моего же сахара.

Если по рассеянности я клал шапку на стол кубрика — она летела в угол: неправильно класть шапку на стол.

Я относился серьезно, обидчиво не только к брани или враждебности, но и к шуткам, конечно, грубым, что вызывало удовольствие моих мучителей.

Подделываясь к команде, Врановский с Козицким всегда принимали сторону шутников.

Когда чистили «медяшку», то есть медные части судна: поручни, решетки люков, дверные ручки, боцман заставлял меня тереть и тереть без конца, хотя уже медь, что называется, горела. «Костью чисти, Гриневский», — говорил боцман. «Как костью?» — глупо удивлялся я. «Так три, чтобы мясо на руках до костей сошло».

При мытье палубы, которую растирали щетками, я подвергался как бы случайному обливанию из шланга и постоянным бранчливым замечаниям, что медленно мету палубу или слабо тру ее щеткой.

Однажды вечером, не имея спичек, я не достал их ни у кого. Надо мной пошутили: «Гриневский, прикури от лампадки» (перед иконой всегда горела лампадка). Не видя в том ничего особенного, я влез на стол и прикурил (икона висела на столбе, поддерживавшем палубу юта).

Тотчас же я получил удар в скулу. Это сделал боцман. Я кинулся на него с ножом, но был обезоружен матросами. Оказалось потом, что это было подстроено по уговору, и напрасно я кричал, что виноват тот, кто научил меня прикурить от лампадки, — боцман твердил: «Ты сам-то не понимаешь, что ли?»

Не прошло часа после моего появления на «Платоне», как боцман поставил меня на вахту у сходни. Нельзя придумать занятия легче для новичка, но мое самолюбие было задето, — я хотел работать как матрос, стать сразу матросом. О том я заявил старшему помощнику.

Тогда меня после обеда посадили на подвесную к борту доску, рядом с Врановским — соскребать железным скребком старую краску. Я с увлечением принялся за работу и устал как собака. На другой день мне пришлось убирать и мести в трюме, чистить «медяшку», мыть палубу, то есть работать как матросу. Кроме того, произошло так называемое «перетягиванье»: пароход подтягивали канатами, вручную, к другому месту мола.

По непривычности мои руки стали болеть, на ладонях появились водяные нарывы (мозоли). Пальцы плохо сгибались. Но хуже всего такого был послеобеденный отдых; он продолжался с двенадцати до часу дня; этот час включал также обед, после которого властно тянуло ко сну. Короткий сон так морил и расслаблял, что с отвращением я начинал опять работать.

Скоро началась погрузка. Я был снова поставлен к сходне, но уже не жалел об этом, — единственно хотел бы я управлять лебедкой.

День проходил знойно, шумно. В восемь часов утра баковый колокол звонил к завтраку * (он продолжался

* Четыре удара «склянок». — *Прим. А. С. Грина.*

полчаса), в двенадцать — к обеду, в один час — на работу. В шесть часов вечера колокол звонил — конец рабочего дня — двумя ударами.

Я хотел звонить в колокол, но мне не давали делать это, так как требовалась отчетливость сильного двойного удара по обоим краям небольшого колокола. Впоследствии пришлось звонить; однако не так хорошо, как другие.

Теперь я вижу, как я мало интересовался техникой матросской службы. Интерес был внешний, от возбуждающего и неясного удовольствия стать моряком. Но я не был очень внимателен к науке вязанья узлов, не познакомился с сигнализацией флагами, ни разу не спустился в машинное отделение, не освоился с компасом. Я думал, что все знания явятся впоследствии, постепенно, сами собой.

Однажды, поздно вечером, четыре матроса отправились в город; среди них Врановский; я с ним отделился от других. Мы пошли по Дерибасовской улице; там в толпе гуляло много матросов, и я был очень доволен, что у меня, на спине лежат концы лент, а лоб открыт.

В другой раз я был днем свободен (по праздникам не работали) и зашел в Публичную библиотеку. Смотрю: вошел также Козицкий. Я взял «Неистового Роланда» Ариосто; Козицкий взял что-то ученое. «Что ты читаешь?» — спросил он меня за столом. Я сказал. «Ты всё глупости да сказки читаешь, — пренебрежительно заявил он. — Вот что читай, это лучше», — и он показал какое-то сочинение по политической экономии, но, важно поглядывая вокруг, отдал книгу конторщице и ушел; а я стал также зевать над Ариосто и тоже ушел.

Наконец погрузка была кончена, утром пароход заполнился толпой пассажиров, среди которых было много армян, бежавших из Турции после неистового погрома армян в Константинополе (в 1896 г.), когда турки, как говорили, вырезали не менее ста тысяч человек.

До отплытия я красовался у сходни, но никто не обращал на меня внимания.

Гудки проревели, сходни на талях лебедки были спущены, и пароход отвалил.

Сердце мое трепетало и плыло вдаль. Я пошел на бак, к бушприту, чтобы смотреть вперед без помех. Когда прошли маяк, волнение начало качать пароход

килевой качкой. Первый момент было странное ощущение под ложечкой, однако я оказался не подвержен морской болезни, что с торжеством сообщил всем матросам.

Трудных работ в плавании не было. Палубу, загруженную товаром и пассажирами, мыть было нельзя, чистить медь тоже. Все держали вахту по очереди — по четыре часа смена: рулевой на мостике, один матрос на палубе, на корме, другой вахтил при вахтенном помощнике, стоявшем наверху; матрос бегал туда по свистку за распоряжениями. На приказания надо было отвечать: «Есть!» — и это мне нравилось.

С вечера, как темнело, на бак, к колоколу, ставился еще вахтенный. Этот следил огни в море и должен был звонить: слева огонь — один раз, справа — два раза, впереди — три удара.

Переход к Севастополю в открытом, без берегов, море, при сильном волнении; вид стай дельфинов, несущихся быстрей парохода, их брызгающие фонтанчики, белые брюха, темные спины, их тяжелые выскакивания — всё действовало упоительно. Ночью при качке было приятно спать, приятно было ходить, покачиваясь, смеяться над тем, как тошнит слабых пассажиров. Нечто настоящее начало совершаться вокруг; всё начало отвечать своему назначению: плыть.

Понемногу я знакомился с интересами и рассказами матросов. Они, то есть интересы, сосредоточивались на доступных женщинах, пересудах о начальстве, на выпивке, портовых сплетнях.

Некоторые песенки я запомнил; например, первую строфу модной тогда:

Крутятся, вертится
Шар голубой.
Крутится, вертится
Над головой.
Крутится, вертится,
Хочет упасть,
На барышни на голову
Хочет попасть...

Потом такая песня:

Вот вхожу я в Дюковку,
Сяду я за стол;
Скидываю шапку,
Кидаю под стол;
И в тебе я спрашиваю:

И что ты будешь пить?
А она мне отвечает:
Галава балыть!
Я ж в тебе не спрашиваю,
Що в тебе балыть,
А я в тебе спрашиваю:
Що ты будешь пить?
Альбо же пиво, альбо ж вино,
Альбо же «Фиялку», альбо нычево!

В прошлом году итальянский пароход «Колумбия» столкнулся с пароходом «Владимир» Р. О. П. и Т. «Колумбия» потопила «Владимир» и ушла, не приняв на борт гибнущих. Погибло триста человек.

Долго еще в Одессе пели:

Та-а-ра-ра-бумбия!
«Владимир» и «Колумбия» — а-а!
«Владимир» погибает,
«Колумбия» ти-к-а-а-ет!

Я помню начало такой песни:

Адес, Адес! страна родная!

Из матросских россказней я помню хорошо три: о греке-поваре на одном пароходе Добровольного флота, который умел гадать. У одного матроса пропал кошелек с деньгами. По просьбе жертвы кражи повар взял сито, нацепил его висеть на ручку уполовника, отметил край сита чертой и заголосил басом: «Сито, а сито, скажи: хто узял гроши?» Присутствовала вся команда. Сито само повернулось и уставилось чертой против вора.

Сенсация!

Про того же повара говорили, что он разговаривал со своими кушаньями, например: «Соуси, соуси, не чопуритесь, соуси!» (то есть не сопротивляйтесь). Или: «Та це вы, баклажаны, дурни, аж не видите, що я горилку дую?!».

Один преподаватель Анапских мореходных классов так матерился, что и весь класс начинал его материть, а дело кончалось дракой.

У боцмана Хоменко, на пароходе «Херсон», была складная металлическая стопка: стоило предложить ему выпить, как он растягивал свою стопку трубкой и опивал таким образом угощающего.

Еще на стоянке в Одессе к нам в обед приходил безработный матрос, молодой, стройный, сильно загорелый

и изрытый оспой человек. Он ел с нами дня три. Впоследствии я встречал его на купанье за волнорезом и узнал, что его расчетная книжка *замарана,* то есть в ней отметка за воровство. Поэтому он не мог никуда поступить.

Это был лучший пловец в Одессе. Он нырял с камня саженей на пятьдесят вперед, оставаясь под водой более двух минут.

Его бронзовое угреватое тело было почти сплошь покрыто чудно сделанной красной, черной и синей татуировкой, большей частью непристойного содержания.

Говорили, что он сутенер. Но он был всегда деликатен, сдержан и держался с достоинством.

V

«Платон» шел круговым рейсом, то есть заходя во все порты, даже такие, где не было пристани; там выгрузка производилась на фелюки; пассажиры уезжали на лодках.

Принимая участие в выгрузке и погрузке, матросы получали пять рублей с тысячи пудов груза. Я не мог работать, — был малосилен таскать пятипудовые мешки, хотя бы в трюм, чтобы положить их на строп лебедки.

В таких случаях меня посылали в трюм только присматривать за береговыми грузчиками.

Я успевал сходить на берег, делая это по разрешению или без разрешения. В Севастополе заинтересовали меня больше, чем броненосцы, так называемые «поповки» — желтые, круглые плавучие батареи с широким низом; мне сказали, что «поповки» строил инженер Попов в 1853—1855 годах.

Я поднялся прямо вверх по крутому склону, недалеко от вокзала; устал, немного походил в этой части города и, не зная, что делать дальше, вернулся на пароход.

Огни вечерней Ялты поразили меня. Весь береговой пейзаж Кавказа и Крыма дал мне сильнейшее впечатление по рассыпанным блистательным созвездиям, — огни Ялты запомнились больше всего. Огни порта сливались с огнями невидимого города. Пароход приближался к молу при ясных звуках оркестра в саду. Пролетел запах цветов, теплые порывы ветра; слышались далеко голоса и смех.

Я без разрешения ушел в город, но проходил недолго, — боялся брани. Передо мной шла вверх узкая полуосвещенная улица, по ней спускалась кавалькада: дамы в амазонках, мужчины в цилиндрах, смуглые татары. Пронесся запах духов; молодые, возбужденные экскурсией женщины громко говорили со спутниками по-французски.

Я чувствовал себя стесненно, чужим здесь, как везде, но еще сильнее, — чуть ли не столбом тротуара. Мне было немного грустно, и я вернулся на пароход.

Долго я слышал памятью «члок-члок» копыт и видел красные лица дам, небрежно прильнувших, сбоку коня, к седлу.

Остальная часть рейса — вид портов и характер остановок — мною забыта, кроме не исчезающего днем с горизонта шествия снежных гор, — их растянутые на высоте неба вершины даже издали являли вид громадных миров, цепь высоко вознесенных стран сверкающего льдами молчания.

Лишь о Батуме я помню одну мелочь: боцман говорил, что тамошние хозяева винных погребов, грузины, держат вино в мехах и дают пробовать его бесплатно.

Еще по иллюстрациям к «Дон-Кихоту» я пленился живописным видом бурдюков (мехов), а потому сходил в Батуме к грузину-духанщику, где, точно, на камнях и подставках, как толстые туши, лежали эти меха с вином. Но духанщик налил мне на пробу только треть стакана красным вином, и оно мне так не понравилось, что я больше «пробовать» не ходил.

По возвращении в Одессу «Платон» стоял там неделю, и, как уже подошел срок моим восьми с полтиной, то старший помощник начал требовать с меня деньги,

Я отговаривался тем, что дважды писал отцу и на днях получу деньги, но был страшно встревожен: по возвращении в Одессу я, точно, получил письмо отца, но такое, что надежд на деньги у меня не было. Правда, в письме лежала трехрублевая бумажка. Отец писал, что денег он посылать больше не может, — «старайся сам». Он жаловался на дороговизну, многосемейность, нужду, и я знал, что всё это правда.

Мне нечего было продать, чтобы набрать восемь рублей пятьдесят копеек, к Хохлову обращаться я стыдился. Я очень жалел, что перед первым отплытием продал одному матросу свое полосатое байковое одеяло за четыре

рубля (оно стоило десять рублей) только для того, чтобы купить одну из прекрасных фарфоровых китайских чашек. За нее я заплатил два рубля пятьдесят копеек.

Надо мной смеялись. «Ну, зачем тебе чашка?» — спрашивали Врановский и другие. Но я не мог объяснить им то, что плохо понимал в себе сам: жажду красивых вещей.

Еще очень нравились мне узкие ножи в ножнах, небольшие, с прямой ручкой из отшлифованного пестрого камня, вывозимые из Греции. Такой ножик я купил у Козицкого за полтора рубля, а он платил за него восемьдесят копеек.

Подступил срок отплытия, и старший помощник, накануне отхода, еще раз сказал: «Надо платить вперед или уходить». Я обещал всякую нелепицу, втайне надеясь, что обо мне забудут. Действительно, разговор не поднимался больше об уплате; забыл помощник или решил ждать — я сказать не могу; второй рейс, так или иначе, я совершил.

Рейс оказался трудным. Ранние холода этого года, резкий северный ветер и штормы, при отсутствии теплого платья, так выстудили меня, что, бывало, ночью на вахте я весь трясся, то и дело бегая в кубрик греться, хотя рисковал подвергнуться наказанию. Матросы, зная, что я не уплатил и плыву в некотором роде зайцем, пугали меня: «Гриневского ссадят в Севастополе; помощник сказал...», «Гриневского ссадят в Керчи», «Ссадят в Батуме»; «ссадят... ссадят... ссадят...» — скребло у меня на сердце весь путь до Батума, пока мы не пошли обратно.

Желая смягчить начальство (которое оставалось равнодушным), я бросался везде, где работали, где был нужен и не нужен; ворочал брашпиль, тащил канаты, «койлал» (свертывал) их на юте и баке, замерзал, нес вахты. Кто-то дал рваный овечий полушубок, скорее пиджак из одних сырых кож, скорее напоминающий собрание пластырей, чем одежду, но мне стало легче. Иногда утром (на обратном пути) скользко было ходить по обледеневшей палубе, <приходилось> хвататься за промерзшие снасти.

На этом обратном пути я ради какой-то надобности прицепил к шкерту дубовое ведро с медными обручами и пустил в волны; узел развязался, ведро осталось дельфинам. Тогда боцман приказал мне достать ведро, где

хочу, — купить или украсть — мое дело, но иначе заберут остаток моих вещей (ведро стоило три рубля). Ведро я достал в Одессе, но об этом потом.

Самой тяжелой историей, разыгравшейся на «Платоне» в тот рейс, была история пьянства и трюмной кражи, произведенной Врановским и Козицким.

Произошло это так.

В Феодосии палуба парохода была нагружена большими бочками вина и стадом овец — штук двести. Чтобы овцы не бегали и не сбивались в кучу, между ними по палубе устроили перегородки из досок; бочки стояли вдоль бортов, а также в проходе между лебедкой кормового трюма и стеной входа в машинное отделение.

Часов около десяти вечера, при сильной качке, я, Врановский, братья-нижегородцы и еще два матроса рассматривали медную трубку, которую показал нам боцман. Известно, что в таких случаях (а что-то было уже решено без меня) люди, особенно бывалые, объясняются наподобие муравьев — более трением незримыми «усиками», чем точно сказанными словами. Особо прямого ничего сказано не было, только боцман предупредил, чтобы сделали дело осторожно; сам он пить не пошел.

Свистал адски холодный ветер, темно было, как в животе черной кошки. Вахтенный помощник ни видеть нас, ни слышать не мог.

Мы пробрались за машинное отделение. Один матрос просверлил буравом бочку, вставил в отверстие медную трубку — и дело пошло. В бочке был крепкий портвейн. Кто прикладывался сосать, тот отходил не скоро. Слезы от крепкого винного духа, тепло и головокружение напали на меня, когда я по очереди раза три приложился к этой материнской груди.

Не столько от количества выпитого вина, сколько от дыхания спиртом из бочки, мы все скоро охмелели до чрезвычайности. Сели, стали закусывать. Начался хохот, шутки и очень громкие уговаривания вести себя тише.

Вахтенным на палубе был я. Мне пришла удачная мысль доить овец — попить парного молока. Все поддержали меня. Начали ловить во тьме лохматых животных и щупать, где у них вымя. Доить решили в фуражку. Перепуганные овцы сломали перегородки и начали скакать, дико блея, по спавшим над трюмами палубным пассажирам.

С мостика раздался свисток. Я стал ввинчивать по трапу наверх и предстал перед старшим помощником, ухмыляясь вполне бессмысленно.

— Что за шум? Что такое?

— Это овцы, — сказал я, — овцы, и больше ничего.

— Гриневский, ты пьян?

— Зачем же пьян? Я не пьян.

— Ну, дохни.

Дохнул.

— Так. Кто там с тобой?

Я сказал.

— Что вы делаете?

— Да ничего. Сидели, курили.

Вахтенный помощник приказал позвать боцмана, старшего матроса и Врановского. Пришлось нам признаться, что перепились из бочки (которой жулик боцман сосредоточенно заколотил свежую рану клепкой), а на другой день в кубрике был произведен обыск, — оказалось, что из нескольких ящиков в трюме, которыми ведал Врановский, пропало пять штук сукна.

Незадолго перед этим Врановский дал мне и Козицкому много дешевых конфет и папирос. Они лежали в наших ящиках. Материй не нашли, но нашли эти папиросы и конфеты, — их Врановский тоже украл.

Его допросили; он признался и вернул сукно, зашитое им в свой матрац, а также спрятанное частью под кубриком, среди хлама. По отношению к пившим вино командир ограничился строгим выговором, а Врановского и Козицкого (тот тоже участвовал в похищении товара), из сожаления к ним, не предали суду, но уволили по приходе в Одессу.

— Никак не ожидал от Врановского, — слышал я разговор старшего помощника с механиком. — Хороший матрос, держал себя всегда с гонором.

Предложено было уйти и мне, как не имеющему чем платить. Но я уже приготовился к этому.

Боцман со старшим матросом требовали восстановить ведро — «иначе изобьем насмерть». Что делать? К «Платону» пристал борт о борт пароход «Петр». И вот, обуреваемый смелостью отчаяния, днем, наученный так поступать тем же боцманом, я — среди толкотни публики и грузчиков — на глазах у всех, взошел на мостик «Петра», вынул из гнезда дубовое ведро с литерой «П» и вручил оное боцману. Ведро, конечно,

покрасили и присвоили, но, как улик не было, напрасно матросы «Петра» попрекали нас кражей, — боцман меня не выдал.

VI

Мне ничего не оставалось, как идти снова к Хохлову. Так я и сделал, и, сжалясь надо мной, бухгалтеры опять поселили меня в здании береговой команды, хотя, не стесняясь, высказывали удивление — почему мой отец не поддерживает меня, раз я уже начал плавать? Но всегда трудно правильно оценить чужие отношения. Для этого надо было знать моего отца, прошедшего юношей тяжелую школу трехлетней тюрьмы после восстания шестьдесят третьего года, его сибирскую ссылку, его манию самостоятельности сына и его идеалы «труда, пользы обществу, помощи старику отцу». Во многом отец был наивен, как и я; должно быть, он думал, что мне найти работу и работать довольно легко. Главное — малое жалованье (шестьдесят рублей), вечные долги и пятеро детей.

На этот раз я прожил в бордингаузе целый месяц и по очереди ходил сторожить на мол склады, но только ночью.

На молу было светло как днем, часто хотелось спать, однако тому мешали контрольные часы, которые надо было заводить через каждые пять минут. Ноги тяжело мучили меня — раны увеличивались, икры опухли. Не падая духом, я по-прежнему обходил, день за днем, гавань, пытаясь найти место матроса или кочегара.

В бордингаузе жил тогда временно кочегар Иванов. Это был тихий молодой человек с чистым белым лицом и близоруко щурящимися глазами, русый; причесывался он гладко назад, к затылку; одевался в синее, как вообще кочегары: глухой синий пиджак (китель) из синей дабы и такие же брюки.

Ему пришлось быть послушником на старом Афоне; к монастырю его вообще тянуло. Я с ним сошелся; он и Василий[4] Иванович были единственные, кто меня не травил.

К тому времени мои отношения с Кулишом, всегда подзадоривавшим и дразнившим меня, стали враждебными. Без пикировки не обходилось ни одного дня. Он звал меня «паныч» — в насмешку, конечно; твердил при других, что Хохлов — мой «дядька», то есть дядя, со-

здавая тем ложное положение. Он твердил, что отец от меня отказался, что я «малахольный» (то есть «меланхолик» — ненормальный), «псих», что я «лодырь» и т. п. Вспылив, я бранил его самыми непотребными словами.

Этот Кулиш несколько лет назад был до полусмерти избит командой своего парохода за то, что утаил пять тысяч рублей золотом, украденных сообща из почтовой каюты. Грудь его была разбита, ребра сломаны, — оттого-то он держался неестественно прямо. Не знаю, чем он обошел следствие по тому делу, но его не трогали, а он даже считался у нас «старшим» и получал пенсию. Был слух, что в парке на одном дереве висят эти спрятанные Кулишом пять тысяч рублей, но мало кто верил такому слуху. Эта темная история была мне неинтересна[5].

Многого не помню, приведу лишь пример пикировки (скорее перебранки):

— Ты что, скаженный (проклятый), опять мою ложку взял?

— Та они же одинаковы.

— Одинаковы... одинаковы! Мать твоя одинакова.

— Заткни фонтан, огибалка, босяк!

— Ах ты... в гроб печенку... (и так далее, по всем частям организма, включая религиозные и моральные категории). Кнек проклятый («кнек» — чугунный постав, вокруг которого обматывают канат). Кнек! Кранец! Банберка (большой поплавок).

— Матрос с погоревшего корабля!

— Малахольный!

— Тебе гальюны (сортиры) чистить, а не борщ жрать!

— Ты голодный, на тебе кусок, подавись.

— Одинаковы!... Та у моей ложки конец зарублен, на вот, чи бачишь?

Бывало сильнее, бывало слабее. Но пикировка обязательно кончалась отвратительной руганью.

Не знаю, что выдумывал обо мне Кулиш за моей спиной, но дело кончилось плохо: однажды Кулиш загадочно сообщил, что Хохлов требует меня к себе. Он и Силантьев сидели в отдельной комнате конторы.

По лицу Хохлова я сразу увидел, что он разозлен.

— Вот я пришел, — сказал я.

— Скажи, пожалуйста, — грубо сорвался Хохлов, — какой это я тебе «дядя»?

— Вы мне не дядя. Я не понимаю...

— Ты нагло врешь! Ты всем говоришь, что я твой «дядька» и что я сделаю тебе всё, что ты только захочешь.

— Кто вам сказал такую чепуху?

— Кулиш. И я верю ему.

Разыгралась безобразная сцена. Мои объяснения, что Кулиш сам называл Хохлова «дядькой», что он клевещет, — ничему не помогли. Хохлов кричал, что я испорченный человек, я плакал и кричал, что «вы с Кулишом оба сумасшедшие, если так», что Кулиш негодяй; Хохлов кричал, что Кулиш — честнейший человек, а я на него клевещу. Силантьев хотя поддерживал Хохлова, но очень сдержанно, — видимо, сочувствовал мне.

Как я узнал потом от Иванова, разросшаяся сплетня о родстве с Хохловым обратила меня в незаконного сына бухгалтера, и это взбесило взбалмошного, но, по существу, доброго человека. Еще обиднее, быть может, казалось ему, что (по словам Кулиша) я называю его «рыжий дядька».

Я настаивал, и Кулиш был вызван. Произошла очная ставка. Кулиш нагло утверждал, что автор сплетни — я. Задыхаясь от негодования, я осыпал его справедливыми упреками и видел, что поколебал мнение Хохлова о себе, — однако, по предложению Хохлова, из бордингауза мне пришлось уйти. Я получил лишь разрешение хранить временно свои вещи в команде.

Переночевав в порту под балками эстакады, я утром пошел в больницу, где, осмотрев мои ноги, фельдшер положил меня в хирургическую палату. Здесь было немного больных — среди них несколько матросов, — кто без руки, кто без ноги; были также страдальцы с вырезанной челюстью и больные раком. Несколько почти здоровых парней бродило по палате, гогоча, задирая друг друга и флиртуя с сиделками. Один из них, помягче и деликатнее прочих, оказался мой земляк, вятский крестьянин, он плавал матросом на «Петербурге» Добровольного флота, а теперь ожидал операции: надо было вырезать под мышкой жировой нарост. Его звали Федор. Широкое, курносое и рябое лицо Федора располагало к нему. Он относился ко мне хорошо и старательно защищал меня от больных, которые меня, как новичка в больнице, приняли было на штыки разных проделок. Из них одну я запомнил: ночью меня разбу-

дил торжественно и грустно один такой «больной» и сказал шепотом, чтобы страшнее было:

— Подвинься, Гриневский, надо положить мертвого; сейчас принесут.

Я не был труслив, а мертвецов вообще не почитал причиной паники; кроме того, заподозрил мистификацию.

— Пусть несут, — заявил я. — Кладите, места хватит.

Раздалось тихое пение «Со святыми упокой, господеви», и из дверей показалась процессия: несколько человек несло завернутый в простыню «труп». Впереди, со свечкой в руке, шел, тщательно закрывая лицо, какой-то тип. «Труп» торжественно положили рядом со мной, и я почувствовал, что мертвец теплый, даже чуть шевелится.

— Вставай, довольно дурака валять! — закричал я.

Тогда мертвец воспрял и начал скакать козлом, а затем вместе с другими он кинулся на меня; озорники перекатывали и щекотали меня, а я так рассердился, что стал бить кого и как попало, и Федор наконец прекратил это ночное безобразие, разбудившее труднобольных; «пикировка» долго звучала под потолком палаты.

В более ужасной больнице мне не приходилось лежать. Порядки городской одесской больницы были известны всем в городе. Больные сами мели, сами натирали пол; халаты — короткорукие, рваные и нечистые; колпаки не по головам; жесткие постели и лепешки-подушки, набитые слежавшейся соломой; грубые простыни и редкие изношенные одеяла; нечистоплотные, грубые служащие; хулиганство больных и произвол старшего врача, кричавшего на больных, выгонявшего, если не ели скверную пищу, — всё это действовало угнетающе, особенно при воспоминании о прекрасной земской больнице в Вятке. Лекарства не стояли на столиках у кроватей, а просто в определенные часы коновал-фельдшер обходил палату со склянками в руках и каждого заставлял глотать, что полагалось по его списку. Явное воровство правило этим домом. Кто же поверит, что, собирая с пятисоттысячного населения — ну, допустим, хотя двести тысяч рублей больничного сбора (шестьдесят копеек в год с человека — обязательное постановление), нельзя было бы нас кормить иначе, чем арестантским супом и слегка тронутым постным маслом, вдобавок пересушенным при «жаренье», картофелем. Кто там

у них получал молоко, яйца, кисель, манную кашу, — я не знаю, может быть, и получал, как чудо, но мы были всегда голодны и всегда неспокойны.

Предположение операции, пугавшей меня, — отпало; как-никак перевязки, мытье ног, малое движение и лекарственные мази заживили дней через пятнадцать мои ноги; опухоль рассосалась, раны сузились и затянулись струпом; тогда я попросился на выписку, с облегчением покинув эту больницу.

VII

По выходе из больницы мне ничего другого не оставалось, как влачить голодное существование, подобно прочим париям порта, ночующим в ночлежных домах, где я теперь ютился и сам. Ночлежных домов было в Карантине два или три — не помню. Не разрешалось оставаться в ночлежке дольше восьми часов утра, поэтому приходилось идти мерзнуть на улицу. Наступила холодная солнечная осень, и, лишенный теплого платья, я часто заходил греться в «обжорку», в трактиры. Работать на выгрузке я не мог — не хватало силы, а грузить уголь, то есть катать его в тачках, меня не брали, хотя я и выходил несколько раз к босяцкому наряду возле угольных складов.

Совершенно не могу припомнить, как я питался тогда; едва ли я даже «питался», я систематически голодал, изредка выпрашивая на пароходах кусок хлеба, изредка обедая с матросами. Для этого надо было в двенадцать часов дня стоять возле борта парохода, у бака; почти всегда, видя маячащего, вздыхая, бродягу, матросы кричали: «Иди, бери ложку!» — или отдавали остатки обеда. Раз я так обедал на «Платоне» среди старых знакомых; однажды латыш с парохода из Либавы позвал меня в кубрик, дал кофе с молоком, хлеба и сала, и я наелся досыта. Свои башмаки я променял на опорки, брался за собирание старого железа, продавая его по одной копейке за фунт, пытался «стрелять» у прохожих с весьма плачевными результатами, потому что, стыдясь, не был никогда убедителен в своих обращениях.

Так промучился я недели две, не оставляя, однако, попыток получить место, обходя всякие суда, даже презренные «дубки». Сидел я как-то на набережной в конце

гавани, где стояло много этих «дубков», и смотрел, как грузят на «дубки» черепицу, соль, арбузы. Тут подошел ко мне старик шкипер, украинец, и спросил, не хочу ли я поступить на его судно «Святой Николай», которое послезавтра, если будет ветер, пойдет в Херсон. Конечно, я с радостью согласился. Жалованья на готовой пище дали мне — увы! — шесть рублей. Спорить не приходилось.

Я сбегал в бордингауз, притащил свою полупустую корзину с вещами и сунул ее в кубрик под треугольник нар. Кубрик — вернее, сырое, полутемное гнездо — отсек бака, с малой дырой под бушпритом, пропускавшей свет сквозь стекло, как в подвал.

Весь день я помогал шкиперу и его сыну, молодому хохлу с черной бородкой, грузить черепицу, а вечером был приглашен хозяевами пить чай. Мы отправились в ближайший трактир с органом. Старик купил баранок, сала, забрал мой паспорт и выдал мне один рубль задатка. Теперь я назвал бы это авансом, но остерегусь, — чтобы не получить случайно где-нибудь этот рубль — только один рубль.

Старик и его сын были одеты тепло — в новые овчинные бушлаты сырой кожи, высокие сапоги, смушковые шапки, простеганные ватные жилеты и бумазейные рубахи.

На другой день снова грузили черепицу. Промерзнув ночью в кубрике, — хотя свалил на себя все, какие нашел, обрывки брезента и мешки, — я бегал проворно, что ящерица; день был теплый; я даже вспотел. Мы (я и два грузчика) загрузили до верха трюм и уложили остаток черепицы на палубе так высоко и универсально, что она (черепица) загромождала палубу до края бортов, и негде было ступать, кроме как ходя по черепице.

Хозяева жили на корме в каюте с плоской крышей, где было тесно и грязно. Румпель ходил над крышей, где, то есть ходя по крыше и ворочая румпель, по очереди вахтили отец и сын. Середину палубы занимала маленькая кухня с железной печкой. Бочка с пресной водой стояла у каюты; в каюте хранилась провизия — бочонок солонины, крепкие, с дырочками, галеты, сало и хлеб. Чай пили кирпичный, из большого чайника.

Я исполнял обязанности матроса и повара. Хорошо еще, что украинцы на завтрак не ели горячего. Они ели много; я готовил им с утра на весь день (топил

дровами) котел борща с серыми макаронами, с салом; иногда жарил солонину. Лук и картофель были. Затем я на ужин разогревал эту гастрономию.

Я зажигал фонари: зеленый — с правого борта, красный — с левого; зажигал мачтовый фонарь, стряпал, кипятил чай, колол дрова, вахтил на баке и почти не спал, а когда спал, то дрожал от стужи. Хозяева помыкали мной как собакой; ругали, издевались над неповоротливостью. Естественно, что, шагая по черепице, иногда раздавишь одну-две, — но нет, сын кричал: «Босявка, це будут твои ридные», то есть он вычтет двенадцать копеек за каждую черепицу из жалованья.

На завтрак, обед и ужин (хозяева стояли у руля поочередно, по четыре часа каждый) мне говорили, какой части, какого румба держаться по компасу, и я минут пятнадцать — тридцать заменял рулевого.

Сын был хуже — ехиднее, жесточе отца.

Я почти не спал. Ночью выдавалось несколько часов сна, однако спать на голой доске с черепицей под головой, укрываясь брезентом, — дело плохое. Подозреваю, что был простужен несколько дней. Резкая полуштормовая погода, очень холодная, развела такие валы, что «Святой Николай» не раз касался бушпритом волн. Поплескивало и на палубу. Всё же рейс прошел благополучно, и на рассвете шестого дня плавания «Святой Николай» плыл уже в низовьях Днепра — в днепровских гирлах. Это был мир камышовых островов с лазурно-стального цвета протоками, вскоре залившимися алым светом низкого солнца.

Всё стало розовым — заря, камыши, вода; нигде я не видел берега, а если видел, то не узнавал его, принимая за острова. В этом дремуче-зеленом, ярко пылающем зарей мире зеленые отражения под водой, отражения встречных парусов, золото с вином солнца и торжественная белизна свивающихся из туманов озаренных облаков — сверкали, как изображение полного счастья рукой природы, и теми средствами, какие даны ей.

По гирлам мы плыли долго, при слабом ветре, и после двенадцати дня бросили якорь у Херсона, у набережной.

Я заявил «сыну», что служить такую собачью службу за шесть рублей больше не буду, и потребовал расчет. Хозяева с руганью подсчитали «мои ридные» черепи-

цы, — по их счету получилось, что я раздавил товару на рубль двадцать копеек; один рубль взял задатка; служил десять дней; выходит, что не они мне, а я должен им двадцать копеек.

Забрав свою корзинку, я пошел в рыночную чайную, вблизи берега, напился за последний гривенник чаю, отправился к портовому городовому и заявил ему, что хозяин не хочет уплатить деньги.

Совет городового, а также слушавших это объяснение бывалых людей был таков: надо идти в «Водяную муникацию» (коммуникацию?). С помощью прохожих я разыскал требуемое учреждение; там меня выслушали и велели прийти со шкипером, чтобы разобрать это дело,

Я возразил, что шкипер, конечно, не пойдет добровольно. Чины развели руками, пожали плечами. Возвратясь к «дубку», я начал звать идти со мной и «сына» и «отца»; в ответ, естественно, выслушал одну брань, а городовой, к которому я обратился за помощью, ограничился новым советом: подать в суд.

Дело кончилось ничем; я устал, плюнул и засел в чайной, где было тепло. Стоял мороз, градуса четыре-пять, без снега, при ярком солнце. За длинными столами чайной бабы и мужики аппетитно пожирали накрошенные в большие белые чашки (полоскательные) помидоры с луком, облитые постным маслом, уксусом, посыпанные перцем.

Было шумно, тесно. Иногда оставались недоеденные куски хлеба, и я подбирал их. Однажды, видя это, сердобольные женщины наспех состряпали мне такой же «рататуй» из помидоров, отрезали полхлеба и надавали копеек пятнадцать медью. Смысл их восклицаний сводился к скорби о том, что такой молоденький, жалостный матросик клацает зубами от стужи и голода.

Буфетчик согласился хранить мою корзинку, и под вечер я отправился в ночлежный дом, а утром сел без билета на небольшой колесный пароход «Одесса», шедший в Одессу. Буквально замерзая в полотняной блузе своей с синим воротником, весь путь я простоял сунув плечи и голову в окно кухни, дыша банным теплом и съестными запахами. Никто не бранил меня за безбилетность, наоборот, я встретил даже сочувствие, а повар, который, как мне казалось, с раздражением относился к моему торчанию в окне, наподобие поясного портрета, — после захода солнца влил в жестяной бак

полведра борща, бросил туда фунта три вареного мяса, дал целую булку, ложку, и я, скромно выражаясь на деликатном наречии южан, — «покушал». Я всё съел; меня от еды ударило в пот.

Пароход пришел к молу поздно вечером. Не зная, куда девать корзинку, я упросил стрелочника поставить ее в его будку и переночевал в соломе за конторкой Российского общества транспортов, между ящиками и досками. Мне удалось не замеченным сторожами вползти под край брезента, покрывающего товар, так что я защитился от ветра, но почти не спал, всё тело ныло и стонало от холода.

Утром я был близок к отчаянию. Я отправился, забыв о всяком самолюбии, в контору к Силантьеву, и тот отнесся ко мне очень тепло, при хмуром ворчанье — может быть, тоже тронутого моим положением — Хохлова, который сказал: «Я умываю руки; возитесь с ним, если вам нравится».

Силантьев дал мне свой адрес и, наказав прийти в шесть часов вечера, ничего больше не объяснил и сунул полтинник.

VIII

Дождавшись вечера, я позвонил у черной двери второго этажа на незапомненной улице. Меня встретила худенькая приветливая женщина лет тридцати пяти, с помятым маленьким лицом и украинским акцентом, — жена бухгалтера; провела меня на кухню, где были приготовлены чугуны с кипятком, таз, мыло, полотенце, белье и поношенный, но приличный костюм (темный), рубашка (синяя) была с мягким отложным воротничком, а к ней модный тогда галстук — шнурок. У плиты стояли шевровые ботинки.

Волнуясь, радуясь и стыдясь, я кое-как вымылся, затем оделся, а свои тряпки завернул в газету.

Хозяйка позвала меня выпить чаю. Скоро должен был прийти Силантьев. В маленькой столовой за столом, сидя против белого самовара, вкушая сладкий чай, я разомлел, — устал от сытости, тепла и внимания.

Вскоре пришел Силантьев, с довольным видом посматривая на меня, — видимо, тронутый сам событием, которого был он автор.

Хотя разговор не клеился, но был тепл, полон моих благодарностей и наставлений мне — беречь вещи, для

чего Силантьев советовал мне идти не в ночлежный дом, где много воров, а просидеть ночь в ночном трактире.

Прощаясь, Силантьев доделал последний штрих: снял с вешалки шелковое кашне и надел мне на шею.

Я вышел; дул ледяной ветер, и я, хотя был в пальто, однако промерз, пока прибежал в трактир на Карантине.

Как жена Силантьева подарила мне двадцать копеек, то я заказал чаю, купил папирос и провел бессонную ночь, страшно устав.

Тут я был свидетелем игры в карты. Вначале за столом играли четверо каких-то бродяг, — скорее портовых рабочих; затем один ушел; из оставшихся трех — двое играли особенно азартно.

Проиграв последний гривенник, «А» срывал с себя тельник, ругался в гроб и печенку и бросал вещь на стол; «Б» поспешно оценивал ее, выигрывал и тем же путем отнимал у «А» брюки, подштанники, шапку, башмаки и складной нож. После того, достаточно осмотрев телосложение «А», фортуна свидетельствовала «Б»; «А» постепенно одевался, радостно урча про гроб и печень, а «Б» постепенно раздевался, горестно рыча «в гробовое рыдание» и «могильную плиту».

Выигранные вещи они прятали под себя — садились на них.

За этими наблюдениями кое-как прошла ночь, а на рассвете я отправился искать угловую квартиру.

На углу Почтовой и Карантинной я заметил объявление: «Сдаеца койка» и зашел в третий, во дворе, этаж.

К моему удовольствию, я встретил там своего будущего сожителя — кочегара Иванова; недавно покинув бордингауз, он работал теперь в литографии, получал двадцать рублей помесячно.

Квартира состояла из двух комнат и кухни; наша комната была проходной.

У стен стояли — одна напротив другой — две койки; вторая пустовала, а стоила она два рубля в месяц.

У хозяйки — прачки, разбитной тридцатилетней хохлушки с рябинами вокруг носа — был одиннадцатилетний сын.

К хозяйке под воскресенье и другие праздники приходил ночевать на две ночи ее любовник, электротехник городского театра.

Мы сговорились, и я отправился к Силантьеву. Он познакомил меня с заведующим складами, плотным, хорошо одетым человеком в каракулевой шапке, — Мисенко; тот сказал: «Хочешь работать маркировщиком? Тогда приходи с полдня, после обеда».

Так я начал работать в складах, получая рубль десять копеек в день, а если работы не было на полдня или меньше — то шестьдесят копеек.

Надо упомянуть, что, забрав у стрелочника свою корзинку, я обнаружил пропажу моей драгоценности — китайской чашки. Правда, корзина была без замка, лишь завязана, но отрицать вину мог только такой прохвост, как этот стрелочник. Я долго стыдил его, а он утверждал, что ничего не знает о чашке.

Работать приходилось, к сожалению, не каждый день. Зимой пароходы часто задерживались или приходили с таким грузом, при каком маркировщику делать было нечего. Например, коринка: мешки с коринкой приходили без «марки».

«Марка» есть условное обозначение литерами груза по принадлежности его тому или иному получателю. Каждая марка груза — мешки, ящики, тюки — складывалась в пакгауз отдельно, чтобы не спутались товары.

Я стоял у входа в пакгауз и смотрел марки на ноше, тащимой грузчиками. Груз лежал у них на спине. В зависимости от марки, я кричал рабочим: «Прямо к стене! К стене налево! В угол направо! Посредине!» и т. д.

Эта работа требовала полного внимания, потому что носильщики вбегали с ношей через три—пять секунд и марки иногда были похожи.

Здесь я также подвергался насмешкам босяков: вначале за свой вид «интеллигента», затем потому, что препятствовал мелким кражам из дыр мешков или разбитых ящиков. Меня дразнили «попович», «поповская шляпа», «фараон», «фискал», хотя я никому не доносил о проделках грузчиков, а, наоборот, видя, что таскают все — и грузчики, и бондари, и таможенные, — сам начал носить домой апельсины, фисташки, лимоны, миндаль, коринку; однажды унес даже кусок краски — индиго, фунта два.

Артель бондарей, на обязанности которых лежала починка разбившихся ящиков, зашивка дыр в мешках и т. п., часто не упускала случая сунуть за нагрудник своих белых передников горсть миндаля, или точенных

из черного дерева четок, или пригоршню кофе. Таможенные или смотрели сквозь пальцы, или шептали: «Ребята, осторожнее»; выбрав момент, они сами брали что-нибудь для хозяйства.

Вероятно, поэтому я и не помню случая, чтобы таможенный у ворот при выходе грузчиков на обед или после конца задержал хоть одного похитителя с явно оттопыренными карманами или полами их «польт» (как иначе назвать верхнее тряпье босяков?).

Грузчик, уличенный в краже, изгонялся Мисенко, и его больше на работу не брали, — по крайней мере, пока не забывалось это деяние.

Я любил пряный запах пакгауза, ощущение вокруг себя изобилия товаров, особенно лимонов и апельсинов. Всё пахло: ваниль, финики, кофе, чай; в соединении с морозным запахом морской воды, угля и нефти неописуемо хорошо было дышать здесь, особенно если грело солнце.

Я иногда ходил обедать домой, тратя из полуторачасового отдыха почти час на ходьбу и еду (хлеб, сало или колбаса с вареной картошкой... м-м-м... ну, апельсины, случалось), а большей частью проводил это время в бордингаузе или в здании таможни. Чай я тогда пил мало, и крайне редко — водку.

К вечеру, совсем закоченев (зима стояла холодная), я становился в ряд с грузчиками, а Мисенко, проходя наш строй, вручал из мешка — рубль и гривенник.

Ранней весной мне удалось совершить рейс в Александрию[7] на пароходе Р. О. П. и Т. матросом, но по недостатку времени я должен отложить эту в своем роде интересную историю до печатания всей книги. Скажу лишь, что уволили меня за сопротивление учебной шлюпочной гребле; этому бессмысленному занятию предал нас капитан «Цесаревича», пленившийся артистической работой веслами английских моряков.

Дело произошло в Смирне, на обратном из Александрии пути. В наказание (а я публично высмеивал потуги капитана и однажды бросил даже весла) меня сняли с работы, и я окончил путь пассажиром, ничего не делая.

На мне осталась хорошая одежда, полный комплект тельников, голландок, две «фланельки», двое брюк — белые и черные. Некоторое время я жил продажей этих вещей, потом работал на погрузке угля; часто, не имея пристанища, ночевал в порту.

Всё было уже продано мной — даже моя корзинка, даже краски, которыми хотел я рисовать на берегах Ганга цветы джунглей.

Я сохранил лишь на своем теле голландку с синим воротником, тельник, черные брюки и фуражку с лентой, имевшей надпись золотыми буквами: «Цесаревич».

В начале июля меня потянуло домой. Я получил разрешение капитана одного угольного парохода ехать на нем «за работу» до Ростова-на-Дону. Из Ростова я, также за работу, проехал до Калача-на-Дону; из Калача проехал шестьдесят верст по железной дороге в Царицын, а из Царицына плыл в Казань то «зайцем», то с разрешения; в общем, пересаживался раза три.

В Казани молодой капитан вятского парохода «Булычев» взял меня проехать бесплатно до Вятки и, кроме того, угостил меня в своей каюте прекрасным ужином. По его распоряжению я в дальнейшем ел с матросами.

Из-за перекатов пароход остановился там же, как когда я отправлялся в Одессу, — двести верст от Вятки. Эти двести верст я шел неделю пешком по жидкой грязи: лил беспрерывный дождь, подсекаемый студеным ветром.

Утром, на восьмой день этого шествия, засияло солнце, и стало почти жарко. Вдали уже виднелся голубой купол собора. Я выстирал свою голландку в ручье, почистил башмаки, обсох, умылся, вычистил брюки и к первому часу дня шел уже по деревянным тротуарам города, обращая на себя внимание прохожих.

— Где же твой багаж? — спросил отец после первого радостного напряжения и любопытства встречи.

Как я уже солгал ему, что проехал двести верст на почтовых лошадях, то, естественно, прилгнул и еще:

— Мой багаж остался на почтовой станции... Знаешь... Понимаешь... Не было извозчика.

Отец, жалко улыбаясь, недоверчиво промолчал; а через день, когда выяснилось, что никакого багажа нет, спросил (и от него пахло водкой):

— Зачем ты врешь? Ты шел пешком? Где твои вещи? Ты изолгался!

Очень многое мог бы я возразить ему, если бы умел: и ложное самолюбие — эту болезнь маленького города, и нежелание мириться с действительностью, и, наконец, желание пощадить, хотя бы в первый день, отцовское чувство.

Вскоре, однако, отец, что-то продумав, повеселел и начал водить меня в гости — показывать сына-моряка.

Тогда я еще не считал конченой свою морскую жизнь, а потому сам ободрился и с увлечением рассказывал о шторме под Порт-Саидом и тому подобное, тщательно обходя всё унизительное, что пришлось вынести за этот год самостоятельной жизни.

БАКУ[1]

I

По возвращении из Одессы я прожил дома до июля 1898 года. За это время я всячески пытался найти занятие: служил писцом в одной из местных канцелярий, переписывал роли (для театра), некоторое время посещал железнодорожные курсы, был банщиком на станции Мураши (шестьдесят верст от Вятки), переписывал, по заказу отца, ведомости годового отчета земства — относительно земских благотворительных заведений... Но не было в жизни мне ни места, ни занятия.

И я решил искать счастья на стороне — подальше от унылой, чопорной Вятки, с ее догматом: «быть как все».

Теперь невозможно припомнить, почему меня тянуло в Баку. По-видимому, я рассчитывал снова плавать на пароходах. Насколько я сравнительно хорошо помню, что было в Одессе, настолько не всё ясно относительно Баку; хотя главное — холод и мрак этого отчаянно тяжелого года — удержаны памятью.

Итак, я отправился в Баку. Близко к концу июля. Весь мой капитал составляли данные отцом пять рублей, плетеная корзинка с необходимым бельем, подушка и старое одеяло.

Еще по пути из Вятки в Казань приметил я подвижного человека с бритым, мятым лицом, окруженного дрессированными собачками, — то ехал клоун Горлинов, а ехал он в Саратов, кажется, по вызову антрепренера Саламонского.

Я узнал Горлинова потому, что видел, как на арене вятского цирка он изображал сцену «Отелло и Дездемона», — очень потешно и, по-своему, талантливо.

Клоун ехал в третьем классе, с ним три дрессированные собачки. Как он занимал скамейку у стены кают первого класса, то публика, а особенно дамы губерна-

торского семейства, ехавшего в Казань, восхищались фокусами собачек и заигрывали с ними.

На этом основании Горлинов составил подписной лист, всучил его одной из дам и с довольным видом пересчитывал часа через два около пятидесяти рублей.

— Я бедный артист, — говорил он мне, — остался без денег: антрепренер был жулик.

Горлинов вел компанию с одним чиновником, ехавшим в Саратов искать службу; они вместе пили пиво и водку.

В Казани я имел неосторожность пойти с ними в трактир. Там, по расчету, вышло с меня два рубля. У них были деньги, а я скрепя сердце отдал последние (оставил на билет до Астрахани рубль сорок копеек — не хватило, а потому наспех продал матросу рубашку за шесть гривен да полтинник призанял у клоуна).

Дальше ехать мне было тревожно и скучно: я жевал сухой хлеб с чаем, а Горлинов, накупив колбасы, водки, копченых стерлядей, пиршествовал, угощал иногда меня и говорил:

— Эх, господа, господа! На пустяки (то есть на трактир) денег вы не жалеете, а на жратву жалеете!

По-видимому, он не верил, что я остался без денег.

Некоторое время я приставал к нему, чтобы он устроил мне службу в цирке, но из этого ничего не вышло; по словам клоуна, труппа и штат служащих были уже наняты. Но он просто не хотел возиться со мной.

Он остался в Саратове, а я, продав еще что-то из белья, доехал до Астрахани, где начал хлопотать в каком-то (не помню уже) учреждении о бесплатном билете в Баку, но такового не получил и воспользовался советом одного босяка: доехать до так называемого Двенадцатифутового рейда на маленьком, только туда ходящем, пароходе, а там попроситься на морской пароход за работу.

Дело это мне было знакомо, я так и сделал.

Двенадцатифутовый рейд оказался улицей на воде; я прибыл туда поздно вечером, и у меня осталось впечатление иллюминации в море: огни пристаней, барж, пароходов сияли вверху и — отражениями — внизу.

Без особого сопротивления старший помощник парохода, отходящего в Баку, взял меня ехать «за работу». Я работал и ел с матросами.

Палуба была полна туземцев: персов, шемахинских татар, армян и грузин. Меня поразили их огромные, прекрасного каракуля шапки: черные, белые, серые и золотисто-рыжие. А между тем стояла изнуряющая жара.

Один матрос рассказал мне, как воруют эти шапки. «Привяжем мы, — говорит, — к нитке рыболовный крючок и ночью, когда татарин спит, вцепим крючок в мех, а сами отойдем с другим концом нитки подальше, начнем тихонько тянуть — глядишь, шапка как бы сама к тебе пришла».

II

В Баку я сошел на пристань, не зная, что делать.

В ночлежный дом мне идти не хотелось, и, продав кое-что из одежды на так называемом Солдатском базаре, я поселился за рубль пятьдесят копеек в месяц у одного старика грузчика. Он жил с женой и маленьким, месяцев десяти, сыном. Жена его была молодая женщина, а старику насчитывался восьмой десяток лет, но он был жив, проворен и каждый день работал по выгрузке леса со шхун, приходящих из Астрахани.

Одноэтажный дом, где я жил, находившийся вблизи Черного города, был построен большим квадратом и обнесен, по стороне двора, навесом на столбах. Тут было до тридцати квартир из одной-двух комнат, занимаемых рабочими, мастеровыми, проститутками и старьевщиками.

Каждый день в каком-нибудь углу двора стоял круг игроков в «орлянку». Эта игра была сильно развита среди рабочего населения, и потому о ней следует рассказать.

Самые серьезные игры происходили накануне праздников, по субботам, воскресениям и понедельникам. Полиция преследовала «орлянку», вследствие чего игроки сходились на дворах или в пустынном месте — где-нибудь за углом глухого переулка. Случалось, что полицейский забегал во двор, тогда орлянщики улепетывали со всех ног, бросая поставленные на «кон», то есть в круг, деньги; бывало, что полиция захватывала часть игроков.

Крупнее всего играли котельщики, получавшие по три копейки с заклепки (две, две с половиной и три копейки, смотря по тому, где и как происходила работа), токари, слесаря и мастера цехов. Так же крупно играли

шулера и профессиональные игроки — хорошо одетая публика, в дорогих костюмах, блестящих ботинках, цветных поясах, в каракулевых шапочках или синих картузах.

Игра сопровождалась таким отборным букетом матерной брани, при выигрыше и при проигрыше — безразлично, что я, как ни любил смотреть на игру, не выдерживал игрецкого красноречия и уходил, чтобы очистить уши от мерзостей блудословия.

Мне приходилось видеть круг, уставленный столбиками золотых монет, кучками серебра и внушительными стопками кредитных билетов. Ставили по пятьдесят, сто и более рублей «на удар».

Ритуал «удара», то есть метания высоко вверх медного пятака (или серебряного рубля) состоял в том, чтобы сей пятак вертелся вокруг оси (отнюдь не «бабочкой» — лишь трепеща, но не переворачиваясь); чтобы не крутился «винтом» (тоже уловка для того, чтобы монета упала «орлом» вверх); чтобы летел как можно выше и чтобы эта «метка» (так назывался брошенный пятак) не была, хотя бы слегка, вогнута в сторону «орла».

Для проверки, для «счастья», наконец, просто по суеверию, каждый играющий мог поймать падающий пятак, удостовериться, что он «без фальши» — не «двухорловый», не выбит выпукло, и вернуть его метчику с тем, чтобы тот метал заново.

Один игрок держал «банк», другие ставили; выпал «орел» — метчик брал всё; выпала «решка» — всем платил, а если у него не было, то бежал прочь, преследуемый до изнеможения. Его, поймав, избивали, но в тот же день можно было видеть избитого вновь у круга; он, где-то раздобыв денег, играл, клялся, ругался и потирал свои синяки.

Кроме двухорловых пятаков пускались в ход шулерами пятаки, которые были просверлены по плоскости и залиты ртутью — ближе к «решке»; такой пятак на ровном песчаном месте ложился большей частью «орлом» вверх.

Иногда мальчишки, прицепив к пруту шлепок вара или смолы, просовывали удочку между ног игроков; шлепнув смолой по монете, жулик умыкал добычу бегом. Я отвлекся...

Прожив дня три грошами, вырученными за продажу своей скудной одежды, я уже имел вид настоящего босяка: ситцевая рубашка, старый картуз, бумажные коричневые брюки, опорки на ногах — вот всё, во что стал я одет.

Я ходил на биржу поденщиков, где иногда получал работу. От этих случайных заработков память сохранила мне очень немногое. Так, помню работу (два дня) на одном заводском дворе, в сараях; я с другим босяком прибрали их, вымели, таскали какие-то трубы, перевешивали с места на место весы, блоки — за шестьдесят копеек в день. Другой раз я работал недели две на забивании свай для вдающейся в море пристани; я очень жалел, что эта работа кончилась.

На настиле, проложенном по концам уже вбитых в дно моря свай, стояло сооружение из двух вертикально поставленных бревен; между ними на канате поднимался ручным воротом массивный кусок чугуна. Когда этот груз поднимали к самому верху бревен, он срывался и бил тяжестью сорока пудов по концу вбиваемой сваи, отчего та сразу понижалась на вершок и более.

Я вместе с другими крутил ворот. Плата была восемьдесят копеек в день, расчет по субботам. Подрядчик приносил деньги и четверть водки; мы выпивали по стакану водки и расходились.

Работать у воды было очень приятно, не так жарко, и, главное, работа была тихая, механическая и однообразная. День проходил незаметно.

Случалось мне также попадать на работу в док, где я соскребывал краску с пароходов или таскал тяжести около стапеля.

Мои усилия восстановить подробности этого года в Баку сходны с усилиями припомнить ускользающий сон.

Уже через несколько дней, как я поселился на квартире старика грузчика, второй его жилец (мы спали с ним на полу), тоже грузчик, повел меня выгружать лес с большой шхуны. В длину трюма были нагружены толстые бревна; их вытаскивали через квадратный люк кормы, устроенный возле руля. На этой страшно тяжелой работе я пробыл только четыре дня, после чего еле двигался от ломоты в крестце, ногах и плечах, — а платили неплохо: рубль двадцать копеек в день.

Вскоре мне пришлось оставить квартиру. Сожитель мой, грузчик Василий, был тяжелый, неразговорчивый человек, с темным лицом и ненормальными глазами;

он был скуп, копил деньги и разговаривал мало, с трудом, слегка заикаясь.

Как-то в субботу Василий пришел вечером подвыпивший, чего с ним никогда не было; принес четверть водки, закуску и начал угощать хозяина. Они пили, пели, кричали, а вскоре Василий пригласил и меня; хозяйка тоже осушила стакан водки, после чего легла спать. Старик так напился, что падал на стол. Наконец, уже после двенадцати, он свалился спать в угол, без подстилки, а я лег на свое место; Василий тоже улегся, и лампа была притушена.

Мне не спалось. Я боролся с клопами и подремывал. Начав забываться, я очнулся: Василий лег на кровать к хозяйке, она, тихо голося, гнала его прочь. Эта милая сцена продолжалась несколько минут, после чего, утомясь уговаривать пьяного, бабенка повернулась лицом к стене, а Василий вполз на край кровати, лег и притаился. Должно быть, он пытался каким-то образом декларировать свою неутоленную страсть младенцу, спавшему между ним и женой старика, потому что вдруг раздался отчаянный визг малютки и вопль разъяренной матери:

— Да ты что делаешь, подлец, мерзавец этакий?!

Столкнутый женщиной, Василий упал на пол. Старик проснулся; видя, что все вскочили, что-то смутно чувствуя, он впал в бешенство, схватил табуретку и кинулся на меня.

— Стой, стой! — закричал я. — Не там ищешь!

Старик бросился к Василию. Но тут сбежались жильцы, грузчика выволокли за ворота, выбросили ему его сундучок и начали бить, бить зверски — ногами, кулаками, камнями. И, когда он поднялся, на нем висели одни лохмотья, и глаз не было видно.

Пошатываясь, Василий ушел, грозя кулаком, а дня через три хозяйка, в отсутствие мужа, сказала мне: «Знаешь, Лександра, съезжай и ты с квартиры; муж меня бьет — то на Василия думает, то на тебя».

Вечером я толково поговорил со стариком, убедил его в своей непричастности к мрачной истории, но из квартиры ушел, чтобы не тревожить ни себя, ни хозяев.

Пока было тепло, я ночевал где придется: в пустых котлах, лежавших возле заводов, на лесной пристани, под опрокинутыми лодками или просто где-нибудь под забором.

С наступлением холодных ночей я отправился, как ни противно мне это было, в ночлежный, благотворительного общества, дом. Плата взималась троякая: пять копеек в общей комнате, десять копеек в комнате тоже общей, но почище, и двадцать копеек в так называемой «дворянской», где были отдельные комнатки с бельем и одеялом. Но я ночевал за пятачок.

В длинном помещении стояли ряды деревянных коек, накрытых камышовыми циновками («чакошками»). Ни «чакошки», ни койки, конечно, не мылись, а поэтому грязи и клопов было довольно. Двор неимоверно вонял, посреди него без всякого прикрытия устроены были над залитой асфальтом ямой цементные дыры для нечистот. Запах карболки, хлорной извести и мочи резал, как нож.

Ночлежники входили через каменную постройку, где была чайная и хранение вещей. Чайной заведовал странный тип, по-видимому не совсем нормальный, — из «административно высланных»; русый, с бородкой и мерзко-хитрым лицом, человек этот рылся в моем мешке, который лежал у него на «хранении» в ящике. Продав корзинку, я завел мешок, куда прятал остатки своих тряпок и тетрадь. В ней пытался вести дневник. Единственно помню, что я записал, между прочим, впечатление от одной фотографии, выставленной в витрине: фотография была снята с очень милой, серьезного типа девушки, и, кажется, я трактовал положение, что видеть такие лица — «облагораживает» человека. Так вот, этот заведывающий чайной начал в обычной площадной манере издеваться над моими размышлениями. «Неземная красота, — говорил он, нагло смеясь, — ангельская наружность! Влюбился в фотографию!» И тому подобное. Как, взбешенный, ни ругал я его за то, что он лазил в чужой мешок, как ни стыдил его, говоря, что нельзя, позорно читать чужое, интимное, — он не смутился нисколько.

Проходимец этот впоследствии уверял меня, что он обладает секретом сразу и страшно разбогатеть.

— Для этого, — говорил он, — стоит мне только выйти на площадь и сказать народу одно слово, — и я буду миллионер.

Он уверял всех, не только меня, что знает такое «петушиное слово». А какое это слово — не говорил.

За три копейки в ночлежной чайной давались фунт белого хлеба, чай и три куска сахара. Иногда, после

голодного дня, это было моей единственной пищей плюс оставляемые на цинковых столах куски хлеба.

Среди босяков я помню еще Алексея. Голубоглазый, русый, очень приятной наружности, Алексей (раньше он служил где-то городовым) никогда не ругался, ни с кем не ссорился. У него было зеркальце, гребешок, мыло и бритва. Встав, Алексей умывался, причесывался, часто стирал на дворе свои рубашку и штаны, чистил слюной сапоги. Я никогда не видел его пьяным и не мог понять, как он попал в босую команду. Однажды Алексей рассказал мне свою историю: несчастная любовь и несправедливость по службе. Хотя на слово босякам верить было нельзя, всё же я Алексею почему-то верил.

Второй запомнившийся мне человек был Егор, бродяга, неизвестного звания и темной профессии, горбоносый, смуглый, лет тридцати, «стрелок». По его словам, он знал коновальное ремесло, умел гадать на воде, наводить «порчу» и знал, как получить «неразменный рубль». Всё-таки рубля этого у него не было. Он рассказывал, как делаются фальшивые двугривенные: надо взять пару липовых дощечек, положить между ними новую монету и надавить их так, чтобы поверхности дощечек сошлись; затем в полученную таким образом форму вливалось растопленное олово, монета грязнилась, чтобы казаться старой, затем шла в ход.

В Баку часто попадались, как мне говорили, фальшивые серебряные рубли из посеребренного чугуна или стекла, поэтому я, подражая другим, всегда бросал полученный рубль на каменный тротуар с такой силой, чтобы хрупкие чугун или стекло раздробились, но фальшивого рубля не получал никогда.

Однажды я и Егор насобирали у прохожих около рубля, после чего нам захотелось попытать счастья в «орлянку».

На окраине за Солдатским базаром увидели мы большой круг орлянщиков и подступили к нему.

— Так вот что, — сказал мне Егор, — ты и я как будто пришли каждый по себе, не знаем друг друга.

— Зачем это нужно? — спросил я.

— А так... Примета такая есть.

Когда пришла очередь Егора метать, он, сообразно нашим средствам, отчеркнул палочкой несколько мелких ставок на пятьдесят — шестьдесят копеек и выиграл.

Все, кто «придерживал» за него остальные ставки (были и крупные), тоже, естественно, выиграли.

Наставили в круг еще больше. Егор отделил себе ставок на рубль, метнул и выиграл.

Раздались проклятия, ставки утроились. Егор метнул на три рубля, но кто-то подхватил на лету его пятак, взвизгнул и бросился на Егора, который, видя, что попался со своим «двухорловым» пятаком, уже удирал со всех ног.

Игроки отвели душу известного рода красноречием, забросили пятак за стену дома; вдруг один человек сказал, указывая на меня:

— И вот этот с ним был!

Я хладнокровно отрекся. Ко мне больше не приставали, а вечером в ночлежном доме я спросил Егора, почему он не хотел, чтобы я гласно был с ним в компании.

— Потому что ты дурак, — отрезал он. — Я взял на себя, тебе говорить не хотел... Ну, а за что тебе морду исполосуют?

Совершенно правильно и по-своему вполне нравственно...

Еще Егор рассказывал, как он умеет ходить колесом, держа в зубах горящую головню, отчего мужикам страшно. Он верил в домовых, леших и уверял меня, что однажды видел огненного змея, залетевшего ночью по крыше в трубу какой-то бобылки. А теперь я думаю, что это горела сажа в трубе.

Как я подметил, босячество делилось на четыре разряда: административно высланные по проходному свидетельству, запойные пьяницы, бродяги по натуре и просто чернорабочие. «Административные» редко работали, они больше занимались «стрельбой». Для «стрельбы» на улицах «стрелок» почти всегда заряжался водкой, и это понятно: пьяный он действовал смелее, теряя конфузливость, выдумывал и говорил связно, интересно врал, а то просто терпеливо и нагло преследовал жертву, пока она не совала ему мелочь. У «стрелков» имелись адреса состоятельных сердобольных людей; по этим адресам писались трогательные письма, почти всегда со ссылкой на «пострадал за убежденья». Также ходили по рукам образцы писем. Они переписывались за плату владельцу их. Вот начало одного письма, которое я случайно запомнил:

«Милостивый благодетель, господин Иван Петрович! В тяжелой жизни моей, благодаря преследованию врагов за гонимую правду...» и т. д.

В конце неизменно приписывалось: «Заранее благодарный» (имярек).

Я сознательно описываю все встречи и типы, наиболее памятные мне, чтобы затем, без отступлений и вводных эпизодов, передать, что было со мной. Поэтому докончим начатую галерею. Как-то встретил я в духане покойно сидевшего за столом и набивавшего машинкой папиросы рыжеватого тихого человека лет тридцати; он был одет, по-босяцки считая, весьма сносно — в серый костюм и грязный воротничок.

Я вступил с ним в разговор. Он рассказал свою историю: служил директором чайных плантаций в Закаспийском крае, но лишился места будто бы за то, что крупно повздорил с хозяином. Он уверял, что ему нетрудно будет найти и в Баку хорошее место. Багажа у него никакого не было. Так или иначе, я попросил его не забыть меня, когда он возвеличится, на что будущий мой патрон дал охотно согласие.

Однако есть, пить надо, а потому директор плантаций начал на другой день писать «стрелковые» письма, я же относил их указанным лицам: директорам, каким-то чиновникам, одной женщине (бывшей жене директора) и нескольким интеллигентам разного звания. Кажется, всё это были знакомые директора или знавшие о нем. В нескольких случаях я получал по рублю, который обычно приносила прислуга; иногда — отказ, а одна женщина дала сразу пять рублей и потребовала видеть своего бродягу. У них состоялось свидание на улице, причем той женщины я не видел; не знаю, кто такая она была. За мои услуги «хозяин» давал мне мелочь, кормил и поил, но делиться поровну не хотел и вскоре куда-то исчез.

Теперь остается мне рассказать о купеческом сыне, Рваном Рте, Ваське Несчастном и Гришке Бабочке. Последний был мальчиком лет восемнадцати, довольно миловидным, с синевой под глазами; появился он в Сорока Духанах после субботы. На нем был новый дешевый костюм, шелковая рубашка и соломенная круглая шляпа. Гришка пил, зря швырял деньги, пропивал всё, проигрывал в «орлянку» и исчезал снова, пропив даже костюм, — до следующего воскресенья. Его сексу-

альным покровителем называли одного миллионера-нефтепромышленника, из татар. Гришке он платил (по его же словам, то есть словам Гришки) двадцать пять рублей.

Кстати, водой прибило к берегу труп парня лет двадцати, неизвестной национальности. Руки и ноги его были крепко связаны веревками, к ногам привязан груз кирпичей. Напротив того места гавани, где обнаружили труп, на рейде всегда стояло много персидских шхун... Темное и мрачное дело.

Другое преступление, от которого содрогнулись даже портовые волки: был найден в заколоченном доме труп девочки лет десяти, с пробитым кинжалом боком и оскверненной раной.

Сорок Духанов получили свое название в старину, когда (так я слышал) духанов было в том квартале около сорока. Но я насчитал по квадрату квартала только семь или восемь духанов. Это были харчевни-трактиры обычного типа, грязные и мерзкие до последней степени.

Уже несколько раз я встречал босяка — пьяницу высокого роста, с потертым оспой лицом, полуинтеллигентного типа, похожего на актера. Обычно он обходил столики пьющих и выпрашивал рюмку. Он принадлежал к той категории, для которой — не знаю, верно это или нет — не опохмелиться до полудня значит умереть.

Раз я зашел в духан в середине знойного до слепоты дня и увидел такую картину: за каждым столиком сидел оборванный люд с бессмысленными глазами. Духанщик был пьян так, что спал, свалясь головой на стойку. «Шестерки», как их звали, то есть «официанты», на самом же деле просто чернявые типы в грязных передниках, ходили, качаясь и мыча непонятное. Словом, выдался особо пьяный день — «день белой горячки». За одним столиком сидело четверо. К ним приставал, ругал их, тоже еле держась на ногах, тот человек (прозвище Рваный Рот он получил впоследствии), прося водки, но его гнали прочь. Тогда он взял толстый стеклянный стаканчик, разбил его о камень у входа и, возвратясь, подкрался к столу, где, без слов, тихо и страшно хватил острым стеклом одного пьяницу по лицу; прижав к лицу стекло, он вдавливал и вертел его.

Тот залился кровью. Все вскочили — нет, с трудом поднялись — и так же молча, едва бормоча что-то,

повалили ударившего на пол. Он не бежал, — едва ли он да и все сознавали, что делают.

Началась возня побоев, которые могли кончиться убийством. Человека били бутылками, ногами, табуретом, кололи вилкой, грызли ему ухо, вырывали волосы, прыгали на нем. Он не кричал, только пьяно бубнил матерное. Наконец один босяк всунул ему в рот руку и разорвал рот до уха, которое уже чуть болталось на красном мясе. Явилась полиция, и избитого увезли на извозчике.

Должно быть, избитый Рваный Рот лечился долго в больнице, месяца три не видно было его по кабакам. Наконец я встретил Рваный Рот в духане; выглядел он бодро, был почти трезв, довольно сносно одет, в кожане и высоких рыбацких сапогах. Он работал на рыбном промысле. От левого угла губ до уха тянулся рубец, но вместо опухшего, дикого и грязного лица я видел осмысленное человеческое и даже приятное лицо. Повидимому, он опомнился и победил свою слабость; не знаю — надолго ли.

Весной 1901 [2] года где-то в Сураханах, далеко за городом, случился пожар фонтана. Нефтяные сбиры быстро набрали команду босяков для работы там; плата была один рубль в день. Тронулось нас человек триста. Впереди, присвистывая, приплясывая, лихо ломая драную соломенную шляпу, шел босяк лет двадцати пяти, в синей кочегарской «пижаме», с голой грудью. Темная бородка, испитое лицо гуляки, «забубенной головушки». Это был сын миллионера-купца из Астрахани, прогнанный из семьи за «художества» — для испытания жизни и вразумления. Получал он двести рублей в месяц, с. перспективой полного прощения, когда «ндрав» папаши сего захочет.

Он запевал песни, выкрикивал: «Золотая рота, стройся!.. Смирно!.. Вперед, босячье!» и т. п., — но была фальшь в его ажитации, ему это не шло. На работе (мы таскали доски, тес) он суетился, играл роль, попрекал леностью; сам, пропотев до нитки, усердно работал, присвистывал и кривлялся.

Мы проработали два дня. Фонтан бил высоко, кропя брызгами далеко вокруг. Ночью его заткнули так называемой «пробкой», но этим я не интересовался и смотреть пробку не ходил, так что не знаю, как это делается. Расчет производился под открытым небом.

Деньги прямо вручал артельщик каждому из нас по очереди, так что некоторые ловкачи становились в очередь по два, даже по пяти раз.

Недели через две, зайдя в духан, я увидел блудного сына сидящим за столом в компании тех босяков, которые на работе подлизывались к нему. Он был одет заново, в дорогом синем костюме, в панаме и угощал налево-направо белым вином. Он сказал, что получил пятьсот рублей и едет домой.

На мой вопрос, почему он босячил, блудное дитя призналось, что «сызмальства» тоскует его душа и тянет на бродяжную жизнь. Дней через десять прощеный «купсын» вошел в тот же духан; был он босиком, прикрыт тряпочками; один глаз кровоточил. Выпив у стойки сотку водки, вернувшийся «домой» высморкался приложением к ноздре пальца и, хлопая босыми пятками, скакнул прочь за дверь.

Его ожидало наследство в три миллиона рублей.

Теперь скажу о Ваське Несчастном, окончательно потерянной личности. Это был кругломордый босяк, всегда трясущийся с похмелья, никогда не работающий и единственно «стреляющий» водку и на водку. Он был всегда пьян, лицо имел почти черного цвета, вернее — темно-лилового, ободран до последней степени и бос, конечно. Он терся по кабакам, выклянчивал рюмку у пьющих, «стрелял» также у прохожих. За бутылку водки он давал бить себя по голому пузу палкой — изо всей силы три раза. За ту же бутылку охотники могли разбить о его голову горшок.

Ваське редко кто отказывал в рюмке, но однажды ночью, как ни просил он дать ему хоть «глоточек», оного не получил и, выйдя на улицу, хватил со зла камнем по стеклам двери... Его страшно избили.

III

Хроническое голодание вело к тому, что, заработав где-нибудь семьдесят—восемьдесят копеек, я не удерживался и проедал их. Благие намерения ограничиться «кишечным» рестораном у татарина, жарящего на огромной сковороде где-нибудь в нише стены рубленные на куски бараньи, очень жирные, кишки, — оканчивались победой соблазнов, а между тем к*и*шечник давал на две копейки целую тарелку плохо промытых, припа-

хивающих калом, но горяче-румяно поджаренных кусков, залитых жиром. Какие же это были соблазны? (Водки я почти не пил.) Рыночный пирог с ливером, колбаса, окрашенная фуксином, виноград, арбуз, дыня, чурек, лаваш (тонкие, пресные и очень большие лепешки без соли, белые), баранье рагу, борщ, чай, трехкопеечные папиросы — вот и всё, кажется. Однажды на Солдатском базаре санитары сбросили с лотка и облили керосином пуда четыре колбасы за то, что она была очень водянистой, хотя вполне свежей.

Нашлись охотники пожирать эту колбасу; я попробовал, но не мог, — запах и вкус керосина душили меня.

Итак, соблазны разоряли; пятак — гривенник оставался на утро, не больше.

Иногда хотелось есть просто от скуки, от тоски шляться по порту, от бесцельного сидения на бревнах, на тротуарах. Та же скука заставляла проигрывать гроши в «орлянку» или базарную рулетку, где номера заменялись цветами секторов вертящегося кружка, или в лото — на оладьи; уплатив копейку, играющий вместе с другими игроками тянул из мешочка номер лото; чей номер был больше, тот получал десяток оладий.

Попытки найти место матроса оканчивались неудачно; уж очень я был оборван и грязен.

Раза два или три я нашел в пустых котлах, служивших мне иногда домом, большие куски брошенного черного хлеба и, понятно, съел их.

Мое несчастье было то, что я не умел «стрелять» — просить на улицах. Мои обращения к прохожим были неубедительны, так как мой язык, связанный стыдом, выговаривал самое трафаретное, например: «три дня не ел» или «только что вышел из больницы».

Очень часто я слышал возмущавший меня ответ: «Такой молодой, здоровый. Тебе стыдно просить, надо работать!»

— Так дайте мне ее, эту работу, — поспешно и искренне отвечал я. — Я возьмусь за какую хотите работу. — Нескладно проворчав: «Надо искать, ищи!», моралист спешил тогда удалиться.

Однажды серьезный молодой матрос, у которого я «стрелял», дал мне три копейки, а затем вдруг позвал меня в харчевню, заказав мне столько пищи, сколько я мог съесть; смотрел, как ем, затем ушел, а на мои благодарности ответил: «Сам знаю, всякое бывает».

К зиме я совсем отупел, продрог, потерял всякую охоту спастись. Я подолгу сидел в харчевнях, ожидая, не оставит ли кто объедки, и, заметив добычу, подсаживался к тому столу, собирал куски хлеба, смазывал ими остатки соуса или борща. Также, купив сам хлеба, я входил в харчевню и, намазав хлеб горчицей, притом посолив, съедал свой, как это называлось «пашкет» (то есть паштет). Так поступали многие.

Зимой, осенью я ночевал в ночлежном доме или в ночлежке при одном духане, где, конечно, не топилось. Это было узкое помещение — род коридора со скользким от грязи и сырости асфальтовым полом; на нем спало без подстилки, как и я, человек пятнадцать—двадцать. Скорчась, засунув пальцы под мышки, а под головой держа камень, прикрытый шапкой, я лежал и дрожал, пока эта дрожь не навевала своеобразного нервного тепла — быть может, бесчувственности, — и засыпал, часто просыпаясь от стужи.

Иногда этот притон ночью неожиданно навещала полиция, просматривала паспорта и кое-кого уводила.

Зимой, в ноябре, я заболел малярией в перемежающейся форме. Лихорадка мучила меня через день, ровно с двенадцати часов дня до двенадцати часов следующего дня. Температура резко падала, и я сутки ходил здоровым, но ослабевшим до головокружения. Жар в сорок градусов согревал меня в ночлегах моих. Иногда болезнь прерывалась, а затем снова нападала внезапно, так что иногда, всё же работая в порту, я после двенадцати часов, то есть после обеда, должен был уходить с работы и, сидя в духане, трястись, стуча зубами. При лихорадке есть не хотелось, но я пил беспрерывно то чай, то воду.

Но и на такой ночлег часто не бывало денег. С ночлежным домом я поссорился, изругав заведующего чайной за пропажу моего мешка, и чуть не поколотил его; тот пожаловался городскому врачу — старику черствому, тощему, предубежденному против бездомной братии; врач свыше заведовал ночлежным домом, и он распорядился не пускать меня спать.

Часто я ночевал в недостроенном пустом доме, среди стружек и кирпичей. Зарывшись в стружки, я кое-как достигал бесчувствия, хотя надо мной свистел норд, а на полуголом теле таял падавший в беспотолочное пространство снег. Заколев к утру так, что ноги

отказывались повиноваться, я ковылял в ближайший духан согреться.

И вот около рождества во мне принял трогательное участие такой же босяк, как и я, молодой веснушчатый рыжий парень лет восемнадцати. Он ночевал со мной у духанщика, и мы подружились. Если он, работая либо другим путем, раздобывал денег, то тотчас же кормил меня, поил чаем и платил за ночлег; если удавалось «настрелять» мне — я так же поступал с ним, но, к сожалению, он делал для меня больше, чем я для него.

Не помню, как я потерял его из виду. Кажется, он поступил матросом на какое-то судно.

Надо сказать еще (чтобы не забыть), что минувшим летом, кроме поденщины, я пытался найти и другие способы добывания заработка. Два дня я торговал на Солдатском базаре старыми вещами; купив рубашку, жилетку или штаны, пытался я перепродать их с прибылью, но, от природы лишенный коммерческих способностей, спускал, когда надоедало шататься, свой товар за меньшее, чем купил. И бросил я это дело, не без малой дозы зависти к тем из бродяг, которые умели купить и умели продать.

При ночлежном доме существовали мастерские, где можно было бесплатно пользоваться инструментами и даже некоторым материалом, например фанерой ящиков для выпиливания лобзиком. Эту работу я делал еще мальчиком для себя. Некоторые босяки делали рамки, покрывали их лаком и продавали. Соблазнясь, я тоже начал было выпиливать рамки; это-то шло не хуже, чем у других, но торговал скверно; когда мне надоедало стоять «без почину», я отдавал свои рамки (мысля по двадцати копеек) за пятнадцать, десять и даже пять копеек, а потому признал сие дело никудышным. За вычетом расходов на материал (пилки, лак, лакированная бумага) оставалось мне не более четвертака в день.

Зима тянулась бесконечно долго. Это был мрак и ужас, часто доводивший меня до слез. Не желая тревожить отца, я иногда писал ему, что плаваю матросом... А его письма из письма в письмо твердили о нужде, долгах, заботах и расходах для других детей.

В конце зимы мне удалось найти работу: я стал раздувальщиком мехов в небольшой кузнице. У хозяина-армянина работали кузнец-отец с двумя сыновьями. За

плату в пятьдесят копеек в день, уплачиваемую очень неаккуратно, иногда в понедельник вместо субботы, я недели три был подлинным рабом кузнецкой семьи; не только я раздувал мех, ко и таскал котельные трубы, подметал, убирал, ходил за водкой и терпел издевательства сыновей кузнеца, презиравших меня за недогадливость, босячество, за то, что я в разговорах высказывал знания вещей и явлений, им неведомых. Во всяком случае, в кузнице было тепло. Не помню, что работали там, в глазах стоят теперь лишь брызги огни, разлетавшегося искрами при ковке металла, да старые котлы и узкие котельные трубы.

Ничтожная моя плата — три рубля в неделю — выдавалась так грубо, нехотя, как подачка, что однажды, вынужденный даже отправиться за ней к армянину в дом, я получил деньги и бросил ходить в кузницу.

Но наконец установилась теплая погода. На пасхе с одним босяком-«стрелком», пожилым, опытным бродягой, совершили мы очередное нищенское хождение из дома в дом и набрали целый мешок разной вкусной снеди да еще денег рубля полтора. Естественно, купили мы водки и начали пиршествовать, после чего я проснулся на пустыре, ничего не помня, со страшной головной болью и кое-как разыскал своего компаньона, который меня и опохмелил.

Лихорадка то появлялась, то исчезала. С теплом она не так свирепствовала во мне, и я начал работать опять поденно то тут, то там, но больше ходил в док. Случился даже маленький подряд, который взяла компания четырех босяков — и я в том числе — у одного мелкого подрядчика, еврея. Надо было выкрасить черной краской крышу пятиэтажной паровой мельницы. Двадцать рублей обещано было нам за работу, а также готовые краски, ведра, кисти и веревки. Мы провели три дня на раскаленной солнцем крыше и выкрасили ее, привязывая себя веревками к трубам, чтобы не соскользнуть с крутой крыши, но как дошло дело до получения денег — подрядчик исчез. Его адрес мы узнали, и, когда пришли к нему на квартиру, его жена повела нас в одну кофейню, где действительно мы обрели подрядчика, скромно закрывшегося газетой. На наше требование уплаты подрядчик говорил, что будто бы еще не получил денег сам от хозяина мельницы. Но мы так прижали его, что он куда-то побежал и деньги принес.

— Вот вам троим, — отнесся он к моим компаньонам, — а тебе (то есть мне), тебе ничего не будет, ничего не дам.

Ничего не понимая, так как не более, чем другие, напирал на подрядчика, я стал требовать, чтобы мои «товарищи» принудили подрядчика уплатить всё.

— Мы получили, — ответили мне они, — а на тебя нам плевать. Получай сам как хочешь.

При таких обстоятельствах мне ничего не оставалось, как наброситься на подрядчика и компаньонов с пеной у рта. Подрядчика к тому же начали стыдить, уговаривать другие посетители кофейной, но он, заметив, что я чужой, безразличный для своей же компании человек, усердно стоял на своем.

— В таком случае, — вскричал я, — я заявлю в полицию.

Это подействовало, и подрядчик уплатил недостающие пять рублей, но отдал их не мне, а одному босяку, и, выйдя на улицу, мы поделились, причем мне дали только три рубля.

— Довольно с тебя, уйди, а то изобьем. Ты не вровне с нами работал, мы тебя наняли.

Парни были все молодые, здоровенные, и спорить не приходилось. Я взял деньги, плюнул и ушел, потеряв, таким образом, два рубля.

Три рубля... Я сделал попытку приодеться хоть немного: купил хорошую, правда, с крахмальным гарнитуром, сорочку, почти новую, за двадцать копеек; поношенную жилетку персидскую с вышитыми шелком цветами и стоячим глухим воротником за пятьдесят копеек, брюки бумажные, коричневые, за восемьдесят копеек. Еще купил я стираный синий китель за сорок копеек и за тридцать копеек перелицованную из старой синюю фуражку. На ногах были старые чувяки. Отпоров крахмальные части сорочки, я надел ее, сходил в баню, постригся и, приняв приличный вид, по моему мнению, начал искать места, бродя по Белому и Черному городам; заходил на заводы, в конторы, магазины, мастерские и куда попало, но места так и не нашел.

Здесь кстати сказать несколько слов о нефти. Баку — центр нефтяной промышленности.

У меня есть энциклопедия; если бы я хотел, то, открыв статью «Баку», без труда мог бы сообщить технически и исторически точные сведения о нефти, тем

более что словарь этот — современник моих скитаний. Однако я пишу не популярное исследование, а лишь вспоминаю, причем пишу так, как вижу запомненное теперь.

Я был один раз в Балаханах, — ходил туда с двумя босяками искать работы, и ушел с чувством облегчения: страшны и мрачны, как дурной сон, показались мне черные острия вышек, пустота проулков, пропитанная нефтью земля, на которой нет ни зелени, ни деревьев. Узкие, пирамидальной формы «вышки» так многочисленны, что издали маячат, как лес, обвитый дымом. Всё черно, закопчено, покрыто налетом пыли и нефти, как в Черном городе. Людей почти не видно, — они в мастерских или внутри вышек, где длинной «желонкой» с клапанами «тартают» из глубоко уходящей внутрь земли буровой скважины «мазут». От Баку до Балахан верст двенадцать безрадостной, залитой зноем дороги, преследующей ухо перебивающимся, монотонно-звонким щелканьем подземных нефтепроводных труб. Этот звук преследует везде, где расположены керосиновые заводы или цистерны, — особенно в Черном городе. Трубы там плетутся по краям улиц, как жилы вспухшей руки; они и в канавах, и под землей, и над землей, — то выползают из нее, переплетаясь подобно лесным корням, то стекают под мостовую и беспрерывно стучат. Глухое, резкое, тихое, звонкое щелканье раздается со всех сторон. Чт*о* щелкает — воздух или мазут, — я не знаю. Звук этот полон дикого напряжения и таинственности, в нем чудятся удары молотов по железу, громыхание стального листа, трели цикад, удары пуль в жесть. Вы идете; внезапно щелканье достигает тягостной частоты и силы, и, завернув в переулок, думаете, что звуки остались позади вас, но навстречу приближается новый хор спрятанной неизвестно где металлической трескотни. Прибавьте к этому запах керосиновой лавки, неприятный вкус во рту, геометрический пейзаж бесчисленных нефтяных резервуаров и выступающую из земли под давлением ног нефть.

Попав в Балаханы, я даже не стал искать там работы, а, переночевав на кухне какой-то казармы, где клопы сделали меня почти ажурным, — так много их было, — я утром потек обратно в Баку.

Слышал я, между прочим, что бывали такие обильные фонтаны, когда нефть, давая десятки миллионов пудов в день, переполняла самые большие земляные

резервуары, и наступало золотое время для босяков: наспех рылись канавы, чтобы дать нефти направление к нужным оврагам и ямам; рабочие, стоя по живот в этих нефтяных речках, метлами и лопатами прогребали завалы наносимого течением мусора; за дневную работу на таких подземных бешенствах платили по пяти рублен в день и восемь — десять рублей за ночь.

Но — говорят — нечем было дышать. Еще — говорят — от такой работы тело покрывается язвами.

Анекдот или правда — такой рассказ? В одном месте стали бурить скважину, вдруг ударила желтая жидкость. Но запах почему-то приятен. Попробовали — ан это темное баварское пиво; оказалось, что пробурили какой-то обширный пивной погреб, попав в очень большую бочку.

Нефть заставила меня помнить о ней еще страшным пожаром летом 1899 года, когда одновременно горели лесные склады порта и резервуары, заводы Черного города. Пожар продолжался дней семь. Баку стоял в дыму, все дышали дымом, иногда таким густым, что днем было темно, как ночью. Только издали можно было смотреть на пожар, являвший, почти без видимого огня, движение дымовых гор и вращающихся черных завес. Я видел всё же проблеск огня — в Черном городе, где горела группа резервуаров. При диаметре их в десять—пятнадцать сажен можно представить, какого размера дымные извержения плотной массой клубились над ними. Рядом стоял еще целый резервуар. Вдруг с него с грохотом, напоминающим взрыв, слетел плоский конус крыши и, затрепетав, спланировал прочь; в ту же секунду рванул огонь и скрылся в поднявшихся столбах дыма.

На лесной пристани по воздуху летали горящие куски дерева.

IV

В начале мая пришел на биржу босяков человек с бородкой и спросил, не желает ли кто работать на рыбном промысле. Восемнадцать рублей в месяц, харчи готовые, чай, сахар и табак свой.

Никто из бакинских лаццарони, слонявшихся по бирже, не пожелал принять такое предложение. Босяки боялись постоянных мест, так как, видимо, предпочитали не знать, что с ними будет, более или менее рав-

номерному существованию. Впрочем, работа на рыбных промыслах нелегка, и я, вызвавшись стать рыбаком, скоро в том убедился.

Человек с бородкой — старшой промысла — привел меня к парусной лодке — карбасу или баркасу, как он там называется. В лодке был второй рыбак Ежов, смирный молодой парень. Мне понравились очень высокие рыбацкие сапоги с ремнями под коленом и толстыми, набитыми гвоздями подошвами. Брюки рыбаков были из парусины, блузы цветные, бумазейные, фуражки кожаные.

Мы снялись, уплыли далеко за пределы порта в сторону Петровска, то есть к Астрахани, и пристали у большого плоского острова, отделенного от материка высохшей мелью. Здесь у самой воды были здания промысла: жилой дом из камня с земляной крышей, сарай для снастей, лавка и жилье приказчика.

Жилье рыбаков состояло из двух помещений: одно с четырьмя топчанами для сна, другое, рядом, — зимняя кухонная комната, где ели, варили, пили чай. Пол был земляной, окна малы. Стоял также стол в сарае.

Как день был воскресный, время — четыре часа — позднее для работы, то я провел время до утра, ничего не делая, кроме лишь того, что получил от приказчика книжку, на которую взял пять фунтов сахару, четверть фунта чаю, пачку табаку и спичек.

Ели мы хорошо: вареную и жареную белугу, икру; утром чай был с белым хлебом и балыком или с чашкой икры, которую ели ложками.

Известно, что рыбная пища способствует малярии, а у меня к этому времени вновь началась сменная температура, пока еще не особой, правда, силы, и я боялся сказать об этом рыбакам, чтобы меня не уволили.

Всего было нас четверо; старшой, коренастый мужичок с бородкой, лет сорока, Ежов, я и высокий, толстый краснощекий Буранов. Надо отдать должное справедливости и вниманию людей: они меня учили на каждом шагу, как и что делать, а Ежов, догадавшись, что ночью меня трясет лихорадка, дал мне свое хорошее байковое одеяло; оно завшивело у меня. И вот, недели через две, когда я, уходя с промысла, вернул Ежову одеяло, то случайно заглянул из кухни в дверь; Ежов в тот же миг покраснел и быстро спрятал под собой это одеяло, а я уже заметил, что он, что-то ворча под нос, выбирает из

одеяла насекомых. Меня очень тронула деликатность человека, испугавшегося моего конфуза.

Так. Но обратимся к работе. Приказчик отказал выдать мне сапоги, боясь, может быть, что еще ничего не заработавший босяк сбежит с ними; сапоги стоили двенадцать рублей. К тому времени я уже продал и обменял свои обновы на тряпки, а потому мне выдали всё же бумазейную рубаху и старые парусинные брюки да еще старую же кожаную фуражку. Был я почти бос, так как опорки мои развалились.

Пока не. было подходящего ветра и снасти не были готовы, мы точили крюки. Снасть («порядок» так называемый) состоит из длинной, в версту и более, веревки, к которой через каждые три четверти аршина привязаны тонкие бечевки, длиной аршина полтора. На концах этих бечевок ввязаны большие, остро наточенные крючки, без бородки. «Порядок» расстилался далеко в море прямой линией, к концам его на вертикально падающих в глубину канатах привязаны якоря — большие камни. Камни эти удерживают снасть под водой, горизонтально. Красная рыба — белуга, севрюга и осетер, — ходя под водой, задевает своей цепкой щитковидной чешуей за острия крючков и, пытаясь освободиться, еще больше прокалывается со всех сторон, так как путает снасть вокруг себя.

Сети, расставленные в воде у берега, неподалеку от деревянных, на сваях, мостов, ловили сазанов и другую рыбу. Сазанов мы съедали всех. Это очень вкусная, но дешевая рыба, а наш хозяин-грузин, владелец рыбного магазина в Баку, интересовался только красной рыбой.

Старшой утром показал мне, как точить крючки. Я уселся на скамью перед воткнутой в песок деревянной установкой с навешанной на ней снастью, постепенно снимал висящие в порядке, аккуратно крючки, точил их, при помощи особой дощечки с отверстием — треугольным напильником — и вешал опять.

Так мы работали (в то время старшой и Ежов делали другую работу: чинили сети, паруса и т. п.) дня три, а затем отправились на баркасе в море при попутном ветре. Уехав так далеко, что берег скрылся из вида, мы разыскали по приметным буям свои «порядки» и проверили их. Лодка с опущенными парусами стояла; вернее — она передвигалась очень тихо, по мере того, как, перебирая руками подтащенную вверх из глубины

снасть, рыбак тем самым передвигал баркас. Добычи было мало: один «порядок» оказался совсем нетронутым, другой дал уже мертвого маленького тюленя, которого мы бросили, а на третьем полузаснула белужка весом пуда три да осетер длиной меньше сажени. Этот сильно спутанный «порядок» пришлось вытащить, складывая его кругами на дно лодки. На этой работе я исколол руки до крови, устал безумно, и еще больше пришлось мне устать, когда после ночи, проведенной в море, довелось грести тяжелыми веслами, потому что ветер около полудня вдруг упал. Мои руки были натерты жесткими мокрыми веревками до мозолей и крови, соленая вода жгла ладони, а волнение, хотя и без ветра, делало греблю так неровно-тяжелой, что, сжалясь, рыбаки устранили меня от весел.

В море мы ничего не ели, кроме сухарей, воды и копченой рыбы; получили еще от старшого по стаканчику водки. У меня долго кружилась после этого плавания голова, дрожало и ныло всё тело.

Дня четыре провели мы в береговых работах. Стало холодно, так как подул «норд», этот бич Апшеронского полуострова. Здесь чуть не случилось несчастье, и виноват оказался я. Я и старшой, когда ветер со страшной силой дул от берега в море, затеяли перевести одну шлюпку, привязанную к колу, по левую сторону мостков, чтобы там вытащить ее на берег.

Пройдя по колено в воде, мы заскочили в шлюпку; я взял весло и, толкая им в дно, начал двигать шлюпку к мосткам, а старшой правил. Уже мостки были близко — вдруг страшным ударом ветра лодку повалило на упертое мною в дно весло и выбило весло из рук; в ту же минуту оказались мы в стороне от мостков, и нас стало уносить в море; а кроме нас, никого не было: остальные ушли к татарам за бараниной.

Мы спаслись только благодаря тому, что старшой не потерялся; неистово крича, браня меня, себя и всех и всё, он схватил лежавшую на дне шлюпки толстую палку и начал стоя грести ею так, что вода свистела; палка рвала воду с быстротой швейной машины. Я, вытянувшись на носу и вытянув руку, готовился ухватиться за сваю мостков. Расстояние не более пяти сажен мы проходили, может быть, не меньше как пятнадцать минут, и я натерпелся страха. Наконец я вцепился в сваю и привязал шлюпку.

Старшой, когда шлюпка была затащена на песок, шатаясь, пошел прочь, как пьяный, потом упал ничком и долго, так лежа, хрипел; встав, он сказал:

— Ну, смотри, Лександра, чуть не пропали мы...

Действительно, в открытом, штормовом море нас ждал верный конец.

Я слышал рассказ о четырех рыбаках, которые, вцепясь в киль перевернутого бурей баркаса, трое суток носились по волнам Каспия. Прибило их в Персии, возле Ленкорани; один умер, остальные выжили.

Еще раз мне пришлось съездить в море; в тот раз мы поймали белугу около сорока пудов, так что, когда погрузили ее в двухколесную арбу, то хвост ее волочился по земле. Она так спутала весь порядок, что мы ее даже не разматывали, а, оглушив по темени каким-то рыбацким специальным железом, тащили к острову на буксире со всей ее одеждой, продев под жабры канат. Очень жаль, что я не помню подробностей возни с этим чудовищем, но (мелькнуло сейчас воспоминание, почти обрисовалось и отлетело) оно едва не перевернуло баркас, когда стояло у нашего борта. Белуга заняла целый день с раннего утра до вечера, лишь ночью на парусах доставили мы ее к острову. Из белуги вылилось несколько ведер икры (два дня мы ели икру)[3]. Утром приехал татарин с арбой и увез рыбу лавочнику-хозяину, а также бочонки с икрой.

После второго плавания лихорадка бурно повалила меня; я горел и трясся. Есть я не мог, только пил воду. А между тем наши рыбаки украли заблудившуюся татарскую козу и жарили ее, угощая меня печенкой, почками; я завидовал им, но есть не мог.

Ночью (ели козу ночью) раздался стук; я слышал тревожный голос татарина, ищущего свою козу.

— Нет, не видели, — сказали ему рыбаки и, после препирательств, вновь вытащили из-под стола свое жаркое, спрятанное там, едва раздался стук в дверь.

Между прочим: плита топилась нефтью, а нефть мы собирали, черпая ее тонкий слой жестянкой с выступающих из-под земли луж.

Видя, что я серьезно болен и прошу меня отпустить, старшой дал мне записку к хозяину; кое-как добрел я до Баку, получил от хозяина свой расчет (рубля четыре), и доктор ночлежного дома направил меня в больницу, где после адских приемов хины я дней че-

рез пять временно освободился от малярии. Затем встретил я того пожилого босяка, с которым мы нищенствовали на пасхе; он соблазнил меня идти бродяжить на Северный Кавказ, уверяя, что казаки щедрый народ; я согласился, и пошли мы в сторону Петровска — Дербента, — то берегом, то по тропинкам холмов.

V

Таланты моего спутника обнаружились очень скоро: когда мы прошли через Черный город, у него было уже «настреляно» от прохожих больше рубля. Мы переночевали в духане на горе, у дороги, обставленной скалами, при живописной луне, а ночью выпили бутылку красного вина и съели шашлык. Следующий день был жаркий. Путь наш теперь лежал по линии строящейся Баку — Петровск железной дороги, и около двух часов увидели мы, что за столом в одном деревянном открытом бараке сидит большеносый человек в папахе и синем костюме, пожирая жареную курицу. Рядом с курицей пламенела четверть ведра вина.

Соревнуясь в подвигах с попутчиком своим, я тотчас вознамерился «стрелять» человека в папахе, но мудрый учитель мне сказал:

— Это не дело. Садись на траву, будем есть свой сухой хлеб, и... вот увидишь, что будет.

При этом он тридцать раз помянул родительницу человека в папахе и брякнулся на траву. Смотря прямо в лицо обедающему, стали мы, сидя уныло, жевать хлеб и дожевались до того, что курица, видимо, стала у человека поперек горла; он подозвал нас, отдал всю оставшуюся половину курицы и налил нам по стакану вина.

Я удивился, как верно рассчитал всё мой психолог-босяк, и был восхищен. Не помню из-за чего, но мы весь день с ним пикировались и ругались, так что к вечеру мой спутник смертельно мне надоел, а как ночевать мы остановились в рабочей пекарне, в степи, то пекаря начали уговаривать меня остаться работать у них, и я согласился: сорок копеек в день на готовой пище. Утром тщетно уговаривал меня компаньон идти с ним; я наотрез отказался. Уже по некоторым намекам его я догадывался, что у него есть на меня какие-то планы, может быть — уголовного порядка; хотя не помню разговоров, но впечатление это определенное, твердое. Два раза он

мнимо уходил, возвращался и звал. Я послал его далеко... далеко!

— Ну, так пропадай тут: лезь в хомут, если так тебе нравится... Дураков работа ищет! — закричал он и скрылся в степи.

А я стал работать в пекарне. Вначале носил муку, воду, колол дрова, таскал из печей горячий хлеб, а затем мне дали телегу и лошадь; я стал развозить мясо и хлеб в казармы землекопов строящейся железной дороги.

Эта вполне самостоятельная работа мне понравилась: я утром водил лошадь к источнику, где поил ее, встречаясь там с погонщиками верблюдов, купал лошадь в море и сам купался; запрягал свою кобылу, грузил телегу хлебом, говядиной (коров резали при пекарне) и развозил эту пищу по своему участку, сдавая ее на вес. Конечно, я мог есть хлеба сколько хотел, но обедать — щи, кашу — мог только к вечеру, когда возвращался. Я мало тогда беспокоился о чае — не то, что теперь; по вечерам с удовольствием пил кирпичный чай и курил махорку.

Так я жил недели две, затем пекарня прикрылась (не помню уже почему). Я пешком направился в Баку, но по дороге пристал к одной артели землекопов, рывшей насыпь, и, соблазненный рассказом о хорошем заработке, остался у них. Сколько тогда платили за куб земли? Два с четвертаком, два с полтиной — так, кажется. Но землекопная работа, одна из самых тяжелых, сразу подрезала меня, тем более что она производилась группами и надо было не отстать от других рабочих; я спасовал. После двух дней такой работы на зное я слег, снова заболев лихорадкой. Затем пытался я еще возить землю на насыпь, но и тут не выдержал, не говоря уже о том, что тачки с землей, кои пробовал я таскать, — весом до двадцати пяти пудов груза — вываливались у меня из рук.

Рабочие — всё пришлые крестьяне из России — жили в длинной землянке с такой низкой дверью, что входить надо было согнувшись. Эта землянка, крытая дерном, не давала спать — так было ночью в ней душно, так была сильна вонь натруженных тел крестьянских, — и вшей было довольно. А спали на нарах вповалку, толкая во сне друг друга коленями и локтями.

Измученный, я бежал, оставшись должен подрядчику восемьдесят копеек за чай и сахар. Когда я жил

в землянке, мне пришлось видеть артель землекопов-мордвинов. Они «обедали». В чашку с водой с солью был покрошен черный хлеб — всё! Поев, они с довольным видом закурили из трубок махорку. Но эти крайне выносливые мужики вырабатывали по кубу и больше на человека в день; значит, могли есть сытно?! Да, но я слышал, что они крайне скупы, и сам знал в Баку таких, которые работали, например, котельщиками или слесарями, а жены их всё-таки ходили побираться, продавая хлеб для коров и лошадей по копейке за фунт.

Так же, но уже не скаредно, а скверно, питались персы-грузчики, получавшие плату ниже, чем русские рабочие (кажется, пятьдесят копеек поденно). Но этим ничего другого, конечно, не оставалось. Они ели покрошенный в большую чашку лаваш, сдабривая его водой, подцвеченной молоком.

От землекопства мне захотелось идти опять на рыбные промыслы, и, узнав, что верстах в сорока такой промысел есть, я легкомысленно двинулся к берегу моря, у самой воды. А надо было идти проезжими дорогами, где есть источники, караван-сараи; и я чуть не умер от жажды.

Солнце палило неумолимо; кричали тарбаганы (суслики), звенели кузнечики; не было ни ветра, ни волнения в море.

Вначале я шел бодро, потом захотел пить. Поглядывая на морскую воду, я стал прибавлять шаг, так как надеялся встретить речку, ручей или жилье; но холм за холмом проходили слева, впереди тянулись плоские изгибы берега один за другим, а признаков воды не было.

Уже солнце перешло зенит; жар был такой, что ядовитый озноб пробегал по телу, и красные круги шли передо мной на белом песке. Жажда стала мученьем.

Глотая слюну, схватывая и жуя стебелек, примачивая голову морской водой, я то шел, спотыкаясь, то бежал.

Остального не помню. Я был в полубессознательном состоянии от страшных мучений, передать которые словами нельзя. Они сосредоточены в горле и пищеводе, где как бы движутся потоки горячей соли, приводя в слезы и бешенство. Рыдая, громко призывая на помощь, я бежал стремглав всё дальше и дальше, не присаживаясь, не останавливаясь, с безумной болью внутри.

Помню одну заботу тех адских часов: как бы не упасть. Упав, я не смог бы встать.

Но у меня хватило силы избежать для питья морской воды и не хватило соображения выкупаться, — купанье облегчило бы мои неимоверные страдания.

На закате солнца я увидел за срывом берега примкнувшую к нему дерновую крышу промысла, пробежал мимо двух пытавшихся меня остановить рыбаков, исступленно закричал: «Где вода?» — и, сам увидев под навесом сарая бочку, полную воды, припал к ней ртом... Меня вырвало. Я снова припал — и тот же результат. От слабости я сел. Тогда один рыбак стал поить меня из кружки. Мои зубы стучали. Я глотал, чувствуя боль при каждом глотке, проливал воду на грудь и не мог удержать рыданий. Наконец второй рыбак вылил мне на голову ведро воды; дрожь усилилась, но нервы стихли и, уже спокойнее, я напился досыта.

В течение вечера я принимался пить несколько раз — и чай и воду.

В таком утолении жажды нет радости, — оно мрачно, тягостно, почти преступно.

Как наступила прохлада, я отошел уже, вместе с рыбаками шутил и смеялся над своим приключением. Молодой рыбак, оказавшийся читавшим кое-что из моих любимых авторов — Эмара, Жюль Верна и других, — пел «Баламуты», потом меня накормили вареной рыбой, и я крепко уснул, а утром направился обратно в Баку, но уже по линии строящейся железной дороги, для чего мне пришлось отшагать несколько верст в глубину равнины. С одного места двигался в Баку состав пустых вагонов; я забрался в вагон и на следующий день приехал в город.

Снова трясла меня лихорадка, и, хотя я не спал всю ночь, я отчетливо видел во тьме странные жуткие галлюцинации. Если я закрывал глаза, я продолжал видеть вагон, но полный не тьмы, а подобия сумерек; в углах против меня сидели, опираясь руками о пол, жуткие волосатые существа с огненными глазами; их толстые длинные хвосты шевелились, как у крыс. И лица их были отвратительны. Тогда я открывал глаза, — всё пропадало. Я курил и старался не смежать глаз.

Несколько дней спустя, без денег, рваный и больной, я сидел в духане. Пришел человек и стал звать желающих поступить матросом на пароход «Атрек» ком-

пании «Надежда». Это был товаро-пассажирский пароход, делавший круговые рейсы.

Я вызвался и отправился на пароход. Так с начала до конца всё было неинтересно, бесцветно на этом пароходе, так были серы и не по-матросски одеты матросы, пароход так грязен, кубрик — нечист и неудобен, что рейс на «Атреке» — в противность Черному морю — совершенно забыт мной как действие; я помню его только как факт, как ряд фактов. Даже пищу мы варили сами, по очереди: борщ и кашу — из своего жалованья в двадцать один рубль. Матросы подрабатывали тем, что грузили товар вместе с грузчиками, но мне непосильно было это, и я отказался. Беспрерывно больной лихорадкой, я с трудом нес вахты. Не помню ни пассажиров, ни капитана, ни гаваней, ни лиц матросов. Знаю только, что на «Атреке» я доплыл до астраханских «Двенадцать фут», то есть до рейда, и попросил за две недели расчет. За вычетом стоимости продовольствия, выдано мне было около шести рублей, на которые я, задумав теперь вернуться домой, немного приоделся: купил бумажный пиджак и брюки, рубашку с чесучовой грудью (косоворотку), кальсоны, фуражку. Не хватило на башмаки. Осталась мелочь, которую я быстро «проел», и, когда упросился на пароход плыть до Казани, денег у меня не было.

Неподалеку от Черного Яра (или Красного?) контроль ссадил меня на берег, потому что разрешил ехать помощник, а контроль делал капитан и не захотел, чтобы я ехал. Я напрасно просил его. Меня ссадили в таком месте, где пароходы приставали только случайно, — если был адресован туда груз.

И вот, до следующего Яра, где находились все пристани, прошел я пешком сорок пять верст за два дня. Пришел я в большое село, и меня пригласили в волостное правление — проверить паспорт. Я рассказал волостному старшине о своих горемычных странствиях; этот добрый мужик привел меня к себе в хороший зажиточный дом, напоил чаем, накормил ужином, уложил спать, а утром, прощаясь, как-то очень хорошо, человечески всучил мне серебряный рубль, и когда я, со стыдом в душе, благодарил его, то он сказал: «Ладно, ладно, берите, у меня самого вот так-то сын мучается, — отбился совсем, и уж три месяца писем от него нет».

А хозяйка дала мне пирогов, хлеба и яиц.

Придя в Яр (кажется, Красный, а может быть — Черный), я решительно сел на пароход «зайцем». Ночью было холодно, меня знобило, и я лег за дрова, на железный кожух машинного отделения. Этой же ночью стали проверять билеты, и мне приказали слезть на первой же пристани. Я придумал следующее: когда пароход давал свисток — в знак приближения к пристани, — я шел на корму и опускался за нее на идущий вокруг судна «планшир», род карниза, на котором и сидел, держась за свесившийся канат; и был я людям, ищущим меня, невидим с палубы. Когда пароход отваливал, я вылезал на палубу. «Где ты был? — сердито спрашивали меня матросы и помощник капитана. — Ведь мы тебя ищем». Но я своего секрета, конечно, не открывал и проехал таким образом три остановки. Наконец ко мне приставили матроса, чтобы он не упускал меня из вида; тогда, делать нечего, пришлось уйти, но, слезая на забытой уже пристани, я сообщил всё же администрации парохода свою выдумку.

Удивлялись, смеялись, но ехать дальше всё же не дали.

Подождав третьего парохода, я опять резво взошел «зайцем», но тут мне повезло: я встретил вдребезги пьяного незнакомого мне котельщика из Баку; он ехал домой в Симбирск. Узнав, что я тоже из Баку, котельщик возлюбил меня страшно: никуда не отпускал от себя, покупал водку, пиво, заказывал кушанья и потом бегал на пристань за воблой, каковая стоила тогда двугривенный десяток. То жался, то разбрасывался. Он купил мне билет до Казани — за рубль двадцать копеек, кажется; купил мне по пути — уже не помню где — новые «баретки» (летние коричневые башмаки из материи) за рубль пятьдесят копеек и всё говорил:

— Помни Тимофея Пришлепкина. Я такой-то! У меня денег много, есть золотые, есть серебряные.

Как я уяснил, он целый год копил деньги и накопил, если ему верить, рублей четыреста.

Он пил беспрерывно, ко всем приставал, торчал у буфета часами; заснув немного, просыпался и пил пиво. В конце концов, как ни был я благодарен ему, он мне изрядно надоел, и я был рад, когда Пришлепкин слез в Симбирске с парохода.

От Казани мне удалось бесплатно приехать в Вятку на пароходе вятского пароходства «Тырышкин — Булы-

чов», потому что я встретил однокашника по городскому училищу, служившего на том пароходе помощником капитана.

Я никогда не писал отцу, что я возвращаюсь, а потому неожиданно для него приехал домой.

Надо сказать, как только я покинул Астрахань, малярия внезапно оставила меня. Она сказывается иногда теперь в скрытой форме.

Отец встретил меня радостно, слегка растерянно; характерная улыбка шевелила его усы, уже седеющие. Наша семья жила в маленькой тесной квартире деревянного дома.

— Ну, вот... был в Баку, лежал на боку, — бесхитростно острил отец, когда я, стараясь говорить небрежно и бодро, кое-что рассказывал ему о пережитом. И так как стыдно было мне являться без гроша, снова пользуясь поддержкой отца, то я вновь солгал, проронив между прочим:

— Деньги? Деньги есть, есть всякие: и золотые и серебряные.

Мне понравилась эта фраза пьяного Тимофея.

Отец внимательно посмотрел на меня, а вечером, сильно нетрезвый и по-видимому наученный мачехой, подошел ко мне, сел и, не то стесняясь, не то приказывая, сказал:

— А ну, Александр, давай-ка деньги! давай, давай! Ты всё зря истратишь... то — вот... Так давай!.. то — вот.

Это была его привычка почти через слово прибавлять «то — вот».

Тогда мне пришлось сознаться в выдумке — и странно — даже уверять отца, что я солгал.

— Так зачем же ты лжешь? — спросил он, взволновавшись и рассердясь.

Но я и теперь не знаю: зачем?

УРАЛ

I

В феврале 1900 года я решил отправиться на уральские золотые прииски.

Всю эту зиму я прожил бедствуя изо дня в день. Мне удавалось иногда заработать рубль-два перепиской ролей для труппы городского театра, причем, чтобы

получить даже эти гроши, приходилось иногда часами ловить за кулисами антрепренера, а то даже ожидать конца спектакля, когда антрепренер залезал в кассу сверять билеты.

Около месяца я прослужил у одного частного поверенного, бойкого крючка, платившего мне двадцать копеек в день за довольно трудную работу: писание под диктовку исковых прошений и апелляционных жалоб.

Эти двадцать копеек я тратил так: на две копейки покупал я в трактире чашку вареного гороха с постным маслом, на три копейки хлеба, на две копейки жареного картофеля, четыре копейки стоила рюмка водки. Остальные деньги — в разном сложении остатков — шли на покупку чая и табаку.

Я жил в крошечной каморке деревянного старого дома. Рядом, в другой каморке, жили слесарь с женой, а примыкающее помещение, побольше, занимала плотничья артель.

За комнату два рубля пятьдесят копеек платил мой отец.

Однажды, сильно устав и не дождавшись частного поверенного, который выдавал мне мой двугривенный, я пошел искать его в театральный буфет, куда он часто ходил. Действительно, мой мучитель сидел там, пьяный, в хорьковой шубе, каракулевой шапке, с каким-то дельцом; они ели уху и пили водку.

Я попросил свой двугривенный. Адвокат прикинулся хмельным и бедным. Он начал толковать о своих благодеяниях мне, о том, что его никто не понимает, что двадцать копеек — деньги, что их нужно достать, а у него нет.

Компаньон адвоката, слушая этот разговор, возмутился, пристыдил приятеля и вручил мне — за него — двадцать копеек, сказав, что вычтет с адвоката по счету.

С того дня я перестал ходить к моему бывшему хозяину.

Немного понаторев в писании исковых прошений, я начал писать их, сидя в одном трактире, за столиком. Плата была обычная для сделок такого рода и при такой обстановке: полтинник и полбутылка водки. Но мне не везло в том, что у меня был прескверный почерк, без завитушек; прошения я составлял сухо и кратко, по существу, без того, чтобы вышло «жалостливо» — «доходило до сердца», то есть трогало самого просителя. По-

этому таких работ у меня было немного. Мое сидение в трактире окончилось, когда появился «дока»: человек с красным носом, в опорках и сюртуке. Он брал просителя тем, что сразу говорил: «ставь». Мужик зубами развязывал узелок платка, оба они — я видел — понимали друг друга и по словам, и по рюмкам.

В писании ролей для театра вытеснили меня конкуренты с красивым почерком, рабски лепившие строчку на строчку за тот же пятак с листа, тогда как я мужественно разгонял текст, чтобы нагнать из пьесы больше листов.

Мне случалось, просидев день и всю ночь, переписать пьесу по четыре-пять печатных листов, — со своей бумагой.

Но я отвлекся, а, впрочем, важно указать, из какой обстановки я двинулся на Урал. Там я мечтал разыскать клад, найти самородок пуда в полтора, — одним словом, я всё еще был под влиянием Райдера Хаггарда и Густава Эмара.

Отец дал мне три рубля. На мне были старые валенки, подшитые кожей, черные ластиковые штаны, старая бумазейная рубашка, красная, с черными крапинками, теплый пиджак из верблюжьей шерсти, подбитый беличьим мехом, и шапка из бараньего меха. Я ничего не нес и ни на что не надеялся. Правда, отец сказал мне, что в Перми живет его прежний знакомый, ссыльный поляк Ржевский, хозяин большого колбасного заведения, и дал к нему письмо, в котором просил помочь мне найти работу, но я не верил в силу письма. Связь отца с ссыльным была давно порвана, а в таких случаях неожиданное явление бродяги, даже с письмом от полузабытого знакомого, — впечатление не очень внушительное.

Числа, кажется, 23 февраля, в снежный, мягкий день, я перешел реку Вятку и остановился у кабака села Дымкова, на другом берегу, памятуя, что каждый путешественник, отправляясь в далекий путь, выпивает в трактире за чертой города стакан виски.

И я выпил «сотку», закусив ее горячей бараниной.

Весь остаток рано темнеющего дня я шел по тракту на уездный город Слободской, до которого было тридцать верст. Когда я прошел верст пятнадцать, было уже темно, как ночью. Встретив огни деревни, я постучался в одну избу, в другую, но везде слышал один

ответ: «Ступай, много вас таких шляется». Не зная, что делать, я постучался в один дом не совсем крестьянского типа и попал к молодому дьякону, жившему с такой же молоденькой женой во втором этаже. Дьякон оказался человеком простым и, как я, — поклонником Густава Эмара; у него я и переночевал на полу, подостлав половик. Его жена накормила меня лапшой с грибами и попоила чаем с сушкой.

Утром я отправился дальше, иногда проезжая некоторое расстояние на крестьянских санях. Попутные мужики охотно подсаживали меня; однако ударил мороз, отчего выгоднее было идти, чем сидеть; движение согревало. К тому же, мне торопиться было некуда.

Дорога была — широкий почтовый тракт, обсаженный столетними снежно-кружевными березами. Изредка попадались деревни, куда я заходил погреться в избе, купить хлеба и молока. В те времена я еще пил молоко.

Около двух часов дня показались крыши уездного города Слободского. Придя в город, я сделал попытку разыскать семью ссыльного поляка Тецкого, который был моим крестным отцом, так как я появился на свет в Слободском, когда мой отец служил там в конторе пивоваренного завода. Однако Тецкий с семьей уехал в Сибирь. Выпив в придорожном трактире стакан водки, а также пообедав, я тронулся в дальнейшее странствие, которое продолжалось восемь дней; я прошел от Слободского до Глазова сто восемьдесят верст, ночуя по деревням. Редкая семья соглашалась взять с меня деньги за ужин или ночлег. Я предпочитал останавливаться в бедных избах, так как хозяева таких жилищ гораздо радушнее и приветливее, чем зажиточные крестьяне.

Обыкновенно семья садилась ужинать — вся — за большой стол, в известном порядке старшинства и зависимости. Молодка или старуха бабка подавала еду. Эта садилась последней. Перед каждым трапезником лежал большой ломоть хлеба, который, кстати сказать, нигде не умеют так печь, как в Вятской губернии. Едой управлял очень строгий этикет, нарушить который считалось верхом невежества.

Прежде всего каждый крестился на иконы и, облизав деревянную лакированную ложку, ждал своей очереди зачерпнуть ею из большой общей чашки щей или молока. Вначале ставилось толокно, разведенное квасом и сдобренное постным маслом; затем квашенная в печи

простокваша. В самых бедных семьях ели только вареный картофель и квас с накрошенным луком.

Черпать ложкой надо было по очереди, кругом, в сторону движения солнца. Во время ужина господствовало чинное, сосредоточенное молчание, даже дети вели себя, как взрослые. Труженик земли уважает свою пищу, которая добывается тяжелым трудом. Он уважает час насыщения — награды за труд. Если странник, зайдя в избу во время общей еды, скажет: «хлеб да соль», ответ бывает такой — или «садись с нами», то есть садись и ешь (отказаться — значит обидеть), или «благодарим!», то есть приглашать есть не хотят.

Там, где на стол подавались мясные щи, этикет требовал, чтобы, зачерпнув ложкой горячей жижи с накрошенным в нее мясом, очередник оставил себе на ложке каждый раз один кусочек мяса, лишнее мясо стыдливо стряхивалось обратно.

Со мной был чай, и я видел, с каким худо скрываемым удовольствием ставился самовар, причем чаепитие происходило так же чинно, молчаливо, как ужин. Я заметил, что женщины более радовались чаю, чем мужчины, и пили его с жадностью, потея от удовольствия. Напившись, каждый перевертывал свою чашку дном вверх, кладя сверху на дно оставшийся недогрызок сахару.

Я спал на печке или полатях; на печке сушились мои валенки и портянки.

Однажды я пил чай из сухих стеблей малины — ужасное потогонное питье, хотя довольно приятное.

Утром, еще в темноте, при свете лучины, хозяйка пекла ржаные лепешки, ставила молоко или чай; наевшись, я затемно выходил на дорогу и в глубокой тишине медленного зимнего рассвета скрипел своими просохшими валенками на восток, к городу Глазову.

II

Инспектором Глазовского городского училища был Дмитрий Васильевич Петров [1], мой бывший учитель по Вятскому городскому училищу. Я знал, что он здесь, от бывших учеников, моих одноклассников, и решил зайти к нему в гости.

Петров жил в казенной квартире. Пол был чисто натерт, много цветов, рояль, красивые вязаные салфетки —

словом, будничный ординарный комфорт интеллигентного труженика. Я снова увидел его доброе усталое лицо, редкие темные баки, всклокоченный хохолок на лбу, синий вицмундир с золотыми пуговицами и почувствовал себя школьником, когда он сказал:

— А, Гриневский. Здравствуй; какими судьбами? Входи, входи.

В квартире Петрова я ночевал. Его жена, Евгения Ивановна, на которой он женился, когда еще был учителем в Вятке, показывалась редко; то одевалась и уходила по своим делам, то возилась с детьми. Я пришел рано утром, поэтому с Петровым разговорился, когда он пришел со службы, в четыре часа, а до того я сидел за книгой и бесконечно курил папиросы Петрова, отдыхая после трудовой зимней ходьбы в тихой, чистой квартире.

Мне была приготовлена ванна; я вымылся, переменил свое белье на чистое, поношенное белье Петрова и пожалел, что завтра опять надо идти.

За обедом, затем за вечерним чаем мы много и горячо говорили о жизни, о литературе. Я прочел Петрову свои стихи, после чего он сказал: «да, что-то есть». Затем спросил, нравятся ли мне рассказы Горького. Мне они нравились, и я воодушевленно отстаивал любимого тогда автора.

— Значит, одобряешь? — спросил Петров.

Как я понял, это грустное замечание относилось не только к литературной стороне произведений Горького, — оно имело в виду образ жизни его героев. Я ответил утвердительно. Петров не спорил, а когда стали расходиться спать, сказал:

— Ну, что же, Гриневский, я думаю, надо тебе немного помочь. Много я не могу.

Он дал мне серебряный рубль, пачку папирос, и, наскоро выпив, рано утром, чая, я отправился на вокзал, где уговорился с кондуктором товаро-пассажирского поезда. Я дал ему сорок копеек; он посадил меня в пустой товарный вагон и запер его. У меня были хлеб, колбаса, полбутылки водки. Пока тянулся день, я расхаживал по вагону, мечтал, ел, курил и не зяб, но вечером ударил крепчайший мороз, градусов двадцать. Всю ночь я провел в борьбе с одолевающим меня сном и морозным окоченением: если бы я уснул, в Перми был бы обнаружен только мой труп. Эту долгую ночь мучений, страха и холода в темном вагоне мне не забыть никогда.

Наконец, часов в семь утра, поезд прикатил в Пермь. Выпуская меня, кондуктор нагло заметил: «А я думал, что ты уж помер», — но, радуясь спасению, я только плюнул в ответ на его слова и, с трудом разминая закоченевшие ноги, побежал на рынок, в чайную.

Здесь было жарко, тесно; множество мужиков и рабочих, следующих, как и я, на заработки, пили чай, курили, кричали, пили водку; под столами были свалены мешки, котомки; махорочный дым знаменитой дунаевской махорки «Три звездочки» заскакивал в дыхательное горло удушьем. Как у меня не было денег, то я обменял свою баранью шапку на старую из поддельной мерлушки, получив двадцать копеек придачи, и напился чаю с баранками, а затем, около девяти часов, пошел с письмом отца к Ржевскому, магазин которого находился на главной улице города.

Это был большой магазин с зеркальными стеклами и американской кассой, с мраморными прилавками.

Прочтя письмо отца, Ржевский, замкнутый, спокойный поляк лет сорока, пошептался с женой, и она передала меня какому-то старичку, — может быть, ее отцу или отцу Ржевского. Старичок повел меня по лестнице в глубине магазина наверх, и я очутился в очень просторной, очень светлой, большой квартире. Пол был паркетный, обои светлые, мебель в чехлах; картины и огромные тропические растения поразили меня. Еще никогда я не был в такой квартире, а о паркетах только читал.

В тот день была оттепель, отчего мои валенки просырели, и я с ужасом видел, что на каждом шагу оставляю жирные, грязные пятна сырости. Заколебавшись, я остановился; между тем старичок, со всей возможной деликатностью, а может быть, с тайным ехидством ласковыми движениями рук приглашал меня идти всё дальше за ним, через гостиные, залы, — в столовую. Я думаю теперь, что меня могли бы избавить от такого унижения, проведя в столовую более кратким путем, хотя бы через кухню. Я оглянулся: по светлой реке паркета, через всю анфиладу тянулись черные пятна сырости.

Я останавливался раз пять; уши мои горели.

Наконец я был в столовой, где кипел серебряный самовар, и тотчас сел за стол, поглубже упрятав ноги. Кроме старичка, была здесь старушка, девочка, а вскоре пришли хозяева, Ржевские. От смущения я лепетал не

помню что; говорил о приисках, золоте; рассказывал свои морские похождения, рассказал об отце, нашей семье. Старичок угощал меня превосходными папиросами, насыпанными в ящичек карельской березы. Я сказал: «Как у вас хорошо», — чем, видимо, польстил хозяевам, но в ответ получил, кажется, рассуждение о том, что такой комфорт достигается упорным трудом. Я выпил стакан чая с молоком в серебряном подстаканнике, съел колбасы, сыру и когда, куда-то уйдя, Ржевский вернулся с запиской, — это была записка вагонному мастеру железнодорожного депо с просьбой дать мне работу. Затем, узнав, что я без денег, Ржевский дал мне рубль и велел приказчику завернуть для меня три фунта разной колбасы; я попрощался и ушел тем же путем, провожаемый внимательными взглядами служащих.

Кажется, я не понравился, — я был дик. На улице я вздохнул с облегчением и немедленно отправился в депо, где и был принят чернорабочим с платой пятьдесят копеек в день и десять копеек в час за сверхурочные.

После того я нашел маленькую комнату, с матрацем, но без подушек, за четыре рубля в месяц и, прописав свой паспорт, на следующее же утро к шести часам утра был в депо.

Хотя позапрошлую зиму я работал в вагонных мастерских в Вятке, однако разница была велика. Там я, главным образом, имел дело с деревообделочными станками, стругавшими обшивные, половые доски и вырезывающими колодки, материал — дерево — был не тяжел; здесь же мне пришлось работать до изнурения. Переноска всяких тяжестей, рельсов, котлов, возня с тяжелыми домкратами, толкание паровозов на поворотный круг, — словом, металл, металл и металл. Кроме того, почти каждый день я оставался на сверхурочные, приходя домой часов в девять вечера до того усталый, что не мог ни есть, ни читать.

За две недели моей работы в депо я раза четыре заходил в магазин Ржевского. Я покупал там колбасные обрезки, одиннадцать копеек фунт, и Ржевский два раза посылал меня с запиской на фабрику, во дворе, где аппетитные колбасные ребята наваливали мне множество этих обрезков даром.

Я видел, что, оставшись в депо, — останусь в депо и ничего больше. Между тем стало сильно таять и сильно греть солнце; началась северная весна.

Взяв расчет, я получил около четырех рублей и, как уже по разговорам знал о ближайших, графа Шувалова, приисках, — что там можно всегда найти работу, то в один прекрасный день сел в поезд «зайцем»; после двух высадок за безбилетность, почти к вечеру я доехал до станции, откуда надо было идти пешком на прииски. Как я видел, к такому способу передвижения прибегает множество шатающегося по Уралу народа, а потому не обращал внимания на желчные припадки кондукторов, привыкших ссаживать «зайцев» почти на каждой станции.

От станции шла дорога через рудники, заводы, на прииски. Вокруг стояли круглые горы, заросшие синим лесом, и, хоть стыдно сознаться, но, когда я прошел верст пять, — дикий мрачный вид этой страны золота посеял во мне наивные надежды. Как местами дорога уже протаяла, я время от времени поднимал разные камни, осматривая их с целью найти хотя бы небольшой самородок.

Было темно, когда показались огни казарм железных рудников. (Забыл название.) Мне никогда не забыть странной картины внутренности очень большой казармы, сложенной из гигантских бревен, куда я вошел просить ночлега. Вокруг стен шли нары, в прорывах нар стояли простые столы. С потолка освещала это жилье сильная керосиновая лампа. Железная печь посреди казармы, раскаленная докрасна, нагоняла тропическую жару, на ее длинной трубе, обходящей чуть не все помещения, сушились портянки, висели мокрые лапти. Однако главным в картине был ярко-желтый цвет всего: пола, стен, столов, портянок, рубах, людей и, кажется, самого воздуха, как если смотреть через желтое стекло. Это была рудная пыль — пыль железной руды, скопившаяся годами, приносимая на ногах и в одежде.

Рабочие — все пришлые мужики — частью спали, частью пили чай из почерневших жестяных чайников; кое-кто играл в шашки или читал двухкопеечные лубочные издания Сытина.

Хотя я притворился опытным, разбитным бродягой, однако, по расспросам и разговорам моим, мужички скоро меня поняли и отнеслись добродушно; пил я с ними кирпичный чай, ел их пшеничный хлеб, слушал, присматривался.

5 Зак. № 272

Они предлагали мне остаться работать, но обстановка прииска, еще неведомая, тянула меня. Утром я пошел дальше, горя нетерпением и отвагой. Я уже слышал о «хищниках». Мне грезились костры в лесу, карабины, тайные притоны скупщиков, золото и пиры, медведи и индейцы... Заметив, что докатился до индейцев, я оглянулся, но никто не слышал меня на дикой дороге.

III

Шуваловские прииски представляли собой скопление изб, казарм, шахт и конторских строений, раскинутое частью в лесу, вдоль лесной речки. Здесь работало несколько тысяч человек, не считая «старателей».

Порядок приема на работу был очень прост: каждый, кто хотел, приходил в контору, сдавал свой паспорт, получая взамен расчетную книжку и рубль задатка, а затем мог идти и селиться где и у кого хочет; благодаря этому был постоянный резерв свободной рабочей силы. Хотя все, кто выходил утром к наряду, получали работу (я не говорю о шахтерах, забойщиках и крепильщиках-плотниках — эти были как бы штатные, хотя тоже поденщики), в казармах постоянно валялись, дымя махоркой, лодыри; эти день-два работали, а день-два отдыхали, так как, закупив хлеба, мяса и табаку, они ели эти запасы, пока голод не заставлял их снова идти на наряд. Десятник механически отмечал в своей таблице рабочие дни каждого, за отработанное платилось, а прогульные дни абсолютно никого не интересовали.

Наверное, были среди постоянно сменяющейся массы рабочих воры, беглые каторжане, беглые солдаты, но их никто не тревожил. Фальшивый или чужой, краденый, паспорт покрывал всё.

Бессемейных, пьяниц, босяков звали обидной кличкой «галах», сибиряков — «чалдон», пермяков — «пермяк — соленые уши», вятских — «водохлебы», «толоконники», волжских — «кацапы», мордвинов — «лягушатники» («Лягва, а лягва. Постой, я тебя съем»). О них рассказывали, как один мордвин ищет другого:

— Васька.

Молчание.

— Василий.

Молчание.

— Василий Иванович.

Молчание.

— Василий Иванович, милый дружка, золотой яблочка, — где ты?

— Под кустом сижу; чилиль (трубку) курю.

Предпочтительной уральской одеждой, предметом мечты, были татарская шапка из завитого барашка с четырехугольным, черного бархата, верхом; высокие «приисковые» сапоги, выше колен, с ремешками под коленом и серебряными подковами; бумазейная рубашка с высоким воротником, застегивающаяся на синие стеклянные пуговицы, и шаровары из черного бумажного бархата (плис).

Щегольской верхней одеждой считался «азям» — род халата из верблюжей шерсти, с широким отложным бархатным воротником. Однако большей частью можно было встретить желтые полушубки да матерчатые пиджаки на вате, а то и на кудели.

Кроме лаптей, валенок и сапог в ходу были, зимой, «бахилы» — мягкая высокая обувь из коровьей или лошадиной шкуры, шерстью внутрь, а также «поршни» — кожаные лапти.

Контора — большое здание из двухсотлетних бревен — была пуста, когда я вошел, только у окошка кассы один старатель получал деньги за сданное золото. Он принес с собой фаянсовую тарелку.

Кассир отсчитал ему две тысячи рублей золотыми пятирублевками.

Старатель завязал полную золотом тарелку в ситцевый платок и понес домой — как носят суп, спокойно и независимо.

После этой картины мой рубль задатка стал очень невелик для меня. Сдав паспорт, я отправился бродить по прииску и, заглянув в общие бараки, не захотел поселиться там. Вверху было жарко от железной печки, а в ноги тянуло холодом; между тем, за отсутствием места на нарах, мне пришлось бы спать на земле.

Один рабочий направил меня к местному жителю-рабочему, в его избу, и я поселился там в углу, за рубль в месяц. Кроме меня был еще жилец — рыжий мужик, горький пьяница; вечером он с хозяином напивался, и они пели, сидя за бутылкой:

Скажи мне, звездочка златая,
Зачем печально так горишь?

Король, король, о чем вздыхаешь,
Со страхом речи говоришь?

Хозяйка, пожилая беременная женщина, молча работала по хозяйству, ни во что не вмешиваясь.

Я спал в углу, на соломе. Она никогда не убиралась, лишь сметалась на день в кучу.

Таяло, снег сошел по прииску, лежал он еще только в лесу. От сырой грязи мои валенки развалились; сапожник отказался чинить их, — я надел лапти.

Как было не вспомнить ехидную поговорку, которой дразнили меня мои родители за проказы и леность к ученью:

«Гули да гули... Ан в лапти и обули».

Однако уметь надеть лапти не так просто. Мои сожители учили меня обвертывать ногу портянкой, чтобы было везде туго, ловко, не давило подошву, и я кое-чего достиг в этом искусстве.

На другой же день, едва в темноте порозовело небо, сквозь лес я вышел к наряду. Нарядчики послали меня качать из шурфов воду. Из бараков вышел народ, бабы и мужики, прибавилось к нему нас, новичков, человек двадцать, и, пройдя с полверсты лесом, мы очутились в лесной долине.

Здесь, на расстоянии пятидесяти сажен один от другого, были «шурфы» — неглубокие шахты для разведки золотоносного слоя, состоящего из песку и гравия. Эти шахты — три — пять саженей глубины — обслуживались ручным воротом с бадьей и обыкновенным насосом, рукав которого, касаясь дна, выбирал воду.

Внизу работали двое: забойщик, то есть шахтер, рывший породу мотыгой, и плотник, ставивший деревянную клеть для избежания обвала стен шурфа.

Время от времени бадья вывертывалась воротом вверх, порода высыпалась, а штейгер, обходя шурфы, делал пробу ковшом: набросав в ковш песку, прополаскивал его водой и смотрел, остаются ли после удаления песка крупицы золота. Однажды он, найдя такие крупицы, стал показывать их мне; я притворился, что вижу, но на деле ничего не видел: что-то узкой полоской блестело на дне ковша, верно; хотя, был то блеск оловянной полуды или воды, я не разобрал.

Я слышал впоследствии, что золото на Урале есть везде, по руслам речек и в старых песчаных слоях до-

лин, но очень различен процент его содержания, — не везде выгодно его добывать.

Я работал с зари до зари. На обед давался нам час, на завтрак полчаса. В полдень штейгер отмечал в таблице крестиком рабочий день каждого; вечером еще раз проверял, кто работает вторую половину дня.

Плата была шестьдесят копеек поденно. На заборную книжку можно было брать в лавке предметы первой необходимости: табак, мыло, спички, белый хлеб, сушку, колбасу, пряники, орехи и т. п.

Расчет происходил по субботам в конторе, с вычетом забора в лавке.

Время от времени старший рабочий командовал: «Закури!» — и мы, старательно, медленно свертывая «козью ножку» — покрупнее, чтобы дольше курилась, так же старательно, медленно досасывали ее и тем нагоняли минут пять-шесть отдыха.

Я работал то на откачке воды, то крутил ворот.

Неподалеку были старатели, и я один раз ходил смотреть, как они там живут. Старатели жили с семьями, в лесу, по берегу речки, в больших избах; кое у кого из них было хозяйство: птица, корова, лошадь. Тут же возле избы стоял вашгерт, промывательный станок, род ступенчатого корыта с задерживающими золотой песок планками. Насыпав в вашгерт породу, старатель прибавлял туда ртути, платина или золото амальгамировались ртутью. Эта смесь оставалась на дне вашгерта, а песок относило прочь водой, качаемой обыкновенным насосом. Впоследствии ртуть удалялась нагреванием. За платину контора платила три рубля пятьдесят копеек за золотник, за золото пять рублей. Мне рассказывали о селениях, где сплошь живут скупщики контрабандного золота, платящие по шесть и семь рублей за золотник.

Вначале я работал каждый день, но, когда хозяйка моего угла родила ребенка, скандалы, пьянство, рев и писк стали неимоверны; я часто не мог заснуть, а потом перебрался в барак. Сознаюсь, здесь было тесно, но веселее, чем слушать каждую ночь — «Король, о чем вздыхаешь?». Однако атмосфера лодырничества, картежа, работы через день-два и бесконечных рассказов, историй о самородках, кладах подействовала на меня: я стал тоже работать на хлеб, чай и табак — не больше, — мои потребности в то время были очень скромны.

Я получил место на нарах по странной оказии: накануне моего появления в бараке два парня шутя возились, боролись, гоготали. Один — тоже шутя — хлопнул приятеля ладонью по спине; тот упал и больше не встал. Таким образом, принимая во внимание полицию и следствие, освободилось два места.

Набрав, у кого мог, лубочных и старых, без корок, книг, я погрузился в чтение, иногда выходя искать среди леса и по берегам еще закрытой льдами речки — самородков. Однако, когда мне переставали давать в лавке провизию, я ходил на работу; между прочим три дня работал ночной сменой в настоящей шахте, где было очень сыро и куда спускались в бадье, стоя в ней и держась за канат.

Отверстие шахты выходило из невысокого холма, со свалкой вокруг него добываемой изнутри породы. Неподалеку была бутора — закрытый деревянный цилиндр, вращаемый в горизонтальном положении, внутри буторы песок обрабатывался ртутью, как в вашгерте.

Нет ничего удивительного, что при такой технически несовершенной добыче золота и платины некоторые старатели брали от конторы разрешение снова промывать отработанные кучи песку и, как говорили на прииске, добывали прилично.

Я стоял в паре с другим рабочим на вороте, выкручивая с десятисаженной глубины тяжелую бадью, полную золотоносной породы, вторая бадья за это время шла пустая вниз, там ее насыпали.

Три ночи я проработал под землей, где забойщик бил киркой впереди себя, я лопатой наваливал породу в тачку и катил ее к бадье, под вертикальный колодезь. Работать надо было всё время согнувшись; забойщик, работающий сдельно, с куба, гнал во всю мочь, и это было мне непосильно. Хотя ночная смена оплачивалась рублем, я больше работать не захотел.

Мой интерес к приискам начал проходить. Между тем в бараке появился хищник — настоящий хищник уральской тайги, молодой человек, туалет которого был выдержан по всем правилам описанного мной местного щегольства; у него, видимо, были деньги, потому что он совсем не работал, только жил в бараке — может быть, с какими-нибудь конспиративными целями.

При всеобщем жадном внимании хищник рассказывал о жизни себе подобных.

— Есть, — говорил он, — такие золотые места, о которых знаем только мы, хищники. Есть верховое золото: сорвешь пласт дерна и с корешков травы стряхиваешь, как крупу, чистое золото. Есть речки, ручейки в горах, где на пуд песка — золотник платины. Есть самородное золото, содержат его так называемые «карманы» — гнезда мелких самородков и крупного золотого песка; попади на такой карман, будешь всю жизнь богат.

От этого хищника я узнал, что тайные золотоискатели ходят по три-четыре человека и нападают на жилу по известным только им приметам; больше же делают пробу: бьют шурфы, моют песок речек и ям в ковше. У них всегда с собой ружья, насос из жести, ртуть, толокно и сухари. Восхищенный романтизмом такой жизни, я предложил хищнику работать вместе, на что он согласился, но просил подождать дней десять, когда придет какой-то его знакомый.

Между прочим, он рассказывал, что управляющий одних приисков, известный своей жестокостью, был пойман хищниками в лесу и проработал у них три дня, качая воду. Кончив работу, хищники уплатили ему по одному рублю двадцать копеек за день, а с собой унесли на пять тысяч рублей платины.

Однажды ночью хищник исчез, как пришел, — сразу; кое-кто видел его вечером за бараком в таинственной беседе с двумя бородачами; еще говорили, что его ищет полиция. Незадолго до его исчезновения один старик, серьезный и хворый, часто беседовавший со мной о жизни и людях, сказал мне, что ему один хищник, умерший год назад в больнице, сделал признание о зарытых хищниками двух голенищах, полных золотого песка, под старой березой, в таком-то селе. Название этого села я забыл. Я рассказал историю о голенище мужику с рыжей бородой, Матвею, с которым я сблизился, так как, по словам Матвея, он был, где и я, — на Волге, на Каспийском море, в Баку.

Мы уговорились идти искать клад, взаимно заражая друг друга картиной благоденствия в случае успеха. Однако после того как я получил расчет (рубля два) и вышел с Матвеем на лесную дорогу, спутник сообщил мне, что он бежал с каторги за — будто бы — клевету на него о поджоге им трех домов в Костромской губернии. Затем на первом же ночлеге (дом стоял на краю деревни) у одинокой женщины с тремя детьми этот

благодушный, благообразный старичок, лежа со мной вечером на полатях, предложил мне убить хозяйку, детей и ограбить избу: в избе было чисто, хозяйственно, была хорошая одежда, полотенца с вышивкой, стенные часы и два сундука. Бандит, видимо, думал, что у хозяйки есть деньги. Но он предложил сделать это дня через два, вернувшись к деревне окольным путем, ночью, теперь же прожить здесь еще завтрашний день, чтобы высмотреть, где деньги.

Он говорил так страшно просто и деловито, что я испугался. Видимо, он нуждался в товарище для ряда преступлений и тщательно вербовал меня.

Из опасения быть ночью убитым, я поступил так: притворно то соглашаясь, то сомневаясь, отложил полное решение до завтра и всю ночь не спал, карауля Матвея, который спал крепко, храпя.

За всю ночь золотой дым вылетел из моей головы. Утром, взяв котомки, мы вышли от ничего не подозревающей женщины, которая дала нам на дорогу яиц и хлеба.

Отойдя немного от деревни, я в упор заявил Матвею, что никуда с ним не пойду, так как быть в компании с негодяем и убийцей мне отвратно.

Мужик опешил, он пытался уверить меня, что пошутил, соглашаясь идти только добывать золото, но в его голубых глазах лежала подозрительная муть, может быть, прямо угрожающая; поэтому, наматерившись взаимно, мы расстались. Он побрел вперед, а я вернулся и предостерег женщину, чтобы она не пускала снова этого Матвея ночевать, вкратце рассказав суть дела.

Слушая меня, она была бела, как ее полотенца, и заголосила, что тотчас побежит к уряднику. Я пошел обратной дорогой и застрял на несколько дней на чугуноплавильном доменном заводе, где мне дали работу.

IV

Теперь мне интересно вспоминать свои работы, потому что прошло много лет, стерших ощущение грязи, вшей, изнеможения и одиночества, но тогда это было не так интересно, — было разнообразно и трудно.

Сдав паспорт, получив традиционный рубль задатка и сунув свою котомку на нары в рабочей казарме, я был послан в сарай просеивать древесный уголь на постав-

ленном наклонно большом прямом решете из проволоки. Кроме меня тут работал еще один человек, дюжий мужик. Плата была семьдесят пять копеек поденно. Мы бросали деревянными лопатками уголь на решето, крупные куски отскакивали, а мелочь просыпалась сквозь петли решета.

Я возвращался вечером в барак более черный, чем трубочист или негр. Кроме того, было тяжело дышать сумерками, составленными из угольной пыли и весенней сырости.

Кое-как отмывшись, я ставил на общую плиту свой жестяной чайник, пил кирпичный чай с молоком и белым хлебом из сибирской муки; иногда жарил свинину. Обычная пища рабочих была — чай, картошка и хлеб; по праздникам они варили мясо, в особенности семейные; здесь было много татар, у которых всегда пахло кониной. По глупости я тогда еще не ел конины, а впоследствии на Благодати, около села Кутвы, не только привык, но полюбил конское мясо.

Казарма была разделена коридором, — направо шли помещения для семейных, налево — для холостых и одиноких.

Мне приходилось часто писать письма неграмотным, и меня всегда трогала вечная забота рабочих послать домой деньги, хотя бы пять — три рубля. Письма надо было писать чувствительно, длинно, перечислять поклоны каждому в отдельности, родственнику и знакомому («Еще кланяюсь Тимофею Ивановичу» и т. д.). Ритуал требовал стереотипного начала: или «Во первых строках моего письма», или «Лети мое письмо туда, где примут без труда»... Написав, я читал вслух, а отправитель слушал меня с растроганным лицом и, случалось, говорил: «Тебе бы, Лександра, в конторе гумаги писать, а не в галахах ходить».

Однажды несколько человек из нашего помещения чем-то кровно обидели во время стряпни у плиты молоденькую татарку, жену рослого и очень сильного молодого татарина. Этот красавец татарин, на стороне которого я всецело был, бледный от ярости ворвался к нам, когда все сидели за общим столом, за чаем, и завертел тяжелой табуреткой над головой, держа табурет за ножку, с такой силой, что поднялся ветер. Он кричал только одно: «Убью! Убью! Убью!» Хотя было тут человек пятнадцать здоровых мужиков, сразу стало ясно,

что сопротивление этому одному — невозможно. Все побледнели, пригнулись.

В таких случаях мне делается весело. Как все молчали, а табуретка почти касалась голов, я встал и, взяв татарина за руки, сказал: «Брось, Абдул, ты видишь, что они дураки».

Он посмотрел на меня столь жутким взглядом, что я мысленно попрощался с жизнью, но, глубоко вздохнув, бросил табурет в угол, и орудие разлетелось на куски; после того татарин ушел, хлопнув дверью так сильно, что зазвенело в ушах.

У меня тоже было столкновение: второй просевальщик угля, здоровенный мужик, забрал мою хорошую лопатку, подсунув плохую свою. После спора я схватил его за горло, и так как я решился бить, то этот впятеро сильнейший меня человек тотчас бросил лопату, а через день мы опять мирно беседовали.

Вскоре меня назначили в ночную смену: возить на домну руду. Рабочие наваливали подводу рудой, я шел рядом с подводой по отлогому, идущему вверх деревянному настилу к отверстию домны, где, вместе с другими рабочими, опрокидывал подводу и съезжал вниз, за новой порцией.

Из домны вырывался озаряющий всё вокруг блеск пожара, сеявший бессонное настроение, возбуждение; подмерзший снег и лед луж пахли весной. Я погонял лошадь и мечтал о тепле казармы, потому что мой беличий пиджак давно был сменен на серый матерчатый, подбитый куделью.

После возки руды я работал дней пять внутри завода, таская и укладывая в штабеля отлитые чугунные болванки.

На земле, перед отверстием домны, были вырыты, расходясь во все стороны и соединяясь желобками, плоские формы болванок. Рабочий пробивал пробку внизу домны, и из отверстия брызгал белый блеск, ослепительный, как блеск магния. Белые брызги молнии разлетались снопами, когда лилась струя чугуна. Она медленно растекалась по формам; становилось жарко; чугун подергивался красной пленкой, мерцал, вспыхивал, принимал устойчивый красный цвет и медленно гас, делаясь черным. Когда он остывал, мы таскали эти болванки наружу и складывали их, как дрова.

Один рабочий говорил мне, что если мокрую руку

быстро погрузить в свежерасплавленный чугун и быстро выдернуть, то не будет даже малейшего ожога. Однако свидетелем такого опыта я не был, лишь слышал подтверждение от других. Возможно, что мгновенно образующийся слой пара предохраняет тело от ожога.

Таяние то усиливалось, то останавливалось благодаря заморозкам. В середине апреля, взяв расчет (рубля три), я отправился в Пашийский завод вместе с двумя рабочими. Шел слух, что на лесных заводских рубках можно хорошо заработать, если же дождаться так называемой «скидки дров» в горную речку (за что платилось от пятнадцати до сорока копеек с погонной сажени, при длине полена в полтора аршина), то, если не жалеть себя, можно — говорили — в три-четыре дня заработать двадцать-тридцать и больше рублей.

Я забыл сказать, что, как началась весна, очень много крестьян отправилось с приисков и заводов в свои губернии на полевые работы. Все они за зиму скопили десятки, а то и двести-триста рублей денег, хотя таких «богачей» было, конечно, мало; шли они к железной дороге группами, потому что бродяги подстерегали и убивали одиноко идущих.

Мне очень неприятно теперь, что моя память, сравнительно легко удержавшая моменты деятельности, обстановки и сцен, почти бессильна установить картину дорог, направлений и числа дней, а также множества ночлегов в пути. Рассеянный по природе, я был глубоко рассеян во время пути; рассеян я и теперь; когда я иду, я только смотрю, почти без мыслей о том, что вижу. Мое внимание скользит, бесцельно перебегая от внешнего к внутреннему, такому же случайному, как мелькающая обстановка дорог. Способность к ориентации — самое слабое мое место. Поэтому когда я был дроворубом, то, отправляясь всего за три версты из леса к зданию лавки, на берегу речки, почти всегда сбивался с дороги — как вперед, так и назад, хотя по тропинкам и обугленному пожаром в одном месте пространству отлогих гор был путь очень простой. Вероятно, этой бездарности я обязан одной встрече с медведем, от сопения которого за моей спиной избавился только тем, что последовал совету дроворуба Ильи — притвориться работающим около дерева и не обращать на Михаила никакого внимания. Сбившись, я попал в чащу, а за мной, слабо взревнув, побежал этот самый Михаил. Стерпев

естественную панику, я встал около толстого кедра и начал обтесывать его топором. Медведь долго стоял сзади меня, сопя и фыркая, но не тронул, затем медленно обошел дерево и, видя, что я точно работаю, сшиб лапой тонкий гнилой пень. Вдруг, к облегчению моему, послышались голоса рубщиков с соседнего участка, и медведь убежал, а я долго затем сидел, откуриваясь махоркой и не смея двинуться с места; потом рубщики проводили меня до тропы.

В Пашийском заводе, вокруг которого расположилось большое село, мои спутники отделились: один встретил земляка и пошел с ним работать на домну, второй спутник, получив в конторе задаток, запьянствовал, а я был послан рубить дрова. Проехав сколько-то верст железной дорогой, я пешком прибыл на берег лесной речки, где стоял деревянный дом — лавка и жилье табельщика с его семьей. Отдохнув, выпив чаю, я получил топор, двухручную пилу, четыре железных клина, фунт кирпичного чая, три фунта сахара, двадцать фунтов пшеничного и десять черного хлеба, новый жестяной чайник, фаянсовую кружку, напильник для точки пилы и полфунта «легкого» асмоловского табаку, фунт соли и десять фунтов солонины, еще — мешок тащить поклажу. Всё это, кроме инструментов, было мне записано в кредит, в счет работы.

Табельщик рассказал, как найти назначенное мне в лесу жилье дровосеков, и, порядочно поплутав, уже к сумеркам, то есть часа через три, я увидел стоящее перед тысячелетним кедром, разветвления которого сами по себе достигали толщины старых деревьев, а ствол был $2^2/_3$ сажени в поперечнике, очаровательное глухое бревенчатое жилье, с низкой дверью и железной трубой.

Измученный тяжестью поклажи, я толкнул ногой дверь. Она была не заперта, в бревенчатой хижине никого не было, но на столе, поставленном перед железной печкой, в проходе меж узких нар возле стен покоились следы жизни: недопитая бутылка водки, кружка, хлеб и пачка махорки. Разное тряпье — онучи и прочее — валялось на одной наре. В углу стояло шомпольное ружье. Как мне объяснил табельщик, что в этой избе живет только один дроворуб Илья, то я решил, что попал куда надо; действительно, скоро ввалился в избу огромный рыжий мужик, добродушный Геркулес с рыжей бородой, толстыми губами и глазками-щелками, слегка

заикавшийся; его звали Ильей, а потому я успокоился; мы развели огонь, стали варить мясо, пить чай, водку и разговорились.

Узнав, что я впервые в лесу, Илья многое рассказал мне о том, как надо работать.

Во-первых, чтобы пилить двухручной пилой одному, надо снять вторую деревянную ручку, а зубья пилы развести с такой правильностью, чтобы левая и правая сторона их была пряма, как струна. Илья тут же осмотрел мою пилу и наточил ее напильником.

Во-вторых, приступив к дереву, надо смотреть, на какую сторону оно имеет хотя бы малейший наклон. Тогда делается с другой стороны глубокий надрез пилой по направлению желательной линии падения дерева, пила вынимается, и рубщик загоняет в щель клин, колотя по нему, пока дерево, накренясь, не начнет падать. При толстом стволе, когда почти нет места двигать пилу, пропиливают, сколько можно, но пропиливают также с противоположной стороны, ниже первого надреза.

Затем действуют клином.

Тонкие деревья подпиливаются с одной стороны и подсекаются топором с другой, ниже пильной щели.

Впрочем, на другой день, когда пришел табельщик и отвел мне участок, Илья на деле показал все приемы рубки.

Стояло морозное утро. Оставшийся местами на четверть аршина толщины снег покрылся налетом, в который ноги мои проваливались; лапти были набиты снегом. Выйдя рано утром, я дрожал; через час от меня валил пар, и рубаха стала мокрой. Я не сразу научился владеть пилой. Она заскакивала, упиралась, сгибалась, лишь опыт нескольких часов заставил слушаться пилу, ходить ровно и легко. Она была так остра, что разрез ствола толщиной в две четверти занимал не больше двух минут.

Свалив дерево, я отрубал сучья, отмеривал по стволу полутороаршинное расстояние и распиливал ствол на части, начиная с толстого конца. Затем колол эти круглыши, вгоняя в сделанную на конце обрубка топором трещину клинья, один за другим, пока круглыш не распадался. Для очень толстых деревьев я вытесывал добавочные сосновые клинья.

За куб дров завод платил шесть рублей сорок копеек. Только очень опытные дроворубы могли делать

полкуба в день, и то в том случае, если попадался хороший участок: сплошь сосновый, толстоствольный и без поросли, очень затрудняющей возню с ноской и складыванием дров.

Работа оказалась неимоверно тяжела, так что я много раз бегал в хижину — то переобуться, то отдохнуть и пить чай. Мои ноги были всегда мокры к вечеру, лапти поэтому сушились над печкой.

А гигант Илья, выйдя до рассвета, возвращался в потемках, сделав свои полкуба, как детскую игру; он еще был в состоянии печь, — как он это называл, — «пельмени», но на деле просто плоские пироги из пресного теста с сырым мясом. От этих плохо пропеченных Пирогов у меня происходило расстройство желудка, но Илья, напившись (именно напившись, как воды) водки, пожирал свою стряпню в огромном количестве и, заблагодушествовав, усердно просил:

— Александра, расскажи сказку!

Илья был моей постоянной аудиторией. Неграмотный, он очень любил слушать, а я, рассказывая, увлекался его восхищением. За две недели я передал ему весь мой богатый запас Перро, бр. Гримм, Афанасьева, Андерсена; когда же запас кончился, я начал варьировать и импровизировать сам по способу Шахерезады. Если Илья видел, что я устал или не в настроении, он заботливо поил меня водкой (всегда четверть стояла у него под нарами) и кормил своими дымно пахнувшими «пельменями». Стоило посмотреть, как он, торопливо жуя и понукая: «Ну, ну... а царь что сказал?» — ревет, как бык, над «Снежной королевой» Андерсена, дико, до слез, хохочет над приключениями Иванушки-дурачка и задумывается, распустив толстые губы, над «Аленьким цветочком».

Иногда, уже улегшись и потушив лампу, я слышал его хриплый, заикающийся бас:

— Угробила она его, ведьма...

День шел за днем, а работа моя двигалась плохо. Мне попался скверный участок, ель и сосна, а ель, как известно, часто завита внутри штопором, так что раскалывать ее очень хлопотливо. Однако за две недели я нарубил куб и три четверти куба.

Иногда я тосковал и не мог работать. Снег везде сошел; запахи и сырость весны были тревожны; дремучий, молчаливый лес окружал меня; раздавались

здесь только отдаленный звук топора Ильи и — изредка — треск в чаще неизвестного происхождения. Стук упавшей шишки, стук дятла, скачок белки, хвост убегающей лисицы — всё это в течение дня, как события. Мальчиком я стремился к дикой жизни в лесу, а теперь, еще не понимая, чувствовал, как такая жизнь, в сущности, мне чужда. Кроме того, у меня не было будущего. Босяк — лесной бродяга... чужой здесь и чужой там.

Речка, бывшая неподалеку, еще не вскрылась, однако сквозь лед начала проступать вода... Я ходил смотреть заготовленные для скидки дрова. По обоим берегам, составленные в три-четыре яруса *, тянулись на несколько верст высокие поленницы, навезенные сюда еще прошлым летом. Они подступали к самому обрыву берега. Сброшенные в полую воду, дрова приплывали в заводскую запруду. За ближайший к воде ряд платили десять копеек за погонную сажень, второй стоил пятнадцать копеек, третий — двадцать пять копеек и четвертый сорок копеек. Впоследствии, хлынув сюда толпами из окрестных селений — даже и из дальних — мужики с бабами первый ряд сбрасывали почти мгновенно с помощью рычагов, сунутых под поленницу, но с другими приходилось трудно, а насколько труднее — расскажу дальше.

Время от времени я ходил за провизией, а Илья ездил в село за водкой и мукой.

Когда сошел весь снег, а лед начал постреливать, в нашу тесную хижину прибыло человек тридцать — мужики, бабы, парни и девушки — на скидку, которая ожидалась со дня на день. Все почти крестьяне приходили семьями.

Было уже так тепло днем и не совсем холодно ночью, что часть народа жила и спала у костров. Чтобы не терять времени, мужики, имевшие пилы, занялись рубкой, свалив для начала тот тысячелетний кедр, под шатром которого стояла наша хижина. Я не мог понять, зачем они взялись за это трудное и маловыгодное дело, так как лесу кругом было более чем довольно, а кедр мог дать самое большее полтора куба при затрате времени целой толпой всего дня. Хотя, действительно, кедр особо выделялся, своей громадой среди других пород

---

* То есть — ряды. — *Прим. А. С. Грина.*

он обращал внимание, весь его вид будто говорил: «Я не для дров».

Дерево было окружено толпой, и его начали пилить со всех сторон в четыре пилы. Я ушел утром за провиантом и вернулся часа через три. Весь ствол кедра у корней был истерзан, испилен и изрублен. За толстые ответвления вверху были накинуты веревки, — валить кедр скопом, когда ствол прорубят достаточно. Я ушел работать, после чего, возвратясь к заходу солнца, увидел падение дерева. Его сердцевину не смогли дорубить, но собственная тяжесть кедра, покоившаяся теперь на слабом основании, в связи с тягой веревками, обрушила великана. Казалось, что упала целая роща. На другой день началась скидка, а дерево так и осталось лежать до неизвестных времен.

Между тем эти пятнадцать — двадцать человек, занявшись подлинной рубкой дров, легко могли бы поставить за день пять-шесть кубов и заработать рубля по два.

Лед шел с утра, за ночь он поредел, река поднялась до краев обрыва, и рабочие кинулись занимать участки. Десятник отводил столько, сколько просила каждая группа или семья. Мне дали, в общей сложности, сажен пятьдесят дальних и ближних дров. На другом берегу засуетились тоже артели, и река в лесу приняла вид битвы; куда ни взгляни, летели, кувыркаясь над ревущим течением, стаи черных поленьев, и гул ударов их по воде гремел, как пальба. Я никогда не видел такой исступленной, такой бешеной работы. Первые передние поленницы были сброшены быстро; началась мука над третьим, над четвертым рядом. Потому что теперь каждый бросок требовал меткости и основательного размаха.

Часть народа бегала по берегу, подбирая и сбрасывая в воду недоброшенное. Работающие оставались у реки до конца скидки: ночью в лесу пылали сотни костров, возле которых отдыхали и ели, но спать никто не ложился три дня, разве самые немощные. Я работал день, ночь и утро следующего дня, сделав всего двадцать две сажени, больше не мог. Я был полумертв от изнурения.

Сильное эхо окрестностей сообщало ночью картине скидки характер дьявольской оргии, особенно когда на красном блеске костров, обвеянные дымом и речным

паром, мелькали всклокоченные черные фигуры. Удесятеряя крики, гул ударов о льдины и воду бревен, тысячами летевших сверху в стремительный поток, полный водоворотов, эхо неистовствовало дико и оглушительно. Вверх и вниз по течению работали тысячи людей.

На четвертый день скидки утром я вышел из хижины. В лесу было тихо. Скидка окончилась. Я два дня просидел безвыходно дома, оправляясь после непосильного потрясения — зверски тяжелой работы.

Пройдя немного к реке, я услышал странные звуки — вздохи, стоны, шепот и причитания. Местами кусты шевелились. Это возвращалась наша партия, человек сто. Мужики шли с трудом, еле волоча ноги, опираясь на палки. Некоторые карабкались на четвереньках. Несколько баб сидело под кустами, они маялись, качая головой из стороны в сторону, или, наваливаясь животом на сложенные руки, тихо ревели. Лица всех были черны и истощены. Один парень лежал на спине, навзничь, с открытым ртом, быстро, часто дыша.

Весь этот день и следующий вокруг нашей хижины был сплошной лазарет.

Илья сильно исхудал; лицо у него почернело, опухло, но он был доволен, потому что выгнал тридцать рублей.

После скидки я работал три дня с одной партией по сплавке. Рабочие идут с острыми баграми по обоим берегам речки, сталкивая в воду застрявшие в траве и выплеснутые водой на берег поленья. Иногда возле кустов образуются настоящие заторы. Их расталкивают. Так партия действует до самого завода — до огромной запруды, где плотно сбившиеся дрова буквально вытесняют воду, и по этому настилу может свободно пройти рота солдат.

С рассвета до вечерней зари я шагал по колено в ледяной воде и не схватил даже насморка, тогда как два раза лежал в вятской больнице больной суставным острым ревматизмом после пустяковой простуды. Я хорошо помню, что ноги мерзли только в начале дня, потом им становилось горячо. Ночью, ночуя в попутной хижине дроворубов, я, конечно, сушил портянки и лапти — как будто утром снова не предстояло проваливаться по колено в трясину и набухший по берегам рыхлый лед.

Плата была один рубль в день.

Утром четвертого дня я остался там, где провел ночь; в доме-лавке, с квартирой табельщика, подобном

первому, куда мной были уже сданы инструменты. Отсюда на легком самодельном плоте отправился в завод старик дроворуб, худой и егозливый человек; он взял меня на плот. Мы проскочили невредимо через десятки кипящих пеной порогов. Старик имел задачу сталкивать застрявшие на порогах дрова — целые поляны дров, и эта задача была благополучно выполнена.

Выехав в восемь часов утра, к закату солнца мы были уже на заводе.

До сих пор я с удивлением и страхом вспоминаю быстроту плота, его утлость, мое тогдашнее бесстрашие и рассеянные по руслу зубы порогов, среди которых наш плот вертелся, как балерина. Но старик был хладнокровен, быстр и опытен. Он успевал отталкиваться от камней, сбивать дрова, зацепляться багром за камень и держаться так, покуда расталкивал дровяной затор, — закуривать, балагурить и править.

Про этого-то самого старика, семидесятилетнего, хилого на вид, я потом слышал, что он работает исключительно одним топором и может выставить в день куб дров.

Получив расчет и прожив в заводском селе два дня, в избе старика плотовщика, поев хорошо пельменей, угостясь водкой, я получил расчет (рублей семь) и направился дальше[2].

СЕВАСТОПОЛЬ

I

Я приехал в Севастополь на пароходе из Одессы, где имел почти деловое свидание с Геккером, сотрудником «Одесских новостей».

Я получил в Киеве явочный пароль: «Петр Иванович кланяется», кроме того, у Геккера мне советовали получить «литературу» для Севастополя.

Я отыскал Геккера на его даче на Ланжероне. Разбитый параличом старик сидел в глубоком кресле и смотрел на меня недоверчиво, хотя «Петр Иванович кланялся».

Он не дал мне литературы, сославшись на очевидное недоразумение со стороны Киевского комитета партии с.-р.

Впоследствии мне рассказывали, что мое обращение с ним носило как бы характер детской игры — предло-

жения восхищаться вместе таинственно-романтической жизнью нелегального «Алексея длинновязого» (кличка, которой окрестил меня Валериан — Наум Быховский), а кроме того, я спокойно и уверенно болтал о разных киевских историях, называя некстати имена и давая опрометчивые характеристики.

Я провел ночь в дорогой гостинице, ожидая ежеминутно ареста; мне казалось, что весь город знает о моем фальшивом паспорте. В каждом встречном я видел шпиона.

Утром я сел на пароход в третий класс и через ночь был в Севастополе; по дороге у меня украли пальто.

Неподалеку от тюрьмы стояла городская больница. В ней был смотрителем один старик, бывший ссыльный [1]; к нему я пришел со своим паролем, и он отвел меня к фельдшерице Марье Ивановне [2], а та отвела меня к Киске [3], жившей на Нахимовском проспекте.

Киска была центром севастопольской организации. Вернее сказать, организация состояла из нее, Марьи Ивановны и местного домашнего учителя, административно-ссыльного [4].

Учитель был краснобай, ничего революционного не делал, а только пугал остальных членов организации тем, что при встречах на улице громко возглашал: «Надо бросить бомбу!», или: «Когда же мы перевешаем всех этих мерзавцев!»

Киска выдала мне двадцать рублей, смотритель больницы пожертвовал свое старое ватное пальто с кучерявым сине-фиолетово-коричневым верхом, и я поселился на отдаленной улице, недалеко от тюрьмы, в подвальном этаже [5]. Комната была пуста; ни одного предмета из мебели; там лежал один матрац. Я спал, ел и писал на полу. Утром меня будила игра часов за стеной; они вызванивали мелодию:

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно.
В роковом его просторе
Много бед погребено.

Впоследствии мне часто вспоминался перебегающий напев мелких колокольчиков, спокойный и безнадежный. Хозяйка, жена матроса, сказала мне, что этот будильник привезен из Болгарии.

Несколько дней я ничего не делал, кроме того, что знакомился с Севастополем и участвовал в некоторых прогулках; так, однажды мы, то есть Марья Ивановна, Киска и я, ходили в Херсонес, смотрели на окрестности сквозь цветные стекла херсонесского монастыря и посетили небольшой археологический музей при раскопках древнего Херсонеса. Я спросил старика сторожа, увешанного медалями:

— А можете ли вы показать мне пуговицу от штанов Александра Македонского?

Сторож разгорячился.

— Тут много бывает публики, — сердито отчитал он меня. — Сколько народу ходило, а никто таких глупостей спрашивать не позволяет!

Всю дорогу обратно я слушал брюзжание надувшейся Киски, оскорбленной моей некультурностью и презрением к археологии. Действительно, мне было скучно в музее, среди мертвых вещей. Однако мне понравились вкопанные на перекрестках миниатюрных улиц Херсонеса огромные глиняные амфоры; жители собирали в них дождевую воду.

Киска имела связи среди рядовых крепостной артиллерии и матросов флотских казарм. Сама она была выслана из Петербурга в Севастополь на три года под надзор полиции. Я долго ломал голову, стараясь понять, чем руководствуется охранное отделение, посылая революционеров и революционерок в такие центры военной силы, как Севастополь, но никакого объяснения не нашел.

Дело происходило в октябре 1903 года, после многих забастовок и демонстраций по таким крупным городам, как Одесса, Екатеринослав, Киев и другие.

Однажды ночью на Артиллерийской слободке состоялось первое мое свидание с рядовым Палицыным[6], невзрачным рябоватым солдатиком. Через Киску он распространял в казармах революционную литературу. Киска, бывшая тут же, убедила Палицына созвать собрание рядовых, на котором я должен был с ними говорить.

На другой день поздно вечером я встретил Палицына, как мы условились заранее, в одном закоулке, и он провел меня тайным путем в казарму, вернее — в небольшое строение около береговых укреплений. Из предосторожности огонь не был зажжен; собрание

произошло в полной тьме, где блестели только искры махорочных папирос. По-видимому, народу было много, так как дышалось и *ступалось* с трудом.

Я сказал им так много и с таким увлечением, что впоследствии узнал лестную для меня вещь: оказывается, один солдат после моего ухода бросил с головы на землю фуражку и воскликнул:

— Эх, пропадай родители и жена, пропадай дети! Жизнь отдам!

Такие собрания повторялись несколько раз, но они происходили, ввиду осведомленности начальства о первом собрании, на пустырях, за первым от Севастополя железнодорожным туннелем.

Среди матросов особенно выделялся своей популярностью, конспирацией и энтузиазмом один ефрейтор машинной команды, сормовский рабочий. Его прозвище было Спартак. Это был худощавый человек лет тридцати, со следами оспы на желтом лице, гибкий и своеобразно красивый. Моя задача, как внушила мне Киска (ее прозвище для кружков было Зоя, Киской ее звали городские знакомые), состояла в том, чтобы привлечь Спартака на сторону социально-революционной партии. Спартак симпатизировал эсерам, однако его отталкивал от их программы так называемый «индивидуальный террор»; этот моряк находил более целесообразным массовый террор, устанавливаемый программой с.-д. [7].

Я несколько раз встречался с ним на квартире у Киски и за двором флотских казарм, однако вполне его переубедить не мог. Иногда, казалось, он соглашался, а затем, встретясь другой раз, довольно стройно и доказательно спорил.

Его привлекала земельная часть программы эсеров, отталкивал террор. А так как в Севастополе был комитет с.-д. партии, поставленный и обслуживаемый гораздо лучше, чем наш, то и влияние на Спартака с той стороны было сильнее нашего. Между тем залучить этого человека было бы крайне выгодно: матросы слепо доверяли ему; на какую бы сторону он ни пошел, на ту сторону пошли бы и матросы.

Раздумывая и колеблясь, Спартак поступал мудро, как Соломон: он устраивал собрания равно для с.-р. и с.-д., а сам, присутствуя на них, слушал, сравнивал и решал. Впоследствии он окончательно примкнул к с.-д. партии.

II

Стояла прекрасная, задумчиво-яркая осень, полная запаха морской волны и нагретого камня.

Между тем я побывал на Историческом бульваре, Малаховском кургане, на особенно интересном севастопольском рынке, где в остром углу набережной торчат латинские паруса, и на возвышенной середине города, где тихие улицы поросли зеленой травой. Впоследствии некоторые оттенки Севастополя вошли в *мои* города: Лисс, Зурбаган, Гель-Гью и Гертон.

От Графской пристани на Северную и Южную стороны, через бухту, ходили пассажирские катеры; на них я ездил к собиравшимся среди пустырей матросам. Спартак встречал меня в условленном месте и приводил в пункт, где, казалось, никого нет. Спартак условно свистел, тогда из-за кустов, бугорков, камней вдруг поднимались десятки матросов; они сходились, и начиналась беседа. Матросы, на всякий случай, брали с собой водку, гармонии и балалайки, чтобы внушить полиции, если она появится, невинную мысль о безобидной пирушке.

Если Спартак видел, что матросы слушают меня вполне одобрительно, он исправлял впечатление, наводя «критику» и ставя вопросы в духе с.-д.; но однажды я его побил в споре.

— Конечно, — сказал он, — я меньше вашего учился и не могу хорошо говорить, а чувствую, что прав — я.

Через несколько дней возник вопрос: съездить в Саратов за революционной литературой. Почти немедленно за этим стало известно, что Спартак уезжает в отпуск, что искуснейшие эсдеки едут с ним, желая окончательно вырвать его из рук еретиков эсеров, и Киска потребовала, чтобы я разыскал в поезде, полном матросов, Спартака. Я должен был уговорить его остаться на несколько дней и употребить все усилия, чтобы склонить его на свою сторону.

Поезд отходил через час. Киска ждала меня на Историческом бульваре. Я обошел все вагоны, вглядываясь во все лица, даже решался опрашивать матросов, но нигде не нашел Спартака. Совершенно измученный, я выскочил из поезда после второго звонка и пришел к взбешенной Киске также в состоянии крайнего раздражения: подобное соперничество из-за одного чело-

века, хотя бы и нужного, казалось мне унизительным. Киска сказала:

— Я вам говорила, что его прячут! Прячут от нас. Вы должны были сделать это во что бы то ни стало.

Таким способом от меня трудно добиться чего-нибудь. Мы расстались не попрощавшись. На другой день я поехал в Саратов, взял там кипу революционной литературы и захватил случайно оказавшегося в городе эсера, семинариста Пятакова[8] из Пензы. В 1902 году Пятаков вместе с другими комитетчиками организовал мой побег из Оровайского батальона (я был рядовым).

— Поехал бурсак по свету, — сказал Пятаков, вваливаясь в вагон.

Это был покладистый молодой человек с вполне бурсацким аппетитом и большой, большей, чем у меня, эрудицией. В Севастополе он вел пропаганду среди солдат.

На обратном пути в третьем классе Харьковского вокзала за стол против меня сел молодой человек в форме Гензарского батальона из Пензы. Он приглядывался ко мне. Я думал, что меня арестуют. Но офицер сказал:

— Не бойтесь. Я вас знаю: вы — Гриневский? Вы бежали в прошлом году, предварительно разбросав прокламации? (Точно: я разбросал их.)

Что-то мне подсказывало признаться.

— Ничего. Я вам сочувствую! — сказал офицер, протянул мне руку и ушел.

Покачиваясь от не прошедшего вполне страха, я разыскал Пятакова, евшего колбасу с булкой, сидя на верхней полке вагона; вскоре затем раздался успокоительный звонок.

Следовательно, офицер не солгал.

III

Вернувшись в Севастополь, я застал у Киски ее младшую сестру, жену художника Теренина, сына сибирского миллионера. Теренин жил в Швейцарии, оттуда и приехала сестра Киски. Вскоре приехал из Петербурга брат сестер, Леонид[9], студент, со своим приятелем Ровногубом[10]. Через несколько дней все они поселились на Артиллерийской улице: Киска в комнате небольшого дома, а студенты в доме напротив, в одной

из очень хороших квартир. Я продолжал жить на своем матраце, слушая по утрам «Нелюдимо наше море», и у меня никогда никто не бывал [11]. Литературу я хранил у себя.

Пятаков поселился неподалеку от Артиллерийской, почти в центре города. Как он, так и я, жили на деньги комитета.

К тому времени в Севастополь приехал Быховский (Валерьян) — живой черненький человек, любивший, если его сравнивали с Оводом, героем известного романа, и пытался взять в свои руки бразды правления. Однако с Киской он сладить не мог, да и я уже пользовался известным авторитетом. Валерьян очень меня любил, — думаю, любит и сейчас. Однако это не помешает мне сказать, как он с Марьей Ивановной отправились по делам в Ялту (за сбором денег), а оттуда бежали от полиции через горы пешком в Севастополь. Чрезвычайно гордые своими приключениями, сидели они в гостиной квартиры Леонида и Ровногуба. Леонид играл вальс Разаса «Над волнами», и весь этот маленький мир безыскусственно смелых людей как бы отдыхал перед грозой...

Гроза разразилась через несколько дней.

Для меня было устроено на Южной стороне смешанное собрание солдат и матросов. Странное, никогда не испытанное и ничем решительно не оправдываемое чувство удерживало меня от поездки. Это было тягостное предчувствие. Я пришел к Киске и сказал, что ехать не могу. Как я ни объяснял, в чем дело, Киска требовала, чтобы я ехал; в конце концов назвала меня «трусом».

При таких обстоятельствах мне ничего больше не оставалось, как пойти на Графскую пристань, к катеру. Не успел я спуститься на площадку, как подошли ко мне два солдата: Палицын и его приятель [12]. Я знал и того.

Едва успел я спросить о чем-то по делу, как из-за спины моей вырос, покручивая усы, городовой.

— Разговариваете? — мирно, словно вскользь, спросил он.

— Да, — ответил я, и вдруг мои ноги начали ныть. Сердце упало.

— А не прогуляться ли нам в участок? — так же спокойно продолжал городовой.

Я посмотрел на солдат.

— За этим мы и пришли... — был тихий ответ.

Городовой свистнул. Подошли еще двое полицейских. Солдаты исчезли (как я узнал впоследствии, они были уже арестованы и, не зная ни моего имени, ни адреса, ходили при полицейских по городу, чтобы опознать меня). Меня отвели в участок; из участка ко мне в комнату, сделали обыск, забрали много литературы и препроводили Грина в тюрьму.

Никогда мне не забыть режущий сердце звук ключа тюремных ворот, их тяжкий, за спиной, стук и внезапное воспоминание о мелодической песне будильника «Нелюдимо наше море».

IV

Я был арестован 11 ноября 1903 года.

Вышел из тюрьмы по амнистии 20[13] октября 1905 года.

Корпус севастопольской тюрьмы состоит из четырех этажей[14] и четырех коридоров-галерей с панелями по обе стороны; сверху донизу сквозь все этажи видны мостики, соединяющие панели, и винтовые железные лесенки, соединяющие этажи. В каждом коридоре-галерее дежурит суточно надзиратель.

Меня поместили в камеру четвертого этажа[15] и через час вызвали на допрос.

Когда я вошел в канцелярию тюрьмы, там были уже прокурор, жандармский полковник и еще какие-то чины, человек пять.

Я отказался давать показания; единственно, чтобы избежать лишних процедур, назвал свое настоящее имя и сообщил, что я — беглый солдат[16].

О всем прочем из меня не могли добыть ничего, хотя усердно грозили каторгой и даже виселицей[17].

Вновь отведенный в камеру, я предался своему горю в таком отчаянии и исступлении, что бился о стену головой, бросился на пол, в безумии тряс толстую решетку окна и тотчас, немедленно, начал замышлять побег.

На другой день вечером окошечко камеры откинулось, упала свернутая записка; окошечко быстро захлопнулось. Записку бросил уголовный арестант-уборщик; уборщики свободно разгуливали по коридорам и оказывали политическим важные услуги.

Записка была от с.-д. Канторовича, провизора местной аптеки. Канторович был арестован уже две недели; я однажды встретился с ним у Киски.

Канторович писал, что я могу давать уборщику записки для города, арестант будет передавать их ему, а он, через одного надзирателя, наладит сношения с «волей». В записке были указания, как писать шифром — цифрами и посредством книги.

В течение следующих десяти дней завязалось дело с побегом, едва не стоившее мне жизни. Я сносился с Киской записками через одного молодого, уже спропагандированного Канторовичем надзирателя; надзиратель стал скоро сам приходить ко мне, исполняя мои поручения. Кроме того, Киска, а затем ее брат несколько раз. являлись на улицу, против тюрьмы, выговаривая маханием платка (по известной азбуке) нужные фразы; я через окно отвечал им такой же сигнализацией.

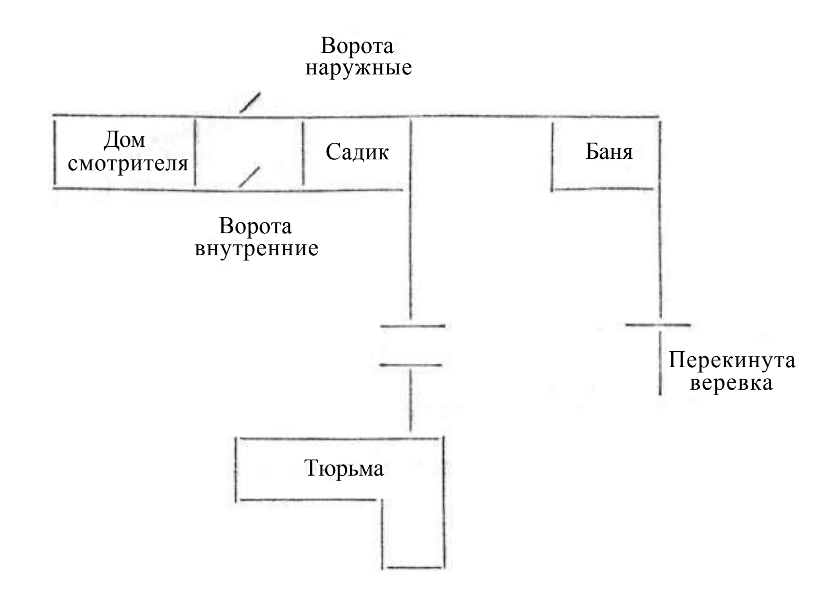
Пока шли эти переговоры, из Петербурга приехала военно-судебная комиссия с очень простой целью: объявить Севастополь на военном положении, хотя бы на месяц, чтобы меня повесил военно-полевой суд, но этот номер почему-то не прошел. Вызванный предстать перед ней в канцелярию, я увидел четырех генералов с весьма опасными лицами, но отвечать отказался.

Тогдашний контр-адмирал поклялся, что «сгноит меня в тюрьме».

Между тем Киска добыла на побег тысячу рублей. Было куплено парусное судно, чтобы отвезти меня на нем в Болгарию; за сто рублей был подкуплен извозчик, на котором должен был я, перебравшись через стену тюрьмы, скакать к отдаленной бухте, где ожидало судно.

В назначенный день в точно высчитанный час моей прогулки по двору тюрьмы (после обеда, около двух часов) на соседний двор, где помещалась баня и прачечная, около здания бани перекинулась завязанная узлами веревка. Случилось непредвиденное: неожиданно в этот самый день на дворе прачечной-бани арестантки развешивали белье; его ряды висели на многих веревках, мешая быстро пробежать через открытую калитку к высокой тюремной стене...

По случаю холодного дня я был в пальто, но пальто накинул на плечи, чтобы удобнее было его сбросить, а в кармане я держал пачку нюхательного табаку,



чтобы засыпать им глаза надзирателя, тем предупреждая его погоню за мной в соседний двор. Багроволицый усач, помощник смотрителя, вышел на крыльцо тюрьмы, увидел, как я нервно верчусь взад и вперед, и, должно быть, что-то заподозрил, так как проворчал весьма недвусмысленные слова. К огорчению моему, веревка, перекинутая через стену, оказалась тонким шпагатом, я же просил толстую веревку; узлы на ней были завязаны не менее как на три фута один от другого... Я убедительно просил завязать узлы не более как на футовом расстоянии.

Время шло. Уже прошло минут пять, что перебросилась через стену веревка, ее видели не только я, но и арестантки на соседнем дворе. Помощник не уходил с крыльца. Я дошел до калитки, сбросил пальто и, путаясь под хлещущим по лицу мокрым бельем, пробежал к стене. Я схватил веревку, уже слыша сзади крики: «Держи, держи! Стреляй!» — и потянул, но, к ужасу моему, веревка свободно валилась вниз... Вдруг она натянулась.

Попытка взлезть на полуторасаженную стену по новой, очень тонкой, веревке кончилась неудачей: хотя оставалось мне взобраться лишь на аршин, чтобы

протянуть руку к гребню стены (причем я здорово ободрал ладони!), как за самой спиной щелкнул курок, и помощник крикнул: «Стреляй его! Стреляй, сукин сын!» Я спасся тем, что, выпустив веревку, упал в траву. Меня с ругательствами отвели в карцер, где, впрочем, я пробыл всего два часа, так как очень быстро явились прокурор и жандармский полковник — допрашивать о побеге. Надо кстати сказать, что Леонид и Ровногуб благополучно удрали, перебравшись через Болгарию на «моем судне» во Францию; об их жизни там в «Русском богатстве» за 1910 (кажется) год есть ряд очень интересных очерков Евг. Синегуба [18].

Раздавленный и уязвленный неудачей, я чуть-чуть не попался на удочку прокурора, когда тот довольно мягко спросил:

— Нет ли у вас знакомых, которые могли бы ходить к вам на свидание?

Уж я открыл рот, но... — о чудо! — старый, изъеденный сифилисом и водкой щучелицый жандарм чуть слышно кашлянул, — и я увидел по его взгляду, что *попадусь.*

— Нет! — сказал я. — У меня нет никого — ни родных, ни знакомых.

Загадка человеческого сердца! Что подвинуло жандармского полковника предостеречь меня, своего врага? Я никогда этого не узнал и даже до сих пор не могу догадаться, в чем дело; разве лишь то, что прокурора он ненавидел более, чем меня, и не хотел, чтобы тот получил хотя бы какой-нибудь триумф посредством допроса?

О побеге я сказал, что показаний об этом давать не буду.

Меня, в виде наказания, сунули в нижнюю камеру. Там решетка была на уровне с землей. Затем в течение месяца я переходил всё выше и выше, пока снова не достиг четвертого этажа; следствие было кончено, режим тюрьмы был свободный, и я сидел одно время с Крюковым, четырехлетним мучеником. Это был студент, осужденный на поселение за хранение нелегальной литературы. Так как его подозревали в пропаганде среди войск, то и проморили в тюрьме целых четыре года. Скоро он отправился в ссылку.

V[19]

По просьбе заключенных начальство охотно сажало их вдвоем; так, например, я одно время сидел с Канторовичем.

Около декабря[20] Киску, по подозрению в участии в моем деле *, выслали этапом в Архангельскую губернию. Оттуда она перебралась в Швейцарию.

Совместное сидение хуже, чем одиночное; измученные люди вскоре начинают раздражаться, ссориться, и начальство вновь разделяет их. Но сидеть одному очень тоскливо, а потому вновь возникают просьбы о помещении с кем-нибудь вдвоем.

Наши камеры были неравной величины: угловые — побольше, неугловые — темные каморки с выкрашенными до половины в серый цвет стенами, представляющими смесь грязных белил с карандашными и высеченными надписями прежних жильцов. На асфальтовом полу, у стены, помещалась железная койка с соломенным матрацем, соломенной подушкой и одеялом серого грубого сукна. Постельное белье было из холста. У дверей помещалась параша: ведро с крышкой, вделанное в серый табурет. У окна ставилась на полочку жестяная керосиновая лампа, горевшая всю ночь. Понятно, какой воздух был в камере зимой: тут смешивались запахи керосиновой гари, параши и табаку. Политические пользовались разрешением носить свою одежду и белье. Кто сидел в третьем и четвертом этажах по переднему фасаду, тот обыкновенно целые дни торчал на табурете перед окном, рассматривая протекающую на улице свободную жизнь: пешеходов, извозчиков, посетителей, идущих по двору на свидание или для «передачи». У меня не было ни свиданий, ни передач; но я несколько раз получал по почте от друзей небольшие деньги, раз получил две смены белья и носки.

На собственные деньги заключенных, хранившиеся в конторе, мы каждый день вечером составляли список покупок, — их утром приносил и раздавал надзиратель. Против тюрьмы, на углу, была бакалейная торговля, где можно было купить томаты, брынзу, колбасу, чай, сахар, табак и белый хлеб. Но я редко мог баловать

---

* И в побеге. — *Прим. А. С. Грина.*

себя такими вещами, а тюремная пища была всегда одна и та же: кислый борщ с мелко нарезанными кусочками коровьих голов да пшенная каша с бараньим салом. При полуторе фунта в день черного хлеба, при ужине из чашки жидкой пшенной кашицы я часто бывал впроголодь. Утром в шесть часов давали кипяток, слегка подкрашенный чаем, и два куска пиленого сахара.

После чая дежурный уголовный арестант вносил мокрую швабру, которой я протирал пол; потом выносил парашу в уборную. В девять часов происходила «поверка», обход камер начальником или старшим надзирателем, то же повторялось после семи часов вечера. Два раза в день в неопределенно изменяющиеся часы мы должны были «гулять», то есть ходить взад-вперед по двору перед тюрьмой.

Итак, это была так называемая «открытая» тюрьма. Иногда надзиратели после вечерней поверки (случалось, даже днем) впускали нас друг к другу в камеры или открывали откидные форточки дверей; просунув наружу голову, мы могли видеть сидящих на противоположной стороне коридора знакомых. Завязывались разговоры, дискуссии, наконец — просто болтовня.

Наиболее свободный режим был месяца два при новом начальнике, частном приставе (старый чахоточный начальник умер). Этот апоплексический солдафон тоже умер — от «кондрашки». Он обыкновенно почти не выходил из лазарета, где пил с фельдшерицей[21] водку и вызывал туда более покладистых политических для разговоров о «высоких материях». Он умер, должно быть, потому, что круто переменился образ его жизни: двадцать лет пристав кричал в своем участке, распекал, бил, грозил, а тут сразу попал в сонную тишину канцелярии *.

Так или иначе, при этом странном либерале двери наших камер даже не запирались; мы разгуливали в гости друг к другу с утра до вечера.

---

* После него назначен был нач. тюрьмы П. Светловский — человек жестокий и честный, усмиривший «свободный режим» крутыми мерами, вплоть до избиения по камерам. Но пища арестантов резко улучшилась. — *Прим. А. С. Грина.*

VI

Прошел год.

Я видел в снах, что я свободен, что я бегу или убежал, что я иду по улицам Севастополя. Можно представить мое горе при пробуждении! Тоска о свободе достигала иногда силы душевного расстройства. Я писал прошение за прошением, вызывал прокурора, требовал суда, чтобы быть хотя бы на каторге, но не в этом безнадежном мешке. После моего ареста отец, которому я написал, что́ случилось, прислал телеграмму: «Подай прошение о помиловании». Но он не знал, что я готов был скорее умереть, чем поступить так.

На свои прошения[22] я не получал ответа, а прокурор, когда бывал в тюрьме, говорил, что следствие не закончено.

Я не оставлял мысли о побеге, придумывал планы, один другого сложнее и запутаннее. Сидя в четвертом этаже, я мечтал пробить потолок, чтобы вылезть на чердак; я сидел тогда вместе с учеником Мореходных классов, эсдеком; я всячески подбивал как его, так и других, но встретил довольно вялое отношение. Сидя с Канторовичем, я почти увлек его планом размягчения известково-ноздреватого камня стены сверлением скважин и вливанием туда серной кислоты, но эта затея рассеялась — кто же мог доставить нам кислоту? Напасть на надзирателя, заткнуть ему рот, надеть его форму, отобрать ключи, взорвать стену во время прогулки динамитом, устроить подкоп, рискнуть пробежать в открытую калитку (когда впускали кого-нибудь) — всё было передумано; всё было — и осталось — в мечтах.

Между тем более практичные уголовные бегали, не мудрствуя лукаво, несколько раз. Всего, за два года, было шесть побегов. Один бежал, разогнув ночью поленом прутья решетки; другой, когда мылся в бане, надел вольную одежду, оглушил надзирателя кулаком, выскочил, влез по сточной трубе на крышу — и был таков; я видел сверху, как он перебегал площадь; четыре человека бежали днем во время прогулки очень просто: их товарищи кинулись к стене, составили телами живую лестницу, по которой беглецы вскочили на гребень в один момент.

Каждый раз колокол бил набат, надзиратели выбегали из ворот ловить арестантов, но сделать это сразу

не удавалось никогда; кое-кто из беглецов был задержан уже впоследствии, через несколько дней.

Хорошо бежал с.-д. Фельдман, впоследствии бывший на «Потемкине». Он просидел ровно три дня. На третий день приехали жандармы и увезли его на допрос. Фельдман, естественно, не вернулся, а жандармы, естественно, были неестественные[23].

VII

Я сказал, что никто не приходил ко мне в тюрьму. Это не совсем верно. Вскоре после моего ареста политических заключенных вздумал посетить архиерей из Симферополя. Это был дородный высокий человек с зычным голосом. На свою беду, он зашел ко мне первому.

После неудачного побега я был в мрачном отчаянии. Архиерей вошел, сопровождаемый тюремным начальством, и с места в карьер сказал что-то высокомерное.

— Вам незачем приходить сюда, — сказал я. — Мы не дикие звери, чтобы смотреть нас из пустого любопытства.

Архиерей отступил и укоризненно покачал головой.

— Нет! Вы и есть дикие звери! — заявил он, поворачиваясь уходить. — Я думал, что вы — люди, а теперь вижу, что точно — вы есть звери!

Он ушел, ни к кому больше не заходил, а через час меня вызвали в канцелярию.

— Зачем вы обидели батюшку? — строго спросил начальник.

Я только махнул рукой.

На втором году моего сидения в тюрьму пришел другой архиерей — старенький, сгорбленный, лукавый; он долго бранил меня за то, что я много курю (в камере стоял дым, как в кочегарке), и, уходя, стянул с полки мою четвертку табаку; я видел, как он ловко стянул ее, спрятав в рукав, но ничего не сказал.

Еще как-то раз меня посетила, проезжая из Анапы, сводная моя сестра; оставила мне рубль, просидела с час и ушла.

Летом 1905 года состоялся первый суд — военно-морской[24]. Судились — я и шесть солдат-артиллеристов. Защитником приехал А. С. Зарудный; он был у меня в камере, без свидетелей, три раза и посоветовал, если я хочу хоть сколько-нибудь «благополучного» исхода

дела, не говорить суду ничего, совершенно ничего, кроме ответов на вопросы об имени и гражданском состоянии.

Заседание в здании военно-морского суда началось с утра и продолжалось до шести часов вечера, с двумя перерывами. Как рядовой, я должен был стоять не присаживаясь, не имел права курить, отвечать должен был «так точно» и «никак нет!». Я устал как собака.

Прокурор требовал для меня двадцати лет каторжных работ. Зарудный произнес блестящую речь. Но обстоятельства дела были слишком очевидно против меня. После заседания некоторые офицеры-судьи благодарили его за то, что своей речью он многое объяснил им в отношении целей революционной работы.

Прокурор проиграл: меня приговорили к бессрочной ссылке на поселение в отдаленнейшие места Сибири[25].

Как ни странно, я был рад и этому. Из ссылки я надеялся убежать. Солдаты были приговорены частью в дисциплинарный батальон, частью — в каторжные работы на срок до шести лет.

Но мне предстоял еще один суд. Гражданское следствие объединило общим процессом меня с эсдеками, составив дело о революционной агитации среди рабочих. У меня нашли несколько таких же брошюр, какие были арестованы среди с.-д., и этого оказалось достаточным, чтобы судить меня вместе с Канторовичем и другими свезенными в Феодосию из разных городов Крыма эсдеками[26].

Заседание судебной палаты было назначено в Феодосии, где я теперь живу с 1924 года и где тщетно искать хотя каких-нибудь следов старой тюрьмы; вся она растащена по частям, и на площади, где она когда-то была, появились небольшие домики, составленные из ее погибшего корпуса.

Меня с Канторовичем привезли на пароходе под конвоем в Феодосию; в большой нижней камере, куда мы были помещены, сидело уже человек восемь. Вскоре приехали из Петербурга защитники; среди них помню Грузенберга. Как бы в предчувствии осенних событий 1905 года, режим тюрьмы был в высшей степени свободный: камеры не запирались, политические ходили по коридорам и по двору, когда хотели. Рассчитывая бежать, я склонил четырех человек устроить подкоп из камеры через узкое расстояние (не более сажени) между стеной корпуса и наружной стеной, но как быстро охла-

дели мои соучастники! Правда, они достали с «воли» пилу-ножовку, саперную лопатку и пилку от лобзика, однако, когда дошло до дела, работать пришлось одному мне. Я выпилил кусок доски деревянного пола и хотел начать рыть, как другие заключенные стали просить оставить эту затею: многим из них предстояло выйти на поруки и под залог; иные полагались на искусство адвокатов. Они боялись, что возня с подкопом, если она откроется, может им повредить.

Я вставил выпиленный кусок доски на прежнее место и придумал другое: пилкой лобзика я перепилил прут решетки. Теперь никто не соглашался бежать со мной: все ждали суда. Я не хотел идти против скрытого неодобрения своих сокамерников. Должно быть, среди нас был осведомитель, так как неожиданно днем в камеру явился надзиратель и начал стучать по решетке. Однако пропиленное место прута так было незаметно замазано мною варом, что надзиратель ушел ни с чем.

Каждый день происходили беседы с защитниками; каждый день толпа знакомых, родственников и подставных «невест» приходила на свидания, которые давались в конторе тюрьмы всем сразу; тут можно было, на глазах надзирателя, вручить записку, посекретничать, уговориться о чем угодно. Всего сидело тогда человек пятнадцать.

Мне тоже устроили «невесту», и раза три в тюрьму приходила совершенно мне незнакомая, страшно смущавшаяся, простенькая девица, а я смущался еще больше, чем она, так что разговор не клеился. Она добросовестно являлась в зал судебного заседания, при выходе из суда дала мне букетик цветов, и больше я ее не видел.

Благодаря усилиям адвокатов на первом же заседании палаты слушание этого общего дела было отложено[27]. Канторович и многие другие выпущены на поруки или под залог, а я дня через три судился отдельно к по доказанности обвинения получил год тюрьмы[28]. Это наказание покрывалось, конечно, бессрочной ссылкой.

В тюрьме остался один я. Меня посадили в камеру второго этажа. Она не запиралась. Я целые дни бродил по двору, подружился с маленькой девочкой, дочерью начальника, и собакой-овчаркой.

Канторович некоторое время оставался в Феодосии. По моей просьбе он принес мне съестную передачу, табак и пять штук огромных машинных гвоздей.

Будка, у которой дежурил часовой-солдат с винтовкой, помещалась рядом с деревянным сортиром, между будкой и оградой было узкое расстояние.

Я сделал из гвоздей «кошку», из казенных простынь и своего белья скрутил толстую веревку, завязав на ней частые, большие узлы, приладил к одному концу этого каната свой якорек, спрятал орудие бегства под полу пиджака и вышел во двор гулять.

Походив некоторое время, я сделал вид, что захожу в сортир, а сам шмыгнул за будку и перекинул через железный кровельный гребень стены «кошку».

Она зацепилась прочно. Тотчас я полез вверх, упираясь, как учили меня уголовные, коленями в стену, и уже схватился за гребень, как веревка лопнула и я свалился вниз. Обрывок болтался вверху, на гребне.

Солдат выглянул из-за будки и растерялся. Он стоял, тупо смотря, как я, смотав оставшийся у меня обрывок, перекидывал его.

— Не смотри! Не смотри! Отвернись, такой-сякой! — кричали солдату уголовные с верхнего этажа, видевшие мою горькую попытку бежать.

— Беги в камеру! — сказал солдат. Он подошел к стене и штыком скинул висящий обрывок на сторону пустыря. Весь дрожа от отчаяния, я ушел, лег на койку и заревел.

Дело это не открылось бы, если бы начальник, возвращаясь из города, не заметил валяющуюся у стены «кошку». Он прибежал ко мне, долго бушевал и грозил карцером, упрекал меня в «неблагодарности» и потрясал перед моим лицом «кошкой».

Вначале я отпирался от всего, но потом, разозлясь, заявил:

— Вы принимаете все меры, чтобы не выпустить нас отсюда. Почему мы, в таком случае, не можем принимать все меры, чтобы бежать? Ваша задача — одна, наша — другая.

С этого дня я был заперт на ключ, лишен прогулок и книг, а через три дня, как «опасный», я был увезен снова в надежную севастопольскую тюрьму.

Я вышел лишь 20 октября [29], после исторического расстрела демонстрации у ворот тюрьмы. Адмирал согласился освободить всех, кроме меня. Тогда четыре рабочих с.-д., не желая покидать тюрьму, если я не буду выпущен, заперлись вместе со мной в моей ка-

мере, и никакие упрашивания жандармского полковника и прокурора не могли заставить их покинуть тюрьму.

Через двадцать четыре часа после такого своеобразного бунта всех нас вызвали в канцелярию, и я получил наконец свободу.

Каждый день я проводил в квартире того ссыльного учителя, который пугал людей на улице страшными возгласами. К нему приходили как в штаб-квартиру.

Однажды десятилетняя девочка, дочь учителя, взяла лежавшую среди другого оружия заряженную двустволку. Я мирно разговаривал со Спартаком. У самого моего уха грянул выстрел, заряд картечи ушел глубоко в стену, а девочка, испугавшись, бросила ружье и заплакала.

Она призналась, что уже прицелилась в меня (это в двух-то шагах!), но, неизвестно почему передумав, прицелилась мимо моей головы; однако мне обожгло ухо. Она думала, что ружье не заряжено.

Общее волнение очевидцев ничем не отразилось на мне. Я остался спокоен и вял, что объясняю сильной психической реакцией после освобождения. Действительно — свобода, которой я хотел так страстно, несколько дней держала меня в угнетенном состоянии. Всё вокруг было как бы неполной, ненастоящей действительностью. Одно время я думал, что начинаю сходить с ума.

Так глубоко вошла в меня тюрьма! Так долго я был болен тюрьмой...[30]

ПРИЛОЖЕНИЕ

А. С. Грин — С. А. Венгерову

Глубокоуважаемый Семен Афанасьевич!

Я написал и посылаю Вам свою краткую автобиографию, с перечнем изданий, где приходилось мне быть напечатанным. В непродолжительном времени я пришлю Вам все свои книжки. Но вот беда — совсем не помню, по каким именно №№ различных изданий прошли рассказы. Помню только года. Скажите, пожалуйста, нужно это обязательно или нет? Рассказов, которых нет в имеющих быть присланными мною книжках, — около 60. В большинстве случаев это скверные, наспех писанные вещи, их не стоит читать.

На иностранные языки меня еще не переводили, за исключением одной латышской и еврейской газеты (не помню — какие), а вчера я получил из Мюнхена предложение перевести меня для издания у Георга Мюллера на немецком языке.

С глубоким уважением А. С. Грин. <СПб> 2-я рота, дом 78 кв. 24. 15 марта <1913 г.>.

А. С. ГРИН

Я родился в городе Слободском Вятской губернии в 1881 г. (не точно, в 1880. — *В. С.*), 11 августа, но еще грудным ребенком был перевезен в Вятку, где и жил безвыездно до 16-ти лет вместе с родителями. Мой отец Степан Евсеевич Гриневский, происходит из рода дворян Виленской губернии. Дедушка, т. е. отец моего отца, был крупным помещиком Дисненского уезда. В 1863 году отец по делу польского восстания был арестован, просидел 3 года в тюрьме, а затем пробыл 2 года в ссылке в Тобольской губернии. Имение, разумеется, конфисковали. Освобожденный общей амнистией того времени, отец пешком добрался до Вятки и здесь в конце концов основался, поступив на земскую службу, где служит и сейчас бухгалтером губернской земской больницы. Ему 71 год. Он женился в Вятке на девице из мещан, Анне Степановне Ляпковой, моей матери, умершей, когда мне было 12 лет (в 1893 году. — *В. С.*).

Мои две сестры и брат (родившиеся позже меня) не имели никакого значения в моей жизни, кроме личных, очень хороших с ними отношений, и поэтому говорить о них я не буду. Детство мое было не очень приятное. Маленького меня страшно баловали, а подросшего за живость характера и озорство — преследовали всячески, включительно до жестоких побоев и порки. Я научился читать с помощью отца 6-ти лет, и первая прочитанная мною книга была «Путешествие Гулливера в страну лилипутов и великанов» (в детском изложении). Мать тогда же научила писать. Мои игры носили характер сказочный и охотничий. Мои товарищи были мальчики-нелюдимы. Я рос без всякого воспитания. В 10 лет отец купил мне ружье, и я пристрастился к охоте.

9-ти лет я поступил в реальное училище, но после двух исключений за скверное поведение (так называли) был исключен окончательно в 3-й раз из 3 класса за стихотворный пасквиль на учительский персонал (Гриневский был исключен из второго класса и написал он не пасквиль, а шуточные стихи — подражание пушкинскому «Собранию насекомых». См. «Автобиографическая повесть», стр. 18—21. — *В. С.*). Меня отвели в городское 4-х классное училище, которое я, после одного исключения, окончил благополучно в 1896 году. Начав читать с 6-ти лет, я читал всё, что под рукой было, сплошь, от «Спиритизма с научной точки зрения» до Герштекера (Вселенная. Рассказы из физической, математической и политической географии для детей среднего возраста, — *В. С.*) и от Жюля Верна до приложений к газете «Свет». Тысячи книг сказочного, научного, философского, геологического, бульварного и иного содержания сидели в моей голове плохо переваренной пищей. Летом 1896 г. с 20 рублями в кармане и советами «не пропасть» я отправился в Одессу, мечтая сделаться моряком. Надо сказать также, что в детстве я усердно писал плохие стихи, а отец, через год после смерти матери, женился вторично.

Поголодав с месяц в Одессе, я поступил матросским учеником на пароход «Платон», позже матросом на «Цесаревич», еще позже — на парусное херсонское судно (сравните «Автобиографическая повесть», стр. 51, 67, 73. — *В. С.*). В промежутках работал чернорабочим. Затем меня потянуло домой (через год), дела мои пошли скверно. Я выехал зайцем через Ростов-н<а>-Д<ону> — Волгу — к реке Вятке и прибыл домой, где всю зиму переписывал роли местной драматической труппе, выступая изредка в третьесте-

пенных ролях. С неделю я посещал также железнодорожную школу (телеграфисты, кондуктора и пр.), но это мне скоро надоело. Я жил от отца отдельно, он помогал мне. Летом 1898 года я уехал в Баку, где служил на рыбных промыслах, на пароходе «Атрек» (комп. «Надежда»), а больше всего был Максимом Горьким. Изнурительная лихорадка заставила меня покинуть Баку, я приехал зайцем домой (весной 1899 г.) и поступил банщиком на станцию Мураши Пермь-Котласской дороги. С осени я стал работать в железнодорожных мастерских Вятского депо и строгал различное дерево на различных машинах до весны. В апреле я поступил матросом на баржу (сравните «Автобиографическая повесть», стр. 106. — *В. С.*), но в Нижнем рассчитался, вернулся в Вятку и глухой зимой ушел пешком на Урал. Я работал на Пашийских приисках, на домнах, в железных рудниках села Кушва (г<ора>Благодать), на торфяниках, на сплавке и скидке дров и дровосеком. К осени мне это надоело.

Я вернулся домой и стал снова переписывать роли для театра и бедствовал. В этом же году (1901-м) я по желанию отца (а, отчасти, и по своему собственному) был сдан в солдаты. Служить мне пришлось в Пензе, в 213-м Оровайском резервном батальоне. Службу я возненавидел мгновенно и, достаточно просидев в карцере, бежал летом 1902 г., но был пойман в Камышине и отсидел еще месяц (три недели. — *В. С.*). Скоро я познакомился с революционерами. Они устроили мне второй побег зимой 1902 г. Я приехал в Симбирск, где, поработав некоторое время на лесопильном заводе, ранней весной был отправлен в Саратов. Отсюда я выехал через месяц и скитался по разным городам России вплоть до Севастополя, где был арестован в ноябре 1903 г. за пропаганду во флоте и крепостной артиллерии.

Я просидел почти два года. Меня присудили к лишению всех прав и бессрочной ссылке на поселение. 17-е октября 1905 года освободило меня. В декабре того же года (в январе 1907 г. — *В. С.*) я был арестован в С.-Петербурге и в начале июля (в мае. — *В. С.*) 1906 г. выслан административно в Туринск, Тобольской губернии, откуда через день бежал и приехал в августе в Москву. Здесь я, прожив дней десять, написал первый рассказ для мягковского «Колокола» (издательство) под названием «Заслуга рядового Пантелеева». Мне дали сто рублей. (Точное название издательства и сумму первого гонорара Грина см, стр. 455—456. — *В. С.*). Я приехал в Петербург. Здесь (живя по подложному паспорту) я стал писать. Мой первый *литературный* рассказ «В Италию» напечатал в начале 1907 г. (в декабре 1906. — *В.* С.) А. Измайлов в «Биржевых ведомостях». Затем два рассказа напечатал В. С. Миролюбов в «Трудовом пути», и я продолжал писать.

Летом 1910 года я был арестован, как нелегальный, и, отсидев положенные три месяца, отправился в Архангельскую губернию сроком на 1 год и 7 месяцев. Мне назначили уездный город Пинегу, затем, к осени 1911 года, перевели в Архангельск. Весной, 15 мая 1912 года, я освободился, вернулся в Петербург и теперь имею право носить настоящее имя. Главное событие моей жизни — встреча с В. П. Абрамовой, ныне моей женой (весь текст — машинопись, последнее предложение вписано от руки. — *В. С.*).

А. С. Грин (*А. С. Гриневский*).

ВОСПОМИНАНИЯ

В. КАЛИЦКАЯ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я не в силах представить читателям Александра Степановича в едином, выпуклом образе. Для этого у меня не хватает изобразительных средств; надо быть крупным художником, чтобы нарисовать противоречивый и крайне сложный облик А. С. Грина. Но странно, что и сам Александр Степанович не смог или не захотел изобразить себя целиком в каком-либо из своих произведений [1].

Александр Степанович обладал прекрасным свойством: он превосходно отличал добро от зла, или, вернее, он безошибочно чувствовал, что хорошо и что дурно. Кроме того, он хорошо знал самого себя и был с собой искренен. Выявить себя целиком он не захотел, но говаривал, что его можно узнать, вчитываясь в его произведения. Это верно, хотя и не до конца. Александр Степанович только частично выявлял свои мысли, чувства и поступки в лице своих героев. И можно, мне кажется, безошибочно узнать, когда, рассказывая будто бы о своих героях, Александр Степанович говорит о себе; это чувствуется по особой, твердой и честной, интонации. Но в большинстве случаев Александр Степанович изображает только либо положительную, либо отрицательную сторону своего «я». Одинаково ошибутся как те читатели, которые примут Александра Степановича за Галиена Марка из «Возвращенного ада» или за Грэя из «Алых парусов», так и те, кто сочтет его только за Гинча, Пик-Мика или Ван-Конета [2]. Черты характера этих

героев были одинаково присущи Александру Степановичу.

Иногда Грин изображает себя в одном и том же произведении в лице двух или даже трех героев, например в «Золотой цепи» или в «Дороге никуда».

Для того чтобы более или менее беспристрастно рассказать об Александре Степановиче, я попробую привести те факты из его жизни, которые мне хорошо известны, и попутно повторить те высказывания Александра Степановича о самом себе, какие приведены в его произведениях [3].

ТЮРЕМНАЯ НЕВЕСТА. БЕГСТВО ИЗ СИБИРИ

Мое знакомство с Александром Степановичем Гриневским началось весной 1906 года. Я работала тогда в «Красном Кресте». Это общество помогало политическим заключенным и ссыльным.

Я поступила в «Красный Крест» в 1905 году, когда забастовки, демонстрации, расстрелы рабочих и крестьян и возбуждение, охватившее по поводу этих событий всю интеллигенцию, заставили меня подумать: «Сижу в какой-то тинистой заводи, когда рядом мчится река событий. Надо примкнуть к общественной жизни. Но как это сделать?» Я пошла к писательнице А. Н. Анненской за советом. Она была редактором журнала «Всходы», где были напечатаны два моих рассказа. А. Н. Анненская и направила меня к Т. А. Богданович, стоявшей близко к руководству «Красного Креста».

В «Кресте» тогда работали многие общественные деятели: знаменитые адвокаты, защищавшие политических, писатели, издатели и их жены. Мы, молодые члены организации, — курсистки, студенты, учительницы — должны были обслуживать заключенных в тюрьмах. Закупали на деньги «Креста» провизию, белье, верхнее платье, сапоги и теплые вещи и передавали всё это или в общие камеры на имя старост, или же сидевшим в одиночках. Иногда надо было ездить к семьям высланных или безработных, так как многие из них жестоко нуждались. Нередко к нам приходили рабочие, уволенные с заводов за участие в стачке или бежавшие из ссылки. Приходилось участвовать в организации концертов, которые устраивались для сбора денег. Клиентура «Креста» была очень большая, и денег требовалось

много. Общение с людьми было широкое, дружеское, и дело это мне очень нравилось.

Кроме обычных обязанностей у меня была еще одна: я должна была называть себя «невестой» тех заключенных, у которых не было ни родных, ни знакомых в Петербурге. Это давало мне право ходить на свидания, поддерживать их, исполнять поручения.

Мои отношения с Александром Степановичем начались так же, как они обычно начинались и с другими «женихами». Ко мне домой пришла незнакомая девушка и сказала, что ее сводный брат, А. С. Гриневский, сидит с января 1906 года в Выборгской одиночной тюрьме. До сих пор она, Наталия Степановна [4], сама ходила к нему на свидания и делала передачи, но в мае ей придется уехать, и она просит меня заменить ее. Сказала, что адрес мой она узнала в «Кресте».

Я начала хлопотать о разрешении мне свидания с Александром Степановичем, а он — писать мне. Его письма резко отличались от писем других «женихов», писавших мне из тюрем. Почти все жаловались, один даже сердито писал: «Вера, добьюсь ли того, что ты принесешь мне наконец бумагу и карандаши?» — и не хотел понять, что вина не во мне, а в тюремных властях, которые не разрешали ему иметь письменных принадлежностей. Но Гриневский писал бодро и остроумно. Письма его меня очень заинтересовали.

В мае [5] выяснилась судьба Александра Степановича. Его приговорили к ссылке в Тобольскую губернию и перевели в пересыльную тюрьму. Наталия Степановна была еще в Петербурге и потому, когда я получила разрешение на свидание, мы отправились с ней в тюрьму вместе. Это свидание с незнакомым человеком, на днях отправляющимся в далекую ссылку, было для меня обычным делом. Я от него ничего не ожидала. Думала, что этим свиданием окончатся наши отношения с Гриневским, как они кончались с другими «женихами». Однако оно кончилось совсем по-иному.

Нас впустили в большое помещение, в котором уже было много народа. Каждый заключенный мог свободно говорить со своими посетителями, так как надзор был слабый.

Надзиратель ходил по середине большого зала, а заключенные со своими гостями сидели на скамейках вдоль стен.

Александр Степанович вышел к нам в потертой пиджачной тройке и синей косоворотке. И этот костюм, и лицо его заставили меня подумать, что он — интеллигент из рабочих. Разговор не был оживленным; Александр Степанович и не старался оживить его, а больше присматривался.

«Сначала ты мне совсем не понравилась, — рассказывал он впоследствии, — но к концу свидания стала, как родная».

Дали звонок расходиться. И тут, когда я подала Александру Степановичу руку на прощание, он притянул меня к себе и крепко поцеловал. До тех пор никто из мужчин, кроме отца и дяди, меня не целовал; поцелуй Гриневского был огромной дерзостью, но вместе с тем и ошеломляющей новостью, событием. Я так сконфузилась и заволновалась, что не помню, как мы с Наталией Степановной вышли из тюрьмы и о чем говорили дорогой.

Вскоре Наталия Степановна уехала, я же, узнав о дне отправки эшелона ссыльных, пришла на вокзал с передачей[6]. К поезду никого из провожающих не пускали, и я передала чайник, кружку и провизию через «сочувствовавшего» железнодорожника.

Недели через две я получила от Александра Степановича письмо. В нем стояла многозначительная фраза: «Я хочу, чтобы вы стали для меня всем: матерью, сестрой и женой». И больше ничего, даже обратного адреса.

В начале июня наша семья переехала на дачу в Парголово. Оттуда я часто ездила в Петербург по делам «Креста», в библиотеку и по поручениям домашних. Как-то в жаркий день, набегавшись по городу, я поднималась по всегда безлюдной нашей парадной[7]. Завернув за последний марш, я с изумлением увидела: на площадке четвертого этажа, у самых наших дверей, сидит Гриневский! Худой, очень загорелый и веселый.

Вошли в квартиру, пили чай и что-то ели. Александр Степанович рассказал: прибыл на место ссылки, в Туринск, прожил там несколько дней. Напоил вместе с другими ссыльными исправника и клялся, что не убежит, а на другой день вместе с двумя анархистами сбежал. Шестьдесят верст ехали на лошадях, потом — по железной дороге. Паспорт у него фальшивый, нет ни денег, ни знакомств, ни заработка. Выходило, что одна

из причин этого рискованного бегства — я. Слушая рассказ Александра Степановича, я думала: «Вот и определилась моя судьба: она связана с жизнью этого человека. Разве можно оставить его теперь без поддержки? Ведь из-за меня он сделался нелегальным».

Позднее выяснилось, что фальшивый паспорт, с которым Гриневский приехал в Петербург, он получил еще по дороге в ссылку, в Тюмени, заранее решив, что из ссылки он сбежит. Паспорт достал ему его товарищ, Наум Яковлевич Быховский. Быховский был приговорен к ссылке в Восточную Сибирь, но Н. А. Гредескул, член Государственной думы, хлопотал о замене ему ссылки — высылкой за границу. Потому Быховский был временно задержан в Тюмени. Живя там, он часто ходил к пересыльной тюрьме встречать эшелоны ссыльных, посмотреть, не пришел ли кто-нибудь из знакомых. В одном из этапов он увидел Гриневского и спросил, не нуждается ли тот в чем-нибудь. Александр Степанович ответил:

— Принеси денег, паспорт и водки.

Наум Яковлевич доставил ему паспорт и двадцать пять рублей.

Двадцать пять рублей — деньги небольшие. Поездка на лошадях из Туринска до станции, большой конец по железной дороге и прожитие в это время «истощали» сумму, данную Быховским. Как перебиться дальше? По работе в подпольной организации Гриневский имел знакомства в Самаре и Саратове. Он побывал в обоих городах и в Саратове застал В. А. Аверкиеву. Она дала ему деньги и «явку», но не прямо в Петербург, как хотелось Александру Степановичу, а в Москву, к С. Слетову.

К тому времени хлопоты Н. А. Гредескула помогли Быховскому освободиться из ссылки; проездом за границу он остановился в Москве, и тут его вновь повстречал Александр Степанович[8]. Оба старшие товарища — Слетов и Быховский — отказались дать Гриневскому работу пропагандиста в Петербурге, хотя пропагандист он был талантливый; Слетов называл Александра Степановича «гасконцем», так как тот любил прибавлять к фактам небылицы, а в деле пропаганды и подпольной печати это было опасно. Но Быховский сказал Гриневскому, что партия нуждается в агитке для распространения в войсках. Гриневский ответил:

— Я вам напишу!

И действительно, вскоре принес свой первый рассказ-агитку «Заслуга рядового Пантелеева». С. Слетов был доволен рассказом, заплатил Александру Степановичу и предложил написать еще. Но Гриневский исчез, уехал в Петербург.

«Заслугу рядового Пантелеева» издало Донское издательство[9]. За эту брошюру были посажены в тюрьму и редактор, и выпускающий, и издатель, как потом рассказал мне Быховский, но никто не назвал подлинной фамилии автора.

По приезде в Петербург Александр Степанович написал вторую агитку — «Слон и Моська», которая тоже была принята каким-то издательством, каким — Александр Степанович не помнил[10], но рассказ света не увидел, так как при обыске в типографии полиция рассыпала набор.

Паспорт, которым снабдил его Быховский, казался Александру Степановичу ненадежным. Он сиял было комнату на Зверинской и попросил меня прийти к нему. Когда я пришла, вид у Гриневского был подавленный и испуганный. Ему казалось, что хозяйка подозрительно отнеслась к его паспорту и что за ним следят.

— Надо поскорее выметаться отсюда, помогите мне.

Пошел посмотреть, дома ли хозяйка. Ее не было. Поспешно собрали вещи: корзину, одеяло с подушками. Вместе потащили поклажу, выбежали на улицу, искали извозчика. На Зверинской извозчика не оказалось. Путь от Зверинской до Провиантской, где нашли извозчика, показался бесконечным. Отвезли вещи на вокзал, сдали на хранение, и Александр Степанович пошел искать себе другую комнату. По тому, как он благодарил меня за ничтожную помощь, которую я ему оказала, я поняла, как мало он видел к себе участия.

Подозрения Гриневского о слежке за ним оказались ложными. Он прожил в Петербурге с месяц без всяких неприятностей.

В половине июля отец дал мне денег для поездки в Крым с моей ближайшей подругой. Эта подруга, Н. М. Л—а[11], упоминается Александром Степановичем в некоторых рассказах, как моя сестра.

В это же время Александр Степанович уехал в Вятку, к своему отцу, Степану Евсеевичу Гриневскому. Сте-

пан Евсеевич служил в Вятке бухгалтером богоугодных заведений.

Во время пребывания Александра Степановича в Вятке там в больнице умер личный почетный гражданин Алексей Мальгинов; Степану Евсеевичу удалось достать паспорт умершего, и он передал его сыну. Это был настоящий и надежный паспорт. Алексею Мальгинову было лет тридцать пять — тридцать шесть, но никто за все четыре года, которые Гриневский прожил по этому паспорту, не заметил несоответствия между годами, обозначенными в паспорте, и возрастом его владельца. Александр Степанович выглядел в те годы много старше своих лет. Но зато позднее он мало менялся.

Когда я месяца через полтора вернулась в Петербург, Александр Степанович был уже там.

Суть наших отношений с Александром Степановичем в то время выражена им в рассказе «Сто верст по реке», написанном в 1912 году. Фабула изменена, чтобы заострить переживания героев *.

(...) В такую форму претворилось бегство Александра Степановича из ссылки, боязнь быть арестованным в Петербурге и наша встреча с ним на четвертом этаже. Рассказ оканчивается словами автора: «Они жили долго и умерли в один день». Это у Грина — формула верной до смерти любви. Казалось бы, что в рассказе «Сто верст по реке» изображена любовь цельная и счастливая, и, вероятно, немногие замечают, читая, странное окончание мечтаний Нока: «Гелли теперь дома... У нее хорошо, тепло. Там светлые комнаты: отец, сестра; лампа, книга, картина. Милая Гелли! Ты, может быть, думаешь обо мне. Она приглашала меня зайти. Дурак! Я сам буду там; я хочу быть там! Хочу тепла и света; страшно, нестерпимо хочу!.. Не вешай голову, Нок, приходи в город и отыщи ад...»

Еще только мечтая о полюбившейся ему девушке, еще только смутно надеясь найти около нее свет и тепло, Нок уже говорит себе: «приходи в город и отыщи ад». Как это объяснить? Только той глубочайшей двойственностью натуры Александра Степановича, которая

---

* Далее В. П. Калицкая подробно излагает рассказ. — *Прим. ред.*

нацело раскалывала его личность. Он одновременно искал семейной жизни, добивался ее и в то же время тяготился ею, когда она наступала. Одного из героев «Золотой цепи», Санди Пруэля, Грин называет «диким мустангом среди нервных павлинов». Таким «диким мустангом» был и сам Александр Степанович. Трудно понять, что было ему нужнее в те годы: уют и душевное тепло или ничем не обузданная свобода, позволяющая осуществлять каждую свою малейшую прихоть.

Через шесть лет, уже в 1912 году, Александр Степанович подарил мне хорошо иллюстрированное издание «Королевы Марго» А. Дюма. В ту зиму, как это часто бывало и до ссылки, мы периодически нуждались. В один из таких периодов пришлось снести букинисту и «Королеву Марго», но заглавный лист с автографом Александра Степановича я вырвала и сохранила. На нем было написано: «Милой моей Гелли, вдохновительнице, от сынишки и плутишки. Сашин».

ОТНОШЕНИЯ АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА С МОИМ ОТЦОМ

Отца своего [12], человека большого и оригинального ума, я всегда любила и высоко уважала. Но я долго не понимала его, путаясь в противоречиях его характера. Будучи чиновником, он работал много: и днем, на службе, и вечером — дома. Получал чины, ордена, звезды. И при этом был, как тогда говорили, — «крайним левым», то есть республиканцем и социалистом по убеждениям. Именно он сделал и меня «левой».

Отец презирал и осуждал «фразеров». Так называл он людей, любящих говорить громкие, многозначительные фразы, которые, однако, по мнению говоривших, ни к чему их не обязывали. Слова, мол, одно, а дело — совсем другое. И, как ни странно, отец был сам до некоторой степени фразером. Эту его черту характера я поняла рано, еще в отрочестве, и по большей части «фразы» отца совершенно не влияли на меня. Но одной из них я поверила и дорого поплатилась за это. Как-то отец сказал мне:

— Брак — пошлость. Хороша только свободная любовь. Надо жить и любить, как Жорж Занд.

Я приняла это мнение отца тем более горячо, что бабушка придерживалась совсем других взглядов.

Любви она не признавала совсем, на брак смотрела, как на сделку, а всех мужчин считала негодяями. Если бабушка смотрела так, то я «должна» была думать наоборот, как отец. Тем более что в данном случае слово и дело не расходились у отца: после смерти моей матери он жил со второй своей женой вне брака, даже не поселившись с ней вместе.

...Осенью 1906 года наша семья вернулась с дачи в город. Тут я сказала отцу, что у меня есть жених и что я хочу познакомить их друг с другом. В назначенный день пришел Александр Степанович, и я ввела его к отцу в кабинет. Отец велел мне уйти и проговорил с Александром Степановичем наедине минут двадцать. Гриневский вышел от отца смущенный и вскоре совсем ушел. Отец же позвал меня к себе и строго сказал:

— Что это ты выдумала? Связаться с беспаспортным, человеком без образования и без определенных занятий? Выкинь эту дурь из головы!

Отец рассчитывал, что его авторитетный тон повлияет на меня, как много раз бывало раньше, но тут он ошибся. Я любила, а потому слова отца не оказали на меня никакого действия.

Александр Степанович стал уговаривать меня поселиться с ним вместе, но мне это казалось невозможным. Я не решалась огорчить отца, а кроме того, приходилось думать и о материальной стороне. Никакой работы Александр Степанович не имел, писать только что начинал, печатался редко, а на такие случайные заработки жить было нельзя. Я осталась жить у отца, на его средства, а деньги, которые зарабатывала уроками *, отдавала Александру Степановичу. Так прошел год.

Александр Степанович очень нуждался в ласке, в нежности, но и сам был нежен. Как только он получал гонорар, дарил мне что-нибудь: красивую книгу, цветы, коробку конфет. Это трогало и создавало ощущение нежной и верной любви.

Летом 1907 года отец снял дачу в Озерках, на первом от Петербурга озере. У нас была купальня и лодка.

На дачу Александр Степанович никогда не приходил, но мы встречались так: я переезжала на лодке на другой берег озера, там меня ждал Александр Степанович.

---

* В 1904—1906 гг. В. П. Калицкая преподавала а Смоленских классах для рабочих. — *Прим. ред.*

Он садился на весла, и мы катались. Однажды во время катания он с увлечением декламировал мне стихи А. Блока: «По вечерам, над ресторанами...»

В течение 1906—1907 годов Александр Степанович постоянно настаивал на том, чтобы я переехала жить вместе с ним. Говорил: «Я буду надоедать тебе как попугай!»

Узнал, как будет по-французски «мы должны быть вместе», и постоянно, ломаным языком, твердил мне эту фразу.

Осенью 1907 года я поступила работать в лабораторию Геологического института, которая помещалась в Волховском переулке Васильевского острова. От Фурштадтской, где мы жили с отцом, до Волховского переулка — расстояние огромное, тем более что в те годы трамваев еще не было и ездить пришлось бы на конках, с пересадкой. И мы с Александром Степановичем решили снять квартиру неподалеку от моей работы, на 11-й линии Васильевского острова[13]. Бабушка, чрезвычайно чувствительная к общественному мнению, могла сказать родным и знакомым, что причина моего отъезда — поступление на службу.

Вскоре после переезда на Васильевский остров я написала отцу, что поселилась с тем самым Гриневским, с которым познакомила его в прошлом году. Теперь я понимаю, каким тяжелым ударом было это известие для отца, но в то время я считала себя вполне правой. Однако и мне пришлось нелегко. Отец ответил двумя письмами: мне и Александру Степановичу. Мне он написал, что я опозорила его, что я теперь отрезанный ломоть, что больше я не получу от него ни копейки. Связь моя, если о ней узнает бабушка, убьет ее, а потому никто не должен о ней знать, и я должна бывать в их доме неукоснительно, как было говорено при отъезде, два раза в неделю.

Письмо это глубоко разочаровало меня в отце. Где же Жорж Занд и свободная любовь? В чем я виновата? Разве я не поступала в согласии с убеждениями отца? Разве Александр Степанович не борец за идею, не революционер? Он два года просидел в тюрьме, в одиночке, потом вторично был в заключении пять месяцев и сослан в Сибирь. Разве была ошибка в том, что он бежал из ссылки? Да и бежал-то он из-за меня. Побег сделал его нелегальным, и только поэтому нам нельзя

было венчаться. И этим-то я опозорила себя и отца? Нет, так писать мог только какой-то благонамеренный мещанин, а не социалист по убеждениям! Я не могла примириться с таким расхождением между словами и делом отца и никакого раскаяния не изъявила.

Письмо отца Александру Степановичу было еще жестче. Отец в оскорбительных выражениях обвинял его в том, что он, заведомо зная, что не может жениться, увлек меня из расчета. Почерк отца я, конечно, знала, оба письма пришли вместе, оба попали в мои руки. Прочитав письмо, адресованное мне, я поняла, что в письме к Александру Степановичу ничего хорошего быть не может, и вскрыла его. А потом уничтожила. Так Александр Степанович никогда о нем и не узнал.

Отец довольно долго ждал ответа от Александра Степановича, потом, наконец, спросил:

— Что же «твой» ничего мне не отвечает?

— Я не дала ему твоего письма, уничтожила.

Отец был так поражен неожиданным поворотом дела, что только сказал:

— Ну иди!..

С тех пор он в течение трех лет не обмолвился и словом об Александре Степановиче и никогда не спросил, как мне живется. Я стала действительно отрезанным ломтем, как он и предсказывал.

КАК МЫ ЖИЛИ

Жизнь с Александром Степановичем показалась мне сначала идиллией. Утром я уходила в лабораторию, а в час возвращалась домой завтракать. Александр Степанович радостно встречал меня и даже приготовлял к моему приходу какую-нибудь еду. Потом я опять уходила в лабораторию, а по окончании моей работы мы шли куда-нибудь обедать.

Но идиллия очень скоро кончилась. Александр Степанович за год своего пребывания в Петербурге сошелся с литературной богемой. Это делало нашу жизнь трудной и постоянно выбивало из бюджета. Я была бесхозяйственна и непрактична, а Александр Степанович всякую попытку к экономии называл мещанством и сердито ей сопротивлялся.

Жизнь наша слагалась из таких периодов: получка, отдача долгов, выкуп заложенных вещей и покупка

самого необходимого. Если деньги получал Александр Степанович, он приходил домой с конфетами или цветами, но очень скоро, через час-полтора, исчезал, пропадал сутки или двое и возвращался домой больной, разбитый, без гроша. А питаться и платить за квартиру надо было. Если и мои деньги кончались, то приходилось закладывать ценные вещицы, подаренные мне отцом, и даже носильные вещи. Продали и золотую медаль — награду при окончании мною гимназии.

В периоды безденежья Александр Степанович впадал в тоску, не знал, чем себя занять, и делался раздражительным. Потом брал себя в руки и садился писать. Если тема не находилась, говорил шутя: «Надо принять слабительное». Это значило, что надо начитаться вдоволь таких книг, в которых можно было бы найти занимательную фабулу, нравящегося героя, описание местности или просто какую-нибудь мелочь, вроде звучного или эксцентричного имени; такие книги давали толчок воображению, вдохновляли и помогали ему найти героя или тему. В подобные периоды Александр Степанович не перечитывал прежде известных ему книг, но доставал приключенческую литературу, фантастические романы, читал А. Дюма, Эдгара По, Стивенсона и т. п.

В те годы, когда мы жили вместе, Александр Степанович был молод, мозг его был свеж, и писалось ему легко. В два-три приема рассказ бывал окончен. Александр Степанович читал мне его, диктовал для переписки набело. Наступали тихие, хорошие вечера.

В такие вечера я мучительно задумывалась над вопросом: да что же за человек Александр Степанович? Мне, в то время молодой и совсем не знавшей людей, нелегко было в нем разобраться. Его расколотость, несовместимость двух его ликов: человека частной жизни — Гриневского и писателя Грина била в глаза, невозможно было понять ее, примириться с ней. Эта загадка была мучительна, и однажды, слушая стихи Александра Степановича, я неожиданно расплакалась.

Грин удивленно спросил:

— Что это ты?

Я ответила:

— Очень трогательно у тебя сказано про снег:

Гнездя на острые углы
Пушистый свой ночлег.

Александр Степанович не стал допытываться правды. Никаких объяснений он не терпел, да их у нас никогда и не было.

Написанное произведение Грин сдавал в редакцию, получал деньги, а дальше повторялось всё прежнее.

К весне 1908 года такая жизнь утомила меня. Я была настолько наивна, что думала: «Вот поселюсь отдельно, скажу Александру Степановичу, что не вернусь... и он изменится». Я сняла комнату в том же доме, где жил и Александр Степанович. Прожила там до середины лета, а потом переехала на 9-ю линию, к чопорным и почтенным немкам.

Моя жизнь у строгих немок была, конечно, нарушением всех их понятий о порядочности. Ко мне, незамужней, ежедневно приходил молодой, плохо одетый мужчина; являлся он как раз в то время, когда я возвращалась со службы и мне подавали обед. Мы съедали этот обед дочиста. Это они еще терпели.

Но однажды осенней ночью 1908 года (в это время в Петербурге свирепствовала холера) терпению их пришел конец. В передней раздался сильнейший звонок. Испуганная хозяйка открыла дверь, постучала ко мне И крикнула:

— Это к вам!

В прихожей стоял Александр Степанович.

— У меня холера! Помоги!

Под руками у меня не было ничего, чем я могла бы помочь, да и тон, которым известила меня о приходе Грина хозяйка, показывал, что оставить его у меня нельзя. Мы пошли в аптеку, купили там все необходимое для компресса, каких-то капель, вина Сан-Рафаэль, считавшегося целебным для желудка. Дома у Александра Степановича я сделала ему компресс, уложила в постель, напоила чаем с вином. Холеры не оказалось, просто, как всегда, сыграла роль обычная мнительность Александра Степановича, но хозяйка квартиры заявила мне, что я должна немедленно выехать.

В первые шесть лет наша жизнь с Александром Степановичем держалась на его способности к подлинной большой нежности. Эта нежность не имела никакого отношения к страстности чувств, она была детская.

У меня появилось к Александру Степановичу материнское отношение. Это ему нравилось. Он любил чувствовать себя маленьким, играть в детскость. И это хорошо у него выходило, естественно, без натяжки.

Мне кажется, что подлинная, чисто человеческая нежность была одной из черт, которые перекидывали мост от Грина к Гриневскому.

Жизнь в 1909—1910 годах пошла несколько легче, чем в предыдущие. Я стала зарабатывать больше, Грин печатался чаще, я даже взяла себе напрокат пианино, что стоило десять рублей в месяц. Полегчало и душевно. Александр Степанович весь предыдущий год не давал мне покоя, настаивая на том, чтобы я опять поселилась с ним вместе. Он умел доказать, что ему необходимы забота и ласка. И мне самой хотелось того же. Поэтому осенью 1909 года я поселилась в тех же меблированных комнатах, на углу 6-й линии В. О. и набережной, где снял себе комнату и Александр Степанович. Однако уклад жизни не изменился. Грин по-прежнему пропадал из дома. Но дурные настроения стали появляться реже.

Зимой 1914/15 года, когда мы уже не жили вместе, а только, оставаясь друзьями, часто виделись, вышла в издательстве журнала «Отечество» книга Грина «Загадочные истории». К этому сборнику Александр Степанович написал посвящение [14], которое незачем пересказывать, так как оно напечатано. Но вокруг текста посвящения набросаны рукой Александра Степановича рисунки. Они вызывают вопросы читателей и некоторое недоумение. Два из них объяснимы просто: роза — любовь, перо — символ писательского искусства; но зачем птицы, улетающие далеко? Зачем плетка? Для кого она? Птицы, улетавшие далеко, — мы с Александром Степановичем в ссылке. А вот плетка, по мнению Грина, была, оказывается, необходима для него. Как-то, много лет спустя после того как мы разошлись, Александр Степанович пришел ко мне. Сидели за чаем. И говорилось, и молчалось легко. После одной из пауз Грин мягко сказал:

— А ведь ты, Верушка, не глупый человек!

Это было сказано с таким искренним удивлением, что обидеться было невозможно, и я только спросила:

— А почему ты раньше считал меня дурой?

Александр Степанович горячо ответил:

— Как ты могла спускать мне всё, что я вытворял! Ведь меня бить было надо или ну хоть щипать! А ты всё молчишь или плачешь. А я ведь толстокожий, это до меня не доходило. Ты неправильно вела себя, Верушка!

И я согласилась с ним. Грину нужна была очень сильная рука, а у меня такой руки не было.

ПЕРВЫЙ РАССКАЗ. ПЕРВАЯ КНИГА. «ОСТРОВ РЕНО»

Первый рассказ был написан Александром Степановичем осенью 1906 года и напечатан в утреннем выпуске «Биржевых ведомостей» в декабре того же года[15]. Он назывался «В Италию» и был подписан «А. А. М—въ». Но такая подпись не удовлетворяла Александра Степановича. Ведь Мальгинов — это была чужая, временная фамилия. Надо было придумать псевдоним. Толковали целый вечер и остановились на «А. С. Грине».

Сначала этот псевдоним нравился Александру Степановичу, но потом он испытал в нем разочарование. Оказалось, что изданы несколько переводных романов англичанки Грин, и первые годы, когда Александра Степановича еще мало знали, его путали с этой писательницей. Не помню, какие у нее были инициалы[16], но иные, чем у Александра Степановича. Чтобы подчеркнуть эту разницу, Александр Степанович представлялся: «А. эС. Грин», чем, вероятно, немало удивлял тех, кому представлялся.

За год литературной работы у Грина набрался целый сборник рассказов. В конце 1907 года он познакомился с издателем Котельниковым, владельцем книжной лавки «Наша жизнь». Котельников согласился выпустить книгу.

Книга под названием «Шапка-невидимка» вышла в начале 1908 года. Конечно, сборник можно было бы назвать по заглавию одного из рассказов, в него входивших, но Александр Степанович этого не захотел. Тогда я предложила:

— Ты — таинственная личность. Как автор — ты А. С. Грин, по паспорту Алексей Мальгинов, а на самом деле Александр Гриневский. Даже я не рискую называть тебя Сашей, а зову вымышленным именем.

Сама я тоже должна скрываться; вот и посвящение твое «Другу моему Вере», а не жене. Оба мы как будто под шапкой-невидимкой. Назовем так книгу.

Александр Степанович принял эту наивную выдумку без малейшего возражения.

Издатель Котельников скупился, не хотел тратиться на художника и предложил Грину нарисовать обложку самому.

У Александра Степановича в то время лежала дома какая-то толстенная книжища в черном переплете с золотым тиснением. Он перерисовал вытисненный на книге рисунок и отнес издателю. Рамку на обложке «Шапки-невидимки» издатель сделал темно-зеленой на бумаге светло-зеленого грязноватого цвета.

Вскоре после выхода книги Александр Степанович вернулся домой расстроенный и сказал с досадой:

— Говорят, что обложка «Шапки-невидимки» похожа на обертку для мыла.

И действительно, рисунок, вытисненный на переплете тонкими золотыми линиями, расплылся и погрубел, а тон обложки был неприятен.

И всё-таки выход первой книги нас очень радовал.

В апреле 1909 года в «Новом журнале для всех» был напечатан рассказ «Остров Рено», в котором Грин как бы заявил о своем желании и праве сделаться романтиком. Рассказ этот имел успех. С ним связано приятное воспоминание. Вскоре после выхода номера журнала с рассказом Александр Степанович зашел за мной в лабораторию, и, едва мы успели выйти на улицу, как он вытащил из кармана открытку и дал мне ее прочесть. Письмо было от Анатолия Каменского. В нем писатель восторженно отзывался об «Острове Рено». Радостна была и высокая оценка, высказанная Каменским, и ощущение доброты и справедливости, сквозившее в письме; далеко не всегда писатели так щедро оценивают друг друга.

НЕКОТОРЫЕ ЛЮБИМЫЕ ПИСАТЕЛИ АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЧА. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ

Читал Александр Степанович очень много и без системы, что попадалось под руку. Если начинал чувствовать, что автор ему не симпатичен, тотчас бросал книгу. Однажды на мой вопрос, кого из русских писателей он

любит больше других, Александр Степанович ответил не задумываясь:

— Гоголя, Пушкина, Толстого и для развлечения — Чехова [17].

Но разговор был мимолетный, в тему не углублялись.

Когда мы жили в Пинеге, Александр Степанович с увлечением перечитывал Лескова. Как-то получив письмо от одной своей родственницы, он передал его мне, предлагая прочесть, а на мой вопрос, каково письмо, ответил с легкой усмешкой:

— Ничего себе, «неглиже с отвагой» (выражение, как известно, Лескова).

Влияние Лескова чувствуется и в одном из маленьких рассказов, входящих в цикл «Наследство Пик-Мика», озаглавленном «Интермедия». Тема его — неразменный рубль. Под таким заглавием написан один из святочных рассказов Лескова. Но подход к теме совсем иной. У Лескова, как полагается по традиции, святочный рассказ кончается хорошо и проникнут гуманной идеей. Рассказ же Грина имеет демонический характер.

В уста Гинча, героя рассказа «Приключения Гинча», Александр Степанович нередко вкладывает свои собственные мысли. Вот как говорит Гинч о своих попытках написать рассказ: «Понемногу я сочинил сюжет на тему прекрасных жизненных достижений, преимущественно любви, вывел заглавие — «Голубой меч» — и остановился. Тысячи фраз осаждали голову. «И не оттого что... И не потому... а от того... и потому...» — слышались мне толковые удары по голове толстовской дубинки. Чудесная, как художественная литая бронза, презрительная речь поэта обожгла меня ритмическими созвучиями. Брызнула огненная струя Гюго; интимная, улыбающаяся, чистая и сильная, как рука рыцаря, фраза Мопассана; взъерошенная — Достоевского; величественная — Тургенева; певучая — Флобера; задыхающаяся — Успенского; мудрая и скупая — Киплинга. Хор множества голосов наполнил меня унынием и тревогой. Я тоже хотел говорить своим языком. Я обдумал несколько фраз, ломая им руки и ноги, чтобы уже во всяком случае не подражать никому».

Из этой цитаты хорошо видно, как внимательно читал Александр Степанович, как тонко разбирался в прочитанном.

Проследить, кто именно из иностранных писателей имел на Грина наибольшее влияние, я не берусь. Знаю, что любил он Брет-Гарта, Диккенса, Киплинга, Конрада, Дюма, Сю, Сервантеса, Доде, Свифта... Но ведь я помимо них Александр Степанович перечитал много томов «Вестника иностранной литературы» и отдельных, в разное время переведенных, неизвестных мне авторов. Упомяну только о тех писателях, о влиянии которых на Александра Степановича имею некоторое право судить.

В первый год нашей совместной жизни Александр Степанович подарил мне томик Эдгара По и сказал:

— Вот гениальный писатель!

Много лет спустя я спросила Александра Степановича, по-прежнему ли он любит Эдгара По. Он ответил несколько снисходительным тоном:

— Да, конечно, хороший писатель.

Стивенсон оставил след в романе Александра Степановича «Дорога никуда». Юноша Тиррей Давенант, которого с большой любовью выводит в этом романе Грин, во второй его части становится содержателем гостиницы. Почему Александр Степанович выбрал для милого его сердцу героя такую профессию? При том богатстве фантазии, каковою был одарен Грин, он легко мог придумать для Давенанта другое занятие, которое не помешало бы развитию сюжета (столкновение с Ван-Конетом). Думаю, что Давенант делается хозяином гостиницы потому, что Грину был мил сын содержателя таверны из романа Стивенсона. Грэй — имя одного из второстепенных персонажей «Острова сокровищ» стало именем главного героя феерии «Алые паруса», именем «Эспаньолы» названо суденышко в «Золотой цепи»[18].

После разгрома II Государственной думы (3 июля 1907 года) начались годы так называемой столыпинской реакции. Участились аресты, ссылки, казни, крайне левые партии снова ушли в подполье, в обществе же наступило разочарование в политической деятельности, подавленность и апатия.

Политическая реакция сказывалась во всех областях общественной жизни, в том числе и в литературе. Отразилась она и на творчестве Александра Степановича. К упадочному настроению, которое переживало тогда

всё русское общество, у него присоединилась еще очень большая нервная усталость. Ведь он сначала просидел два года в севастопольской тюрьме, потом месяцев пять в Петербурге, был сослан, бежал и четыре года жил нелегально, что, конечно, тоже трепало нервы.

В первые годы своего писательства Грин был полон впечатлений, накопившихся от революционной деятельности, и писал на темы из жизни подпольщиков. Такими рассказами полна его первая книга «Шапка-невидимка». Но этот материал иссяк, а тем временем политическая реакция сказалась и на литературе.

В те годы, когда нарастало революционное движение, у читателей пользовались огромным успехом писатели-реалисты, группировавшиеся вокруг журналов левого направления — «Мир божий» [19], «Русское богатство» — или же сотрудничавшие в сборниках издательства «Знание», которое возглавлял М. Горький. В них писали, кроме самого Горького, Скиталец, Бунин, Чириков, Серафимович, Телешов, Юшкевич и другие. Но в годы реакции вошли в моду писатели, уводившие читателей от общественной жизни в мир эстетики, эротики, мистики и фантастики. Ни эротика, ни мистика, ни эстетика не увлекли Александра Степановича. Его пленяли фантастика и романтизм.

«АВИАЦИОННАЯ НЕДЕЛЯ»

В апреле 1910 года в газетах появилось объявление, в котором Всероссийский авиационный комитет извещал население о том, что на Коломяжском ипподроме с 25 апреля по 2 мая состоится «авиационная неделя». Еще сообщалось, что в состязании должны участвовать первоклассные авиаторы: Попов (Россия), Христианс (Бельгия), Эдмонд (Швейцария), баронесса де Ларош (Франция), Винцирс (Германия) и Моран (Франция). Внизу объявления мелким шрифтом стояло: «С.-Петербургский авиационный комитет покорнейше просит почтенную публику, ввиду огромного стечения экипажей в дни полетов, приезжать на Коломяжский ипподром заблаговременно, чтобы не опоздать к началу состязаний».

Трудно представить себе ту степень восторга, какую испытывали петербуржцы в эту первую «авиационную неделю». Летное дело у нас только что зарождалось, и все мы, за небольшими исключениями, впервые видели

монопланы и бипланы, реющие в воздухе. Удивительно вспомнить, как поразила тогда высота четыреста пятьдесят метров, набранная Мораном. В газетах писали, что ведь это — высота Эйфелевой башни[20]. На подобную высоту могли подниматься только такие удальцы, как Моран и Попов, а Христианс, хотя и поднимался до четырехсот метров, однако предпочитал зарабатывать призы на длительность полета, кружась над ипподромом на высоте пятнадцать—двадцать метров.

Когда авиатор начинал набирать высоту, публика аплодировала, махала платками, кричала... Общее чувство радостного возбуждения охватывало всех; военных и штатских, дам, чиновников, рабочих, студентов и уличных мальчишек, громоздившихся на заборах и деревьях. Толпа заливала не только ипподром и все поля вокруг него, но даже Каменноостровский проспект (ныне Кировский). Трамваи были невероятно переполнены, большинство зрителей валило на ипподром пешком, но ничто не портило радостного настроения.

Ипподром был плохо приспособлен для разбега аэропланов, авиаторы ссорились между собой. Попов в течение недели поломал два «райта», поломалась и «антуанетт», на которой летал Винцерс. Моран попал в струю воздуха от биплана Эдмонда и упал, ранив нескольких зрителей, де Ларош совсем не летала, — но всё это принималось как неизбежное в новом, малоизученном деле и никому в вину не ставилось. Зато когда в первый раз поднялся «летун» Попов и начал описывать круги над аэродромом — оркестр заиграл гимн, а когда публика пришла в восторг от всё увеличивающегося числа кругов, торжественно зазвучали военные фанфары.

Христианса и Эдмонда, не желавших рисковать и методически зарабатывающих свои призы на небольшой высоте, публика с мягкой усмешкой называла «извозчиками». Про Морана с одобрением рассказывали, что он — ученик Блерио, который называл его «осужденным на смерть» за беззаветную смелость. Когда Попов разбил свой аппарат, то открыли подписку на сооружение для него новой машины и в первые несколько минут подписки собрали тысячу триста пять рублей.

Я была на ипподроме два раза. Полеты казались мне грандиозным и захватывающим зрелищем.

Совсем иначе воспринял их Александр Степанович. Всю «неделю авиации» он был мрачен и много пропадал из дому. Когда я с восхищением заговорила о полетах, он сердито ответил, что все эти восторги нелепы: летательные аппараты тяжеловесны и безобразны, а летчики — те же шоферы. Я возразила, что авиатор должен быть отважным, а мужества нельзя не ценить. Грин ответил, что и шофер, развивая большую скорость в людном городе, тоже немало рискует. Потом он написал рассказ «Состязания в Лиссе»[21]. В этом рассказе человек, одаренный сверхъестественной способностью летать без всяких приспособлений, вступает в состязание с авиатором, появляется перед ним в воздухе, мешает ему и приводит в состояние паники и растерянности. Авиатор гибнет.

Прослушав этот рассказ, я сказала, что полет человека без аппарата ничем не доказывается, ничем не объясняется, а потому ему не веришь.

Александр Степанович вообще не выкосил замечаний, а тут особенно резко ответил:

— Я хочу, чтобы мой герой летал так, как мы все летали в детстве во сне, и он будет летать![22]

Между тем Грин прекрасно понимал, что и фантастические рассказы обязаны иметь свою, пусть условную, но неотразимую убедительность. Это видно из слов Аммона Кута («Искатель приключений»), когда он описывает виденную им на выставке картину: «...меня пленила небольшая картина Алара «Дракон, занозивший лапу». Заноза, и усилия, которые делает дракон, валяясь на спине, как собака, чтобы удалить из раненого места кусок щепки, — действуют убедительно. Невозможно, смотря на эту картину из быта драконов, сомневаться в их существовании».

Однако этой убедительности в «Состязании в Лиссе» не было. Тема не была еще выношена. Но она очень занимала Александра Степановича, и он через тринадцать лет блестяще овладел ею. Ведь те страницы в начале «Блистающего мира», где герой романа Друд приводит в ужас весь цирк, поднявшись без всяких приспособлений в воздух, действительно убеждают, что такой полет возможен. Они настолько приводят в восторг и заставляют волноваться, что становится почти ненужным объяснение, которое дает Друд директору цирка на вопрос, как это он умудряется летать без аппарата: «Об этом

я знаю не больше вашего, вероятно, не больше того, что знают некоторые сочинители о своих сюжетах и темах: они *являются.* Так *это* является у меня».

СВАДЬБА

По паспорту на имя Мальгинова Грин прожил в Петербурге до конца августа 1910 года[23]. Летом этого года отец дал мне денег на поездку в Кисловодск, полечить сердце. Я пробыла там недель пять. С Александром Степановичем мы деятельно переписывались. Его последнее письмо я получила дня за два до отъезда.

Вернувшись в Петербург и подъехав к дому, я оставила вещи на пролетке и пошла за дворником. Обычно приветливый и разговорчивый, дворник взглянул на меня исподлобья, молча пошел за вещами и молча втащил наверх. Кухарка, открывшая дверь, тотчас метнулась к хозяйке. Я подошла к двери комнаты Александра Степановича, она оказалась запертой; на стук никто не ответил. Вышла хозяйка меблированных комнат и объяснила мне, что три дня назад Александр Степанович арестован. До этого он дня два не был дома. Агенты охранного отделения посадили дворников в засаду, а сами дежурили на дворе. Когда Грин вошел на лестницу, дворники схватили его. Вместе с агентами охранки поднялись наверх. Сделали обыск, но ничего незаконного не нашли. Александра Степановича увезли неведомо куда.

Рассказ этот ошеломил меня. Теперь, много лет спустя, трудно понять легкомыслие, которое владело в одинаковой мере и Александром Степановичем и мной в те четыре года, которые он прожил по чужому паспорту. У нас за все эти годы не было ни одного разговора насчет его возможного ареста и новой ссылки.

Мы никогда ни о чем не уславливались, никогда не обсуждали, чт*о* каждый из нас должен сделать в случае катастрофы. Думаю, что тут имело значение не только наше легкомыслие, но и то глубокое доверие, которое мы бессознательно питали друг к другу. Я не сомневалась, что он на мне женится, а он — что я пойду за ним в ссылку.

Хозяйка меблированных комнат сказала, что и обо мне спрашивали, что, мол, и за мной придут. На какое-то время я поддалась панике. Уничтожила все письма,

среди которых было много писем отца и Александра Степановича. Потом об этом горько жалела.

Успокоившись, я стала думать о том, как разыскать Александра Степановича. В «Кресте» я имела дело только с арестованными, места заключения которых были уже известны их родственникам и знакомым. Мне не приходилось их разыскивать. Как это делается, я не знала. С кем посоветоваться?

Я поехала к Ольге Эммануиловне, внучке П. Лаврова, писательнице, печатавшейся под псевдонимом «О. Миртов».

Ольга Эммануиловна и ее муж отнеслись ко мне мягко и доброжелательно. Меня обласкали и утешили, а Ольга Эммануиловна посоветовала:

— Наймите извозчика, оденьтесь получше и поезжайте в охранное отделение. У ворот подайте свою визитную карточку и попросите, чтобы вас принял дежурный офицер. Не беда, если приедете в неприемный день, дежурный офицер там всегда есть.

На другой день я так и сделала. Дежурный у ворот взял мою карточку, исчез с ней, потом вернулся и велел идти следом. Вошли во двор, спустились в подвал, прошли через ряд совсем темных помещений, потом вышли на широкую светлую лестницу и поднялись во второй этаж. Из приемной, через дверь, которой я не заметила сначала, так хорошо она была замаскирована, вошли в комнату дежурного офицера. Офицер сказал, что Мальгинов сразу открылся, объяснил, что бежал из ссылки, и подал прошение о разрешении венчаться со мной, В. П. Абрамовой. Находится же он в Доме предварительного заключения.

На другой день я сделала Александру Степановичу передачу, и, таким образом, он понял, что я вернулась и нашла его.

Отец в то время был на курорте. Его фактическая жена, Екатерина Ивановна Керская, написала ему о нас. Вскоре он вернулся в Петербург. Первый заговорил о Грине, первый предложил брать у него денег, сколько понадобится. Деньги были чрезвычайно нужны, и я брала их у отца много.

Александра Степановича перевели из Дома предварительного заключения в арестный дом при Спасской части. Здесь режим был легкий. Позволялось доставлять заключенным обед из ресторана. Когда выяснилось, что

Александр Степанович приговорен к ссылке в Архангельскую губернию, понадобилось купить ему меховое полупальто, меховую шапку, шерстяные носки и т. д. Готовились к венчанию, а у Александра Степановича, кроме плохонькой пиджачной тройки, ничего не было. В арестный дом пришел портной и снял с него мерку.

Между тем с венчанием дело не двигалось. Происходило что-то непонятное. Никто прямо не отказывал, все обещали дать разрешение на венчание, но один пересылал к другому: жандармское управление отвечало, что дело застряло в градоначальстве, а в градоначальстве говорили, что тормозит охранка, охранка же ссылалась на жандармское управление. Приемные дни во всех этих учреждениях были разные, так что каждый день приходилось где-нибудь дежурить, а очереди везде были большие.

После одного из моих свиданий с Александром Степановичем смотритель арестного дома пригласил меня к себе в служебный кабинет и сказал:

— Вашего жениха, барышня, скоро вышлют, как это вы не можете добиться венчания?

Эти слова задели меня, и я с жаром рассказала, как я делаю всё, что возможно, но ничего не выходит. Смотритель внимательно выслушал меня, подумал и сказал:

— А вы вот что сделайте. Пойдите к полковнику Х.[24], он служит в градоначальстве и состоит ктитором церкви градоначальства. Он любитель церковного пения, а певчие всё больше барышни из адресного стола. (Адресный стол помещался тогда в доме при Спасской части.) Полковник часто у нас бывает, меня хорошо знает: от моего имени и пойдите.

Смотритель дал мне адрес полковника, и я пошла.

Полковник Х., когда я вошла к нему, официально спросил:

— Чем могу служить?

— Пожалуйста, выдайте меня замуж.

— Что-о-о? Садитесь и расскажите.

Я рассказала, что вот уже больше двух месяцев бесплодно добиваюсь разрешения на венчание. Объяснила, почему венчаться в Петербурге для меня так важно.

Полковник ответил:

— Хорошо, приходите ко мне послезавтра, не в приемные часы, а попозже. С Адмиралтейского будет за-

перто, так вы идите с Гороховой и скажите, что я назначил вам прийти, вас пропустят.

Когда я пришла в назначенное время, полковник сказал:

— Ну и нагорело же мне от градоначальства за вас!

— Не разрешил?!

— Венчаться-то разрешил, да я просил, чтобы вам позволили устроить в зале, соседнем с церковью, поздравление с шампанским, а градоначальник закричал: «Это еще что? Чтобы они тут еще кабак устроили!»

Я поблагодарила этого доброго человека за помощь и объяснила, что не могу позвать своих родных на свадьбу с арестантом и что поэтому зал для поздравления не нужен. Полковник сказал, чтобы я пошла к священнику церкви градоначальства и сговорилась бы с ним о венчании, а после свадьбы он, полковник, даст мне письмо к своему знакомому вице-губернатору Архангельской губернии.

Священник назначил венчанье дней через восемь—десять в воскресенье, после обедни. Наконец-то я могла сказать и отцу, и Александру Степановичу, что венчанье разрешено!

Когда я опять пришла в арестный дом и поблагодарила смотрителя за совет, он ответил:

— А знаете, почему полковник принял в вас участие? Потому что несколько лет назад его дочь сбежала за границу с политическим эмигрантом.

Один несчастный отец пожалел другого.

Для девушек моего поколения свадебный ритуал был крупным жизненным событием. К нему следовало приготовиться. Я сшила себе хоть и скромное, но белое платье, а в день венчанья пригласила парикмахера причесать меня и прикрепить фату с флердоранжем. Заранее заказала две кареты: одна приехала за мной, другая — в арестный дом, за Александром Степановичем. Со мной ехала тетушка и один из шаферов. Александра Степановича привезли под слабым конвоем; с ним в карете ехал помощник начальника арестного дома, а на козлах — городовой. В церковь пришли еще шафер и две сестры Александра Степановича: Наталия Степановна и младшая сестра — Екатерина Степановна, приезжавшая тогда погостить к старшей. Однако, несмотря

на малое количество званых, церковь была наполовину заполнена незнакомыми штатскими; они же стояли по обеим сторонам лестницы, ведущей на второй этаж, в церковь.

Неловко было проходить мимо этих, в упор смотревших на нас людей. Так же пристально рассматривали нас и барышни-певчие, стоявшие на клиросе. А мы, на беду, шагу ступить не умели, всё делали невпопад или по подсказке. У нас не было атласного полотенца, которое стелется под ноги венчающимся; кто-то, сердобольный, принес вместо него обычное. Требовалось иметь четырех шаферов, так как во время венчания трудно держать тяжелые венцы, а у нас было только два шафера; кто-то из агентов сменил усталых шаферов. У меня от волнения лопнула нижняя губа, и я очень конфузилась оттого, что на ней то и дело выступала капелька крови... Наконец обряд кончился. Повели расписываться и что-то объяснили насчет паспортов, торопили с получением новых. Затем Александру Степановичу следовало вести меня вниз под руку, а мы пошли порознь, да еще Александр Степанович громко сказал:

— Ну вот, ты теперь моя законная жена, и я могу, если ты убежишь, вернуть тебя по этапу.

Сели каждый в свою карету и поехали в разные стороны.

Через несколько дней после венчанья Александра Степановича перевели в пересыльную тюрьму. Был назначен день ссылки.

Я еще раз пошла к полковнику Х. Поблагодарила его за услугу. Полковник дал мне письмо к вице-губернатору Архангельской губернии и сказал, чтобы я написала ему о том, куда вышлет нас губернатор.

Перед высылкой следовало пойти на свидание к Александру Степановичу, чтобы узнать, что ему надо на дорогу. На это свидание пошел со мной, чтобы проститься с Грином, Алексей Павлович Чапыгин. Начальник пересыльной тюрьмы, бывший чрезвычайно любезным с посетителями Дома предварительного заключения, где он был помощником начальника тюрьмы в 1906 году, теперь не отвечал спрашивавшим, а обрывал их, не говорил, а рычал. Слышно было, как он в коридоре орал на надзирателей. Мне он свидание разрешил, но Алексею Павловичу отказал.

На свидании Александр Степанович сказал мне,

чтобы я пошла к С. А. Венгерову в литературный фонд и подала прошение о пособии по случаю высылки. Я сказала, что в этом нет надобности, так как отец дает денег сколько надо, но Александру Степановичу хотелось иметь свои деньги, и он настаивал, чтобы я пошла. Я так и сделала.

Приняв от меня заявление, Венгеров вышел в соседнюю комнату и стал с кем-то говорить по телефону. Спрашивал, давать ли пособие Грину, объясняя, что за пособием пришла жена. Выслушал какой-то ответ и сказал:

— Но *эта* утверждает, что они обвенчались и что она едет с ним в ссылку.

С. А. Венгеров вышел ко мне и сказал, что мне выдадут двадцать пять рублей.

Слышанный разговор меня обидел. Весь его тон был недоброжелательный по отношению к Александру Степановичу. А потом — что за слова: *«эта* утверждает». Разве могли быть у Грина другие жены? Я так верила, что Александр Степанович меня любит, что ни слова не сказала ему об этом разговоре.

Как-то Н. Я. Быховский рассказал мне о другом эпизоде, связанном с С. А. Венгеровым. На каком-то литературном вечере Венгеров подошел к Науму Яковлевичу и спросил, указывая на Грина:

— Вы, кажется, хорошо знакомы с Грином? Он подал заявление о своем желании вступить в члены литературного фонда. Но говорят, что он беглый каторжанин, что он убил свою первую жену, а потом — английского капитана, у которого украл чемодан с рукописями; теперь он их переводит и выдает за свои произведения. Мы в большом затруднении — можно ли принять его в литературный фонд?

Н. Я. Быховский уверил Венгерова, что Грин сидел в тюрьме только по политическому делу, ни одного иностранного языка не знает и пишет свои рассказы самостоятельно. После этого Александр Степанович был принят в литературный фонд.

Этот горький анекдот нашел свое место в повести Грина «Приключения Гинча». Повесть начинается словами: «Я должен оговориться. У меня не было никакой охоты заводить новые случайные знакомства после того, как один из подобранных мною на улице санкюлотов сделался беллетристом, открыл мне свои благодарные

объятия, а затем сообщил по секрету некоторым нашим общим знакомым, что я убил английского капитана (не помню, с какого корабля) и украл у него чемодан с рукописями. Никто не мог бы поверить этому. Он сам не верил себе, но в один несчастный для меня день ему пришла в голову мысль придать этой истории некоторое правдоподобие, убедив слушателей, что между Галичем и Костромой я зарезал почтенного старика, воспользовавшись только двугривенным, а в заключение бежал с каторги».

Разница между этим грустным рассказом и версией, которую мне передал Н. Я. Быховский, только в том, что автор «Приключений Гинча» говорит об убитом старике, а в литературном фонде говорилось об убитой несуществовавшей первой жене.

В первых числах ноября[25] 1910 года Александр Степанович в арестантском вагоне был выслан в Архангельск. С тем же поездом, в классном вагоне, выехала и я.

ДВА ГОДА В ССЫЛКЕ

В Петербурге в день нашего отъезда моросил дождь, было облачно и грязно, а через двое суток[26], в Архангельске, — глубокая, морозная, солнечная зима.

Я остановилась в номерах, переночевала, а на другое утро пошла на прием к вице-губернатору А. Г. Шидловскому. Прочтя письмо полковника Х., вице-губернатор сказал, что выпустит на днях Александра Степановича из тюрьмы и отдаст мне на поруки.

— Вы за него отвечаете, смотрите, чтобы не убежал, — пошутил он.

И добавил, чтобы я пошла в канцелярию, где мне дадут подорожные не только на меня, но и на Александра Степановича. А ехать мы должны в Пинегу[27] за двести километров от Архангельска.

Это было очень милостиво, но я поняла степень поблажки только потом, от ссыльных, которые объявили мне, что нас могли заслать гораздо дальше.

Дня через два[28] выпустили из тюрьмы Александра Степановича. Он пришел в возбужденном, суетливом состоянии. Кинулись покупать недостававшие вещи: валенки, башлыки и кое-что для хозяйства. А через день выехали из Архангельска на паре низкорослых почтовых лошадей.

На дно возка уложили чемоданы, корзины, портпледы, поверх них настлали слой сена, а на сено положили тонкое одеяло (вместо простыни) и подушки. Мы легли, а ямщик накрыл нас сначала одеялами, а потом — меховой полостью. В начале перегона хотелось смотреть и разговаривать, а потом глаза начинали слипаться от ровного потряхивания на ухабах, безлюдья и монотонного позвякивания колокольчика. Дремали. Проехав верст пятнадцать, начали зябнуть, пальцы на ногах и руках ныли, пробуждались и посматривали — не видно ли деревни? Наконец достигли почтовой станции, с радостью вылезли из-под всех покрышек и пошли в станционную избу. Там всегда жарко натоплено и можно заказать самовар. Еды на станциях не бывало; надо было или везти ее с собой, о чем мы не знали, или искать по деревне. Напившись чаю, отогревшись и дождавшись лошадей, поехали дальше.

Первую ночь мы провели во втором этаже станционной избы, в большой, хорошо обставленной комнате, принадлежавшей хозяевам. Хозяин повел нас в нее после того, как Александр Степанович предложил заплатить за ночлег.

— Рублевку дадите?

— Дам.

— Ступайте за мной, наверх. Хороших людей отчего не пустить, вот ссыльных — тех не пускаю.

Мы промолчали.

Большая дорога из Архангельска в Пинегу зимой так узка, что разъехаться на ней двум саням невозможно. Поэтому легковой извозчик был обязан сворачивать в снег, уступая дорогу тяжело груженному возу. На второй день путешествия ямщик сказал нам:

— Обоз идет, вылезайте!

Стоял тридцатиградусный мороз, и вылезать из-под одеял не хотелось, но пришлось. Пошли по снегу, проваливаясь по колено. Ямщик вел лошадей по самому краю дороги, так что возок, накренясь, чуть не опрокидывался. Проехал обоз, наши лошади вышли на дорогу, возок выровнялся, мы снова залегли и закутались. Спросили ямщика, почему он лепился так неудобно, по самому краешку? Он ответил, что снега так глубоки, что если бы лошадь провалилась даже в двух-трех шагах от дороги, она погибла бы от изнурения.

Александр Степанович больше никогда не путешествовал зимой на перекладных[28], он вернулся в августе 1911 года в Архангельск на пароходе. Однако зимой 1913 года он при мне рассказывал с увлечением, как в Архангельской губернии, на его глазах, погибла от непомерных усилий лошадь, попавшая в глубокий снег. Потом, наедине, я попробовала убедить его, что такого случая при нас не было, а был только рассказ ямщика, но Грин сердился и уверял, что лошадь погибла при нем.

Когда мы на второй день путешествия, к ночи, приехали в станционную избу, она оказалась переполненной. Смотритель посоветовал нам искать ночлега в деревне. Мы постучались в какой-то дом и попросились на ночь. Старик хозяин спросил Александра Степановича:

— А чем вы занимаетесь?

— Торгую помаленьку.

— Что торгуете-то?

— Железом.

— Ну, железом торговать — дело не маленькое, а лавка-то где?

— В Петербурге, на Песках.

— Ну что же, ночуйте, хозяйка самовар поставит.

На третий день[30] путешествия, к вечеру, мы приехали в Пинегу.

В 1910 году Пинега хоть и называлась уездным городом, однако больше походила на село. Главная улица, растянувшаяся километра на два вдоль большой дороги, вторая, более короткая, параллельная первой, и несколько широких переулков, соединяющих первую улицу со второй и с берегом реки, где тоже лепятся домики, — вот и весь город. Посреди города площадь и на ней — церковь; подальше еще базарная площадь, больница, почта и несколько лавок.

Скрывать свое социальное положение в Пинеге было бессмысленно. Сразу сказали хозяйке станционной избы, что мы ссыльные, и спросили, где есть свободная квартира. Она ответила, что в городе вряд ли найдется свободное помещение, но что, вероятно, мы найдем квартиру на Великом дворе, где постоянно селятся ссыльные.

На другое утро мы пошли на Великий двор. По дороге рассуждали: вероятно, Великий двор — огромное бревенчатое здание, выстроенное четырехугольником. Посреди него — двор. Что-то вроде фаланстеры, в которой живут ссыльные. Прошли город до конца и свернули

вправо, в овраг, как учила нас хозяйка станционной избы. Прошли по дну оврага и, выбравшись на противоположную его сторону, оказались на высоком берегу реки Пинеги. Тут высилось несколько бревенчатых больших двухэтажных домов обычной северной постройки. Каждый из этих домов состоял из четырех хозяйств: две избы и два больших крытых двора внизу и две избы и два двора наверху. Каждое хозяйство вполне изолировано от другого, а сложены они все вместе для тепла, чтобы меньше продувало. Постройки просторные. Изба состоит из большой кухни с огромной русской печью и чистой половины, а эта в свою очередь из двух комнат: в одно окно и в два. На крытом дворе большие запасы сена и соломы для скотины, хлева, склад саней, сбруи, сельскохозяйственных орудий.

Мы сняли избу во втором этаже, в правой половине дома. Левую верхнюю избу снимали тоже ссыльные: Н. А. Кулик с женой.

Перевезли вещи на новую квартиру, накупили посуды, провизии и стали устраиваться. Но тут Александр Степанович усадил меня на стул и сказал:

— Сиди, отдыхай, ты набегалась из-за меня в Петербурге, теперь я буду работать! — И, гремя, задевая за все углы, роняя то одно, то другое, начал развязывать корзины, распаковывать посуду, расставлять и раскладывать всё по местам. Было очень томительно сидеть ничего не делая и наблюдать бурную, но неумелую деятельность Александра Степановича.

Я хотела хоть растопить печь и постряпать, но услыхала грозное:

— Сиди, я сам!

Затопил печь, вымыл мясо и спросил:

— Что еще кладут в суп?

— Соль, перец и лавровый лист.

— Есть!

Когда мы сели обедать, Александр Степанович вынул ухватом горшок с супом из печи и понес в комнату, но задел за косяк и опрокинул горшок. На дне крупного черепка осталось немного супу, мы его попробовали и не пожалели, что суп разлился, — есть его всё равно было бы нельзя: Александр Степанович положил «горсточку» перцу, и бульон обжигал рот.

После раннего обеда я придумала выход из своего скучного положения: пошла в город и купила мадапо-

ламу на шторы и тюля на занавески. Шить Александр Степанович не умел и потому не мешал мне заниматься этой работой. На другой день вся суматоха кончилась, и мы зажили хорошо.

Дни стояли короткие: мы вставали около девяти часов, когда солнце выплывало из-за горизонта (окна комнат выходили на восток). В два часа дня солнце закатывалось, а в три — наступала глубокая, звездная ночь. Безоблачных дней было много, на солнце искрились глубокие, чистые снега. Иногда, в большие морозы, играло северное сияние. Я не успела привыкнуть к нему за время ссылки, оно каждый раз волновало меня, казалось таинственным и торжественным. Обычно сияние бывало неяркое: по небу бродили, переливались и бесконечно изменялись голубые или розоватые столбы света; они были так высоки, что благодаря им ощущалась глубина небесного пространства. Впрочем, удовольствие это повторялось не часто.

Н. А. Кулик сказал нам, что в Пинеге есть Народный дом и при нем — библиотека. Несмотря на то что наше представление о Великом дворе оказалось неверным, мы все-таки, идя в Народный дом, опять размечтались. Вот, мол, придем в большое, красивое, ярко освещенное здание, там людно, гремит музыка. А нашли в глухом переулке одноэтажный бревенчатый дом в глубине большого, занесенного снегом двора. Войдя в него, оказались в большой комнате; по рядам аккуратно расставленных стульев догадались, что это — зрительный зал. Он был едва освещен светом, падавшим из комнаты слева. Эта комната была небольшая; в ней находились две стойки, как в трактире. На короткой стоял кипящий самовар и набор стаканов; на длинной — закуска: селедки, баранки, леденцы и... граммофон. Буфетчик объяснил, что граммофоном можно пользоваться: поставить пластинку стоило копейку. Мы перепробовали множество пластинок. Буфетчик, вероятно, экономил иголки, пластинки шипели и скрежетали.

За буфетом была третья небольшая комната — библиотека. Она-то и спасала Александра Степановича от тоски. Читал Грин очень много. Подбор книг в библиотеке был случайный, так как бо́льшая часть их была пожертвована разными людьми. Были кое-кто из классиков, полные и неполные комплекты толстых журналов и много переводной литературы. Вообще малоподвижный, Алек-

сандр Степанович редко выходил из дому без надобности, прогулок не признавал, но в библиотеку ходил довольно часто. Позднее, когда мы ближе познакомились со ссыльными, стали получать книги от них, меняться. Между прочим, большим успехом у ссыльных и вообще у пинежан пользовался журнал «Пробуждение», который мы в Петербурге считали вульгарным и незначительным. В Пинеге же подписчики «Пробуждения» и их знакомые с нетерпением ожидали выхода очередного номера; нравились иллюстрации в красках и приложения.

В Пинеге произошла наша первая настоящая ссора с Александром Степановичем. Как правило, Грин обособлялся от людей; мы были знакомы с Н. А. Вознесенской, с К. Новиковым, со Студенцовым, Шкапиным и другими, но виделись с ними редко. Когда я спрашивала Александра Степановича, отчего он так избегает людей, он отвечал: «Пойдут сплетни и свары». Но однажды, уйдя после обеда, Александр Степанович вернулся домой часов в шесть. Его затащила к себе компания ссыльных, пользовавшаяся репутацией пьяниц и драчунов.

Я долго не могла заснуть. Перспектива жить в деревне с пьянствующим Александром Степановичем показалась мне нестерпимой. Я знала, что во хмелю он зол и перессорится со всеми. Значит, около нас образуется атмосфера не просто отчуждения, а вражды. Не будет денег, так как пропить то, что высылал о т е ц , — недолго. А откуда взять денег в Пинеге? Заработков для интеллигентов там никаких нет. И куда деваться от самого Александра Степановича? В Петербурге всегда можно было уйти к кому-нибудь из подруг или знакомых. В Пинеге не от кого было ждать помощи, ни моральной, ни материальной.

Утром я твердо сказала Александру Степановичу, что, если это еще раз повторится, я тотчас же уеду к отцу и не вернусь. Я знала, что Александр Степанович боится одиночества.

И Грин больше не пил. Впоследствии он не раз вспоминал, что два года, проведенные в ссылке, были лучшими в нашей совместной жизни. Мы там оба отдохнули. Денег отец высылал достаточно. Поэтому Александр Степанович мог писать только тогда, когда хотелось и что хотелось.

В Пинеге Грин написал «Позорный столб» и послал этот рассказ Л. И. Андрусону, который был тогда секретарем «Всеобщего журнала» [31].

Через месяц после приезда нашего в Пинегу нам предложили переехать в дом священника. Дом стоял на мысу на высоком берегу реки. Из окон виднелась снежная даль противоположного, низкого берега. Священник, сдавший нам три большие комнаты, а сам с женой и с маленьким сыном поселившийся в одной небольшой комнатушке, жаловался, что на эти три комнаты идет слишком много дров. Действительно, чтобы не зябнуть, необходимо было топить квартиру два раза в день, но дрова березовые, колотые стоили три рубля сажень, так что мы могли вполне справиться с топкой.

Еще на Великом дворе мы наняли помощницу колоть и носить дрова, топить печи, стирать белье. При мне она не стряпала, но когда я среди зимы поехала к отцу, ей пришлось всецело обслуживать Александра Степановича.

Александр Степанович поручил мне, когда я буду в Петербурге, зайти в редакцию «Всеобщего журнала». В редакции я встретила А. И. Котылева. Он подошел ко мне, поздоровался и спросил, как живется в Пинеге. Выслушал ответ, спешно простился и ушел из редакции. Такое поведение меня очень удивило: А. И. Котылев довольно часто бывал у нас, когда мы жили на 6-й линии. Он имел репутацию человека порочного, но я не имела возможности убедиться в этом; на мой взгляд, это был человек умный и хорошо воспитанный. Казалось, что они с Александром Степановичем дружили. Приехав в Пинегу, я рассказала Александру Степановичу о странном поведении Котылева.

— Это он и выдал меня, — ответил Грин.

— Да ведь вы же были друзьями?

— Ну, не совсем... Как-то поссорились, я ему и сказал: «Я хоть с тобой и пьянствую, но этим у нас вся дружба и кончается; мы с тобой, как масло и вода, неслиянны». Вот этого он мне и не простил.

В Петербурге я купила Александру Степановичу дробовик для охоты и граммофон с набором пластинок. Ружье и все охотничьи принадлежности очень скрасили ему весну и лето. Граммофон же помогал коротать зимние вечера. Но иногда я и не рада была тому, что привезла его. Александр Степанович клал пластинку, на-

ставлял иглу и пускал пластинку с бешеной скоростью, «для бравурности». Получалась невообразимая какофония. Зато граммофон привлекал к нам ссыльных. Сразу по приезде в Пинегу Александр Степанович вывесил на дверях объявление, что А. С. Гриневский принимает гостей по пятницам, после семи часов вечера.

В феврале стояли сильные морозы. В одну из таких морозных ночей, когда бревна дома трескались со звуком ружейного выстрела, я проснулась оттого, что в комнате стало чересчур светло. Пламя било в стекла окон. Пожар! Я пошла в соседнюю комнату и осторожно разбудила Александра Степановича. Обулась и только что начала одеваться, как Александр Степанович застучал кулаками в стену, за которой была комната хозяев, и закричал:

— Горим! Спасайтесь!

В ответ раздался такой страшный крик попадьи, что я сразу потеряла душевное равновесие; не огонь, бивший в окна, а истерический женский крик потряс меня и Александра Степановича. Оба мы заторопились: захватили белье и платье, накинули пальто и шапки и выбежали на двор, на тридцатипятиградусный мороз. Кинулись в промерзшую баню — одеться. Эта растерянность помогла нам позднее, без нашего ведома, защититься от клеветы; сосед (с одной стороны к дому, в котором мы жили, примыкал дом столяра) обвинил нас, как рассказал нам священник, в том, что мы, ссыльные, подожгли дом. А священник прекратил этот разговор, сказав:

— Хороши поджигатели, выскочили на трескучий мороз, накинув на рубашки пальто, в бане одевались!

Священник побежал к церкви, ударил в набат. Начал собираться народ. В это время попадья с работницами потащили сундуки, столы, комод и прочие громоздкие вещи. Забили ими парадные двери. Никто: ни хозяева, ни мы, ни обе работницы не вспомнили, что в кухне есть другой выход, все толкались около входа в прихожую, мешая друг другу. Мы с Александром Степановичем едва смогли проникнуть в свои комнаты. Домработница побежала в кухню за своим сундуком, я схватила подушки и одеяла, а Александр Степанович набрал полные руки тарелок и блюд.

Когда вышли на двор, я увидела, что от крыши уже ничего не осталось и что горят, до самой земли, углы

дома. Я не знала, что поверх потолка насыпается слой песку или земли, защищающий долгое время потолок от нагревания, и думала, что если крыша уже сгорела, то и потолок сейчас рухнет. Сказала решительно:

— Не ходите больше в дом, нельзя из-за посуды и тряпок рисковать жизнью.

В ответ на эти слова Александр Степанович грохнул оземь всю груду посуды, которую держал, и крикнул:

— Пропадай всё!

Об этом долго вспоминали пинежане.

Чужая, незнакомая девушка полезла в окно, когда лопнули стекла и сгорели занавеси, и вытащила граммофон и пластинки, казавшиеся ей, вероятно, самыми драгоценными вещами. Но вся уцелевшая после обыска переписка, альбомы, книги, белье и многие ценные мелочи погибли. Узкий шланг, по которому попытались подать воду из проруби на высокий берег, быстро промерз, и бесплодную возню с насосом оставили. Дом сгорел до основания поразительно быстро.

Мы с Александром Степановичем отправились к знакомым ссыльным отогреться. Еще обсуждали вопрос, куда нам деваться, как пришла зажиточная пинежанка, у которой был дом на главной улице, и предложила нам переехать к ней. Мы с радостью согласились и заняли у нее три комнаты.

В первые полгода жизни в Пинеге Грин совсем не жаловался на скуку. Он был очень утомлен всем пережитым. В тишине и обеспеченности он сначала благодушествовал: много спал, с аппетитом ел, подолгу читал, при настроении — писал, а для отдыха играл со мною в карты или раскладывал пасьянсы. Но к весне начал скучать. Стал раздражителен и мрачен. Поссорился с хозяйкой. Поэтому, когда в мае приехал в Пинегу новый акцизный чиновник, хозяйка сказала, что ей гораздо приятнее иметь жильцом правительственного чиновника, чем ссыльных. И мы снова оказались на Великом дворе, только в другой избе.

Весна в Пинеге мало чем походила на нашу петербургскую, неврастеническую и бледную. Дни настали длинные, солнечные; глубочайшие снега, накопившиеся за долгую, без оттепелей, зиму, принялись бурно таять. Всюду зашумели ручьи, а овраги, которых в Пинеге много, превратились в озера и речки. С Великим двором и с домами на берегу Пинега сообщались на лод-

ках. Помню, как вбежала ко мне худенькая, всегда мрачная ссыльная и весело крикнула:

— Пойдемте на реку, лед идет!

На высоком берегу было уже много народа. Лед шел густо, полноводная река мчала его с грохотом, громоздя на многочисленных заворотах неправильными пирамидами.

Дороги стали непроезжими, и распутица стояла около месяца. Пинега поддерживала связь с остальным миром только по телеграфу. Ни писем, ни посылок. Зато какой радостью было прибытие первого парохода из Архангельска: ведь он привез почту!

Весна развеселила Александра Степановича. Когда просохло, он начал охотиться. Мы купили лодку. Александр Степанович охотился то на реке, то в лесу. Уходил с раннего утра и возвращался к вечеру, увешанный битой птицей. Поели мы самой разнообразной дичи: и болотных куликов, и бекасов, и куропаток, и уток всевозможных разновидностей, от крупных до самых маленьких.

Хороша была природа вокруг Пинеги. Ее окружали вековые, тянущиеся на сотни верст леса. Иногда я бродила по ним одна, иногда с Александром Степановичем или с местными жительницами.

Как-то отправились мы с Александром Степановичем далеко в лес. Он с ружьем, а я с чайником, кружками и едой. Долго бродили, потом набрали воды в чайник и пошли искать приятное для привала место. Дошли до высокого, сухого бора: огромные сосны, ягель, устилающий почву, мелкие мург*и*. Мурги — это особенность пинежских лесов. Известняки, лежащие где-то под почвой, постепенно размываются подземной водой; в них образуются пустоты, которые медленно втягивают в себя верхний слой почвы со всем на нем находящимся. Образуется воронка — мурга. Эти воронки самых различных размеров, от небольших, в метр диаметром, до огромных, с целым куском опустившегося леса, придавали пинежским лесам живописный вид. Рассказывали, что именно в мургах встречаются медведицы с медвежатами.

Мы набрали валежника, сложили его на дне небольшой мурги и укрепили на трех палках, скрещенных вместе, чайник с водой. Грин поджег хворост. Мы совершенно не подумали о том, что лето стоит сухое и

жаркое и что всё вокруг — ягель и сама почва — насквозь просушено. Огонь из-под хвороста взвился с такой яростью, что мы сразу поняли, что нам грозит.

— Скорей сдирай мох с краев ямы! — закричал Александр Степанович. — Сейчас начнется пожар!

Огонь с необычайной быстротой бежал по сухому мху. Схватив сучок, я со всей возможной поспешностью принялась отдирать с краев мурги и отбрасывать в сторону седой мох, а Александр Степанович тем временем опрокинул на разгоравшийся костер чайник с водой и принялся срывать мох с другой стороны мурги. Мы успели содрать моховой покров вокруг всей мурги в тот момент, когда языки пламени уже подходили к самому верху; подошли, лизнули обнаженный песок и потухли. Александр Степанович тщательно затоптал тлевшие на дне сучья. Хотя всё это происшествие продолжалось три-четыре минуты, мы были потрясены силой и быстротой огня. Шли домой и обсуждали: удалось ли бы нам спастись, если бы лес запылал, и смог ли бы каждый из нас в отдельности остановить возникавший пожар, окопать всю окружность мурги? Нет, не успел бы.

На другой день Александр Степанович никуда не ходил, а потом стал охотиться на реке.

Дней через пять-шесть после случая в лесу я увидела необычное оживление на всегда пустынной улице: бежали мальчишки, шли мужчины с лопатами и заступами, проскакал, неумело наваливаясь на шею лошади, помощник исправника. Я вышла из дому, повернула за народом в один из переулков и, оказавшись в поле, увидела над лесом огромное черное облако, прорезываемое вихрями пламени. Горел лес. Всё мужское население было созвано на тушение надвигавшегося на город пожара; его остановили рытьем канав. Пожар начался километрах в двух от опушки, ветер дул к опушке, так что лес оказался обезображенным не очень сильно; пожарище занимало длинную, но неширокую полосу.

Через несколько дней после пожара рослая краснощекая пинежанка остановила меня на улице и презрительно сказала:

— Ваш муж говорит, что это он поджег лес. Нашел чем хвастаться!

Я попробовала убедить ее, что ни в этот день, ни накануне Александр Степанович в лесу не был, но она

мне не поверила. Когда же я спросила Александра Степановича, зачем он возводит на себя такие ложные и вредные обвинения, он ничего не мог ответить. Это было очередное «гасконство».

Весной 1911 года в Пинеге появилась новая, довольно большая партия ссыльных. Это были студенты, высланные за участие в демонстрации по поводу похорон Льва Толстого. Грин не сблизился ни с кем из них, а ссыльные отнеслись к ним несколько свысока: это были, так сказать, дилетанты, попавшие в ссылку как бы случайно. Эта молодежь была жизнерадостна, здорова, и некоторые из них прямо говорили, что лучшего летнего отдыха, чем в Пинеге, и желать нельзя. Студенты были уверены, что их вернут в Петербург тою же осенью, и я только много позже узнала, что студентов продержали в ссылке не менее двух лет.

В июне 1911 года к нам в Пинегу приехал младший брат Александра Степановича Борис, худенький, тихий подросток лет пятнадцати. Пока он жил у нас, мы сделали вместе с ним и местными охотниками чудесную прогулку в страну, которую пинежане называли «Карасеро». Было ли у этой прекрасной страны другое, официальное название — не знаю. Начиналось Карасеро километрах в двадцати пяти — тридцати от Пинеги. Сеть этих причудливых озер, островков, покрытых вековым лесом, протоков, заросших камышами, изобилие населяющих их птиц Александр Степанович описал в повести «Таинственный лес».

В августе я вторично поехала к отцу. Уже в Петербурге я получила от Александра Степановича письмо, в котором он извещал меня, что его переводят на Кегостров, в село того же названия. Кегостров лежит в дельте Северной Двины, в трех километрах от Архангельска. Грин переехал туда без меня. Эта поездка по рекам дала ему материал для повести «Сто верст по реке».

На Кегострове мы поселились у зажиточных хозяев, имевших рыбокоптильню. В этом заведении коптили мелкие селедки, продававшиеся в Петербурге под названием «архангельских копчушек». Этим же промыслом занималось на Кегострове еще несколько человек. Кроме копчения рыбы на Кегострове было еще развито выделывание канатов.

Внизу большого, солидно выстроенного дома жили хозяева, там же была и общая кухня. Наверху было

большое зало, которым обычно никто не пользовался; оно служило только для приема гостей в торжественных случаях. Рядом с залом были еще три небольшие меблированные комнаты; их мы и сняли.

Сентябрь простоял хороший, солнечный, с желтой и багряной листвой, но с середины октября началась распутица. По Двине сплошной массой пошел лед. Погода была серая, хмурая, но не настолько холодная, чтобы лед мог стать. Пароходики, которыми обычно сообщался Кегостров с Архангельском, прекратили свои рейсы. Попасть в Архангельск можно было, при крайней нужде, на карбасах — больших, тяжелых лодках, которые медленно, со скрежетом и шорохом, продирались сквозь льдины. Такое путешествие длилось долго и было неприятно из-за пронизывающей холодной сырости, от которой плохо защищали наши городские, легкие пальто. Распутица длилась около месяца. Александру Степановичу этот месяц показался очень тяжелым.

Наша жизнь на Кегострове описана Грином в рассказе «Ксения Турпанова»; остров этот назван «Тошным».

Я сама переписала «Ксению Турпанову» и сама отвезла ее в «Русское богатство». Там этот рассказ был напечатан в № 3 за 1912 год.

Второй год ссылки, на Кегострове, мы прожили с Александром Степановичем так же дружно, как и первый в Пинеге.

На Кегострове Александр Степанович написал еще рассказ «Синий каскад Теллури» и диктовал мне его для переписки набело.

Наконец Двина стала. С городом установился санный путь, стали ездить за покупками, в библиотеку, в кино.

У нашего хозяина было две лошади: смирная старая и молодой горячий жеребец. Этих лошадей можно было нанимать.

Когда я ехала в город, чтобы закупить на неделю провизии, то брала смирную старую лошадь. Она везла меня ленивой рысью, так что все меня обгоняли, но зато можно было не бояться. Но когда в город собирался Александр Степанович, он брал застоявшегося жеребца, и поездка превращалась в смену сильных ощущений. Как я ни просила попридержать лошадь до выезда на дорогу, Грин не умел этого сделать. Жеребец вылетал

со двора так, будто за ним гнались волки, на всем ходу, под прямым углом сворачивал на дорогу; сани ложились на один бок — того гляди окажешься на снегу, — но благополучно выпрямлялись и начинали скакать по ухабам дороги. Потом стремительно неслись с довольно высокого берега на лед. Дорога по Двине была узкая, а проезжих довольно много. Александру Степановичу хотелось всех обгонять, и он, то и дело крича: «Берегись!» — мчался, сворачивая в снег и накреняя сани.

На Кегострове ссыльных было немного. Выделялся своей молчаливой корректностью польский ксендз, сосланный за проповедь и обучение на польском языке и ненавидевший самодержавие. Это был человек убежденный и, видимо, сильный.

Хорошее воспоминание осталось и о семье И. И. Кареля. Иван Иванович Карель бы сослан в Архангельскую губернию, как председатель студенческого коалиционного совета университета и как председатель общегородского коалиционного студенческого совета. С ним была жена, трое детей и младший брат.

В Архангельске Грин познакомился со ссыльным инженером, получившим образование за границей, Р. Л. Самойловичем. Они быстро подружились и перешли на «ты». Самойлович жил в Архангельске с женой и двумя детьми.

Однажды Самойлович пришел к нам, на Кегостров, с двумя молодыми людьми и сказал:

— Это — норвежцы, шкипера. Они ни слова не понимают по-русски, с ними можно объясняться по-немецки.

Александр Степанович был очень доволен этим посещением; он всегда с огромным интересом и уважением относился к морякам.

Трудно было занимать гостей, так как запас немецких слов был у меня невелик. Александр Степанович и вовсе не знал немецкого. Только Самойлович говорил свободно. Несмотря на это маленькое затруднение, вечер прошел непринужденно и довольно весело; нашлось какое-то угощение, послали за водкой, — шкипера пили, шутили, держали себя приветливо и весело. Когда же пришла пора прощаться, гости поблагодарили нас за радушный прием на чистом русском языке. Это были не моряки, а инженеры, окончившие высшую горную школу в Гейдельберге, вместе с Р. Л. Самойловичем. Александр Степанович был неприятно разочарован.

Весной 1912 года нас перевели в Архангельск.

Вскоре я одна вернулась в Петербург, чтобы всё приготовить к приезду Александра Степановича. Наняла квартиру на углу Второй роты и Тарасова переулка. В квартире было две комнаты, коридор и кухня. Купила дешевенькую мебель и пополнила хозяйственный инвентарь. Думала, что устраиваю прочное гнездо, но жизнь вскоре заставила меня понять мою ошибку.

Вскоре пути наши разошлись. Встречи стали короткими и редкими.

ГОДЫ 1917—1924

Весной 1917 года, встретившись как-то с Александром Степановичем на Невском, я сказала ему, что у меня новый адрес.

— Уж не вышла ли ты замуж?

— Да, вышла...

Грин круто повернулся и почти бегом пустился наискосок, через Невский. Я поняла, что догонять его не следует.

Я очень опасалась того, что Александр Степанович захочет познакомиться с Казимиром Петровичем. Мой муж — геолог, ученый — был корректным и выдержанным человеком. С его стороны невозможно было опасаться какой-нибудь выходки по отношению к Александру Степановичу, но как поведет себя сам Александр Степанович?

Однажды, когда я вернулась со службы, Казимир Петрович сказал:

— Приходил некий Русанов, оставил тебе эту корзинку и сказал, что вы были вместе в ссылке.

Опасения мои сбылись! Не могло быть сомнения в том, что пирожные принес Александр Степанович. Никакого Русанова я не знавала. Это была рекогносцировка: посмотреть — каков муж? Значит, придет опять. Так и случилось. Прихожу домой, отпираю дверь своим ключом и слышу голоса в столовой. За обеденным столом сидит Александр Степанович, а Казимир Петрович поит его чаем.

Визит прошел благополучно. Когда Грин ушел, Казимир Петрович, человек несколько язвительный, сказал:

— Ты сидела между нами, как кролик между двумя удавами.

Помню, осенью 1918 года Александр Степанович сказал мне:

— Я женился, переехал к Х.[32]. Я там хозяин, сижу за обеденным столом в кресле. Завтра у нас прием — гости.

Я порадовалась за Александра Степановича: значит, у него опять есть домашний уют. Но брак этот длился недолго. Зимой я получила от Александра Степановича письмо, в котором он просил навестить его, так как он вновь одинок. Я нашла Грина на Невском, между Литейным и Надеждинской, на третьем дворе. Комната была маленькая и в мороз нетопленная. Но я ничем не могла помочь Александру Степановичу, так как в 1918—1919 годах мы, как и все петроградцы, голодали. Я принесла только две большие тыквы. Спросила его, почему он уехал от Х.?

— От меня стали прятать варенье и запирать буфет. Я не приживальщик; не моя вина, что негде печататься. Я потом всё бы выплатил. Я послал всех куда следует и ушел.

В январе 1919 года Александр Степанович переехал в хорошую комнату окнами в сад, на 11-й линии Васильевского острова, в дом, ранее принадлежавший богачу Гинцбургу. Гинцбурга называли «Порт-Артурским», потому что свои миллионы он нажил в японскую войну. Перевел деньги за границу и сам туда уехал. Охранять его особняк на 11-й линии осталась родственница с детьми. Когда стало известно, что все дома в Петрограде будут национализированы, эта родственница предложила дом Гинцбурга «Обществу деятелей художественной литературы». В «Обществе» принимал деятельное участие М. Горький. В его состав входило большинство тогдашних крупных писателей: Ф. Сологуб, А. Блок, К. Чуковский, В. Шишков, Д. Цензор и др. Председателем был сначала Ф. Сологуб, потом В. Муйжель. Секретарем — Ю. Слезкин, казначеем — Д. Цензор. Некоторые из членов «Общества» жестоко нуждались в помещении, в дровах и вообще в материальной поддержке. Нарком Луначарский подписал ассигновку на дрова для писателей, поселившихся в «Доме деятелей художественной литературы» и на оборудование там столовой *.

---

* Сведения о доме Гинцбурга и об «Обществе деятелей художественной литературы» был добр сообщить мне Д. Цензор. — *Прим. В. П. Калицкой.*

В доме на 11-й линии поселились, кроме А. С. Грина: В. Воинов с семьей, Ю. Слезкин, Д. Цензор с женой, В. Муйжель. Большинство жителей этого дома принимало активное участие в советских журналах того времени: В. Муйжель редактировал художественный отдел журнала «Пламя», Д. Цензор работал в газете «Красный Балтийский флот» и организовывал художественные студии на линкорах «Марат», «Гангут» и на подводных лодках. А. С. Грин участвовал в художественном отделе журнала, издававшегося Ленинградской милицией [33].

«Общество деятелей художественной литературы» просуществовало недолго, его члены разошлись по вновь образовавшимся организациям: Союз писателей, Союз поэтов, Цех поэтов, Дом искусств.

Александр Степанович прожил в доме «Общества» до лета 1919 года, когда его призвали на военную службу.

Полк, в который был зачислен Грин, стоял на Охте, в Ново-Черкасских казармах. Я приехала туда сделать Александру Степановичу передачу, но в свидании мне отказали.

В сентябре 1919 года я уехала с мужем в командировку. В то же время бригада, в которой находился Грин, отправилась в Витебск. Здесь Александр Степанович некоторое время помещался на фарфоровом заводе, потом бригаду перевели за шестьдесят километров от Витебска, а позднее — в Остров. Здоровье Грина было расшатано, а потому он строевой службы не нес. Находился в караульной команде по охране обоза и амуниции.

Очень скоро после моего отъезда наши отношения с Александром Степановичем прекратились; пропадали письма, и я потеряла его из виду. Только вернувшись в 1920 году в Петроград, я узнала от Грина обо всем, что он пережил за это время.

20 марта 1920 года Александр Степанович вернулся в Петроград. Некоторое время пожил у И. И. Кареля, знакомого по Кегострову, а потом переехал в Дом литераторов на Бассейной улице. Но пробыл здесь недолго. Почувствовал, что расхварывается. Пошел за помощью к М. Горькому. Алексей Максимович дал ему записку

в лазарет, находившийся в Смольном. Там его взяли на испытание и поместили в изоляционную палату на три дня. Выяснилось, что у Грина сыпняк[34]. Тогда его перевезли в Боткинские бараки, где Александр Степанович и пролежал почти месяц. М. Горький и тут не оставлял его, присылая передачи, между прочим — кофе, которым Александр Степанович очень дорожил.

Выздоровев, Александр Степанович опять пошел к Горькому. Тот дал ему письмо к командующему Петроградским округом[35], прося откомандировать Грина в библиотеку Дома искусств. В число членов этого дома Александр Степанович был выбран единогласно. Просьба Горького была уважена, и Грин поселился на Мойке, у Полицейского (ныне Народного) моста, в Доме искусств.

Переехал Александр Степанович туда в мае 1920 года. Здесь я его и увидела, когда мы с Казимиром Петровичем в июне 1920 года вернулись в Петроград. Застала я Александра Степановича здоровым и веселым.

Дом искусств был открыт в декабре 1919 года. Сначала он был задуман как филиал Московского Дворца искусств, но очень скоро вырос в самостоятельное учреждение. Во главе дома стоял М. Горький, средства же давал Народный комиссариат просвещения.

Потребность в создании Дома искусств была большая. Прежние писательские группировки вокруг журналов исчезли вместе с журналами, а собираться где-нибудь, чтобы обсудить свои профессиональные нужды, было необходимо. Кроме того, многие литераторы, музыканты, художники во время голода занялись всевозможными побочными заработками, отрываясь, таким образом, от своей профессии. Чтобы помочь им выбраться из тяжелого материального положения, при Доме искусств было открыто общежитие. В нем Грин и получил хорошую меблированную комнату. Там же можно было получать и обед.

В книгах чувствовался острый недостаток; при Доме искусств был организован «Книжный пункт».

В первое время по открытии Дома искусств писатели и художники собирались на интимные «пятницы»; несколько позднее стали устраивать «понедельники» — для широкой публики. Некоторые из «понедельников» были посвящены лекциям или художественной прозе, другие — поэзии.

В феврале 1920 года возникла музыкальная секция. Она устраивала концерты.

По средам происходили диспуты.

Художники, среди которых были Александр и Альберт Бенуа, М. В. Добужинский, К. С. Петров-Водкин и другие, устраивали в помещении Дома искусств выставки картин.

Большой интерес молодежи вызывала литературная студия. На второй семестр, осенью 1920 года, в студию записалось триста пятьдесят человек. Студию возглавлял К. И. Чуковский.

В помещении Дома искусств устраивал свои вечера Союз поэтов и позднее молодое общество — Цех поэтов.

На вечерах поэтов выступали: Вс. Рождественский, М. Шагинян, Ю. Верховский, М. Кузмин, В. Пяст... Два вечера были посвящены А. Блоку. Приезжали из Москвы и выступали в Доме искусств А. Белый и В. Маяковский.

Большое число посетителей привлекали вечера воспоминаний А. Ф. Кони, который рассказывал про Достоевского и Л. Толстого, про Писемского и Тургенева.

В октябре 1920 года состоялся вечер Федора Сологуба.

В ноябре 1920 года К. И. Чуковский прочел со свойственным ему лекторским талантом главу из большой книги о Некрасове, озаглавленную «Поэт и палач» (О Некрасове и Муравьеве).

4 декабря В. Маяковский прочел свою поэму «150 000 000».

8 декабря выступил Александр Степанович Грин со своей феерией — «Алые паруса». Публика приняла эту поэтическую повесть очень тепло. Александр Степанович рассказал мне, что вынашивал повесть пять лет; черновик ее лежал у него в походной сумке, когда он был на военной службе. Прочитав эту повесть у нас дома, Грин сказал с видимым удовольствием:

— Обрати внимание, какое у меня богатство слов, обозначающих красный цвет.

Но не меньшее количество таких же синонимов есть у Грина и в стихотворении, помещенном в № 10 «Нового журнала для всех» за 1910 год, начинающемся словами: «За рекой, в румяном свете...» [36].

Александр Степанович много рассказывал мне про помещение банка, стоящего пустым по соседству с Домом искусств. Этот дом занимал огромное пространство: один его фасад выходил на улицу Герцена, другой на Невский, третий на Мойку. Как-то Грин повел меня посмотреть это замечательное, по его словам, здание. Банк занимал несколько этажей и состоял из просторных, светлых и высоких комнат, но ничего особенного, красивого или таинственного, что отличало бы его от других банков средней руки, не было. Когда позднее Александр Степанович читал нам «Крысолова», я была поражена, как чудесно превратился этот большой, но банальный дом в настолько зловещее и фантастическое помещение.

Летом 1920 года я попросила Александра Степановича дать мне развод. Он согласился на это без малейшего неудовольствия. Мы вместе пошли в загс. Меня удивило и тронуло то, что, когда, получив развод, мы вышли на улицу, Александр Степанович поблагодарил меня за то, что я не отказалась от его фамилии, осталась Гриневской. А ведь он знал, что развод я попросила затем, чтобы выйти замуж за К. П. Калицкого.

Наши отношения после разрыва в 1913 году стали товарищескими; Александр Степанович подробно рассказывал мне о своих похождениях, однако по тому, каким он тоном о них говорил, я чувствовала, что отношение его к тем женщинам, с которыми он флиртовал, несерьезно.

Но однажды, придя к Александру Степановичу без предупреждения, я нашла дверь в его комнату полуоткрытой. Я увидела на столе два прибора: тарелочки из папье-маше, бумажные салфеточки; стояла нехитрая закуска и немного сладкого. Лежала записка: «Милая Ниночка, я вышел на десять минут. Подожди меня. Твой Саша».

Я поспешила уйти. Тщательность, с которой было приготовлено угощенье, напомнила мне первый год нашей любви. Я поняла, что ожидаемая женщина — новая серьезная любовь Александра Степановича. И не ошиблась. 8 марта 1921 года Александр Степанович женился на Нине Николаевне Мироновой, которая прожила с ним до его смерти, оставаясь верной и преданной женой.

ОТНОШЕНИЕ ГРИНА К МУЗЫКЕ И ТЕАТРУ. «НА АМЕРИКАНСКИХ ГОРАХ». ПРОИСХОЖДЕНИЕ РАССКАЗА «ТАБУ»

Иногда я играла Александру Степановичу на рояле.

Из пьес, которые я знала, ему больше всего нравился Второй вальс Годара.

Однажды, прослушав его, Александр Степанович сказал:

— Когда я слушаю этот вальс, мне представляется большой светлый храм. Посреди него танцует девочка.

Герой «Блистающего мира» Друд, обладающий способностью летать без всяких приспособлений, прилетает к своему другу Стеббсу; тот показывает ему музыкальный инструмент, который он смастерил из бутылок, и говорит:

«Я понемногу расширил свой репертуар до восемнадцати—двадцати вещей; мои любимые мелодии: „Ветер в горах", „Фанданго", „Санта-Лючия" и еще что-то, например, вальс „Душистый цветок"».

Друзья начинают свой концерт с «Фанданго», потом переходят на вальс из «Фауста». После вальса Стеббс играет песенку Бен-Бальт, которую поет Трильби у Дюморье: «Далеко, далеко до Типерери», «Южный крест», Второй вальс Годара, «Старый фрак» Беранже и «Санта-Лючия».

При выступлении Друда в цирке он просит сыграть что-нибудь плавное, например «Мексиканский вальс».

Один из героев «Приключений Гинча» идет по лестнице, напевая арию из «Жосселена».

Думаю, что не сильно ошибусь, если скажу: перечисленные музыкальные произведения почти исчерпывают репертуар Александра Степановича. Он усвоил их, вероятно слыша в ресторанах, на эстрадах или в граммофонной записи.

За те восемь лет, какие мы прожили с Александром Степановичем, он почти не бывал в театре, несмотря на то что интересных пьес и прекрасных актеров было много. С огромным успехом шли пьесы Л. Андреева, Метерлинка, Гауптмана и А. Блока. Молодежь увлекалась театром Комиссаржевской, ею самой и пьесами Ибсена, в которых она играла. Все мы по многу часов дежурили за билетами на спектакли Московского Художественного театра. Особенно сильное впечатление

производил «Юлий Цезарь». В Мариинском оперном театре ставился цикл вагнеровских опер — «Кольцо Нибелунгов», на который тоже было очень трудно доставать билеты.

Но ни одно из этих увлечений не коснулось Александра Степановича. В 1908 году мы только раз пошли с ним в Александринский театр, на пьесу Гамсуна «У царских врат». Но уже в первом действии Александр Степанович стал ворчать, что, по-видимому, автор не на стороне героини и что это — противно. В антракте я предложила Александру Степановичу уйти из театра, не досмотрев пьесу, и мы ушли.

Еще раз мы были в театре в 1913 году, на балете «Дон-Кихот». Но тут Грину показалось, что благородный Дон-Кихот осмеян, и он начал громко делать замечания. Я опять предложила уйти, но Александр Степанович пошел в буфет, уйти отказался, а во время действия снова делал резкие замечания, вызывая этим неудовольствие и шиканье публики.

В декабре 1903 года при Театральном клубе на Литейном проспекте открылось кабаре «Кривое зеркало».

Этим новым, остроумным и тонким зрелищем Александр Степанович увлекся. Да и нельзя было не увлечься, так как всё в «Кривом зеркале» было свежо, умно и талантливо. Театром руководили З. Холмская и О. Кугель. Репертуар «Кривого зеркала» требовал от своих зрителей высокой художественной культуры, знания современного театра и литературы. В первый год существования «Кривого зеркала» спектакли начинались в двенадцать часов ночи. Предполагалось, что артисты, литераторы, художники и театралы будут приезжать туда поужинать и, сидя за столиками, смотреть на интимной, маленькой сцене номера то едкие и остроумные, то лирические, всегда злободневные и прекрасно поставленные. Жанр «Кривого зеркала» пришелся по душе Александру Степановичу. Недаром Э. Золя называл репертуар монмартрских кабачков «романтическим».

Другой новинкой в те же 1908—1910 годы был «Луна-парк» — летний театр и сад с впервые появившимися тогда «аттракционами». Насколько «Кривое зеркало» было изысканно и остроумно, настолько «Луна-парк» —

груб и нехудожествен. Александр Степанович пригласил меня пойти в «Луна-парк», когда туда приехали, кажется, сомалийцы или какое-то другое экзотическое племя. Сомалийцы были интересны, на сцене стояли их хижины с примитивной утварью, сидела красивая женщина с ребенком, оба светло-шоколадного цвета, а на эстраде мужчины с копьями исполняли воинственную пляску.

Грину «Луна-парк» дал сюжет для одного из рассказов в «Наследстве Пик-Мика» — «На Американских горах». На этих горах произошел единственный, кажется, за всё время их существования смертельный случай: пожилой человек захотел испытать сильное ощущение, которое возникает при скатывании с гор, но переживание оказалось слишком сильным для его сердца, и он скатился вниз мертвым. Не знаю, было ли об этом несчастном случае в газетах, но молва о нем облетела весь Петербург.

Две проделки Дмитрия Николаевича Садовникова, поэта и этнографа, дали повод к созданию рассказа Грина «Табу».

Д. Н. Садовников был женат на родной сестре моей матери, Варваре Ивановне Лазаревой. Отец мой недолюбливал Д. Н. Садовникова, говорил, что Дмитрий Николаевич оригинальничает и, пользуясь тем, что жена влюблена в него, слишком позволяет ей за собой ухаживать. Но тем не менее отец не мог без смеха вспоминать про некоторые проделки Дмитрия Николаевича. Из них я запомнила и рассказала Александру Степановичу о двух. Первая относилась к молодым годам Дмитрия Николаевича.

В те времена барышни встречались с молодыми людьми почти исключительно на вечерах. С шестнадцати лет барышню начинали «вывозить» на балы. Ее сопровождали родители, а если родителей не было, то братья, тетки и другие родственники. Ехать одной на бал или в театр было для порядочной девушки в те времена невозможно. Одна из двоюродных сестер Д. Н. Садовникова обратилась однажды на святках к нему с просьбой — сопровождать ее на костюмированный бал. Он согласился. Заехал за кузиной, дождался ее в прихожей не раздеваясь; поехали на бал. Когда же

лакеи сняли с них верхнее платье, барышня с ужасом увидела, что на Дмитрии Николаевиче нет ничего, кроме перьев и стрел вокруг бедер. Барышня бросилась от него сначала в гостиную, потом в зало. Дмитрий Николаевич с ужимками и прыжками, изображавшими людоеда, гонящегося за добычей, догнал ее. Тогда несчастная кузина спряталась в спальне хозяев. После этого уж никто из родственников Дмитрия Николаевича не обращался к нему с просьбой сопровождать их в гости.

Много позже, уже женатым, Дмитрий Николаевич ехал куда-то по железной дороге. Вышли с женой на перрон станции, на которой, не знаю почему, он хотел остаться, а Варвара Ивановна нет. Направились к буфету. Вдруг Дмитрий Николаевич падает с резким криком и бьется в судорогах. Пена изо рта и обморочное состояние. Кругом засуетились, послали за врачом, перенесли в приемный покой. Поезд ушел. Тогда Дмитрий Николаевич спокойно сел и объявил, что он совершенно здоров и припадок падучей был им разыгран.

Эти две проделки Д. Н. Садовникова и породили рассказ «Табу». Писатель Агриппа, «не умеющий или неспособный угождать людям», терпит кораблекрушение и попадает к людоедам. Его товарища немедленно съедают, герой же спасается тем, что искусно разыгрывает припадок падучей, а потом объявляет, что в это время с ним говорил «дух». Считая его священным, жрец дикарей налагает на героя рассказа табу, то есть делает его неприкосновенным и тем спасает его от дикарей. Агриппа вторично разыгрывает припадок падучей, на этот раз более длительный, а затем объявляет жрецу волю «духа»: ехать всем дикарям по направлению к потонувшему кораблю. Ночью он продырявливает все пироги, дикари тонут, а героя спасает проходящий вблизи корабль.

ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ

ЛЕДОХОД

То, что я сейчас расскажу, происходило больше пятидесяти лет тому назад, и я заранее оговариваюсь, что не буду точным.

Учился я в Петербурге, в Окружной гимназии около Чернышева моста.

Это было наискосок от министерства просвещения и памятника Ломоносову.

Сейчас в этом отрывке я ставлю вехи времени и вехи пространства. Революция 1905 года прошла, было очень глухо, преувеличенно тихо, как будто люди оглохли. Много появилось людей надорванных, усталых, потерявших память от брома, который они пили, чтобы успокоиться.

Будущее не наступило еще. Был промежуток между волнами. Вода казалась между волнами гладкой. Появились люди, уже отсидевшие свой срок или откуда-то убежавшие. Ходили они тяжело и бесшумно.

В тишине и шепоте стоял тихий Петербург. Через него текла широкая, точно ограниченная набережной, молчаливая Нева.

Русский язык в гимназии преподавал зырянин Калистрат Фалеевич Жаков — человек с научными трудами. У Калистрата Фалеевича на квартире собирался кружок: ходил туда я и был там самым молодым. Там я познакомился с молодым Чапыгиным и с длиннолицым, бритым, очень молчаливым человеком, тогдашнюю фамилию которого я забыл. Впоследствии узнал, что это был Грин.

Он тогда жил, убежав из ссылки или с каторги, под чужой фамилией. Его настоящая фамилия, как потом узнал, Гриневский. Он был племянником известной тогда писательницы Изабеллы Гриневской, которая написала пьесу об иранском религиозном реформаторе Бабе.

Шли смутные слухи, что молодой писатель родственник Гриневской, что у него какая-то история, про которую не надо расспрашивать.

Грин печатался в маленьких уличных журнальчиках. Один из них назывался «Панорама» и с каким-то еще прилагательным, вроде «Всемирная». У журнала была красная невзрачная обложка. Были еще журнальчики, которые никак не могли пробиться к публике, в них печатались неизвестные писатели, но уже появились слухи, что молодой писатель, которого, кажется, звали Мальгинов, человек талантливый. Тогда были в моде рассказы, похожие на переводные. В них повествовалось о разных приключениях. Герой в них был голубой на цветном фоне.

В гриновских рассказах весь интерес на герое. Приключений не много, герой показывался как реально существующий — подробно, с интересным диалогом.

Герой освещал фон и делал тем фон цветным и невероятным.

Рассказы по существу переиначивали старый жанр и существовали для другой цели: это были рассказы о том, как должен существовать верящий в себя и не признающий бытовых рамок хороший человек.

Можно сказать, что герои Грина как будто учились и ходили по воде.

Они в рассказах свидетельствовали читателю о неисчерпаемых человеческих возможностях.

Я очень молодым несколько раз ходил с Грином по тогдашнему просторному каменному, безавтомобильному Петербургу.

Писатель жил на Васильевском острове, на набережной за Николаевским мостом, на дальних линиях — так называются улицы Васильевского острова.

Дальние линии выходят углами домов на набережную.

Грин жил в первом этаже. В Петербурге на широкой Неве три ледохода.

Это необычайно, но тем не менее так.

Лед осенью образуется на Ладожском озере. Озеро большое, льда в нем много. По Неве начинает плыть крупный лед — не шуга, не ледяное сало — пластинки льда, а льдины. Они смерзаются. Нева становится неподвижной, бугристой, как кожа мертвого осетра.

Очень редко при ранних морозах Нева просто замерзает — тогда лед на ней гладкий.

Весной взламывается на Неве лед. Сперва проходит городской лед, проходит большими кусками с полосами дорог, с зимними пятнами.

Льдины идут, набегая друг на друга, шурша о каменные устои мостов.

Нева полна льдом и его шорохом.

Проходят недели. Нева чиста. Но вот на ней показываются новые льдины, старые; они пришли из Ладоги. Они как будто убежали из дальней ссылки, из Сибири, приехали в весенний город в зимнем пальто. Город холодеет. Ладожские льдины третьего ледохода набегают на каменные быки и не ломаются, а рассыпаются в звенящие столбики-иглы.

Я с Грином смотрел на второй весенний ледоход. Было холодно. На Грине было надето пальто без воротника, сильно ношенное.

Льдины шли, сталкиваясь посредине пути, им было тесно.

— Пощупайте глазами, — сказал мне Грин, — вы видите, лед желтый. Это так же верно, что небо сейчас синее. Надо видеть, какое когда небо и какого цвета на самом деле лед.

Грин не уклонялся от жизни, он ее щупал, он ее видел. Она его много толкала. Он, как льдины, прошел через великие реки и плыл по морю, оторвавшись от берега пустого и обыденного, но им не забытого.

Ледяные горы, и дальний путь льдин, и небо, которое над ними меняется, — реальность.

Писатель, который понимает, как может жить человек в разных обстоятельствах, знает путь человека в будущее, — большой писатель.

Грин видел белые города на берегах Черного моря так, как их никто не видел. Он видел желтоватые берега крымских обрывов так, как их не видели другие.

В Севастополе он увидел Зурбаган [1]. Севастополь на самом деле странный город. Современники обороны Се-

вастополя, русские и иностранные, удивлялись, что город этот горит, но не сгорает.

Грин знал сверхвозможности человека и поэтому написал так много сейчас необходимых книг.

Потом много раз встречал Грина уже писателем известным, но еще не отразившимся в небе новой литературы.

Небо над льдом другое, чем небо над морем. Ледяное небо серо-лиловато. Небо над рассказами Грина синее и золотое, его льдины озолочены солнцем.

Я мало говорил с Грином, потому что он стал еще молчаливее. Сухо сообщил он о том, как можно упрощать фразу, как из нее вычеркивать подсобные слова. Большие льды-льдины смысла приплывут сами, фраза должна быть свободной.

Хочу кончить, потому что не надо вспоминать больше того, чем помнишь.

Человек связан с земным тяготением — это истина. Мы привыкли быть тяжелыми, но умеем прыгать, умеем летать.

Хотя бы в мечте можем преодолеть тяжесть.

Грин часто писал о людях, освобожденных от тяжести, но сохранивших новую весомость — весомость ответственности друг за друга.

Человек для человека — цель и путь.

НИК. ВЕРЖБИЦКИЙ

СВЕТЛАЯ ДУША

> До конца дней своих я хотел бы бродить по светлым странам моего воображения.
>
> *А. С. Грин*

В начале осени 1913 года А. С. Грин, только недавно приехавший в Москву, вдруг удивил меня неожиданным предложением:

— Поедем вместе в Питер. Завтра у Куприна день рождения[1], надо навестить старика.

Я знал, что Грин собирался в Москве засесть за большую вещь, поэтому такое заявление показалось мне странным. Ни с того ни с сего, накануне зимы, вернуться в Петербург — это значило опять надолго окунуться в целую кучу встреч и приключений, от которых Грин, собственно говоря, и бежал, рассчитывая на спокойную жизнь в Москве, где у него был очень ограниченный круг знакомых.

Тем не менее я согласился ехать. По всему было видно, что Грин находится в каком-то смятении и что ему нужен спокойный заботливый спутник.

...В Гатчину мы явились на другой день вечером. У Куприна было много гостей. Он растрогался, узнав, что мы, желая поздравить его с сорокатрехлетием, специально проделали путь в шестьсот верст.

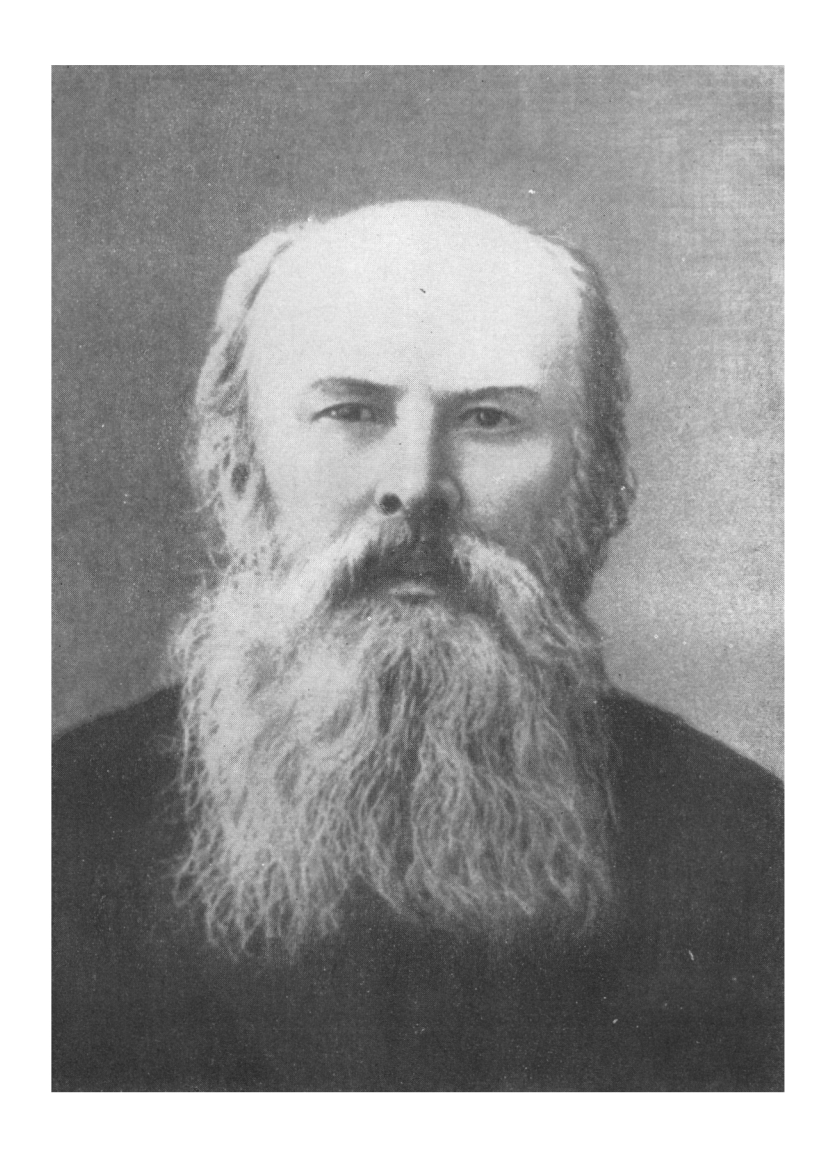
Беседуя, Александр Иванович всё время как-то загадочно поглядывал на Грина, а после ужина отвел меня в сторону и спросил:

— Можете поклясться, что приехали из Москвы?

— Клянусь! — воскликнул я, торжественно подняв над головой два пальца правой руки. (Это был у нас знак абсолютной правдивости.)



А. С. Грин. На обороте надпись: «Моей горячо любимой Вере. 18-го окт. 1908 г.».

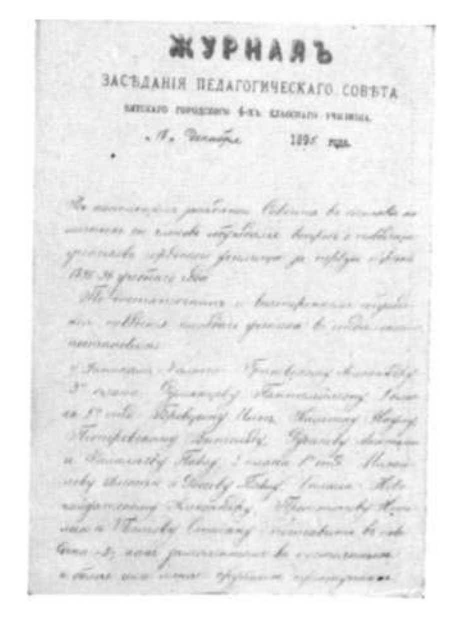


Стефан Евзибиевич (Степан Евсеевич) Гриневский. 1900-е годы.



Здание городского училища в Вятке.

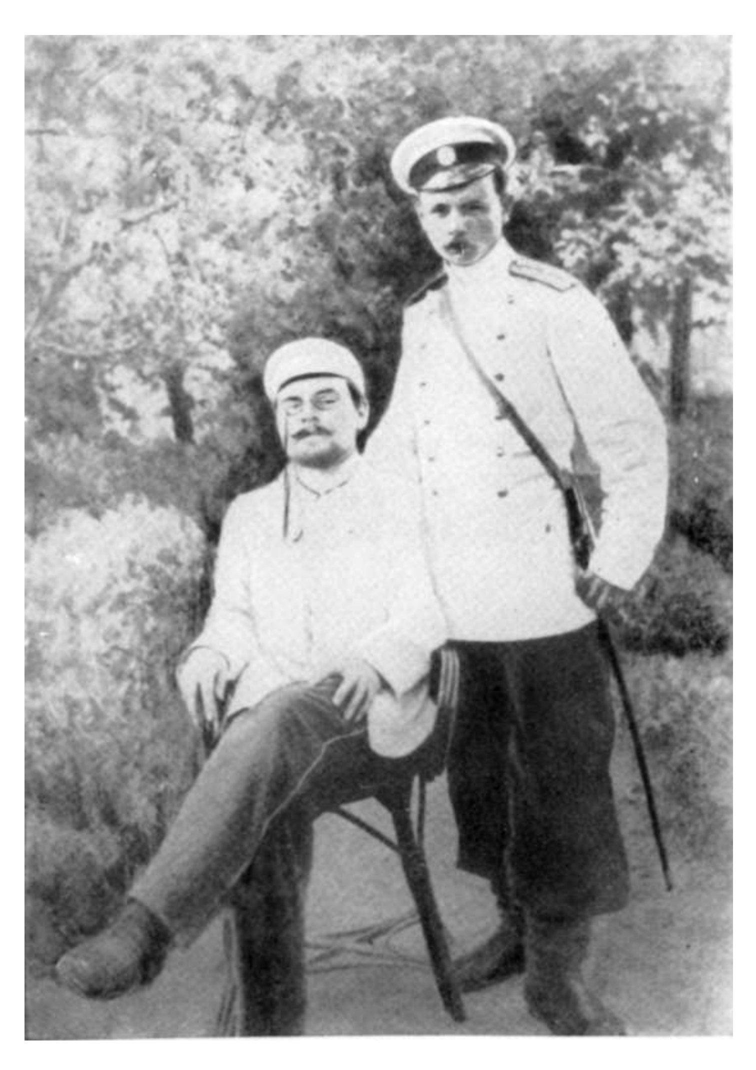
Фотография 1966 г.



ЖУРНАЛЪ

ЗАСѢДАНІЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАГО СОВѢТА

Первая страница журнала заседаний педагогического совета Вятского городского четырехклассного училища. (Публикуется впервые.)



Братья Студенцовы: Александр (стоит) и Николай. 1903 г.



Вера Павловна Абрамова. Конец 1890-х годов. (Публикуется впервые.)



Севастополь с запада.
Фотография начала XX в.



Наум Яковлевич Быховскии. 1890-е годы. (Публикуется впервые.)



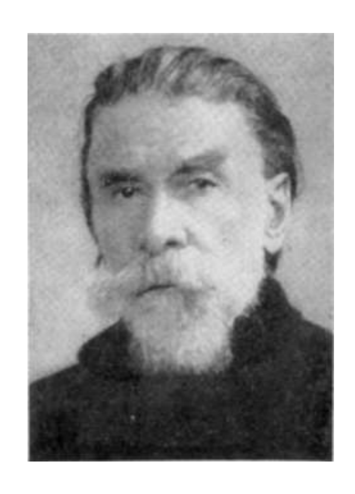
Григорий Федорович Чеботарев.
Фрагмент фотографии. 1910 г.



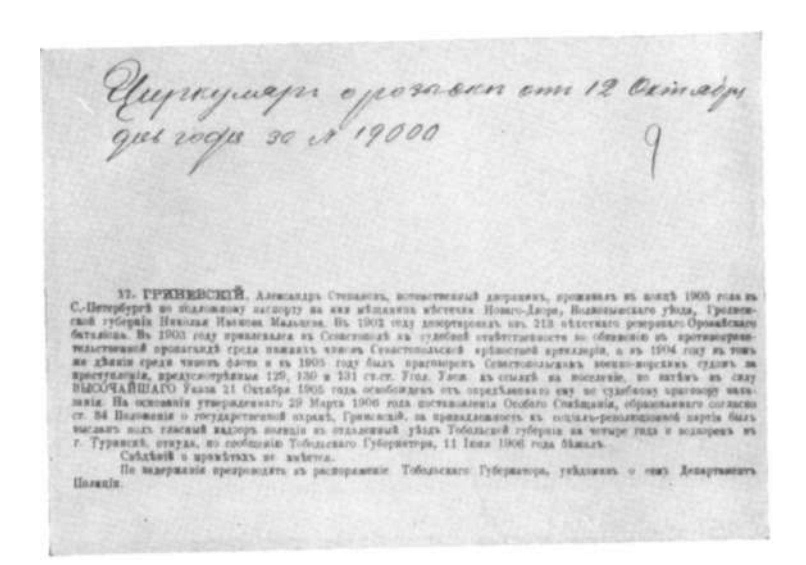
Виктор Бибергаль (слева) и Евгений Синегуб. Москва, 1903 г. (Публикуется впервые.)



Екатерина Александровна Бибергаль. Севастополь, 1903 г.



Виктор Сергеевич Миролюбов.



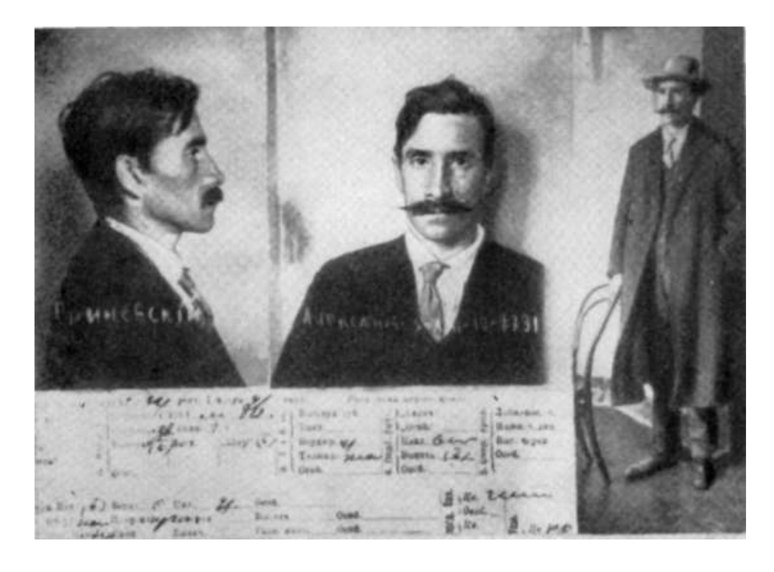
Циркуляръ розыска отъ 12 Октября сего года за № 19000 9

17. ГРИНЕВСКІЙ, Александръ Степановъ, потомственный дворянинъ, проживалъ въ концѣ 1905 года въ С.-Петербургѣ по подложному паспорту на имя мѣщанина мѣстечка Новаго-Двора, Волковысскаго уѣзда, Гродненской губерніи Николая Иванова Мальцева. Въ 1902 году дезертировалъ изъ 213 пѣхотнаго резервнаго Оровайскаго баталіона. Въ 1903 году привлекался въ Севастополѣ къ судебной отвѣтственности по обвиненію въ противоправительственной пропагандѣ среди нижнихъ чиновъ Севастопольской крѣпостной артиллеріи, а въ 1904 году въ томъ же дѣяніи среди чиновъ флота и въ 1905 году былъ приговоренъ Севастопольскимъ военно-морскимъ судомъ за преступленія, предусмотрѣнныя 129, 130 и 131 ст.ст. Угол. Улож. къ ссылкѣ на поселеніе, но затѣмъ въ силу ВЫСОЧАЙШАГО Указа 21 Октября 1905 года освобожденъ отъ опредѣленнаго ему по судебному приговору наказанія. На основаніи утвержденнаго 29 Марта 1906 года постановленія Особаго Совѣщанія, образованнаго согласно ст. 34 Положенія о государственной охранѣ, Гриневскій, за принадлежность къ соціалъ-революціонной партіи былъ высланъ подъ гласный надзоръ полиціи въ отдаленный уѣздъ Тобольской губерніи на четыре года и водворенъ въ г. Туринскѣ, откуда, по сообщенію Тобольскаго Губернатора, 11 Іюня 1906 года бѣжалъ.

Свѣдѣній о примѣтахъ не имѣется.

По задержаніи препроводить въ распоряженіе Тобольскаго Губернатора, увѣдомивъ о семъ Департаментъ Полиціи.

Циркуляр департамента полиции о розыске бежавшего из ссылки А. С. Гриневского.



А. С. Грин. Август 1910 г. Снимок сделан в Петербургском охранном отделении.



А. С. Грин. 1916 год.



Обложка (брошюры) первого издания рассказа А. С. Грина «Заслуга рядового Пантелеева».



Сотрудники альманаха «Шиповник». Стоят (слева направо): Н. Олигер, П. Потемкин, А. Котылев, А. Грин. Сидят: Л. Андрусон, М. Арцыбашев, Н. Башкин, В. Ленский, Я. Годин.


ПОСЛУЖНОЙ СПИСОКЪ
213 пѣхотнаго резервнаго Оровайскаго полка

№ 2589
103 ДѢЛО
ДѢПАРТАМЕНТА
ПОЛИЦIИ.
7 ДѢЛОПРОИЗВОДСТВО

ДѢЛО
ДЕПАРТАМЕНТА
ПОЛИЦIИ.
ДѢЛОПРОИЗВОДСТВО

Послужной список солдата Александра Гриневского и обложки двух дел департамента полиции о пропаганде среди войск Севастополя. (Публикуются впервые.)

Обложки дел департамента полиции об Александре Григорьеве—Гриневском. (Обложки дел 2992 ч. 10 и 3147 — публикуются впервые.) ▷



№ 2589.б
1903
ДѢЛО
ДЕПАРТАМЕНТА
ПОЛИЦІИ.
7 ДѢЛОПРОИЗВОДСТВО
№ 2992.10
1903
ДѢЛО
ДЕПАРТАМЕНТА
ПОЛИЦІИ.
7 ДѢЛОПРОИЗВОДСТВО.
№ 3147
1903
ДѢЛО
ДЕПАРТАМЕНТА
ПОЛИЦІИ.
7 ДѢЛОПРОИЗВОДСТВО
№ 1011
906
ДѢЛО
ДЕПАРТАМЕНТА
ПОЛИЦІИ.
7 ДѢЛОПРОИЗВОДСТВО
ЗАКОНЧЕНО.
Начато 27/I 1906 года.
Кончено 190 года.
На листахъ.



ОТКРЫТЫЙ ЛИСТЪ

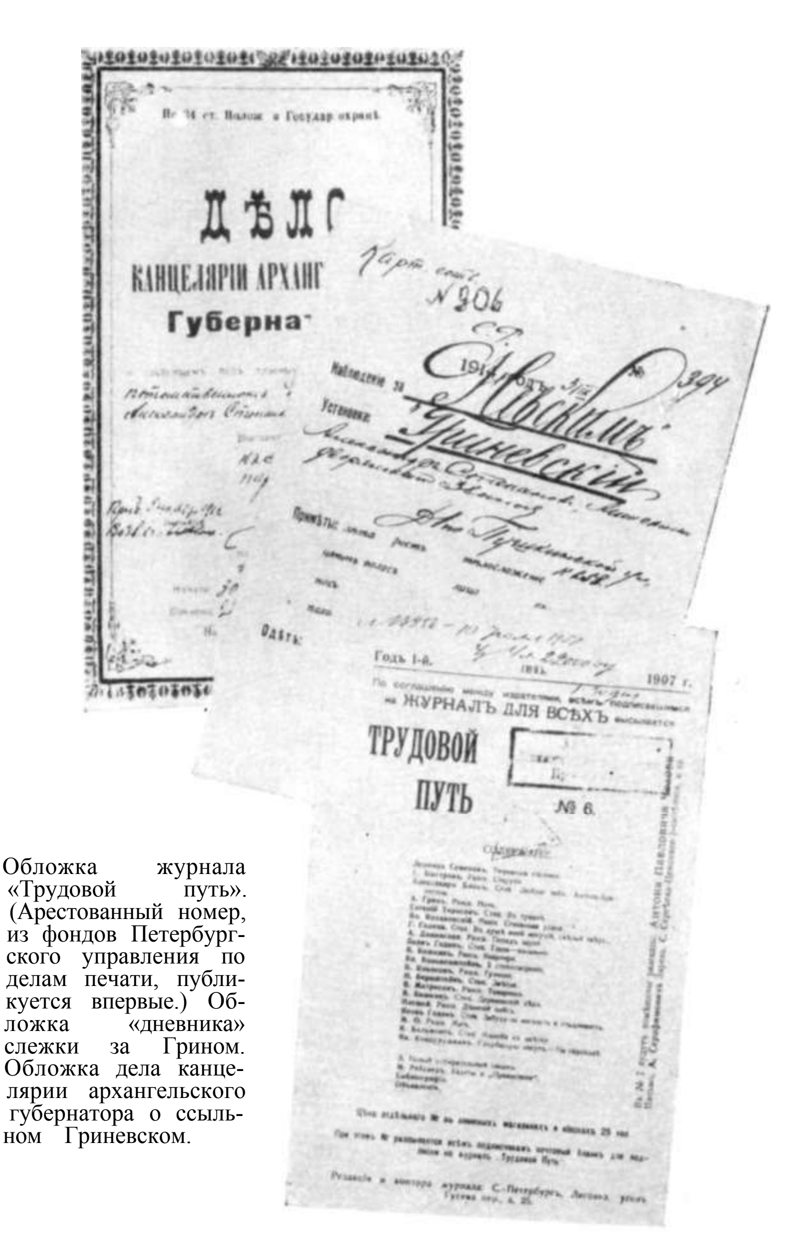
№ 861
1906

ДѢЛО
Отдѣленія
Канцеляріи Главнаго Управленія
по дѣламъ печати.

№ 307

ДѢЛО
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО К
по дѣламъ печ
1906 г.

СЛОВЕСНАЯ ПРОСЬБА,
заявленная Архангельскому Губернатору.



Обложка журнала «Трудовой путь». (Арестованный номер, из фондов Петербургского управления по делам печати, публикуется впервые.) Обложка «дневника» слежки за Грином. Обложка дела канцелярии архангельского губернатора о ссыльном Гриневском.

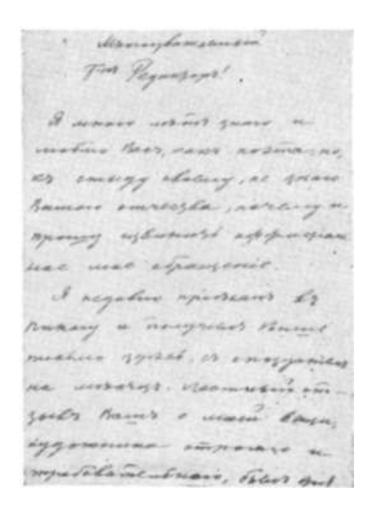
◁ Открытый лист арестанта А. Гриневского, сопровождавший его в ссылку в Тобольск. Обложки дел Петербургского и Главного управлений по делам печати о первых рассказах Грина «Заслуга рядового Пантелеева» и «Слон и Моська». (Публикуется впервые.) Словесная просьба архангельскому губернатору. (Публикуется впервые.)



А. С. Грин. Апрель 1911 г. Снимок сделан в Архангельске.



В. Воинов, Е. Хохлов, Н. Вержбицкий (слева направо). 1910 г.



Милостивый
Гос. Редактор!

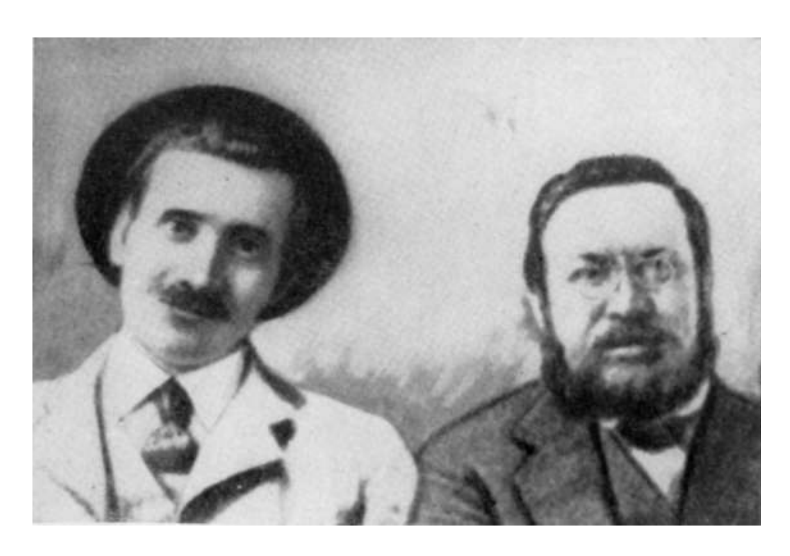
Я много лет знаю и люблю Вас, как поэта, но, к стыду моему, не знаю Вашего отчества, почему и прошу извинить неофициальное мое обращение.

Я недавно приехал в [illegible] и получил [illegible]

Первая страница письма А. С. Грина В. Я. Брюсову. (Публикуется впервые.)



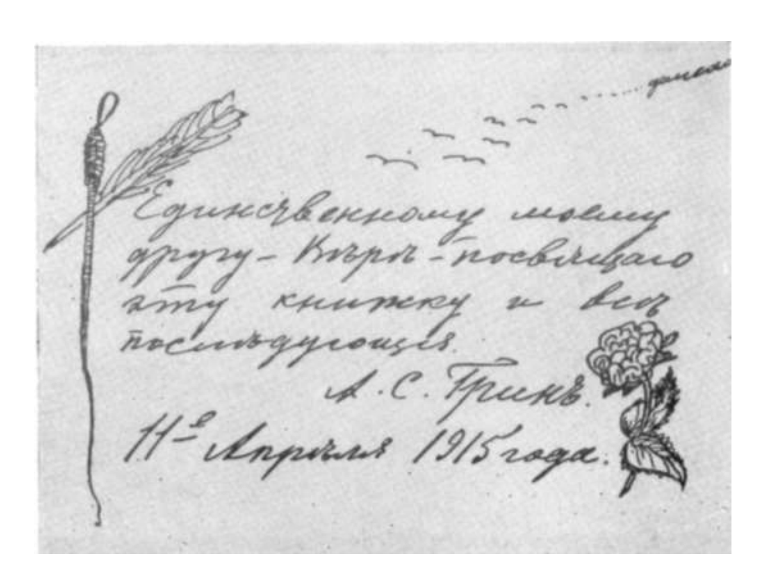
Пинега.
Открытка начала XX в.



А. С. Грин и Л. И. Андрусон. 1913 г. (Редкий снимок.)



А. С. Грин и Е. П. Иванов. 1915 г. (Фотография представлена З. А. Милютиной.)



Единственному моему другу – Кэрдъ – посвящаю эту книжку и всѣ послѣдующiя.
А. С. Гринъ.
11-е Апрѣля 1915 года.

Посвящение А. С. Грина на книге «Загадочные истории». Петроград, 1915 г.



Шутливый рисунок, появившийся в газете «Чертова перешница» в 1918 г.
«Усыновление» журналистом И. М. Василевским поэта А. С. Рославлева. Среди присутствующих А. И. Куприн (у стола), за ним А. С. Грин.



Всероссийский Союз Писателей.

Московский Отдел

ЧЛЕНСКИЙ БИЛЕТ № 425

Предъявитель сего Александр Степанович Грин

Состоит членом Всероссийского Союза Писателей.

Всероссийский Союз Писателей МОСКВА

Председатель

Секретарь

Москва 6 1925 г.

Билет действителен по 1925 г.

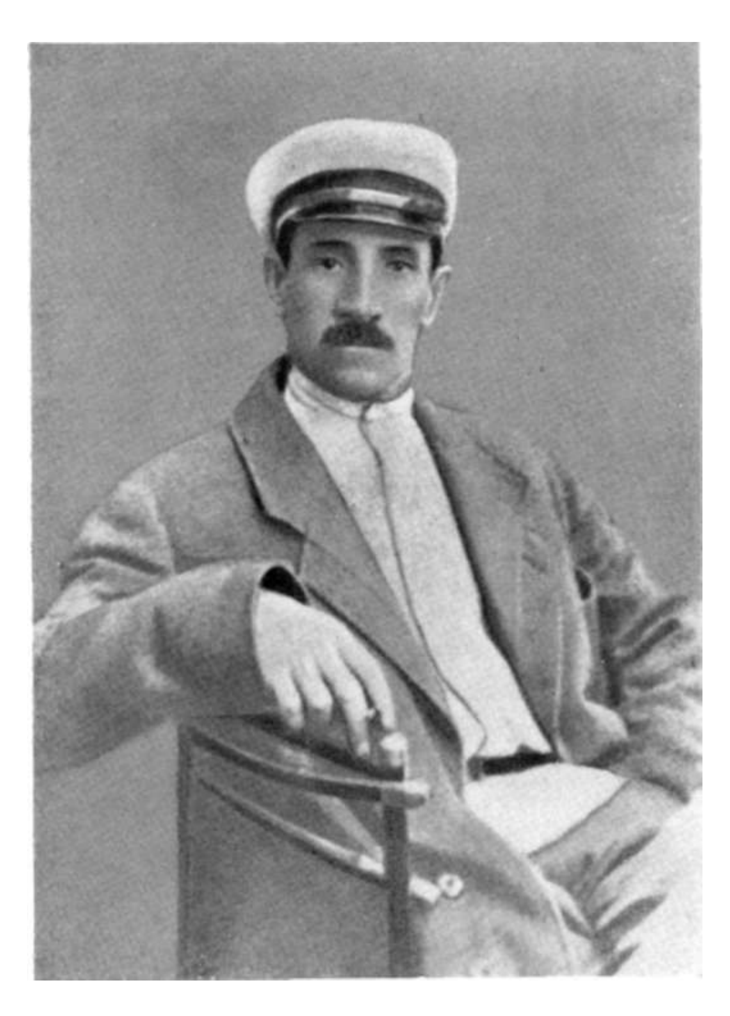
Билет члена Всероссийского союза писателей А. С. Грина. (Публикуется впервые.)



Дом искусств. Фотография сделана летом 1971 г.



Мария Сергеевна Алонкина. Крым, 1923 г.

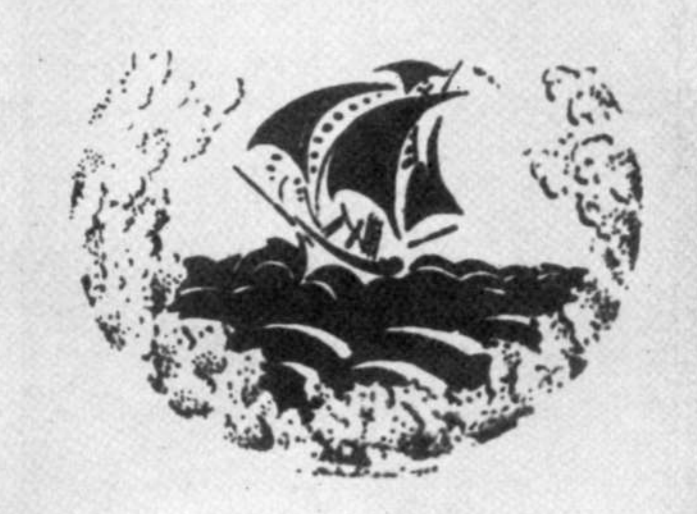


А. С. Грин. Севастополь, 1923 г.

Обложка первого издания «Алых парусов». ▷

А. С. ГРИН

АЛЫЕ ПАРУСА



ИЗ-ВО Л. Д. ФРЕНКЕЛЬ

1923



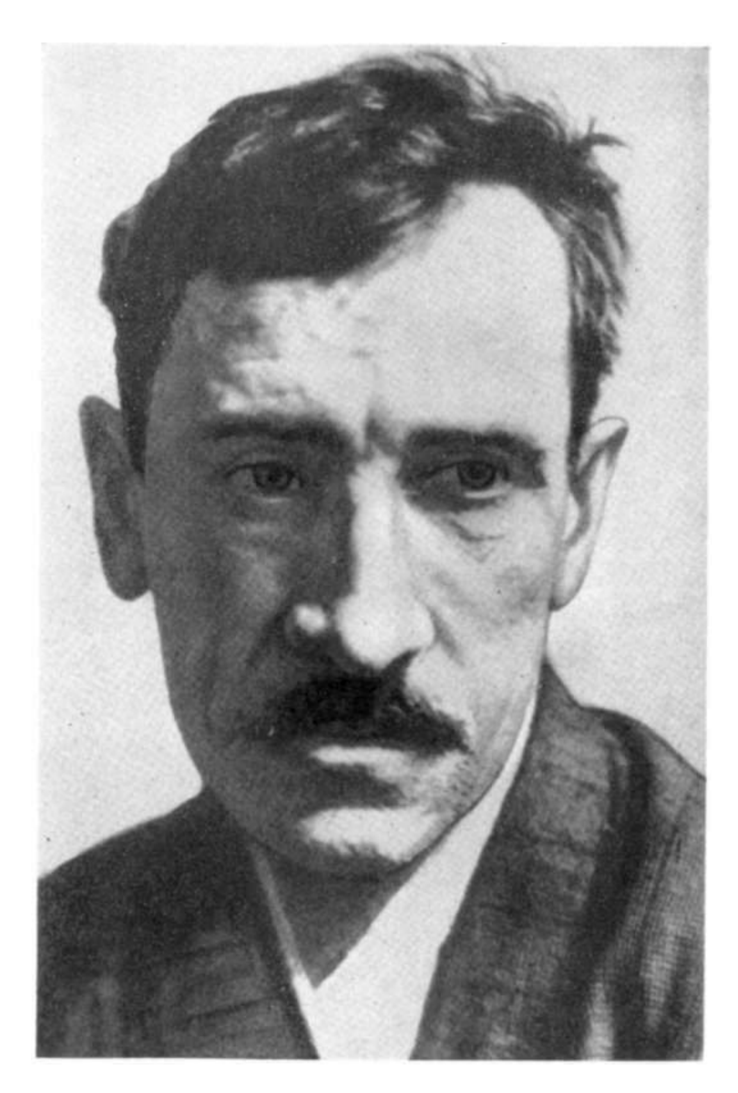
Нина Николаевна Грин. 1920-е годы.



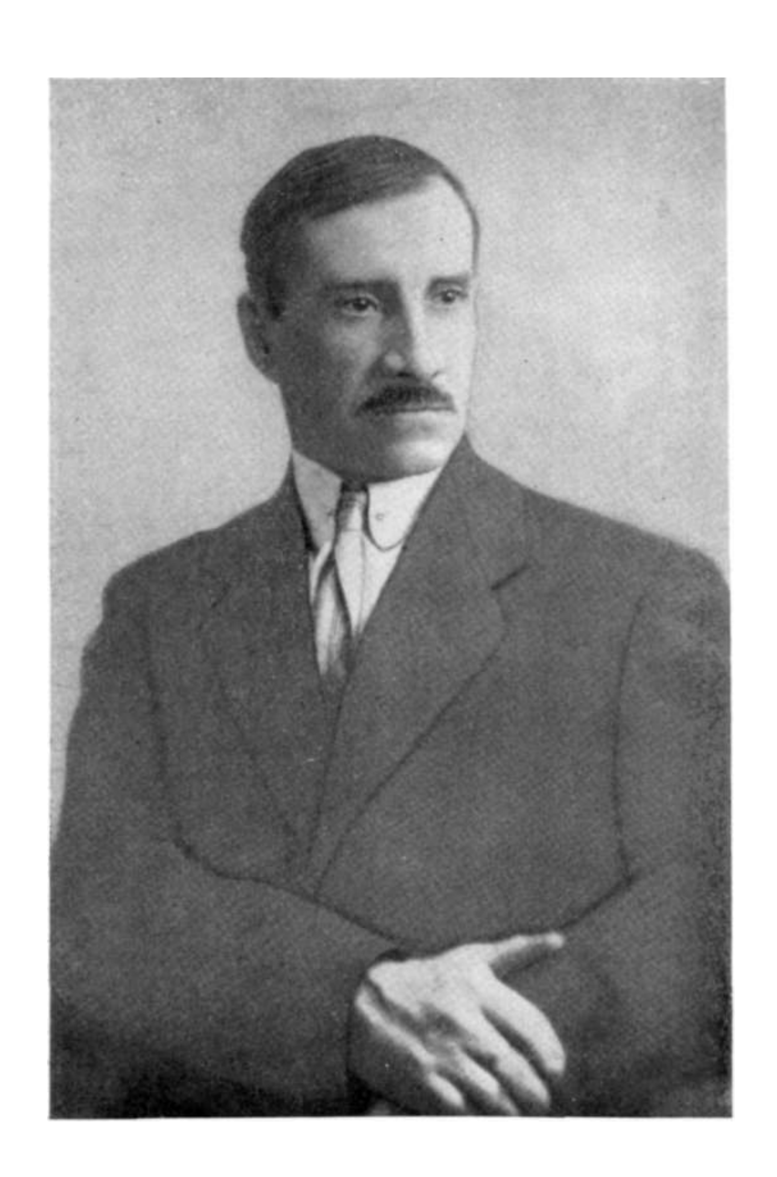
Обложка последнего номера журнала «Огонек» за 1926 г.

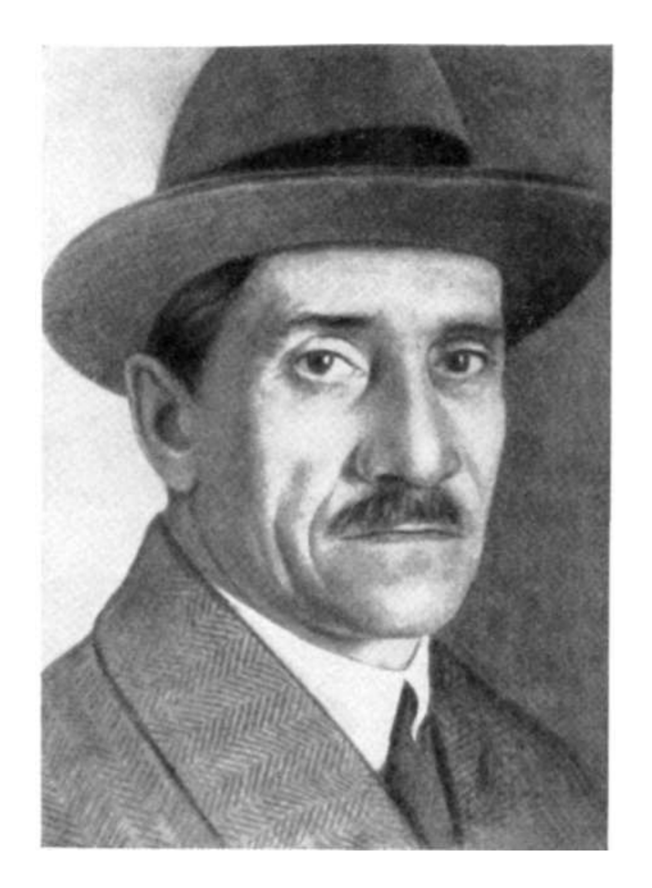


А. С. Грин. 1924 г.
Фотография Оцупа.



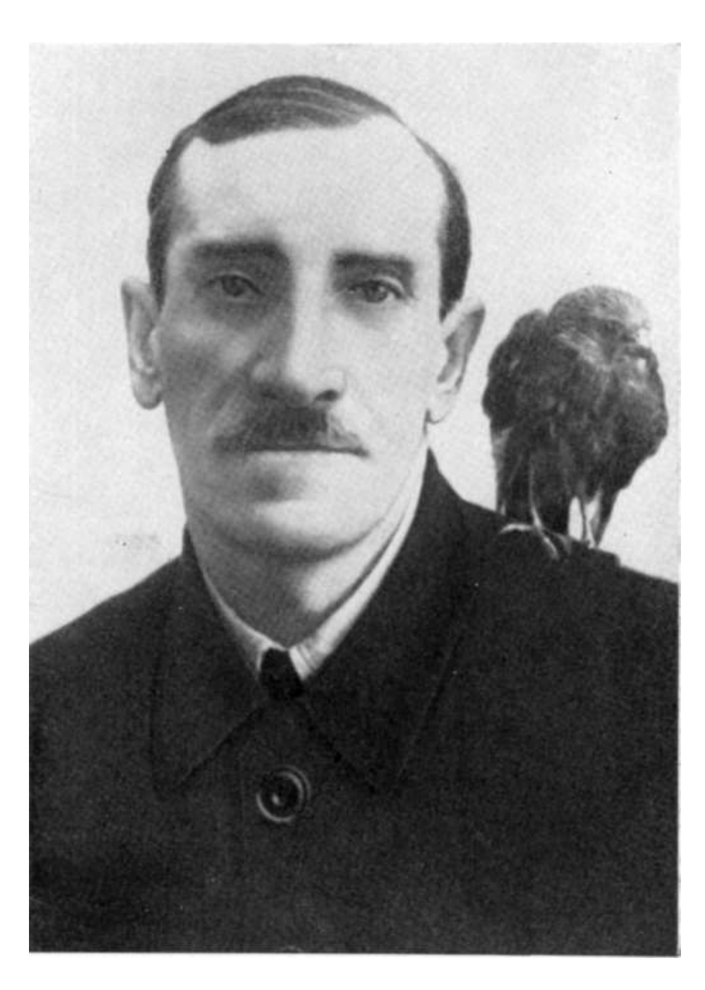
А. С. Грин. 1924 г.
Фотография Оцупа.





А. С. Грин. 1928 г.

◁ А. С. Грин. 1926 г.



А. С. Грин с ястребом Гулем.

Охотник и петушок.

(из повести „Таинственный лес".)

От автора. В настоящем произведении изображена природа Пинежского уезда, Архангельской губернии. Автор был там ссыльным в 1910-11 году.

Среди ~~[illegible]~~ бесчисленных озер этого края автору хорошо помнится одно огромное овальное озеро, погруженное в раму мрачно-зеленого леса. На стальной, с голубыми пятнами, не подверженной морщинам и ряби, глади озера плавали два лебедя.

Первая страница предисловия А. С. Грина к отрывку из повести «Таинственный лес».

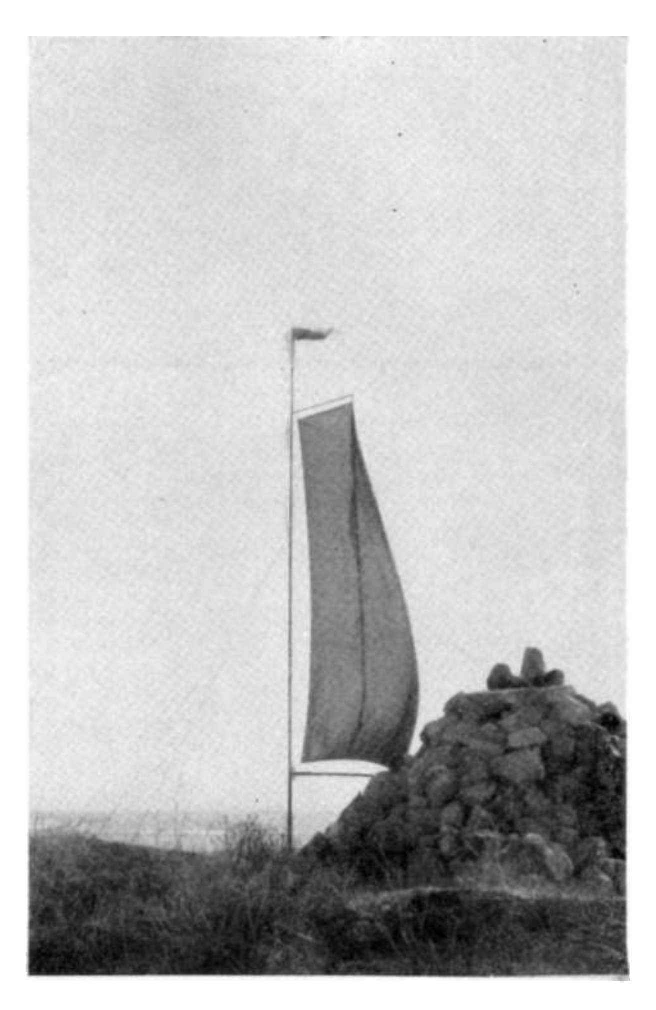


А. С. Грин за две недели до смерти. Июнь 1932 г.

Мемориальная доска на Доме-музее А. С. Грина в Феодосии. ▷

В ЭТОМ ДОМЕ
С МАЯ 1921
ПО НОЯБРЬ 1923
ЖИЛ И РАБОТАЛ
ПИСАТЕЛЬ-
РОМАНТИК

АЛЕКСАНДР
ГРИН



Алый стяг над Старым Крымом. Его установили в августе 1970 г. ребята из ленинградского клуба «Алые паруса».

— А мне тут кое-кто шепнул, что Грин давно уже под замком у «Ивана Ивановича»...

«Иван Иванович» — это было условное обозначение одной частной психиатрической лечебницы.

— Первый раз слышу! — заявил я. — Он пробыл в Москве дней десять... Хотел работать... Об «Иване Ивановиче» не было ни ползвука...

— Хорошо. Кончим на этом, — сказал Куприн. — «Из дальнейшего читателям станет ясно...» — как пишет в своих романах Брешко-Брешковский...

Согласно обычаю, сидение за столом продолжалось до глубокой ночи. Из разговоров, которые происходили, мне запомнился спор Куприна с видным журналистом Б. Журналист, «примыкавший к социал-демократам», доказывал, что дальнейший путь человечества, ведущий в «царство радостного труда и безмятежного счастья», лежит через мирную договоренность классов, с помощью последовательных реформ и соглашений. Журналист принадлежал к меньшевистскому толку.

Куприн решительно отрицал мирный путь, который, по его мнению, для России никак не годился. Кроме того, он настаивал на полной непримиримости интересов богатых и бедных.

Вмешался Грин.

Он предложил, решая социальные вопросы, не забывать и про географию.

— Почти вся известная нам история человечества, — сказал он, — творилась на маленьком полуострове, который мы называем Европой. Почему нельзя допустить, что в дальнейшем ее возьмут в свои руки люди, населяющие основной и притом колоссальный материк — Азию? В душе Востока много для нас таинственного и непонятного.

Помнится, что никто серьезно не принял этого замечания Грина, хотя у всех на свежей памяти была русско-японская война.

Кто-то вспомнил про судьбу гуннов, о миллионных полчищах Чингисхана, кто-то пошутил насчет Великой китайской стены. Только Куприн вдруг насупился и умолк. Его всегда занимали и волновали вопросы далекого будущего в масштабе всего человечества. А когда выбрался подходящий момент, он вплотную приблизился к Грину, как он это любил делать во время самого доверительного разговора, и пробурчал:

8 Зак. № 272

— Насчет азиатов — это слишком страшно и слишком серьезно, чтобы отделываться шутками... Я много думаю об этом. И может быть, именно потому, что сам на две трети принадлежу к азиатам...

По-видимому, ему захотелось напомнить, что он со стороны матери чистейший татаро-монгол, а со стороны отца — тоже какой-то, как тогда говорили, «инородец» восточного происхождения.

Рассказываю об этом, потому что сейчас, спустя полвека, интересно вспомнить, какие вопросы обсуждались тогдашними писателями даже за пиршественным столом.

Есть люди, которые до сей поры утверждают, что после революции 1905 года, при наступившей реакции, почти вся русская литература стала приносить обильные жертвы на алтарь безверия, уныния и равнодушия. Если это и правда, то только по отношению к некоторым изолированным группам литераторов, которых Горький так резко, но вполне справедливо обозвал «смертяшкиными».

Купринская группа, включая Грина, никогда к этим людям не принадлежала, декадентов и гробокопателей высмеивала. Даже порядочное время спустя, в эмиграции, когда общая судьба отверженных родиной людей должна была несколько сгладить взаимную неприязнь, Куприн в Париже люто ненавидел «господ Мережковских» и наградил их меткой и убийственной кличкой: «отравители колодцев».

* * *

Мы с Грином вернулись в Петербург часа в три ночи.

Вышли из Варшавского вокзала, ступили на тротуар, оглянулись по сторонам и увидели, что оглядываться, собственно говоря, не на что. Город был плотно закутан в густейший молочный туман. Такого тумана я, уроженец Питера, никогда в жизни не видел. Это был неосязаемый океан чего-то белого, насыщенного щекочущим ноздри запахом пароходного, фабричного и печного дыма, который, как это обычно бывает, завязнув в тумане, стелется низко над самой землей.

Медленно и осторожно двигаясь по тротуару от одного светлого фонарного пятна к другому, мы вдруг с величайшей радостью наткнулись на извозчика. Подо-

шли к нему на расстояние полушага и увидели, как он, сгорбившись, сидит на облучке, опустив голову и засунув руки в рукава.

Ночной извозчик — классическая фигура старого Петербурга. Вот эдак, ночь за ночью, часами дожидался он случайного, большей частью хмельного седока, который за тридцать копеек нанимал его куда-нибудь на Черную речку или в Гавань. Худая кляча два часа тряслась по булыжникам. Потом седок, не расплатившись, исчезал через проходной двор, а несчастный «ванька» (так звали тогда питерских извозчиков) в отчаянии хлопал себя по бедрам и крыл всех бар распоследними словами.

Наш извозчик, очевидно по причине тумана, решил вообще не двигаться с места. И нам больших хлопот стоило уговорить его отвезти нас, через весь город, на Петербургскую сторону. В конце концов он согласился, наверное потому, что уж очень скучно было оставаться в одиночестве среди этакого туманища.

И вот мы поехали, то и дело натыкаясь на фонари и тумбы. Пешеходов не было, трамваи не ходили, автомобили тогда были в редкость. Единственными указателями направления служили длинные и невыразимо тоскливые гудки, несущиеся со стороны Невы, — это пароходы и буксиры предупреждали друг друга.

Очевидно, Грина нервировала эта таинственная обстановка. Он без конца говорил, и я впервые имел возможность более или менее близко прикоснуться к его беспокойной душе.

Впрочем, говорил он довольно бессвязно. Это всё были какие-то невеселые воспоминания, часто переходившие в жалобы. Иногда прорывались скорбные фразы о том, как трудно устроить личную жизнь, а в особенности — поладить с женщиной, которая не может или не хочет тебя понять...

Такого рода излияния стали для меня понятны, когда я узнал, что Грин везет меня к своей жене Вере, жившей на Зелениной улице.

Впрочем, она нас не приняла, и мы снова очутились на улице. Грин сказал извозчику, что теперь мы поедем в Старую деревню. Это было еще верст пять.

И снова извозчик почему-то согласился, и мы через мост выехали на Крестовский остров, представлявший собою огромный парк.

Здесь мрачное впечатление от тумана дополнялось еще таинственным шумом деревьев и однообразным шуршанием колес по крупному песку аллей.

Мы очень долго ехали по этим аллеям. Вдруг Грин схватил меня за плечо и стал взволнованно говорить мне на ухо, показывая куда-то в сторону:

— Видишь это светлое пятно? А под ним — видишь белую вывеску с надписью: «Цветы»? Так вот, представь себе, что мы уже третий раз проезжаем мимо этой вывески!.. Наблюдай!

Прошло минут десять, и действительно, мимо нас снова проплыл цветочный киоск, заколоченный досками и освещенный фонарем.

— Мы кружимся около него, как на карусели! — дрожащим от волнения голосом сказал Грин.

— Какая там карусель? С чего ты взял? — заявил я, чувствуя, однако, что и меня охватывает какое-то неприятное чувство.

— Ты понимаешь — извозчик не может выбраться из заколдованного круга и мы будем здесь вертеться, пока не сойдем с ума!

Грин уже не сдерживал себя. Голос его звенел. Ткнув кулаком в спину возницы, он закричал во всё горло:

— Ты что же, не видишь, что мы кружимся на одном месте? Сейчас же поворачивай куда-нибудь в сторону!

Извозчик молча пощелкивал языком, понуждая лошадку, а она мерным «трюхом» продолжала тащить пролетку.

Скоро мы увидели проклятый киоск в пятый, потом в шестой раз. Для меня стало совершенно ясно, что мы попали на так называемое «корсо» — круговую аллею, по которой летом, чтобы показать себя, выезжала на собственных экипажах петербургская знать: богатые, роскошно одетые дамы и девицы с их кавалерами, гарцующими рядом на породистых лошадях.

Как бы там ни было, нервы Грина не выдержали. Он взревел:

— Сейчас же сворачивай в сторону, гужеедская твоя душа! Если не свернешь, я тебя тут же на месте застрелю! Вот, револьвер в моей руке!

Никакого револьвера не было. Тем не менее угроза подействовала, но совершенно неожиданным для нас

образом. Дальше всё пошло точь-в-точь, как в известном чеховском рассказе: извозчик мешком свалился с облучка и исчез в тумане. Лошадь остановилась. Нас со всех сторон охватила мертвая тишина.

— Не нужно было так грозно, — сказал я. — Что же мы теперь будем без него делать?

— Пойдем искать этого чудака, — после некоторого раздумья предложил Грин.

Ауканье, поиски и уговоры заняли не менее часа.

Общими усилиями мы выбрались наконец из «корсо» и через Елагин остров попали в Старую деревню — отдаленный пригород столицы.

Здесь меня ждала новая неожиданность — мы оказались у «Ивана Ивановича», о котором говорил всеведущий Куприн.

Директор частной психиатрической лечебницы встретил нас молча и недружелюбно. Дал выспаться, а утром в очень решительной форме заявил Грину:

— Я, как-никак, несу за вас ответственность, а вы убежали тайком неизвестно куда и пропадали целый месяц... Давайте расстанемся по-хорошему... Вот ваши вещи и вот вам рубль на дорогу...[2]

* * *

После этого у нас с Грином началась совместная жизнь в подвальной комнате на Боровой улице.

Надо было писать, зарабатывать на жизнь.

Быстрее всего дело оборачивалось в еженедельных журналах. Туда можно было принести рассказ или стихотворение и тут же получить от редактора записку в бухгалтерию с просьбой — выдать подателю такую-то сумму. Суммы были невелики: за рассказ размером в пол-листа Грину платили шестьдесят—семьдесят рублей, я за строчку стихов получал от тридцати до пятидесяти копеек.

В нашей комнате было темновато. Для работы мы занимали места на двух смежных подоконниках — Грин слева, я справа. Работали молча. Грин писал на отдельных небольших листках, разборчивым почерком, с небольшим количеством поправок. Я заметил, что он, прежде чем написать фразу, долго ее обдумывает и в это время еле слышно что-то бормочет — видимо, пробует ее на слух про себя.

Мы с ним никогда не советовались и не читали друг другу только что написанное. Не бывало у нас серьезных разговоров и о том, что было уже напечатано. Мы как будто взаимно дали молчаливое обещание — не лезть один к другому в душу.

Тогда мне казалось, что таким образом соблюдается какое-то целомудрие. На самом деле это, наверное, была самая обыкновенная застенчивость. Мы оба прикрывали ее напускной грубостью и эксцентризмом. Явление довольно распространенное.

Скажу по правде, для меня было за глаза достаточно нескольких слов Грина, с которыми он однажды обратился ко мне, теребя ворот моего пиджака:

— Видишь ли... когда я пишу, мне всё время приходится беседовать с моими героями и даже спорить с ними. Они тоже не оставляют меня в покое своими рассуждениями... Наверное, и тебе было бы неприятно, если бы кто-нибудь, непрошеный и непосвященный, стал вмешиваться в твою интимную беседу... Ведь так?

Впрочем, однажды я не удержался и спросил (это интересовало всех): почему Грин избегает точной географии и обычных имен для своих героев?

Он сказал мне по этому поводу:

— Не думаю, что у тебя изменится отношение, ну, скажем, к Гамлету, если тебе скажут, что он не датчанин, а, допустим, житель Новой Зеландии...

Всё прошлое Грина, полное тяжелых испытаний — моральных и физических, — даже у очень выносливого человека могло бы воспитать одно только отвращение к жизни. К счастью для него, да и для нас, его читателей, этого не случилось. Может быть, оттого, что он еще в детстве привык просто убегать от всех мерзостей, которые его окружали в семье, в школе, на улице. Он запоем читал и перечитывал книги, где правда переплеталась с причудливой, веселой и трогательной выдумкой.

Став взрослым, Грин заслонялся от жуткой действительности царского режима светлыми видениями и мечтой о том времени, когда будут жить одни только честные, трудолюбивые, добрые и светлые духом люди.

При этом он всегда повторял, что запрещать мечту — это значит не верить в счастье, а не верить в счастье — значит *не жить*...

Мы имели основания думать, что Грин среди писателей, к которым он относился с большой любовью и

уважением, особенно выделяет близкого ему по духу американского писателя Эдгара По. Когда мы жили вместе, он часто читал вслух его стихи, на стене у него висел портрет удивительного американца.

Когда Эдгара По называли «чистым фантастом», Грин решительно возражал.

— Надо же понимать, — говорил он, — что этот писатель создавал необыкновенное ради самого обыкновенного. Вот он чудесным образом воскрешает египетскую мумию. Для чего? Чтобы, опершись на это сверхъестественное событие, начать разговор о самых реальных вещах.

В другой раз, когда зашла речь о так называемой «чистой фантастике», Грин заявил:

— Нет ни чистой, ни смешанной фантастики. Писатель должен пользоваться необыкновенным только для того, чтобы привлечь внимание и начать разговор о самом обычном. Путешествие на Луну для Жюля Верна не было самоцелью; ему хотелось показать, как люди разных мыслей и темпераментов ведут себя во время этого рискованного путешествия, по каким путям течет изобретательный ум человека и что в конце концов руководит людьми, решившими добраться до спутника Земли...

В качестве другого примера Грин привел «Нос» Гоголя.

— Таинственное исчезновение носа, — говорил он, — понадобилось писателю для того, чтобы под этим неожиданным углом показать человечеству грубость и пошлость... Так же из вашей памяти быстро уплывает привидение в «Пиковой даме», потому что вас поглотила вполне реальная судьба Германна.

Как-то заговорили мы о так называемых «чудаках». Вспомнили, конечно, Дон-Кихота, мистера Пикквика, князя Мышкина...

Грин, улыбаясь так, как он умел улыбаться, — снисходительно, сквозь густые, коротко подстриженные усы, — заявил:

— И охота вам делать из чудаков каких-то белых ворон, людей не от мира сего! Да ведь это же — основа основ, костяк, на котором держится вся рыхлая и податливая мякоть, составляющая массу так называемых средних, нормальных, уравновешенных людей.

Можно было не сомневаться в том, что и Грин принадлежал к этой славной компании чудаков, особого,

российского пошиба, и, конечно, в самом тончайшем и изысканном смысле.

О его чудачествах и странных на первый взгляд поступках можно было бы рассказывать часами. Сейчас я не собираюсь этого делать, но считаю нужным заметить, что чудачество никогда не было для него чем-то надуманным, напускным, игрой, позой. Это шла у него от самого строя души — сложной и капризной.

Кое-кто считал Грина мистиком. Между тем он с едкой иронией относился к довольно обычным в те годы разговорам и суждениям о «таинственном», «сверхчувственном» в области человеческих представлений, от чего сильно попахивало поповством и мракобесием.

И вместе с тем у Грина были свои твердые убеждения, касающиеся всякого рода нераскрытых тайн природы.

— То, что вы называете «необыкновенным», — говорил он, — часто представляет собою не что иное, как самую подлинную действительность. И наоборот, действительность то и дело оборачивается настоящей фантастикой... Что может быть «таинственнее», то есть непонятнее, того, что ежеминутно происходит перед нашими глазами. Миллиард загадок! И как только мы решим какую-нибудь из них, это сейчас же выталкивает сотню новых загадочных явлений. Людская масса, ради своего спокойствия, старается об этом не думать и только «чудаки» и поэты, для которых закон не писан, иногда открывают нам глаза на то, что скрывается внутри явлений. В награду за это им достаются оплеухи...

* * *

Одно время в Петербурге ходил слух, будто Грин — просто-напросто полуграмотный матрос, не умеющий связать двух слов. А рассказы, которые он печатает, украдены им у какого-то капитана дальнего плавания, погибшего во время караблекрушения.

Особо «осведомленные» сплетники и фантазеры доходили даже до подробностей, рисуя картину, как во время этой катастрофы сам Грин спасается, привязав себя к большому сундуку, в котором находились рукописи капитана...

Слушая эти бредни, Александр Степанович только посвистывал и говорил с веселой усмешкой:

— Можно подумать, что я делюсь своим гонораром с этими услужливыми болтунами. Благодаря их россказням мои книжки лучше покупают!

Впрочем, он знал себе цену и шел своей дорогой.

Грин меньше всего был хвастлив. Он сам честно, без всяких преувеличений, определял уровень своего таланта. Вернее сказать, даже преуменьшал его. Мне запомнилась его фраза:

— Я принадлежу к третьестепенным писателям, но среди них, кажется, нахожусь на первом месте.

Тут во имя справедливости следует напомнить, что в те годы в первой шеренге писателей (по степени их популярности) стояли Потапенко, Муйжель, Лазаревский и некоторые другие, о которых сейчас можно узнать только по комплектам старых журналов.

Однажды я услышал от Грина такое замечание:

— Пушкин прекрасно знал, что он гениален. Но у него было достаточно ума и осторожности, чтобы никому об этом не говорить. Люди еще не доросли до того, чтобы спокойно принимать такого рода заявления, — они слишком ограниченны и завистливы.

Если Грина спрашивали о наилучшем, по его мнению, способе литературного изложения, он неизменно отвечал:

— Ставьте своих героев в самые трудные и замысловатые положения, а потом заставляйте их выкарабкиваться. Только тогда они начнут у вас жить, действовать и говорить — интересно, поучительно, с открытой душой... Ведь лучше всего узнаешь человека, когда он в некотором смятении. Например, когда он участвует в драке, объясняется в любви, играет в карты или получает деньги...

На простодушный вопрос одного начинающего беллетриста: «Как научиться хорошо писать?» — Грин ответил далеко не просто:

— Тренируйте воображение... Лелейте мечты...

* * *

Для меня не представляло загадки, почему Грин довольно быстро сошелся со мной и что́ помогло тому, что наша дружба ни разу не была омрачена ни одной крупной ссорой.

Мы ненавидели богатых и богатство, глубоко презирали мещан с их утиной психологией, высмеивали многочисленные недостатки тогдашней трусливой и серенькой интеллигенции.

Вместе с тем мы не имели оснований причислять себя к людям рабочего класса, хотя вместе с ними стояли у станков, знали, что такое выматывающий и отупляющий физический труд, ели с пролетариями из одной миски.

Мы оба стали литераторами не по наследству и не по воспитанию, а единственно только — по неистребимому душевному влечению. Без всякой рисовки можно было сказать, что писать для нас — значило жить, а жить — значило писать.

Еще нас сближало то, что в просторечии называется: «Они знают, почем фунт лиха!»

К характеристике наших отношений прибавлю, что нам очень часто удавалось отгадывать мысли друг друга и быстро договариваться в сложных обстоятельствах, несмотря на то что Грин был старше меня, опытнее и, прямо надо сказать, глубже понимал жизнь.

* * *

Из так называемых нравственных качеств, которые я имел возможность отметить у Грина, меня больше всего привлекали: доброта, врожденная и естественная деликатность и то, что мы понимаем под словом *порядочность* — душевная чистота.

Несмотря на свою нервную и вспыльчивую натуру, он никогда не был зачинщиком стычек и даже в сильно возбужденном состоянии часто отходил в сторону. И это вовсе не было признаком трусости, — в трусливой осторожности никто его упрекнуть не мог.

Я был свидетелем, когда, получив жестокое оскорбление, Грин сумел сдержать себя и, взвесив все обстоятельства, понял, что он сам дал серьезный повод для оскорбления, — в конце концов предложил мировую. Для такого поступка надо было иметь большое мужество и ясный ум.

Грина нельзя было назвать бессребреником. Но он ценил деньги главным образом за то, что они давали ему возможность доставлять людям какую-нибудь радость.

Никогда не забуду, как он подарил мне очень дорогое издание «Рейнеке-лис» с чудесными иллюстрациями. Это было сделано в дни, когда ему приходилось рассчитывать каждый гривенник. О том, чтобы не принять подарка, не могло быть и речи, — он бы жестоко обиделся.

В одну из поездок в Гатчину к Куприну он подарил писателю пару великолепных старинных шпор из серебра, купленных у какого-то любителя старины. Куприн — неистовый лошадник — был в восторге от такого подарка.

Еще до первой мировой войны, живя в Петербурге, Грин иногда проделывал такую вещь. Придя поздно вечером в Купеческий клуб на Фонтанке, где его хорошо знали швейцары и гардеробщики, он просил вызвать из игорной залы Якова Адольфовича Бронштейна.

Яков Адольфович, или, как его все в Петербурге звали, «дядя Яша», был инженер-химик, обаятельный, богемистый, с очень широкой душой человек, покровитель театральной и литературной молодежи, сам — талантливый чтец и импровизатор, — по-крупному играл в карты.

Бронштейн спускался в швейцарскую. Грин вручал ему пять рублей или даже трешницу и удалялся ждать в тот темный угол гардеробной, где стоял огромный клеенчатый диван с продавленным сиденьем.

Бронштейн полученную «мазу» присоединял к сумме, которую сам закладывал в очередной банк, и шла игра. В большинстве случаев банк срывали. Дяде Яше чертовски не везло. Будучи, как все игроки, суеверным, он приписывал свое невезенье тому, что принимал «мазу».

Однажды он так и сказал Грину:

— Больше мне своих трешек не приноси, иначе я пойду по миру!

В описываемый день Грин всё же уговорил его в *последний раз* принять деньги и вручил помятую пятирублевку. Это были его последние деньги, — на завтра не был обеспечен даже двадцатипятикопеечный обед в студенческой столовой.

Яков Адольфович, морщась, сунул кредитку в карман, и безнадежно махнув рукой, отправился наверх, в игорную.

Александр Степанович ждал его очень долго.

В пять часов утра дядя Яша усталой походкой медленно спустился с лестницы. Он еле стоял на ногах.

Лицо у него было бледное, волосы взъерошены, лоб в поту, сюртук перепачкан мелом. В руках он держал бутылку шампанского.

В изнеможении упав в кресло, он жестом попросил швейцара откупорить бутылку и налить в стаканы. А придя немного в себя, начал выволакивать из карманов деньги. Они горой выросли на диване перед изумленным Грином.

Подсчитали. Оказалась громадная сумма в несколько тысяч.

— Я бил, не снимая, девять рук! — не переводя дыхания, заявил дядя Яша. — Понимаешь *девять рук!..* За эти три часа у меня на голове вылезла половина волос!.. Возьми свои девятьсот рублей, а остальное помоги мне довезти до дому. Обрадую жену...

На этом событие не кончилось. Самое удивительное было впереди.

Отвезя деньги на Гороховую улицу, товарищи по удаче, не думая о сне, поехали в знакомую ночную чайную, где собиралась всякая «мелкая» публика, в том числе проститутки среднего и низшего ранга. К последним Яков Адольфович питал очень трогательное чувство весьма сложного содержания — что-то вроде отеческого покровительства, смешанного с глубокой жалостью к этим ни в чем не повинным «жертвам общественного темперамента», как их тогда называли.

Когда они явились, в чайной всем сразу стало известно, что дядя Яша и писатель Александр Степанович Грин решили устроить богатую, *как у порядочных,* свадьбу для одной очень бедной, некрасивой и неудачливой проститутки по прозвищу Манька-Суматоха. Ее брал в жены коридорный из меблированных комнат «Лиссабон» Ваня Анфилов. Брал по любви.

И свадьба действительно состоялась.

Всё было как полагается, вплоть до торжественного обряда бракосочетания, во время которого в Вознесенской церкви, в самом центре столицы, на Невском проспекте, пели знаменитые певчие из Александро-Невской лавры. Огромная церковь была набита битком и такой публикой, которая обычно никогда в храмы не заглядывала — разношерстными представителями петербургского «дна», жителями столичных трущоб. Поп только косился на этих затасканных, подозрительного вида людей с испитыми лицами, но обряд совершал

благообразно, в соответствии с солидной суммой, полученной от устроителей свадьбы.

Брачный пир состоялся не где-нибудь в кухмистерской, а в большом трактире второго разряда на Боровой улице под названием — «У Липатыча».

Ивану Липатовичу, хозяину трактира, была выдана сумма, достаточная для того, чтобы накормить и напоить сто человек.

Эти сто человек состояли главным образом из так называемых «бывших людей», по той или иной причине свихнувшихся на жизненном пути. Были здесь и проститутки, и люди различных темных профессий, и просто нищие. Всем было предоставлено право требовать кушанья и напитки, перечисленные в обширном меню. Блюда подавали официанты во фраках и в белых перчатках. На улице, у дверей трактира, стояли двое городовых, назначенных сюда для соблюдения порядка и для того, чтобы не пускать постороннюю, то есть «чистую» публику. Городовых назначил, после специального собеседования с дядей Яшей, сам пристав полицейского участка, весьма заинтересовавшийся этой невиданной свадьбой.

Жених и невеста сидели во главе длиннейшего стола. Невеста была в белом газовом платье, которое выбрал для нее Грин. Рядом с прибором невесты стоял большой букет из флердоранжей — символ девственности. Жених был в новом фраке с галунами и большими медными пуговицами, на которых стояла буква «Л» («Лиссабон»).

Пировали долго. Ели, пили, пели и танцевали бальные танцы — падепатинер и польку «Трам-блям». Четыре баяниста играли по очереди, без перерыва.

Блатная публика и девицы «легкого поведения» попросили разрешения спеть хором «Щеголяй!». И они вместе с новобрачными залихватски спели эту песню под грохот двух сотен каблуков.

Девки стукнули ногами!
  Щеголяй, Ваня, щеголяй!
Ширмачи, гуляйте с нами!
  Щеголяй, Маня, щеголяй!

Девки хлопнули в ладоши!
  Щеголяй, Ваня, щеголяй!
Пареньки будут хороши!
  Щеголяй, Маня, щеголяй!

Устроители свадьбы были назначены посаженными отцами, сидели на почетном месте, к ним подходили чокаться, в их честь пели только что подхваченное из «Живого трупа» цыганское:

С вашим-да покровительством
Мы не пропадем,
Весело и звонко
Время проведем!..

Никому и в голову не приходило, что вся эта затея устроена понарошку. Но вместе с тем все, безусловно, понимали, что это сделано неспроста, а в пику богатым и самодовольным людям, хозяевам жизни, которые чванно полагали, что только они достойны веселиться на «жизненном пиру».

Стоит ли говорить, что здесь, на этой развеселой свадьбе париев, невозможно было заметить и тени той тупоумной заносчивости, которой отличались пиры аристократов, буржуазии и подражавшей им состоятельной интеллигенции.

Могу также засвидетельствовать как участник и один из организаторов этого торжества, что (хотя для употребления спиртных напитков не ставилось никаких пределов) всё до самого конца шло очень прилично. Тут надо было отдать должное величайшему такту и распорядительности самого Липатыча и его помощников из администрации трактира. Если кто-нибудь «позволял» себе лишнее, эти простые люди находили нужные слова и сами уводили гостя, напоминая ему при этом:

— Имей уважение! Ты не с фрайерами сидишь, а с писателями!

* * *

Иногда мы с Грином затевали беседы на литературно-философские темы. Тут было о чем поспорить.

Скажу откровенно, что первое время мне была не особенно по душе некоторая отвлеченность иных рассуждений Александра Степановича. Мне казалось, что временами она приводит его к какой-то игре с тенями, а это было совершенно чуждо моим трезво-реалистическим воззрениям. Потребовалось много житейской практики для того, чтобы я понял, что и «потустороннее»

тоже находится не по ту, а по эту сторону нашего сознания.

Однако при дальнейших наших беседах повторение одних и тех же мыслей постепенно как бы скидывало покрывало, и мы находили возможность до чего-то договариваться.

По всегдашней моей привычке, я записывал некоторые наиболее интересные суждения Грина.

Надо сказать прямо, что особенной стройностью эти взгляды не отличались по той причине, что в них встречались суждения, не подкрепленные открытиями более зрелых мыслителей. Происходило это из-за недостаточной образованности моего друга, из-за его бессистемной начитанности.

Но меня всегда привлекала самобытность и искренность его суждений. Не говоря уже о том, что все они были пронизаны большой взволнованностью, которая так заражает нас при чтении произведений Грина,

Больше всего его беспокоило все нарастающее и у всех на глазах происходящее *усложнение жизни.* Ведь мы жили на стыке двух эпох, в переломные годы, которые с полным правом можно считать наиболее решающими за всю историю человечества.

Родившись в глухой Вятке, прожив там детство и юность, Александр Степанович бежал из дому и очутился в промышленном центре России, где, как он пишет в рассказе «Возвращенный ад», «всё задавило сознание, измученное непосильной работой. Наука, искусство, преступность, промышленность, любовь, общественность, крайне утончив и изощрив формы своих явлений, ринулись неисчислимой армией фактов на осаду рассудка, обложив духовный горизонт тучами... проблем».

Грину, выражаясь его же словами, пришлось «держать в жалком и неверном порядке, в относительном равновесии — весь этот хаос умозрительных и чувствительных впечатлений».

И он уставал от этого. До такой степени уставал, что ему хотелось сделаться сумасшедшим и на всё отвечать блаженно-идиотской улыбкой. Или же он спешил убежать в общество пошляков, «стараясь заразиться настроением холостяцких анекдотов и самодовольной грубости»... Но и это не спасало, так как с ужасом обнаруживалось, что «и пошленькое пристегнуто к дьявольскому колесу размышлений» [3].

Грин сам мне в этом не признавался, но легко было догадаться, что он и стиль, и сюжеты и даже внешний облик своих героев изобретал специально для того, чтобы этим сложным камуфляжем не только защищаться от обвинений в дилетантстве, но и самого себя, как писателя, вывести из страшной орбиты действительности[4].

Кроме того (не будем скрывать этого, может быть, бессознательного умысла), с такого рода литературным реквизитом можно было смелее выступать никому не ведомому новичку, неожиданно появившемуся среди таких светил, как Чехов, Бунин, Горький, Куприн, Андреев...

Повторю еще раз, что у Грина не было серьезного и систематического образования. Вырос он в бедной, малокультурной семье. По-видимому, у него не было и близких задушевных друзей. Значит, всё, что заполняло его душу и заставляло размышлять, терзаться сомнениями, верить и надеяться, — это был мир, раскрывавшийся в книгах, которые ему удалось прочесть за немногие годы перед бегством из семьи, до того, как он пустился в бродяжничество, связанное с тяжелыми материальными лишениями.

Когда я думал об этом, меня всегда поражало, что в обстановке тогдашнего всеобщего озлобления, темноты и тупости всё же не огрубела душа этого человека. Больше того, он всё время хранил в ней и накапливал чудесный дар любви к добру и красоте. Вот это было поистине чудо, которое, не боясь преувеличения, можно назвать верхом духовного мужества и самообладания.

* * *

Иногда в речах Грина проскальзывали нотки чрезмерного увлечения тайнами бытия. При беглом отношении к его рассуждениям по этому поводу можно было даже заподозрить его в некотором мистицизме. Об этом я говорил выше.

Но мне посчастливилось довольно близко познакомиться с внутренним миром, которым жил Грин, и я не нашел там ничего мистического, не поддающегося доводам разума.

Между прочим, я остановил свое внимание на том, что он часто наблюдает что-то поразившее его как бы на просвет, сквозь толщу обыденных явлений.

— Разве у тебя не было случаев, — спрашивал он, — когда до твоего внутреннего слуха доносится голос че-

ловека или смысл событий, находящихся очень далеко от тебя во времени и в пространстве?

Однажды Грин рассказал мне про такой случай.

Он любил девушку, и она отвечала ему большим чувством. Как-то вечером, когда он был совершенно один, среди полной тишины, она совершенно ясно сказала ему, как бы на ухо, несколько раз одно только слово: «Прощай!» Можно было с полной несомненностью различить тембр ее голоса и даже легкую картавость при произнесении буквы «р».

Грин записал час и минуты. На другой день утром послал телеграмму. Ему ответили, что девушка скончалась накануне вечером во время сердечного припадка[5].

«И я заключаю, — говорит Грин в одном из своих рассказов, — что мы ежесекундно подвергаемся тайному психическому воздействию миллиардов живых сознаний. Установить такую зависимость, когда изощренность нашего нервного аппарата граничит с чтением мыслей, было бы величайшим научным торжеством...»

Нужно ли говорить, что сейчас, во второй половине XX века, мы уже вплотную приближаемся к этому «научному торжеству», о котором с таким волнением говорил писатель.

* * *

Вот еще одна беглая запись, которая сохранилась у меня после беседы с Грином:

«У каждого человека есть нечто свое, совершенно своеобразное и неповторимое. Для организованной жизни и совместной работы это «нечто» нужно сперва поймать у самого себя, потом у окружающих и затем — всё это суметь сочетать...

Пусть мысль рождается у человека не сама по себе, а потому что ее организованно вызвали. Но нельзя превращать человека в машину. Его не сделаешь и не повторишь... Каждый живет по-разному. Вот в этом и искусство: соединить это разное (писателя и читателя) и привести к гармоническому согласию...»

* * *

Грина не только мало ценили, но даже объявляли его поставщиком низкопробной бульварщины, слабым подражателем Эдгара По, эпигоном Мак-Орлана, безыдейным космополитом...

Между тем произведения А, С. Грина продолжают свой победный путь в русской литературе и будут жить и волновать сердца еще долго. Потому что он говорит нам о благородстве, о чистоте помыслов, о великодушии, об умении прощать, о скромности, о борьбе с тщеславием. Он не мирится с тем, что добро может быть побеждено мелким и ничтожным в своей сущности злом.

* * *

Весной 1918 года произошел один совершенно необыкновенный случай, который убедил меня в том, что Грин, когда это было необходимо, умел владеть собой и быстро отыскивать выход из очень затруднительных обстоятельств.

Я тогда сотрудничал в московской «Газете для всех». Она, между прочим, выходила в свет и после того, как все буржуазные и соглашательские газеты были закрыты навсегда решением Трибунала по делам печати.

Грин жил у меня на Якиманке (ныне улица Димитрова). В одной квартире со мной снимала комнату молодая женщина Анна Берзинь — пышная, жизнерадостная латышка, жена молодого чекиста, тоже латыша.

Однажды утром Александр Степанович, не дождавшись меня, отправился в редакцию газеты, которая находилась около Никитских ворот.

Спустя полчаса я услышал его голос по телефону. Грин тревожно сообщил мне, что он арестован, сидит в кабинете редактора, у дверей — часовой, который его сторожит, а под окном на площади большая толпа солдат — латышских стрелков. Они чем-то очень возбуждены и ведут себя угрожающе.

— А где остальные сотрудники газеты? — спросил я, теряясь в догадках — что бы это такое могло произойти?

— Они показались за углом улицы, но, увидев, что происходит, скрылись.

Я вскочил на велосипед и помчался к Никитским воротам.

Действительно, вся площадь была запружена стрелками, недавно появившимися в Москве. Они сопровождали Советское правительство во время переезда его из Петрограда в Москву, а теперь были расквартированы для охраны в Кремле.

Когда я поднялся в редакцию, меня тотчас же окру-

жили вооруженные латыши и начали о чем-то кричать, размахивая перед моим лицом вчерашним номером газеты.

Я твердо знал, что в газете ничего не могло быть такого, что могло вызвать протест со стороны самого придирчивого сторонника советской власти, и пытался понять, чем же недовольны эти ребята.

— Вы хотите нам отрезать головы, но это вам не удастся, и мы сумеем за себя постоять! — наконец разобрал я в шуме голосов.

Чтобы мне всё стало понятно, один из стрелков взял со стола ножницы и вырезал на третьей полосе газеты напечатанный там талон, дававший право участвовать в какой-то лотерее (на талоне была надпись: «Вырежьте и предъявите»). Затем мне была показана оборотная сторона талона. На ней оказалась голова, одна только голова латышского стрелка.

У меня сразу же похолодела спина. Я представил себе грозный смысл этого удивительнейшего совпадения!

Для пояснения скажу, что газета на четвертой странице ежедневно помещала совершенно безобидные, отнюдь не шаржированные «зарисовки с натуры». На одной из них художник, не задаваясь никакими другими целями, как только дать новый реальный типаж советской Москве, изобразил солдата в полушубке, в валенках, с карабином за плечами, — именно так, как выглядели недавно появившиеся в Москве латышские стрелки.

Повторяю, сам по себе рисунок не мог вызвать никаких возражений. Но беда заключалась в том, что случайное расположение материала, сверстанного независимо друг от друга на двух противоположных страницах, оказалось таким, что читатель, вырезая талон на третьей странице, одновременно отрезал ножницами голову стрелку, нарисованному на четвертой странице!

В этом латыши увидели зловещий намек.

И очень трудно, почти невозможно было растолковать им, что каждая страница газеты верстается отдельно и в разное время и что вся эта история — результат чистейшей случайности, которую немыслимо было предугадать.

Так говорил им я. Сказал и о том, что редакция с большим уважением относится к стрелкам, взявшим на себя почетную обязанность охранять правительство в Кремле.

Ничто не действовало. Слишком убедительной казалась газетная вырезка с изображением безголового солдата, под которым была напечатана подпись «Латышский стрелок».

Грин сидел за столом в кабинете редактора. Когда я показался в дверях, он вопросительно уставился на меня.

Я рассказал, что произошло, и нам обоим захотелось расхохотаться. Но было далеко не до смеха.

Пробовали звонить знакомым товарищам в Московский комитет партии и в Моссовет, но ничего из этого не вышло. Все принимали наше сообщение за шутку и начинали смеяться.

Замечательный выход из этого дикого положения придумал Грин.

Прежде всего он посоветовал мне держаться совершенно спокойного тона, на том основании, что латыши — народ очень самолюбивый и решительный. А кроме того, они не обязаны знать секреты типографской техники.

— Это — дети, — сказал он. — Они видят факт и по прямой линии делают из него заключение... Чтобы избегнуть больших неприятностей, предлагаю попробовать уговорить их съездить на мотоцикле *к нам домой...*

— Домой?! — изумился я.

— Да, именно к нам на Якиманку. Ты забыл о том, что твоя соседка товарищ Анна — латышка, что ее улыбка напоминает утреннюю зарю и что она, наконец, очень с тобой дружна... Нет такой силы на свете, которая устояла бы перед обворожительной женской улыбкой!

Закончив свою речь такой элегантной фразой, Александр Степанович вступил с латышами в переговоры, и через несколько минут мы уже мчались на Якиманку.

Товарищ Анна была не одна — как раз в это время дома находился ее муж. Оба они дружески поговорили со стрелками, угостили их чаем, объяснили, что вся история с «отрезанной головой» — чистейшее недоразумение и что в редакции работают люди, которые не способны строить козни против советских воинов.

Стрелки уехали вполне удовлетворенные, шутили, извинялись за беспокойство и крепко пожимали нам руки.

Когда волнение улеглось, Грин сказал мне, поглаживая усы:

— Я, видишь ли, по природе очень рассеян и неловок. Ио жизнь научила меня некоторой находчивости. А кроме того, мне кажется, что в трудных случаях самое важное — найти такой выход, который больше действует не на логику и не на здравый смысл, а на то, что у каждого человека бьется где-то там в левой части грудной клетки...

* * *

Летом 1918 года мы с Грином поселились в Борвихе под Москвой.

Эта местность вполне оправдывала свое название. Здесь на много километров простирался настоящий сосновый бор, где в жаркие дни густо пахло смолой, ландышами и земляникой, где всегда стояла благодатная лесная тишина, а синее небо между верхушками деревьев казалось родным и близким.

На улицах Москвы гремели пушечные выстрелы, шла ожесточенная борьба. Левые социалисты-революционеры, ослепленные сумасбродной идеей, хотели захватить Кремль, но никак не могли попасть в него снарядами.

А мы сидели в Борвихе и ничего об этом не знали.

Спустя три дня всё кончилось — бунтарей перехватали, и до нас дошли подробности восстания.

Я в очень осторожной форме спросил Грина: как он относится к этой попытке свергнуть большевиков? Мне было известно, что он когда-то примыкал к партии социалистов-революционеров.

Александр Степанович пожал плечами и сказал:

— По-моему, уж если власть, то лучше власть во главе с умным, не тщеславным и умеющим пользоваться этой властью человеком.

— Это — о Ленине!

— Ну, разумеется, о нем... Вчера мне тут один старикан заявил: «Глупости бают, будто кто палку взял, тот и капрал... Простой кнутишко, а не то что палку, и его надо в руки с рассудком брать!.. Дурак — не ухватит!»

Спустя минуту Грин добавил:

— Наши мужики зд*о*рово понимают — что к чему... Именно поэтому я люблю ездить на извозчиках...

— При чем же тут извозчики?

— А они все — из мужиков. Кроме того, у них масса времени для размышлений... А что самое главное — им

с высокого облучка всё далеко видно... Ну, а теперь давай-ка помолчим обо всех этих делах... Пойдем в лес и подумаем...

Такая у Грина была манера — ни о чем серьезном не говорить с налета и по первому впечатлению.

Бродить по лесу, сливаться с безмолвием, часами лежать, запрокинув голову, на прохладной траве и прислушиваться к едва различимому шелесту хвои было наслаждением. В эти часы не хотелось ни говорить, ни слушать, ни думать.

Однажды во время прогулки по лесу, в стороне от еле заметной лесной дороги, под зарослями орешника мы приметили сидящего на корточках человека в помятой черной шляпе, оборванного и очень смуглого. Он что-то помешивал в почерневшем от копоти котелке, поставленном на угли костра.

Мы сели рядом и разговорились. В незнакомце нетрудно было узнать цыгана. Я спросил его:

— Где твое племя, твой табор?

Цыган пренебрежительно цекнул языком и сделал такое движение рукой, словно отталкивал от себя что-то неприятное.

Из дальнейшей беседы мы смогли понять, что этот человек *сам* оставил свой табор и свою семью, не желая мириться с некоторыми тяжелыми для него обычаями.

— Какие же это обычаи?

— Разные... старые обычаи... Они делают человека скотиной... Моя душа этого не принимает!

Сказав это с большим волнением, цыган постучал себя кулаком по груди.

— Почему же ты не идешь в город? — спросил Александр Степанович. — Мог бы там заняться каким-нибудь делом. А здесь ты бродишь по лесу, наверное живешь подаянием, унижаешься, спишь на земле... Даже у волка есть нора.

Цыган спокойно выслушал, остановив на Грине внимательный взгляд иссиня-карих глаз. А когда тот кончил, вместо ответа только улыбнулся и сделал широкий жест обеими руками, как будто призывал в свидетели всё, что было кругом, — лес, траву, небо, солнце — весь мир... Дескать, разве можно всё это оставить?

Когда мы возвращались домой, Грин много говорил о бродяге.

— Бесценная радость существования заключена для

нас в природе, потому что мы сами — неотделимые ее частички, — говорил он.

Потом стал говорить о городе, о цивилизации.

— Она воспитывает нас на жадности и насилии. Трудно сказать, когда мы наконец сумеем победить это зло. Кроме того, в моей голове никак не укладывается мысль, что насилие можно уничтожить насилием. «От палки родится палка!» — говорил мне один дагестанец...

— Что же, ты предпочитаешь подставлять левую щеку, если тебя ударят по правой? — спросил я. — Поверь, что это тоже не способ победить зло.

— Это мне *очень хорошо* известно, — задумчиво согласился Грин. — Я не толстовец. Всему миру известно, что добро иногда оборачивается злом... Но как в этом разобраться?..

Впоследствии Грин не раз вспоминал одинокого цыгана, и чувствовалось, что он глубоко и как-то по-своему понимает судьбу этого человека.

Для тех, кто читал гриновскую «Автобиографическую повесть», изданную в 1932 году, будет отчасти понятно такое отношение. Ведь сам писатель в молодости тоже оторвался от своего «табора», большую часть жизни провел одиноким скитальцем и только незадолго до смерти нашел преданного друга.

* * *

Когда мы жили в Борвихе, у Грина не было никаких средств к существованию. Чем он жил в это время, трудно было догадаться. И имущества у него никакого не было, кроме чемоданчика со сменой белья и куском мыла.

Устроившись на балконе у крестьянина-дачевладельца, он спал на войлоке, брошенном на сундук. А днем, свернув войлок в трубку, на этом же сундуке писал и ел, сидя на низенькой скамеечке.

Я взял с Александра Степановича слово, что он каждый день будет приходить пить чай и обедать к моей жене, жившей неподалеку. (Сам я в это время приезжал в Борвиху только по воскресеньям.)

Спустя неделю узнал, что Грин ни разу не приходил.

Пошел к нему. Поругал. А он только улыбнулся своей доброй и немного растерянной улыбкой и сказал:

— Да ведь вам самим нечего есть! Разве я не знаю?.. А меня здорово выручают грибы!

Как же они его выручали?

Грин собирал их, чистил, тут же в лесу разводил костер и поджаривал грибы на угольках, нанизывая их, как шашлык, на тонкую палочку.

Хлебных карточек у него не было. Да и хлеба в то время выдавали по сто граммов в день.

Иногда Грин ночью уходил в поле и выгребал руками картофелины величиной с грецкий орех. Ел их сырыми, немного подсаливая. Варить было нельзя — хозяин, узнав об этом, немедленно выгнал бы постояльца.

* * *

Приехал в Борвиху фельетонист большой буржуазной газеты «Русское слово» Петр Александрович Подашевский (Ашевский). Его газету закрыли, а он получил разрешение издавать свою собственную газету под названием «Честное слово».

Это была газета беспартийная, но, как тогда говорили, стоявшая «на советской платформе».

Ашевский пригласил нас работать в ней. При этом он не скрыл, что «Честное слово» будет находиться под покровительством такого крупного советского деятеля и большевика, как народный комиссар продовольствия товарищ Цюрупа.

Мы долго не размышляли и согласились сотрудничать. Поехали в Москву.

Грин снова поселился у меня на Якиманке, и мы каждый день ходили пешком (трамваи не работали) из Замоскворечья на Мясницкую (ныне улица Кирова), где в типографии закрытой газеты «Раннее утро» печаталось «Честное слово».

Точно не помню, что писал в этом издании Александр Степанович[6]. Остался в памяти только один эпизод.

Ему предложили съездить на какой-то большой завод и описать ударный труд энтузиастов. Грин решительно отказался, и главное, по той причине, что его *«тошнит от техники»*. Он действительно ничего не понимал и не хотел понимать «во всех этих шестеренках и подшипниках».

Однажды я поместил в «Честном слове» передовицу

на тему о русском офицерстве, которое толпами удирало на юг и вливалось в армии белых генералов. Военная тема была мне близка, так как я в юности прожил несколько лет в одном захолустном армейском полку, будучи на воспитании у военного врача.

В статье у меня с полной искренностью вырвалась фраза относительно того, что нельзя строго судить солдат и матросов, которые совершали насилия над офицерами, не принимавшими революции.

Не скрою, что во время работы над этой статьей меня подогревали некоторые эпизоды из «Поединка» Куприна.

Прочитав передовицу, Грин пристально посмотрел мне в глаза и спросил:

— Ты одобряешь матросов, которые привязывают камни к ногам офицеров и бросают их на съедение рыбам?

Я ответил вопросом:

— Кажется, тебя самого в Севастополе командир корабля хотел отправить в гости к рыбам за твой строптивый нрав?..[7]

Грин промолчал. А вечером, как бы на ходу, сказал мне, что в общем-то он готов согласиться с содержанием моей статьи, но только... не стоило бы разжигать и без того накалившиеся страсти...

Мне было ясно, что Грину претит всякая жестокость, несмотря на то что он сам многие годы был жертвой этой жестокости. «Значит, — думал я, — он так силен душой, что не позволяет себе быть рабом чувства мести... Ну что ж, судьба да хранит его светлую душу и незлобивое сердце!.. Не каждый на это способен».

Впоследствии, читая и перечитывая произведения Грина, я всегда возвращался к этой мысли. И если сейчас меня спросят, чем же силен этот писатель, почему его любит народ, я не найду другого ответа, — он был поистине добрый человек!

Как отрадно видеть, что за последние годы мы всё больше и больше привыкаем видеть в добре не отвлеченную «категорию», а вполне материальный, осязаемый и ощутимый инструктаж жизни. Вот тут-то нам и помогает всё созданное Александром Степановичем Грином, потому что писал он сердцем, горящим незатихающей любовью к людям.

Л. ЛЕСНАЯ

АЛЕКСАНДР ГРИН
В «НОВОМ САТИРИКОНЕ»

Петербург. Невский проспект. Худой, высокий человек в пальто неопределенного цвета широко шагает по обледенелому тротуару. Руки засунуты в карманы, голова втянута в плечи, поднят воротник, и шляпа надвинута до бровей. Но всё это не спасает от лютого ноябрьского ветра, и человек торопится войти наконец в подъезд дома № 88. Он поднимается во второй этаж. Направо дверь с надписью «Ягурт Простокваша», налево — «Редакция журнала „Новый сатирикон"». Он входит. Приятное тепло охватывает человека в пальто; он направляется к секретарскому столу. Я отрываю взгляд от сигнального номера журнала.

— Здравствуйте, Александр Степанович. Принесли что-нибудь?

Он протягивает вчетверо сложенный лист писчей бумаги.

— Очень хорошо. Завтра передам Аркадию Тимофеевичу.

— Завтра?!

Рухнула надежда на аванс. Маленький аванс. Он дал бы возможность пообедать в каком-нибудь подвальчике, запастись табаком...

— Завтра...

— Я позвоню Аверченко, скажу, что вы принесли материал. Он разрешит бухгалтерии. Приходите завтра в двенадцать. Хорошо?

Он смотрит в стол. Молчит.

В эту минуту раздается всегда веселый, приветливый голос поэта Александра Матвеевича Флита;

— Как жизнь, Александр Степанович?

— Неважно.

— Я записал ваш афоризм: «Жизнь — это только черновик выдумки».

— Какой там афоризм... Дайте папиросу, Флит.

Флит достает из кармана кожаный портсигар и протягивает Грину. Потом, обняв его, ведет к дивану. Вот они, как обычно, уютно устроились в углу широкого дивана; шляпа Грина на столе, портсигар рядом, и Грин курит папиросу за папиросой, и кашляет, и говорит медленно, словно с трудом подбирая слова. Флит слушает и кивает головой.

Грина считали мрачным, угрюмым человеком, говорили: «Он странный». Он был глубоко замкнутым — таким сделала его жизнь, но он мог, всегда был готов со страстью отразить атаку на свои человеческие права, встать на защиту своих творческих прав, и не только своих.

Вспоминается такой случай.

Александр Флит, юрист по образованию, служил юрисконсультом в каком-то учреждении, и вдруг — написал стихотворение! Молодой поэт принес его в «Новый сатирикон». Спустя неделю пришел за ответом.

— Нет, — добродушно сказал Аверченко, — у нас это не пойдет.

Флит решил никогда больше не писать ни строчки.

Но — написал, принес, — и тот же результат. А Флиту, как на грех, очень понравилась сатирико-юмористическая атмосфера редакции журнала. Он стал захаживать, перезнакомился со всеми и подружился с нелюдимым Грином. Взволнованный «возвратами» друга, Грин решил поговорить с редактором.

— Аркадий Тимофеевич, не мне, конечно, вас учить, но с Флитом как-то несправедливо поступают. Его стихи читает Бухов и не пускает. Разве они так уж плохи, эти стихи?

— Бухов говорит, что у Флита нет лица, что он «накрапывает», а не пишет.

— У Флита абсолютный литературный вкус. И вы помните, как не шли и не шли рассказы Ефима Зозули,

а Флит придумал заголовок «Недоношенные рассказы», и сразу изюминка появилась. Помните?

— Да-да... Пусть он напишет басню, я сам почитаю.

Сражение было выиграно — басни понравились. Флит стал постоянным сотрудником. Я думаю, что он никогда не забывал, чья в первую очередь это была заслуга.

Вероятно, Грин сам был в чем-то сродни Дон-Кихоту, о котором писал в «Новом Сатириконе»:

Нет, не умер Дон-Кихот!
Он бессмертен, он живет!
Защищать сирот и вдов
Был герой всегда готов.
Но когда сирот так много
И у каждого порога
По вдове...

Стихи Грина — да, это не оговорка, — именно стихи часто появлялись на страницах «Нового сатирикона» в течение 1914—1915 годов. А между тем в эти годы Грин был уже признанным писателем, мастером новеллы: вышли пять или шесть его книг.

Грина упорно влекла сатира, быть может потому, что его активной душе было тесно в привычных рамках, что неизрасходованная творческая энергия просила еще какого-то выхода. Кроме того, как я могла заметить, Грин всегда был самым ярым врагом мещанства, даже незначительное проявление мещанства, корысти, злобы приводило его в бешенство.

Поэтому его стихи появлялись на страницах «Сатирикона».

Отношение Аверченко к Грину имело характер покровительственной симпатии. Ему нравилось бродить с ним после редакционных совещаний по набережным. Странно было видеть их вместе: излучающий здоровье, улыбающийся человек атлетического сложения, всегда элегантный, а рядом Грин — в темном пальто с поднятым воротником, бледный и хмурый. Впрочем, разговаривая с Аверченко всегда вполголоса и где-нибудь в отдалении от насмешливых сотрудников, Грин начинал усмехаться. Как сейчас вижу: вот он берет из рук Аверченко его неразлучную трость и разглядывает рукоятку в виде перевернутой дамской туфельки. Он долго её «изучает» и возвращает владельцу. Оба понимающе смеются.

* * *

Только что кончилось редакционное совещание. Грин сидит в глубоком кресле и думает о чем-то, видно невеселом. Аверченко щелкает замком желтого портфеля и говорит:

— Господин заядлый пессимист, бросьте вашу черную мерехлюндию, едем обедать к Альберту.

Грин отвечает медленно, подбирая рифмы:

— Уважаемый патрон...
Приглашеньем я польщен...
Но в ресторанах запрещен...
Благородный выпивон.

Какой смысл там обедать?

— Чай будем пить! — с веселой беззаботностью отвечает Аверченко. — Едем, едем!

И они уехали.

На другой день Грин мне рассказал:

— Приехали мы к Альберту. Знаете, этот симпатичный ресторанчик против Большой Морской. Аверченко там завсегдатай.

— И не только там, — вставила я.

— Конечно. Подходит официант. «Что прикажете, Аркадий Тимофеевич?» — «Дайте нам чайку». — «Уж это как водится!» — «И севрюжинки с хреном». И приносит официант на подносе две чашки и два пузатых чайника. Белые фарфоровые. Аверченко наливает мне и говорит: «Пейте залпом, он холодный». Я глотнул. Батюшки-светы! Выпивон. Оказывается, в одном чайнике — портвейн, в другом — английская горькая! Вот что значит завсегдатай!

Этот эпизод особенно запомнился, благодаря тому, что выражение «благородный выпивон» стало летучим термином среди сатириконцев. Эпитет «благородный» вызывал протесты. Тэффи предложила: «Радость сердца выпивон». Были и другие предложения.

Когда Грину, смеясь, предложили стать завсегдатаем у Альберта, он молча вывернул пустые карманы пиджака.

Грин часто появлялся в редакции с новыми вещами, а то и без них, просто заходил «на огонек» подышать остро насыщенным юмором редакционным воздухом. Как-то Флит сказал о нем: «Он мечтает о каком-то

племени эсперантистов. Чудак... Но я верю в него. Он сможет».

И каждый раз после ухода Грина возникали разговоры о нем. Он всех почему-то волновал, и не только как автор, но и как личность. Что-то своеобразное было в его внутрь себя обращенном взгляде, суровом, но готовом на привет лице. Резкость его суждений не обнажалась перед каждым, но на ходу брошенные реплики создавали образ цельный и убедительно стройный. Он покорял своей внутренней убежденностью.

* * *

Наступил 1917 год. Был конец марта. В открытую форточку врывались тенора разносчиков:

— Огурчики зеленые! Огур-чи-ки...

Застучали лошадиные подковы о торцы мостовой, а в «Вене» [1] пили «Майтранк», то есть в зеленоватых бокалах белое вино, на поверхности которого плавали листочки петрушки. Короче говоря, началась весна. Политическая весна принесла в редакцию небывалое количество рукописей. Неприятная обязанность — возвращать их авторам, а пришлось, и я задержалась в редакции чуть не до полуночи.

Звонок. Открываю дверь. Грин.

— Я увидел свет в окне. Зашел узнать, по какой причине.

— Собираюсь уходить. Работы много. Авторы волнуются.

— Да, авторы. Такой мы народ, нетерпеливый. А меня, знаете, моя хозяйка-ведьма не впускает в квартиру. Я задолжал за месяц.

— Что же с вами будет?

— Поеду к Рославлеву, он выручит.

— Посидите. Покурим.

Он сел. Закурили.

— Чт*о* если я скажу вам одну неприятную вещь? — сказал Грин.

— Для кого неприятную?

— Для ваших стихов. Я уже давно собираюсь, да всё как-то... неудобно как-то...

— Говорите откровенно. У меня авторского самолюбия нет. Вернее, не было случая проверить, есть ли оно. Мне более или менее везет.

— В том-то и дело. А ведь вы... простите за грубость, делаете ставку на флирт и...

— Не совсем, но иногда.

— Вы берете ваши темы из близко лежащих мест, извне, а не изнутри.

— Я не сатирик. У меня нет сатирического отношения к жизни, я...

И тут он произнес слова, полные глубокого значения:

— Вам нужно сатирическое отношение к самой с е б е . — И продолжая эту мысль, сказал: — Вот вы — секретарь, вам приходится бывать в типографии. Она не показалась вам темой для стихотворения?

— Не знаю. Не думала об этом.

— А вы подумайте.

Прошло недели две, и я написала стихотворение, которое так и называлось «В типографии».

Я никогда не видела у Александра Степановича такого торжествующего, просветленного выражения лица. Он даже вскрикнул:

— Я говорил! Я говорил!

— Но стихотворение плохое, правда?

— Сырое. Доработаете. Но разве возможны были такие строки до нашего разговора? Эта последняя строфа:

Они там колдуют — кудесники,
маги,
И покорен им черный
железный зверь.
В тихом шорохе говорящей бумаги
Я хочу мое «раньше» сменить на
«теперь».

— «Смотреть внутрь» — это не сразу дается, — сказал он, беря в кавычки свой тон и примирительно улыбаясь.

Я и сейчас с благодарностью вспоминаю об этом человеке, о его озабоченности и тревоге за каждую человеческую судьбу.

ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

В ДОМЕ ИСКУССТВ

Александра Степановича Грина помню я в трудное переходное время, когда на внешних фронтах еще полыхали зарева гражданской войны, а в самом Петрограде было и холодно, и голодновато. Город лежал засыпанный высокими сугробами, в окнах по вечерам тускло светились коптилки, законсервированные заводы высились угрюмыми безмолвными громадами.

М. Горький, вечный болельщик за судьбы литературы, выхлопотал у Петрокоммуны огромную пустующую квартиру бежавших за границу богачей, братьев Елисеевых, и организовал там нечто вроде писательского общежития, собравшего в свои стены и уже почтенных, и совсем юных литераторов. В одной из тесных комнатушек, примыкающих к кухне, жили мы с поэтом Ник. Тихоновым, а в непосредственном соседстве с нами поселился А. С. Грин.

Как сейчас, вижу его невзрачную, узкую и темноватую комнатку с единственным окном во двор. Слева от входа стояла обычная железная кровать с подстилкой из какого-то половичка или вытертого до неузнаваемости коврика, покрытая в качестве одеяла сильно изношенной шинелью. У окна ничем не покрытый кухонный стол, довольно обшарпанное кресло, у противоположной стены обычная для тех времен самодельная «буржуйка» — вот, кажется, и вся обстановка этой комнаты с голыми, холодными стенами.

Грин жил в полном смысле слова отшельником, нелюдимом и не так уж часто появлялся на общих сборищах. С утра садился он за стол, работал яростно, ожесточенно, а затем вскакивал, нервно ходил по комнате, чтобы согреться, растирал коченеющие пальцы и снова возвращался к рукописи. Мы часто слышали его шаги за стеной, и по их ритму можно было догадываться, как идет у него дело. Чаще всего ходил он медленно, затрудненно, а порою стремительно и даже весело, — но всё же это случалось редко. Хождение прерывалось паузами долгого молчания. Грин писал. В такие дни он выходил из комнаты особенно угрюмым, погруженным в себя, нехотя отвечал на вопросы и резко обрывал всякую начатую с ним беседу.

Обитатели дома вообще считали его излишне замкнутым, необщительным и грубоватым. С ним мало кто хотел водиться. К тому же кое-кто и побаивался его острого, насмешливого взгляда и неприязненного ко всем отношения. Один из старых литераторов, сам человек нервный и желчный, заметил однажды: «Грин — пренеприятнейший субъект. Заговоришь с ним и ждешь, что вот-вот нарвешься на какую-нибудь дерзость». В этом была крупица истины. Грин мог быть порою и резким, и грубоватым. Жил он бедно, но с какой-то подчеркнутой, вызывающей гордостью носил свой до предела потертый пиджачок и всем своим видом показывал полнейшее презрение к житейским невзгодам.

Внешность у него была в то время мало располагающая к себе. Худощавый, подсохший от недоедания, всегда мрачно молчаливый, он казался человеком совсем иного мира. Многие, знавшие его только внешне, отказывали ему даже в интеллигентности, говорили, что он похож на маркера из трактира, на подрядчика дровяного склада и т. д.

Но таким Грин был для тех, кто знал его очень мало. Он словно сам заботился о том, чтобы окружить себя атмосферой неприязни, отгородиться нарочитой грубостью от всякого непрошеного вмешательства в его внутренний мир. Годы бесприютной скитальческой жизни и порою полуголодного существования даже в относительно благополучные для литераторской среды времена приучили его к настороженности и осторожности. И мало кто из знавших его в то время подозревал, сколько настоящего, светлого лиризма было в его душе, сколько

подлинной любви к человеку, веры в светлые качества его существа и великие творческие возможности. Недаром именно им, общепризнанным «мизантропом», «грубоватым циником», были созданы удивительные сказки и легенды о людях крепкой воли, страстной мечты, чистого душевного благородства.

Жизнь Грина была тяжелой, жестокой, порою почти беспросветной, но ничто не могло сломить в этом необычайном человеке прирожденного оптимизма и неустанного мужества. Очевидно, за эту веру в людей, за пылкий, пусть несколько наивный, романтизм и любил Горький его рассказы, казалось бы, совсем далекие от реальной обстановки. И везде, где было нужно, защищал Грина от упреков в «нездешности», ласково-иронически называя его «полезным сказочником» и «нужным фантазером».

К сожалению, не все современники оценивали Александра Степановича с этой стороны и многим даже такая светлая жизнеутверждающая легенда, как «Алые паруса», казалась вопиющим анахронизмом.

Но мы, молодежь, непосредственные соседи Грина по темноватому коридору закоулков Дома искусств, любили его именно за эту преданность мечте.

Да и сам Александр Степанович платил нам вполне дружеской приязнью. Он нередко заходил в нашу комнату, сидел с нами, согреваясь у топившейся «буржуйки», читал что-нибудь по еще не просохшей рукописи, и те же «Алые паруса» мы узнали задолго до того, как они стали общим достоянием.

Жили мы в то время — в 1920—1921 годах — довольно скудно, хотя и получали выхлопотанный Горьким паек из Дома ученых. В дни получки устраивали долгожданные пиршества, в которых нередко, на общих началах, принимал участие и Грин. И тогда мы видели его разговорчивым, добродушно подсмеивающимся и совсем непохожим на обычного угрюмца.

В то время было плоховато не только с едой, но и с пищей для «буржуйки» — приходилось довольствоваться щепками и бревнышками, приносимыми с улицы, с окраин города, где еще существовали недоломанные заборы. Выдавались, правда, дрова, но не столь уж часто и не в достаточном количестве. Плохо было и с бумагой для литераторской работы. Она была предметом остродефицитным — поневоле шли в дело разные об-

рывки. Многие рукописи молодых прозаиков и поэтов, получившие впоследствии широкую известность как первые книги первых советских издательств, писались на страницах разграфленных конторских ведомостей и бланков, где столбики цифр перемежались с фамилиями дореволюционных клиентов. Эти архивные канцелярские отходы оказались для нас неоценимым подспорьем. А неисчерпаемый источник подобных запасов был открыт Александром Степановичем Грином.

— Вот, молодежь! — сказал он с привычной усмешкой. — Учитесь добывать для себя духовное пропитание! Бумагой мы будем теперь обеспечены до конца дней своих!

И тут же дал добрый совет.

Оказалось, что нижний этаж нашего огромного дома до революции был занят каким-то частным банком. Бежавшие в Октябрьские дни владельцы, увезя все ценное, оставили после себя хаос сдвинутых прилавков, поваленных шкафов, поломанной мебели и груды исписанной конторской бумаги, в сугробах которой буквально утопала нога. Особенно много было этого хлама в сводчатых подвальных помещениях. Проникнуть в это царство мрака, пыли и плесени для нас, постоянных обитателей Дома искусств, было не столь уж сложно. Грин не один уже раз спускался в мрачноватое подземелье, указав и нам туда дорогу.

Тот, кто помнит его «Крысолова», легко может представить эту поистине фантастическую обстановку, послужившую поводом для создания одного из самых удивительных гриновских рассказов, где причудливый вымысел так естественно переплетается с самой повседневной действительностью, сдвигая все планы реального и воображаемого.

Уже известно, что в основе самых фантастических пейзажей Грина лежат вполне конкретные, реально существующие обстоятельства и местности: сказочные Зурбаган и Лисс воспроизводят внешний облик и колорит старого Севастополя и старой Феодосии, экзотические зарисовки неведомых стран — заливы и горные ущелья Крыма. Так было и с рассказом «Крысолов», фантастические действия которого развертываются на вполне реальной почве.

В пору существования Дома искусств мне приходилось общаться с Александром Степановичем почти еже-

дневно. Нередко совершали мы и далекие прогулки по городу, всегда пешком, потому что это был обычный способ передвижения в городе, где не хватало транспорта.

К весне оживающий Петроград являл собою картину довольно необычную. Булыжные в то время окраинные и не окраинные улицы прорастали свежей зеленой травкой. Фонтанка и каналы были загромождены полузатонувшими баржами, дети играли в лапту посреди опустевших площадей. Народу на улицах было не так уж много. Помнится, мы подолгу стояли с Александром Степановичем на гранитных невских набережных, следя за рыболовами, которых развелось в то время великое множество, потому что уженье давно превратилось из забавы в способ добывания дополнительной пищи. Еще дольше задерживались у вывешенных на углах газет, читая вести с полей гражданской войны. Помню замечание Александра Степановича:

— Да, если уж воевать, то, конечно, там, вместе с красноармейцами, за свое родное... А вообще, милый мой, надо человечество отучить от войны. Ох как надо! Сейчас некогда об этом думать, а когда-нибудь подумают. И мы, русские, — первые!

Эти слова так неожиданно было слышать от Грина, всегда погруженного в свои мысли. Но, оказывается, он думал и об этом. Запомнилось и еще одно его замечание, может быть потому, что Грин вообще был неслово-охотлив. Когда его просили высказаться на каком-либо собрании, он угрюмо буркал под нос:

— Простите. Говорить я умею только с пером в руке.

Однажды, когда город вздохнул уже свободнее, когда на фронтах наметился явный перелом в пользу Красной Армии и в сущности ее победа была предрешена, я встретил Александра Степановича в Таврическом саду, у полотняного цирка Шапито, и, признаться, несколько удивился — что привлекло его сюда? А он, словно предугадывая мой вопрос, взял меня под руку и сказал:

— Не удивляйтесь. Бываю здесь вот уже третий день. Люблю цирк. Вот где нужно учиться настоящему искусству. Тут уж нельзя ни в чем соврать — рискуешь головой.

С окончанием гражданской войны, с восстановлением нормальной жизни в городе, с появлением первых издательств, новых редакций постепенно сходила на нет и

обособленная жизнь Дома искусств. Он прекратил свое существование, как писательское общежитие, и все мы, его обитатели, разошлись по своим гнездам. Исчез с моего горизонта и А. С. Грин. Лишь изредка встречал я его в какой-либо редакции, сменившего поношенную шинель на обычное пальто и мягкую шляпу. Он входил молча, несколько угрюмо кивал присутствующим и клал на стол секретаря рукопись очередного рассказа. Как-то мне пришлось видеть его, когда он пришел за ответом. Секретарь объяснял ему что-то, мялся при этом, и по всему было видно, как он мучительно подыскивает слова для приличной формулы отказа. Александр Степанович слушал его внимательно, ничего не возражая, и только под конец не выдержал:

— Да говорите прямо — не подходит. И всё тут. Меня этим не удивишь. К тому ли еще я привык в жизни! А писать иначе я не могу. Не умею. Будьте здоровы.

И, забрав рукопись, удалился так же угрюмо, как и вошел.

Несколько позднее я встретил его в саду у Адмиралтейства. Он сидел на скамейке и читал воскресный номер начавшей выходить тогда «Красной газеты».

— Вот, полюбуйтесь! — сказал он мне, подвигаясь и давая место рядом с собой.

— Какой-то N. Напечатал фантастический рассказ. Читайте, не ленитесь! — И сунул мне в руки газетный лист. Я прочел всё — от первой строки до последней. Автор пытался заглянуть в будущее, на сто лет вперед, но, несмотря на большие претензии, писал вяло, скучно, безо всякой заинтересованности своей темой.

— Вот видите, — продолжал Грин. — Бездарно? Да, бездарно! А почему? Потому, что он сам не верит тому, о чем пишет.

Он помолчал и добавил — раздумчиво и грустно:

— Эх, люди! Не умеют они владеть фантазией, мечтой, — быть может лучшим своим достоянием...

Я долго не видел его после этой встречи. Грин уехал из Петрограда, — сказали, в Москву, а потом и вообще переселился на юг.

В один из летних месяцев мы неожиданно встретились с ним в Коктебеле на даче поэта и художника Максимилиана Волошина. Грин пришел пешком из Старого Крыма. У Волошина всегда бывало много летних гостей — писателей, художников, музыкантов. Александр

Степанович не прижился в их среде. И здесь он казался грубоватым, а порою и излишне резким. Я видел, как он один бродил по берегу залива, изредка подбирал тот или иной заинтересовавший его камешек и тотчас же бросал его в море. Так он ни с кем и не завязал разговора и к вечеру собрался домой.

Был он чем-то озабочен, даже мрачен, Сказывалась, очевидно, приближающаяся болезнь.

Таким он был и у себя, в маленьком белом домике на тихой улице Старого Крыма. Любил бродить один в окрестных горах.

Последние его годы прошли в почти полном отчуждении от литературной среды, но Грин продолжал работать с прежней сосредоточенностью и увлечением.

Удивительным было то, что А. С. Грин, писатель такой тонкой духовной организации и творческого своеобразия, и в начале литературной деятельности, и в период зрелости таланта не принимался всерьез дореволюционной литературной средой. В основном его считали представителем облегченно-занимательного жанра и, как автору, отводили ему место на страницах малопочтенных еженедельников, не предлагая сотрудничества в тогдашних «толсто-идейных» (насмешливое определение самого Грина) журналах. Под стать легковесно-развлекательной прессе была и литературная среда, в которой приходилось вращаться этому уже зрелому, твердо осознавшему свой путь писателю. Его товарищами по профессии оказались люди, делившие литературную поверхностную скоропись с навыками и привычками типичной для того времени богемы. В большинстве своем это были бойкие поставщики скороспелого «чтива» в угоду вкусам малотребовательного обывательского круга. Доступ в более серьезные издания был для них закрыт, эту участь поневоле приходилось испытывать и Грину, постоянно нуждавшемуся в заработке, зависящему от прихоти низкопробного книжного рынка. Несмотря на то что частное издательство «Прометей» Михайлова уже начало незадолго до революции выпускать Собрание его сочинений, отношение критики к этому своеобразному писателю оставалось высокомерным и даже несколько пренебрежительным.

Всё резко изменилось в положении Грина после Октября. Благодаря поддержке М. Горького он переселился в комнатку Дома искусств, вошел уже в иную,

новую для него среду, получил возможность работать в более нормальных условиях; хотя быт в то время оставался еще не налаженным, самое трудное уже осталось позади.

Александр Степанович неохотно возвращался воспоминаниями к временам своей дореволюционной неустроенности, безденежья, поисков случайного литературного заработка. Оборвались и прежние связи с полубогемными кругами «малой литературы», тем более что и представители ее как бы рассеялись, исчезли с читательского горизонта. И всё же, переступив грань Октябрьских дней, они где-то продолжали вести свое существование, правда уже безгласно, потому что канули в прошлое и питавшие их еженедельники облегченного чтения.

Всё же они изредка напоминали о себе Грину, и об одной такой совместной с ним прогулке в прошлое мне бы и хотелось рассказать.

Однажды в 1920 году, в сырой ноябрьский вечер, когда петроградское небо уныло сеяло неторопливую и безнадежную изморось, а электрические лампочки горели особенно тускло и тоскливо, в мою тесноватую комнатку в Доме искусств вошел А. С. Грин и сказал, перекатывая желваки узко обтянутых кожей скул:

— Собачья погода, дорогой! Не могу работать и не знаю, что придумать. Дома ни полена, в кармане ни одной монеты. Друзья-знакомые надоели до черта. Не пойти ли нам к «сумасшедшей баронессе»?

Я ничуть не удивился столь неожиданному предложению, тем более что давно привык к странностям Александра Степановича. Мы не раз бродили с ним по городу, но он впервые звал меня куда-то на «прогулку к людям». Это так было непохоже на его всегдашнюю необщительность.

— Но кто же эта «сумасшедшая баронесса»? Я о ней ничего не слышал.

— Идемте. По дороге я расскажу всё, что о ней надо знать.

Мы оделись и вышли на набережную Мойки. Ветер со взморья поднимал черную воду, и она, натужась, лениво лизала гранитные устои, вот-вот готовая вылезти на набережную. Зловещие отблески фонарей скользили по тяжелым глянцевитым волнам. Острая изморось хлестала наши лица, идти было трудно, ноги поминутно

попадали в темные, холодные лужи. А путь предстоял не короткий — куда-то к морским воротам Фонтанки. Мы шли сначала молча, а потом Александр Степанович начал свое повествование, прерывая его ругательствами по адресу «проклятой погоды» и сиротливо ежась в своем ветхом пальтишке с поднятым воротником. Левой рукой он придерживал изрядно потрепанную широкополую шляпу.

Вот что рассказал он мне по дороге.

В дореволюционное время в Петрограде существовал добрый десяток мелких журнальчиков, где нашему брату писателю в трудную минуту всегда удавалось перехватить кое-какой аванс, напечатать незамысловатый рассказик. Кого-кого только не приходилось встречать в тесных редакционных комнатушках, плавающих в табачном дыму! Платили там маловато, но без излишней чопорности солидных изданий, и всегда были готовы прийти человеку на помощь. Мы уже знали, что В. С. Миролюбов в «Журнале для всех» [1] укоризненно покачает своей библейски благообразной сединой, прочтет недолгую нотацию о вреде для писателя рассеянной жизни и всё-таки вытащит из ящика заветную десятку, что И. И. Ясинский — не менее величественный пророк — упрекнет тебя в лености воображения и тоже не откажет в нужном авансе, что А. А. Измайлов, нервно пощипывая бородку, всё же протянет в конце концов мелкую кредитку, и чаще всего из собственного кошелька. Но всё-таки это были люди, причисленные к узаконенной литературе, и тощие их журнальчики сохраняли хотя бы видимость почтенных изданий.

Но существовал и совсем грошовый еженедельник, в бледно-кирпичной обложке с изображением земного шара, обвитого, как змеей, какой-то символической лентой. Назывался он гордо — «Весь мир», и составлял любимое чтение швейцаров, трактирных сидельцев, мелких канцеляристов. Там печатались коротенькие рассказы с незамысловатой психологией и упрощенным сюжетом. В изобилии были представлены фотографии на международную и отечественную злобу дня, щедро и без излишней щепетильности настриженные ножницами из русских и иностранных источников. Редакция то и дело судилась по обвинению в плагиате и всегда умудрялась выходить сухой из воды. С цензурой и полицией у этого журнальчика существовали самые добрососедские отноше-

ния, и поэтому все мы — литературная богема — чувствовали себя здесь вольготно и ничуть не смущались бульварным налетом и явной безыдейностью такого пятикопеечного «ревю».

Издавала его некая Софья Ивановна Таубе, очень плохая и высокопарная поэтесса, женщина, как говорили, с некоторыми средствами. У нее была слабость к непризнанной литературной мелкоте. Она была меценатом в самом широком смысле этого слова, но вместе с тем строго блюла и свою личную выгоду, извлекая из «Всего мира» вполне достаточный доход. Трудно было понять, где кончался в ней любитель литературы и где начинался предприимчивый и часто весьма жестковатый делец. Собственные стихи писала она на мистические отвлеченные темы с обязательным участием Хаоса, Бездны, Зла, Красоты — и всё это с прописных букв, разумеется. Особенной любовью пользовалась у нее тема изгнания Адама и Евы из рая, причем самые яркие свои краски отдавала поэтесса рассказу о грехопадении и познании добра и зла, что позволяло ей разматывать, как китайский фокусник, бесконечную ленту цветистого, ходульного, всегда переполненного эротическими намеками, красноречия. Дама она была, что называется, в полном соку и плотной комплекцией своей напоминала только что выдернутую из земли свежевымытую репку. От нее так и веяло здоровьем и благополучием. Голос чрезвычайно вкрадчивый и даже вязкий. Обхождение самое бархатное. Но, повторяю, выгоду свою блюла Софья Ивановна крепко, и даром аванса у нее никогда, бывало, не допросишься.

В материале ее журнальчик недостатка не испытывал. Что всего удивительнее, получала этот материал Софья Ивановна всегда почти даром. Она, впрочем, и не претендовала на вещи хорошего качества, а хозяйственно подбирала все варианты, черновики, случайные заготовки, опытной редакторской рукой придавая им вполне пристойный литературный вид. Добрая часть этой добычи поступала в виде дружеского подарка или добрососедского одолжения. И, словно чувствуя себя чем-то обязанной перед своими беспечными и нерасчетливыми сотрудниками, Софья Ивановна примерно раз в месяц устраивала у себя на квартире пиршество, не очень изысканное по качеству, но весьма достаточное, чтобы привести всех присутствующих в самое благодуш-

ное настроение, когда налево и направо раздаются щедрые обещания и не так уж трудно получить для журнала свежие стихи или только что набросанный рассказик. Так приятное соединялось у нее с полезным, и через неделю, к удивлению всех почтенных редакций города, на жалких страничках «Всего мира» появлялись тексты самых труднодоступных, знающих себе цену корифеев тогдашней литературы, правда только в отрывках или куцых вариантах с осторожным редакционным примечанием: из новой повести такого-то. Очевидно, подобная политика имела вполне практический смысл и отнюдь редакцию не разоряла, и поэтому пиршества эти прочно вошли в обычай.

Чувствовали все себя у Таубе просто и посещали ее охотно, заходя как бы невзначай, ибо особенно хвастать коротким знакомством с баронессой в более строгих литературных кругах считалось не особенно приличным, так как и журнальчик был плоховат, да и хозяйка его отличалась многими странностями в своих вкусах и излишней свободой обращения. Называла она себя «женщиной вполне эмансипированной» и в особое достоинство ставила себе то, что умела с самой очаровательной улыбкой называть вещи своими именами, охотно придерживаясь таких тем в разговоре, которые обычно именуются «скользкими». Любопытно то, что она на своих сборищах совершенно не терпела женщин и, распространяя вокруг себя атмосферу самого рискованного кокетства, любила оставаться в этой пестрой мужской компании единственным центром общих восторгов и внимания. Муж ее, скромный рыжеватый остзейский барон в морском сюртучке, весьма невысокого ранга, был фигурой достаточно любезной и совершенно незаметной. Но и он, видимо, находил немалое удовольствие в этих полуночных сборищах и чрезвычайно гордился своим коротким дружеством с великими и малыми знаменитостями. Во всяком случае, он был не в меру любезен, счастлив и даже угодлив. На нем, в сущности, лежала и вся хозяйственная часть этих пиршеств. И хотя жили супруги довольно скромно, в маленькой квартирке, всегда выходило так, что было у них и шумно, и весело, и бестолково — без всяких притязаний на высокие разговоры или какие-нибудь идейные диспуты.

— Так вот, — добавил к этому повествованию Грин, — мы сейчас и идем к этой самой примечательной

баронессе. Но я заранее предупреждаю вас как новичка — ничему там не удивляйтесь. Правда, время сейчас такое, что прежнего баронессиного великолепия вы, вероятно, и тени не увидите, пир будет самый скромный. Однако чудачества свои хозяйка, видимо, сохранила. Давно я у нее не был, и не знаю, какая она теперь, да и журнальчика уже давно нет в помине. И вот получил от нее на днях открытку — приглашает в гости по случаю какого-то семейного праздника. Пишет, что соберутся старые литературные друзья, просит привести кого-нибудь из молодежи. Ну я и счел своим долгом откликнуться. В другое место, ей-богу, бы не пошел. Не люблю пустословного литераторского скопа.

Мы уже заворачивали на Фонтанку, минуя унылые опустевшие аркады Никольского рынка. Ветер по-прежнему нес нам в лицо колкую осеннюю крупу. Тусклая цепочка фонарей плясала в темных маслянистых волнах. По узкой и темной лестнице облезлого дома взобрались на четвертый этаж. Дверь отворила суетливая фигурка в морском сюртучке, уже без погон и ясных пуговиц. Вся она засветилась приветливым оживлением.

— А! Александр Степанович! Вот уж не чаяли, что вы в городе. Написали вам так, наудачу. Ну, как? Живы? Благополучны?

Пока шли взаимные приветствия и представления, я оглядел прихожую и не нашел в ней ничего примечательного, кроме огромного вороха разных пальто, от тяжести которых чуть не рушилась вешалка. На пороге показалась низенькая и круглая дама в широкой шляпе, затянутой тугой белой вуалью, — я сразу же узнал в ней хозяйку. Она веселым шариком подкатилась ко мне и протянула руку в высокой лайковой перчатке.

— Знаю, знаю, — прощебетала она приветливо и добродушно, — читала и слышала на вечерах. Молодое поколение! Опережаете вы нас, грешных. Я обязательно должна вам прочесть свой новый стихотворный цикл: «Соблазны змия» — в двенадцати звеньях. Там есть несколько смелых мест, но, надеюсь, вы не заражены литературным жеманством?

— Александр Степанович! — обернулась она к Грину. — Я ведь решительно перешла на сонеты, только делаю их по-новому, в пятнадцать строчек. Это мое новое изобретение.

Грин хмыкнул в ответ что-то непонятное. Мы торжественно проследовали в маленькую гостиную, осененную добрым десятком запыленных колючих пальм и каких-то широколистных комнатных растений. Слабый зеленоватый свет от электрической лампочки, помещенной позади аквариума с сонными, безобразно глазастыми рыбками, мягко разливался по комнате. На преувеличенно низких диванчиках сидело десятка полтора гостей, слабо различаемых во мраке. Я узнавал понемногу кое-кого из завсегдатаев дореволюционных редакций. Был это в основном народ мелкий и малопримечательный. Впрочем, случались и имена, в свое время примелькавшиеся на страницах «малой прессы»: поэты Л. Андрусон, Я. Годин, В. Мазуркевич, беллетристы В. Ленский, А. Зарин, К. Баранцевич — люди, писавшие по старинке и ни к каким новшествам в литературе не причастные, типичные поставщики еженедельного «чтива». Из прежних знакомых нашел я одного Дм. Цензора, да и он, казалось, чувствовал себя несколько стесненным в этой слишком уж обывательской компании.

Мы сели с ним в уголку и с любопытством наблюдали за тем, как с грубоватой простотой Грин вмешался в общую беседу, отпуская шуточки и колкие замечания. Немного погодя и он присоединился к нам, прохрипев таинственным шепотом:

— Кунсткамера, скажу вам! И где она только собирала этот зверинец!

— Да! — вздохнул Цензор. — Ни Куприна, ни Фофанова здесь уже больше не увидишь.

— Да и вообще многое по-другому, — поддакнул Грин, гася папироску в кадке с пальмой. — Полиняла баронесса. И делать уж тут ей больше нечего. Аминь журнальчику «Весь мир»! Теперь каждому парикмахеру подавай непременно Бальзака, да еще в хорошем переводе. От былого баронессиного великолепия ничего не осталось, кроме этой гостиной да чувствительных воспоминаний. Впрочем, тут как будто всё сдвинуто с места. Решительно не узнаю этой комнаты. Кстати, Дмитрий Михайлович, а где же атрибут? Рояль стоит, китайские рыбки на месте, а атрибута нет? Что же так оплошали хозяева? Продали его в трудную минуту или хранят в нем где-нибудь в кладовой мерзлую картошку?

— Какой атрибут? Ах, этот! — И оба они раскатились дружным смехом.

И тут же мне было пояснено, что в прежние времена возле рояля красовался серебряный гроб на львиных ножках, кокетливо обитый внутри светло-розовой шелковой тканью. Пуховая подушка лежала в его изголовье. Здесь в лунные ночи под своими пальмами ложилась отдыхать сама поэтесса, настраивая себя на мистический астральный лад, и при свете какой-то арабской лампады покрывала узкие полоски цветной бумаги причудливыми и бесконечными рифмами.

В обычные дни это непонятное для простых смертных ложе заботливо прикрывалось вышитой восточной тканью и принимало тогда вид обыкновенной кушетки.

Не успел я удивиться столь странным вкусам хозяйки и вспомнить, что я читал где-то подобное о привычках Сары Бернар, как меня ждал новый «художественный эффект».

В ярко освещенной столовой, занятой во всю длину раздвинутым столом со щедро расставленными поварскими произведениями барона-остзейца (он с упоением исполнял роль домашнего кулинара), мое внимание привлек помещенный в углу скелет с вытянутой вперед рукой. Самым замечательным было то, что держал он в этой руке обыкновенную стосвечовую электрическую лампочку.

— Не удивляйтесь! — сказала весьма любезно хозяйка, заметив мое внезапное оцепенение. — Это один из моих ближайших друзей. Когда-то он был безнадежно влюблен в меня и имел глупость покончить жизнь самоубийством. Он завещал мне свой скелет, и я доставила ему невинную радость — освещать своим фонарем наши «пиршества жизни и поэзии».

— Бедная поэзия, — хмыкнул Грин, но хозяйка не обратила на него ни малейшего внимания. А мне пришлось сделать вид, что всё происходящее в порядке вещей. Ведь обещал же я Грину, по дороге сюда, ничему не удивляться! К тому же явно у баронессы были «не все дома». В этом я окончательно убедился, когда за столом, в гуле чрезмерно оживленного и уже беспорядочного разговора, она стала читать свою нескончаемую поэму из райских времен о любви ангелов к первым дочерям человеческим.

Всё это начинало казаться скучным. А Грин, выпивший, но не хмелевший дразнил меня всё новыми

рассказами о странных обычаях этого действительно необычайного дома.

— Ну как? «Пошло», «безвкусно», — скажете вы? Милый мой, то ли еще было здесь раньше, когда у баронессы водились деньги. И вот что удивительно. В обычное время она трезвый и вполне будничный человек. В общем, я бы даже сказал — добрая и недалекая баба. Но вот поди же, любит раз в месяц удивлять своих приятелей. Кто же виноват, что у нее куриное воображение. А мне, признаюсь, всегда было любопытно: не выдумает ли она чего-нибудь новенького. Нет, не хватает ее на это. Вот сидит, как и шесть лет тому назад, в шляпе под вуалью за столом и думает, что это страшно оригинально!..

Пиршество разгоралось, сливая голоса в невнятный гул. Уже никто не слушал друг друга. О чем-то спорили, читали какие-то стихи, писали коллективно шуточные экспромты — и всё это было шумно, серо и плоско. Сначала я с любопытством присматривался к окружающему меня веселью, но и это скоро мне надоело.

Видя, что на меня — слава богу — никто не обращает внимания, я нашел себе новое развлечение в ожидании той минуты, когда можно будет встать из-за стола. Белые обои комнаты все были испещрены шуточными стихотворными и прозаическими посвящениями хозяйке. Вот здесь действительно обнаружилось много любопытного, если не по качеству и содержанию, то по разнообразию литературных имен, подписавших эти краткие, то восторженные, то иронические мадригалы. Кого-кого только не увидел я здесь, наглядно убедившись, что круг литературных знакомств причудливой Софьи Ивановны необычайно широкий! И мелкая литературная братия, и типичная богема дореволюционных времен, и даже самые солидные имена. Не отыскал я одного Блока и, признаться, обрадовался своей неудаче. Что бы стал он делать в подобной компании? Несомненно, нисходил он в свои бессонные петербургские ночи и в более темные, совсем уже не озаренные светом искусства круги. Но у него всё было иначе. И вспомнилось почему-то, как показала мне однажды совсем уже не академическая певица, в которую он был мимолетно влюблен, ноты романса Рахманинова «Не пой, красавица, при мне». На титульном листе широким знакомым почерком было написано: «Пой, красавица, при мне!»

— Ну, что, — наклонился в мою сторону Грин, — не довольно ли?

— Довольно, Александр Степанович, — взмолился я, совсем уже нетерпеливо.

— Ну, тогда вставайте! Здесь можно исчезнуть не прощаясь.

С трудом раскопали в передней свои пальто среди груды наваленного в беспорядке платья и вышли на улицу. Уже начинало светать. Ветер гнал на лету низкие рваные тучи. Грин шагал серединой набережной, сняв шляпу. Его угрюмое скуластое лицо казалось осунувшимся и посеревшим. Он жадно втягивал в себя свежий запах сырости и быстро тающего снега. Мы молчали.

У нашего дома, Дома искусств, дожидаясь, пока откроют двери, он вдруг взял меня под руку:

— А вы не сердитесь на меня? В сущности, это была прогулка в прошлое, которое никогда уже не может повториться.

А. С. Грин умер в 1932 году, в Старом Крыму. Он похоронен на местном кладбище, откуда видны лесистые горы, где он так любил совершать свои одинокие прогулки.

Теперь его скромную могилу посещают многие друзья необычайных гриновских повестей и рассказов. Но может быть, далеко не всем юным его читателям известно, какая нелегкая, а порою и горькая жизнь досталась на долю этому человеку, который умел давать другим столько радости, веры в свои творческие силы, учил истинному благородству чувств и способности мечтать.

МИХ. СЛОНИМСКИЙ

АЛЕКСАНДР ГРИН РЕАЛЬНЫЙ И ФАНТАСТИЧЕСКИЙ

Это был очень высокий человек в выцветшей желтой гимнастерке, стянутой поясом, в черных штанах, сунутых в высокие сапоги. Широкие плечи его чуть сутулились. Во всех движениях его большого тела проявлялась сдержанность уверенной в себе силы. Резким и крупным чертам длинного лица его придавал особое, необычное выражение сумрачный взгляд суровых, очень серьезных, неулыбавшихся глаз. Высокий лоб его изрезан был морщинами, землистый цвет осунувшихся, плохо выбритых щек говорил о недоедании и только что перенесенной тяжелой болезни, но губы были сжаты с чопорной и упрямой строгостью несдающегося человека. Нос у него был большой и неровный.

Отворив дверь, человек этот остановился на пороге. Алексей Максимович, приподнявшись, протянул руку ему, сказал:

— Прошу. — И, по обычаю своему, взглянул в глаза вошедшему улыбающимися, внимательными своими глазами.

Посетитель, храня всё тот же мрачный, чопорный вид, поздоровался с Алексеем Максимовичем и вручил ему объемистую рукопись [1] — это были исписанные размашистым почерком огромные, вырванные из бухгалтерского гроссбуха, листы. Затем он сел на стул, заложил ногу на ногу, скрутил, важно и сосредоточенно поджав губы, козью ножку, закурил, и в комнате запахло махоркой. От предложенных Алексеем Максимовичем па-

пирос он вежливо отказался, объяснив, что любит крепкий табак.

Случайный и почтительный свидетель этой встречи, я из последовавшего затем разговора понял, что угрюмый человек в солдатской гимнастерке — писатель Александр Грин. Друг против друга сидели самый ясный и близкий народу писатель Максим Горький, гениальное сердце которого хранило неисчерпаемые запасы оптимизма, и нелюдимый, резко отделивший мечту свою о жизни от жизни реальной писатель Александр Грин.

Это было в двадцатом году. В тот год Алексей Максимович, собирая интеллигенцию и организовывая ряд литературных и других культурных предприятий, нашел Александра Грина и привлек его к работе над биографиями знаменитых исследователей Африки[2]. Алексей Максимович попутно выяснил, что Александр Грин только что оправился после сыпного тифа, находится в трудном материальном положении и даже не имеет где жить. И, по обычаю своему, Алексей Максимович осторожно и умело устроил Грину всё возможное для работы и выхлопотал ему комнату в Доме искусств.

Громадная фигура Александра Грина стала появляться в двадцатые годы на литературных собраниях, внушая молодежи некоторый страх и почтение. Грин слушал споры и дискуссии писателей и молчал. Он был неразговорчивый и невеселый человек. Этот сорокалетний «старик» не очень доверчиво, но очень внимательно присматривался к молодым советским писателям, начинавшим тогда свою работу. В рассказе одного из молодых, читавшемся публично, попалась фраза: «Небо было как небо», и это был единственный случай, когда Грин рассердился и расстроился. «Небо было как н е б о, — повторял он, — небо было как небо...» И просил меня передать молодому писателю, что так нельзя. Сам он в разговор с ним не вступил.

Имя Грина звучало в дореволюционной русской литературе отдельно от всех школ и течений, отдельно от всех других писательских имен. Имя «Александр Грин» звучало дико и бесприютно, как имя странного и очень одинокого создателя нереальных, только в воображении автора живущих людей и стран. Толстые журналы и альманахи редко допускали на свои страницы произведения этого мечтателя. Маститые критики редко

утруждали себя писанием статей об этом необычном авторе необычных для русской литературы вещей.

Но всё же творчество Александра Грина, вызывавшее интерес и внимание читателя, требовало объяснений. И было решено, что Александр Грин — последователь авантюрной западноевропейской и американской литературы.

Грин был оттеснен в мелкие журналы, требовавшие «сюжетной литературы», он получал премии на конкурсах бульварной «Биржевки». Негласно было решено, что серьезных проблем этот писатель не ставит. Имя его стояло в ряду забытых ныне литераторов, постоянных сотрудников всякого рода «Синих журналов».

Но Александр Грин продолжал беспокоить воображение. Он не развлекал, а тревожил. И в каком бы плохоньком журнальчике ни печатались рассказы его, они, резко контрастируя с остальными материалами журнала, обращали на себя внимание и оставались в памяти. Имена ряда влиявших на Грина иностранных писателей кое-что объясняли в творчестве Грина. Любимейшими писателями Грина были Стивенсон и По, и бесспорно влияние на него этих классиков. Но неразъясненным оставалось своеобразие Грина.

Будь Александр Грин простым эпигоном, покорным подражателем, не стоило бы особенно долго и говорить о нем. Но этот мятежный писатель отличался глубоким своеобразием своего отчаяния, своих надежд и мечтаний. Его творчество окрашено в свой, особый цвет. И в творчестве этом выражен своеобразный облик человека, которого услаждают, мучают и влекут к активным действиям мечты, кажущиеся ему подчас несбыточными, человека, страстно ненавидящего всё злое в жизни и активно любящего доброе.

Александр Грин умел внушать страх иным людям. Он умел отвечать резко, сговорчивостью и ложным добродушием он не отличался. И в литературе он был несговорчив, упрямо от книги к книге прокладывая свой, особый путь. В нем долго жило убеждение, укоренившееся с дореволюционных лет, что только на себя и можно полагаться.

Один поэт, решив использовать Грина для своей группировки, адресовался к нему, как к родственному якобы этой группе писателю.

— Объединитесь с нами, — предложил он.

— Нет, — с тихой яростью ответил Грин и прошел мимо. Потом он объяснил мне:

— У него косой и недобрый глаз. Он — злой человек.

Александр Грин, одинокий, нелюдимый, угрюмый, не был злым человеком и не был злым писателем. В этом большом и сильном теле жила страстная мечта о доброй жизни и добром человеке, воплощающем в жизнь мечты о счастье человеческом. Что же касается разных литературных групп, то Грин никогда ни в каких группах не состоял, он жил и умер писателем-одиночкой. Он не понимал и не признавал групповой борьбы, отвергал зависть и склоку. Однажды он рассказывал мне о том, как два больших писателя чуть не подрались, споря о том, кто из них лучше пишет. И рассказ свой Грин заключил так:

— А по-моему, мир широк. Всякому место найдется.

Было похоже, что для себя он давно отказался от всякого писательского тщеславия, писательского честолюбия. Было похоже, что это для него навсегда решенный вопрос.

Он с удивлением рассказывал мне, как воспринял Куприн статью о себе, в которой критик называл его «первым из вторых». Куприн, по рассказу Грина, повторял горько: «Я не из первых. Я из вторых, из вторых...»

— Какое честолюбие! — удивлялся Грин. — Он хотел, чтоб его считали первым!

Некоторое даже уважение звучало в его голосе. Было ясно, что он уже не задумывается над тем, кто он: первый или сто первый.

Куприна он любил. В первых реалистических рассказах Грина, собранных в книге «Шапка-невидимка» (она издана в 1908 году), чувствуется влияние Куприна. Книжка эта, надо сказать, неудачна, что признавал и сам Грин. В этой книге он не нашел себя, пытаясь писать бытовые рассказы. Неудача постигла его, и он покорился особенностям своего оригинального дарования, которое повело его по пути одинокому, отдельному от других писателей. Он подчинил свое творчество страстной мечте, выращенной в суровой и трудной его жизни.

Иногда он уставал от несоответствия мечтаний своих с действительностью, вовлекаясь тем самым в традиционное русло романтического разочарования и отчаяния. Может быть, иной раз он даже пугался своих

собственных вымыслов, отрывавших его от реальной жизни, от реального повседневного быта. Может быть, он подчас тяжело ощущал свое обособленное положение в литературе, свое одиночество и бесприютность. Может быть, тоска и отчаяние подчас одолевали его. Но он не любил говорить о себе и своих душевных настроениях. Он был замкнут и никогда о себе не распространялся. В рассказе «Крысолов» он пессимистически пишет, что «внутренний мир наш интересен немногим». Но тут же добавляет: «Однако я сам пристально интересовался всякой другой душой, почему мало высказывался, а более слушал».

Показательно краткое выступление Грина на банкете литераторов в честь приехавшего к нам в двадцатом году Уэллса. Его речь резко отличалась от ряда произнесенных на этом банкете речей, в которых было немало пошлого, глупого и враждебного советской власти. Грин держался еще более чопорно, чем всегда. Он приветствовал Уэллса, как художника. И он напомнил присутствовавшим рассказ Уэллса «Остров эпиорниса» — о том, как выкинутый на пустынный остров человек нашел там яйцо неизвестной птицы, положил его на солнечный припек, согрел и вырастил необыкновенное существо, от которого ему пришлось спасаться, ибо его детище стремилось убить его.

В человеке, вырастившем необычайную птицу, Грин, усмотрел художника, в птице, гоняющейся за ним, — плод его художественного воображения, мечту его. Эта мечта, по Грину, была способна убить ее носителя. Уже одно это неожиданное истолкование рассказа Уэллса показывало, как относился к творчеству художник-фантаст Александр Грин. Искусство казалось Грину подчас недобрым, злым, способным убить человека.

Как часто случается с писателями, Грин, говоря о другом писателе — в данном случае об Уэллсе, — говорил, конечно, о самом себе. В выращенной на пустынном острове странной птице Уэллса Александр Грин увидел родное душе своей искусство. И когда Грин описывал пустынный остров, казалось, что описывает он любимые, родные места. И со вкусом произносил он такие необычные для русского языка слова, как, например, «дрок». В этом своем выступлении Грин продолжал, в сущности, прежнюю свою дореволюционную линию поведения, охранял позицию человека, оставшегося на-

едине со своей мечтой, которая гонит его и грозит убить.

Настроение отчаяния с особой силой выразилось в его рассказе «Штурман „Четырех ветров"». В этом рассказе штурман ночью бродит по городу, ища общества, ища собутыльников, и вот он с остервенением рвет ворота дома, произносит громовые речи, требует людей. Но этот дом, перед которым неистовствует пьяный штурман, оказывается пустым, мертвым. А за этим штурманом доверчиво шагает автор. «Я брел, как слепой щенок, веселый, пьяный, мокрый и говорливый».

Сила отчаяния, которая выражена в этом рассказе, равна силе человека, это отчаяние испытывающего. Оставив пустой, обезлюдевший дом, «мы пошли снова», заканчивает свой рассказ Грин.

Вспомним, что один из романов Грина называется «Дорога никуда». В мраке дореволюционной ночи Грин не нашел верного пути. Одиночество, отчаяние, «позорный столб» за проявление человеческого чувства, нарушающего социальные перегородки, бунтарство и протест одиночки — эти мотивы обычны для произведений Грина. И эти мотивы не просто были взяты Грином из существовавшей до него литературы, нет, они органически принадлежали ему, выстраданные, выращенные его жизнью бродяги, борющегося против всякой несправедливости.

Эти мотивы Грин развивает мастерски, создавая жанр авантюрной новеллы, авантюрного романа, населяя свои книги моряками, бродягами, бунтарями. Мастерство делает увлекательными произведения Грина, бунтарству его героев мы сочувствуем, хотя в то же время видим, что «замечательная страна», о которой мечтает Грин, весьма смутно рисуется его воображению.

Мотивы одиночества и отчаяния особенно характерны для дореволюционного Грина, нашедшего приют — неверный и обманчивый — в литературной богеме, оставившей в быту его сильный след.

Но все эти черты постепенно пропадали в Грине в послеоктябрьские годы. Черты эти не выражали подлинного характера Грина. Привычки, принесенные им из ресторана «Вена», из пивных и бильярдных, оставляли его. И он, никогда не знавший домашнего уюта, никогда не имевший рабочего кабинета, женился, в 1924 году поселился в Крыму и последние годы жизни провел оседло, в дружбе с людьми и в работе.

Мечты и надежды Грина яснее всего выражены в его книгах. Книги — главное, что характеризует писателя. Грин был в творчестве своем до конца искренен и чист. И творчество Грина из года в год становилось углубленнее. Оно светлело в послереволюционные годы, словно медленной и робкой рукой человека сомневающегося, недоверчивого, но желающего поверить раздвигались черные шторы, открывая взору мир осуществимого и реального счастья. Просветление творчества Грина наиболее выразительно проявилось в его произведении «Алые паруса», которое он сам назвал феерией и которое с полным правом можно назвать также сказкой.

«Алые паруса» были написаны Грином в 1920 году. В этой вещи с большой силой сказались самостоятельность и оригинальность Грина, стремление его создавать доброе, окрыляющее людей искусство. И в этой вещи побежден (но не навсегда) преследовавший Грина мотив одиночества и отчаяния. «Алые паруса» — это сказка о воплощенной в жизнь мечте, о том, как добрая воля человека превратила мечту о счастье в счастье реальное.

Эта чудесная и привлекательная феерия повествует о том, как некий собиратель песен, легенд и преданий рассказал случайно встреченной им маленькой девочке со сказочным именем Ассоль о счастье, ее ожидающем. В шутку он предсказал, что счастье принесет ей человек, который явится к ней на корабле с алыми парусами. Девочка поверила навсегда в то, что предсказание это осуществится. Она не скрывала от других своей мечты и своих ожиданий, и потому ее начали считать не вполне нормальной и смеялись над ней. Но насмешки не смущали Ассоль — она твердо верила в свою мечту.

Она была уже взрослой девушкой, когда один моряк-романтик узнал об этой странной истории, ставшей достоянием сплетен и издевательств. И он решил воплотить мечту в жизнь. Он поставил на своем корабле алые паруса, выполнил всё, что, шутя, напророчил сказочник, и доставил девушке победу над здравомыслящими, бескрылыми насмешниками. Надо добавить, что девушка с отцом своим, бывшим матросом, росла одиноко, без друзей, в конфликте с окружающими их людьми — обычный мотив Грина.

Действие этой феерии происходит в сказочной деревне Каперна, вблизи столь же сказочного города Лисс.

Лисс, Зурбаган, Каперна — все эти не существующие в действительности, рожденные воображением автора места не раз повторяются в произведениях Грина. В сущности, вымышленные, воображаемые места эти невольно приводят на память «тридесятое царство» народных сказок.

Произведения Грина подчас куда ближе к сказке, чем к традиционной авантюрной литературе. И форма сказки особенно удалась Грину в «Алых парусах». В этой феерии есть оптимизм, лишенная мистицизма вера в возможность счастья на земле, вера в то, что счастье может быть организовано умом, сердцем, волей человека. Герой «Алых парусов» говорит товарищам, что благодаря мечте Ассоль он «понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками».

Под суровой внешностью Грина билось преисполненное любви к людям сердце. При этом он стремился всегда самостоятельно решать встававшие на его жизненном пути задачи, и отсюда такой его, например, совет в одном из позднейших писем ко мне (8 октября 1926 года): «Став капитаном, не сбивайтесь с пути и не слушайте никого, кроме себя». Спорный, но совершенно гриновский совет.

На пустяковую услугу он отзывался иногда такой взволнованной благодарностью, словно лишний раз радостно убеждался в том, что люди хороши, что жизнь действительно не так мрачна, как в дореволюционные годы. Вообще же он очень скупо открывал сердечные свои чувства. Вот он пишет мне Î 9 октября 1926 года: «Кому мы, литераторы, посвящаем наши книги, — если не на бумаге, то в душе? Конечно, нашим женам. Вот я и посвящаю книгу[3] Нине Николаевне». И тут же он чопорно добавляет: «Надеюсь, это невинное и законное желание автора не встретит возражений со стороны других членов редакции». А из-за этой чопорности выглядывает гриновская мужественная нежность.

В процессе творчества, создавая свой фантастический мир, Грин сам начинал жить воображаемой жизнью, вымышляя никак не соответствующие истине отношения между людьми, с которыми он встречался. И случалось, что, поверив в собственные свои домыслы, он вторгался в жизнь человека с поступками несообразными и нелепыми.

Мне привелось однажды стать жертвой его воображения. Как-то явившись ко мне поздно вечером, он очень чопорно попросил разрешения заночевать у меня. Он был абсолютно трезв. И вот среди ночи я проснулся, ощутив неприятнейшее прикосновение чьих-то пальцев к моему горлу. Открыв глаза, я увидел склонившегося надо мной Грина, который, весьма мрачно глядя на меня, задумчиво сжимал и разжимал сильные свои пальцы на моей шее, соображая, видимо: задушить или нет. Встретив мой недоуменный взгляд, он, как очнувшийся лунатик, разогнулся и, не молвив ни слова, вышел.

Мне потом удалось выяснить причины этого внезапного и фантастического поступка. Грину представилось, что я обязан жениться на одной девушке. Он построил в воображении своем отчаянный сюжет, в котором я играл роль злодея, и, побуждаемый добрыми намерениями, в моем лице решил наказать порок. Нечего и говорить о том, что всё это не имело абсолютно никаких реальных оснований. Может быть, сцена, в которой я оказался невольным участником, была всего лишь литературным вариантом «Алых парусов», которые он писал тогда.

Во всяком случае, я не стал бы поминать тут об этом глупом происшествии, если б не хотелось мне показать на конкретном эпизоде фантастичность поведения, которая иной раз проявлялась у Грина в жизни. Такого рода поступки служили почвой для самых необычайных легенд об этом писателе — легенд, которые он сам опровергал, и справедливо опровергал, в своей «Легенде о Грине» (так он хотел сначала назвать свою «Автобиографическую повесть»).

Этот же человек, который собирался задушить меня, мне первому читал «Алые паруса». Он явился ко мне тщательно выбритый, выпил стакан крепкого чая, положил на колени рукопись (всё те же огромные листы, вырванные из бухгалтерских книг), и тут я увидел робость на его лице. Он оробел, и странно было слышать мне от этого человека, который был старше меня на двадцать лет, неожиданное, сказанное сорвавшимся голосом слово:

— Боюсь.

Ему страшно было услышать написанное им, проверить на слух то, над чем он работал так долго, и вдруг

убедиться, что вещь плоха. А произведение это — «Алые паруса» — было поворотным для него, для его творчества. Это был тот страх художника, который так замечательно изображен Львом Толстым в художнике Михайлове, показывающем свою картину Анне Карениной и Вронскому.

Потом Грин, преодолев робость, начал читать. Дойдя до того места, когда Ассоль встречается в лесу со сказочником, Грин вновь оробел, и голос его пресекся. Тогда я сказал ему первую попавшуюся шаблонную фразу:

— Вы пишете так, что всё видно.

— Вы умеете хвалить, — отвечал Грин и, взбодренный банальной моей похвалой, прочел превосходно свою феерию уже без перерывов.

Удивительно, как мало нужно сделать, чтоб ободрить, окрылить иного писателя!

Грин не слишком привычен был к похвалам. Он испытывал подчас и особого рода робость — робость писателя, не признанного «высокой литературой», но в то же время писателя-профессионала, живущего литературным заработком.

Однажды, когда он нуждался, он написал одноактную пьеску[4] и прочел ее Шкловскому, от которого отчасти зависело принятие этой пьески в маленький театрик. Пьеса оказалась плохой. Шкловский, любивший Грина и расстроенный его неудачей, выскочил из комнаты, ничего не сказав. А Грин робко взглянул на меня и спросил:

— Не примет?

Надо прибавить, что и в неудачных своих вещах Грин органически развивал свой стиль, свою манеру письма. И в неудачных его вещах явственно было видно его лицо, его почерк, слышен был его голос. Даже в маленьких записочках Грин оставался Грином. Вот, например, я нашел недавно у себя среди писем клочок бумаги. На нем: «Извините меня, что я взял у вас огня, то есть — коробку спичек. Утащил без кавычек». И дальше что-то вроде белых стихов: «Увы, прощенья нет! Злодей, молчи и брось кинжал...»

Не нужно мне было и подписи, чтобы сразу видеть, что писал эти строки Александр Грин. Писал, конечно, в двадцатом году в Доме искусств. Постучался в мою комнату, отворил, меня не было, он взял спички и

оставил записку. Так мы ходили друг к другу. Комнаты на ключ не запирались.

Александр Грин был мастером сюжета, но даже те, которые признавали это, считали, что зато язык произведений Грина подобен языку переводных романов. Легко проследить зависимость стилистики Грина от По, Стивенсона.

Но ощутимей обнаруживается и неожиданная связь с иными из русских реалистов (например, в рассказе «Возвращение» — с «Братьями» и «Господином из Сан-Франциско» Бунина). Можно открыть в произведениях Грина несомненное влияние Гоголя, Достоевского. Но было бы неправильно, характеризуя стиль Грина, ограничиваться указаниями на все эти влияния.

Своеобразное дарование Грина создавало своеобразный, оригинальный его стиль, отнюдь не подражательный. Впечатление переводного языка, зависимого от текстов неизвестного подлинника, порождается необычным для классических традиций русской литературы содержанием произведений Грина. Нерусские имена персонажей усиливают это впечатление. Русский язык кажется подчас каким-то нерусским у Грина потому, что русские слова несут у этого фантаста и мечтателя функции зачастую новые для русской литературы, но не новые для ряда иностранных литератур (в особенности английской и американской). И всё же Александр Грин был русским писателем.

Грин тщательно работал над языком своих произведений, ища наиболее выразительных слов для выпуклого, рельефного изображения своих фантастических героев. Нет ничего случайного и неряшливого в языке лучших произведений Грина. Стиль Грина, оживляемый то лирикой, то иронией, остается всегда спокойным, ровным, лишенным претенциозного безвкусного вычура, выспренней риторики. Самые необычайные события Грин излагает без нажима, так, как рассказывают о самых обыкновенных, всем известных вещах. Этот контраст тона и содержания, придавая художественную убедительность произведениям Грина, составляет особенность его манеры, которая опять-таки роднит лучшие его произведения с народными сказками.

Свой сказочный мир Грин описывает реалистически. Его Лисс, Зурбаган, Каперну можно воспринять зрительно, как абсолютную реальность, и моя банальная

похвала Грину при чтении им «Алых парусов» не была в этом смысле фальшивой. Реалистическое описание этих вымышленных городов и деревень как нельзя лучше контрастирует с фантастичностью разыгрывающихся в них событий.

Вчитайтесь в такие страницы, как, например, описание леса в «Алых парусах», изображение шторма в рассказе «Пролив бурь» и т. д., и оригинальный живописный дар Грина станет так же ясен вам, как его ирония, его лирика, его умение передавать динамику событий и сложность душевных движений. Он находит весьма удачные образы для скупого и точного изображения психики своих персонажей.

При внимательном чтении лучших страниц Александра Грина ясным становится, что этот фантастический, кажущийся нерусским писатель отлично владел родным русским языком. Он мучительно и напряженно работал, воплощая свои смутные мечтания в слове, в художественных образах.

Тема мечты плотно вошла в творчество Грина, стала, в сущности, основной его темой. Сразу после «Алых парусов» он принес мне однажды небольшой рассказик, страницы на три, с просьбой устроить его в какой-нибудь журнал. В этом коротеньком рассказике описывалось, как некий человек бежал, бежал и, наконец, отделившись от земли, полетел. Заканчивался рассказ так: «Это случилось в городе Р. с гражданином К.».

Я спросил:

— Зачем эта последняя фраза?

— Чтобы поверили, что это действительно произошло, — с необычайной наивностью отвечал Грин.

Он увидел сомнение на лице моем и стал доказывать, что в конце концов ничего неправдоподобного в таком факте, что человек взял да полетел, нет. Он объяснял мне, что человек, бесспорно, некогда умел летать и летал. Он говорил, что люди были другими и будут другими, чем теперь. Он мечтал вслух яростно и вдохновенно. Он говорил о дольменах, как о доказательстве существования в давние времена гигантов на земле. II если люди теперь — не гиганты, то они станут гигантами.

Сны, в которых спящий летает, он приводил в доказательство того, что человек некогда летал, — эти каждому знакомые сны он считал воспоминанием об

атрофированном свойстве человека. Он утверждал, что рост авиации зависит от стремления человека вернуть эту утраченную им способность летать.

— И человек будет летать сам, без машин! — утверждал он.

Он всячески хотел подвести реальную мотивировку под свой вымысел.

Рассказ не был напечатан.

— Он не имеет сюжета, — вежливо, но непреклонно сказал мне редактор. — От Грина мы ждем сюжетных рассказов.

Этот рассказ был первым наброском романа Грина «Блистающий мир»[5], начатого в том же двадцать первом году. В этом романе полностью разработан мотив летающего человека, разработан в привычной Грину форме фантастического романа, который в то же время опять-таки может быть с полным правом назван сказкой.

Роман этот построен мастерски. Он увлекателен, динамичен и держит читателя от начала до конца в напряжении. Действие романа происходит в 1913 году в обычном для Грина сказочном городе Лиссе. Содержание романа составляет борьба бескрылого буржуазного мира против «чуда», против мечты, воплощенной в образе летающего человека Друда. К ужасу тюремщиков, Друд вырывается, вылетает из тюрьмы, куда упрятали его, он побеждает всесильного министра с его полицией, побеждает спокойно, иронически, презрительно.

Но каковы стремления Друда? «Невидимка» Уэллса хочет завоевать мир. Грин лишает Друда желания вмешиваться в жизнь. Друд отвергает план овладения миром. Он говорит: «Мне ли тасовать ту старую истрепанную колоду, что именуется человечеством? Не нравится мне эта игра».

В противоположность «Алым парусам» в романе «Блистающий мир» действует герой, склонный к пассивности, пессимизму в оценке реальной жизни. Друд живет в сказочном бесплотном мире музыки, веселья, покоя, изредка только появляясь в мире реальном, где он вызывает ненависть не активностью своей, не какими-нибудь планами борьбы против косности людей, но просто необычностью своего чудесного свойства.

Мечта фатально гибнет от соприкосновения с действительностью. Друд погибает. Образ «разбитой мечты»

реализован Грином в летающем человеке, который разбился при падении. И женщина, ненавидящая Друда за то, что он смутил ее земную жизнь чудесной мечтой, говорит над его трупом: «Земля сильнее его; он мертв, мертв, да, и я вновь буду жить, как жила». И люди продолжают прежнюю жизнь, ничего не изменилось в этом косном мире.

Такова грустная философия этого противоречивого романа, написанного Грином непосредственно после оптимистических «Алых парусов». Ненависть к косности человеческой сочетается в этом романе с бессилием, беспомощностью, бесплотностью мечты. Энергичное развитие сюжета, динамичность композиции романа контрастирует со смутными и вполне пассивными идеалами главного героя, которые ежечасно опровергались жизнью в годы, в которые писался этот роман.

В сказочном мире Грина мечта и действительность спорят и борются друг с другом. Грин жил в годы, когда спор этот решался в жизни, которая окружала его, Грин жил среди активнейших мечтателей, но пути борьбы были неясны ему, и это было трагедией его как художника. «Алые паруса» остались наивысшим взлетом его оптимизма.

После «Блистающего мира» в рассказе «Возвращение» Грин умиротворенно и печально писал о том, как человек перед смертью «понял, как понимал всегда, но не замечал этого, что он — человек, что вся земля, со всем, что на ней есть, дана ему для жизни и для признания этой жизни всюду, где она есть».

И он добавляет грустно: «Но было уже поздно».

А в рассказе «Комендант порта», полном грустной иронии и лиризма, Грин как бы прощается с воображаемой жизнью. Тильс, добрый и смешной старичок, над которым смеются, но которого в то же время любят, никогда не был моряком, моряком он был только в воображении. Но он влюблен во всё, что связано с морем и морскими приключениями, он смешон и трогателен в своей бескорыстной любви к героям больших рейсов и романтических путешествий, в своих безобидных попытках подражать морякам, представляться старым морским волком.

Этот рассказ просто и мягко разоблачает воображаемую жизнь романтика. Вместе с такими произведениями, как уже упоминавшееся мною «Возвращение»,

«Комендант порта» предшествует переходу Александра Грина к реализму.

Грин оставил нам только одно реалистическое произведение — «Автобиографическую повесть». Интересно сопоставить ее с написанным раньше романом «Золотая цепь». «Золотая цепь» развивает обычную для Грина тему мечтателя. «Его ум требовал живой сказки, а душа просила покоя», — говорится про героя этого романа, живущего в сказочном дворце. Юноша, действующий в романе, одет в пышные одежды фантастического вымысла. Он приблизительно в том же возрасте, что и герой многих страниц «Автобиографической повести» — сам автор, Александр Грин. Можно сказать, что если «Автобиографическая повесть» рассказывает о реальной юности Александра Грина, то «Золотая цепь» говорит о воображаемой его юности.

В своей «Автобиографической повести» Александр Грин просто и сурово рассказывает о своей жизни. И понятным становится, как загнанный нищетой, голодом, болезнями, преследованиями царской полиции, тюрьмой Александр Степанович Гриневский убежал от российской действительности в мир мечты и блуждал там. Причудливая фантастика Грина, его пессимизм, мучительная борьба с поселившимися в душе его безверием и отчаянием, его блуждания в поисках верного пути — всё это находит почву в русской действительности времен реакции.

Творчество Грина просветлело после Октября. Ласковая рука Горького поддержала его. Неизвестно, что дал бы Грин на новом — реалистическом — этапе своего творчества. Он умер от рака в самом начале этого своего нового пути, не закончив «Автобиографической повести».

Мастер сюжета, Александр Грин создал ряд увлекательных книг, в которых мечта о счастье спорит и дерется с косностью человеческой. Я не критик, а прозаик, и мне просто хотелось рассказать об очень талантливом и очень странном русском писателе так, как я его знал и как я его понимаю.

ЛЕОНИД БОРИСОВ

АЛЕКСАНДР ГРИН

Очень немного могу рассказать я о нем как о человеке, — видеть его и разговаривать с ним доводилось мне не однажды, но всегда мельком и урывками. Александр Степанович Грин при внешней своей общительности был человек замкнутый, несколько настороже, и, мне кажется, эта настороженность была в нем его чувством собственного достоинства. Он знал себе цену, берег в себе свое умение неповрежденным уйти в вымысел и неповрежденным выйти оттуда, он никогда и никого близко не подпускал к замыслам своим и всегда сердился, когда его спрашивали: «Что вы сейчас пишете?» Он настораживался, морщины на его лице приходили в движение, глаза беспокойно искали опоры и, найдя, закрывались. Грин отвечал: «Вам нужно побриться», или «Второй месяц читают мой рассказ в этом самом журнале. Рассказ, должно быть, понравился. А посему — возвратят».

Александра Степановича я встречал в семейных писательских домах. Большинство им не интересовалось, ибо это большинство было малокультурно и честолюбиво без малейших к тому оснований. Девять десятых этого большинства уже умерло, одна десятая давно не пишет. Но в свое время это большинство представляло собою литературное окружение Грина. Понятно, что оно его не любило, не понимало и всерьез не принимало. Номер еженедельного дореволюционного журнала, где печатался Грин, открывался скупым и бесталанным расска-

зом какого-нибудь Лазаревского или Каплуновского, в этом номере самодовольно попискивали стишки Леонида Афанасьева, Рославлева, Сергея Михеева. Литературные дамы типа Изабеллы Гриневской помещали ответы свои на анкету журнала «Что такое красота?». В конце номера, «заламывая котелки», острили бессменные Агнивцев и Шебуев. Где-нибудь на страницах восьмой и девятой набирался Грин. Кайенский перец среди недопеченных домашних ватрушек!

Но умный, культурный читатель, перелистав журнал, останавливал свой выбор на рассказе Грина. Рассказ нравился, запоминался, читатель ждал отклика критики; критика непохвально молчала, ей было некогда: подымали на щит Арцыбашева, распинали Кузмина и гладили по головке какого-нибудь недаровитого юношу, «скромное дарование которого в будущем обещает читателю много столь же прелестных и изящных по настроению вещиц».

Писательская молодость Грина прошла среди лазаревских и пошляков из «Синего журнала». На фоне скудоумной дореволюционной еженедельной журнальной беллетристики пряный аромат и острое дыхание гриновских рассказов воспринималось приблизительно как ананас после вареной моркови. Упорство, воля, неистребимая любовь к своему призванию, вера в необходимость того, что ты делаешь, — всё это в совокупности помогло Грину не потерять и в неприкосновенности сохранить свой строй языка, свою инструментовку прозы. Нужно было обладать недюжинной силой, чтобы не потеряться и не сдаться в компании с третьесортными литературными «марципанами» (выражение Грина), нужно было быть очень талантливым человеком, чтобы сохранить в себе то, что дорого нам сегодня в необыкновенном, редкостном наследстве Александра Грина.

В 1922 году, если не ошибаюсь, мне довелось видеть и слышать Александра Степановича на устном альманахе в Доме литераторов. Молодой советский отряд литературы со вниманием и подлинным удовольствием слушал рассказ Грина о некоем вымышленном упрямце с невымышленным человеческим характером. Имя у героя рассказа было смесью английского с гриновским. Автор читал свой рассказ с прилежанием человека, дрессирующего мустанга. Некоторые эпитеты Грину не нравились, и он шепотом говорил самому себе: «Исправить! Плохо!»

Безукоризненно сделанный конец рассказа Грин снабдил едва слышным публике замечанием: «Вот это да!»

Аудитория в сто человек аплодировала одобрительно и охотно. Двое-трое начинающих писателей (сегодня они популярны) долго не могли прийти в себя: очарование искусства продолжалось. К писателям подошел администратор Дома литераторов, матерый коммивояжер и дебютант-приспособленец. Он сказал:

— Недурно, а? Может писать! Жаль, что он сочиняет очень сложно, — я так и не понял, зачем этот человек шел лесом и пел [1].

Старики и старухи — аборигены Дома литераторов — сидели на своих стульях и перекидывались:

— Недурно!

— Прелестная вещь!

— Мило!

— Похоже на перевод с английского!

— Ах, этот чудак Грин!

И принимались хвалить некоего дореволюционного моржа-бытописателя, застрявшего в правлении Дома литераторов. Эти моржи сидели там долго, потом они пересели в другое место. Атмосфера очищалась, окружение Грина разбегалось, приспособлялось, в строй искусства вступала советская талантливая новь.

На том же литературном вечере Грину сказали:

— Какой отличный рассказ! Где вы его печатаете?

— Не знаю, — ответил Грин, — где возьмут. Мне пить хочется, нельзя ли раздобыть чайку, да чтобы покрепче.

Ему принесли стакан теплого чая. Грин только взглянул на него, сказал:

— Чай для пенсионеров. Бог с ним.

Оделся и вышел. Я последовал за ним. Грин поднял воротник пальто, ссутулился, крупно зашагал. На проспекте Володарского он остановился, о чем-то поразмыслил и пошел обратно. Заметил меня, вгляделся, улыбнулся и произнес:

— Летят журавли. Полное небо журавлей. Эрику кажется, что это движется небо. Крылатое небо. Черт!

Я молчал, да Грину и не важен был мой ответ, он шагал по проспекту Володарского в сторону моста и напевал что-то. Улыбнувшись мне, сказал:

— Вот в этом доме жил Николай Павлыч, кормил устрицами. К нему перестали ходить. А я не перестал и всё ходил. Тогда Николай Павлыч послал к чертям устриц и начал угощать маслинами. Я уехал на юг. Я там жил, понимаете? На юге хорошо. А вот этот дом Мурузи. Тоже штучка.

Грин на ходу вскочил в вагон трамвая, помахал мне рукою.

Через неделю я встретился с ним на домашней вечеринке у одного дореволюционного писателя, разучившегося писать. Меня познакомили с Грином.

— Мы знакомы, — сказал я, пожимая шершавую ладонь и железные пальцы Грина.

— То есть как знакомы? — Грин даже несколько рассердился. — Мы не знакомы.

Я принялся уверять, что мы знакомы. Грин пожимал плечами и делал большие глаза. Я напомнил ему о Николае Павловиче, который кормил гостей устрицами. Грин заявил, что никакого Николая Павловича он не знает.

— Николай Павлович — это Николай Первый, — сказал Грин. — Наслышан о таком премного, но устрицами его не пользовался.

Я отошел от Грина. Дама с лорнетом на цепочке шепнула мне на ухо:

— Он чудак, этот Александр Степанович! Он шутит. Он однажды чуть не убил моего мужа. Подошел к нему и сказал: «Ты будешь убит, готовься». И пошел на кухню за топором. Подошел к мужу, муж говорит: «Александр Степанович, брось дурить! Топор острый!» — «Это и хорошо, что острый». — Дама захохотала. — А через неделю Александр Степанович прочел нам главу из рассказа. Там один человек убивает топором другого. Редкий оригинал! [2]

— Но почему же он делает вид, что мы незнакомы? — спросил я даму.

— Это он работает, — сказала дама. — Так нужно для его рассказа.

Дама была из наблюдательных. Действительно, Грин почти всегда находился в творческом состоянии. Почти всегда он видел себя в окружении своего, не воплотившегося в слово замысла. Он проверял его на ощупь, он перевоплощался, репетировал. Помню такую сцену: Грин подходит к окну. На улице обычное дневное

движение. Грин обращается к хозяину дома и говорит:

— Вот тот в шляпе. Видите? Ему бы следовало зайти в дом напротив. Там его счастье. Он не знает об этом. Видите, он прошел мимо. Даже не споткнулся. Черт знает как глупо!

Я вспоминаю сейчас эту сцену, вижу стоящего у окна Грина и думаю то, чего не думал тогда: «Вот как работает подлинная творческая фантазия! Вот что драгоценно в ремесле художника: пожалеть, что некий человек не поступил по-твоему, не споткнулся тогда, когда по воле писателя ему нужно споткнуться. Этот незнакомый, случайно прошедший мимо художника человек, уже пойман и закреплен в некий сюжет. Вот как надо вынашивать свои замыслы! Вот что такое творчество в его скрытом от читателя виде!»

Я премного благодарен случаю, давшему мне возможность так близко и так зримо подсмотреть один из наиболее утаиваемых актов писательской работы.

Года три спустя Грин, не желая кого-либо учить, научил меня еще одному приему художника.

Читал свой рассказ Алексей Павлович Чапыгин. Рассказ назывался «Зал*о*м». В некоторых местах своего рассказа Чапыгин смеялся, эти места отмечал для себя на бумажке Грин. Кончив читать, Чапыгин крякнул и спросил:

— Ну, как?

— А вот так, — ответил Грин. — Крякнул, значит, сам чувствуешь, что удалось. Когда человек колет дрова, то, опуская колун, он крякает. Если же колун дважды и трижды ударит по одному месту и полено не разлетится надвое, человек уже не крякает, он поминает родных и черта. Крякнул — значит, расколол. Значит, получилось то, что нужно. Так. Но вот, Алексей Павлович, в некоторых местах ты смеялся. Сам смеялся, старик. Места смешные? Нет. Наоборот, лирика в диалоге. А над лирикой кто же смеется? Над лирикой смеется тот, кому она не свойственна. Кто-то у Шекспира не любит музыки, зрителя предостерегают: бойся его, он не любит музыки! Ты собственным смехом своим предостерегаешь нас: «Я, милостивые судари, не лирик. Лирика мне не свойственна. Я даже смеюсь в тех местах, где она, если и не присутствует, то всё же рождает лирический отзыв у читателя». Чапыгину подобает

писать бытовые и исторические романы. Для этого требуется живопись, масляные краски. Они у него есть. Лирика — это акварель. Зачем смеяться над акварелью? Нельзя! Не надо! — И закончил: — Следует поправить те места, где автор смеялся. Он смеется, а читатель недоумевает.

Чапыгин, пожав плечами, согласился. Я осторожно вставил замечание:

— Позвольте! Но ведь читатель не услышит этого смеха! Этот смех слышали мы, — нам читал свой рассказ сам автор. У читателя будет в руках журнал!

Грин повернулся в мою сторону и, полузакрыв глаза, назидательно проскандировал:

— За Чапыгина будет смеяться его фраза, та, при чтении которой Чапыгин засмеялся. — И миролюбиво добавил: — Фраза — это вам не глина в руках скульптора! Глина — утаит, слово — выдаст.

Мне рассказывали: Грину представили молодого человека:

— Ваш поклонник, давно мечтает познакомиться с вами.

Грин забыл всё и всех. Он уединился с поклонником своим и долго, внимательно и отечески беседовал с ним. Поклонник ушел, Грин помрачнел.

— Дело в том, что я еще в разбеге, — будто бы сказал Грин. — И пока что пишу то, что бежит на меня, задевает, увлекает. А этому молодому человеку хочется, чтобы я отобразил текущую действительность. Резко затормозить — опасная штука, можно голову сломать. Я еще лечу, плыву, я еще не сказал всего своего. А разве «Алые паруса» не современная вещь? Невнимательные вы, ей-ей! Вот проживу еще лет двадцать и напишу роман о Павле Первом, о перелете птиц, о студенте, который отлично учится.

В ту пору Грину было не больше сорока пяти лет. Его знали, любили, читали, о нем ни словечком не обмолвились критики. Он был в полном цвету, замыслов его хватило бы на сто печатных листов. Большая любовь к жизни и ее коллизиям управляла всеми поступками, жестами, обыденными разговорами Грина.

Больно и грустно, что его нет с нами. Ему сегодня было бы пятьдесят девять лет[3]. Возможно, что он и написал бы роман о студенте, который отлично учится. А если бы и не написал, то, во всяком случае, не изме-

нил бы себе в главном: не приспособился бы к той теме, поднять которую он не сумел бы, запаха которой он не ощутил бы.

— Следует показывать жизнь такою, какая она есть в твоем умении ее показывать, — сказал мне Грин летом 1928 года, когда он приезжал в Ленинград с романом своим «Джесси и Моргиана».

И, прощаясь со мною, добавил:

— Вот выйдет, бог даст, моя новая книга, и в этой книге я рекомендую вам прочесть особенно внимательно главу третью, вернее — начало главы, то место, где у меня написано о леди Годиве.

Вот это место:

«...Джесси обошла все нижние комнаты; зашла даже в кабинет Тренгана, стоявший после его смерти нетронутым, и обратила внимание на картину «Леди Годива».

По безлюдной улице ехала на коне, шагом, измученная, нагая женщина — прекрасная, со слезами в глазах, стараясь скрыть наготу плащом длинных волос. Слуга, который вел ее коня за узду, шел, опустив голову. Хотя наглухо были закрыты ставни окон, существовал один человек, видевший леди Годиву, — сам зритель картины; и это показалось Джесси обманом. «Как же так, — сказала она, — из сострадания и деликатности жители того города заперли ставни и не выходили на улицу, пока несчастная наказанная леди мучилась от холода и стыда; и жителей тех, верно, было не более двух или трех тысяч; а сколько теперь зрителей видело Годиву на полотне?! И я в том числе. О, те жители были деликатнее нас! Если уж изображать случай с Годивой, то надо быть верным его духу: нарисуй внутренность дома с закрытыми ставнями, где в трепете и негодовании — потому что слышат медленный звук копыт — столпились жильцы; они молчат, насупясь; один из них говорит рукой: «„ Ни слова об этом! Тсс!" Но в щель ставни проник бледный луч света: то и есть Годива!».

Э. АРНОЛЬДИ

«БЕЛЛЕТРИСТ ГРИН...»

Весна 1922 года... После окончания гражданской войны жизнь входила в нормы, складывавшиеся после Октября, с «деловыми поправками», вносившимися нэпом. Иногда могло казаться, что эти «поправки» ведут назад, но жизнь рвалась вперед, и сквозь шелуху старого всё яснее проступало новое. Открывались новые возможности, и навстречу им оживлялась всяческая инициатива.

Мой приятель Платон Корыхалов, одного со мной выпуска реального училища, под впечатлением новых веяний горячо увлекся планами создания газеты, которая не имела бы официального характера, обращалась к широкому кругу читателей с разнообразной информацией и занимательно изложенным материалом. Мы оба тогда работали литсотрудниками в газетах, и нам очень хотелось писать «не как все», делать что-то нешаблонное, привлекающее новизной.

После долгой возни и хлопот Корыхалову удалось уговорить руководителей Ленинградского отделения телеграфного агентства РОСТА приняться за выпуск раз в неделю «Вечернего телеграфа», в выходной день — «Вечерней Красной газеты» [1]. Задумано так было «для начала», а дальше, в случае успеха, можно было развернуться в ежедневное издание. Работа у нас закипела. Первый номер планировался в шесть страниц. Вкладной лист намечался как литературное приложение.

— В этом приложении надо тиснуть нечто особенное, очень интересное и непохожее на то, что печатается

в газетах, — сказал мне Платон. — Придумай-ка, кто из наших писателей мог бы дать подходящий нам отрывок из еще не опубликованного сочинения?

Я сразу подумал, что самым «непохожим» могло быть написанное Александром Грином. Несомненно, он был единственным в своем роде. Платон одобрил мое предложение, поручил мне найти Грина и договориться с ним.

Грином я увлекался с детства. Я проявлял повышенный интерес к приключенческой литературе и освоил в ней значительные массивы. Прочитав впервые рассказ с подписью «А. Грин», я принял его за переводный, потому что мне была знакома английская писательница детективного жанра с этой фамилией. Ошибка была простительна, так как в нее впадали даже весьма солидные и авторитетные люди. Александр Степанович мне рассказывал, как его представляли А. Н. Толстому. Прославленный писатель, пожимая руку, с восторгом отметил поразившее его уменье Грина строить сюжет. Подумав мгновенье, он для примера назвал прочитанный им недавно роман «Рука и кольцо». Александр Степанович ответил, что, к немалому сожалению, это написала Анна Катарина Грин. [2]

Поэтому мне потребовалось внимательное ознакомление с сочинениями, подписанными «А. Грин». Я заметил, что под этим именем встречаются очень различные произведения. С одной стороны, это были обычные детективные сюжеты, где вся суть заключалась в таинственном преступлении и путях его раскрытия. А с другой стороны, я вдруг сталкивался с необычными приключениями очень необычных для знакомой мне приключенческой литературы людей, волновавших воображение не столько переживаемыми событиями, сколько тем, как и почему с ними всё происходило именно так, а не иначе. Для первых главным были события, для вторых — люди. Так постепенно я обнаружил разницу между двумя Гринами: А.-К. Грин была прямолинейно проста, А. С. Грин — сложен и полон непредвиденностей. Эти неясные и волнующие ощущения от первого знакомства с творчеством Грина сразу вспомнились мне в разговоре с Платоном о «непохожем».

Меня поражало, что герои Грина, носившие несуществующие, но несомненно иностранные имена, были не

такие, как герои известных мне зарубежных авторов. Несмотря на экзотичность, в них было что-то смутное, но явственно ощутимое русское. За Гнорами, Ноками, Медирами нередко скрывались какие-то свои, знакомые и понятные люди, в которых просвечивали черты Иванов и Василиев. Особенно часто они напоминали русских интеллигентов на рубеже XIX и XX веков...

Творчество Грина развивалось в период послереволюционного спада 1905—1916 годов. Русская литература этих лет была пестра, сложна и противоречива. Видное место занимали символисты, декаденты, упадочники разных мастей. Мучительным исканиям передовых мыслителей противостоял разнузданный эротизм. Общественный и художественный разброд, несомненно, сказались на Грине в тех тонах разочарованности и неудовлетворенности, к которым тогда пришли многие, в том числе и поборники передовых идей.

Грин оставался в стороне от всех литературных направлений. Легче всего было предположить его близость к тем, кто пассивно отвернулся от современности. Но это слишком легко, а потому неубедительно. Непригодность такого объяснения особенно очевидна сегодня: мало кто из того десятилетия пережил десяток лет, а Грин испытание временем с честью выдержал!

Прекрасное есть жизнь, и если Грин искал это прекрасное не в типических проявлениях современности, то это вовсе не означает, что он пассивно уходил в мир вымыслов. Мне всегда представлялось, что в созданном им мире Грин всё же по духу и манере своей оставался приверженным жизненной правде, хотя и непохожим на тех, кто боролся за раскрытие отношений реальной действительности... В своей вымышленной стране он находил людей, каких не обнаруживал в обыденном мире. Они были для него реальны, как реален был для него мир, в котором он их поселил. И он показывал во всей правдивости их чувства, мысли, побуждения.

Вполне понятно, я. очень волновался, когда шел к Грину. Как меня примут, сумею ли изобразить должную солидность «представителя редакции» при моем явно несолидном возрасте? А встреча с известным писателем волновала еще больше. Я не помню, кто мне от-

крыл дверь, провел в комнату с грошовой мебелью, с тенью нищеты по углам, и предложил подождать.

Через минуту вошел высокий худой человек. У него было удлиненное лицо, несколько выступающие скулы, высокий лоб, характерный рисунок носа. Запомнились сурово сжатые губы и вдумчивые усталые глаза. Это было лицо много пережившего и передумавшего, видавшего виды человека. Можно было догадаться, что жизнь его крепко обработала и изрядно исцарапала. Он протянул мне большую костлявую руку и представился:

— Беллетрист Грин.

С трудом подавляя волнение, я старался как можно внушительнее изложить дело, по которому пришел, и расположить к нашему начинанию. Я терялся, и мне казалось, что я говорю несуразно. Но Грин слушал очень внимательно, не перебивая, и это меня успокоило. Когда я закончил и, должно быть, посмотрел на своего собеседника смущенно-вопросительно, он ответил очень благожелательным тоном, словно разговаривал с почтенным человеком:

— Сейчас я заканчиваю повесть. Называется она «Алые паруса». Я выберу подходящий отрывок, какой сможет быть интересным для вашего читателя.

Грин кратко охарактеризовал повесть, чтобы я понял, какой отрывок он собирается нам предложить. Мы договорились об объеме рукописи и сроке, когда за ней зайти.

В следующий раз Александр Степанович вручил мне несколько листков тетради, плотно исписанных твердым почерком. Я получил начало второй главы «Алых парусов», озаглавленную «Грэй». В отрывке излагался рассказ Польдишока о бочке. Это было, в самом деле, совсем необычайно и не похоже ни на что другое!

Мы с Платоном в полном восхищении прочли рукопись и с гордостью решили, что доставим будущим читателям «Вечернего телеграфа» большое, редко испытываемое удовольствие. Ясно ощущались особенности всей повести-феерии: чудесная мечта, трогательная и волнующая, сбывшаяся в судьбе, сотворенной любовью. Странно чередовались поразительные вымыслы с обыденностью, печаль и мягкая лирика с юмором. «Алые паруса» принадлежат к наиболее «гриновским» произведениям, в них заключены самые характерные творческие «секреты» писателя.

Успех «Алых парусов» у читателей поэтому весьма показателен. То, что увлекало Грина, влекло и читателей. Мечта и вера в свою мечту, уверенность, что она сбудется, какой бы она ни казалась несбыточной другим, — разве это не чудесно? При этом мечта осуществляется не фантастически, не волею таинственного рока, а необычайно просто и правдоподобно! Радостно, светло и празднично любовь превращает мечту в материально ощутимую действительность. И за этим скрыта очень простая и реальная истина: люди сами, своими руками создают судьбу — другим и себе!

Грина иногда обвиняют в том, что он уходит из реального мира в причудливые вымыслы. Между тем в фееричных и сказочных «Алых парусах» он страстно противопоставляет глубокую человечность Грэя надменной черствости его отца и низменных, дрянных людишек, окружающих Ассоль. И с какой неприязнью показаны толстый кабатчик и его сын! Симпатии и антипатии Грина неизменны, всегда ярко выражены, связаны с жизнью...

Отрывок «Грэй» занял весь подвал вкладного листа в первом номере «Вечернего телеграфа», вышедшего 8 мая 1922 года. Много сил и стараний было вложено в эту газету, всё тщательно продумывалось и подготавливалось. Нам всё казалось очень интересным и удачным. По всей вероятности, так оно и было. Но, к сожалению, наша мечта не осуществилась... Читатели не были потрясены, газета раскупалась плохо. Надо вспомнить, что в те годы еще приходилось продвигать периодику к читателю, вести за нее агитацию. На это требовалось много времени и денег. Затраты не могли сразу оправдаться. Отпущенных средств едва хватило на выпуск второго номера, и на этом наше предприятие закончилось...

— С типографией еле расплатились, — поведал мне Платон. — Остались еще долги... Гонорар платить не придется, и спрашивать не с кого!

— Как?! — ужаснулся я. — И Грину не заплатим?!

Мне стало нестерпимо стыдно, что я ввел в обман такого большого писателя, проявившего к нам внимание. Ну, меня, человека ему неизвестного, он может запрезирать с полным основанием, и я это вынужден принять как заслуженное. Но я знал, как мало тогда было возможностей у наших писателей печататься: ведь об-

щие литературные журналы еще не издавались, и Грин, наверно, рассчитывал на гонорар, — за последние два года у него ничего не было напечатано![3] Эта мысль была для меня особенно тягостна: по виду квартиры нетрудно было догадаться, что условия жизни Грина далеки от процветания...

Корыхалов мгновенье подумал и сказал:

— Нет, не заплатить Грину — слишком большое свинство! Придется как-нибудь урвать!

Я уж не помню, каким геройским способом Платон добыл деньги на выплату гонорара за «Грэя», но они появились, и мы постарались выполнить всё с максимально доступной нам культурностью: положили в конверт деньги, кассовый ордер и на бланке настукали одним пальцем (после краха «Вечернего телеграфа» нам было стыдно обращаться к машинисткам РОСТА) до чрезвычайности вежливое сопроводительное письмо. Конверт и несколько номеров газеты я отвез Грину. Он любезно поблагодарил и посочувствовал нашей неудаче. А я был счастлив, что избежал позора... На этом моя первая встреча с ним закончилась, и уважительного повода для продолжения знакомства у меня не оказалось.

В Ленинграде открылось отделение издательства «Известий». П. Корыхалов и я попали туда в постоянные литсотрудники. Издательство начало выпускать массовый иллюстрированный журнал «Красная нива»[4]. В ряду других писателей к участию в журнале был привлечен А. С. Грин, и мое знакомство с ним, таким образом, возобновилось. Он сразу меня узнал и дружелюбно приветствовал. Наши встречи стали частыми и, продолжительное время, даже повседневными.

В «Красной ниве» в 1923 году, кроме двух рассказов, был принят роман Грина «Блистающий мир». Он должен был печататься в десятке номеров в виде романа с продолжением, и Александру Степановичу приходилось часто заглядывать в отделение издательства. Вопреки своему мрачноватому и замкнутому виду, он оказался очень простым и довольно общительным. Он стал заходить не только по делам, но и попросту заглядывал проведать товарищей.

В редакции весь день бывали сотрудники, «пишущая братия» всех калибров. Одни приходили с материалом,

другие договаривались о заданиях, кто-то диктовал машинистке, а еще кто-то кого-то поджидал, — словом, здесь всегда было оживленно. Большинство журналистов тогда принадлежало к старшему поколению. Почти все они были сотрудниками дореволюционной прессы, старые «зубры», опытные репортеры. Мы — представители молодого поколения — только вступали в строй и учились у старших. В эстафете, которую мы принимали, самым существенным было умение раздобыть материал и изложить его сжато и толково. Но в этом умении содержались и кое-какие старые навыки, не всегда подходившие к новым требованиям.

В ленинградской редакции «Известий» можно было постоянно видеть журналистов разных поколений и направлений. Это было хорошо знакомое Грину окружение, составлявшее обычную для него житейскую обстановку. Несколько человек, в их числе Корыхалов, я и А. И. Сизов — наш редактор хроники повседневно встречались и составляли компанию Александру Степановичу. После окончания работы мы шли вместе обедать или ужинать, а иногда заходили в только что открывшуюся пивную, расположенную в нижнем этаже, как раз под редакцией. Задний зал, облюбованный нами для дружеских встреч, приходился точно под кабинетом нашего главного начальства, заведующего ленинградским отделением «Известий» профессора В. И. Шарого, Поэтому посещение этой пивнушки мы называли «пойти под Шарого».

В то время продажа водки была запрещена, а производство пива только начиналось. Нам, по молодости, этот напиток был еще незнаком и казался очень вкусным. Мы частенько сидели за дружеской кружкой «под Шарым». Затем прогуливались и расходились по домам. Грин, Корыхалов и я жили поблизости, в одном районе, так что нам было по пути.

О чем мы тогда разговаривали? С тех пор прошли десятилетия, наполненные историческими событиями и потрясениями, и будничное стерлось в памяти. Понятно, сегодня многое из этого могло представить большую ценность, хотя в свое время воспринималось как обыденное и малозначительное. Разговоров было много, — о своей работе, о жизни, о литературе... Они велись повседневно и забывались. Конечно, кое-что сохранилось

в памяти, впрочем часто действительно пустяки, хотя и забавные.

Сейчас кажется странным, как я, в то время профессиональный журналист, не проинтервьюировал Грина, не выяснил его литературные взгляды, мнение о своих произведениях, о своих героях и многое, многое, оставшееся невысказанным?!. Этот промах непростителен, но понятен. Я встречался с Александром Степановичем чуть ли не каждый день, мы с ним гуляли, ели, пили, разговаривали... Почему я вдруг стал бы его допрашивать, словно для «беседы с нашим корреспондентом»?

К тому же нельзя забывать, что в те годы Грин не был таким широко популярным, как сегодня. Он оставался в тени, не причислялся к современным авторам, откликавшимся на актуальные проблемы реальной действительности. Он не входил в число преуспевающих писателей и по образу жизни ничем не отличался от всех нас.

Сегодня, вспоминая прошлые встречи, многое представляешь совсем по-иному, и разговоры с Грином всё больше связываются с его творчеством. Ускользавшее прежде от внимания, теперь находит новое понимание и оценку. Грин становится неотделимым от своих произведений, — реальный, виденный мною человек, от жизни, порожденной его фантазией.

И еще должен высказать свое сожаление по поводу того, что не сохранилось у меня книг Грина. У меня были собраны почти все отдельные издания, начиная с дореволюционного трехтомного Собрания сочинений [5], редкостного комплекта газеты «Чертова перечница» [6], в которой принимал участие Грин, и кончая томами незавершенного Собрания сочинений, выходившего в конце двадцатых годов. Грин дарил мне все свои книги, со смешными, нарочито неуклюжими, озорными стихотворными надписями, наподобие тех стишков, какие у него часто читают и распевают персонажи рассказов.

Грин знал, что я пишу литературные рецензии, но никогда не спрашивал моего мнения о своих рассказах. И, по всей видимости, не потому, что пренебрегал моими оценками, а из какой-то удивительной скромности. Ему наверняка было заранее известно, что я стал бы хвалить, и он, очевидно, не хотел напрашиваться на комплименты. Если же я сам высказывал о его сочинениях какие-нибудь замечания, он внимательно слушал и

молча, как-то поощряюще улыбался. Не вступая в споры или объяснения, отвечал краткой репликой, чаще всего выражая готовность согласиться...

С Александром Степановичем всегда было очень легко и просто. Ко мне он выказывал большое дружеское расположение, которого, как мне казалось, я ничем не заслуживал. Несмотря на то что он был вдвое старше меня, он относился ко мне как к равному, непринужденно и вместе с тем уважительно. Как-то запросто мы перешли на «ты», и это не казалось чем-либо особенным. Со всеми он был прост в обращении, без претензий и тени величавости. Надо полагать, происходило это не от какой-то подчеркнутой скромности, а потому, что сам он считал себя человеком обыкновенным, не выделяющимся среди других. И вместе с тем на свою профессию писателя он смотрел, как на особую честь. Представляясь, он к своей фамилии всегда добавлял «беллетрист», скромно, но с чувством достоинства.

Нас он называл «стариками», как персонажей рассказов: «Ну, старик, как дела?» И даже к своей жене, Нине Николаевне, молодой и привлекательной женщине, он обращался «старик»: «Ну, старик, приготовь-ка нам чайку». Мы между собой так же называли и его: «старик Грин».

Но при всей своей общительности и простоте Грин отнюдь не был болтливым «компанейским человеком», а всегда оставался сдержанным и замкнутым. Его манера держаться вполне соответствовала его внешности. Ему были чужды экспансивность, суетливость, оживленная жестикуляция, сколько-нибудь бурное выявление чувств. Скорее он отличался заторможенностью жестов и движений. Мне кажется, ему была более свойственна малоподвижность, замедленность реакций.

Говорил он спокойно, не прибегая к эффектам, хотя часто речь его становилась литературной, похожей на язык его произведений. Мне запомнилась своей необычностью перебивка в его разговоре, когда он сам себя прервал, сказав, что здесь он должен «звездочкой», то есть выноской, как на странице книги, вставить замечание...

У меня осталось впечатление, что Грин никогда не смеялся. Он усмехался, улыбался, но смех был ему както не к лицу. При этом он обладал замечательным чувством юмора, любил и ценил остроумие, с удовольст-

вием принимал хорошую шутку и сам любил иронически сострить. Не случайно среди произведений Грина целый ряд юмористических рассказов и много раз он печатался в известном «Сатириконе»[7]. Полны юмора рассыпанные по его произведениям остроумные и комичные сопоставления вроде «убедителен, как внезапно хлынувший дождь», «неоспорим, подобно крепко пришитой пуговице» или «девочка прицепилась к нему, как муха к колокольне» и т. п. Охотно принимая участие в общем разговоре, он, видимо, еще охотнее молча слушал. В нашей компании, состоявшей из безвестных журналистов, никто не мог хоть в малейшей степени равняться с Александром Степановичем по таланту, жизненному опыту, пережитому и перечувствованному, способности увлекательно выразить свои мысли. Казалось бы, он должен был верховодить, быть у нас главным рассказчиком. Но этого не было. Он никогда не старался выделяться, не требовал к себе особого внимания, и мы никак не ощущали, что он не такой, как другие.

К самому Грину можно вполне отнести характеристику, которую дает себе герой рассказа «Крысолов»: «...моя манера говорить... происходила от печального ощущения, редко даже сознаваемого нами, что внутренний мир наш интересен немногим. Однако я сам пристально интересовался всякой другой душой, почему мало высказывался, а более слушал. Поэтому, когда собиралось несколько человек, оживленно стремящихся как можно чаще перебить друг друга, чтобы привлечь как можно более внимания к самим себе, — я обыкновенно сидел в стороне». Не раз приходилось мне встречать самого Александра Степановича в его рассказах...

Я знал, что Грин был активным участником революционного движения. Вполне естественно было ожидать, что он с готовностью будет об этом рассказывать: ведь революционные заслуги всеми и повсюду ценились, вызывали общий интерес. Но как раз об этом Грин никогда и ничего не рассказывал. Наоборот, он совершенно явно проявлял полное нежелание распространяться о своей жизни. Я догадывался, что делалось это не из особой скрытности или желания утаить что-то сокровенное. Нет, насколько я мог понять, он просто считал, что пережитое им не может составить интереса для других, да и сам, по-видимому, не испытывал влечения к погружению в воспоминания.

Я отнюдь не намерен похваляться, что Грин проявлял ко мне какое-нибудь особое доверие, но бывали случаи, когда он разговаривал со мной с безусловной откровенностью. Поэтому я решаюсь предположить, что он, во всяком случае, не таился от меня. Много раз мы прогуливались с ним вдвоем по ленинградским улицам, обедали вместе, непринужденно беседуя, перескакивая на разные темы. Бывал я и у него, да и он заходил иногда ко мне. Во всяком случае, представлялось достаточно возможностей поговорить без стеснений.

И вот в таком непосредственном общении, я вспоминаю только один раз, когда Александр Степанович, мимоходом, к слову сказать, упомянул, как ему приходилось бывать у своего защитника перед судебным разбирательством его дела.

— Это был очень известный адвокат. Первый раз я пришел к нему утром, когда он завтракал Он угостил меня, и я удивился, что к чаю были самые обыкновенные булки. Я был уверен, что такой богатый человек ест только пирожные!

Понятно, я поинтересовался, какое это было дело, в чем обвинялся Грин, но он по обыкновению отмахнулся, заметив, что это было «очень давно» и «совсем не интересно». Интересным ему показалось только его наивное представление о пирожных, как верном показателе богатства! И в самом деле, это интересно: каково же ему тогда жилось, если у него сложились такие представления!

В сочинениях Грина много страниц посвящено мореплаванию. Я как-то полюбопытствовал узнать, где он сам побывал, каков его морской опыт? Александр Степанович отвечал очень лаконично, с явным нежеланием вдаваться в подробности, что плавал он не так много, но пришлось ему тяжело, так что смог весьма основательно вникнуть в жизнь моряка. Вместе с тем мне приходилось замечать, что Грин прекрасно знал оснастку корабля и работу матроса. Его высказывания оставляли впечатление практически приобретенных знаний, а не вычитанных из романов капитана Марриэта, хорошо знакомых мне самому.

Так же мало говорил Грин о своем творчестве. Я не помню, чтобы он распространялся о своих замыслах, о том, над чем и как работает. Изредка в разговоре он, между прочим, отмечал какую-нибудь сюжетную деталь,

показавшуюся ему привлекательной. На вопросы — о чем он сейчас пишет, обычно отвечал очень кратко и неопределенно, упоминая о названии рассказа, одной фразой характеризуя тему. Это делалось настолько бегло, что мне ничего отчетливо не запомнилось. Иногда у меня даже возникал вопрос, когда же Грин пишет, настолько беззаботно, с полным отсутствием расчетливости, растрачивал он время. И никогда не слышал от него о том, что он спешит, что очень занят, что должен много работать. Об этом он говорил только тогда, когда где-то в редакции на него сильно нажимали, требуя выполнения обязательства по полученному авансу. В таких случаях он жаловался, что его преследуют, торопят, не дают спокойно работать. В итоге в печати появлялось иногда нечто скороспелое, мало похожее на настоящего Грина.

По моим впечатлениям, авансы были прямо-таки несчастьем для Александра Степановича. Он постоянно находился в стесненных материальных обстоятельствах. Неуменье практично устроить свою жизнь, расчетливо вести расходы часто держало его в нужде. Когда в «Красной ниве» был принят «Блистающий мир», его первый роман, он сделал поистине грандиозное угощение. По тем временам, когда только-только прошел голод, хлеб давали еще по карточкам, это произвело прямо-таки ошеломляющее впечатление. Был снят целый зал ресторана и приглашено более полусотни гостей. Самые изысканные закуски и блюда сменялись на столе. Дорогие вина, сохранившиеся невесть как еще с дореволюционных времен, вызывали общее удивление... Наверно, всё, что мог тогда дать «Блистающий мир», было проедено и пропито в этом зале!

Нужда не смогла сделать Грина скупым или хотя бы бережливым. Когда у него появлялись деньги, они легко и без счета протрачивались, после чего наступало продолжительное безденежье. Приходилось добывать авансы, которые так же быстро утекали, оставляя зачастую на скорую руку написанный рассказ.

Замкнутость, нежелание распространяться о себе и своей работе были, по-видимому, всегда свойственны Грину. Это приводило иногда к досужим вымыслам и слухам, которые его, должно быть, забавляли. Усмехаясь, он вспоминал, как в самом начале его литературной деятельности распространился слух, что печатаемые им

рассказы написаны кем-то другим. Этот смешной и вздорный слух, надо полагать, основывался не только на замкнутости Грина, но и на необычности его творчества. И в самом деле, его рассказы были так непохожи на произведения большинства русских писателей, что вызывали предположения об иностранном происхождении.

В связи с этим хочется вспомнить о моих разговорах с Грином о стране, где жили его герои. Меня эта страна всегда интересовала, и, понятно, я не раз старался выведать подробности о ней. Грин с готовностью отвечал на мои расспросы. Он уверял меня, что представляет себе с большой точностью и совершенно реально места, где происходит действие его рассказов. Он говорил, что это не просто выдуманная местность, которую можно как угодно описывать, а постоянно существующая в его воображении в определенном, неизменном виде. В доказательство он приводил мне разные примеры, которые я, конечно, позабыл. Но один из подобных разговоров мне хорошо запомнился, наверно потому, что произвел большое впечатление своей необыкновенной убедительностью.

Однажды, когда я высказал какие-то сомнения по поводу способности Грина представлять себе свою воображаемую страну в одном и том же виде, он вдруг резко повернулся ко мне (мы шли вдвоем по улице) и каким-то очень серьезным тоном сказал:

— Хочешь, я тебе сейчас расскажу, как пройти из Зурбагана в...

Он назвал какое-то место, знакомое по его произведениям, но я уж не помню, какое именно. Разумеется, я сразу же выразил желание услышать во всех подробностях о такой прогулке. И Грин стал спокойно, не спеша объяснять мне, как объясняют хорошо знакомую дорогу другому, собирающемуся по ней пойти. Он упоминал о поворотах, подъемах, распутьях: указывал на ориентирующие приметы вроде группы деревьев, бросающихся в глаза строений и т. п. Дойдя до какого-то пункта, он сказал, что дальше надо идти до конца прямой дорогой... и замолчал.

Я слушал в крайнем удивлении, чрезвычайно заинтересованный. Я не знал, надо ли этот рассказ понимать как быструю импровизацию, или мне довелось услышать описание закрепившихся на самом деле в памяти воображаемых картин? После краткой паузы Грин, словно догадываясь о моих сомнениях, сказал:

— Можешь когда угодно спросить меня еще раз, и я снова расскажу тебе то же самое!..

Я пригрозил воспользоваться его разрешением, на что он ответил так, как отвечают ребенку, удивленному уменьем взрослых делать что-то общеизвестное и всем понятное. А я оставался в сомнении, следует ли попытаться проверить услышанное, или это может оказаться бестактным? При последующих встречах я не смог решиться задать Александру Степановичу интересовавший меня вопрос. Но через некоторое время, в какой-то подходящий момент, я напомнил о его обещании еще раз описать дорогу из Зурбагана.

Грин отнесся к моему вопросу так, словно я спрашивал о самом обыденном. Не спеша и не задумываясь, он стал говорить, как и в прошлый раз. Конечно, я не мог с одного раза с достаточной точностью запомнить все детали этого пути и их последовательность. Но по мере того как он говорил, я вспоминал, что уже слышал в прошлый раз, об одном — совершенно ясно, о другом — что-то похожее. Во всяком случае, Грин, безусловно, говорил не теми же словами, как заученное. Дойдя до какого-то места, он спросил:

— Ну как — хватит или продолжать?

Я ответил, что должен полностью признать его правоту, на что он заявил о готовности повторить свой рассказ еще раз, если у меня явится желание послушать. После этого я уже не возвращался к вопросу о зурбаганской дороге...

Может быть, когда-нибудь появится исследователь, который составит географическую карту страны Грина, но я должен был поверить, что у него самого эта страна во всей реальности стояла в воображении перед глазами! Он мог ее видеть и рассказывать о ее пейзажах, городах с их улицами и домами.

Очень кропотливое изучение описания мест действия рассказов Грина могло бы привести к выяснению любопытных данных о совпадениях или чертах сходства в пейзажах или в расположении города. Если бы удалось установить, что в двух разных рассказах показывается одно и то же место, то реальность страны Грина для него самого была бы неопровержимо доказана!

Очевидно, у Грина было необычайно развитое и свойственное именно ему, в отличие от других, воображение. Вымышленное с живостью запечатлевалось в памяти и

складывалось в целый внутренний мир, непостижимый для остальных людей. Помню, мы однажды проходили с ним по Стремянной улице, ничем не примечательной, с темными старыми домами. Вдруг Грин сказал задумчиво:

— Знаешь, я как-то шел здесь и внезапно, вот с этого места, совершенно отчетливо увидал пагоды, окруженные пальмами...

Я недавно вспомнил эти слова, перечитывая «Бегущую по волнам»: «Воскрешая впечатление, я создал фигуры из воздуха... сквозь них блестели вчерашняя вода и звезды огней рейда. Сосредоточенное усилие помогло мне увидеть девушку почти ясно». Не говорится ли здесь о работе воображения самого Грина?

После возобновления моего знакомства с Грином, еще до появления номеров «Красной нивы» с «Блистающим миром», Александр Степанович как-то в разговоре о фантастичном между прочим упомянул об одном эпизоде из этого романа:

— В «Блистающем мире» у меня человек вдруг полетел. Сам, без всякого аппарата. Вот так, очень просто: шел, шел, подпрыгнул раз, другой и с разбега, легко и свободно, поднялся на воздух...

Грин имел в виду следующие строки романа: «Он отошел к барьеру, притопнул и, не спеша, побежал с прижатыми к груди локтями; так он обогнул всю арену, не совершив ничего особенного... Шаги бегущего исказились, уже двигался он гигантскими прыжками, без видимых для того усилий; его ноги, легко трогая землю, казалось, не поспевают за неудержимым стремлением тела; уже несколько раз он в течение прыжка просто перебирал ими в воздухе, как бы отталкивая пустоту. Так мчался он, совершив круг, затем, пробежав обыкновенным манером некоторое расстояние, резко поднялся вверх на высоту роста и замер, остановился в воздухе, как на незримом столбе...»

По интонации можно было догадаться, что Александр Степанович доволен своим вымыслом... Только это не было самодовольство писателя, который ловко придумал эффект в сюжете. Нет, он, очевидно, радовался за своего героя, просто и без всякого усилия достигшего осуществления чудесной мечты, как само собой разумеющегося и совершенно естественного для него, героя, явления. Не важно — возможно ли это и как

именно. Фантазия Грина не нуждается в кропотливом техническом обосновании и оправдании. Благодаря этому в том же «Блистающем мире» тот же герой летает, пользуясь силой звона четырех тысяч серебряных колокольчиков... Важно, что это прекрасно и радостно, что к этому стремишься всей душой!

Герой романа так говорит о своей поразительной способности: «Об этом я знаю не больше вашего; вероятно, не больше того, что знают некоторые сочинители о своих сюжетах и темах: они являются. Так это является у меня». Наверно, к числу таких «сочинителей» принадлежал и сам Грин.

Мне думается, что Грин жил в своих рассказах и переживал то необычное, к которому его влекло, между тем как в действительности оно оставалось несбывшимся. Он жил своей богатой фантазией, жил многими жизнями своих героев, волновался их чувствами и получал удовлетворение, какое не мог или не умел найти в обыденности. Я догадываюсь, что Грин часто сам был персонажем своих рассказов и растворялся в них своими влечениями, мечтами, идеалами. Он присутствует в своих рассказах таким, каким ему хотелось стать, но — не удалось!

Может быть, поэтому он так часто обращается к *Несбывшемуся,* уделяет ему столько внимания, делает его решающим стимулом в жизни своих героев?

Вспомним, как говорит о *Несбывшемся* герой «Бегущей по волнам»: «Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, Несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватясь и дорожа каждым днем, всматриваемся мы в жизнь, всем существом стараясь разглядеть, не начинает ли сбываться Несбывшееся? Не ясен ли его образ? Не нужно ли теперь только протянуть руку, чтобы схватить и удержать его слабо мелькающие черты? Между тем время проходит, и мы плывем мимо высоких, туманных берегов Несбывшегося, толкуя о делах дня».

Если Грин жил активной жизнью в созданной его вымыслом стране, то обыденность он воспринимал довольно сдержанно. Он навлекал на себя обвинения в уходе от реальности и в аполитичности. Говорили, что он «сказочник». Одни находили в этом оправдание, так как ведь и сказки нужны людям. Другие считали самым

тяжким грехом подмену кипучей жизни выдуманной сказкой.

Но не следует забывать, что сказка является формой отображения действительности, что она может быть реалистической по смыслу и духу. Ведь самая невероятная фантазия в конечном счете исходит из реальности. Пусть называют рассказы Грина сказками, но мы никак не можем отрицать, что в них действуют живые, полнокровные люди, вызывающие у нас симпатию или ненависть, волнующие нас благородством чувств и возвышенными стремлениями! Симпатии Грина неизменно на стороне слабых, обездоленных, мечтающих о возвышенном и идеальном, преданных своему делу.

Мне вспоминается, как Грин презрительно поглядывал на жирных людей, их лица, на которых, как на вывеске, красовалась самоудовлетворенная сытость.

Как-то после отпуска я заметно пополнел, и Грин с первого взгляда обратил на это внимание.

— Ты, я вижу, начинаешь жиреть! — сказал о н . — Смотри, скоро станешь эдаким нэповским купчиком с брюшком и двойным подбородком!

Он смотрел на меня насмешливо и с явным неудовольствием. Потом, когда я успел снова похудеть, Грин отметил:

— Ну вот, ты снова выглядишь интеллигентным человеком, и в глазах у тебя светится мысль!

Мы уделяем большое внимание моральным принципам и этическому воздействию литературы. Надо признать, что в этом отношении положительные герои произведений Грина способны отвечать самым строгим требованиям. Они безупречно честны, благородны, не идут на компромиссы со своей совестью, не поддаются низменным побуждениям. А как прекрасны их чувства, как преданна, нежна и верна их любовь. В рассказах Грина нет и намека на эротичность, на описание натуралистических подробностей, Любовь в них раскрывается во всей глубине, необычайной чистоте и неизменности. И вместе с тем она не отличается аскетической отвлеченностью, а проста, понятна и очень человечна...

Можно привести бесчисленное множество примеров, подтверждающих моральную высоту чувств героев Грина. Остановлюсь только на одном, чрезвычайно типичном и своеобразном. В рассказе «Синий каскад Теллури», написанном в 1913 году, герой, преодолевая огром-

ные трудности, рискуя жизнью, пробирается в город, охваченный эпидемией чумы. Он разыскивает записи своего друга, открывшего в местности, где еще не ступала нога человека, источник неслыханной целебной силы — синий каскад Теллури. Разработка этого источника принесет им богатство, славу, поможет многим людям избавиться от своих недугов. Выбраться из чумного города герою помогает молодая девушка — мужественная, бесстрашная, ловкая, стройная. Герой восхищен ее силой и душевной прямотой. Когда все опасности миновали, он предлагает ей выйти за него замуж. Девушка удивлена и смущена таким предложением. Но герой настойчиво заверяет ее, что она — именно та, которую он искал. Девушка возражает, что он ведь приехал не за ней, а по важным для него делам. Тогда герой достает драгоценные записи и выбрасывает их. Он нашел свое богатство и счастье! Ради настоящей, единственной любви можно пожертвовать всем. И они уходят вместе...

Это — типично гриновский рассказ. Таковы его герои, такова их любовь. И если поступок героя «Синего каскада Теллури» с точки зрения жизненной практичности неубедителен, то сам он вызывает восхищение удивительной цельностью натуры!

Моральная чистота, которую мы встречаем у Грина, тем более поразительна, что в годы расцвета декадентства и эротизма, когда происходило становление его творчества, средний нравственный уровень литературы был, прямо скажем, довольно низок. Как далеки были его герои от кричавших «расстегни свои застежки» и «хочу быть дерзким, хочу быть смелым, хочу одежды с тебя сорвать»! По всей вероятности, были они далеки и от того, что писатель встречал тогда в своей жизни...

У меня не было достаточных данных для суждения об идеалах любви Александра Степановича. Со своей женой, насколько я мог видеть, он всегда был очень нежен и никакого интереса к другим женщинам не проявлял. При этом он отнюдь не отличался прюдизмом, слушал других и говорил о чьих-либо любовных приключениях с легкой ироничностью, далекой от скабрезности, которой он явно чуждался. Когда кто-нибудь в разговоре вдавался в непристойности, Грин словно отходил в сторону, не вмешиваясь и не возражая. В этот момент он как бы отсутствовал. И никогда я не слышал, чтобы

он похвалялся своими любовными победами. Между тем, сделавшись писателем, он вращался в кругах петербургской литературной богемы, отнюдь не отличавшейся скромностью и добродетельностью. Насколько я мог почувствовать по тону рассказанного им о годах молодости, вся окружавшая его дрянность и распущенность были для него чем-то наносным, поверхностным, проносившимся мимо, не затрагивая его внутреннего мира, образа мыслей и мечты.

Думаю, Грину были не по душе эти нравы, так же как и общий строй жизни и порожденная ею литература. Его идеалы, мечты, противостояли обыденности, и из окружавшего его злого и грязного мира он уходил к красивым, светлым и добрым людям, какими их рисовала его необыкновенная фантазия. Его направляла не злоба и ненависть, а мечта о добре, любовь к людям. Он раскрывал читателю этот радостный мир, верил в победу светлого, протестовал против дурного в человеке. Это позволяет нам сказать про Грина, что и он «чувства добрые лирой пробуждал»!

При всех возводимых на Грина обвинениях в аполитичности нельзя, однако, умалчивать о том, что свою юность оп отдал активной революционной борьбе! Действительно, он вышел из этой борьбы надломленным, разбитым. Жестокие условия жизни раздавили его, превратили борца в наблюдателя. Но он не переметнулся в годы спада, как многие другие, на ту сторону баррикад!

Симпатии Грина были и остались с теми, кто шел на битву с миром угнетения, жестокости и несправедливости, но, вероятно, прав был К. Паустовский, сказав: «Если бы социалистический строй расцвел, как в сказке, за одну ночь, то Грин пришел бы в восторг. Но ждать он не умел и не хотел». К этому, я думаю, надо добавить, что в испытаниях гражданской войны и в противоречивости нэпа он не ощутил истоков нового будущего. Он не мог ждать, потому что его физические силы были подорваны, а это с неизбежностью сказывалось на его мировоззрении...

Многочисленные беседы с Грином в очень малой степени объяснили мне существо его творческой лаборатории. Только один раз довелось мне неожиданно прибли-

зиться к ней, но проникнуть в ход ее работы я всё же не смог. Произошло это так.

Не помню, по какому поводу я рассказал Александру Степановичу о случае, приключившемся с моим знакомым. Звали его Яков Петрович, работал он в штабе Башкирской бригады, расквартированной в 1918 году в Петрограде. Был он молод, но успел в кругах Красной армии заслужить репутацию специалиста по военному снабжению.

Жил он неподалеку от Кузнечного рынка в большой, холодной, старой барской квартире. Работы было много, и после службы он еще до глубокой ночи разбирал документы при свете крохотного огонька керосиновой коптилки. Вся квартира, нетопленная, погруженная в тьму и тишину, говорила о разрухе и лишениях. Со времен исчезнувших прежних хозяев на стене одной из комнат остался давно замолкший телефон. По своему служебному положению Яков Петрович мог бы добиться включения телефона в действующую сеть, но беда была в том, что его квартира находилась в стороне от «броневого кабеля», связывавшего наиболее важные учреждения. Надо было прокладывать специальную соединительную линию, что представляло слишком большие трудности.

И вот в одну из ночей, когда Яков Петрович, по обыкновению, работал у своей коптилки, случилось невероятное... Внезапно из гулкой тишины темной квартиры послышались резкие трели телефонного звонка! Эти звуки были настолько неожиданны, непривычны и нарушали обычную обстановку, что Яков Петрович не сразу понял, что произошло. Он так растерялся, что не сдвинулся с места. Но телефон продолжал настойчиво звонить. Наконец Яков Петрович вскочил и бросился в тьму, навстречу призывному звону. Натыкаясь на косяки дверей и мебель, он добрался до неумолкавшего аппарата и снял трубку. К немалому изумлению, он услышал, что спрашивают именно его. Строгий голос произнес:

— Сейчас с вами будет говорить товарищ Авров.

Д. Н. Авров был комендант Петроградского укрепленного района, человек необычайно сильной воли, непререкаемого авторитета и огромной власти. Его приказания выполнялись беспрекословно и без промедлений. Через минуту Яков Петрович услышал голос Аврова,

задавшего без всяких предисловий несколько специальных вопросов по военному снабжению. Выяснив всё, что его интересовало, он закончил разговор и повесил трубку. Яков Петрович услышал кряканье, щелчок, а затем наступила мертвая тишина. После этого телефон больше никогда не подавал признаков жизни...

В последующие дни Яков Петрович постарался через знакомых в штабе укрепленного района разузнать, что же произошло с его телефоном? Оказалось, что Аврову срочно потребовались какие-то сведения по военному снабжению. Ответить на возникшие вопросы никто толком не сумел. Ему назвали Якова Петровича как специалиста по этим делам. Авров распорядился узнать, есть ли у Якова Петровича телефон. Выяснилось, что телефон имеется, но не действует.

— Значит, надо сделать, чтобы он действовал! — лаконично решил Авров.

Этого было достаточно для немедленного указания из штаба телефонной команде воинской части, расположенной вблизи квартиры Якова Петровича, о присоединении к прямому проводу требуемого телефона. Телефонисты отыскали проводку квартирного телефона, забрались на крышу дома и на живую нитку подключили линию к воинской части. Затем в штаб поступил рапорт о выполнении приказа. Как только разговор Аврова был окончен, телефонисты, ожидавшие на крыше, сразу же оборвали связь, и на том таинственное происшествие кончилось.

Я заметил, что вызвал оживленное внимание Грина.

— Знаешь, мне понравился бездействующий телефон, зазвонивший в пустой квартире! — сказал он, когда я закончил. — Я об этом напишу рассказ!..

Через некоторое время Грин как-то мимоходом сказал мне:

— Рассказ о телефоне в пустой квартире я уже пишу!

Никаких подробностей к этому он не добавил. Я счел неудобным его расспрашивать, хотя, вполне понятно, меня очень интересовало, чт*о* получится из рассказанного мною происшествия. Я представлял себе, что Грин обратит зазвонивший телефон в какую-нибудь кульминацию психологического конфликта.

Довольно долго я ничего не слышал о готовящемся рассказе. Потом Грин вдруг поведал мне:

— С рассказом о телефоне в пустой квартире получается что-то совсем другое... Но бездействующий телефон всё-таки будет звонить!

Мне стало жаль, что Александр Степанович не использовал рассказанный мной сюжет. Не скрою, мне было бы очень лестно, если бы я смог натолкнуть его на новый рассказ. Мне казалось, случай с Яковом Петровичем очень выигрышно отвечал творческим наклонностям Грина. Необычность обстановки и эффектная непонятность события открывали возможности разворота характерного гриновского повествования.

Уже много времени спустя, вспоминая об этом рассказе, я пришел к любопытному выводу, что Грин, принимаясь за новый замысел, мог еще и не знать, к чему он в нем придет! Ведь этот случай показывал, что им было задумано нечто непохожее на то, что получилось... Значит, сюжет мог у него выясняться уже в процессе работы. Когда он говорил, что у него получается «нечто совсем другое», он, по-видимому, сам не ожидал, что получится именно так. Во всяком случае, по его словам и тону я мог догадываться, что к отступлению от первоначального замысла его побуждал сам ход изложения, повертывавшийся не туда, куда предполагалось. События, обстоятельства жизни героя, надо полагать, вели Грина по какому-то непредвиденному пути, диктовавшемуся развитием, внутренней логикой повествования.

Вскоре Грин объявил мне, что рассказ будет называться «Крысолов», чем несказанно удивил меня. Дело в том, что для нас Крысолов был человек хорошо всем известный. К нашей компании изредка присоединялся один случайный знакомый. Он был «частным предпринимателем», владельцем «предприятия» по борьбе с грызунами. Попросту говоря, он выполнял работы по уничтожению крыс и мышей. Мы называли его Крысолов и неизменно приветствовали его появление, зная, что он всегда успеет заплатить за выпитое пиво быстрее, чем мы сумеем достать свои кошельки. К тому же это было, по нашему убеждению, вполне допустимо потому, что он являлся представителем «частновладельческого сектора» и, следовательно, располагал соответствующей материальной базой.

Несомненно, ассоциации Грина связывались именно с этим Крысоловом, но какое тот мог иметь отношение

к зазвонившему бездействующему телефону? Вообще надо сказать, наш знакомый никак не вязался с гриновскими сюжетами! Я высказал Александру Степановичу свое недоумение, но его ответы по обыкновению были уклончивы и неопределенны. Он уверял, что Крысолов в рассказе «вовсе не тот», что вообще всё повернулось не так, как он думал, когда слушал меня. Он словно извинялся, имея в виду какие-то обстоятельства, возникшие не по его вине...

И наконец, прочитав «Крысолова», я убедился, что он не имеет ничего общего с историей Якова Петровича. Но я обнаружил кое-какие следы, напоминавшие о первом толчке к рождению замысла, заставившие меня задуматься над тем, что же произошло с рассказом. Телефон там «не мог действовать по очевидным причинам», и он не звонил, как у Якова Петровича. Но, против всех «очевидных причин», оказывалось, что он всё-таки действует, и это, даже в бредовом приключении героя, могло найти совершенно реальное объяснение. Темная, пустая и холодная квартира была заменена темным, холодным и пустым помещением банка.

Что же касается самого Крысолова, то описание его внешности не содержало абсолютно никаких черт сходства с нашим знакомым. Не обнаруживалось и какой-либо внутренней близости. Подозреваю, что Грину во время работы над рассказом вспомнился наш знакомый необычностью своей профессии, и таким образом он попал в сюжет, и прозвище его послужило даже заглавием!

Кстати сказать, прочитав рассказ, я почувствовал, что в первой трети повествования Александр Степанович еще не думал о Крысолове и финал, наверно, был ему самому не совсем ясен. Развязка вырисовалась позднее. Ведь при втором упоминании о работе над рассказом он еще обещал, что «телефон всё-таки будет звонить». А заглавие возникло, видимо, уже в самом конце, когда на последних страницах появился Крысолов. Тогда Грин и сообщил мне о названии.

Я предполагаю, что случай с Яковом Петровичем направил внимание Грина к 1920 году, к виденному и пережитому им самим. Обстановка квартиры, наверно, ассоциировалась у него с. пустым помещением банка, находившимся в здании Дома искусств (ДИСК), где он по ходатайству М. Горького получил комнату. А за-

звонивший бездействующий телефон, можно думать, навел на воспоминания о своем бездомном положении в те годы и перенесенном сыпном тифе. Видимо, накапливался автобиографический материал...

Поначалу действие несомненно направлялось к эпизоду с зазвонившим телефоном. Грин повел своего героя в пустующее помещение банка, очевидно имея в виду как раз это событие. Но дальше произошел непредусмотренный поворот. Отталкиваясь от первоначальных источников, действие стало отодвигаться в сторону от случая с Яковом Петровичем настолько, что вернуться к нему потом стало логически невозможно. Появились бездействующие телефоны — даже не один! — но вместо того, чтобы звонить, они смогли послужить самому герою для вызова... Одно происшествие влекло за собой другое и, надо думать, вынуждало героя поступать не по намеченному автором плану!

В «Крысолове» я мог подметить характерную особенность творчества Грина. Мне воочию открылась его склонность обращаться к внутреннему миру героев, их мыслям, чувствам, переживаниям, отталкиваясь от внешних, часто необычайных событий. Как очень наглядный пример вспоминается замечательный рассказ «Канат», напечатанный в 1922 году. Его сюжетная схема представляет собой весьма заурядный детектив: канатоходец, встретив своего двойника, старается подстроить его гибель для того, чтобы получить крупную страховую сумму за свою мнимую смерть. Но эта схема имеет ничтожное значение. Она крайне сжато раскрывается в последних строчках, только для объяснения побуждений канатоходца. Необычайная драматическая напряженность рассказа основана на безумных представлениях и ощущениях главного героя, выходящего на канат, натянутый на огромной высоте над площадью, заполненной толпой зрителей.

Такое же переключение с внешнего на внутреннее я смог увидеть в «Крысолове». Ведь случай с Яковом Петровичем содержал только чисто внешнюю эффектность, был лишен внутренних импульсов. Мне стало понятно, что, исходя из этого внешнего события в замысле рассказа, Грин под действием свойственных ему ассоциации погружался в мысли и восприятия героя рассказа (кстати сказать, во многом похожего на своего автора) и отвлекся настолько, что исходные факты с

телефоном оказались утраченными вовсе. Необычайная история с телефоном имела очень обычное объяснение, и это могло оказаться непривлекательным для Грина, что тоже содействовало отходу от истока.

Между «Крысоловом» и «Канатом» видны черты сходства еще в болезненном психическом состоянии их героев. И надо признать, Грин проявил здесь блестящее мастерство проникновения в их внутренний мир, показав себя изощренным психологом, опровергая тем самым распространенное мнение об ограниченности его творчества рамками авантюрного жанра.

В 1924 году Александр Степанович уехал из Ленинграда, и наши встречи стали редкими и случайными. Один раз я совершенно неожиданно увидал его в Москве. Приходилось ему приезжать в Ленинград по делам издания его Собрания сочинений. Каждый раз он дружески извещал меня о своем прибытии.

Выход томов намеченного ленинградским издательством «Мысль» пятнадцатитомного Собрания сочинений проходил со значительными трудностями. Александр Степанович проделал огромную работу, подобрал большинство своих произведений, опубликованных в различных журналах и газетах. Это потребовало немалых усилий и обследования груды периодических изданий. Он старательно добивался возможной полноты. Конечно, при этом наряду с интересными и ценными произведениями в собрание были включены и второстепенные, недостаточно занимательные для рядового читателя рассказы.

Владелец издательства Л. В. Вольфсон обладал большим деловым размахом. В издательских кругах его прозвали «маленький Гиз», имея в виду не французского герцога, а Государственное издательство, с которым он пытался соперничать по масштабу выпуска книг. Естественно, его привлекала в первую очередь коммерческая сторона, и он всячески сопротивлялся опубликованию тех произведений, которые могли по тем или иным причинам понизить спрос. Не имея права перестраивать подобранные Грином сборники, издатель стал выпускать тома в разбивку, проявляя намерение отказаться от издания книг, казавшихся ему невыгодными. Грин через суд добился выполнения договорных условий, однако

издательство было вскоре ликвидировано, и Собрание сочинений так и осталось незавершенным.

Последний раз я встретил Александра Степановича в 1929 году. Он приехал в Ленинград вместе с Ниной Николаевной и пригласил меня навестить его в гостинице Дома ученых. Я провел с ним весь вечер в оживленной беседе. Он подарил мне только что вышедший восьмой том Собрания сочинений.

На этой теплой, дружеской встрече закончилось мое общение с Александром Степановичем Грином. После этого увидеть его мне уже не довелось...

ВЛ. ЛИДИН

ОСТРОВ ТРИГОЛОТИД

В Московском Доме журналиста, в ту пору беспорядочно шумном, не очень устроенном, журнал «Огонек» отмечал какую-то дату; вечер с выступлениями завершился банкетом, тоже достаточно беспорядочным: вероятнее всего, отмечалось пятилетие существования «Огонька». Тогда это были тощие тетрадочки в мутной зеленой обложке с какой-нибудь очередной фотографией на ней.

В вестибюле, в поздний час вечера, когда наверху, где шел банкет, стало уже вовсе шумно, я увидел одиноко сидящего Грина. Для меня Грин был существом романтическим: в его рассказах колыхались тропические моря, скрипели ванты, дул мягкий пассат или надвигался шторм, — Грин был весь из ветра и движения. Но сейчас, бледный, уставший и одинокий, мало кем из московских литераторов знаемый в лицо, он сидел один на скамеечке.

— Александр Степанович, может быть, вам нехорошо? — спросил я, подойдя к нему.

Он поднял на меня несколько тяжелые глаза.

— Почему мне может быть нехорошо? — спросил он в свою очередь. — Мне всегда хорошо.

Я ощутил, однако, в его словах некоторую горечь.

— У Грина есть свой мир, — сказал он мне наставительно, когда я подсел к нему. — Если Грину что-нибудь не нравится, он уходит в свой мир. Там хорошо, могу вас уверить.

— Я знаю, что там хорошо, — сказал я. — Я читал ваши книги.

— А что вы читали? — осведомился он, видимо уверенный, что я прихвастнул ради красного словца или просто хотел сказать ему приятное.

Я назвал несколько его книг.

— Вы их действительно читали? — спросил он подозрительно.

Тогда я рассказал ему всё, что думал о его книгах, добавив, что в моем представлении их автор не меньше Джозефа Конрада поплавал по морям.

— По морям я, конечно, плавал, — сказал Грин. — Но мои моря огромные, это совсем не те моря, которые вы знаете по географическим картам. Кроме того, у меня есть и свой остров. Вы не верите?

— Нет, отчего же, — ответил я примерно тем же тоном, каким он спросил у меня, почему ему может быть нехорошо.

— Ладно, — засмеялся Грин. — Вы человек сухопутный, вам этого не понять. — Ему показалось всё же, что он несколько обидел меня. — Остров Триголотид, подход к нему опасен из-за коралловых рифов.

Потом он поднялся, сделал приветственный знак рукой и стал медленно подниматься по широкой мраморной лестнице наверх, где с затухающим гулом довершался банкет. Я записал в записную книжечку: «Грин. Остров Триголотид». Недавно я эту книжечку нашел и только поэтому вспомнил название принадлежавшего Грину острова.

Год спустя, редактируя книгу автобиографий советских писателей[1], я обратился и к Грину с просьбой прислать свою автобиографию.

«Для Вас — что хотите», — ответил он мне очень быстро.

«Я родился в Вятке в 1880 году, образование получил домашнее[2]; мой отец, Степан Евсеевич Гриневский, служил в земстве и в Вятку попал из Сибири, куда был в 83 году сослан за восстание в Польше. Мать моя — русская, уроженка г. Вятки, Анна Степановна, скончалась когда мне было 11 лет[3].

16 лет я уехал из Вятки в Одессу, где служил матросом в Р.О.П. и Торг. и в Добров. Флоте. Я проплавал так три года[4], затем вернулся домой и через год снова пустился путешествовать. После различных приключений

я попал в 1906 году в Петербург, где напечатал первый свой рассказ в «Биржевых ведомостях» под назв. «В Италию» [5].

Всего мной написано и напечатано (считая еще не вошедшие в книги) около 350 вещей [6].

Желаю и Вам того же. Приеду в Москву 10 ноября.

Лучшей карточки нет.

Есть еще одна, но очень страшная, то есть голова вышла с растрепанными волосами, Оцуп снимал для Кр. Нивы, а я не пригладил.

Скоро Вас увижу. Будьте здоровы. Ваш А. С. Грин».

Автобиография была краткой и деловой, без островов и морей. При встрече я сказал об этом Грину. Оп пристально, как бы раздумывая, стоит ли говорить мне это, поглядел на меня.

— А знаете ли вы, что критика меня всегда просто не замечала... одни считали даже, что я иностранный писатель, а другие, что я передираю у иностранцев. О каких тут островах еще писать в своей автобиографии!

Я не сказал тогда Грину, что придет пора, я уверен в этом, и его будут жадно читать и оценят, в конце концов оценят.

Дождаться этого, как и многим хорошим писателям, Грину при жизни не довелось. Острова, коралловые рифы, плеск тропического моря, алые паруса бегущих по волнам кораблей — всё это возникло тогда, когда Грина уже не стало. Но его романтическое имя вошло в нашу литературу. Грину вверяет свои мечты не один молодой читатель и следует вместе с ним до принадлежащего Грину острова Триголотид, к которому опасно причаливать из-за коралловых рифов, а на берегу — пальмы и хижины и чье-то прекрасное сердце.

КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ

ОДНА ВСТРЕЧА

Норвежский парусный барк с железным корпусом — прекрасный океанский корабль — сел на камни во время первой мировой войны в горле Белого моря.

Русское правительство купило этот корабль у Норвегии. После революции ему дали название «Товарищ», превратили в учебный корабль торгового флота и летом 1924 года отправили из Ленинграда в кругосветное плавание.

В редакции «На вахте» началось волнение: кого послать в Ленинград корреспондентом на проводы «Товарища»?

Это был первый советский парусный корабль, уходивший в заманчивое кругосветное плавание. Я, конечно, никак не надеялся попасть на проводы «Товарища». Я понимал, что право на это имеют прежде всего наши сотрудники-моряки Новиков-Прибой и Зузенко.

Женька Иванов устроил по этому поводу совещание. На нем неожиданно появился Александр Грин.

Я увидел его тогда в первый и последний раз. Я смотрел на него так, будто у нас в редакции, в пыльной и беспорядочной Москве, появился капитан «Летучего голландца» или сам Стивенсон.

Грин был высок, угрюм и молчалив. Изредка он чуть заметно и вежливо усмехался, но только одними глазами — темными, усталыми и внимательными. Он был в глухом черном костюме, блестевшем от старости, и в черной шляпе. В то время никто шляп не носил.

Грин сел за стол и положил на него руки — жилистые, сильные руки матроса и бродяги. Крупные вены вздулись у него на руках. Он посмотрел на них, покачал головой и сжал кулаки — вены сразу опали.

— Ну вот, — сказал он глуховатым и ровным голосом, — я напишу вам рассказ, если вы дадите мне, конечно, немного деньжат. Аванс. Понимаете? Положение у меня безусловно трагическое. Мне надо сейчас же уехать к себе в Феодосию.

— Не хотите ли вы, Александр Степанович, съездить от нас в Ленинград на проводы «Товарища»? — спросил его Женька Иванов.

— Нет! — твердо ответил Грин. — Я болею[1]. Мне нужно совсем немного, самую малую толику. На хлеб, на табак, на дорогу. В первой же феодосийской кофейне я отойду. От одного кофе и стука бильярдных шаров. От одного пароходного дыма. А здесь я пропаду.

Женька Иванов тотчас же распорядился выписать Грину аванс.

Все почему-то молчали. Молчал и Грин. Молчал и я, хотя мне страшно хотелось сказать ему, как он украсил мою юность крылатым полетом своего воображения, какие волшебные страны цвели, никогда не отцветая, в его рассказах, какие океаны блистали и шумели на тысячи и тысячи миль, баюкая бесстрашные и молодые сердца.

И какие тесные, шумные, певучие и пахучие города, залитые успокоительным солнцем, превращались в нагромождение удивительных сказок и уходили вдаль, как сон, как звук затихающих женских шагов, как опьяняющее дыхание открытых только им, Грином, благословенных и цветущих стран.

Мысли у меня метались и путались в голове, я молчал, а время шло. Я знал, что вот-вот Грин встанет и уйдет навсегда.

— Чем вы сейчас заняты, Александр Степанович? — спросил Грина Новиков-Прибой.

— Стреляю из лука перепелов в степи под Феодосией, за Сарыголом, — усмехнувшись, ответил Грин. — Для пропитания[2].

Нельзя было понять — шутит ли он или говорит серьезно.

Он встал, попрощался и вышел, прямой и строгий. Он ушел навсегда, и я больше никогда не видел его в жизни. Я только думал и писал о нем, сознавая, что это — слишком малая дань моей благодарности этому человеку за тот щедрый подарок, который он бескорыстно оставил всем мечтателям и поэтам.

— Большой человек! — сказал Новиков-Прибой. — Заколдованный. Уступил бы мне хоть несколько слов, как бы я радовался! Я-то пишу, честное слово, как полотер. А у него вдохнешь одну строчку и задохнешься. Так хорошо.

ЛЕВ ГУМИЛЕВСКИЙ

ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ

I

В дореволюционном Петрограде, на одной из десяти Рождественских улиц, кажется седьмой [1], находилось издательство Богельмана. Оно выпускало множество журналов — еженедельных, двухнедельных, ежемесячных, литературных, сатирических, юмористических. Самым распространенным из них был еженедельник «XX век», на страницах которого я и оказался случайным соседом Александра Степановича Грина.

Хорошо помню мой первый визит к Богельману в 1915 году. В конторе, куда я вошел, отделенные от посетителей высоким барьером, за столами и конторками сидели бухгалтеры и счетоводы. Я подошел к крайнему и спросил: могу ли я видеть редактора?

Молодой человек, к которому я обратился, поднял голову и посмотрел на меня с недоумением. Затем, не говоря ни слова, он ушел куда-то в темную глубину помещения, исчез на минуту, после чего вернулся на свое место, указывая пальцем на меня; шедший вслед за ним высокий стройный старик, хорошо и важно одетый, подошел к барьеру, за которым стоял я, и спросил, что мне угодно.

— Да вот, рассказы принес для журнала, — отвечал я, называя себя и всё более и более смущаясь недоумением, которое вызывал здесь мой визит.

Старик — это был сам Богельман — взял рукопись. По тому, как он ее взял, понес с собой, удаляясь в темную глубину помещения, я понял, что никогда в жизни ни с авторами, ни с рукописями он дела не имел и пришел я в торговое помещение, а не в издательство.

Так оно и было в действительности, хотя Богельман и состоял официально редактором-издателем своих журналов. Истинным редактором, точнее не редактором, а скупщиком материалов, приносимых писателями, фотографами, переводчиками, художниками, был немолодой, усталый человек[2], сидевший где-то далеко от конторы, в кабинете, похожем на гостиную. Мы проходили к нему длинным темным коридором, как заговорщики. Принимал он нас за круглым столом с керосиновой лампой под зеленым абажуром. Он быстро просматривал рукопись — больше четверти листа рассказы отвергались без просмотра, — возвращал не говоря ни слова или оставлял так же молча, но тогда брал квитанционную книжку и выписывал в кассу чек.

Гонорар был ничтожным, по пять—семь рублей рассказ. Но так как шло почти всё, что приносилось, то случалось, я получал по двадцать пять рублей за раз.

II

Ничего из всего того, что печаталось в «XX веке», Грин не включал в свои книги.

Только в дни крайней нужды обращался Александр Степанович к богельмановским журналам. Я думаю, многое писалось за ресторанным столиком, среди шумного остроумия в дружеской компании, когда нечем было платить по счету и пока еще не закрылась контора «XX века». Герои этих произведений носили странные имена, списанные с карточек меню; события громоздились одно на другое, герцоги и баронессы выражались, как ломовые извозчики, и всё обращалось в мистификацию богельмановских читателей[3].

Грин как писатель меня не интересовал. Другого Грина еще не было, или я его не знал.

Как-то я занес рассказ, показавшийся мне юмористическим, в «Новый сатирикон». Аверченко в редакции бывал редко, принимал посетителей секретарь его Ефим Давыдович Зозуля, тогда еще молодой, еще не полысевший, но уже важный, толстеющий, облаченный в черный пиджак и серые брюки. Он взял рукопись и велел позвонить через неделю-две. Рассказ был принят, и я зашел в редакцию. За столом Зозули, как гость, сидел прекрасно выбритый, прекрасно одетый господин, немного полный, красивый и ленивый. Это и был Аверченко. Он

поздоровался со мной и учтиво подал мне книгу, которую только что рассматривал с лица, корешка и обреза.

— Это первая наша книга, — сказал он, — нравится вам?

На серой обложке с маркой «Сатирикона» в верхнем углу было напечатано «А. С. Грин» и заголовок по первому рассказу, кажется, это было «Происшествие в улице Пса».

Я отвечал, что книга издана прекрасно, но, просматривая на ходу оглавление, увидел, что это всё тот же Грин с необыкновенными происшествиями и завидно мужественными героями, живущими в неведомых странах несуществующих цивилизаций...

Революция разметала всех нас по стране. В середине двадцатых годов уже в Москве, во Дворце труда, я познакомился с Грином. Это был высокий, худой, малоразговорчивый человек с суровым лицом и хмурым взглядом. Я часто заставал его в столовой Дворца труда за большим длинным столом, вокруг которого сиживали, главным образом, писатели и художники. Во Дворце труда, занимавшем колоссальное здание бывшего Сиротского дома [4], помещались центральные комитеты всех профессиональных союзов. Каждый союз издавал свою газету или журнал, иногда издавал и книги. Редакции находились здесь же, и если стихи «служил Гаврила дровосеком, дрова Гаврила порубал» не шли в журнале «Работники леса», поэт шел в соседнюю редакцию органа пищевиков, и тогда стихи начинались так: «Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булки выпекал...» [5]

Александр Степанович как-то заметил, когда я, взяв бутылку пива, усаживался рядом:

— Можно отсюда и не уходить вовсе, всё под боком. Даже и заночевать можно где-нибудь на диване!

Редакционно-издательский отдел ЦК водников выпустил отдельной книжечкой «Капитана Дюка» [6], быть может, написанного на том же столе, за которым мы поздравляли автора с выходом книжки [7]. К этому времени были опубликованы уже и «Алые паруса» и «Блистающий мир», печаталась в «Новом мире» «Золотая цепь» [8].

Но Александра Грина, того Грина, которого теперь знает читающий мир, еще не было. Его сделали позднее сами читатели.

Об одном из них я и хочу рассказать.

III

Александра Михайловича Симорина, три года назад похороненного по его завещанию в Старом Крыму рядом с могилою Грина, я знал с очень дальних лет. Я готовил его к поступлению в Саратовскую 2-ю гимназию, когда сам только что перешел из пятого класса в шестой. Обыкновенный мальчик с хорошим русским лицом, как все обыкновенные мальчики, заглядывал в ответы, прежде чем решать задачу, читал Фенимора Купера и Майн Рида. Гимназию он окончил с золотою медалью и в год революции поступил на медицинский факультет в Саратове, но доктором не стал: увлекшись грандиозными эмпирическими обобщениями академика Вернадского, он уехал к нему в Ленинград и начал работать в Биогеохимической лаборатории Академии наук СССР.

Где-то между двумя биогеохимическими экспедициями на русский Север и в Западную Сибирь ученик Вернадского открыл Грина. Он не нашел в его книгах ни чужих стран, ни выдуманных героев. Он увидел мужественных благородных людей, слегка лишь прикрытых псевдонимами, чтобы не слишком походить на живых, окружавших молодого ученого, и на него самого.

Теперь, когда случалось сослаться на писателя, он говорил «Грин» так, как бы я сказал «Толстой» или «Шекспир».

Двадцать лет затем Александр Михайлович провел на Севере.

Над головами зияло черное небо со звездами. Под этим небом, сидя на только что спиленном дереве, говорили о возможностях космических полетов и чертили сучком ели на снегу формулы, а артист Художественного театра читал «Двенадцать». Симорин говорил мне, что такого потрясающего чтения он ни раньше, ни после не слышал. И очень часто говорили о Грине.

В первое же лето после возвращения с Севера Симорин поехал на могилу Грина в Старый Крым; на другой год он повторил поездку, на третий, 1961 год он вновь отправился туда и 2 февраля умер, наказывая снова и снова похоронить его возле Грина.

Воля его была исполнена.

Ю. ОЛЕША

ПИСАТЕЛЬ-УНИК

Так называемая интрига не принадлежит к свойствам, возвышающим литературное произведение. Напротив, большинство вещей с интригой чрезвычайно низки по языку, мысли, идее.

Есть другое писательское свойство, перед которым действительно останавливаешься с восхищением.

Это свойство — выдумка.

Я говорю о той выдумке, которая есть у Джека Лондона, Эдгара По, Амбруаза Бирса, Гоголя («Вий»), Уэллса, Пушкина («Пиковая дама»), Александра Грина.

Это писатели-уники. Их очень мало было на земле.

Я назвал имя Александра Грина. Он недавно умер. Я знал его лично, провел с ним много часов. В его обществе я переживал очень сложные чувства. О чем бы мы ни говорили и в какую сторону ни отвлекалось бы мое воспоминание — я не мог расстаться с мыслью, что вот передо мной сидит очень необыкновенный человек. Человек, который умеет выдумывать.

Я тоже писатель, но вот, думал я, писатель, сидящий передо мной, — писатель совсем особого рода. Он придумывает концепции, которые могли бы быть придуманы народом. Это человек, придумывающий самое удивительное, нежное и простое, что есть в литературе, — сказки.

Грин был нелюдим. Мне кажется, это оттого, что он верил в чудеса, а люди не могли ему дать этих чудес.

Но самое удивительное — он думал, что в нем самом есть что-то чудесное. Например, он не боялся собак. Там, где он жил, была дача. Зимой дачу сторожила собака. Собака была страшная, ее боялись сами хозяева. А Грин однажды открыл калитку, вошел — и собака спокойно улеглась у его ног. Я сам это видел! [1]

Но самое настоящее чудо было в его выдумке. У Грина есть рассказ. Двое поспорили. Один сказал, что он обойдет пешком вокруг света. Поспорили на какую-то большую сумму — миллион фунтов стерлингов. Прошло долгое время, и вот однажды дверь банка (один из них был банкир) открылась и вошел тот, первый.

— Я выиграл пари, — закричал он с порога. — Я обошел вокруг света, и вот я здесь!

Банкир не поверил, стал спорить. Тогда тот повернулся, и банкир закричал:

— Вернись, вернись, я верю тебе!

Что же случилось? Он по спине этого человека — понимаете, по спине! — понял, что он опять пойдет вокруг света [2].

Вот что такое Грин.

...От рождения мальчика держали в условиях, где он не знал, как выглядит мир, — буквально: не видел никогда солнца! Какой-то эксперимент, причуда богатых... И вот он уже вырос, уже он юноша — и пора приступить к тому, что задумали. Его, всё еще пряча от его глаз мир, доставляют в один из прекраснейших уголков земли. В Альпы? Там, на лугу, где цветут цикламены, в полдень снимают с его глаз повязку... Юноша разумеется, ошеломлен красотой мира. Но не это важно. Рассказ сосредоточивается на том, как поведет себя это никогда не видевшее солнца человеческое существо при виде заката. Наступает закат. Те, производящие царственный опыт, поглядывают на мальчика и не замечают, что он поглядывает на них! Вот солнце уже скрылось... Что происходит? Происходит то, что мальчик говорит окружающим:

— Не бойтесь, оно вернется! [3]

Вот что за писатель Грин!

Его недооценили. Он был отнесен к символистам, между тем всё, что он писал, исполнено веры именно в силу, в возможности человека. И, если угодно, тот оттенок

раздражения, который пронизывает его рассказы, — а этот оттенок безусловно наличествует в них! — имел своей причиной как раз неудовольствие его по поводу того, что люди не так волшебно сильны, какими он видел их в своей фантазии. Интересно, что и он сам имел о себе неправильное представление. Так как он пришел в литературу молодых, в среду советских писателей из прошлого — причем, в этом прошлом он принадлежал к богеме, — то, чтобы не потерять уверенности в себе (несколько озлобленной уверенности), он, как за некую хартию его прав, держался за ту критическую оценку, которую получил в свое время от критиков, являвшихся проповедниками искусства для искусства. Так, с гордостью он мне сказал:

— Обо мне писал Айхенвальд[4].

Я не знаю, что́ о нем писал Айхенвальд. Во всяком случае, он относил себя к символистам. Помню характерное в этом отношении мое столкновение с ним. Примерно в 1925 году в одном из наших журналов, выходивших в то время, в «Красной ниве», печатался его роман «Блистающий мир»[5] — о человеке, который мог летать. Роман вызвал общий интерес — как читателей, так и литераторов. И в самом деле, там были великолепные вещи: например, паническое бегство зрителей из цирка в тот момент, когда герой романа, демонстрируя свое умение летать, вдруг после нескольких описанных бегом по арене кругов начинает отделяться от земли и на глазах у всех взлетать... Зрители не выдерживают этого неземного зрелища и бросаются вон из цирка! Или, например, такая краска: покинув цирк, он летит во тьме осенней ночи, и первое его пристанище — окно маяка![6]

И вот, когда я выразил Грину свое восхищение по поводу того, какая поистине превосходная тема для фантастического романа пришла ему в голову (летающий человек!), он почти оскорбился:

— Как это для фантастического романа? Это символический роман, а не фантастический! Это вовсе не человек летает, это парение духа!

...Никакая похвала не кажется достаточной, когда оцениваешь его выдумку. Тут прямо-таки даешься диву. Хотя бы рассказ о человеке, который вынужден был,

вследствие того что принадлежал к инсургентам, покинуть город, где жил и где осталась его семья, и поселиться на противоположном конце той дуги, которую образовал берег залива между двумя городами, и как однажды прискакал к этому человеку из покинутого города друг с сообщением, что семья его во время пожара стала жертвой огня и что если он хочет застать жену и детей еще в живых, то пусть немедленно на его, друга, коне скачет туда, на ту сторону залива, на тот край дуги. Друг сходит с коня, протягивает поводья — но инсургента нет! Куда он девался? Он его зовет, потом ищет... Нет его! Что ж, гонцу ничего не остается, как опять сесть на коня и возвращаться. Вернувшись, он, к удивлению своему, встречает инсургента уже в городе — выходящим из больницы.

— Я успел с ними попрощаться.

— Постой, — спрашивает друг в ошеломлении, — ты шел пешком? Как же ты мог оказаться здесь раньше меня? Я скакал по берегу двое суток...

После расспросов друг выясняет, что в ту ночь, едва услышав весть о несчастье с семьей, инсургент не стал дожидаться, пока тот сойдет с коня, а тотчас зашагал во тьму...

Тот, оказалось, шел не по дуге залива, а пересек его по воде![7]

Вот как силен, по представлению Грина, человек: когда его охватывает страстное желание, перед ним нет преград, он может, даже не заметив этого, пройти по воде... При чем тут символизм, декадентство?

Иногда говорят, что творчество Грина представляет собой подражание Эдгару По, Амбруазу Бирсу. Как можно подражать выдумке? Ведь надо же выдумать! Он не подражает им, он им равен, он так же уникален, как они.

Наличие в русской литературе такого писателя, как Грин, феноменально. И то, что он именно русский писатель, дает возможность нам не так уж уступать иностранным критикам, утверждающим, что сюжет, выдумка свойственны только англосаксонской литературе: ведь вот есть же и в нашей литературе писатель, создавший сюжеты настолько оригинальные, что, ища определения степени этой оригинальности, обращаешься мыслью даже к таким обстоятельствам, как, скажем, первозданность движения над нами миров.

В последние годы своей жизни Грин жил в Старом Крыму, недалеко от Феодосии. Я там не был, в этом его жилище. Мне только о нем рассказывали. Его комната была выбелена известью, и в ней не было ничего, кроме кровати и стола. Был только еще один предмет... На стене комнаты — на той стене, которую, лежа в кровати, видел перед собой *хозяин*, — был укреплен кусок корабля. Слушайте, он украсил свою комнату той деревянной статуей, которая иногда подпирает бушприт! Разумеется, это был только обломок статуи, только голова, — будь она вся, эта деревянная дева, она заняла бы всю комнату, может быть весь дом, и достала бы сада, — но и того достаточно: на стену, где у других висит зеркало или фотографии, этот человек плеснул морем [8].

О. ВОРОНОВА

РАССКАЗ ГЕОРГИЯ ШЕНГЕЛИ *

С Александром Степановичем Грином мы были знакомы лет семь, но виделись очень редко. Это были, что называется, считанные встречи, — то в Москве (иногда, приезжая из Крыма, он ночевал у меня), то у него в Феодосии, Но помню его хорошо. Он был высоко честен, строг и чопорен; не любил ни малейшей фамильярности; резко обрывал всякие попытки панибратства. Изза подчеркнутой сдержанности и строгости на многих производил впечатление загадочное; уверен, что именно в этом корень ходивших о нем легенд.

...Очень любил читать и говорить о путешествиях, хотя сам путешествовал мало, побывал только в Александрии (между прочим, меня всегда поражало, что, живя у моря, он плохо плавал). Его квартира в Феодосии была увешана иллюстрациями к старинному французскому изданию плавания Дюмона Дервиля. Вообще увлекался всем таинственным.

В Грине было много детского. Например, он писал юмористические стихи и, читая их, сам смеялся, как ребенок. Обожал оружие, часто рассказывал о разных стычках и сражениях, показывал мне изобретенное им «усовершенствованное» орудие для драки, которое надевалось на голову. Александр Степанович называл его «ударный налобник».

---

* Это запись моей беседы с Г. А. Шенгели в апреле 1956 года, — *О. Воронова.*

Впечатления человека начитанного, с широкими знаниями он не производил, но обладал незаурядной угадливостью. Эту интуитивную угадливость он ценил очень высоко.

...Я очень люблю Грина-писателя, считаю его первоклассным мастером своего жанра, великим писателем, свежим и необычным, заставляющим очень любить жизнь. И все-таки, что скрывать? Наряду с прекрасными произведениями у него много того, что мы сейчас назвали бы халтурой. Думаю, что возникновение их можно объяснить нуждой. Существовал, например, в Петербурге маленький журнальчик Богельмана и Зайцева[1]. Там платили по пять рублей за рассказ, не читая его. В этот журнал и писал время от времени Грин. Иногда — прямо на извозчике. Мне кажется, что именно так был закончен «Новый цирк»: интересное, развернутое начало и несколько строк скорописи — конец. Впрочем, может быть, это только впечатление...

Вообще-то Грин был очень требователен и к композиции, и к языку, и к технической верности деталей. Помню, он резко возражал против «Баллады об арбузе» Багрицкого, особенно против слов «ножиком вырежу сердце» и «забраны риф и полотна». Утверждал, что так говорить нельзя.

О «Трех толстяках» Олеши говорил, что там много бутафорской декоративности. «Слишком жирно, — повторял он, — слишком смачно написано».

А однажды он рассказал мне, как где-то под Петербургом вместе с Л. Андрусоном за двадцать девять копеек нанял извозчика. Расплатился с ним, а потом вынул рубль, показал и... зашвырнул его в кусты. Извозчик был очень обижен.

— Я хотел послушать, как ругается извозчик, доведенный до высшей степени раздражения, — сказал Грин.

Его творческие ассоциации, безудержность его фантазии всегда поражали меня: Гель-Гью, выросший из Гурзуфа, в котором Александру Степановичу особенно нравилась «клочковатость» города; дворец Ганувера, списанный с Сиротского дома в Москве (теперь Дворец труда), еще раз фигурирующий в советской литературе в «12 стульях» Ильфа и Петрова (там это редакция, в которой Остап Бендер шантажирует вдову Грицацуеву).

Грин отчетливо сознавал, что стоит особняком в ряду писателей, и гордился этим. Читательский успех у него был широкий. Но критика относилась к нему свысока и упрекала в плохом языке, напоминающем перевод с английского.

А мне всегда казалось (именно в этом сказывается тонкость стилистического чутья писателя!), что он невольно желал придать рассказу вид перевода — ведь мы привыкли к приключенческой литературе только в таком виде. Когда я сказал об этом Александру Степановичу, он ответил: «Это мне никогда не приходило в голову, но я рад, что вы так думаете».

Что я особенно ценю в произведениях Грина? Переплетение романтической и реалистической стихии. Мечту — не отвлеченную, абстрактную, а, если можно так выразиться, мечту, поставленную тут же. Этим-то она и наиболее убедительна. Думаю, что этим и объясняется успех Грина у публики развитой, интеллигентной.

Н. Н. ГРИН

ИЗ ЗАПИСОК ОБ А. С. ГРИНЕ

I

ЗНАКОМСТВО

В 1918 году, в начале зимы, я, работала в газете «Петроградское эхо» у Василевского и там впервые увидела Александра Степановича Грина и познакомилась с ним. Он мне сначала показался похожим на католического патера: длинный, худой, в узком черном с поднятым воротником пальто, в высокой черной меховой шапке, с очень бледным, тоже узким лицом и узким, как мне тогда показалось, извилистым носом. Впоследствии это впечатление рассеялось, а про нос свой Александр Степанович, смеясь, говорил: на лице, похожем на сильно мятую рублевую бумажку, расположился нос, в начале формы римской — наследие родителя, но в конце своем — совершенно расшлепанная туфля — наследие родительницы.

Был Грин росту ровно два аршина восемь вершков, и вес никогда не превышал четырех пудов, даже в самое здоровое время. Был широк в плечах, но сильно сутулился. Волосы темно-каштановые с самой легкой проседью за ушами, глаза темно-карие, бархатистого оттенка, брови лохматые, рыжеватые, усы такие же. Нижняя челюсть выдавалась вперед, длинный неправильный рот, плохие зубы, черные от табака. Голова хорошей, чрезвычайно пропорциональной формы. Очень бледен и в общем некрасив. Все лицо изборождено крупными и мелкими морщинами.

Глаза его имели чистое, серьезное и твердое выражение, а когда задумывался, становились, как мягкий ко-

ричневый бархат. И никогда ничего хитрого или двусмысленного во взгляде.

Руки у Александра Степановича были большие, широкие; кости — как бы в мешочках из кожи. Рукопожатие хорошее, доверчивое. Рукопожатию он придавал значение, говоря, что даже наигранно искренняя рука всегда себя выдаст в рукопожатии.

Грин редко смеялся. Но дома, без посторонних, улыбка довольно часто появлялась на его лице, смягчая суровые линии рта. Чаще это было от моих проказ. Я была тогда озорна и смешлива. Он это любил.

«ПОГЛОТИТЕЛИ» АННИ ВИВАНТИ

Осенью 1919 года Александр Степанович, как не достигший сорокалетнего возраста, был призван в армию. Военная служба никогда не привлекала его ни в молодости, когда он добровольно пошел в солдаты, вынужденный к тому мрачно сложившимися обстоятельствами, ни теперь. Часть, в которую его назначили, вскоре была переброшена в Псковскую область, к городу Острову; километрах в тридцати от него находился фронт. Воевали с белополяками. Александр Степанович был причислен к роте связи и целые дни ходил по глубокому снегу, перенося телефонные провода.

Однажды, изголодавшийся, грязный, завшивевший, обросший бородой, в замызганной шинели, с маленьким мешком за спиной, тусклым зимним утром сидел он в небольшой красноармейской чайной, битком набитой разговаривающими, поющими, ругающимися и смеющимися людьми.

Немного имущества лежало в его солдатском мешке: пара портянок, смена белья и завернутый в тряпку пакет с рукописью «Алых парусов», тогда еще «Красных». За все месяцы своей военной службы Александр Степанович ни разу не заглянул в нее, — не было возможности сосредоточиться, хотя бы несколько мгновений побыть одному. «Но близость ее чем-то согрела мою душу, — говорил Александр Степанович, — словно паутинкой неразорвавшейся связи со светлым миром мечты».

Он сидел в углу за маленьким столиком и читал взятую в местной библиотеке книгу «Поглотители» — итальянской писательницы Анни Виванти [1], имя которой он

впервые увидел. Талантливо написанная книга о судьбе женщины, поглощенной любовью к мужу, заботами о нем и в конце концов восставшей против этого, так увлекла Александра Степановича, что он, читая, ничего не видел и не слышал. Кончил, закрыл книгу и оглянулся вокруг: шум, гам, суета, клубы пара и махорочного дыма, грязь, плохо одетые люди, в большинстве с изможденными, усталыми лицами.

Положил книгу Анни Виванти в мешок и, выйдя из чайной, поплелся в сторону железной дороги. Именно поплелся, так как от слабости подгибались ноги. На станции поездов не было, лишь на третьем пути стоял санитарный поезд без паровоза. На одной из вагонных площадок Александр Степанович увидел врача.

— Ваш поезд куда уходит? — спросил Грин.

— В Петроград, — угрюмо ответил врач.

Александр Степанович попросил осмотреть его. Внимательно прослушав больного, врач буркнул: «Туберкулез», — и приказал санитару вымыть, остричь и положить Александра Степановича на койку.

Через час Александр Степанович в чистом белье лежал в чистой постели.

Ночью поезд двинулся. Александр Степанович спал мертвым сном. Остановка в Великих Луках [2], — врачебная комиссия. Александр Степанович получает двухмесячный отпуск по болезни. Довезли до Петрограда. Жилья нет, все живут холодно и голодно. Александр Степанович ночует то у тех, то у других знакомых. Температурит. Больницы переполнены. Температура сорок. Боясь умереть, как многие тогда умирали, на улице, он идет за помощью к М. Горькому и просит устроить в больницу. Горький дает записку к коменданту города. Александр Степанович попадает в Боткинскую больницу [3], у него оказывается сыпной тиф.

Горький прислал хорошее письмо, белого хлеба и меду, а много месяцев спустя, в конце 1920 года [4], когда был организован ЦКУБУ — Центральный комитет по улучшению быта ученых, — вспомнил о нем снова и зачислил на академический паек и в общежитие Дома искусств.

Выздоровев от сыпного тифа, Грин оказался в очень тяжелом положении. В драной шинели, истощенный и бесприютный, бродил он по Петрограду [5], разыскивая

знакомых, чтобы переночевать или просто отдохнуть несколько часов.

Питер в те годы голодал и холодал, почти все жили скученно и если не голодно, то впроголодь. Как-то Александр Степанович пришел к знакомым, где рассчитывал переночевать, а у них уже набралось на ночевку столько людей, что положить его было буквально некуда. Дали ему записку к каким-то своим двум знакомым дамам — «у них иногда кухня топится, может быть, как-нибудь устроят вас».

Александр Степанович постучался в дверь указанной квартиры и, стесняясь, передал записку. Дверь открыла немолодая женщина и, узнав, в чем дело, провела его в кухню, показала на длинный кухонный стол:

— Спите здесь, кровати нет, кухня утром немного топилась.

Через несколько минут принесла старенький коврик и коптилку:

— Это подстелите.

На том все разговоры и кончились. Усталый Александр Степанович улегся и погасил коптилку.

Среди ночи проснулся и слышит в соседней комнате разговор: кто-то кого-то бранит, а тот оправдывается. Слов не разобрать и заснуть невозможно. Слушал и полчаса, и час. Всё то же. Решил выйти в коридор — узнать, в чем дело. Там тишина. Что же это? А в кухне снова слышен разговор. Пошел вдоль стены и, подойдя к водопроводному крану, услышал, как капает вода из крана и шумит воздух в трубах. Оказывается, это и создавало иллюзию разговора. Позже, в «Крысолове», Грин вспомнил и свою бесприютность в тот вечер, и этот «разговор».

Заботой Горького он был поставлен на ноги. Грин получил не только еду и жилье, что острее всего ему было нужно, но и заработок. Горький связал Александра Степановича с издательством Гржебина «Земля и фабрика» [6], заказав ему повесть для юношества по путешествиям Стенли и Ливингстона в Африку. Сам был первым редактором ее [7]. Повесть эта называлась «Сокровище африканских гор». После «Земли и фабрики», сокращенная для детей, под названием «Вокруг центральных озер» она вышла в издательстве «Молодая гвардия» [8].

КОМНАТА В ДОМЕ ИСКУССТВ

Чтобы попасть в нее, надо было пройти через большую кухню, потом спуститься по ступенькам в небольшой коридорчик. К нему примыкал перпендикулярно длинный темный коридор, слева вторая или третья дверь вела в комнату Александра Степановича. Видимо, в комнатах этих в прошлом жила прислуга.

Комната — небольшая, длинная, полутемная. Высокое узкое окно выходит в стену, на окне почти всегда спущена белая полотняная штора. В комнате и днем горит электричество.

Справа от двери большой платяной шкаф, почти пустой, так как у Александра Степановича не было лишней одежды.

Слева большая железная печь-«буржуйка».

На полу почти во всю комнату простой зелено-серый бархатный ковер. За шкафом вплотную такое же зелено-серое глубокое четырехугольное бархатное кресло. Перед ним маленький стол, покрытый салфеткой, узкой стороной к стене. За ним железная кровать, покрытая темно-серым шерстяным одеялом. Над нею большой портрет Веры Павловны (стоит в три четверти, заложив руки за спину) в широкой светло-серой багетной раме — увеличенная фотография. За кроватью стул.

Слева, за печкой, стул; за ним простой небольшой комод, покрытый какой-то блеклой цветной скатертью. На комоде — две фотографии Веры Павловны в детстве и юности, в кожаной и красного дерева рамках, фотография отца Александра Степановича, чарочка с оленем, крошечная саксонская статуэтка — пастушок с барашком и собачка датского фарфора, длинноухий таксик, — подарок Веры Павловны, небольшое зеркало, пачка чистых гроссбухов для писанья, чернильница, карандаш и ручка с пером. В одном ящике комода пачка рукописей, в другом — смена белья, в остальных — пусто. За комодом — третий стул. Вот и всё.

В этом же коридоре жили: В. А. Пяст, Рождественские и кто еще — не знаю[9].

НА ПАНТЕЛЕЙМОНОВСКОЙ

В 1921 году в мае, в первый год нашей женитьбы, мы сняли комнату на Пантелеймоновской улице в доме

№ 11, что недалеко от церкви Пантелеймона и Соляного городка, в квартире Красовских.

Это была семья давно умершего действительного статского советника, состоявшая из его вдовы и двух взрослых дочерей. Нам сдали самую большую комнату, в прошлом, должно быть, гостиную, выходившую двумя окнами в стену, а потому полутемную. Обставлена она была чрезвычайно бессмысленно: большой рояль в углу, над ним желто-мраморный купидон, будуарный красный атласный диванчик, дешевый зеркальный трельяж и в широкой золоченой раме огромный портрет четы Красовских в подвенечных нарядах. Ни кровати, ни дивана, на котором можно было бы спать. Наш багаж был ничтожен: связка рукописей, портрет Веры Павловны, несколько ее девичьих фотографий, две-три любимых безделушки Александра Степановича, немного белья и одежды.

В эту снятую в мае комнату мы переехали 9 июня. В дни перед переездом Александр Степанович один ездил в Токсово. Кто-то из знакомых, восхищаясь красотой местности и озерами, посоветовал ему провести там лето. Денег у нас не было, но был хороший академический паек, и мы рассчитывали на него обернуться. Приехал Александр Степанович из Токсова разочарованный. Он присмотрел славную комнату, близко от озера, но хозяин — финн, староста деревни, — хотел за нее пуд соли и десять пачек спичек. В те голодные питерские годы это было нечто значительное. Местность же, по словам Александра Степановича, так прекрасна, что было бы истинным счастьем пожить там месяца два. Помогла моя мать, человек практичный и предусмотрительный, у нее оказалось килограммов двадцать соли и три пачки спичек. Она достала у знакомых недостающие семь пачек, дала мне пуд соли и я, трепеща от радости, поехала к Александру Степановичу.

11 июня мы с солью и спичками за спиной сошли с поезда на станции Токсово.

Дорога от станции к деревне шла по заросшей вереском долинке. Деревня, живописно окруженная лесом, стояла на невысоком холме. Озера мы не увидели сразу. Александр Степанович зашел к тому финну, где присмотрел комнату. Через несколько минут он вышел довольный и позвал меня. Комната не была занята, и мы в ней поселились. Отдохнув с полчаса, попив молока, мы пошли на озеро. Извилистые лесные тропинки вели к нему.

Зарослями дикой малины, орешника, кустами черники и голубики полон был окрестный лес. По пути нам попалось небольшое озеро странной формы. Его вода у берегов была темна от низко склонявшихся деревьев и кустов, а в середине сверкала, играла и переливалась голубизной солнечного неба. Сказочно смотрело оно, и таинственно было его имя — Кривой Нож.

Наконец мы добрались до большого озера. Мы вышли с лесной его стороны. На той стороне виднелись кустарники, слева еле маячили очертания плоского берега. Коегде росли камыши. Посидели мы на бережку, помечтали о наших будущих деревенских радостях и вернулись в Питер. Нужно было не пропустить очередную выдачу пайка, сделать кое-какие дела и тогда уже по-настоящему, надолго — в Токсово!

17 июня, захватив несложное наше имущество, переехали в Токсово, в дом Ивана Фомича, — фамилии не помню.

Александр Степанович был страстный рыболов и охотник. Еще в одиннадцать лет он раздобыл себе шомпольное ружье и охотился с ним в прилегающих к Вятке лесах. Дичь, принесенная к обеду или ужину, наполняла его душу чувством гордого триумфа. Долго не мог он приобрести настоящего ружья. Охотился случайно, обычно с чужим ружьем, и, лишь попав в ссылку в Архангельскую губернию, он заимел собственное ружье и предавался охоте страстно и безудержно, пропадая по нескольку дней.

В ранней повести Грина «Таинственный лес» [10] есть описание охоты за золотым петушком. Повесть очень биографична, особенно в отношении Александра Степановича к природе и охоте. Случай этот с ним был в действительности и в корне изменил отношение Александра Степановича к охоте. Страсть, ум и страдание птицы ранили воображение Александра Степановича, и он отвернулся от охоты как развлечения. В зрелые годы он признавал охоту лишь как необходимость добыть пропитание, не иначе. Зато он с наслаждением предавался рыбной ловле. Вернее не он, а мы оба, так как на всякую рыбную ловлю мы отправлялись вдвоем. Я выросла на большом озере и реке. Лодка и удочка были моими спутниками с детских лет.

В Токсове мы раздобыли дырявую старую лодчонку, половили с нее несколько дней — скучно стало ежеми-

нутно откачивать воду, пугая рыбу. За два кило сельдей в месяц — любимого лакомства местных финнов — мы получили право ежедневно пользоваться крепкой, небольшой, хорошо просмоленной лодочкой.

Ну и заблаженствовали! Ежедневно, чуть забрезжит заря, еще небо серое, выходим из дому и по росистым душистым тропинкам идем к озеру. Утренняя свежесть, розовеющий постепенно небосклон, первое щебетанье просыпающихся в кустах птиц! Мы в лодке, — утренняя тишина прозрачна, лишь изредка нарушит ее чириканье пролетевшей птички, всплеск рыбы. Чуть шевеля веслами, Александр Степанович ведет лодку к середине озера, к камням. Осторожно, еле всплескивая воду, спускаем якорь. Налаживаем удочки и молча сидим, ожидая клева. На заре он хорош. Окуни, плотва, ерши, лещи мелькают из воды один за другим, ловко подсеченные. Солнышко уже высоко. Клев утихает, корзина полна рыбы. Снимаемся с якоря и плывем к берегу — проголодались. По ожившим, теплым, залитым солнцем тропинкам, через лес и кустарник, возвращаемся домой. Из принесенной добычи дружно готовим завтрак и ложимся спать до обеда. Вечерами ходим на ловлю редко. Вечером шумно: на разные голоса кричит деревня, мычат и звенят колокольцами коровы. Тоже хорошо, но не так, как на заре.

Иногда ставим перемет, жерлицы, но очень редко. Не привлекает нас этот хищнический и слепой вид добычи. Удочка милее душе.

Летом 1921 года мы насладились рыбной ловлей в полной мере. Больше нам не приходилось так ловить. Переехав в 1924 году в Крым, всегда радуясь своему переезду к морю, полюбив всем сердцем юг, мы единственно жалели о невозможности на море так радостно ловить рыбу, как в Токсове. Нам часто казалось, что в Токсове мы пережили детство своей совместной жизни, что, приехав на юг, стали взрослее, что иное стало нас интересовать и волновать.

Желая повторить дорогие для нас минуты, мы в 1928 году поехали на лето в Токсово. Мы оба, взрослые люди, забыли, что прошлое неповторимо. И вышло действительно грустно. Лето было дождливое, кислое, поселились мы в какой-то комнатке с фанерными стенками. Токсово стало дачным местом и кишмя кишело дачниками. По озерам во всех направлениях шныряли наряд-

ные лодки, гички, «душегубки» с веселой поющей, хохочущей молодежью. Рыболовы в трусиках сидели на берегу и перекликались между собой басом. А рыба ушла, спряталась. Мы погоревали о потерянной радости и уехали в Крым, в Отузы...

Прожив в Токсове тогда, в 1921 году, до середины сентября, мы, нагруженные сухими и маринованными грибами, мочеными и вареными ягодами, вернулись на Пантелеймоновскую.

Теперь, с сентября, мы начали нашу новую совместную питерскую жизнь. За лето мы крепко сблизились и сдружились. Сойдясь с Александром Степановичем без любви или увлечения в принятом значении этих слов, желая только найти в нем защитника и друга, я почувствовала, что начинаю его любить, что он становится мне дорог, и видела, что он с каждым днем всё больше дорожит мной. Токсово связало нас накрепко и навсегда. Оттого дни, проведенные там, всегда вспоминались нами с особой нежностью и любовью.

Итак, началась жизнь на Пантелеймоновской. В комнате была печь. Но в те суровые времена дрова и уголь были драгоценностью. Денег у нас не было, но выручал всё тот же академический паек. Первое, что мы купили, это крошечную хорошенькую голубую кафельную «буржуйку», продырявили стену печи, установили печурку и стали добывать топливо. Сначала у мальчишек, промышлявших ловлей плывущих по Неве бревен, мы обменяли на дрова кое-какие продукты, распилили дрова, раскололи на кухне и зажгли. Однако скоро увидели, что на одно лишь отопление нам не хватит целого пайка, и стали по примеру многих петроградцев ходить за дровами в полуразваленные дома. Добыли пилу-ножовку. Я обычно стояла на страже, так как на звук пилы в такие дома часто заходила милиция, штрафовала, а иногда даже сажала в тюрьму. Александр Степанович выпиливал кусок балки побольше или снимал уцелевшую дверь, раму окна, и всё это мы разделывали у себя на кухне.

Однажды, выйдя с добычей из такого дома, мы попались. Александр Степанович нес на плече хорошую дверь, я — ножовку и подобранные там щепки. Навстречу милиционер. «Вы откуда?» — спрашивает. У меня колени задрожали, а Александр Степанович так спокойно, спокойно:

— Да вот, товарищ, сейчас на Мойке обменяли эту

дверь у каких-то мальчишек за хлеб, и сам не рад — еле несу, а живу тут рядом, на Пантелеймоновской.

— А не из этого дома? — показывает милиционер на дом, из которого мы вышли (дом, должно быть, находился в районе его наблюдения).

— Ну, что вы, у нас же и силы на это нет!

— Ладно, идите, и только лучше не меняйте хлеб на двери, могут не поверить.

Милиционер, видимо, был хороший парень.

Около «буржуечки» мы проводили почти все свое время, — в других углах комнаты было холодно. На полу около нее и спали. Ели сравнительно прилично. Были, во всяком случае, всегда сыты. Но к концу зимы у Александра Степановича от употребления авитаминозной пищи и житья в темной комнате, где с утра до ночи горел электрический свет, начался фурункулез, от которого он избавился только весной.

Летом, в Токсове, Грин неоднократно начинал первый в своей жизни роман — «Алголь — звезда двойная». Ему нравилась легенда об одной красивой звезде и ее неизменном спутнике. Но роман ему не давался. Тогда он мне еще ничего не читал, а сидел, курил, думал, писал. Иногда говорил: «Не удается сюжет, опять всё выбросил».

Осенью, в Петрограде, Александр Степанович как-то попросил нарезать ему небольшие длинные листки бумаги и сказал, что хочет на них записывать всё, что ему придет в голову относительно нового романа. Эти листки я должна собирать и хранить, а он посмотрит, что из этого выйдет. Раньше он так не делал, почти всё держал в голове. Я чувствовала себя ученицей, которая должна что-то сделать на «отлично», — складывала листки в специально сделанную для них папочку. Должно быть, в ноябре 1921 года Александр Степанович сказал мне:

— «Алголь» мой умер, но наклевывается у меня новый сюжет. Если хватит сил и уменья, знатно должно получиться.

Два дня Александр Степанович лежал в постели. Вскочил очередной фурункул, и он не мог ни ходить, ни сидеть. Лежа, он усердно писал, забрав у меня все четвертушки.

Пришел не помню кто; кто-то из литературных знакомых. Спрашивает — почему Александр Степанович лежит?

— Ишиас разыгрался, — отвечает Александр Степанович.

— А что такое пишете? Интересно. Может быть, почитаете?

Не любил Александр Степанович таких вопросов, мрачновато ответил:

— Э, пустяки, так, от нечего делать бумагу мараю.

И замолчал, стал неразговорчив. Гость посидел, посидел и ушел.

— Не люблю этого пустого залезанья в чужую душу. Словно писатель — магазинная витрина, — пяль всё наружу!

Я же ни о чем его не спрашивала, решив про себя, что, как бы ни было мне интересно, буду ждать, когда он сам мне что-либо скажет. Так и случилось. Еще несколько дней прошло, и Александр Степанович раз вечерком, сидя около «буржуйки», говорит мне:

— Хочется тебе послушать, что я написал за эти дни? А не хочешь — говори прямо. Натяжек у нас не должно быть. Но вижу, плут, что хочешь. Слушай внимательно и учись. Я тебя как на уроке буду спрашивать.

И он прочел мне впервые начало «Блистающего мира».

Чтение взволновало меня. До замужества я читала очень много, но безалаберно. В душе больше всего любила сказку о крошечной принцессе, плывущей по лесному ручью в лепестке от розы. Любила и стыдилась этого. Теперь, слушая Александра Степановича, краснея от волнения, от того, что он, доверив, открывал мне свое таинственное, я почувствовала такую же нежность и благодарность, как некогда, читая ту сказку. Это было мое крещение в жены писателя.

Однажды Александр Степанович дал мне задачу — придумать для героини «Блистающего мира» имя легкое, изящное и простое. Два дня я была сама не своя. Сотни имен вереницей проходили перед моими глазами, и ни одно не подходило к тому, о чем думалось. Иногда нерешительно, чувствуя неправильность предлагаемого, я говорила Александру Степановичу то или другое имя. Он только отрицательно мотал головой. В один из вечеров Александр Степанович читал мне киплинговского «Рики-тики-тави». Окончилось чтение, и я, еще под впечатлением прочитанного, ходила, хозяйничая, вокруг печурки и напевала про себя: «рики-тики-тави» — и неожи-

данно закончилось само собой: «рики-тики-тави-тум!» И так в голову и ударило: Тави Тум, Тави Тум — да ведь это же имя! Как из пушки выпалила:

— Сашенька! Тави Тум!

Он рассмеялся, видя мое волнение, и тоже радостно сказал:

— Вот это хорошо, Тави Тум — то, что подходит совершенно.

Так родилась Тави Тум.

На Пантелеймоновской прожили мы до февраля 1922 года. Часть нашего академического пайка мы попрежнему обменивали на толчках Александровского или Кузнечного рынков, нам наиболее удобных. Как-то я пришла к нему на толчок, когда он продавал полученное на паек мыло. Стоял в толпе продающих, длинный, суровый и... жалкий. От холода посинел. Подошла к нему, взяла из его рук мыло и попросила идти домой. Он отнекивался. Чтобы не обращать на себя внимания окружающих, я позвала его в ближайшую подворотню и сколола булавочкой воротник его пальто. Уговорила его уйти. Здесь, на сыром камне грязной подворотни рынка, мелькнуло начало «Крысолова», замысел которого возник еще раньше, в Доме искусств[11]. С тех пор я сама стала ходить на толчок.

Однажды, помню, я до самого вечера не могла продать свою шляпу и старую рубаху Александра Степановича, деньги были нужны до крайности. Уже темнело. Вдруг вижу, быстро шагает Александр Степанович. Лицо бледно, взволнованно. Вижу, что разыскивает меня. Окликаю его. Он кидается ко мне, обнимает, не стесняясь, при всех и уводит. Я протестую, не зная, в чем дело.

— Идем, идем, дорогая, — говорит он, увлекая меня за собой, — не продавай больше. Я ждал тебя. Темнело. И вдруг мне показалось, что ты исчезла, может быть погибла. Я кинулся сюда и всё тебя не видел. Думал, что умру.

Грязь и холод нашей квартиры на Пантелеймоновской заставили нас искать новое пристанище. Но прежде чем сменить комнату, нам необходимо было раздобыть денег в уплату за разбитое Александром Степановичем зеркало наших хозяев. Александр Степанович ударил нечаянно по одной его створке бревном, принесенным из очередной дровяной экспедиции, и разбил вдребезги. Уехать из квартиры, оставив это как долг за нами, мы

не хотели, так как в дальнейшем не собирались встречаться со своими хозяевами. Кроме того, переезд требовал некоторого количества денег. Поэтому мы копили по грошам, не забывая прицениваться на толчке к стоимости нужного куска зеркала.

Вскоре Александр Степанович нашел комнату на 2-й Рождественской у старушки учительницы, имевшей какое-то отношение к Дому литераторов. Комната маленькая, скудно обставленная — «студенческая», грязноватая, на пятом этаже, но зато светлая, с окном-фонарем на улицу. Переезд был несложен. Взяли у дворника салазки, в два фанерных ящика сложили наше имущество, а сверху положили большой портрет Веры Павловны. Александр Степанович вез салазки, я толкала их сзади...

Как-то в Петрограде — не помню в 1922 или 1923 году — мы шли мимо какого-то кинематографа и увидели у входа большую афишу: «Жизнь Гнора» — драма в стольких-то частях, с участием О. Фрелиха. И в скобках — по одноименной повести А. С. Грина[12].

— Вот-то чудеса! — воскликнул Александр Степанович. — Без меня меня женили. Интересно. Пойдем посмотрим. И какой ведь хороший, именно для кино, рассказ выбран.

Купили билеты и в приподнятом настроении вошли в зал. Первая часть сразу же нам не понравилась. О. Фрелих ходил в тропическом шлеме с вуалью, не соответствуя своим обликом ни Гнору, ни Энниоку. Драма велась в ложных, неестественных тонах. Дальше — хуже. Последнюю часть нам было просто неловко смотреть. Всё в целом представляло собою антихудожественную вульгарную смесь южных, видимо кавказских, пейзажей, сентиментальных, вымышленных переживаний и современности.

Как оплеванные, молча, мы вышли из кино. Грина никто не знал, а ему казалось, что все, выходящие из кино, смотря на него, думали: «Вот этот человек написал длинную повесть, которую противно смотреть».

На следующий день Александр Степанович отнес в вечернюю «Красную газету» заметку[13], в которой требовал изменения заглавия «драмы» и снятия своего имени. В редакции были удивлены:

— Чего вам, Александр Степанович, беспокоиться. Всё же это реклама!

— Я считаю такую рекламу оскорблением и предпочитаю обойтись без нее, — сердито ответил Грин.

ДВЕ ПОЕЗДКИ

Весной [14] 1923 года в журнале «Красная нива» Александр Степанович напечатал «Блистающий мир». Это был для нас очень большой праздник: была завершена работа, начатая осенью 1921 года, очень трудная, так как он впервые вступал на путь создания произведения большой формы.

Александр Степанович получил за роман порядочно денег, которые в то время ежедневно меняли свою стоимость. Привез домой кучу бумажных ассигнаций. И сразу же, конечно, перед нами возник вопрос: что с ними делать? Хранить их не имело смысла, через месяц они могли иметь четверть своей стоимости.

Поехали посоветоваться с Верой Павловной. Она порекомендовала поменять их на золото, как делали тогда многие. В то время еще существовала так называемая черная биржа, и, по совету Веры Павловны, мы обратились к одному такому «биржевику» на Васильевском острове. Он обменял бóльшую часть наших миллионов на сто тридцать рублей золотыми пятирублевками, то есть на двадцать шесть монет.

С Васильевского мы ехали домой на извозчике, и каждый из нас держал в руке кучу золотых монет, — нам так нравилось.

— Сейчас будем решать, что нам на это *сделать*, — сказал Александр Степанович, — вот только домой приедем... У меня уже на уме кое-что заиграло.

Приехали домой. Я накрыла стол белой скатертью и разложила пятирублевки золотым кругом, — вышло красиво.

И Александр Степанович сказал:

— Давай сделаем из «Блистающего мира» не комоды и кресла, а веселое путешествие. Не будем думать о далеких завтрашних днях и сегодняшних нуждах, а весело и просто поедем на юг, в Крым. Ты никогда не была там, а я был и люблю его. Едем в Крым и, пока не истратим всего этого блеска, не вернемся. Пусть это

будет нашим запоздавшим свадебным путешествием. Согласна?

Ну еще бы не согласиться!

Кое-что купили на бумажные ассигнации, кое-что оставили матери, жившей тогда в Лигове, и веселые поехали в Севастополь.

Поздно вечером подъехали к городу. Выйдя из вокзала, расположенного в амфитеатре домов, мы попали в душистый мрак южного вечера. Звезды сияли в черном небе, и, как бы стремясь к ним, блестели огни домов, взбегающих на окружающие вокзал холмы.

Остановились в гостинице против Инфизмета *. На следующий день пошли осматривать город, первым делом Графскую пристань, где много лет назад Александр Гриневский был арестован за революционную пропаганду в царской армии и флоте [15]. Александр Степанович показал мне Дом армии и флота, а затем — издали — тюрьму, где просидел почти два года. Знание севастопольской тюрьмы помогло ему в работе над «Дорогой никуда». Камень, через который пробивались Стомадор и Галеран, делая подкоп в тюрьму, был тот самый акманай, на котором лежит Севастополь.

Александр Степанович наслаждался Севастополем не меньше меня. Он говорил, что красота и своеобразие города вошли в него настолько, что послужили прообразом Зурбагана и Лисса.

Долго бродили по городу, смотрели на него и удивлялись — что́ в этом цветущем белом городе, легко взбегающем на прибрежные кручи, дает такое сильное впечатление? Всё ли пережитое им, но не обугрюмившее его лица; улыбка ли мудрости и простоты, лежащая на нем...

А севастопольский базар тех времен! Живая картина! Под огромными зонтиками кучи разнообразнейших товаров; базар блистал сочной яркостью серебристо-разноцветных рыб, фруктов, овощей, цветов; а сзади, как фон, голубая бухта, где сновали или стояли на причале разные мелкие суда — от лодок до шхун с белыми, желтыми, розовыми парусами. Базар пел, кричал, завывал и по-южному беззаботно веселился. Какие голоса! Какие рулады торговцев и живописнейших торговок — песня,

---

* Инфизмет — институт физических методов лечения. — *Прим. Н. Н. Грин.*

да и только! Казалось, весь город радуется существованию этой своей утробы. И — табак, на который с жадностью накинулся Александр Степанович. Табак, длинный, золотистый, душистый, тонко нарезанный, в длинных коробках... Продавали его главным образом черноглазые мальчишки лет тринадцати-четырнадцати. Сразу же купили его десять фунтов, чтобы «подольше вдыхать и вспоминать аромат прекрасного Севастополя», — говорил восхищенный Александр Степанович.

Нам после усталости, серости и скудности много лет голодавшего Петрограда, его вялого климата казалось, что и всем здесь так Хорошо, как нам.

Как-то на берегу, у Графской пристани, встретили красивого молодого человека в тропическом шлеме. Оказалось, это старый знакомый Александра Степановича московский поэт Георгий Шенгели. Дня два всюду ходили вместе, а добрые отношения с ним остались надолго.

Затем мы поехали в Балаклаву, любезную сердцу Александра Ивановича Куприна, а оттуда на пароходе — в Ялту.

И опять целые дни мы бродили по городу, побережью, как козы лазали по холмам, ездили на лошадях в Ливадию, Алупку, к водопаду Учан-су. И так как в эти счастливые дни у нас не хватало времени и сил даже газету прочесть, то случившееся было для нас полной неожиданностью: Александр Степанович, зайдя вечером в погребок за белым вином, вернулся в большом возбуждении, с газетой в руке.

— Керзон предъявил нам ноту, — взволнованно сообщил он, — должно быть, в ближайшие дни начнется война. Город в панике; все автомобили нарасхват. Я пойду искать какую-нибудь машину, а ты быстренько соберись в дорогу. Немедленно возвращаемся в Москву.

Часа через три, когда у меня уже всё было готово к отъезду, вернулся Александр Степанович, уставший и нервный, машины не достать, все разобраны теми, кто лучше знает Ялту или давно живет в ней. Бегут и старожилы и курортники. Наутро в одном из гаражей обещали ему два места в грузовой машине.

Тревожно провели ночь и рано утром были у гаража. Большая толпа желавших уехать уже ждала машины. Все волновались; слухи, один другого страшнее, переходили из уст в уста. А самое главное было уехать из

этого прекрасного уголка, лежавшего в восьмидесяти километрах от железнодорожной станции, возле которой нам, конечно, не будет так страшно.

Поезда отходили непрерывно. Несмотря на большое скопление людей, был хороший порядок, и мы, получив билеты и сев в поезд, свободно и спокойно вздохнули. Теперь мы радовались, что не попали в «мешок».

В Москве Александр Степанович написал рассказ «На облачном берегу» — отзвук нашего путешествия.

В феврале 1927 года Александр Степанович заключил с издательством «Мысль» Вольфсона договор на издание Полного собрания сочинений. Не зная еще тогда, что мы попали в руки к ловкому и прожженному дельцу, причинившему нам в дальнейшем много горя [16], мы наслаждались деньгами и мечтами. Март и апрель провели в подборке и розыске материалов для книг, а в мае надумали снова съездить в Ялту, очарованье которой еще не ушло из нашей памяти. В середине мая поехали.

Ялта была битком набита курортниками, и мы достали лишь огромную, сырую, не очень уютную комнату в доме, стоявшем в парке. Теперь, уже немного зная Ялту, мы не торопились, не горели, а тихо радовались. Решили осмотреть окрестности.

Наняли сановитого бородатого извозчика Николая, имевшего хорошую парную коляску, договорясь с ним о местах и о сроках поездок. По вечерам, умиротворенные и усталые, возвращались мы обратно. Николай рассказывал нам всякие страшные истории, но рассказы его воспринимались ухом, а не сердцем, которое радовалось окружающей красоте.

Я всегда любила езду на лошадях, неторопливую, без скучного запаха бензина, под мерное цоканье копыт и пофыркиванье лошадей. Александр Степанович тоже быстро обрел вкус и охоту к этому виду передвижения.

Вечерами он любил посидеть в малолюдном винном погребке, расположенном в уступе скалы; через небольшие высоко посаженные окна погребок таинственно освещался лучами заходящего солнца. Посидит час-полтора, потягивая любимое белое вино, просмотрит газету.

Так прожили мы три недели; перед отъездом домой решили съездить в дом отдыха московского ЦКУБУ. Как-то в Ялте мы встретили знакомых оттуда и пообе-

щали навестить их. Дом отдыха находился километрах в одиннадцати от Ялты, в сторону Севастополя.

— Поедем на лодке, — предложил Александр Степанович, — не торопясь, с отдыхом, мы часа через четыре доплывем. Лодочника не возьмем, вспомним старину — сам буду грести, а ты — править.

Так и сделали. Оставив залог за лодку, поплыли; часто приставали к берегу, осматривали красивые места. Через четыре часа пристали к месту, где был дом отдыха, расположенный довольно высоко над пляжем. С помощью каких-то курортников вытащили лодку на берег и пошли наверх. Встретили радушных знакомых, всё осмотрели, переночевали, но в доме нам не понравилось: много людей, распорядок, дисциплина, различные процедуры, отсутствие легкой простоты — всё это не прельстило нас, привыкших жить замкнуто и просто. Теперь, старая, я понимаю удобство таких домов, дающих возможность отдохнуть от всяких домашних и служебных забот, но тогда мы играли своими днями, и это было нам дороже и интереснее.

Накануне отъезда из Ялты пошли последний раз погулять по улицам и на одной из них — тихой и зеленой — увидели дом: за чугунной оградой в глубине скромного, но изящного цветника, на фоне подымающихся сзади широких деревьев небольшого сада, стоял каменный одноэтажный коттедж с высокими зеркальными окнами, увитый по углам и у подъезда мелкими красными и белыми розами. Высоко на фронтоне большими буквами надпись:

«ВИЛЛА МОЛЛИ»

— Смотри, смотри! — воскликнул Александр Степанович, жадно рассматривая *его*. — Как хорош, мало — хорош, — прекрасен! Вот бы нам такой! «Вилла Молли» — это же наш дом, он по ошибке чужой! Как я хочу такой...

С этой новой мечтой поехали мы на следующий день на пристань. Погода была ветреная. Маленький допотопный колесный пароходик «Феликс Дзержинский» мотало во все стороны. Пассажиры быстро укачивались, стонали, лежали в каютах и на палубе, перевешивались через борт и снова стонали. Александр Степанович не страдал морскою болезнью, это он знал еще по плаванию в

Александрию. Оказалось, и меня не укачивает, и мы вдвоем сидели в буфете за столиком, ели и пили чай.

Пароход так пыхтел, кряхтел и чем-то звенел, что казалось — он развалится. Но не развалился-таки, а дотащил нас до Феодосии. По приезде у Александра Степановича был приступ малярии.

Мечта о прекрасной «Вилле Молли» не уходила от нас. Рассчитывая на будущие блага, мы ходили по Феодосии, присматривая для себя дом.

К сожалению, мечты не осуществились. Это была последняя наша поездка по Южному Крыму, полная радости и бездумья. Дальнейшая жизнь уже не баловала нас.

ПЕРЕЕЗД В КВАРТИРУ

Литературные дела Александра Степановича в 1923 году были в расцвете. Печатался первый роман, маленькие журналы и газеты просили рассказы. В тот год Александр Степанович написал много хороших новелл. Завелись деньги, и мы решили обзавестись собственной квартирой.

— Поживем по-человечески, — говорил Александр Степанович, — и возьмем к себе твою мать, хватит ей жить одиноко. Человек она умный, деликатный, будет у нее своя комната, друг другу мешать не будем.

Я этому очень обрадовалась. Маму крепко любила, но и думать не думала, что она когда-либо сможет поселиться с нами, считая, что Александр Степанович — человек нелюдимый, что всякий посторонний, хотя бы и близкий, будет ему, как царапина. К моей радости, оказалось — нет. Начали искать квартиру. Как-то наша квартирная хозяйка посоветовала: «Да вы посмотрите квартиру под нами, в четвертом этаже».

Это была большая, в семь комнат, квартира без стекол, без нескольких дверей, с грязными рваными обоями, разрушенной плитой и ванной. Фасадная часть ее, выходившая на север, была мансардного типа, и, хотя комнаты там были в лучшем состоянии, Александр Степанович сразу ее отверг.

— Перекрытия будут всегда давить на психику, — сказал он, — кроме того, хочется иметь в квартире солнышко, как ни мало его в Петрограде, а всё другой раз к нам заглянет. Возьмем юго-западную сторону.

Так и порешили. Нашли рабочих, с ними всё осмотрели и обсудили. Одну дверь нужно было наглухо заложить, тогда получалась изолированная квартира в четыре комнаты: одна — рабочая Александра Степановича, вторая — моя и наша спальня, третья — маме, а четвертая, большая, полутемная, — столовая. Кроме того, нам отходила кухня и ванная. Ход был один — черный. Можно было бы иметь и парадный, но общий с другой квартирой. Александр Степанович от этого категорически отказался:

— Пусть будет немного неудобно, но отдельно. Балов и приемов нам не. устраивать, а друзья нас и по черному ходу найдут.

Блаженно-суетливые дни строительства наступили для нас. Тут я впервые увидела, что Александр Степанович живописно хозяйственен. Денег у нас было немного, отделать квартиру мы могли только скромно, но это «скромно» он хотел сделать приятным и уютным, не жадничал, не волновался, не суетился попусту. Вдвоем мы ходили покупать обои, стекла, дверные ручки, гвозди, краски — словом, всё, что требовали рабочие. Александр Степанович выбрал для своей комнаты серебристо-серые обои, блестящие, без отчетливого рисунка, и широкий к ним бордюр в темно-синих орнаментах, такие же гладкие светлые маме и в столовую, только бордюры разные, а мне он выбрал белые в широкую голубую полоску. Управдом сетовал: лишнее тратите, но Александр Степанович говорил ему: «Не каждый день чинишь квартиру, пусть она будет на веселом фундаменте».

Через месяц всё было закончено. Когда мы вошли в отремонтированную, прибранную от строительного мусора квартиру, то увидели, что приобрели просторное, светлое, залитое солнцем жилье.

— Теперь поедем за матерью, — сказал Александр Степанович.

На следующий день поехали в Лигово, два дня собирали и укладывали ее имущество. Александр Степанович поехал в Петроград с нагруженными подводами, а мы поездом. Через несколько часов он, веселый и возбужденный, выгружал привезенное и переносил вместе с рабочими наверх. Были мы в тот день веселы и легки душой. Мама уже успела испечь в новой духовке аппетитный пирог на новоселье. Угостила рабочих, Александр Степанович дал щедрое «на водку», — они ушли,

радостно пожелав нам всех благ, а мы уселись в новой столовой за первый обед в первой своей квартире.

На другой день началась расстановка вещей. В небольшую, с одним тупым углом, комнату Александра Степановича был поставлен письменный стол отца, кресло, небольшой шкаф для книг, которых у нас, кроме собственных Александра Степановича, в то время еще не было, и несколько стульев.

— Попробую писать за письменным столом, хотя и не люблю этого, — говорил Александр Степанович, — но приятно — своя комната для работы.

Прошло еще несколько дней, и Александр Степанович пришел домой какой-то возбужденный и огорченный. Зовет меня спуститься вниз. На площадке третьего этажа лежит разбитое вдребезги большое трюмо в старинной золоченой раме, а около него стоят два дядьки с видом весьма смущенным.

— Вот нес тебе, и так глупо получилось, а я обрадовать тебя хотел.

Мужики чешут затылки и начинают оправдываться.

— Чудаки, я же вас и не виню, никого не виню. Случай, и всё тут...

Оказывается, кто-то бросил сверху кошку, она упала прямо на голову переднего дядьки. Он от неожиданности споткнулся, и зеркало выскользнуло из рук...

Стали готовиться к зиме, купили дрова, уголь, вставили вторые рамы, у мамы в комнате был камин, дождливыми осенними вечерами уютно сиживали около него, радуясь своей крепости-квартире.

Александр Степанович начал писать «Золотую цепь», делая пока заметки к ней; написал несколько новелл.

Как-то приходит домой очень радостный и дает мне пакет. Это был напечатанный на машинке экземпляр «Кораблей в Лиссе». Этого рассказа я не знала, и он прежде мне о нем ничего не говорил. Рассказ был написан еще в 1918 году, отдан в редакцию какого-то журнала, вскоре переставшего существовать. Видимо, в редакции его размножили на машинке, и теперь Александр Степанович нашел экземпляр у знакомой.

— Это один из моих лучших рассказов, — радовался Александр Степанович, — было бы жаль, если бы он пропал бесследно, так как вторично такого рассказа не напишешь[17].

В этот же год, как-то идучи по Николаевской улице,

мы встретили очень элегантного пожилого гражданина. Александр Степанович познакомил меня с ним, это был редактор журнала «Аргус», кажется Нелидов [18]. Александр Степанович стал просить его разыскать в материалах, хранящихся у него, данный в редакцию тоже несколько лет назад рассказ «Ива». Тот пообещал это сделать, но рассказа мы так и не получили, хотя Александр Степанович наведывался к Нелидову не раз. Александр Степанович очень сожалел о потере рассказа, по его словам — неплохого, не хуже «Кораблей в Лиссе», и так интересно передавал сюжет его, что мне захотелось прочесть этот потерянный рассказ.

— Я напишу новую «Иву», — сказал Александр Степанович.

И правда, вскоре написал рассказ «Ива» [19], впоследствии помещенный в сборнике рассказов «На облачном берегу» [20].

— Он не так хорош, как тот, первый, — говорил Александр Степанович. — Никогда себя не повторишь, но некий аромат, лишь аромат того, в нем сохранен.

1922—1924 годы были наиболее плодотворны у Грина. Пламя творчества горело ровно, сильно и спокойно. Иногда даже как бы физически ощутимо для меня. В эти годы Александра Степановича любезно встречали в редакциях и издательствах. Мы пользовались плодами этого хорошего отношения, жили покойно и сытно, но Александр Степанович начал втягиваться в богемную компанию, и это привело нас к переезду на юг.

II

ПЕРЕЕЗД В ФЕОДОСИЮ

Итак, мы решили переехать в Крым. Надо было выбрать город. Из поездки 1923 года мы вынесли отчетливое впечатление, что жизнь в Севастополе, Ялте, вообще на южном берегу — не для нас. Нам нужен был небольшой тихий городок на берегу моря.

Александр Степанович предложил Феодосию. Он смутно помнил ее со времен юности, когда несколько месяцев просидел в феодосийской тюрьме. Стали разузнавать. Встретили каких-то железнодорожников, те рассказали о Феодосии, как о тихом, очень дешевом сонном городке. Это нам понравилось.

Вскоре мы услышали, что приехал в Петроград крымский поэт М. А. Волошин. Александр Степанович решил съездить к нему и еще порасспросить. Оказалось, что М. А. Волошин не только крымский, а даже почти феодосийский, — живет в Коктебеле, местечке километрах в восемнадцати от Феодосии. Но из беседы с ним Александр Степанович ничего не вынес, кроме того, что вопреки ужасам, рассказываемым Волошиным о Феодосии, решил поселиться именно в ней.

Собрали семейный совет. Квартиру, которую мы так любовно отремонтировали, мы надеялись при помощи управдома продать, так как приличная квартира в то время уже являлась ценностью. Кроме того, Александр Степанович задумал съездить в Москву, чтобы добыть в редакции газеты «На вахте», где он часто печатался[21], бесплатные билеты на переезд в Крым и перевозку багажа.

Решив всё так, как мы думали, идеально, на следующий же день приступили к осуществлению своих планов. Позвали скупщиков. Шум и галдеж стояли в квартире часа по три в день. И когда мы, усталые от всего, замыкали наконец дверь, стук в нее продолжался до тех пор, пока мы не стали вывешивать записочку: «Никого нет дома».

Через неделю Александр Степанович и мама, усталые от ежедневной сутолоки и разговоров, стали всё спускать за гроши, дабы скорее кончить. Управдом тоже что-то затягивал с продажей квартиры, говоря, что хочет найти хорошего покупателя. В результате у нас на руках оказалось очень немного денег, значительно меньше, чем мы ожидали.

Александр Степанович рыскал по редакциям, собирая авансы. Съездил на два дня в Москву, раздобыл билеты до Феодосии. Это нас очень подбодрило, так как, соприкоснувшись с перекупщиками, мы поняли, что надежды на порядочные деньги не оправдаются.

И всё же, несмотря ни на что, мы все трое были полны блаженного нетерпения. Казалось нам, что все тяготы жизни останутся здесь, в Петрограде.

Наступало 6 мая (по старому стилю 23 апреля). Этот день Александр Степанович выбрал для отъезда: «23» — его любимое число. Накануне вечером поехали прощаться с Верой Павловной и Горнфельдом.

Всё сложено, зашито, обвязано. Собираю последние

мелочи в дорогу, мама допекает пироги, Александр Степанович перебирает свои бумаги, грудкой сложенные им на окно. Многое рвет и бросает в печь. В это время приходит попрощаться услышавший от кого-то о нашем отъезде на юг доктор Студенцов[22]. Это старый-старый знакомый Грина, изредка бывавший у нас. Александр Степанович относится к нему дружески, тепло. Усаживаемся за последнее — «на дорожку» — чаепитие с горячими пирожками. Затем Александр Степанович завертывает рукописи в газеты, — получаются два разной величины пакета. Укладывает их в свой дорожный сак, но оба они в нем не помещаются. Я хочу перепаковать их на более мелкие части, тогда будет удобнее уложить, но Александр Степанович не соглашается:

— Вот еще, снова развязывать, возиться, пусть сак не закрывается, мы ручки веревочкой свяжем.

— А это что — твое письмоводство? — спрашивает Студенцов.

— Да, пожег кое-что ненужное, а это оставил, жаль жечь. Да, вот что, Николай Павлович, сделай одолжение, забери этот небольшой пакет, похрани его у себя. Мы же будем приезжать в Петроград и тогда заберем его, или ты вышлешь его нам почтой. Не затруднит это тебя?

Студенцов с искренним удовольствием согласился сохранить у себя пакет. Александр Степанович передал ему меньший, перевязанный веревочкой, пакет с рукописями. Студенцов тепло попрощался с нами и ушел. Следом пришел дворник, нанимавший извозчика, а за ним поэт Пяст и люди, купившие оставшуюся мебель.

Последняя суета, и мы едем на Октябрьский вокзал. Едем с легкой душой. Багаж наш невелик — пудов пятнадцать на троих, сдаем его в багажный вагон; в руках только три саквояжа да корзинка с едой.

10 мая 1924 года. Ранним утром подъезжаем к Феодосии. Первое впечатление приятное. Вокзал невелик, изящен. Пряно пахнет морем и цветущими белыми акациями. Мы на юге, навсегда.

Поселяемся во втором этаже гостиницы «Астория», напротив вокзала и моря. Оно видно из большого окна нашего номера, оно — синее-синее, не как северное — серо-зеленое. Под окном шумит толпа идущих с вокзала, на вокзал, с базара. Несут корзины с продуктами, судаков за морды, кур, пучком связанных за ноги, вниз головой.

— Вот чертовский народ, хотел бы я потаскать их так, что бы они тогда запели, — сказал Александр Степанович.

Идем втроем на базар. Он живописен и весел, как все южные базары, но, конечно, не так красив, как севастопольский. Дешевизна его нас потрясает. Мама удовлетворенно вздыхает, она впервые на юге: «Да, тут жить, слава богу, можно!»

Прожив недели две в гостинице, стали искать комнату. О квартире, как мы соображали по наличному капиталу, пока не приходилось думать. Деньги, несмотря на дешевизну, таяли, как снег весной. Нашли недорогую комнату вблизи от моря, заплатили за два месяца вперед и зажили своей новой южной жизнью.

ПЕРВЫЕ ДНИ ЖИЗНИ В ФЕОДОСИИ

Комната наша низкая, довольно большая, неуютная, с окнами в уровень тротуара — домик стоял на склоне холма (Симферопольский пер., 4). Непрезентабельно было наше первое жилье на юге, зато дешево и у хозяйки было милое, усталое, немолодое лицо. Впоследствии эта хозяйка наша, Елизавета Корнеевна Макарова, и сосед-жилец Григорий Демидович Капшученко стали преданными нам людьми и в тяжелые минуты облегчали, как могли, нашу жизнь, всегда относясь к Александру Степановичу с чувством глубокого уважения и любви.

Мы целые дни бродили по городу и окрестностям, забредали на совсем дикие берега, густо заросшие сухой, жесткой травой, часами валялись там, наслаждаясь одиночеством, острым запахом и ненадоедающим плеском морской воды. Домой приходили только есть и спать. Александр Степанович стал смуглее, хотя загар к нему почти не приставал. Так мы гуляли с месяц, пока однажды Александра Степановича не затрясла лихорадка. Приглашенный врач, узнав, что Александр Степанович в молодости, во время пребывания в Баку, болел малярией, категорически запретил ему лежать на солнышке и купаться. Через несколько дней приступы малярии закончились, но с тех пор Александр Степанович стал очень чувствителен к резкому охлаждению, приступы в

той или иной форме возобновлялись при малейшей неосторожности.

Наши деньги стали подходить к концу. Надо было ехать в Москву. Не хотелось. Но на письма в «Огонек», «Красную ниву», «На вахте», «Прожектор» с просьбой прислать авансы, ответа мы не получали.

Поехали в Москву. Александр Степанович повез несколько рассказов для «Красной нивы» и других журналов. В Москве добыли денег и, вернувшись, решили искать небольшую квартиру, чтобы зажить не бивуачно.

Вскоре неподалеку от прежнего нашего жилья мы нашли небольшую, в три комнаты, квартирку (Галерейная, 8 *), купили кое-что остро необходимое и зажили, как нам хотелось. Теперь у нас была довольно большая полутемная столовая, комната побольше для работы Александра Степановича (в ней же мы и спали) и совсем крошечная — для мамы, а внизу — шесть ступенек — большая, низкая, разлаписто живописная кухня. Если Александр Степанович работал поздно вечером, он уходил из кабинета в столовую, чтобы не мешать мне курением. Через несколько месяцев нам удалось присоединить к нашей квартире еще одну совсем изолированную комнату, которая стала рабочей комнатой Александра Степановича.

Александр Степанович, как только мы получили эту комнату, сделал хороший ремонт во всей квартире. Это было удивительным свойством Александра Степановича: где бы мы ни поселялись, он обязательно хотел привести помещение в порядок, не жалея денег на ремонт. Когда ему кто-либо говорил: «Зачем свои деньги тратите, дом жактовский, правление обязано это сделать», «Может быть, и о б я з а н о , — отвечал Александр Степанович, — но когда-то это еще будет, да и как, а я ремонтирую для своего жилья и удовольствия». В новой квартире Александр Степанович провел электричество; многие тогда еще в Феодосии жили с керосиновыми лампами, нам же, привыкшим к хорошему свету в Петрограде, казалось это неудобным.

В этой квартире мы прожили четыре хороших, ласковых года.

---

* Сейчас Галерейная, 10. — *Прим. ред.*

Люблю ясную, душистую свежесть крымского утра, так непохожую на грустную задумчивость вечера. Поэтому встаю рано, часа в четыре. Александр Степанович еще спит. Иду в его кабинет. (Если это до 1928 года, то мы живем на Галерейной улице, дом 8, против почты. Позже, по ноябрь 1930 года, по Верхне-Лазаретной улице, 7, — угловой дом, угловая квартира.)

«Кабинет» — звучит внушительно. В действительности это небольшая квадратная комната с одним окном на Галерейную улицу. Убранство ее чрезвычайно просто и скромно. Мы с Александром Степановичем всегда мечтаем о красивых домах, красивых вещах, об уютном комфорте. За неимением денег удовлетворяемся опрятной простотой и не горюем. Направо от входа, в углу, у наружной стены стоит небольшой старенький ломберный стол. Стол Александр Степанович купил сам и, хотя он не очень удобен, для работы, другого не хотел.

— Писатель за письменным столом — это очень маститo, профессионально и неуютно, — говорил Александр Степанович. — От писателя внешне должно меньше всего пахнуть писателем.

На столе квадратная, граненая, стеклянная чернильница с медной крышкой. Она из письменного прибора моего отца; подарена мною Александру Степановичу в первый год нашей совместной жизни. Весь прибор он не захотел взять из тех же соображений, по каким пишет на ломберном столе. Но с удовольствием взял чугунную собаку: «Она со мной имеет некоторое сходство». (Александр Степанович считал, что почти каждый человек имеет сходство с каким-нибудь животным, птицей или предметом. И сам он, несомненно, походил на этого чугунного пойнтера. Недаром его любимое домашнее имя было: «Соби», «Собик», «Пес». Меня он звал котофей, или «котофеич, который ходит сам по себе»[23], или Дези.) Электрическая лампа со светло-зеленым шелковым абажуром на бронзовом подсвечнике, простая ручка, которой Александр Степанович всегда писал, красное мраморное пресс-папье, щеточка для перьев и пачка рукописей — вот и всё на письменном столе Александра Степановича. На стене над столом фотография его отца Стефана Евзебиевича Гриневского (в просторечии — Степана Евсеевича), красивого поляка с боль-

шим лбом и окладистой седой бородой. Старинная немецкая цветная литография «Кухня ведьмы» под стеклом и несколько старых литографий. Кипу их Александр Степанович купил на толчке в Москве. Они изображали какое-то путешествие к южно-азиатским островам[24]. Александр Степанович любил их рассматривать и хранил. Несколько экземпляров окантовал под стекло и повесил в спальне. Литографии были хороши, навевали томительно сладкие мысли о неизвестных странах, о прекрасной, наивной, дикой жизни среди природы. Одну из них мы особенно любили. На ней был изображен полуразрушенный форт. Одинокое дерево приютилось у его стены. Вдали, тихое, лежит море. Смотря на литографию, чувствуешь жаркий июльский день, камни белы от солнца, сухая трава колюча и ароматна, прибрежная волна чуть лижет берег и, отступая, слегка шуршит галькой. Остров пахнет морем.

Впоследствии Александр Степанович описал этот форт в своем незаконченном романе «Недотрога».

В стене, слева от стола, — шкаф. Там лежат книги, которые Грин покупает при малейшей возможности. Преимущественно беллетристика, русская и переводная. Идти в книжный магазин — наша радость, которую мы не можем позволить себе часто. В Феодосии две книжные лавки. В обеих нас знают и придерживают для нас новинки. Там мы нашли «Зеленую шляпу» Майкла Арлена, которая очень нравилась Александру Степановичу, «Мартина Эрроусмита» и «Главную улицу» Синклера Льюиса, «Где рождаются циклоны...» Луи Шадурна, книгу, остро и нежно пленившую Александра Степановича. Из нее взят эпиграф к «Бегущей по волнам». Там нашли «Могилу Тутанхамона»[25], в старье — «Путешествие в Южную Америку» Ионина, скирмонтовское[26] издание Эдгара По и многое другое. Под книжными полками узенькая дешевая кушетка. У стола с одной стороны полукруглое рабочее кресло, с другой, у окна, — клеенчатое, мягкое. На окне белые полотняные портьеры, и яркое солнце дня умеряется их белизной.

Всё в комнате, да и во всей квартире, куплено самим Александром Степановичем. Он был хозяин дома, за это он уважал себя, этого раньше он не переживал и этим наслаждался. Он как-то, смеясь, говорил, что его жизненный идеал — шалаш в лесу у озера или реки, в шалаше жена варит пищу, украшает шалаш и ждет его.

А он, охотник-добытчик, всё несет ей и поет ей красивые песни.

Александр Степанович ходил по распродажам, толчку, всё время что-нибудь выискивая.

Как-то, после очередной поездки в Москву, Александр Степанович подъехал к нашей квартире на возу, украшенном стареньким узким буфетом, пузатым гардеробом и другими вещами. Он сиял от удовольствия, рассказывая, где, как и за сколько купил каждую вещь, гордясь своим умением и практичностью, требуя и от нас высокой оценки этих своих качеств.

...Так вот, проснувшись рано, я первым делом иду в комнату Александра Степановича. Вчера он работал допоздна. По полу и по столу раскиданы окурки, пепел. Воздух кисло застоявшийся. Распахиваю окно, собираю окурки и пепел, мою пол и, вымыв, снова разбрасываю окурки по полу, но в меньшем количестве, чем прежде. Александр Степанович не разрешает, чтобы его комната убиралась, чтобы в ней мылся пол. Не потому, что он неопрятен, но он жалеет меня. Ему кажется, что мыть пол — труд для меня непосильный. А для меня это не труд, а радость. Зато когда Александр Степанович придет в комнату, пол будет сух, воздух чист — в окно веет запахом моря.

Затем идем с матерью на базар. Это наша ежедневная необходимость и мое удовольствие. Пестрая переливчатость, звонкоголосость, шум и дух южного базара, всегда живописного, доставляют мне веселую радость. Перед уходом мы заготавливаем самовар, он быстро закипает. Ко времени нашего возвращения Александр Степанович чаще всего уже на ногах, моется, курит у себя. Или же я бужу его, принеся к постели стакан крепкого душистого чаю. Александр Степанович очень любил чай, хороший, правильно и свежезаваренный на самоваре, в толстом граненом или очень тонком стакане. Любил, чтобы чай был не только хорош, но и красив. Он был его подсобным рабочим средством. В те годы в Феодосии трудно было доставать чай. Пользуясь поездками в Москву, я привозила несколько фунтов хорошего чаю, но его никогда не доставало от поездки до поездки. Поэтому как только я узнавала, что в каком-либо феодосийском магазине появился чай, летела туда и всеми правдами и неправдами покупала его, на сколько хватало денег.

Больше всего Александр Степанович любил чай утром, после первой папиросы.

Часов в девять, а иногда и позже — завтрак. Горячее мать быстро подогревает или жарит внизу в кухне.

Если он не писал утром, то мы втроем плотно завтракали в семь часов, часов в одиннадцать — легонько, второй раз, в два-три обедали, в пять часов — чай с булочками, печеньем, сладким и вечером, в восемь часов, негромоздкий ужин — остатки второго от обеда, кислое молоко или компот, а иногда только чай с бутербродами. Мать моя была отменная хозяйка и кулинарка. Она умела так вкусно, сытно, изящно накормить, как я нигде и никогда не ела. При наших, часто очень скудных, материальных возможностях это было великой поддержкой, так как благодаря вкусному столу мы не так остро чувствовали свою нужду.

Большой лакомка и гурман Максимилиан Волошин, бывая у нас, говорил матери, смакуя ее кушанья, что такого он и в Париже не едал. Это в его устах была высшая похвала. Мы с Александром Степановичем, помотавшись в Москве или Ленинграде по ресторанам, столовым Союза писателей или Дома ученых, только и мечтали, как бы скорее вернуться домой к маминым супам, маринованным селедочкам, запеченным кашам, пирогам и пирожкам. «К желудочным, — как говорил Александр Степанович, — удовольствиям».

Если Александр Степанович утром писал, то до обеда он редко куда выходил, разве только за газетой. Обычно полеживал в спальне или выходил покурить на скамью перед кухней. Двор был очень большой, заросший акациями и цветами. Около скамьи росла, когда мы переехали, жалкая обломанная акация с оборванной корой. Александр Степанович стал ухаживать за ней, замазал глиной с навозом ссадины на коре, окопал и поливал ее. Акация через год стала поправляться и из жалкого заморыша сделалась славным деревцем.

Если Александр Степанович утром не писал, то часов в восемь мы с ним, забрав книжки, рукоделье, газету, шли на широкий мол. Побродив по нему взад и вперед, усаживались на бревнах или на камнях, лежащих недалеко от воды, и проводили часа два-три, читая, тихо разговаривая, а иногда молча. Реже ходили за Сараполь, на девственный берег моря, так как всегда было жарко возвращаться. Изредка ходили на волнорез, к каран-

тину. Но там Александр Степанович не любил бывать — на берегу возились купающиеся, визжали, хохотали, бегали. Александр Степанович любил у моря тишину, звуки моря, порта, а не курортный шум. На пляж в Феодосии не ходили, Александр Степанович не выносил курортной раздетости, особенно пропагандируемой в те годы в Феодосии.

Летом Александр Степанович всегда ходил в суровом или белом полотняном костюме, или в темно-сером люстриновом, который он очень любил. Когда мы ездили в Коктебель, где раздетость мужчин и женщин доходила до крайности, Александр Степанович особенно подтягивался и меня просил надевать самое строгое платье. Мы с ним почти всегда были единственными одетыми людьми, кроме разве художника Богаевского, также весьма щепетильно относившегося к беспорядку в одежде. Нам нравилось видеть гримасы или скрытый в глазах смех раздетых гостей Макса Волошина при виде нас, сугубо городских, провинциальных, даже в чулках, — подумайте! Александр Степанович не любил модных тогда платьев до колена, и я носила платья чуть ниже половины голени. Это тоже нередко вызывало женский смех.

Александр Степанович по характеру своему был молчалив и сдержан. Мы часто разговаривали так, что наш разговор звучал, как птичий. В Феодосии называли нас «мрачные Грины». На самом деле мы никогда не были мрачны, мы просто очень уставали от светских разговоров, переливания из пустого в порожнее. Городок интересовался — живет писатель. А как живет, никто не знал.

Дома же у нас иногда было так весело и хохотливо, что никто бы не назвал нас мрачными. Бывали, например, дни, когда мы друг с другом и с матерью говорили непритязательными стихами, при этом отвечать нужно было с наивозможнейшей быстротой. Зато когда Александр Степанович писал, в квартире царила полная тишина. Сначала он протестовал против нее, говоря, что ему никто и ничто не мешает, что он привык работать в шуме меблированных комнат или общих квартир, что мы должны жить в эти часы, как обычно, не думая о нем. Мы и жили, как обычно, но только двери закрывали тихо, каблуками не щелкали по полу, стульями не гремели, немногочисленных наших знакомых отучили при-

ходить в рабочие часы Александра Степановича, а посторонних случайных людей дальше кухни не пускали. Кухня от его комнаты находилась далеко.

Небольшие рассказы Александр Степанович, предварительно тщательно и глубоко обдумав, писал без подсобных черновиков, набело, потом — по окончании — исправляя только некоторые фразы, слова. Большие рассказы, как «Крысолов», «Фанданго», требовали черновиков, переработки. Романы всегда вначале давались Александру Степановичу трудно. «Не могу найти вход в русло», — говорил он.

Особенно тяжело далось начало «Бегущей по волнам». Александр Степанович писал «Бегущую» немногим более полутора лет; начал приблизительно в январе — феврале 1925 года, а закончил к осени 1926-го. Начал «Бегущей» было около сорока. Это единственный его роман, где начало рождалось в таких муках. Некоторые из вариантов были прекрасны, но что-то в них не нравилось Александру Степановичу, другие не отвечали задуманному сюжету. Первое начало было с безрукой статуей Венеры, найденной на побережье, о легендах, тесно сплетавшихся с действительностью. *Несбывшееся* и *Сбывшееся* реяло над ним, но не оформлялось в нечто воедино слитое, чем явилась «Бегущая по волнам» впоследствии. Варьировал Александр Степанович бесконечно. Он говорил, не дочитав иногда очередное написанное: «Ничего не ст*о*ит. Дрянь!! Понимаешь, как важно в романе, да и в рассказе — начало, хорошее начало, продуманное и стройное. Оно, незримо для читателя, определяет конец, без скрежета недодуманности. Так как я пишу вещи необычные, то тем строже, глубже, внимательнее и логичнее я должен продумывать внутренний ход всего. Фантазия всегда требует строгости и логики. Я менее свободен, чем какой-либо бытописатель, у которого и ляпсус сойдет, покрывшись утешением: «Да чего в жизни не бывает!» У меня не должно быть так. Этого не происходило, на взгляд обывателя, по произошло, и именно так, единственно только так, как должно было, для читателя, в душе которого звучит то же, что и в нашей душе. Всякий выход за пределы внутренней логики даст впечатление карамельности или утопичности или просто: „Ишь, врет как сивый мерин"».

Как-то однажды, сидя на берегу, под шум прибоя, мы лениво перекидывались словами о том, что К. П. Ка-

лицкий обиделся на Александра Степановича. А дело было так: Александр Степанович разговаривал с Калицким о чем-то по телефону; Калицкий сказал о своей приближающейся старости (было ему уже за пятьдесят лет). Александр Степанович, нимало не сумняшеся, в ответ: «Да какая там приближающаяся. Уже пришла!» Калицкий и обиделся. С этого наш разговор перешел на старость вообще, — что многие доживают до глубокой старости, ни разу не получив от жизни то, что утолило бы их душу. Так их душа, выглянув в мир, увядает, не расцветя. Другие же на все на своем пути бросаются жадно, непрерывно ошибаются и тоже неудовлетворенные, неутоленные уходят из жизни. Третьи боятся ошибиться и проходят мимо своей судьбы...

Прошло недели две, и как-то Александр Степанович позвал меня к себе и стал читать. Чем дальше читал он, тем больше казалось, что с души моей сходит какая-то грубая кожа, что я становлюсь старше и мудрее. Я заплакала.

Александр Степанович рассказывал: «Представь себе, этот разговор сконцентрировал все давно лежавшие в глубине сознания мысли о Несбывшемся. Я писал это начало в самом холодном, рассуждающем трезво и логично, состоянии ума и души. Эта мысль свойственна моей душе, но лежала в темноте. Разговор вынес ее на свет, укрепил и оправдал. И, только читая, я взволновался, словно нашел те четыре строки стихотворения, что ложатся в сердце навсегда. Короли мы, что можем иметь такие минуты!»

На следующий день Александр Степанович принес на кухню кипу неудавшихся начал «Бегущей по волнам». Это было не всё, но большая часть. Положил их в горячее жерло печи, посоветовал матери поджарить ему на этом топливе яичницу.

Итак... Посидев на берегу, возвращаемся домой. Самовар кипит на столе. Если мы в достатке, то на столе варенье и какое-либо домашнее вкусное печенье. А то Александр Степанович прихватит по дороге торт. Он знает, что я сладкоежка, и часто балует меня. Если денег мало — то поджаристо подсушенные из простого серого хлеба сухарики и сахар. Мы с матерью пьем чай в столовой. Александр Степанович набирает варенья, несколько печенинок, стакан с чаем и уходит к себе. Он не пишет в это время дня, просто любит побыть один.

Или развлекается: он любит мысленно играть в карты, особенно в азартные игры. Для отдыха ума и вместе с тем какой-то гимнастики его он выдумывает беспроигрышную систему игры. Он как-то с увлечением разъяснял мне некоторые придуманные им системы, но я, поняв, быстро их забывала. Испробовать эти системы на игорном столе Александру Степановичу не удавалось. Никогда у нас не было для этого достаточно денег. Если же и появлялось некое их небольшое излишество, то Александр Степанович отправлялся в бильярдную гостиницы «Астория» в Феодосии и там большей частью проигрывал их своему излюбленному партнеру, маркеру, некоему Владимиру Ивановичу.

Вечер. Мы опять на берегу, — слушаем, как тяжело бьются волны о камни мола, и наслаждаемся острым запахом моря или бродим по темным тихим улочкам и переулкам Феодосии. В темноте и тишине они кажутся нам необыкновенными, вдали шумит и сверкает порт. Иногда идем в библиотеку, в кино, до которого Александр Степанович был большой любитель. Из кино заходим в кондитерскую и со свежими булочками и пирожными идем ужинать домой.

Осенью, зимой и весной Александр Степанович вечерами часто писал, а летом очень редко. В свою комнату уходил только покурить, подумать. Если Александр Степанович не писал вечером, то иногда играл с матерью в «дурачка», «акульку», «66» и т. д. Играли азартно, ссорились, мирились, расходились, побросав карты на пол, и снова начинали игру.

Я не любила домашних карточных игр. Они играют, а я сижу в спальне матери или у себя, а то выйду во двор и через два окна вижу моих игроков. Со стороны так славно смотреть на их оживленные лица, на неслышный для меня разговор. Абажур бросает мягкий красивый отсвет на окружающее. Как будто я вижу чужую жизнь и она уютна. Тепло и благодарно мне, что есть у меня любимые и крепко любящие меня. Теперь в горести моих последних одиноких дней как часто я вспоминаю тепло их ласковых рук и благодарю судьбу, что я всё это чувствовала каждую минуту их жизни со мной.

Мы ложимся спать не позднее десяти часов вечера, встаем с матерью очень рано, Александр Степанович

позже. Во время поездок в Москву или Ленинград мы ложимся позже. Дома, в Феодосии, Александр Степанович ложится спать несколько позднее меня, читает у себя в комнате.

ПОДАРКИ

1926 год в Феодосии. Александр Степанович, придя вечером домой, попросил у меня какой-нибудь кусок шелка. Расстелил его на столе под лампой и положил гранатовую брошь.

Тепло густо-красных огней вошло в сердце — как красиво!

— Чудесный это камень, — сказал Александр Степанович. — Я испытываю тихую радость, смотря в красную его глубину. Говорят, кто носит этот камень, того люди любят. Носи, родная, пусть тебя любят. Такой гранат ближе к душе, чем бриллиант.

Вот я и ношу ее более сорока лет. Всё потеряла, а она чудом не ушла, стала мне другом-воспоминанием.

1927 год. Мы в Москве. Всегда приезжали в Москву за деньгами, а тут — с деньгами, аванс за проданное Вольфсону Собрание сочинений.

Однажды, запоздав к обеду, я нашла под своей салфеткой длинный коричневый футляр: «Ого, Саша дарит!» Стесняюсь при посторонних раскрыть его, но любопытство одолевает. Кладу футляр на колени под скатерть и под ее защитой заглядываю внутрь — крошечные золотые часики на таком же браслете.

Даже дыхание захватило от радости, — у меня никогда не было часов. Подняв глаза на Александра Степановича, сидящего на противоположной стороне стола и лукаво и ласково смотрящего на меня, взглядом благодарю его. Он с чувством удовлетворения откидывается на спинку стула, делая «уф-уф!».

По дороге домой рассказывает, что боялся моего протеста против дорогого подарка.

— Пусть эти часики будут воспоминанием о первых самых легких днях нашей жизни! — сказал он.

И действительно, это были самые легкие дни нашей жизни. Скоро, очень скоро они стали тяжелыми, а потом трагичными. А часики дали мне возможность сделать по-

следний подарок Александру Степановичу — дать умереть в своем доме, о чем он так долго и бесплодно мечтал и чем так недолго наслаждался.

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ И ЖИВОТНЫЕ

В 1916 году Александр Степанович был выслан с.-петербургским градоначальником за то, что в ресторане неуважительно отозвался о царе[27]. Выбрал Лоунатйоки. Почему — не знаю. Поселился у небогатого финна в чистой, спокойной комнате. Хозяева были неназойливы, неболтливы и, казалось, добродушны.

Он жил у них уже несколько месяцев, привык.

Но осенью произошел случай, заставивший его, как рассказывал Александр Степанович, подумать, как мало мы знаем тех, кто иногда даже годами живет вблизи нас. Если привычное течение жизни не нарушается, мы принимаем человека как бы в оболочке, и только неожиданное вскрывает эту оболочку, обнажая сущность человеческую. Так было и с финном, квартирохозяином.

Приблудился к дому чей-то неизвестный черный кот. Тощий, шкодливый вор. Несколько раз хозяева, избив, выгоняли его; кот неизменно возвращался и снова шкодил. Раз обозленный финн после очередной котовьей кражи схватил кота, привязал ему на шею веревку с большой кирпичиной и бросил его в пруд недалеко от дома. Часа через полтора-два кот, мокрый, страшный, с горящими глазами и клочком веревки на шее, сидел перед дверью дома. Рассерженный финн приотворил дверь, притаясь за ней, и, схватив нечего не подозревавшего кота, приказал жене принести большой камень, мешок и веревку. Положил камень в мешок, завязал его, и другой конец веревки обмотал вокруг шеи спокойно, как ни странно, лежавшего у него на коленях кота, и завязал крепким узлом. Снова бросил в пруд. Вечером, на заходе солнца, мокрый кот сидел перед домом, хрипло мяуча.

«Мне стало страшно, — рассказывал Александр Степанович, — страшно и жалко кота. Вторично оборванная веревка показывала всю силу его страшного напряжения в борьбе за жизнь под водой. Он для меня перестал быть котом, стал темным духом этого дома. Я просил хозяина, снова начавшего ловить кота, помиловать животное, — оно так мужественно боролось за свою жизнь.

Но финн был обозлен, как сто тысяч обманутых чертей, и на все мои слова только и говорил сердито: «Я его коншал. Он проклятый шорт!»

Финн, поймав кота, снова засунул его в мешок и потащил к пруду.

«Я больше не мог этого видеть и ушел из дому, — рассказывал Александр Степанович. — Вернулся затемно, лег, но спать не мог, — перед глазами стоял мокрый черный кот с горящими глазами. А на рассвете вижу — сухой, как не был в воде, кот сидит у входной хозяйской двери. От ужаса у меня волосы на голове встали дыбом. Было в этом что-то мистическое, — трижды умертвленный и оживающий кот. На его хриплое мяуканье раскрылась дверь, и финн, с побелевшими от бешенства глазами, схватил кота за загривок и тут же на пороге отрубил ему топором голову. С тех пор хозяева стали мне противны. Они должны были помиловать кота, видимо по каким-то нам неизвестным таинственным причинам привязавшегося именно к этому дому. Коты ведь не к людям, а к домам привязываются».

НАШ КУК

Стоим в книжной лавке, выбираем книги. Вдруг Александр Степанович оборачивается с возгласом: «Да что там!», нагибается и поднимает маленького черного с белым щенка. Он мал, взъерошен, грязен и, видимо, еще не вполне зряч — глаза подернуты голубоватой пленкой. Александр Степанович держит его на ладонях; щенок трясется и попискивает.

— Чувствую, что-то мокрое, шершавое касается моей ноги, — говорит Александр Степанович, — а это он облизывает мою пятку (Грин был в сандалиях). Совсем дурачок маленький. И откуда же сюда приполз?

Понесли щенка домой. По дороге рассмотрели, что он не только невероятно грязен (словно в помойке валялся), но и полон клещей. Александр Степанович начал его кормить кусками котлеты; песик нюхает, трясется, но не ест. А молоко стал лакать жадно, захлебываясь, должно быть давно голодал. После еды Александр Степанович вымыл его в теплой воде с мылом и напоследок отваром табаку, чтобы изгнать клещей. И сколько же их вышло! Положили песика на подстилку у побеленной

стенки, так от клещей она на метр как черным горохом покрылась. А песик спал.

Грудка, пятно на лбу, кончики лап и хвоста были белыми, сам — черный. Александр Степанович посмотрел и говорит: «Мужик». Решили назвать Куком, в честь путешественника.

В один из первых дней своей жизни у нас Кук привел Грина в восторг. Он что-то лопал из своей миски, стоявшей у кухонной двери. Мы, сидя на скамейке, забавлялись его чмоканьем и чавканьем; вдруг, как камешек, откуда-то с крыши, низко, над самой землей, порхнула птица. Кук молниеносно подпрыгнул и схватил ее. Это мгновение было великолепно: и бравая поза щенка, и бьющаяся у него в зубах птица. Александр Степанович стал отнимать птицу. Кук заворчал. А когда Александр Степанович все-таки отнял ее, Кук смотрел на него оторопело и сердито. Александр Степанович восхитился:

— Ясно, охотничья собака! Чудесная породистая охотничья собака — так рано проявились инстинкты... Ай да Кук! Удружил!

Из Кука выросла хорошая дворняга, среднего роста, добродушная и шаловливая. Вскоре выяснилось, что он «не мужик, а баба», но мы так привыкли его звать Кук, что «Кука» не получалось. Александр Степанович учил его разным фокусам: Кук «плакал», «стыдился» — закрывая морду обеими лапами, просил — сложив передние лапы, «умирал», ел арбуз, выплевывая семечки, гонял всех соседских кур от небольшой клумбы цветов, росших у окна нашей кухни, и кокетничал с дворовыми собаками.

Он жил у нас уже около двух лет, увязываясь за нами в дальние прогулки. Уходя в город, мы запирали его в комнате, так как иначе за нами по улицам следовал собачий хвост.

Однажды мать встретила нас сообщением, что Кук оторвал хвост у одной из соседских кур и мальчишки, в отместку, разбили ему камнем лоб.

Кук лежал, мрачно посапывая и положив голову на лапы. На лбу, меж глаз, была большая кровоточащая рана. Мы повели собаку к жившему недалеко ветеринару. Он перевязал голову Кука, дал нам лекарства и научил, что делать дальше. Александр Степанович сердито ворчал по адресу мальчишек, и я видела, что ему очень жаль Кука, — он все время ласково, как бы

успокаивая, поглаживал его по спине. Мы стали лечить Кука, он скоро выздоровел и снова стал бегать по двору, загнув хвост калачиком.

В 1930 году, глубокой осенью, мы переезжали в Старый Крым. Александр Степанович пошел пешком с подводами, нагруженными нашим хозяйством. И Кук с ним. Я и мать поехали на автобусе, и через несколько часов мы на новой квартире встретили наших усталых путешественников. День был осенний, слякотный, чуть моросило. Александр Степанович и Кук были по уши в грязи.

— Где же это вы так уходились? — спрашиваю.

— Я-то, естественно, — говорит Александр Степанович, — шел, не отставая от подвод, а проезжие машины, в том числе и та, которая тебя везла, усердно обливали меня грязью. Ну, а Кук — это же сумасшедший пес! Он всё время бегал по степи в сторону от дороги, обнюхивал все канавы, облаивал все машины и подводы и выдохся только на подходе к Старому Крыму. Тогда, повесив голову и хвост, высунув язык, поплелся за мной спокойно.

Кук стал неотъемлемой частью нашего существования. Длительное его отсутствие сразу вызывало наше беспокойство: где он, не раздавила ли его машина, не забрала ли собачья будка? А ошейник... Горе было его надеть. Надевали тоненькие — он сразу срывал их лапой. И так жалобно, обиженно смотрел, когда мы надевали на него новый... и снова срывал. Надели широкий, его сорвать не смог, но долго, неуклюже мотал головой, пока не привык. Сторожем был чутким, и мы на ночь клали ему подстилку у парадных дверей.

Наступил 1931 год. Александр Степанович заболел и слег надолго.

Мама как-то говорит мне:

— Понаблюдай за Куком.

И что же я вижу: бежит Кук по саду и натыкается на дерево, взвизгивает и бежит дальше; наливаю ему еду и зову — он подбегает и тычется мне в ноги, нюхает землю. «Кук, ешь!» — он вертит головой в разные стороны, а миску найти не может — она стоит метрах в пяти-шести.

— Да ведь Кук-то ослеп... — говорю я маме, и сердце сдавливает тоска.

Стала следить за собакой. Да, ослеп наш бедный Кук! К его миске подбегают чужие собаки, сжирают его

еду, а он даже не видит этого. Иногда они отгоняют его от миски, а он рычит и... отходит. Ударяется о двери, о деревья. В комнате Александра Степановича он сразу от двери безошибочно подбегал к кровати, ласкался к хозяину и ложился на подкроватный коврик.

Рассказала обо всем Александру Степановичу. Он загоревал — очень мы Кука любили. Стал наблюдать за ним. Прибежит Кук в комнату, Александр Степанович бросит какой-нибудь предмет и кричит: «Кук, подай!» Прежде, бывало, Кук стрелой кидается и подносит вещь или палку, а теперь бегает кругом по комнате, нюхает пол, ударяется о мебель, а брошенного не видит.

— Вот ты, песик, заболел, как и хозяин твой, — сказал Александр Степанович и велел мне сводить Кука к ветеринару.

Диагноз был: темная вода, — собака еще видит, но очень, очень слабо, скоро совсем ослепнет. С этим я и вернулась к Александру Степановичу. Он помрачнел и молча лежал до вечера. Вечером, когда я села на скамеечку возле него, чтобы продолжать чтение нравившегося ему романа М. Арлена «Зеленая шляпа», он сказал мне:

— Целый день думаю о Куке. Мучаюсь. Представляю его совсем слепым, — очень уж это страшно. Кука необходимо умертвить. Сведи его завтра к ветеринару, пусть он сам сделает все, что полагается. Это человеколюбиво, а не жестоко. Слепым быть страшно не только человеку, но и животному. И животному еще страшнее, оно беспомощнее человека.

Я обещала всегда ухаживать за Куком, как за ребенком. Все мои возражения Александр Степанович разбивал и настаивал на своем.

Когда я утром, уходя, сказала Александру Степановичу, что поведу Кука к ветеринару, он посмотрел на меня и сказал:

— Веди. Я уже вчера с ним расстался. Я и себя жалею. Сознание, что Кук слепнет, терзало бы меня безмерно. Веди же его скорее...

ИСТОРИЯ ГУЛЯ

Как у нас завелся Гуль.

Феодосия. Лето 1929 года. Возвращаясь с прогулки, встречаем мальчугана, что-то несущего в шапке. Это

«что-то» он прижимает к груди, разговаривает с ним, чертыхается. Александр Степанович заглядывает в шапку. Там сидит, видимо недавно вылупившийся, совсем голый птенец-ястребок. Жалкое тельце его напряжено, он хищно теребит клювом палец мальчика.

— Куда ты его несешь? — спрашивает Александр Степанович.

— Продаю этого черта, кусается, дьявол, до крова , — говорит мальчуган.

— За сколько?

— Рупь.

Александр Степанович дает ему рубль и берет из шапки ястребенка, но сразу же вскрикивает и чуть не бросает его наземь. Ястребенок, злобно шипя, схватил клювом кожу на руке Александра Степановича. Он снял фуражку и положил в нее птицу.

— Где ты его добыл? — спрашивает он мальчика.

— Да там, — показывает тот на Тепе-оба, — гнездо нашел.

Несем драгоценность домой. Ястребок из породы крымских копчиков. Он совершенно еще беспомощен, но сколько в нем страстной злобы! Грозно поблескивает черными глазами, так контрастирующими с голым жалким тельцем, на каждую попытку погладить его отвечает шипеньем и немедленным желанием укусить.

Александр Степанович принес из сарая большой ящик, из оконной рамы вытянул сетку и натянул ее на открытую сторону ящика. В ящик положили песку, несколько крупных камней, чтобы птенец мог сидеть, травы и банку с водой. Впустили в клетку Гуля — так мы решили назвать его еще по дороге домой. К нашему удовольствию, птенец уселся на камень. Но чем его кормить? Мы не знали. На кусочки хлеба он даже не обратил внимания. Александр Степанович пошел во двор, накопал червей. Пытались просунуть их в дверцу. Не тут-то было, он больно хватал за пальцы, злился, а червей не ел. Тогда мама посоветовала дать ему кусочек мяса. И, к нашему удивлению, он, имеющий не более нескольких дней от роду, с жадностью схватил его и проглотил. Дали еще мяса, он схватил и его, норовя всё-таки куснуть за руку. Когда возникла необходимость почистить клетку, мы не могли его вытащить — он дико бился о стенки ящика, шипел и кусался. Тогда Александр Степанович взял темный платок, просунул руку

в клетку и накинул его на голову ошеломленной птицы. Закутав, он вытащил ястребенка из клетки. Такую процедуру приходилось проделывать до самого нашего отъезда на дачу в Старый Крым.

Ястребенок стал обрастать перышками, но по-прежнему был неуклюж, совсем как дикий подросток.

Приехав через месяц по каким-то делам в Феодосию, мы услышали горькие сетования мамы, на попечение которой оставили нашего питомца, что он не дает ей жить, — чистить его для нее драма, кормить — не меньшая.

Пошли посмотреть. Птенец стал красавцем. Гладкие блестящие перья, коричневатые, с темными рябинками, облегали его стройное, уже взрослое тело. Хорош был ястребок! Александр Степанович умилился:

— Возьмем его в Старый Крым!

— Мне что, возьмем, но как наши квартирные хозяева посмотрят?..

— Уговорю.

Повезли Гуля в клетке на извозчике в Старый Крым. Хозяева не протестовали.

Подержали мы птицу в клетке с неделю, Александр Степанович и говорит:

— Давай выпустим его на волю — этакий гордый, красивый стал, ведь, должно быть, от клетки страдает.

Торжественно поставили клетку на открытом месте, перед крыльцом. Александр Степанович отогнул проволочную сетку, и стали ждать, что будет дальше. Гуль, посверкивая глазами, сидит не шевелясь в дальнем углу клетки. Зовем:

— Гуль, Гуль, иди сюда!

Никакого внимания. Александр Степанович стучит по клетке сзади. Гуль не шевелится. Тогда Александр Степанович засунул руку в ящик, ловко схватил его поперек туловища и вытащил на божий свет. Ястребок потрепыхался, изгибая голову в попытке куснуть державшую его руку, и затих.

— Но ведь он летать-то еще не умеет, — спохватилась я.

— Если ему пора летать, то он попробует, а там посмотрим. Он не вылетел сразу из клетки, потому что вырос в ней, в нем не заговорил еще врожденный инстинкт полета, — говорит Александр Степанович и сажает птицу на толстый сук абрикоса.

Гуль озирается, как нам кажется, растерянно, затем перепархивает на соседний сук, с него на землю, не торопясь проходит два-три шага и, взмахнув крыльями, сразу поднимается на крышу дома. Посидев несколько минут на венце крыши, он взлетает вверх, делает два-три круга над нами и улетает. На сердце и хорошо и горько. Неужели это прощанье!

Под вечер, еще засветло, слышим над головой какой-то резкий неизвестный звук. Поднимаем глаза и, о радость, — наш Гуль плавно спускается на гребень крыши. Этот резкий звук был клекот ястребка, в клетке он всегда молчал. Александр Степанович как стрела понесся в комнату, через мгновенье выбежал на открытую площадку перед домом, держа в вытянутой руке кусок мяса, и стал звать: «Гуль, Гуль, Гуль!» Мы видели, что птица смотрит в нашу сторону, но не двигается. Александр Степанович положил мясо на землю, и мы оба отошли в сторону, в тень большого ореха. Птица попрежнему не двигалась. Александр Степанович загоревал — очень хотелось ее накормить. Тогда он размахнулся и бросил мясо на крышу. Гуль вспорхнул и взвился на воздух.

— Напугали мы его, дурачка, он совсем улетит. Господи, как жалко! — стонала я.

Но видим — Гуль, потрепетав в воздухе крыльями, спланировал, схватил мясо и, усевшись на гребень крыши, стал терзать его.

— Никогда бы не подумал, что он вернется домой, — говорил довольный Александр Степанович, — такой дикарь и всё-таки, видимо, привязался к нам. Ах ты Гулюшка, милый! А летает-то как! Кто б подумал, что еще утром он не умел летать.

На следующий день Александр Степанович задумал приблизить Гуля к себе. Как только Гуль появился на крыше, мы выдвинули скамью на открытую площадку. Александр Степанович сел спиной к крыше, на плечо себе положил кусок мяса и громко позвал: «Гуль, Гуль, Гуль!» И — чудо из чудес — Гуль слетел с крыши и, покружив немного над самой головой Александра Степановича, схватил мясо, взвился быстро вверх и на крыше слопал его. Тут уж нашему восторгу не было конца. Да и действительно — разве не чудо, что свободная дикая птица чуть не из рук человечьих взяла еду.

В течение нескольких дней Александр Степанович

терпеливо приучал его брать мясо из рук. И приучил, причем и руки он не кусал, как в клетке, а выхватывал. Что заставляло Гуля прилетать и брать у нас еду, мы так и не понимали, не искали объяснений, но радовались сердечно.

НЕСЧАСТЬЕ С ГУЛЕМ

Крышу дома Гуль, видимо, облюбовал как жилье. Часто среди дня, не во время кормежки, мы видели его сидящим или на трубе или на гребне крыши.

Однажды, отдыхая после обеда, услышали дикий вскрик птицы и глухую возню. Выскакиваем полуодетые и видим на краю крыши, у водосточной трубы, кошку, борющуюся с бьющимся Гулем, которого она держит за спинку в зубах. Александр Степанович побледнел, закричал и, схватив лежащий у крыльца веник, бросил его в кошку. Веник попал кошке в голову, она выпустила из зубов птицу, Гуль плашмя упал наземь. Александр Степанович схватил его. Тельце беспомощно повисло в руках, глаза закрыты.

— А может быть, он в обмороке, — догадываюсь я, — давай помочим его водичкой.

Мы не знаем, как обращаться с больными птицами. Осторожно льем из водопроводного крана на его голову студеную воду, Александр Степанович разжимает клюв, и я с пальца капаю птице в рот. Гуль глотает.

— Жив, жив, дурачок, — шепчет Александр Степанович.

Несем Гуля в комнату. Рву сочную траву, делаю гнездо, и Александр Степанович кладет туда птицу. Она лежит пластом, беспомощно растопырив крылья. Сидим перед нею на корточках. Наконец Гуль открывает глаза и не протестует, не барахтается, когда мы осторожно гладим его взъерошенные перышки. В этой тихости обычно строптивой птицы столько страдания, что я начинаю реветь. И глаза Александра Степановича подозрительно затуманиваются. Он берет Гуля и осторожно осматривает, ощупывает его: на спине, у шеи, где, видимо, его держала кошка, две неглубокие ранки с запекшейся уже кровью, ножки целы, одно крыло в порядке, другое беспомощно повисло. На нем кровавая полоса. Может быть, это результат падения, а может быть, и кошкин зуб. Гуль упал с крыши на бок. Птица терпеливо

сносит осмотр, только раз дернулась, когда мы прижгли ранки йодом. Решаем вопрос — перевязать крыло или так оставить. Останавливаемся на том, что больному суставу нужна неподвижность, — поэтому плотно прибинтовываем крылышко к телу Гуля. Он всё терпит, даже ни разу не зашипел. Даем ему мясо — не трогает. Александр Степанович открывает клюв, и я капаю туда молоко. После всех этих процедур приношу камешек, довольно высокий, и ставим Гуля на лапки. К нашей радости, он стоит, шевелит головой, посматривает на нас.

— А как ты думаешь, может быть, ему лучше в корзинке лежать, ведь у него, должно быть, всё дрожит от слабости? — спрашиваю я Александра Степановича.

— Попробуем, — говорит.

Приношу корзинку с травой, кладем туда Гуля, он начинает беспокойно вертеться. Непривычно ему куриное положение, и мы снова возвращаем его на камешек. Только камешек кладем на крышку ящика, вокруг посыпаем песком, задвигаем вместе с птицей под кровать, спустив одеяло до полу. Это для того чтобы было темно, — так птицы спят, мы хотим, чтобы Гуль спал как можно дольше. Утром со страхом заглядываем под кровать: жив ли наш питомец? Он жив, и глазки умно поблескивают нам навстречу. Когда мы вытаскиваем его установку на свет, он с любопытством вертит кругом головкой. Это не вчерашний беспомощный Гуль. Но, видно, в темноте он пытался стянуть с себя бинт, так как на груди и сбоку он висит клочками. Значит, бинт мешает ему. Александр Степанович разбинтовывает птицу, крыло беспомощно повисает.

— Бинт всё-таки не нужен, — говорит Александр Степанович, — птица инстинктом знает, что ей лучше.

Неделю Гуль неподвижно стоял на камне. Часами мы держали его меж колен, чтобы дать отдохнуть лапкам. Кормили всем, что нам казалось питательным: сырым и вареным мясом, рисом, макаронами, фруктами. Всё птица глотала и сносила терпеливо. Больше всего из немясного ей нравились макароны, схватит макаронину клювом и теребит, вертя головой в разные стороны. Против наших ласк, очень, правда, осторожных, Гуль не протестует.

Через две недели Гуль бегал по комнате, волоча крыло по полу. Сначала оно висело совсем беспомощно, по-

степенно он стал подтягивать его ближе к туловищу, и у нас зародилась надежда, — а вдруг крылышко выздоровеет. Напрасная надежда! Оно не поправлялось. Оно висело не столь беспомощно, как вначале, но опускалось ниже здорового. Гуль научился перелетать с предмета на предмет. Если его сажали высоко — он мог очень хорошо спланировать. Правда, однажды он смело «спланировал» с верхушки буфета прямо в тарелку с маслом. Но чаще всё обходилось удачно. Он отлично бегал по полу, по деревьям, но летать, увы, не мог, Он сделался нашим другом, таким же молчаливым, как и мы, совсем ручным и бесконечно любимым Александром Степановичем, который вложил в него все свои нерастраченные отцовские чувства.

ГУЛЬ ДОМА

Гуль, выздоровевший, но оставшийся навсегда калекой, сидит на жердочке на окне комнаты Александра Степановича. Поворачивая свою хищную головку на взирающих на него с любопытством прохожих, он выглядит маленьким серым сердитым старичком. Александр Степанович пишет за столом. Наконец Гулю надоела улица, он, спрыгнув с жердочки на кресло, с кресла на письменный стол, взбирается на левое плечо Александра Степановича, нахохлившись, удобно устраивается там и пускает белую полоску на куртку, где уже отпечаталась, несмотря на ежедневную стирку, длинная известковая дорожка. Александр Степанович пишет. Гуль терпеливо сидит, почесываясь в те минуты, когда Александр Степанович закуривает. Александр Степанович протягивает ему макаронину. Взяв макаронину в клюв, Гуль теребит ее и подталкивает лапкой. Блюдце с несколькими подсохшими макаронинами всегда стояло на письменном столе.

Гулю надоело лицезреть работающего Александра Степановича, он, видимо, хочет развлекаться. Тогда, склонив умную свою головку к лицу хозяина, он осторожно захватывает клювом складку на его щеке и держит ее. Александра Степановича это радует. Вижу, как тепло блеснули его глаза. Он не шевелится. Подержав складку несколько мгновений, Гуль оставляет ее и старается как бы заглянуть в лицо Александру Степановичу. Добрая ухмылка кривит губы Александра Степа-

новича. Он ждет продолжения. Тогда Гуль снова и крепче захватывает складку щеки или ухо и тянет к себе. Это означает, что Гуль хочет играть, ему надоела работа Александра Степановича. Александр Степанович хохочет, правой рукой нежно схватывает маленькое тельце птицы и, приговаривая: «Ах ты мошенник этакий!», спускает птицу на пол. В кармане у него шарики от моего бильярда. Он пускает их перед клювом Гуля, и птица, подпрыгивая, гоняется за ними.

СМЕРТЬ ГУЛЯ

Холодный зимний ветреный день. Александр Степанович вынес Гуля во двор на прогулку, которая проделывается дважды в день, невзирая на погоду. Гуль весело бегает по шестам, их Александр Степанович расставил во дворе и меж деревьев. Александр Степанович заставляет его слетать с верхушки шеста. Кособоко, но бойко он это проделывает. Так проходит полчаса, а если оба разохотятся и день хорош, то и час. Мечта Александра Степановича — упражнениями привести крыло Гуля в такое состояние, чтобы он мог хоть немного летать самостоятельно. Гуль охотно подчиняется желаниям Александра Степановича, видимо его птичьему телу это доставляет удовольствие. Так было и в тот день.

После прогулки, посадив Гуля на плечо, Александр Степанович подымался по ступеням довольно высокой лестницы, ведущей в кухню. Неожиданный сильный порыв ветра смахнул с плеча Александра Степановича нецепко державшегося Гуля, и он упал прямо в стоявшую на крыльце миску с едой Кука. Александр Степанович выхватил его, внес в комнату и, показывая мне совершенно мокрого Гуля, взволнованно спросил:

— Что делать? Подумай, какая беда!

Решили вымыть Гуля теплой водой и закутать в вату, чтобы он не простудился. Александр Степанович согласился. Пока я ходила за водой, он держал птицу у теплой печки. Осторожно обмыли клейкий суп, вытерли Гуля насухо и завернули в пласт ваты, оставив только голову. Александр Степанович принес корзину для фруктов, сделали в ней гнездо из ваты и положили туда Гуля.

Он водил головкой и посматривал на нас умными глазами, раз даже тюкнул клювом палец Александра

Степановича. Мы очень боялись за его здоровье, — холодная липкая ванна для нежного, не привыкшего к воде птичьего тельца могла оказаться смертельной. Каждые полчаса мы осматривали его. Когда я обмывала Гуля, он выглядел очень несчастным, а потом, в вате, сидел, как нам казалось, согревшийся и милый.

Вечером Александр Степанович вынул его из ваты, чтобы покормить. Перья выглядели глянцевитыми, но есть он не захотел и сидел на краю корзины как-то неуютно. Это нас встревожило. Мы рыхло взбили вату и положили Гуля в это теплое гнездо. Он покорно сидел, не проявив ни малейшего желания выбраться из него. Это нам тоже показалось ненормальным.

Ночью вставали, смотрели. Гуль не менял положения, для него непривычного, — обычно он спал на жердочке. Но на свет зажженной лампы поворачивал головку.

Утром Александр Степанович вынул Гуля из ваты и завздыхал:

— Пропадает наш Гулюшка. Посмотри, перья стали матовые и чуть топорщатся — значит, болен.

Попробовали головку у клюва — горячая. Ни пить, ни есть птица не хотела, глазки стали мутнее, и головкой не вертела, как накануне. Мы думали, что у Гуля воспаление легких, а как лечить — не знали и с горестью поглядывали на корзинку. Чтобы не тревожить Гуля, мы не прикасались к нему. Он сидел в вате не шевелясь и широко раскрыв черные глазки. Под вечер Александр Степанович предложил покормить Гуля насильно. Решили поить молоком. Александр Степанович принес корзину в столовую, стал вынимать Гуля и вдруг сказал сдавленным голосом:

— Он давно умер, совсем холодный. Бедная ты наша птица, страдалица, лишенная счастья летать. Наше ты дорогое утешение.

Похоронив Гуля под елкой на Тепе-оба, мы часто вспоминали его, вместе — до смерти Александра Степановича, а одна я и до сих пор.

Я написала о Гуле потому, что рассказ Грина о кем «История одного ястреба» не соответствовал действительности. Когда я спросила Александра Степановича, почему он так написал, он ответил:

— Мне хотелось, чтобы так случилось...

А мне хочется, чтобы читатели Грина знали, сколько души и заботы вложил Александр Степанович в Гуля.

МОЛЧАНИЕ ДУХА

Закончив роман «Блистающий мир», Александр Степанович говорил, что хотя он и многое сказал из того, что хотел, но полного удовлетворения не чувствует.

«Блистающий мир» — единственный роман[28] Грина, напечатанный в журнале до издания его книгой. В журнале «Красная нива» он напечатан полностью, а в книге, изданной «ЗИФом», изъята глава в церкви[29].

После «Блистающего мира», уже живя в Феодосии, Александр Степанович начал «Золотую цепь», сказав: «Это будет мой отдых; принципы работы на широком пространстве большой вещи стали мне понятны и близки. И сюжет прост — воспоминания о мечте мальчика, ищущего чудеса и находящего их». Так, видимо, было сначала задумано Грином, сюжет усложнился уже в процессе работы.

«Золотая цепь» была написана за несколько месяцев. «Странно, — говорил Александр Степанович, — писал я этот роман без всякого напряжения, а закончил и чувствую — опустошен до дна... Никогда такое чувство не появлялось у меня по окончании рассказа. Допишу рассказ, и словно нити, хотя бы паутинные, а тянутся к новому рассказу, теме».

Прошло несколько недель, и Александр Степанович с таинственным видом сообщил: «Ничего. Всё благополучно, — завелось. И хорошее... Чувствую — как в тумане». Это зародилась «Бегущая по волнам».

Начало давалось Александру Степановичу очень трудно, но он был упорен в работе, тем более что тема была ему ясна, — он не находил только истинного русла, А найдя, возликовал. И дальше пошло без существенных заторов. «Песней льется в душе», — говорил Александр Степанович.

Но, закончив «Бегущую», он сказал: «Опустел я. В голове полное молчание. Как ни напрягаю себя, даже сюжет пустякового рассказа не приходит. Неужели это конец и мои способности иссякли на этом романе! Писал его и казался себе богачом, так многоцветен и полон был дух мой, А теперь, ну ничегошеньки! Страшно...

Я знаю, когда-то должен наступить момент, когда силы мои иссякнут. Жду его в более глубокой старости, встречу спокойно, буду тогда писать воспоминания. Теперь же это внутреннее молчание пугает меня, я еще хочу говорить свое».

Месяцев через десять после окончания «Бегущей по волнам» Александр Степанович начал писать роман «Джесси и Моргиана». «Этот роман только для тебя, взамен посвящения, снятого с „Бегущей по волнам"», — сказал он.

Еще работая над «Джесси и Моргианой», Александр Степанович уже набрасывал отрывки «Дороги никуда» — тогда еще «На теневой стороне».

По окончании «Джесси и Моргианы» недолгое «молчание духа», — отдых недели две, а затем продолжение «Дороги никуда».

При моем описании получается так, словно это шло раздельно друг от друга: каждое произведение как бы на отдельном острове зарождалось и кончалось. На самом же деле происходило несколько иначе.

Так, например, мысль о летающем человеке тронула воображение Грина еще в 1918 году[30] (рассказ «Состязание в Лиссе»), а вылилась в роман в 1921 году — в «Блистающем мире».

«Пишешь задуманное, — говорил Александр Степанович, — и всё, перегоняя друг друга, толпится во мне, закончил и... полная пустота, глухо. Появляется страх — иссяк родник. Неужели навсегда? Цепляешься воображением за всё, что хранится в памяти. Ворошишь старое на дне этого сундука, и ничего, ничего. Но проходит время, и не замечаешь, когда в тебе что-то забрезжило. Сырое, неясное, зыблется, рассыпается в арабески. И вдруг блеснет центр, ствол, какая-то главная важная минута. И снова покой и равновесие — плыву по реке будущего».

В тяжелые дни нашей жизни росла «Дорога никуда». Грустно звенели голоса ее в уставшей, измученной душе Александра Степановича. О людях, стоящих на теневой стороне жизни, о нежных чувствах человеческой души, не нашедших дороги в жестком и жестоком практичном мире, писал Грин.

«Дорога никуда» не опустошила его, была лишь легкая усталость. «Пока я не хочу думать о будущем, — сказал Александр Степанович, — но из этого романа

родилась тема о «недотрогах». Я не могу писать для никого. Я должен знать, что у меня есть читатель, — некий близкий, невидимый для меня, которому я рассказываю».

Рождались мысли о «Недотроге», записывались, но сюжет оформлялся туго. «Не могу понять, в чем дело, — размышлял Александр Степанович, — обдумываю, всё ясно вижу, ясно и правильно. Начинаю писать — нет внутренней стройности. А тема меня глубоко волнует. Таких недотрог много, только они прячутся, незаметны и часто прекрасны, как чудо-цветы».

Уже безнадежно больной Александр Степанович всё еще думал о «Недотроге». Когда становилось ему лучше, радовался новым возникающим мыслям. Когда не давалась ему работа, говорил: «Нет чувства, что кому-то я это рассказываю: недотроги мои закрыли глаза и спрятались. Остались лишь мухи и короли». Грин намекал на начатый им в 1925—1926 годах роман «Король мух».

В декабре 1931 года Александр Степанович сказал мне: «Теперь «Недотрога» легла во мне ясно, все туманности исчезли; как только наберу сил — начну писать». Это было через месяц после снижения температуры, терзавшей его почти три месяца. А затем началась раковая адинамия, не дававшая Александру Степановичу возможности «набрать силы». Но о «Недотроге» он всё равно говорил. И когда за месяц до его смерти мы переехали в свой домик, он радовался и говорил: «Вот здесь-то я и напишу свою «Недотрогу», под этим орехом, как в беседке».

ПОХВАЛЫ

Александр Степанович был повышенно чувствителен к похвалам. Он говорил: «Похвала — слов нет — приятна, но всегда, или почти всегда чувствую себя при этом так, словно я — голый и все меня рассматривают». Он очень тонко чувствовал оттенки похвалы: простая, искренняя — чаще всего от нелитературных людей — трогала и волновала его. Литераторская, умная, серьезная похвала доставляла истинное удовольствие. Похвала окололитературных «тузов» почти всегда раздражала его, вызывая насмешку или ядовитый отпор, — она всегда плавала по поверхности. Он знал себе цену как художнику. Знал свои недостатки, свои силы больше всех

тех, кто в недостаточно искренних и тактичных словах величественно награждал его похвалой.

Как-то в Москве в гостях у Вересаева идем к столу рядом с Борисом Пильняком, в то время молодым литературным persona grata. Тот, здороваясь с нами, говорит Александру Степановичу с этакой рыжей великолепной снисходительностью: «Что, Александр Степанович, пописываете свои сказочки?» Вижу, Александр Степанович побледнел, скула у него чуть дрогнула (признак раздражения), и он ответил: «Да, пописываю, а дураки находятся — почитывают». И больше во весь вечер ни слова с Пильняком.

Был около Александра Степановича молодой в то время человек, Дмитрий Иванович Шепеленко. Он где-то работал, трудно жил и для души своей написал и издал крошечную книжечку «Прозрение»[31] — что-то ультрафилософски литературное с претензиями. Александр Степанович был к нему расположен, любил его ядовитые рассуждения, бывал у него частенько, жалел Шепеленко за трудную его жизнь. Шепеленко часто бывал у нас, в общежитии Дома ученых.

Как-то идем мы втроем. Шепеленко и говорит Александру Степановичу: «Читал недавно ваш «Блистающий мир». Ничего, кое-какие мысленки есть». Мы с Александром Степановичем переглянулись, и он ничем, кроме вопросительного «Да?», на эту величественную похвалу не ответил. А дома ухмыльнулся: «Ничего, бедняга, кроме „мысленок" не „прозрел"».

Или в маленьких журналах: «Александр Степанович, дайте что-нибудь поэкстраординарнее, в вашем стиле». — «В моем стиле и вашем соответствии», — посмеивался Александр Степанович.

В больших журналах Александра Степановича не печатали. Только уже перед смертью — за год — в ленинградском журнале «Звезда» была напечатана «Автобиографическая повесть». И то лишь благодаря большому личному расположению к Александру Степановичу некоторых членов редакции, в частности Н. С. Тихонова. Александра Степановича это обижало, но виду он не подавал: «Они считают меня легче, чем я есть».

Отношение больших журналов особенно резко проявилось к «Бегущей по волнам». Александр Степанович дал ее в журнал, редактируемый Воронским и Иорданской. Долго они держали роман. Им лично он нравился,

но они вернули его с кислой миной: «Весьма несовременно, не заинтересует читателя». Александр Степанович понимал, что этот роман чрезвычайно характерен для него, крепко сделан, заинтересует и найдет читателя, и хотел большого читателя...

Другой раз с той же «Бегущей по волнам». Это уже почти через два года — в 1927—1928 годах. Роман всё мытарствовал по редакциям журналов и издательств, не находя пристанища. Как-то Александра Степановича пригласили читать на «Никитинских субботниках»; читал отрывки из «Бегущей по волнам», вызвал у слушателей чувство искреннего восхищения. Слушатели — в большинстве члены издательства «Никитинские субботники». Грин предлагает «Бегущую по волнам» — получает отказ: одно — платонически восхищаться, другое — издавать.

Александр Степанович говорил: «Мне во сто крат легче написать роман, чем протаскивать его через дантов ад издательств». Рапповские руководители не понимали и не ценили Александра Степановича. Он для них был писателем маленьких журналов, писателем авантюрного легкого стиля, писателем, ушедшим от действительности.

ГРИН И ЧИТАТЕЛИ

После выхода в свет «Бегущей по волнам» Александр Степанович получил небольшое письмецо от матроса. В простых, хороших словах он благодарил автора за роман и высказывал предположение, что Александр Степанович плавал вокруг света. «Иначе не могли бы вы написать такой роман», — писал он и просил Александра Степановича обязательно ответить ему, правильно ли его предположение.

Письмо очень понравилось Александру Степановичу. «Такие читательские письма, — говорил он, — без выкрутасов, со светлой верой в то, что написано, — лучшая награда для писателя. И я ему напишу, что плавал вокруг света, хотя это и не так, но этим я закруглю и утвержу навсегда в его душе яркое и полное впечатление о «Бегущей по волнам» и обо мне. Едва ли он когда-либо узнает, что это не так, что это была моя ложь, и да простит ее искусству». Так и сделал.

Был трудный 1931 год, поздняя-поздняя осень. Изредка переписывались с И. А. и О. М. Новиковыми и,

пожалуй, больше ни с кем, кроме брата Александра Степановича — Бориса.

Неожиданно в один из хмурых дней почтальон приносит повестку на посылку и большое письмо. Пишет неизвестная нам молодая женщина, читательница Александра Михайловна Новикова. Она случайно узнала, что Александр Степанович тяжело болен. Ей давно хотелось выразить ему свою признательность и восхищение, хотелось видеть его. Она была летом в Крыму, но постеснялась его беспокоить. Зная, что в Крыму живется трудно, она осмеливается послать Александру Степановичу небольшую посылку с лакомствами и просит сообщить, какие ему нужны лекарства.

Мы были растроганы душевной лаской неизвестного нам человека действительно в тяжелую минуту, когда мы и думать не могли о лакомствах для больного, лишь бы вообще накормить его досыта. Посылка была прекрасная, и, самое главное, в ней был хороший чай и хорошие папиросы.

Александр Степанович написал Александре Михайловне письмо, и завязалась переписка. Ее письма всегда радовали нас; забота согревала. Она присылала лекарства, посылки, собиралась летом 1932 года навестить нас. После смерти Грина я, бывая в Москве, познакомилась с нею и подружилась. Александра Михайловна много и любовно читала Грина, хорошо его чувствовала. Умерла она в 1934 году от гангрены легких. Сожаление о ней сплелось в моей душе с глубокой признательностью за то, что последние месяцы жизни Александра Степановича были согреты душевным теплом читателя.

* * *

Так же согрел душу Александру Степановичу Н. С. Тихонов. В ноябре 1931 года исполнилось двадцать пять лет литературной деятельности Грина. Никто об этом, кроме нас, как мы думали, не знал и не помнил.

У себя дома мы устроили маленький праздник. В болезни Александра Степановича было временное улучшение.

Мои подарок — большой букет дубков и несколько последних бутонов роз, сохраненных от холода в д о м е , — и мамин — хороший торт и коробка первосортных папи-

рос — были перед ним на тумбочке. Неожиданно мама приносит телеграмму. Александр Степанович расписался и с нетерпением вскрыл ее: от кого бы это?

Читает... и вижу, как заблестели глаза, порозовело лицо. Это была телеграмма от Н. С. Тихонова и его жены. Александра Степановича поздравляли с двадцатипятилетним юбилеем и желали здоровья и успехов. «Ну вот, и вспомнили меня! Откуда он знает об этом? Видимо, я как-нибудь случайно сказал, а он хорошо запомнил. А как славно, что в такой день где-то далеко кто-то о тебе думает. Ведь вот один только прислал мне поздравление. Что один — это особенно дорого!» — радовался Александр Степанович.

* * *

В 1926 году, поехав в Коктебель к Волошину, мы на прогулке встретили В. В. Вересаева с двумя племянницами, девочками-подростками. Александр Степанович относился к Викентию Викентьевичу с искренним уважением и любовью. Думаю, что и Вересаев, умный, широкий и добрый человек, относился к Александру Степановичу тоже очень хорошо.

Вересаев, знакомя Александра Степановича с племянницами, сказал, что они давно наслышаны про «Алые паруса» и очень хотят почитать их. Когда устали и сели отдыхать на камнях под Карадагом, Вересаев попросил Александра Степановича рассказать девочкам «Алые паруса»: «Это у них навеки останется — сам автор рассказал». Александр Степанович сначала отнекивался — не любил рассказывать не на бумаге, — но Вересаев и девочки стали так настойчиво просить, что Александр Степанович согласился. Рассказывал коротко и не так образно, как написано, но все мы слушали с истинным удовольствием. Александр Степанович часто спотыкался, вспоминая ту или иную сцену, комкал. А как дошел до описания состояния Ассоль после сна на лесной поляне, остановился и сказал, что не может вспомнить, как дальше. Девочки засмеялись. Александр Степанович с жаром уверял, что действительно забыл. Я помалкивала, не зная, так ли это или Александр Степанович просто устал. Он был нервно чувствителен в этих делах, как мимоза. Но Александр Степанович смеялся вместе со всеми, но рассказывать дальше ни в какую

не согласился. Девочкам обещал прислать «Алые паруса».

Шли обратно, веселясь по поводу случившегося. Вересаев советовал девочкам никогда не забывать о писателе, который сам себя забыл. И, подтрунивая над Александром Степановичем, говорил, что легенда об убитом капитане и похищенных у него рукописях верна; спрашивал у меня, где Александр Степанович прячет чемодан с капитанскими рукописями. Александр Степанович, веселый и оживленный, что редко с ним бывало при посторонних, шутливо парировал удары.

Вечером, когда мы остались одни, сказал, что не хотел рассказывать, представив себе, как это глупо выглядит со стороны.

* * *

И еще встреча с читателями, в Москве. О ней мне рассказал Александр Степанович.

В 1929 году, сидя в каком-то маленьком ресторанчике у Никитских ворот за кружкой пива, Александр Степанович за одним из столиков заметил группу интеллигентных людей, несколько провинциального вида. Они закусывали, и один из них, немолодой человек с утомленным лицом, всё время пристально вглядывался в него. Александр Степанович тоже всмотрелся, думая, что это какой-нибудь давнишний знакомый. Но нет. Не знаком. Александра Степановича это пристальное внимание немножко задело, он подозвал официанта, чтобы расплатиться и уйти.

Тогда незнакомец поспешно встал, подошел к Александру Степановичу и, извинившись за свое не слишком деликатное поведение, спросил — не с писателем ли Грином он имеет честь говорить? Вся компания за столом обернулась в их сторону. Незнакомец объяснил, что видел его портрет в «Огоньке», хорошо его запомнил, много о нем думал и так как все они тут — он показал в сторону тех, с кем сидел за столом, — горячие почитатели его таланта, то он и осмелился обратиться к Александру Степановичу, решив, что это, быть может, единственный случай в их жизни.

Это были экскурсанты — педагоги и служащие откуда-то из-под Пензы. Они попросили уделить им пять минут на память об этой встрече. Александр Степанович сразу смягчился, подсел к компании и проговорил с

ними добрых полчаса. Его спрашивали обо всем: где и как он живет, как родилась его манера писать, почему мало его книг, радуют ли Александра Степановича его произведения? На прощанье самый молодой из них попросил Александра Степановича каждому написать на клочке бумаги свое имя, чтобы навсегда сохранить память о встрече. И Александр Степанович, сам радуясь, спрашивал каждого имя, отчество и фамилию и писал два-три слова на подкладываемом листке.

* * *

Изредка в Феодосии к Александру Степановичу заходили скромные юноши, реже девушки, проходившие Крым пешком или проезжавшие через Феодосию куда-то дальше. Этих безымянных своих поклонников Александр Степанович всегда встречал ласково и приветливо. Особенно если они были невзрачно одеты и застенчивы. «Все они напоминают мне самого себя, и хочется оставить в их сердце теплый след», — говорил Александр Степанович.

Но однажды пришел человек, который надолго оставил в наших сердцах теплый, неизгладимый след. Мы жили тогда уже в Старом Крыму. Он пришел в конце апреля или в мае тридцать первого года, немолодой уже человек, лет сорока пяти, с наружностью ничем не примечательной — невысокий, худой блондин, с круглым простоватым лицом и серыми спокойными глазами. Отрекомендовался слесарем какого-то Брянского завода. В прошлом он матрос, ходивший в кругосветное плавание, зовут его Иван Ермолаевич Белозеров. Пришел к нам, так как хотел увидеть своего любимого писателя, книги которого, по его словам, помогли ему понять самого себя. Приехал он в Феодосию, узнав, что Александр Степанович там живет. Но оказалось, что мы уже переехали в Старый Крым, и он пошел к нам пешком, чтобы собственными глазами увидеть всё, что окружает Грина.

— Чувствую, что старею, — сказал он, — не силен здоровьем, и вот решил побороть свою стеснительность и боязнь потревожить вас. Решил прийти к вам, чтобы воспоминание об этом осталось у меня на долгие годы... Вы уж простите меня, глубокоуважаемый Александр Степанович! — закончил он свою рекомендательную речь.

Необычность этого человека, слова его, весь облик — простой и спокойный — очень понравились Александру Степановичу. Иван Ермолаевич пробыл у нас до вечера, рассказывал о себе и о книгах Александра Степановича, которые он знал удивительно, словно они им самим были написаны. Он даже напомнил Александру Степановичу два-три рассказа, о которых тот совершенно забыл.

Александр Степанович, обычно не любивший принимать посторонних людей, предложил ему ночевать у нас. Иван Ермолаевич сначала отказывался, боясь стеснить нас, но Александр Степанович уговорил его и уложил спать в своей рабочей комнате.

Когда мы остались одни, Александр Степанович сказал мне:

— Это удивительный человек. Большой глубины, сложности, тонкости, деликатности. И все это в скромной, неяркой оболочке. Он так отвечает моему представлению о герое романа, что хочется взять его персонажем. Он о моих вещах мне, автору, говорит такое, что я только диву даюсь, он раскрывает их действие на себя, читателя, мною и не подозреваемое. Он чистый тип недотроги. Я очень счастлив, что встретил его. Пусть оп у нас погостит.

На следующий день Александр Степанович уговорил Ивана Ермолаевича погостить подольше. Два дня он прожил у нас, и ни на минуту мы не почувствовали стеснения. Его интересовало всё в Грине — и личная жизнь, и пути его творчества. И нам Иван Ермолаевич был всё время интересен, как много повидавший, всё взвесивший человек, сам определивший свое место в жизни.

На второй день вечером он сказал, что утром уедет. Александр Степанович уговаривал его еще остаться.

— Нет, — сказал он, — гость — это только три дня, так говорят на Востоке. Мне было хорошо. Я этих дней никогда не забуду и не хочу, чтобы у вас от меня возникло чувство душевной усталости. Едучи в Феодосию, я старался представить себе, какой вы есть. Боялся встречи, но надеялся, что вы должны быть таким, как ваши книги. Я счастлив, что это оказалось так.

Александр Степанович, дружески пожимая руку гостя, сказал ему:

— Вот и получилась у нас встреча автора с героем, так как я о вас думаю, как о человеке, олицетворившем героя моего, быть может, еще не написанного рассказа.

Часто потом Александр Степанович вспоминал И. Е. Белозерова, говоря: «Если бы у меня был только один такой читатель, то для него одного стоило бы написать все книги».

II

БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ

Август 1931 года — начало болезни Александра Степановича. Нам живется очень трудно — материально и морально. РАПП не дает дышать. Кончились деньги, привезенные после суда с владельцем частного ленинградского издательства «Мысль» — Вольфсоном. Кончаются запасы остро необходимых продуктов. В ленинградском журнале «Звезда» печатаются автобиографические очерки — «Бегство в Америку», «Одесса», «Баку» и «Севастополь»[32]. Для книги Александр Степанович решил дать им заглавие «Легенда о себе». «Обо мне, — говорил он, — всю жизнь так много рассказывали небылиц, что не поверят написанной истине, так пусть же это будут „Легенды"».

Писал он эти повести с великим неудовольствием: «Сдираю с себя последнюю рубаху». Хотел писать автобиографию значительно позже, когда почувствует, что иссяк как художник. Писать и вспоминать былое, не торопясь, не нервничая в ожидании завтрашнего дня. Начать не с детства, как теперь, ради куска хлеба, а с богемских времен 1912-го и дальнейших годов. «Купринское» время он всегда вспоминает с теплым чувством и интересом.

— Там есть о чем вспомнить и написать, — говорит Александр Степанович.

Знакомых у Александра Степановича в Старом Крыму почти нет — так, случайные. Занять не у кого. В начале августа с трудом достаю немного денег, только Александру Степановичу, на дорогу в Москву. Я знаю, что ему будет в Москве так трудно, как, может быть, еще никогда не было. А не ехать нельзя: положение безвыходное. Отодвинутая выигранным у «Мысли» процессом беда снова встала у ворот. Александр Степанович едет с тяжелым сердцем, он знает, что мы с матерью, остаемся в нужде.

От Александра Степановича долго нет писем, только телеграфный перевод на четыреста рублей. Наконец при-

ходит долгожданное письмо, но какое страшное и написанное не им самим, а О. М. Новиковой. Томят его беды, нездоровье, слабость духа.

Через два дня после этого письма, 21 августа, к калитке нашего сада подъезжает линейка, и сходит Александр Степанович. Бросаюсь к нему навстречу и вижу, как сильно он изменился: лицо одутловатое, небрит, глаза мутны, вены рук набрякли, руки дрожат.

Сразу же укладываю его в постель. Пою горячим чаем. Александр Степанович покорно вытягивается на кровати, вздохнув глубоко-глубоко, как очень уставший человек. Похоже, что он крепко болен.

На следующее утро вытаскивает из кармана пиджака пачку денег.

— Вот шестьсот рублей. Это моя добыча, родная. Жалкая добыча. Передай их матери, пусть она без обид похозяйствует у нас, а ты побудь около меня. Я стосковался, да и больным себя чувствую.

Смотрю на посеревшее измученное лицо его и думаю, что это новый приступ малярии, как случалось после поездок или редкого купанья в море. Температура была довольно высокой. Он тоже решил, что это обычный приступ малярий, так как всё тело ломило и знобило. Принял хину, полежал дня три в постели, и температура спустилась до 37,1. Александр Степанович почувствовал себя бодрее и сильнее. За эти три дня мы, не торопясь, обо всем переговорили.

— А литературные наши дела, — говорил Александр Степанович, — совсем плохи. Амба нам. Печатать больше не будут. Три рассказа, написанные еще в Феодосии, до сих пор не напечатаны; «Бархатную портьеру», «Коменданта порта» и «Пари» устроить не удалось. Продать сборник рассказов — нечего и думать...

За несколько дней дома Александр Степанович посвежел, прибавилось сил настолько, что захотел прогуляться к матери, которая тогда жила квартала за три от нас. На воздухе я увидела, что Александр Степанович выглядит хуже, чем в комнате, в постели, — очень бледен. Но до домика, где жила мать, дошли хорошо. Она очень удивилась нашему приходу, побранила меня за неосторожность: привести еще не окрепшего человека, и заставила Александра Степановича лечь в свою постель. Он прилег и сразу же задремал. В это время мать на мангальчике приготовила ему свежего чаю.

После чаю он захотел домой.

— Я порядочно утомился, — сказал он. — Дома снова лягу. Ослабел.

Мы, взяв его под руки, повели домой.

— Развалился, Котофей, твой старый пес... — шутил Александр Степанович, ложась в постель.

К вечеру температура поднялась до 37,8. Решили утром позвать врача, так как, видимо, он заболел еще чем-то кроме малярии.

На следующий день я пригласила самого, как говорили, опытного и уважаемого врача Старого Крыма. Ко времени его визита температура у Александра Степановича поднялась до 38,0. Осмотрев, выслушав его, врач предположил, что у больного воспаление легких, назначил лечение и обещал заходить через день. Несмотря на высокую температуру, Александр Степанович говорил, что чувствует себя неплохо.

— Голова тяжела, — говорил он, — а то бы я был совсем здоров.

Недели через три после начала болезни доктор высказал предположение, что у Александра Степановича началось обострение туберкулеза легких.

В прошлом некоторые врачи находили у него зарубцевавшийся туберкулез. Когда он мог им болеть, Александр Степанович не помнил. Видимо, в годы тяжелой юности. На ходу. Он помнил лишь, что дважды болел ревматизмом и малярией.

Нас удивляло, что врач не посылал Александра Степановича на рентген в Феодосию. Мы понимали, что диагноз должен быть чем-то подтвержден.

Несмотря на высокую температуру, Александр Степанович не худел, ел хорошо, только был очень бледен, жаловался, что нет охоты ходить. Пройдет по комнате раза два-три и садится в кресло или снова ложится.

— Тело как-то само просит покоя, — говорил он.

Ежедневно прочитывал всю газету, иногда брал книгу, но чаще я, сидя у его постели, читала ему вслух, с перерывами, — долго он не мог слушать, уставал.

В сентябре Грин подал в Союз писателей заявление о пенсии, мотивируя свою просьбу болезнью, не дающей возможности работать, и наступающим в ноябре двадцатипятилетием литературной деятельности.

Ответа на это заявление он не получил.

Как твердо я ни обещала Александру Степановичу не думать о заработке, думать приходилось, — уж очень трудна была жизнь. И мы с матерью стали вязать береты, платки и прочее — за продукты. Тщательно скрывали это от Александра Степановича, работу доставала и получала мама, людей мы к себе не пускали, так как в маленькой квартирке он мог всё услышать. Когда он интересовался, как же мы добываем продукты, мы давали ему достаточно вразумительное объяснение: вещи, мол, обменивались и продавались очень удачно. А он был слишком утомлен болезнью, чтобы вникать в подробности, да и характер его был не склонен к этому. Видеть же меня всегда с каким-нибудь рукоделием в руках он привык.

В октябре врач по просьбе Александра Степановича назначил его на рентген. Нужно было ехать в Феодосию, нанять машину, а денег почти совсем не было. Александр Степанович послал письмо в Ленинград Н. С. Тихонову. 18 октября получили по телеграфу триста рублей.

На следующее утро мы поехали в Феодосию. Александр Степанович, закутанный в пальто, шубу, шапку, теплое одеяло, с удовольствием уселся в подъехавшую к нашему дому машину.

— Невыразимо приятно быть на воздухе, — говорил он, — словно бы и сильнее себя чувствую.

Машина подъехала прямо к «Астории». Александр Степанович бодро сошел с нее и на мой вопрос, не устал ли он, улыбаясь, отвечал:

— Не волнуйся — твоя собака жилистая, даже на грош не устал.

В номере гостиницы он немного полежал, отдохнул, и мы на извозчике поехали в Инфизмет. Я оставила его в вестибюле и пошла договариваться к рентгенологу. Врач, узнав, что больной — А. С. Грин, согласился немедленно сделать рентгеноскопию легких и начал расспрашивать о болезни. Я всё коротко рассказала, и мы вместе помогли Александру Степановичу подняться на второй этаж, в комнату рядом с рентгеноаппаратом, где было тепло. Там я раздела Александра Степановича и положила отдохнуть на диван: он, хотя и храбрился, но

выглядел утомленным. Врач позвал нас в рентгенокабинет. Он предложил мне встать на колени около Александра Степановича и держать его, чтобы он не очень устал. Погас свет, началась рентгеноскопия. Врач спросил:

— Александр Степанович, не устали ли вы?

— Нет, — глухим голосом ответил тот, и в ту же секунду я почувствовала, как его тело стало тяжелеть в моих руках.

Обхватив Александра Степановича изо всех сил, я крикнула:

— Александру Степановичу дурно!

Но врач, видимо, уже заметил неладное и велел включить свет.

На звонок врача прибежали медсестра со шприцем и санитарка. Сделали Александру Степановичу инъекцию камфары и перенесли на диван в соседнюю комнату. Обложили грелками. Александр Степанович открыл глаза. Через несколько минут уже бодрым голосом сказал, что чувствует себя лучше:

— Теперь всё в порядке. Сам не пойму, что произошло. Сначала я чувствовал себя нормально, а когда врач спросил, тошнота неожиданно подступила к горлу, закружилась голова, а дальше — не помню.

Был он очень бледен, темные тени легли под глазами. Тихо спустились в вестибюль, Александр Степанович стал разговаривать со знакомыми врачами, а я тем временем поднялась наверх с рентгенологом, он должен был дать мне справку о состоянии легких. Рентгенолог объяснил, что у Александра Степановича затемнение правого легкого и в середине светлое пятно, он боится, как бы это не был творожистый распад, признак туберкулезной каверны. Александр Степанович попросил показать справку. Я показала из своих рук, — страшное было написано на обратной стороне.

Я хотела идти за извозчиком, но Александр Степанович настоял, чтобы идти к гостинице пешком (это было недалеко). Я боялась, он уговаривал:

— Обморок был, несомненно, от духоты, теперь мне хорошо: хочу Феодосию попробовать своими ногами и подышать морским воздухом.

Не торопясь, шаг за шагом, дошли до гостиницы. Уложив и укутав Александра Степановича в шубу, я пошла в лабораторию узнать результаты анализа.

Врач Ибянский, нам незнакомый, но знавший нас в лицо, попросил подождать с полчаса. Наконец анализ был готов. Врач, видя мое заплаканное лицо, сказал:

— Да вы не торопитесь плакать. Анализ очень благополучен, палочек нет; это значит — открытой формы туберкулеза у вашего мужа нет. Анализы во всякое время приносите. Передайте мой сердечный привет и пожелание скорейшего выздоровления Александру Степановичу — я большой его почитатель.

И сразу словно камень у меня с сердца свалился. На крыльях неслась в Инфизмет: чахотки нет, Александр Степанович выздоровеет!

Вечером наши знакомые феодосийские врачи пришли к нам и снова тщательно обследовали Александра Степановича. Диагноз был: ползучее воспаление легких.

«Опасности нет, — сказали врачи, — но предупреждаем: ползучее воспаление легких — заболевание длительное, требующее большого внимания и заботы и крепко изматывающее больных. Сердце у Александра Степановича сильное, и это великий помощник в лечении болезни».

На следующее утро, успокоенные, мы на автобусе уехали домой. Александр Степанович, несмотря на обморок накануне, чувствовал себя очень хорошо, оживился. Начался новый период лечения, суливший, как нам казалось, выздоровление.

Недели через полторы температура начала спадать, самочувствие улучшилось, но сил не прибавлялось.

Иногда он что-нибудь записывал, иногда жаловался, что «Недотрога» очень капризна, никак не находит правильного русла, начинается так же трудно, как когда-то «Бегущая по волнам». Никак не может сладить с сюжетом, то ли потому, что мозг ослабел от болезни, то ли сюжет очень сложен. В этом романе должно быть много горечи от столкновения «недотрог» с действительностью, но никакой плаксивости, уныния, так как эти люди с обостренной душевной чувствительностью и любовью ко всему истинно красивому, чистому и справедливому настолько привыкают таить в себе все чувства, что они редко заметны окружающим. И лишь гибель их может иногда косвенно указать на пережитые ими страдания.

Дни шли тихо. На душе становилось спокойнее, — температура заметно снижалась. Иногда это были десятые доли градуса, но уже не было того чувства, кото-

рое приносила высокая температура. Иногда Александр Степанович жаловался на нытье в левом подреберье, но очень редко, ел хорошо.

Были у нас и на редкость тихие дни, когда казалось, что близится выздоровление. Были и радости: телеграмма от Н. С. Тихонова, посылка и чудесное письмо от неизвестной А. М. Новиковой.

Согревала доброта человеческая и здесь, в Старом Крыму. Александр Степанович не мог жить без чаю. Мы с мамой бегали по городу и искали его, где могли, пытались достать его из частных спекулянтских рук. Население прослышало: болен писатель, без чаю жить не может. И стали к нам приходить то старушки, то детишки неизвестные, — приносят чай: кто осьмушку, кто просто щепотку, завернутую в бумажку. Постучат. Откроем, сунут чай в руку и, сказав: «Для вашего больного», бегут опрометью от двери. А то на улице подойдет какая-нибудь незнакомая женщина и, смущаясь, говорит: «Вы уж не обижайтесь, у вас, слышно, больной любит чай, передайте ему на здоровье». Стук в дверь. Александр Степанович спрашивает: «Кто пришел?» — «Чайный человек, Сашенька». — «Жив курилка — собака...»

Но нужда остается нуждой, и Грин, памятуя всегда доброе к себе отношение Горького, решил снова, как в 1920 году из Боткинских бараков, обратиться к нему за помощью. Он написал Алексею Максимовичу большое, хорошее письмо, которое послал в Москву нашему старому знакомому поэту Георгию Аркадьевичу Шенгели, прося передать его Горькому.

Проходили недели, ответа не было. Молчал и Шенгели. Александр Степанович в новом письме спросил Шенгели — передал ли тот письмо Горькому? Получен был краткий, суховатый ответ: «Письмо передано». Опять стали ждать известий. Александр Степанович, зная достаточно Алексея Максимовича, был уверен в благополучном ответе, но ответа мы так и не получили, — видно, письмо до Горького не дошло.

В декабре благодаря помощи Н. С. Тихонова с Грином заключили договор на отдельное издание «Автобиографической повести». Издательство должно было высылать нам ежемесячно по двести пятьдесят рублей. В здоровье Александра Степановича наступило заметное улучшение. Мы решили, что в нашей жизни наступил

уже перелом к лучшему. Но, увы, в скором времени здоровье его снова стало ухудшаться.

В конце марта 1932 года Александр Степанович перестал сидеть в кресле, говорил, что «стержень в спине исчез».

Зима в тот год легла в Крыму очень рано и долго не уходила. В марте было так холодно, что даже закутанного Александра Степановича было еще невозможно выносить на свежий воздух. Домик же, где мы жили, стоял фасадом на север, комнаты были небольшие, потолки низкие, окна маленькие.

— Сменить бы нам квартиру, — как-то раз сказал Александр Степанович. — Надоел этот темный угол, хочу простора глазам.

Я обрадовалась этому его желанию, мне был суеверно неприятен домик, где мы жили: как только мы в него въехали в мае 1931 года, так начались беды.

Словом, желание Александра Степановича я приняла с радостью и сразу же начала поиски. Целые дни я рыскала по всем концам городка. Александр Степанович даже не сетовал на отсутствие, а ждал с нетерпением.

— Истомился я в этом подземелье, — говорил он, — хочется солнышка в комнате.

Монашки еще зимой предлагали мне обменять мои золотые часики на их маленький домик-избушку. Услышав, что я ищу квартиру, они несколько раз повторяли свое предложение. Александр Степанович, которому я, как и зимой, рассказывала об этом, не соглашался, советуя мне гнать «чернохвостниц». А я очень волновалась — время шло, уже наступил май, уже выносили больного в сад, здоровье его не улучшалось, а нового жилья не находилось.

— Ну и осточертело же мне здесь, только и маячит перед глазами сруб колодца да ствол дерева, — горестно говорил он при каждой моей неудаче.

И я решила без разрешения Александра Степановича обменять часы на монашескую хатку. Что это только хатка — неважно, но зато она стоит высоко, в глубине сада, фасадом на юг, боковые окна на восток. Это будет то, чего всегда хотел Александр Степанович.

...На следующий день к полудню комната Александра Степановича была побелена, полы хорошо промазаны

глиной с половой (полы в домике были земляные) и посыпаны свежей душистой травой.

Александр Степанович весь день лежал в тени под орехом. Ел в тот день, как ни разу за последние два месяца, — с аппетитом. Тоскующего взгляда не было.

Как стал спускаться вечер, он мне говорит:

— Не надо меня нести в дом, я хочу сам пойти.

— Да ты же упадешь!

— Ты мне немного помоги, так и доплетемся. Я сегодня себя чувствую значительно бодрее.

Мы с ним тихонько и побрели.

Кровать Александра Степановича стояла у широкого трехстворчатого окна, в окно выглядывали головки зацветавших лилий — оно было невысоко над землей. А в другое окно, у ног Александра Степановича, протянула свои ветки невысокая молодая слива. Из окна у постели открывался широкий вид на уходящие к реке черепичные крыши старокрымских домиков и окрестные высокие лесистые холмы.

Ночь Александр Степанович спал хорошо, ни разу не курил. Я спала в этой же комнате на кушетке. Наутро он встретил меня таким хорошим светлым взглядом, что сердце дрогнуло от радости: неужели новое жилье будет для него спасением?

Александр Степанович не отрываясь смотрел в окно. Восходящее солнце заливало веселым светом скромную белую комнатку. Начало лета — всё щебетало, цвело и благоухало.

Как стало пригревать, он снова попросился под любимый орех. Опять я его вела и не могу сказать, чтобы он спотыкался или от слабости висел на мне. Шли очень, очень медленно. Мать хотела помочь с другой стороны, он отказался. Позавтракал тоже хорошо — съел что-то горячее и выпил чаю. Оставив его под деревом, я занялась устройством жилья и, немного поработав, снова пошла к нему.

Сад был запущен, зарос густой травой и дикими маками. Этот яркий ковер подходил к самой кровати Александра Степановича. В траве, недалеко от него, сидела маленькая девочка с большими черными серьезными глазами. Ее красное платьице алело в траве, как маки, из которых она плела венок. Это была четырехлетняя Клерочка, племянница жены Бориса, брата Александра Степановича. Бледный, худой Александр Степанович спо-

койно-ласково поглядывал на ребенка. Я невольно залюбовалась ими.

— Что так ласково смотришь? — спрашивает Александр Степанович. — Мне сейчас хорошо и спокойно, словно я в собственном доме. И этот клопик славно копошится тут. Как хорошо, что дети не сознают своей прелести...

В этот день он сказал мне:

— «Недотрога» окончательно выкристаллизовалась во мне. Некоторые сцены так хороши, что, вспоминая их, я сам улыбаюсь.

Видя такое доброе состояние Александра Степановича, я решила им воспользоваться и рассказать правду:

— Тебе нравится здесь?

— Очень, Давно я не чувствовал такого светлого мира. Здесь дико, но в этой дикости — покой. И хозяев нет.

— Хорошо бы такой домик нам... — говорю я.

— Конечно, хорошо, да разве можем мы об этом счастье теперь думать, — бедняки мы горькие.

— А может быть, тебе больше нравится дом Савина *, ведь он большой, настоящий?

— Нет. Тот дом на север, сад под уклон — неуютно. Этот же, хоть и хатка и садик, да к сердцу больше лежит.

— Так что, если бы у нас была возможность, ты купил бы его?

— Ну купил бы. Да что ты ко мне, как следователь, пристаешь!

Тогда, вынув из кармана фартука купчую, подаю ее Александру Степановичу:

— Читай и на меня не сердись...

День прошел в отличном настроении, в мечтах и разговорах о будущем, о цветах и деревьях, какие посадит Александр Степанович. Могу сказать — это был один из самых радостных дней нашей жизни.

В эти дни он хорошо ел и утром и вечером шел к постели сам.

На пятый день утром, после завтрака, он сказал, что сегодня не хочет в сад — полежит в домике, так как чувствует себя неважно. Вялость. И ноет в желудке. В

---

* Нам весной предлагали его купить. — *Прим. Н. Н. Грин.*

предыдущие дни он ни на что, кроме слабости, не жаловался.

Под вечер пришел доктор Яковлев *. Он долго сидел у Александра Степановича, внимательно осматривал, ощупывал, расспрашивал его; обещал выписать лекарство, которое успокаивает боли в желудке, и, извинясь, что торопится в санаторий, попросил дать ему помыть руки.

В домике у нас еще не было умывальника, таз стоял в саду. Поливая ему на руки, спрашиваю:

— Почему у Александра Степановича рвота?

— У вашего мужа рак желудка. Я это увидел, как вошел в комнату. Года два работал в клинике профессора Оппеля, и у меня есть некоторый опыт в распознании раковых больных даже по внешнему виду.

Хотелось кричать от боли — ведь это же полная безнадежность. А надо было молчать, чтобы он ничего не услышал в открытые окна. Я только тихо сказала врачу:

— Пошлите меня сразу же в аптеку.

По дороге врач говорил мне:

— То, что я раньше нашел у вашего мужа остаточные явления туберкулеза легких и не увидел р а к а, — это бывает. Болезнь, в тот момент более активная, заслонила другую, менее активную. Оттого-то он и не выздоравливал от первой, мешала общая интоксикация. Ухудшила общее положение невозможность полного клинического обследования.

— А операция?

— Безнадежно. Далеко зашедший случай.

— Что же делать, чтобы облегчить его состояние?

— Теперь только морфий, — дать покой его нервам.

— Но может быть, всё-таки это не рак? Я зимой однажды думала об этом и сказала лечащему врачу. Он отрицал, говоря, что это только катар желудка и атония кишечника из-за длительного лежания. Может быть, доктор, вы встретитесь с этим врачом, он на днях вернется из командировки, и я ему позвоню.

— Очень хорошо; мы обсудим и посоветуемся.

Позвонила в Инфизмет, — наш доктор всё еще был в командировке. Просила передать ему просьбу о кон-

---

* Врач, прибывший в Старый Крым в 1931 году, работал в санатории. — *Прим. Н. Н. Грин.*

силиуме. Доктор Яковлев стал посещать Александра Степановича через день.

30 июня встреча врачей состоялась. Присутствовал а харьковский терапевт профессор Струев.

Около часа они осматривали Александра Степановича, время от времени давая ему отдых. Потом попросили помещение, где можно было бы посовещаться. Я устроила им стол под орехом. Меня они, как и при осмотре, попросили уйти.

Я пошла к Александру Степановичу; он лежал бледный, утомленный.

— Ох как я устал! Всего меня наизнанку вывернули. И расспрашивали обо всем чуть ли не с Адама.

Попросил попить молока с коньяком, коньяку — побольше, на усталость, а попозже — морфий.

Неожиданно, пока врачи совещались, почтальон принес бандероли с двадцатью пятью авторскими экземплярами «Автобиографической повести» и перевод на пятьсот рублей. Подала Александру Степановичу несколько синих книжек. Он жадно схватил их, разложил вокруг себя, раскрыл одну на заглавной странице и вдруг заговорил каким-то необычайно глухим голосом:

— Нинуша, голубчик, что же это такое!.. Я не вижу, не могу прочесть ни одной строчки. Только темные полоски вижу! Но ведь тебя-то я хорошо вижу! Что же это такое? Страшно...

Испугалась и я, но сразу же начала его успокаивать:

— Это ты очень утомился. Врачи тебя замучили. Это пройдет.

Спросил, есть ли у меня деньги заплатить врачам.

— Есть. Продали кое-что и взяли в долг пятьдесят рублей. А теперь получим перевод и отдадим долг.

— Да... это моя последняя рубашка. С кожей содранная... — грустно сказал Александр Степанович.

Мне никогда не забыть этой страшной картины: смертельно бледный Александр Степанович и на белом одеяле вокруг него разбросаны синие книжки «Автобиографической повести». Тяжелое начало жизни встретилось с не менее горьким и тяжелым концом писателя, так любившего свет и жизнь.

— Я хочу дать врачам по книжке. Как ты думаешь — это не будет назойливо? — говорит он, любовно перебирая страницы.

Совещались врачи долго. Возвратясь к Александру Степановичу, профессор сказал, что находит у него застарелый бескислотный катар желудка и заболевание печени и что недели через две врачи снова соберутся около него. Постоянно же навещать его будет доктор Яковлев.

Александр Степанович поблагодарил их и подарил каждому по книжке.

— Это бесплатное приложение к гонорару, — пошутил он, — только вот автор не может прочесть заголовок книги — ослеп. Жена успокаивает, что это от усталости, слабости, что потом пройдет. А как вы находите?

Врачи посмотрели глаза Александра Степановича, расспросили его и утешили, что это действительно временное явление, от усталости.

Вечером пришел доктор Яковлев. Александр Степанович чувствовал себя неплохо, разговаривал с ним.

Уходя, Яковлев сказал мне, что будет ежедневно заходить к Александру Степановичу, чтобы ему было спокойнее. Говорили мы наспех, я не хотела, чтобы Александр Степанович думал, что мы о чем-то тайно совещаемся.

Однажды, как обычно, я сидела у его кровати, отдыхала от чтения газеты вслух — только дней за семь до смерти он перестал интересоваться газетами, — Александр Степанович говорит мне:

— Не люблю я одну здесь вещь...

— Какую? Я уберу... — удивилась я.

— А как ты думаешь — что?

Я стала показывать на разные вещи. Он отрицательно качал головой. Потом показал мне на стоявший на окне будильник.

— Вот это. Он не возвращает прожитых мгновений... — и замолчал.

Я поняла, что он не досказал: «и приближает конец...» Значит, думал, что уходит...

Морфий делал свое дело. Александр Степанович, почти не испытывая болей, таял. Стал говорить медленнее. Иногда сознание его было совершенно ясным, иногда — как-то менялось, путалось.

6 июля к вечеру он заметно ослабел, но говорил еще ясно, сознательно и медленно. Ночью то дремал, то просыпался. Жаловался, что ноет в желудке. Дала ему восемь капель морфия, после чего он заснул на несколь-

ко часов. 7 июля, проснувшись часов в десять утра, он попил молока с коньяком и попросил не беспокоить его. Паузы между словами были долгими. Пришел врач, сказал матери, что это — конец.

СМЕРТНЫЙ ЧАС

Утро 8 июля. Всю ночь больной то дремал, то просыпался. Молчал. Лежал с открытыми глазами. Два раза коснеющим языком сказал: «Курить...» Тогда я раскуривала папиросу и держала у его губ, — сам он уже не мог твердо сжать ее губами. Затянувшись раз-другой, отворачивал голову, тогда я вынимала папиросу. На мои вопросы, не больно ли где, легким движением головы отвечал — «нет».

В семь часов утра еле слышно сказал:

— Очень мне больно.

Ввела ему морфий под кожу. Через несколько минут задремал. Спал недолго. Широко раскрыл глаза и еще менее внятно, чем прежде, прошептал:

— Теперь всё хорошо.

Бледное истощенное лицо его было полно предсмертной истомы. Взгляд из усталого, но живого, постепенно делался тяжелым, мутноватым, глаза словно подернулись голубовато-серой пленкой. Но всё еще были широко раскрыты.

Яркие лучи солнца наполнили комнату и легли на его лицо и грудь. Он слабо шевельнул рукой, словно отгонял их. Я опустила штору. В светлой тени ее лежал он, неподвижный и молчаливый, вперив мутнеющий взор свой в окно, из которого в комнату заглядывала зеленая ветвь сливы.

Вдруг что-то сдвинулось в его неподвижном лице.

— Помираю... — не то глухо простонал, не то тяжело прошептал он голосом уже не от мира сего, чуть приподняв голову с подушки и смотря мне прямо в глаза каким-то важным и на мгновение ясным взглядом. Затем уронил голову и снова затуманенным взором уставился на ветвь в окне.

Последний вздох — и не стало Александра Степановича Грина. Ровно в шесть с половиной часов прекрасного и грустного июльского вечера.

Несколько часов мы с матерью просидели около него в полном молчании. Немного людей нас посещали, и в

эти поздние часы никто не пришел, никто не нарушил ненужными словами и вопросами горьких минут нашей разлуки. Слез не было; они высохли в последние предсмертные его дни и пришли позже, когда душа, оставшись одна, ослабела.

Летом на юге нельзя задерживать похороны. Хоронили Александра Степановича на следующий день, 9 июля.

Утром весь городок знал о смерти. Много незнакомых людей приходили прощаться с ним, приносили цветы. Нашлись и такие, что пожелали помочь мне в похоронах.

На кладбище — пустом и заброшенном — выбрали место. С него видна была золотая чаша феодосийских берегов, полная голубизны моря, так нежно любимого Александром Степановичем.

III

* * *

Все знаменательные дни своей жизни Александр Степанович приурочивал к цифре «23», которую считал для себя счастливой: 23 августа 1880 года — его рождение; 23 июля 1896 года — отъезд в Одессу; 23 марта 1900 года — на Урал; 23 ноября 1894 года по новому стилю родилась я. Александр Степанович говорил: «Значит, ты судьбою была мне назначена». 23 февраля 1921 года по старому стилю мы с ним поженились.

ГРИН О СЕБЕ

Александр Степанович не любил рассказывать о себе посторонним, да и близким рассказывал без большой охоты. И сам не расспрашивал. На редкие, правда, просьбы редакций журналов [33] дать автобиографический материал он суховато отвечал: «Моя биография — в моих книгах», говорил, что настоящий художник, по существу, является главным героем своих произведений. «Внешние наблюдения над разными людьми и случаями, — говорил он, — только помогают мне сконцентрировать и оформить впечатление от самого себя, увидеть разные стороны своей души, разные возможности. Я и Гарвей, и Гёз, и Эсборн — всё вместе. Со стороны на себя смотрю и вглубь и вширь. Только на самом себе

я познаю мир человеческих чувств. И чем шире в писателе способность проникать через себя в сущность других людей, тем он талантливее и разнообразнее. Он как бы всевоплощающий актер. Мне лично довольно познать себя и женщину, любимую и любящую меня. Через них я вижу весь свой мир, темный и светлый, своп желания и действительность. И, какова бы она ни была, она вся выразилась в образах, мною созданных. Оттого я и говорю смело: в моих книгах — моя биография. Надо лишь уметь их прочесть».

«Бегущая по волнам» — один из самых автобиографических романов Грина. Это рассказ, в поэтических словах изображающий искания и находки Александра Степановича. Вступление о «Несбывшемся» — не личное ли звучит в нем?

Ребенком, прочтя «Молли и Нолли» Кота-Мурлыки (Вагнера), затосковал он о той любви, жажда которой потом всю жизнь сопровождала его. Вот как рассказывал он мне об этом: «Я не знаю, что со мною стало, когда я прочел эту сказку, я не понимал тогда ни слова «любовь», ни всего сопровождающего это слово, но детская душа моя затомилась, и теперь, переведя это на язык взрослых, я как бы сказал себе: «Хочу такого для себя!» Это был первый стук в душу моих мужских чувств. Потом я узнал о Коте-Мурлыке, об этом человеке с пестрой душой, сказавшем вовремя мне, ребенку, верное поэтическое слово. Это был первый цветок в венке событий, о которых я тогда не знал. Было мне лет восемь. Это было как слова Эгля для маленькой Ассоль. Я рос, жизнь била, трепала и мучила меня, а образ Молли не умирал и всё рос в моей душе, в моем понимании счастья».

И прелестные и дурные были на пути Грина. Биче Сениэль — итог этих встреч и исканий. Тут и юношеская Вера Аверкиева, и Екатерина Бибергаль, и Вера Павловна, и Мария Владиславовна[34], и Мария Сергеевна[35], и многие другие, ни имени, ни лиц которых я не знаю. Я никогда не хотела знать подробности о них. Молодость Александра Степановича, тяжелая жизнь, незнание жизни, жадность к ней, «тоска о Молли», алкоголь, так обостряющий и искажающий желаемые образы, вечное беспокойство и ошибки. Поиски души женщины, воплощенной в желаемый образ, поиски Дези — девушки с простым сердцем и верой в чудеса, творимые руками

человечности. Такие девушки непопулярны, не привлекают взора ни блеском ума, ни изысканностью. Они умеют любить, верить, быть женой, другом.

ПСЕВДОНИМ

Александр Степанович жил в Петербурге. Писал первые рассказы из революционной жизни, которые потом составили сборник «Шапка-невидимка». Когда Измайлов, у которого должен был печататься один из первых рассказов Грина «Апельсины», спросил его, как он будет подписываться своей фамилией (Мальгинов) или псевдонимом, Александр Степанович, не желая быть Мальгиновым и зная, что не может Гриневским, с молодой пылкостью ответил — «Лиловый дракон». Измайлов расхохотался и сказал, что такой псевдоним совсем не годится. Тогда Александр Степанович взял первую половину своей настоящей фамилии [36].

Так родился псевдоним — «А. С. Грин». И это имя так плотно подошло к Александру Степановичу, что он говорил: «Знаешь, я чувствую себя только Грином, и мне странным кажется, когда кто-либо говорит — Гриневский. Это кто-то чужой мне». Подписывался всегда «Грин» и меня именовал «Грин», утверждая, что и я не Гриневская, как и он. И когда мне пришлось получать паспорт в Феодосии, он попросил знакомую паспортистку проставить мне в нем — Н. Н. Грин.

* * *

Александр Степанович очень любил цветы фуксии и герани, говорил: «Это эстетствующие снобы-мещане назвали их мещанскими цветами, так как они украшают жилища среднего люда. Цветы эти прелестны, и, если бы их было мало, их ценили бы, как орхидеи. Мещанских цветов нет, есть лишь «мещане», не понимающие этой простой истины».

ГРИН ОБ А. И. КУПРИНЕ

«Его образ так близок моему сердцу, — говорил Александр Степанович, — что кажется, если бы он даже плохо писал, то мне представлялось бы хорошим. Но он писал хорошо, знал музыку слов и мыслей, умел осве-

тить и раскрыть их солнцем своего таланта. В нем, озорнике, иногда злом и вульгарном, завистнике к чужим писательским удачам, сидел милый художник. Пестрый человек был Александр Иванович. Одним из главных качеств, определявших стиль его жизни, было желание во всем и везде быть не только первым, но первейшим, непрерывно привлекать к себе общее внимание. Это-то и толкало его на экстравагантности, иногда дурно пахнущие. Он хотел, чтобы о нем непрерывно думали, им восхищались. Похвалить писателя, хотя бы молодого, начинающего, было для него нестерпимо трудно. И я, к общему и моему удивлению, был в то время единственным, который не возбуждал в нем этого подлого чувства. Он любил меня искренне, относился просто, и оттого я лучше других знал его таким хорошим, каким он был вне своей всепоглощающей страсти, оттого и привязался к нему сердечно. Он часто мне говорил: «Люблю тебя, Саша, за золотой твой талант и равнодушие к славе. Я без нее жить не могу».

ГРИН О «МОЕЙ ЖИЗНИ» ЧЕХОВА

«„Особенное", неизгладимое впечатление произвела па меня повесть А. Чехова „Моя жизнь", — говорил Александр Степанович. Я увидел свою жизнь в молодости, свои стремления вырваться из болота предрассудков, лжи, ханжества, фальши, окружавших меня. Стремления мои были в то время не так ясно осознаны и оформлены, как я теперь об этом говорю, смутны, но сильны. Понятен и близок был мне Михаил, его любовь и отвращение к родному очагу „родительского дома".

Умел Чехов заглянуть в самые глубины человеческой души! „Моя жизнь" дала мне мгновение остановки в самом себе, после чего какая-то внутренняя черта была как бы проведена над пережитым, и по-новому, что-то прощая, стал я смотреть на настоящее и будущее».

ЭДГАР ПО

Эдгар По был одним из тех писателей, которые еще в молодые годы тронули воображение Александра Степановича. Став сам писателем, Грин относился к нему с глубочайшим уважением и любовью. Всё в нем

волновало Александра Степановича: и жизнь, и творчество. «Блестящий мастер, сильный художник и счастливо-несчастный человек, — говорил он, относя слово «счастливый» к трогательно-нежному браку По и его таланту. — Говорят, что я под влиянием Эдгара По, подражаю ему. Неверно это, близоруко. Мы вытекаем из одного источника — великой любви к искусству, жизни, слову, но течем в разных направлениях. В наших интонациях иногда звучит общее, остальное всё разное — жизненные установки различны. Какой-то досужий критик когда-то, не умея меня, непривычного для нашей литературы, сравнить с кем-либо из русских писателей, сравнил с Эдгаром По, объявив меня учеником его и подражателем. И, по свойству ленивых умов других литературных критиков, имя Эдгара По было плотно ко мне приклеено. Я хотел бы иметь талант, равный его таланту, и силу его воображения, но я не Эдгар По. Я — Грин; у меня свое лицо».

В 1910 или 1912 году[37] вышло Полное собрание сочинений Эдгара По под редакцией Бальмонта и с его статьей о жизни писателя. «Я уже давно знал его как писателя, — рассказывал мне Александр Степанович, — но не знал его жизни. Она потрясла меня. И хорошо, что написал ее Бальмонт. Талантливо написано, с большой любовью. Талантливо и любовно написанная биография — это посмертный дар художнику ли, ученому ли, общественному ли деятелю. Когда читаешь такую, думаешь — „ты, человек, заслужил ее"».

Александр Степанович не любил читать вслух стихи. И только три стихотворения, или отрывки из них, он читал иногда, ходя взад и вперед по комнате. Это — «Ворон» и «К Аннабель»[38] Эдгара По и «Давно ли цвел зеленый дол...» Роберта Бернса.

А. С. ГРИН И А. ГРИН

В те годы в Одессе жил (так информировали Александра Степановича) врач-венеролог А. Грин, занимавшийся переделкой для театра произведений популярного в то время французского писателя (если память не изменяет) Пьера Бенуа. А. Грин создал таким образом пьесу «Проститутка» и другие. Шли они в театрах и печатались за подписью «А. Грин». По поводу этих пьес многие обращались с вопросами к Александру Степановичу,

считая его автором, некоторые поздравляли с постановкой их, с извлечением порядочного дохода. Александр Степанович обижался: как это люди, знающие стиль и дух его творчества, могут предположить, что он занимается таким «грязным», по его выражению, делом? Хотел написать одесскому Грину — предложить ему выбрать другой псевдоним, так как своим он, А. С. Грин, должен пользоваться по праву старшинства. Но, узнав, что Грин — это истинная фамилия венеролога, махнул на всё рукой, сказав: «Черт с ним! Ведь не виноват же он, что родился А. Грином».

«КОРОЛЬ МУХ»

В 1924 году, еще до отъезда из Петрограда, Александром Степановичем был задуман и начат роман «Король мух». Порядочно было написано заметок. Как крысы в «Крысолове», так и в начатом, но ненаписанном романе «Король мух», мрачную и сильную роль играли мухи, плодясь, распространяясь, заражая и уничтожая всё человеческое, человечное, прекрасное...

Если память меня не обманывает, то в 1925 году[39], получив от «Огонька» предложение дать первую главу для романа двадцати пяти писателей, Грин дал именно начало «Короля мух»[40].

* * *

Рассказ «Возвращение» написан Грином осенью 1924 года в Феодосии, а в 1932 году летом, лежа у широкого окна, смотря на холмы, окружавшие Старый Крым, он умирал почти так же, как Ольсен. Он приехал в 1924 году в край, где «солнце цветет и гудит», и там он умер...

Не было ли это действительно «возвращением» Александра Степановича? Молодым, в бедах и горестях, он был на юге, красота которого, коснувшись его души, не пробудила в нем жажды к югу, к жизни там, к ощущению праздника природы, и он жил в Питере, в бедной прелести его климата. Переезд в Крым вернул его к чувству утраченного и вновь обретенного высокого и светлого в жизни, ибо он всегда, даже в болезни, благодарил судьбу, толкнувшую нас на юг.

ДОРОГА НИКУДА

Роман «Дорога никуда» — первоначально назывался «На теневой стороне». В 1928 году на выставке английской гравюры в Музее изящных искусств в Москве Александр Степанович увидел маленькую гравюру Гринвуд а «Дорога никуда».

На этой выставке я была с ним и подробности помню очень отчетливо: выставка происходила в одной из небольших, неправильной формы комнат музея; окна от входа справа, у окна на стеллаже под стеклом рисунок или гравюра Дюрера — букет фиалок. Слева на стене, на высоте человеческого роста, небольшая гравюра в незаметной темной рамке, изображающая отрезок дороги, поднимающейся на невысокий пустынный холм и исчезающей за ним. Суровая гравюра. На ней надпись по-английски и перевод по-русски — «Дорога никуда» и имя автора — Гринвуд. Александр Степанович сказал: «Как хорошо названа гравюра... «На теневой стороне» переменю на «Дорогу никуда». Это заглавие отчетливее отвечает сущности сюжета, темы. И, заметь, художник Гринвуд. И моему имени это созвучно. Очень, очень хорошо!»

КНИГИ

Когда мы жили в Петрограде, книг не покупали. В городе было много библиотек; Александр Степанович имел добрые связи с Публичной библиотекой, где широко пользовался книгами, иногда даже получал их на дом.

После переезда в Феодосию первой крупной книжной покупкой Александра Степановича был Большой энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. «Без энциклопедии, — говорил о н , — в таком захолустном городке, как Феодосия, жить очень трудно».

В Феодосии были две не очень богатые библиотеки — городская и у водников. А как только у нас появлялись хотя бы небольшие свободные деньги, Александр Степанович покупал книги. Когда приезжали в Москву, любили бывать на книжном развале у Красных ворот.

Из русских писателей Александр Степанович многих любил и ценил. Очень ценил Льва Толстого, восхищаясь его мастерством, силой таланта, великим, «даже как бы циничным» знанием жизни. Любил искренне и сердечно

Чехова. «Настоящий художник и настоящий *человек*, — говорил Александр Степанович, — какая умная, добрая душа; мало кто так любит людей, как он». Любил Лескова — «страстный, своеобразный человек, трудный и талантливый. Учиться и учиться у него надо».

Горький, Бунин, Достоевский, Аксаков, Щедрин, не весь Тургенев, Гоголь — привлекали Александра Степановича и ценились им. Разве перечислишь тех, кого он читал, о ком говорил.

Среди молодых русских прозаиков серьезно привлекали его внимание Малышкин, Булгаков, А. Толстой, Фадеев, Катаев, Ильф, Федин.

С удовольствием читал Александр Степанович китайские сказки, «Русские сказки» Афанасьева, книги о путешествиях, например «Путешествие в Южную Америку» Ионина, и другие. Любил иностранную литературу; Эдгара По, Сервантеса, Диккенса, Бальзака, Мопассана, Дж. Лондона, Сеттона-Томпсона, Киплинга — особенно «Свет погас», Мериме, Стендаля, Цвейга, Синклера Льюиса — особенно «Главную улицу» и «Мартина Эрроусмита», Голсуорси, Гофмана; из молодых — Шадурна «Где рождаются циклоны», Арлена «Зеленая шляпа», Дорджелеса «Ехать...» и многое, многое другое, что уже угасло в моей памяти.

ПОРТ

Запахи, шум и грохот порта любил Александр Степанович. Это, говорил он, осталось в нем с юности, с Одессы, когда, работая или ища работы и пищи, целые дни толкался он по порту, его закоулкам, припортовым кабачкам и харчевням.

Острые запахи моря, нагретой солнцем пыли, каменного угля, грохот лебедок, крики грузчиков, ароматы выгружаемых и нагружаемых товаров, фруктов, стройная суета работы, дали пройденных или впереди лежащих путей песней вошли в его душу и остались там навсегда.

Летом почти каждый день, хотя бы ненадолго, мы заходили с ним в Феодосийский порт. Мало в нем было движения в те годы, но порт всё равно прельщал нас. Иногда, молча, «положив душу на бок», как говорил Александр Степанович, сиживали мы где-нибудь в уголке порта будто бесцельно, но так хорошо!

Почти напротив въезда в Феодосийский порт был полуподвальный кабачок «Серый медведь». Александр Степанович любил зайти туда выпить вина, съесть чебуреки. «Только в припортовых местах можно встретить такое несоответственное, но уютное название кабака», — замечал Александр Степанович (см. «Алые паруса»).

* * *

В Москве, в клубе Дома ученых, Александр Степанович играет с кем-то на бильярде. Интересная партия в самом разгаре. В этот момент в бильярдную входит администратор и обращается к играющим: «Прошу, товарищи, очистить бильярд. Анатолий Васильевич Луначарский хочет поиграть». В бильярдной оживление, наблюдающие за игрой стоя, отходят, садятся в кресла, стоящие в дальнем углу комнаты; ожидающие очереди частью расходятся.

Александр Степанович продолжает игру, как бы не слыша слов администратора. Тот подходит к нему: «Товарищ Грин, я прошу вас освободить бильярд для Анатолия Васильевича. Прошу вас».

Александр Степанович на минуту приостанавливает игру и говорит: «Партия в разгаре, мы ее доиграем». — «Но Анатолий Васильевич должен будет ждать!» — «Так что же, и подождет. Я думаю, Анатолию Васильевичу будет приятнее посмотреть хорошую игру, чем видеть холопски отскакивающих от бильярда игроков. Прав ли я?» — обращается он к своему партнеру. Тот кивком выражает свое согласие. «Но ведь это для Анатолия Васильевича!» — тщетно взывает администратор. «Тем более, если вы не понимаете», — бросает Александр Степанович и продолжает игру. В это же мгновение в бильярдную входит сопровождаемый несколькими лицами Луначарский. Администратор с растерянным видом бросается к нему, пытаясь что-то объяснить. «Не мешайте товарищам играть», — останавливает его Луначарский, садится в кресло и наблюдает за игрой.

ОТНОШЕНИЕ ГРИНА К ДЕТЯМ

В самом Александре Степановиче, замкнутом, одиноком, внешне суровом человеке, иногда мелькало что-то детское.

Детей он любил по-своему, не сюсюкая. Он жал им руки, как взрослым, разговаривал с ними, как с равными, никогда не ахал и не удивлялся им, — как Эгль в «Алых парусах». Говорил: «Люблю их душевную невинность и естественность, но не люблю замечать их будущую взрослую сущность, а у них это очень рано проявляется».

Дети типа Ассоль из «Алых парусов» или Тома из «Гнева отца» влекли его к себе, как равные.

В 1924—1925 годах в Феодосии было много беспризорников, ютились они в подвале разрушенного дома, недалеко от нас, и у Александра Степановича были с некоторыми из них теплые отношения: «Даст ли жизнь им возможность стряхнуть с себя то уродливое, что привила им беспризорность», — говорил Александр Степанович.

* * *

«Вдохновение? — спрашивал Александр Степанович. — Для меня вдохновение — это хорошее, спокойное состояние в часы писания, когда всё идет стройно, не цепляясь, как цепь, — звено за звеном. И лишь иногда, прочитав написанное, я испытываю волнение удовольствия, определяемое для меня одним словом «хорошо». Лучше всего об этом сказал Ромен Роллан: „Опытный художник знает, что так называемое вдохновение приходит редко, что разум заканчивает дело интуиции"».

* * *

«Тот, кто сделает мне настоящее зло, — говорил Александр Степанович, — всегда ответит за это без личного моего участия в расплате: судьба расплатится так или иначе, раньше или позже».

ВИНОГРАДНАЯ ВЕТВЬ

Отузы. 1926 год. Жаркий солнечный день, чуть освежаемый легким ветерком с моря. Береговой дорожкой мы возвращаемся из ресторанчика к себе на дачу, на «обвеваемый холм». Проходим мимо почти разрушенного здания бань. Александр Степанович останавливается и указывает на оконный просвет в глубине здания. В просвете видна виноградная ветвь, слегка колеб-

лемая ветром. Как попала она сюда, — всё разрушено и затоптано вокруг дома. А она темно-зеленая, сильная, через тень внутри здания, на фоне яркого синего неба кажется живой картиной. «Хороша, — говорит Александр Степанович, — на руинах живет и дышит. Что-то доверчивое есть в том, как она повисла средь старых камней и разбитой штукатурки. Вот нарисую я ее, как вижу, будут читать и будет казаться им, что где-то это в чужой, неизвестной стране, а это тут, близко, возле самой моей души и глаз. И всё так. Важно — как посмотреть. Мои глаза и чувства видят ее с той стороны, которой другой не замечает. Оттого-то она и кажется нездешней. И люди мои, лишенные обязательного coleur locale, кажутся нездешними, а они вокруг нас. Я их вижу, чувствую и описываю в цельности их чувств, желаний, переживаний, не смазанных никакими бытовыми и прочими наслоениями. Они живут, страдают, радуются и волнуют читателя».

ВЛАДИМИР САНДЛЕР

ВОКРУГ АЛЕКСАНДРА ГРИНА

Жизнь Грина
в письмах и документах

Моя первая встреча с Грином произошла, когда мне было двенадцать лет. Я жил на Севере, в Воркуте.

Не так давно кончилась война, но мы, мальчишки, еще жили воспоминаниями о ней. Книги, которые мне попадались, были о войне, да других я бы и не стал читать. Всё остальное казалось мне пресной обычностью, и только там, где стреляли, — там была настоящая жизнь.

В тот зимний день утро так и не наступило. Чуть забрезжил рассвет, да так и не разгорелся. Низкие темные тучи осели над городом, Началась пурга. Сухой крупный снег выбивал на стеклах тревожную мелодию. Ветер завывал всё протяжнее и громче. В редкие паузы с улицы доносились жалобные и нетерпеливые автомобильные гудки.

Я сидел на тахте в зимнем пальто, ноги были покрыты ватным одеялом. Комната наша угловая, и одна стена в морозные дни покрывается инеем. Печка отбирает немало места, но в пургу ее словно не существует.

Я скучал. Книжки стоят на этажерке, но все, что про войну, прочитаны по нескольку раз. Остальные меня не интересуют. Я честно за них принимался, но после двух-трех страниц меня тянуло на улицу.

Вошла соседка. Я сразу заметил в руках у нее две толстые тетради в коленкоровом переплете.

— Прочти.

Соседка уходит, а я принимаюсь за чтение. Почерк ясный, почти каллиграфический. В двух тетрадях перепи-

саны какие-то «Алые паруса» какого-то Грина. Подзаголовок совершенно мне непонятный — «Феерия».

Поначалу я читаю просто потому, что нечего читать, читаю из вежливости. Но вот холодная комната, в которой я сижу в зимнем пальто, поджав ноги, начинает растворяться. Уходят вдаль крики пурги, город.

Я читаю главу «Грэй».

Эта книга казалась сотканной из солнечного света, тепла, радости, улыбок и легкой грусти. Она звала и торопила. Я сам был Артуром Грэем, капитаном стремительного «Секрета». Струя пены, отбрасываемая моим кораблем, «белыми чертами прочертила моря и океаны, гасла и возникала в блеске вечерних огней разноязычных гаваней и портов».

Всё-таки чудесно быть капитаном!

«Никакая профессия, кроме этой, не могла бы так удачно сплавить в одно целое все сокровища жизни, сохранив неприкосновенным тончайший узор каждого отдельного счастья. Опасность, риск, власть природы, свет далекой страны, чудесная неизвестность, мелькающая любовь, цветущая свиданием и разлукой; увлекательное кипение встреч, лиц, событий; безмерное разнообразие жизни, между тем как высоко в небе то Южный Крест, то Медведица и все материки — в зорких глазах, хотя твоя каюта полна непокидающей родины с ее книгами, картинами, письмами и сухими цветами, обвитыми шелковистым локоном, в замшевой ладанке на твердой груди».

Это я, Грэй, нашел спящую Ассоль, купил алый, как заря, шелк, это моему кораблю, несущему алым разливом парусов сбывшуюся мечту, салютовал крейсер могучим залпом, это меня ждала девушка, стоя «средь пустоты знойного песка, растерянная, пристыженная, счастливая, с лицом не менее алым, чем ее чудо, беспомощно протянув руки к высокому кораблю».

Мог ли я знать тогда, что этой сценой феерии, именно феерии, восхищался Горький; мог ли я знать тогда, что в Ленинграде в 1943 году артистка Чернявская читала по радио «Алые паруса», и люди, видевшие смерть, плакали, слушая повесть о том, как надо ждать, как надо надеяться.

Так познакомился я с книгой удивительной любви к людям, доброты, мудрости и печали.

Так вошел в мою жизнь Александр Грин.

Потом, лет через пять, я пошел по следам Грина и продолжаю идти до сих пор. Кажется, сделал немало, немало нашел, но сколько загадочного остается для меня в жизни и творчестве этого человека...

«СРЕДИ ТОВАРИЩЕЙ ВЫДАВАЛСЯ ОДИН ТОЛЬКО ГРИНЕВСКИЙ...»

В последних числах июня 1896 года в веселом знойном южном городе Одессе на берегу моря стоял худощавый юнец. На нем была соломенная шляпа, парусиновая блуза, подпоясанная ученическим ремнем с медной бляхой, парусиновые брюки были сунуты в высокие, до бедер, тяжелые охотничьи сапоги с ремешками под коленями.

Он жадно, полной грудью вдыхал воздух, в котором перемешалось множество запахов: соленой воды, угольной пыли, нагретого камня, пароходного дыма.

Прямо перед ним гремел порт: тяжело ворочались краны, стучали лебедки, и длинная вереница пестро одетых грузчиков сновала вверх и вниз по сходням. А дальше, за причалами и кораблями, играло в теплых лучах солнца искристое синее море. Гладь его бороздили маленькие, казавшиеся слабосильными, буксиры и стремительные яхты с огромным крылом паруса. Утром и вечером, когда всходило или садилось солнце, далекий парус на секунду вспыхивал алым цветом.

Юноше еще не было шестнадцати. Он обходил пароходы, просил принять его матросом, но капитаны и помощники, критически окинув взглядом его тщедушную фигуру, раздраженно и насмешливо отвечали: «Нет».

Море лежало перед юношей, как дорога в огромный, таинственный и прекрасный мир, полный «смертельно любопытных уголков». Но этот мир, видимо, не нуждался в нем.

Юноша, конечно, не мог знать, что он станет писателем Александром Грином, не мог знать, какая трудная дорога жизни ему предстоит и какая посмертная слава его ожидает.

Что мы знаем о детстве, отрочестве и юности Грина? Казалось бы, немало. Ведь мы счастливые облада-

тели «Автобиографической повести», и будущие биографы всегда будут черпать из нее полными горстями.

Однако «Автобиографическая повесть» — странная книга.

Куда вдруг исчезла любовь Грина к сочным бытовым зарисовкам? Где мастерская кладка деталей? И то и другое, разумеется, есть, но в каких-то совершенно — если так можно выразиться — не гриновских количествах. Какой опытный прозаик, повествуя о своем детстве, опустит описание домашней обстановки или совершенно ничего, за исключением двух-трех штрихов, не скажет о городе, в котором жил!

Попробуйте-ка узнать из «Автобиографической повести» какие-нибудь интересные подробности о Вятке или найдите хотя бы название улицы, где жили Гриневские!

Почему же книга получилась такая «общая»? Отсутствие типичной для Грина конкретности в деталях, казалось бы, должно насторожить, породить сомнение в биографической достоверности «Повести».

— Гриневский? — спросила заведующая читальным залом Государственного архива Кировской области. — Как же, есть целое дело.

Вскоре выяснилось, что «целое дело» есть об отце, Степане Евсеевиче Гриневском, а Саша Гриневский лишь внесен в картотеку как сын политического ссыльного.

В обширном деле С. Е. Гриневского находим копню документа, в котором говорится, что «Стефан Евсеев Гриневский сего 1872 года сентября 15 дня повенчан» с Анною Стефановною Ляпковой.

Родители Грина поженились за восемь лет до рождения первенца Саши. Он родился 23 августа (11 августа по старому стилю) 1880 года в маленьком городке Слободском, в тридцати километрах от Вятки.

Первое, что запомнил мальчик, — зимняя дорога. Родители переезжали из Слободского в Вятку. Саша на руках у матери. Запрокинув голову, он внимательно разглядывал звездное небо, и ему казалось, что не он едет, а широкая звездная дорога плывет над ним. Грин говорил потом, что звездная дорога родила в нем сказку, задумчивость, любовь к прекрасному.

В августе 1889 года Саша Гриневский поступил в подготовительный класс вятского земского Александровского реального училища.

В училище его встретили вощеный паркет, огромные портреты в золоченых рамах, бородатые мужчины, ходившие степенно и важно и требовавшие такой же степенности от всех окружающих.

Именно здесь ясный детский мир впервые столкнулся с самодовольной казенщиной. Всю жизнь Грин будет протестовать против всего, что хоть в незначительной степени ущемляет человеческое достоинство. Об этом, в сущности, все его книги. Протест этот, конечно неосознанный, начался еще в детстве, здесь, в вощеных коридорах.

Саша Гриневский был одним из самых способных в классе — это признавали даже бородатые мужчины, но успехи его в учении были более чем скромны, и от замечаний буквально ломился журнал инспектора:

«21 сентября 1889 года. Вел себя неприлично при выходе из училища.

6 октября. Принес в класс игрушку.

14 октября. Смеется и шалит за уроками.

5 декабря. Бегал по классу и дрался. Во время урока гимнастики баловался — ложился на пол и развлекал товарищей.

20 генваря 1890 года. На глазах (фамилия неразборчива. — *В. С.*) обижал девочку и не сознался в том.

19 марта. Хлопнул в ладоши, когда дежурный (Кузнецов) не мог прочесть молитвы, и тем самым обидел законоучителя.

21 марта. Передразнивал на улице пьяного. Свистел и вел себя крайне неприлично.

7 мая. Вел себя неприлично на уроке з а к < о н а > божьего и был удален с урока...»

Не все записи пока удалось разобрать, и привел я лишь некоторые.

Педагогический совет, подводивший итоги учебного года, констатировал:

«Относительно поведения учеников нужно сказать, что общий уровень весьма благоприятен. Те чисто детские привычки и поступки, кои учениками принесены были с собою из семьи, не могли иметь в себе характера, вызывающего на меры внушений и строгости.

Конечно, на первых порах дело не обходилось без того, чтобы не влиять на сформирование привычек в направлении дисциплины, требующейся правилами училища, но день за день ученики свыкались с новою для них обстановкою сами собою. Среди товарищей резко выдавался один только Гриневский, выходки которого были далеки от наивности и простоты... Поступки Гриневского обращали на себя внимание даже училищного начальства. Поведение Гриневского находим бы нужным аттестовать баллом «3». Между прочими проступками Гриневского выдающимися являются следующие: 21 сентября он, выходя из училища, вел себя весьма неприлично — толкался, причем и кидался землею; во время уроков он смеялся и шалил, и затем позволял употреблять неприличные выражения в отношении товарищей».

Это написано о девятилетнем мальчугане, а звучит, как внушительный юридический документ. Педагогический совет решил уведомить родителей, «что если они не обратят должного внимания на дурное поведение своего сына и не примут с своей стороны меры для исправления его, то он будет уволен из училища».

В отчете есть запись о том, что читают ученики подготовительного класса. В «Автобиографической повести» Грин заметил: «Довольно большая библиотека Вятского земского реального училища, куда отдали меня девяти лет, была причиной моих плохих успехов. Вместо учения уроков я, при первой возможности, валился в кровать с книгой и куском хлеба; грыз краюху и упивался героической живописной жизнью в тропических странах».

Но вот перед нами сухой канцелярский документ, написанный классным наставником Саши Гриневского. В нем точно сказано, что мог читать (а точнее — имел право читать) юный реалист:

«Чтение книг учениками из ученической библиотеки началось с октября месяца. Выбор книг по содержанию соответствует возрасту, развитию и понятиям учеников. Книги выдаются тем, кто успевает исполнять уроки. Чтением преследуется приобретение навыка в беглости и выразительности. В данное время совершенно необходима выработка техники чтения. Помимо сего от учеников требуется, по возможности, и отчет в прочитанном. Понимание прочитанного достигается выбором подходящих книг».

Далее идет список «подходящих книг», где рядом

с произведениями Аксакова, Афанасьева, Крылова, Григоровича стоит откровенная слащавая пошлость, вроде журнала «Детское чтение», «Трудовой год крестьянина» и т. п.

Вероятно, родители, несмотря на требование педагогического совета, не приняли достаточно действенных мер для исправления поведения сына, потому что, начав учиться в первом классе, Саша Гриневский вскоре выбыл из училища. В журнале педагогических совещаний есть краткая запись: «Директор училища сообщил, что ученик 1 класса Гриневский, по прошению его отца, уволен из училища. Постановили принять к сведению и упомянутого ученика исключить из списков». Но в бумагах реального училища прошения Степана Евсеевича найти не удалось. В «Автобиографической повести» Грин вспоминал, что из-за плохой дисциплины он провел год дома, не очень скучая по классу.

Как он жил тогда, кто окружал его?

Сохранилось письмо Грина писателю И. Новикову, помеченное 29 апреля 1931 года:

«Вспомнил, как мы — я и мой отец, служивший в земстве за грошовое жалование 60 руб., — проводили однажды Первое мая. Мне было тогда 10 лет. Мы поехали на перевозе за реку Вятку в село Дымково, к кузнецу, работавшему в земстве. Бедный домик честного кузнеца стоял близко к реке. С нами было трое служащих богоугодных заведений — конторщики и их жены.

После пирогов с рыбой и мясом, пельменей, щей, жареных уток, ветчины, пирожков с изюмом, ватрушек с кашей, колбасы, сыра, мармелада, пива, наливок и водки компания пришла в столь благодушное настроение, что кузнец и мой отец, оба бородатые, пьяные, стали на пол на четвереньки и начали бодать друг друга лбами и мычали. Всем было очень весело. Конторщик Матвеев взял груду тарелок и махнул их на пол. Хозяйка побледнела, но насильственно улыбалась и говорила: «Ничего, я подмету».

К вечеру, относительно протрезвясь после сна под черемухой, все поехали на лодке к озеру удить рыбу. Играла гармония, женщины щелкали орехи, пели: «Из страны, страны далекой...», «Хаз-Булат удалой...» и прочее. Рыбы не поймали, но выпили четверть водки и три корзины пива. Вечером пытались играть в преферанс. Конторщик Матвеев бил себя в грудь, говоря:

«Я беден, но я честен!» Он же уверял, что ненавидит детей и сам мог бы свернуть голову любому младенцу».

Следующий учебный год не ознаменовался для Саши Гриневского какими-то заметными успехами. Средняя отметка за учение не поднималась выше 3,4 балла, зато поведение от 3 уверенно шагнуло к 4. Проступки, шалости? Записей в графе «Александр Гриневский» по-прежнему больше, чем у любого другого ученика.

Перейдя во второй класс, Грин не проучился в нем и первой четверти. Инспектор записывает:

«17 сентября. Шалил за уроком гимнастики.

24 сентября. Занимается литературой (стихи).

5 октября. Невнимательно сидит за уроком немецкого языка.

7 октября. Шалил на уроке гимнастики...

14 октября. Во время урока немецкого языка писал неприличные стихи на инспектора, его помощников и преподавателей».

После этой записи инспектор крупными буквами вывел: «Выбыл из училища».

Из «Автобиографической повести» мы знаем, какая, достойная Гоголя комедия, разыгралась в стенах реального училища.

Перечитайте еще раз это место, а затем сравните с записью в журнале инспектора. Несомненно, вы сразу же обратите внимание на поразительное расхождение в датах. Середина октября в Вятке — осень, а в повести дело происходит зимой. Дальше — больше. Проверяю по спискам: оказывается, никакого Маньковского не существует, как не существует и преподавателя Капустина. Конечно, Маньковского вполне может заменить Паньковский, а Капустина — Пинегин. Дело не в этих «описках памяти». В журнале инспектора сказано: «Во время урока немецкого языка писал неприличные стихи...», а в «Повести» стихи были написаны заранее, и Саша всем давал их читать! Судя по всему, инспектор был человек крайне педантичный.

Несомненно, Грин драматизировал события, придал им несколько гротескный характер. По-видимому, история с Маньковским и побегом в Америку — плод фантазии писателя.

Познакомившись с документами реального училища, я попросил заведующую читальным залом показать мне

журнал инспектора городского четырехклассного училища, в которое Саша Гриневский поступил после реального.

— В Вятке было двенадцать городских четырехклассных училищ, — сообщила заведующая. — Какое именно вас интересует?

— Разумеется, то, которое окончил Грин.

Заведующая улыбнулась;

— Это я понимаю, но как мы его с вами найдем?

В тот первый приезд в Киров мне так и не удалось разыскать документы городского училища.

Документы же реального училища породили сомнение в достоверности «Автобиографической повести». Что это: простая забывчивость или нечто более сложное и важное?

Я рассматриваю старинные открытки с изображением Вятки. Вот Александровское реальное училище, вот улицы, по которым бегал Саша Гриневский, здесь он сражался с лопухами и крапивой, здесь открылся ему огромный, сверкающий, дразнящий и влекущий мир, он увидел его в своем воображении. Для этого театра переписывал он пьесы, здесь же играл крохотные роли статистов, появляющихся с неизменной фразой: «Кушать подано!»

Недавно писатель и краевед Е. Д. Петряев рассказал мне, что, по воспоминаниям старожилов, у этого, давно уже не существующего, театра был удивительный занавес с пальмами, крокодилами и прочими экзотическими атрибутами. Это не была какая-нибудь пошлая картинка, намалеванная ремесленником. Нет, занавес *звал и обещал,* создавал *настроение.*

Почему же Грин в «Повести» ни словом не упомянул об экзотическом занавесе? Тоже забывчивость? О театре в книге его говорится только как о заведении, рабски эксплуатирующем труд ребенка: за переписку пьесы для театральной труппы ему платили пять копеек с листа, «записанного кругом».

Экзотический занавес не понадобился Грину. Он — праздник. А праздник невозможно совместить с театром, который показан в «Повести» как одно из звеньев проклятой вятской жизни.

Почему, собственно, проклятой?

Мы привыкли говорить о старой Вятке, как о страшном медвежьем угле. Но писатель не рождается на

пустом месте: среда, традиции, которым мы обычно уделяем слишком мало внимания, — всё влияет на формирование души. В Вятке были библиотеки, частные и общественные, были люди, которые о многом могли рассказать, были кружки учащихся, читавших запрещенные книги... Об этом превосходно рассказано в книге Евг. Петряева «Литературные находки».

О городе своего детства и отрочества Грин рассказал, гиперболизируя темные стороны. Он только сравнил «провинциальный быт того времени, быт глухого города» с повестью Чехова «Моя жизнь», и для нас «атмосфера напряженной мнительности, ложного самолюбия и стыда» становится ясной до конца.

В «Автобиографической повести» Грин описал не совсем ту Вятку, какую знал. Ему надо было показать, как рвется на свободу юная душа, открытая всем порывам, всем соблазнам мира, и он сознательно сгустил фон, чтобы читатели видели, как цепок и страшен мир, из которого он должен уйти, как далеко протянуты его щупальца, как старается он удержать свою жертву.

Я вернулся в Киров через год, уверенный, что найду подтверждение своим догадкам.

Попробовал «атаковать» «Повесть» с неожиданной стороны.

Образ отца. Еще раз внимательно пересмотрел дело С. Е. Гриневского. Познакомился с письмами сестер Грина.

Сестры обиделись за Степана Евсеевича. Екатерина Степановна писала в Кировский литературный музей: «Всё это (образ Степана Евсеевича в «Повести». — *В. С.*) неправда. Не знаю — зачем так понадобилось унизить отца? Неужели думал, что это принесет отцу ореол мученичества, из которого он вышел? Или это просто литературный оборот?» Не менее резко высказывается Екатерина Степановна в другом письме, направленном ею 27 марта 1960 года доценту Кировского педагогического института Н. П. Изергиной: «Отец наш не в нищете умер и не пьяница, а человек, пострадавший за идею свободы».

Последнее, конечно же, полемическое преувеличение. Грин никогда и нигде не говорил, что отец его умер в нищете от пьянства.

Образ отца в «Автобиографической повести» в самом деле образ литературный, а не реальный, бытовой.

В действительности отец и сын с трудом понимали друг друга. Когда Грин в 1903 году был арестован за революционную агитацию, севастопольские жандармы попросили вятских коллег допросить Степана Евсеевича. Отец многое не понимал и не принимал в сыне, но трудно представить, чтобы он не понимал до такой степени. Вот показания Степана Евсеевича, документ жесткий и категоричный, бескопромиссный:

«На предъявленных мне... двух фотографических карточках я признал одно и то же лицо — сына моего Александра... Сын Александр родился в 1881 году (в действительности в 1880-м. — *В. С.*)... За всё время проживания сына... Александра в моем доме я утверждаю, что он не привлекался ни к каким политическим делам. К сему показанию я должен добавить: Александра я считаю человеком психически ненормальным; как на примеры ненормальности указываю следующие факты: 1) не однажды Александр без всякого повода и один на один вдруг захохочет; 2) иногда встанет и начнет целовать косяки; 3) без всякого повода раздражался, готов был драться со мной и в особенности <с> мачехою. С детства у него была мания к стихотворству. Будучи 10-летним реалистом, он написал пасквильное стихотворение на всех преподавателей. Это обстоятельство и послужило главным поводом к исключению его из реального училища. Такая ненормальность умственных способностей у Александра, по моему мнению, явилась наследственною; отец мой был ипохондрик, два брата отца, мне дяди, были умственно помешаны, но находились ли они в домах умалишенных — сказать не могу... Я должен сказать, что моя настоящая жена, мачеха Александра, последнего знает очень мало, так как с первых же дней он с нею ругался и я его удалил от себя».

Как видим, у Грина были кое-какие основания изобразить отца слабохарактерным человеком. В «Повести» он сделал художественный образ из одних «оснований», ибо ему надо было показать — от чего уходит (точнее убегает!) юный мечтатель.

Вероятно, Степан Евсеевич действительно был глубоко порядочным, хорошим семьянином и отцом, но,

повторяю, изобрази Грин его таким, каков он был в действительности, «фон» юного мечтателя потускнел бы.

«Автобиографическая повесть» книга стыковая. Вероятно, художественное задание ее продиктовал только что законченный роман «Дорога никуда». С одной стороны, рассказывая о своей жизни, Грину хотелось быть по возможности правдивым (как, впрочем, найдешь коэффициент «правдивости» для такого неистового мечтателя!), то есть не отступать слишком далеко от реальных событий. Но вместе с тем на него давила пришедшая ретроспективно от «Дороги никуда» мысль, что надо показать *действительно* бывшего мечтателя-одиночку, который *действительно* жил в совершенно реальной стране, но который, в отличие от Давенанта, не сдавал одну за другой жизненных позиций.

Правда и художественное задание, наползая друг на друга, невольно вели к некоторой деформации реального.

А что, если всё-таки попытаться найти документы городского четырехклассного училища? Подтвердят ли они догадку?

Документы я нашел.

Прежде всего в глаза бросилось прошение С. Е. Гриневского учителю-инспектору:

«Имею честь покорнейше просить Ваше высокоблагородие принять сына моего Александра Гриневского в число учеников 3 отделения вятского городского училища. При сем прилагаю следующие документы: 1. Свидетельство о успехах из вятского Александровского земского реального училища за № 483; 2. Метрическое свидетельство о его рождении и крещении № 7089 и 3. Свидетельство о привитии оспы за № 245. 1892 г. Октября 19 дня».

Табели об успеваемости, найденные среди документов городского училища, говорят, что средний балл остался приблизительно таким же, как в реальном, не поднимаясь выше 3,7, Оценка за поведение тоже не изменилась, но количество замечаний, занесенных в журнал, резко сократилось.

Вот некоторые из них:

«6 октября 1894 года. На общей утренней молитве вел себя весьма скверно: вертясь на месте, подпрыгивал кверху, смеялся. В перемены постоянно шалит и возится.

29 ноября. Безобразничал во время панихиды, мешал другим, не прекратил шалостей, несмотря на замечание.

9 декабря 1895 года. По окончании уроков дрался с учеником Твидовым».

В журнале педагогического совета, состоявшегося 9 декабря, есть интересная запись:

«...вследствие предложения о. законоучителя, священника А. Н. Серафимова, обсуждался поступок учеников 3-го класса Зверковского Петра и Гриневского Александра, заключающийся в словесной жалобе их на о. законоучителя, обращенной к г. директору народных училищ Вятской губернии на недобросовестную, по их мнению, оценку законоучителем ответов, какие даются на уроках закона божьего всеми вообще учениками 3-го класса.

Из данных тем и другим учеником объяснений, потребованных от них вечером, в день принесения жалобы, г. учителем-инспектором училища в присутствии преподавателя 3-го класса Д. К. Петрова, оказалось, что ближайшим поводом к этой жалобе послужило следующее обстоятельство: и Зверковским и Гриневским в день жалобы их г. директору получены были неудовлетворительные баллы по закону божию, тогда как ученики эти, по их собственному мнению, заслуживали более высокой оценки своих ответов. Жалоба принесена была вышеозначенными учениками помимо не только своего классного наставника, но также и учителя-инспектора училища, причем пред принесением ее ученики эти не сочли даже нужным убедиться в действительности поставленных им отметок, сделав заключение о них на основании одних лишь своих соображений, а главное — не дали себе труда объясниться лично с о. законоучителем по поводу своих неудовлетворительных ответов.

Находя в поступке учеников Зверковского и Гриневского, во-первых, неуважение к о. законоучителю не только как к преподавателю, но и просто как лицу старшему по отношению к ним; во-вторых, решительно ни на чем не основанное принесение ими жалобы помимо учителя-инспектора училища и своего классного наставника

и, в-третьих, поспешность и необдуманность поступка их (в последней сознались сами виновные), результатом которых явилось отсутствие правдивости в жалобе учеников (только Гриневский получил неудовлетв. отметку, а Зверковский удовлетворительную, как оказалось по справкам с журналом о. законоучителя), совет, признав поступок Зверковского и Гриневского крайне неблаговидным, весьма оскорбительным для всего состава учащихся вообще и для о. законоучителя в особенности, постановил: убавить Зверковскому и Гриневскому отметки в поведении их за истекающую четверть учебного года и объявить об этом всем учащимся в городском училище, предупредив всех их, что в случае повторения со стороны кого-либо из них подобного вышеуказанного поступка виновные будут подвергнуты гораздо более строгому наказанию».

Характерно для нравов городского училища, что никто из преподавателей даже не задумался: а быть может, в жалобе учеников есть что-то существенное? Их обеспокоил только собственный престиж.

Читатели, конечно, понимают, как придирчиво проверял я по документам всё, о чем написано в «Автобиографической повести».

Перечтите, например, историю стычки Саши Гриневского с учителем Терпуговым (в действительности фамилия его была Панкратов).

Казалось бы, инцидент этот, хотя бы в какой-то завуалированной форме, должен быть отражен в документах городского училища. Однако мне ничего найти не удалось. Не нашел я документальных подтверждений и некоторых других историй, описанных в «Автобиографической повести».

Стало очевидно: кое-где Грин не вспоминал, а сочинял.

Одной из самых примечательных находок среди документов городского училища были балльники с адресами, где жили Гриневские.

Перед отъездом я сообщил о своей находке Н. П. Изергиной, а она в свою очередь Е. Д. Петряеву. Через несколько месяцев я узнал, что Евгению Дмитриевичу удалось разыскать дома, где жил юный Грин.

На страницах «Кировской правды» (а затем в книге «Литературные находки») Е. Петряев рассказал об этом поиске:

«В 1892 году Александр Гриневский поступил в вятское городское училище (после исключения из реального за сатирические стихи). В табелях «об успехах и поведении» отмечались адреса родителей. По такому табелю выяснилось, что до 1894 года Гриневские жили в доме Ивановой на Никитской улице, в 1895 году — в доме Пупырева на Раздерихинской улице, а с осени 1895 года и позднее — в доме Леденцова на Преображенской улице».

Для того чтобы найти эти дома, пришлось обратиться к архивным документам. Фамилии давних домовладельцев уже никто не помнил. И вот, просмотрев гору окладных книг старой Вятки, всё же удалось определить, что на Никитской улице в квартале № 60 у солдатки А. В. Ивановой было два дома: двухэтажный полукаменный и рядом одноэтажный каменный флигель с мезонином. Позже оба дома принадлежали какому-то А. Г. Морозову, а в тридцатых годах перешли к государству. В документах архива за 1895 год указано, что наследники Ивановой получали доход — квартирную плату (двенадцать рублей в год) только с флигеля. Это позволяет установить, что Гриневские жили у Ивановой именно во флигеле (теперь улица Володарского, 44). Как сообщила сестра Грина Екатерина Степановна Маловечкина, в доме Ивановой умерла мать писателя — Анна Степановна. Квартира была довольно далеко от городского училища (теперь школа № 42 по улице Коммуны, 33) — почти шесть кварталов, немного ближе она была и в доме Пупырева. Дом этот снесен, и всю северную сторону квартала (против школы № 14) занимают большие здания.

С 1895 года Гриневские жили в доме «кандидата на классную должность Ф. Н. Леденцова. У него было два полукаменных дома в два этажа; окна квартиры Гриневских выходили на улицу...».

Документы городского училища еще раз подтвердили мысль о «деформации» реального в «Повести».

Несомненно, к «Автобиографической повести» не следует относиться как к безусловно документальному повествованию. «Повесть» — художественное произведение. Грин — уже зрелый художник — не просто воссоздал картины своей юности (повествование — с частыми отступлениями, с перебивками, с перескакиванием с темы на тему — построено так, что мы безусловно верим

в «документальность» всего написанного), но дал цвет, запах, воздух эпохи. Как на первый взгляд ни камерна книга, писатель обобщил в ней увиденное им на рубеже двух веков.

«Автобиографическая повесть» — книга горькая и гордая, ироничная и вместе с тем нежная, задумчивая, почти умиротворенная, книга беспощадная по отношению к себе, автору и герою, мудро и жестко правдивая и одновременно овеянная вымыслом, тем самым «колдовским враньем», которое еще Достоевский называл «действительнее самой действительности»,

ДОРОГИ МОЛОДОСТИ

В мае 1896 года Саша Гриневский окончил городское училище и собрался в Одессу.

Пароход отошел от пристани, круто забирая влево. Седобородое растерянное лицо отца и плеснувшее в воображении море, раздвинутое парусами, — было последнее, что он запомнил.

Прощай, страна детства!

Он уходил в большую жизнь, к морю, переливавшемуся в душе его всеми цветами радуги, к живописному труду, полному высокой романтики и мужества.

Ему было шестнадцать. Ему казалось, что мир распахнут перед ним и дальние дороги зовут его, зовут властно и неумолчно, как рокот моря, долетавший со страниц приключенческих книг в город, затерянный в северных лесах.

Путь к морю был для Саши Гриневского «рядом мелких колумбиад, открытий и наблюдений». На пристанях он впервые самостоятельно тратил деньги, покупая всякую снедь. В Казани его поразил вид поезда: когда-то на журнальной картинке он увидел вагон и подножки и был уверен, что это полозья, на которых поезд двигается но снегу...

А потом была огромная страна, которую он пересек с северо-востока на юг, мир энергичных, развязных, добрых, лживых, сочувствующих, корыстных людей, мир в котором надо было сразу же твердо заявить о себе, о своем праве на место под солнцем. Но мог ли об этом знать шестнадцатилетний юнец, впервые отправившийся в далекий путь?!

Через много лет он напишет повести и рассказы, где

его герои станут со всей решимостью, вплоть до оружия, отстаивать право на свободу и человеческое достоинство.

Но — это в будущем, а пока ему предстояло еще пройти такие углы и ямы «расейской азиатчины», что было странно, как он не потерял веру в Добро.

«Наконец я приехал в Одессу. Этот огромный южный порт был для моих шестнадцати лет дверью мира, началом кругосветного плавания, к которому я стремился, имея весьма смутное представление о морской жизни. Казалось мне, что уже один вид корабля кладет начало какому-то бесконечному приключению, серии романов и потрясающих событий, обвеянных шумом волн. Вид черной матросской ленты повергал меня в трепет, в восторженную зависть к этим существам тропических стран (тропические страны для меня начинались тогда от зоологического магазина на Дерибасовской, где за стеклом сидели пестрые, как шуты, попугаи). Все встречаемые мной моряки и в особенности матросы в их странной, волнующей отблесками неведомого, одежде были герои, гении, люди из волшебного круга далеких морей. Меня пленяла фуражка без козырька с золотой надписью «Олег», «Саратов», «Мария», «Блеск», «Гранвиль»; голубые полосы тельника под распахнутым клином белой как снег голландки; красные и синие пояса с болтающимся финским ножом или кривым греческим кинжальчиком с мозаичной рукояткой. Я присматривался, как к откровению, к неуклюжему низу расширенных длинных брюк, к загорелым, прищуренным лицам, к простым черным, лакированным табакеркам с картинкой на крышке, из которых эти впущенные в морской рай безумно счастливые герои вынимали листки прозрачной папиросной бумаги, скручивая ее с табаком так ловко и быстро, что я приходил в отчаяние. Никогда не быть мне настоящим морским волком. Я даже не знал, удастся ли поступить мне на пароход» (рассказ «По закону»).

Наняться матросом не удавалось.

Саша продал свои пожитки, купил ношеное матросское платье, надеясь, что в этом преображенном виде он сможет поступить на пароход. Он всё еще казался себе «молодцеватым, широкоплечим парнем».

Но результат был тот же самый.

Кончились деньги. Его приютом стала ночлежка — «баржан» на одесском ж а р г о н е, — где можно было за

десять копеек получить место на деревянных нарах; столовой — знаменитая «обжорка», приют пьяниц, бродяг и разного мелкого портового люда.

Добрые люди приняли в нем участие и поместили в береговую команду на полное довольствие.

Голод, насмешки, грязь ночлежки — ничто, казалось, не могло выбить из него «романтических иллюзий».

«Тогда один случай, может быть незначительный в сложном обиходе человеческих масс, наполняющих тысячи кораблей, показал мне, что я никуда не ушел, что я — не в преддверии сказочных стран, полных беззаветного ликования, а среди простых, грешных людей»,

Подрались два матроса, и один ударил другого ножом в спину. Раненого привезли в бордингауз. У него была небольшая температура, но ел он с аппетитом, даже играл в карты, и все понимали, что он уверенно идет на поправку. Рассказал он о драке беззлобно, «серьезно и кратко», с той неизбежностью, с которой человек «покоряется печальному происшествию».

В бордингауз приехал доктор, приехал по просьбе того, другого, нанесшего удар: он полон раскаяния, у него жена, дети, и если дело не будет замято, его ожидают каторжные работы.

«— Вы видите, — сказал доктор в заключение, — что от вас зависит, как поступить — по закону или по человечеству. Если «по человечеству», то мы замнем дело. Если же «по закону», то мы обязаны начать следствие, и тогда этот человек погиб, потому что он виноват».

Все находившиеся в бордингаузе замерли. Все понимали, что рана не опасна, что пострадавший скоро поправится: как отнесется он к предложению доктора?

«Он был лицом типичный моряк, а «моряк» и «рыцарь» для меня тогда звучало неразделимо. Его руки до плеч были татуированы фигурами тигров, змей, флагов, именами, лентами, цветами и ящерицами. От него несло океаном, родиной больших душ. И он был так симпатично мужествен, как умный атлет...»

Раненый долго молчал, потом поморщился, как от укола, и, ни на кого не глядя, тихо, как-то особенно буднично сказал:

— Пусть уж... по закону.

«С этого дня я стал присматриваться к морю и морской жизни с ее внутренних, настоящих сторон, впервые

почувствовав, что здесь такие же люди, как и везде, и что чудеса — в самих нас».

Осенью Грину удалось сделать два рейса малого каботажу вдоль черноморского побережья, а весной ему даже посчастливилось совершить рейс в Александрию на корабле «Цесаревич». Он рассказал об этом рейсе в рассказе «Пасха на пароходе».

В память об этом единственном заграничном рейсе у Грина остался полный комплект матросского обмундирования. Какое-то время он жил продажей этих вещей.

Опять началась проклятая жизнь люмпена.

СОЛДАТ

Потом были новые дороги, попытки найти в жизни свое, настоящее место и, наконец, добровольная служба в армии (по законам Российской империи, как первый ребенок, он не подлежал воинской повинности). Отец был рад такому решению: он надеялся, что суровая армейская дисциплина сделает из сына человека. В том, что Александр не мог по-настоящему устроиться, отец видел единственно его неумение подчиняться существующим порядкам.

«Меня отдали в солдаты, причем, так как я не выходил в объеме груди на $^1/_4$ вершка, отложили прием на март следующего года. Затем канцелярия воинского начальника всосала меня своими безукоризненными жабрами, и я поехал среди других таких же отсрочников в город Пензу, через Челябинск и т. д.» (рассказ «Тюремная сторона»).

Кругом стояли занесенные снегом леса. Тишину их будил только пронзительный свисток паровоза. Грин смотрел на белую пелену снега, рваные клочья дыма, относимые назад, вслушивался в стук колес. «Ну что такое ружье? Девять фунтов, — думал он. — В стрельбе я не подведу. Зато всегда буду сыт и одет». Он так устал от постоянного недоедания, от жизни кое-где и кое-как.

Но уже в первые «два-три дня приемки, разбивки, выдачи мундиров, заплатанных и перезаплатанных» его охватило чувство глухой враждебности. Если бы его спросили о причине неудовольствия, он, вероятнее всего, не смог бы ответить толково и обстоятельно. Что-то сковывало его здесь, но это «что-то» было пока еще не ясно для него самого. Простым деревенским

парням, приехавшим с ним, явно нравилась солдатская форма, которую они видели на старых служаках и которую им предстояло надеть вскоре, после присяги. Ему же всё это было безразлично. Он уже успел поездить по свету, насмотрелся на разных людей и их обычаи.

Он ни перед кем не заискивал и искренне удивлялся, почему новички «со сладострастием угодливости работали щетками», чистя фельдфебелю сапоги, почему вообще надо льстить, изгибаться и трепетать даже перед мелким начальством?

«Как человек бывалый и развитой» Грин «быстро усвоил всю несложную мудрость шагистики и вывертывания носков, съедания начальства глазами, ружейный механизм и — так называемую „словесность"». Он привык быть себе хозяином, спать и есть, когда захочется, привык быть несвязанным. Здесь же он был заперт в четырех стенах казармы и все его желания и потребности натыкались на «пожелания» начальства. Он понял, что царская армия закабаляет человеческое «я», и с этим примириться никогда не мог.

«Моя служба прошла под знаком беспрерывного и неистового бунта против насилия. Мечты отца о том, что дисциплина «сделает меня человеком», не сбылись. При малейшей попытке заставить меня чистить фельдфебелю сапоги, или посыпать опилками пол казармы (кстати сказать — очень чистой), или не в очереди дневалить, я подымал такие скандалы, что не однажды ставили вопрос о дисциплинарных взысканиях. Рассердясь за что-то, фельдфебель ударил меня пряжкой ремня по плечу. Я немедленно пошел в «околодок» (врачебный пункт), и по моей жалобе этому фельдфебелю врач сделал выговор. На исповеди я сказал священнику, что «сомневаюсь в бытии бога», и мне назначили епитимью: ходить в церковь два раза в день, а священник, против таинства исповеди, сообщил о моих словах ротному командиру.

Командир был хороший человек — пожилой, пьяница и жулик, кое-что брал из солдатского порциона, но он был хороший человек. Он скоро повесился на поясном ремне, когда его привлекли к суду.

Был я очень удивлен, когда взвод наш по приказанию ротного командира был выстроен в казарме и ротный произнес речь: «Братцы, вы знаете, что есть враги отечества и престола; среди нас есть такие же, опасайтесь

их», — и т. д. — и грозно посматривал на меня. Но что в этом? Грустно мне было слушать эти слова...

Лагерные занятия прошли хорошо. (Между прочим, я брал в городской библиотеке книги; однажды к моей постели подошел взводный, развернул том Шиллера и, играя ногами, зевая, грозно щурясь, ушел.) Я был стрелком первого разряда *. „Хороший, ты стрелок, Гриневский, — говорил мне ротный, — а плохой ты солдат"».

Грин рассказал жене, что из десяти месяцев службы в армии три с половиной он провел в карцере, на хлебе и воде. В ноябре 1902 года Грин бежал из армии.

Уже после ареста Грина, в Севастополе, в 1903 году, командир полка, направляя документы о беглом солдате начальнику севастопольской жандармской команды, нашел нужным «присовокупить»:

«Уведомляю ваше высокоблагородие, что рядовой Александр Гриневский, сын дворянина Вятской губернии, действительно служил в командуемом мною полку (бывшем батальоне) с 18 марта по 28 ноября 1902 года, когда и был исключен из списков бежавшим: причина побега, очевидно, нравственная испорченность и желание уклониться от службы.

...Приметы Гриневского... рост 2 аршина $7^{7}/_{8}$ вершка, волосы русые, глаза серые, взгляд коих угрюмый; лицо продолговатое, чистое, нос с горбинкой, рот и подбородок умеренные, усы чуть пробивались...»

Если после столь суровой аттестации мы заглянем в выписку из журнала взысканий и воспримем всё как есть, в «чистом» виде, без «посторонних» свидетельств, то «нравственная испорченность» Грина, на которой настаивает командир Оровайского полка, станет непреложным фактом.

Но едва мы попробуем «совместить» эти записи с общим фоном эпохи и порядками, царившими в армии, картина разительно меняется.

В армии Грин попал в среду, где самым заурядным явлением было садистское издевательство над более слабым, где начальство всячески поощряло донос, желание выслужиться, где из людей настойчиво и планомерно выбивали, вытравляли всё человеческое, превращая их

---

* В послужном списке Грин числится стрелком третьего разряда.

Здесь и далее подстрочные примечания *Вл. Сандлера.*

в бездумные автоматы, готовые по первому сигналу «резать, грабить, жечь».

В сохранившемся «Послужном списке» солдата Александра Гриневского говорится:

«1902 год. Март, 18-го: зачислен в батальон рядовым. Июль, 8-го: исключен из списков батальона бежавшим. Июль, 17-го: зачислен в списки батальона из бегов. Июль, 28-го: предан суду. Ноябрь, 28-го: исключен из списков батальона бежавшим».

В графе «Подвергался ли наказаниям и взысканиям» записано:

«По приговору батальонного суда, учрежденного при 213 Оровайском рез. батальоне, состоявшемся 7 августа 1902 г., за самовольную отлучку и покинутие мундирной одежды в месте, не предназначенном ее хранению, и за промотание мундирной одежды и амуничных вещей, выдержан под арестом на хлебе и воде три недели без перевода в разряд штрафников».

После ареста Грина в Севастополе жандармы послали карточку Гриневского пензенским «однополчанам» с просьбой произвести дознание среди командного состава и нижних чинов Оровайского батальона.

Ответы сослуживцев Грина стереотипны, поэтому я приведу только показание, данное ефрейтором Дмитрием Петровичем Пиконовым, которое, как мне показалось, по крайней мере одной, совершенно художественной деталью (деталь: об отношении Грина к Оровайскому батальону!) выделяет их из общей массы. Пиконов говорит:

«В предъявляемой мне фотографической карточке я признаю Александра Степанова Гриневского, бывшего со мной в одном взводе; который в 1902 году служил в первой роте и в первом взводе рядовым около года и затем бежал из батальона приблизительно в последних числах октября или же в первых числах ноября месяца и после того разыскан не был. За время служения в батальоне Александр Гриневский вел себя скверно и совершил несколько серьезных выходок, из которых помню одну: когда нашу роту повели в баню, Гриневский разделся... повесил на полку свои кальсоны и объявил, что это знамя Оровайского батальона. Гриневский всегда ослушивался начальства и был за это часто подвергаем дисциплинарным взысканиям. Гриневский происходил из дворян, был отлично грамотеи, читал очень много книг,

которые брал у вольноопределяющихся, фельдшера и даже, с разрешения начальства, брал их из городской библиотеки, но все книги были хорошие, так как осматривались начальством...

Фамилии вольноопределяющихся и фельдшера, которые давали Гриневскому книги для чтения, я не помню. Гриневский против царя или же против устройства государства ничего не говорил».

За время службы в Оровайском батальоне Грин познакомился с подпольщиками. Пропаганду в Пензе вели как социал-демократы, так и эсеры. Причем в Оровайском батальоне пропаганду вели только эсеры. Программа эсеров была мелкобуржуазной и авантюрной. История давно вынесла эсерам свой окончательный приговор. Однако эсеры имели значительное влияние на крестьянство, и В. И. Ленин и ленинцы, ведя беспощадную идейную войну с эсерами и эсеровщиной, считали допустимыми временные соглашения с ними в некоторых случаях, для совместной общей борьбы с царизмом. На баррикадах первой русской революции социал-демократы и эсеры сражались рука об руку.

Грин в «Тюремной старине» (я цитировал его слова) очень точно определяет стихийность своей тяги к революционерам, ибо для него, испытавшего «углы и ямы расейской азиатчины», самым важным в тот период было открытие, что с ненавистным строем можно бороться. Позже мы увидим, что Грин, работавший под руководством видных эсеров Быховского и Слетова, будет одновременно с одинаковым темпераментом проповедовать идеи как эсеров, так и социал-демократов.

Шел 1902 год, начинался 1903-й, первые признаки надвигающейся революции были уже налицо. Буржуазно-демократический характер революции, писал В. И. Ленин, «неизбежно ведет и будет вести к росту и умножению самых разнообразных боевых элементов, выражающих интересы самых различных слоев народа, готовых к решительной борьбе, страстно преданных делу свободы, готовых принести все жертвы этому делу, но не разбирающихся и не способных разобраться в историческом значении происходящей революции, в классовом содержании ее». Таких людей В. И. Ленин называл «беспартийными революционерами». По-видимому, Грина мы

должны отнести именно к этой категории революционеров.

Эсеры помогли Грину бежать из армии. Вот как это произошло.

«27 ноября, — докладывал по начальству унтер-офицер Мирошниченко, — часов около 10 утра Гриневский заявил, что у него не имеется кисти для письма суворовских изречений, каковые он должен был писать по приказанию ротного командира. Я доложил об этом его высокоблагородию ротному командиру, который велел дать Гриневскому денег и послать купить кисть. После обеда, около 2-х часов пополудни, Гриневский явился <ко> мне и, получив от меня 5 коп. денег, ушел в город. На Гриневском были: шинель 2-го срока, башлык, барашковая шапка, пояс, мундир и шаровары третьего срока, сапоги на нем были после умершего нижнего чина нашей роты Козьмы Гордиенко, данные Гриневскому для носки ротным командиром. Затем Гриневский ушел в город и больше не возвращался».

О том, что было дальше, рассказывает старый пензенец Алексей Архипович Морозов (воспоминания его записал и прислал мне Е. В. Колеганов):

«Алексею Архиповичу было в то время пятнадцать. Его старший брат Григорий, служивший телеграфистом на железной дороге, был связан с пензенским революционным подпольем. Несмотря на разницу в восемь лет, братья дружили, и старший охотно поверял младшему свои мысли и дела.

Глухой осенью 1902 года (или уже выпал снег, — Алексей Архипович точно не помнит), вечером, старший брат сказал, что сегодня из расквартированной в Пензе воинской части Оровайского батальона должен бежать один солдат, который зайдет сюда, к нам, и которому, по просьбе товарищей, надо помочь скрыться. Братья плотно занавесили окна и стали ждать.

Алексей Архипович рассказывает:

— Поздний вечер. Вся наша семья в сборе. Комната тускло освещена керосиновой лампой. На столе кипит самовар. В дверь кто-то постучал. Мать открыла дверь, и из кухни послышался ее голос: «Дома, дома, дома... И Гришенька дома». В комнату вошел солдат. Это и был Гриневский. При свете маленькой керосиновой лампы я не разглядел, во всяком случае не запомнил, лицо, рост этого солдата и как он был одет и обут. Его стали уго-

щать чаем. Но солдату не сиделось на месте. То ли торопясь, то ли стесняясь и волнуясь, он стал посреди комнаты, затем достал из кармана письмо и подал его брату. Брат прочел и вышел в соседнюю комнату. Там в углу стоял маленький столик с керосиновой лампой. Я вошел вслед за братом, Гриневский остановился в дверях. Брат зажег лампу, а когда она разгорелась, приложил письмо к стеклу. Бумага слегка потемнела, и на ней между строк письма выступили строчки цифр. Это было конспиративное зашифрованное письмо, написанное так называемыми симпатическими чернилами. Брат открыл какую-то книгу. Он глядел то в книгу, то на цифры письма и в то же время писал карандашом буквы на листе бумаги.

Я с жадным интересом смотрел на письмо и на руки брата. Я уже не помню содержания письма, но о том, что в нем было написано, нетрудно догадаться. Оно подтверждало, что предъявивший его — действительно тот солдат, которому надо помочь скрыться из Пензы. Кончив расшифровку, брат снял с лампы стекло, сжег письмо и сказал: «Добре!»

Брат не тянул время. Он спешил. Но спешил спокойно, уверенно, без суеты. Гриневскому надо было уехать как можно скорее. Его побег из батальона вот-вот мог обнаружиться, и на улицах и на вокзалах могли появиться патрули. Паспорта брат Гриневскому не давал. Об этом, видимо, позаботились те, кто его прислал. Григорий подал Гриневскому заранее припасенное пальто, оказавшееся ему явно коротким. Это осталось в памяти, может быть, потому, что пальто носили в те времена длинные. И еще мой брат дал Гриневскому железнодорожный билет. Солдату оставалось только сесть в поезд, пробыв на вокзале минимум времени. Ясно, четко помню, как брат сказал, что билет в Саратов».

В ЕКАТЕРИНОСЛАВЕ

Затем в биографии Грина наступает провал. Известно только, что он работал агитатором в нескольких городах, был отправлен на карантин: его хотели использовать для террористического акта, но Грин отказался выполнить задание. Несколько лет спустя он рассказывал жене, что на карантине испытал первое серьезное разочарование в эсерах.

В 1907 году Грин напишет повесть «Карантин». В главном герое ее, Сергее, нетрудно узнать самого писателя. В повести Грин объяснит отступничество Сергея тем, что он понял: террористический акт противоречит Жизни.

...В первых числах июля 1903 года в Тамбов приехал профессиональный революционер-подпольщик Наум Яковлевич Быховский, которому ЦК эсеровской партии поручил восстановить разгромленную организацию в Екатеринославе.

«Приехав в Тамбов, — пишет Быховский, — я пришел на явку к молодой девушке Ванде Болеславовне Колендо, которая служила в библиотеке губернской земской управы. Оттуда я попал к какому-то студенту, который созвал всех членов местного комитета партии.

...Один из участников этого собрания повел меня к себе ночевать.

...Проснувшись утром, я увидел, что у противоположной стены спит какое-то предлинннющее тонконогое существо. Проснулся и хозяин комнаты, приведший меня сюда.

— А знаете, — сказал я е м у , — я хочу у вас тут попросить людей для Екатеринослава, потому что люди нужны нам до зареза.

— Что же, — ответил он мне, — вот этого долговязого можете взять, если желаете. Он недавно к нам прибыл, сбежал с воинской службы.

Я посмотрел на долговязого, как бы измеряя его глазами, разглядел, что он к тому же и сухопарый, с длинной шеей, и сразу представил себе его журавлиную фигуру с мотающейся головой на Екатерининском проспекте, что будет великолепной мишенью для шпиков.

— Ну этот слишком длинный для нас, его сразу же заметят шпики.

— А покороче у нас нет. Никого другого не сможем дать...

...Товарищ принес чайник с кипятком и разную снедь. Было уже 9 часов утра, но долговязый не просыпался. Наконец товарищ растормошил его.

— Алексей, — сказал он ему, когда тот раскрыл заспанные глаза, — желаешь ехать в Екатеринослав?

— Ну что же, в Екатеринослав так в Екатеринослав, — ответил он, потягиваясь со сна.

В этом ответе чувствовалось, что ему решительно безразлично, куда ехать, лишь бы не сидеть на одном месте. Мы разговорились, и я решил, игнорируя его неподходящий рост, взять его в Екатеринослав, куда он и был тотчас отправлен мною. Это был А. Грин (Александр Степанович Гриневский)».

Пока Быховский продолжал турне по городам России в поисках новых людей, Грин быстро акклиматизировался в Екатеринославе. Будучи «единственным профессиональным нелегальным», он сразу же взял бразды правления в свои руки. Ему явно пришлась не по душе тихая размеренная работа екатеринославской организации. Он хотел дела и немедленного результата. Алексей написал прокламацию, размножил ее на гектографе, но, не будучи силен в теории, допустил несколько серьезных теоретических ляпсусов...

Словом, когда Быховский вернулся в город, он понял, что Алексея надо немедленно прибрать к рукам. Работником он оказался хорошим, но его портила страсть к преувеличениям, а главное — полнейшее неумение распоряжаться деньгами. Пятнадцать — двадцать рублей, выдаваемые ему из средств комитета, он тратил в два-три дня и потом пробавлялся кое-где и кое-как. И еще смущало Быховского, что этот молодой человек, страстно преданный делу революции, с полнейшим безразличием относился к эсеровской программе, к теории социалистов-революционеров.

Характерной чертой Грина была искренность. Всё, что он делал, он всегда делал с полной отдачей. Он был человеком увлекающимся, всегда готовым идти до конца и вместе с тем в вопросах меркантильных почти преступно беспечным. Жизнь множество раз наказывала его за это, но переделать так и не смогла. Грин мог по нескольку дней голодать и всё же на первые полученные деньги идти покупать подарки. Он никогда не мог объяснить окружающим свою страсть к красивым, поэтичным вещам. Деньги не держались у него, они словно жгли ему пальцы. О том, чтобы сэкономить, он даже запрещал себе думать, считая всё это мещанством, скопидомством.

Так случилось и в Екатеринославе. Быховский считал эти траты преступными. Он подходил к Грину

с требованиями «нормального» человека, не поняв, что уже тогда Грин был не только революционером. Рядом с профессиональным подпольщиком шел по жизни другой человек, художник, и этот человек очень часто корректировал слова и поступки революционера. И самое замечательное, что художник ничуть не «портил» революционера, а помогал ему быть более убедительным в агитационных выступлениях. Это особенно сказалось в дальнейшем, в Севастополе.

4 августа по решению социал-демократического и эсеровского комитетов должна была состояться всеобщая забастовка. К этому дню эсеры хотели выпустить прокламацию, но, как на грех, за квартирой, где был установлен их печатный станок, началась усиленная слежка. Решено было, разобрав оборудование, переправить его в безопасное место. Нашли помещение недалеко от города, на хуторе, у родственников одного из членов комитета.

«Прокламацию, — вспоминает Быховский, — я продиктовал Долговязому, который написал ее печатными буквами. Некоторые выражения ему, кажется, не особенно нравились. Но я же не знал, что это будущий видный экзотический беллетрист, и потому не придавал особенного значения его критике. Помнится, однако, что ему хотелось придать этой прокламации необычную для такой литературы, своего рода беллетризированную форму.

...Печатали ее Ганс, Геник (позже в рассказах Грина появятся революционеры Ганс и Геник. — *В. С.*), я и Долговязый всю ночь поочередно, засыпая на час-два для отдыха. Если бы шпики были более опытны и усердны, им никакого труда не стоило бы проследить меня и особенно Долговязого, когда мы в светлую, лунную ночь шли по безлюдной степи к этому хутору. Хотя вышли мы отдельно из разных улиц, но в ровной как скатерть степи всё было видно за одну-две версты как на ладони. Особенно должна была выделяться на этом фоне журавлиная фигура Долговязого».

Грин рассказывал жене, что вскоре после их знакомства Быховский поручил ему написать прокламацию. Прочитав написанное, он сказал: «Гм... гм... А знаешь, Гриневский, мне кажется, из тебя мог бы выйти писатель». (Быховский об этом не пишет, быть может, запамятовал.)

«Это было, — рассказывал Грин, — как откровение, как первая, шквалом налетевшая любовь. Я затрепетал от этих слов, поняв, что это то единственное, что сделало бы меня счастливым, то единственное, к чему, не зная, должно быть, с детства стремилось мое существо. И сразу же испугался: что я представляю, чтобы сметь думать о писательстве? Что я знаю? Недоучка! Босяк! Но... зерно пало в душу и стало расти. Я нашел свое место в жизни».

Демонстрация 7 августа 1903 года в Екатеринославе была встречена пулями и казацкими нагайками. Несколько человек убитых, множество раненых.

«Вечером, — пишет Быховский, — мы устроили собрание, на котором товарищи излагали всё, чему они были свидетелями. Это необходимо было сейчас же зафиксировать, чтобы описать происшедшие события и отправить немедленно корреспонденцию в «Революционную Россию» *.

Тут, между прочим, долговязый Алексей рассказал, что за ним погнался городовой, от которого он хотел скрыться, перепрыгнув через невысокий забор какого-то сада. Но городовой, продолжая преследовать его, тоже перепрыгнул через этот забор. Тогда, по словам Долговязого, он выстрелил в городового из браунинга и убил его наповал. Городовой остался лежать на траве в саду.

Мы хотели об этом факте сообщить в прокламации, выпускаемой нами по поводу расстрела рабочих, и в корреспонденции, направляемой в «Рев. Россию». Однако путаность объяснений Долговязого, где и как это произошло, на какой улице, в каком месте, заставили меня несколько усомниться в правдивости этого сообщения и подождать с опубликованием этого факта.

Действительно, прошло несколько дней. Полиция не сообщала об исчезновении городового. Не было также никаких слухов о нахождении убитого городового в саду или где бы то ни было. Стало ясно, что это плод фантазии Долговязого. Хорошо, что мы воздержались от оповещения этой выдумки, иначе попали бы в скандальное положение. Как видим, фантазия и тогда уже была сильно развита у будущего беллетриста».

---

* Газета эсеровской партии; издавалась за границей.

В городе начались массовые аресты. Быховский и Алексей, наиболее примелькавшиеся шпикам, вынуждены были уехать.

Грин отправился в Киев. Быховский туда же, но кружным путем — ему надо было посетить несколько организаций.

Грин проработал в Киеве около месяца под руководством Степана Слетова (Еремея). «Его находили недурным работником, — продолжает Быховский, — но жаловались, так же, как и в Екатеринославе; на некоторые «странности» его — пристрастие к пивным и незнание счета деньгам. Получив деньги из скудных средств организации, он быстро растранжиривал их, причем так же легко раздавал, как и брал. Само собой понятно что это были небольшие суммы в 15—20 рублей, получаемые им каждый раз, так как больше организация не в состоянии была давать. Но другие подпольщики на такие скромные суммы существовали неделями и больше, а Долговязый на второй-третий день после получки сидел уже без гроша и питался чем только возможно у рабочих. Вскоре, однако, Еремей сплавил Долговязого в Севастополь, считая, что он там в работе среди матросов будет более полезен. Любивший очень передвижения и новые места, Долговязый весьма охотно согласился на эту новую командировку и немедленно укатил в Севастополь».

Может быть, Быховский действительно оказался прав и Грина вела по жизни страсть к перемене мест?

СЕВАСТОПОЛЬ

Грин приехал в Севастополь в двадцатых числах сентября из Одессы. В Одессе он виделся с сотрудником местной газеты, у которого должен был получить литературу для Севастополя, но вышло какое-то недоразумение, и Грин уехал в Севастополь налегке.

К «делу» о пропаганде среди нижних чинов флота были приобщены, а потому сохранились показания квартирной хозяйки Грина:

«Зовут меня Степанида Ивановна Неведрова, мещанка г. Ялты, швея, проживаю в г. Севастополе по Театральной улице, дом Казанджи, № 6.

На предложенные вопросы отвечаю: 22 сентября 1903 года ко мне на квартиру зашел незнакомый мне человек

и просил отдать ему внаем комнату, о чем... мог узнать по вывешенному на воротах билетику. Договорился он о квартире засветло и в тот же вечер переехал ко мне, принеся с собой свои вещи: старое пальто, одну рубаху и высокие сапоги; два одеяла и подушка у него были; я ему кровати не дала, и спал он на полу. Отдала я ему комнату за 7 рублен в месяц, которые платил он по частям. При прибытии... он предъявил мне паспортную книжку, которую я сама снесла в полицию, где мне сказали — я неграмотна, — что жильца моего зовут Александром Степановичем Григорьевым. Был он человек неразговорчивый, отвечал только на вопросы и мне сказал как-то, что... ко мне переехал с поезда, прибыл в Севастополь искать должности по письменной части, знакомых в городе не имеет, едет издалека (отец его служит где-то фельдшером, мать умерла, есть мачеха и малолетние братья и сестры). Жил он тихо и скромно, ежедневно уходил с утра, часов в семь-восемь... и возвращался большею частью часов в одиннадцать вечера. Дома не обедал, днем заходил в свою комнату изредка. Говорил мне, что всё ищет должности, но когда я, узнав об очистившейся в портовой конторе должности бухгалтера с жалованием в 40 руб. в месяц, предложила ему похлопотать об этом месте, он отказался, говоря, что... пойдет только на 50 рублей. Недели через три после переезда ко мне он приобрел плетеную корзину, ту самую, что мне предъявлена (свидетельнице предъявлена корзина, взятая при обыске в квартире Григорьева—Гриневского 11 ноября 1903 года), немного белья и книжек. Прожив с месяц, Григорьев выехал из квартиры на восемь дней, как он говорил в Симферополь, искать место, но неудачно. Прожив по возвращении из Симферополя с неделю, он, как говорил, поехал в какое-то имение неподалеку от Севастополя. Отлучился он дня на три и потом говорил мне, что два дня он провел в имении, а одну ночь ночевал у знакомых в Севастополе. Затем он до обыска у меня жил безвыездно. (Грин уезжал в первый раз в Саратов, во второй — в Ялту. — *В. С.*)

После возвращения Григорьева из Симферополя, в начале второго месяца его жительства у меня, к нему стали наведываться посторонние люди, а именно: 1. Молодой, чернявый, без бороды, в усах, с еле пробивающимися бакенбардами, в золотых очках, в студенческой

форме, роста был он среднего; более никаких примет его я не помню. Этот студент заходил к моему квартиранту два раза днем и засиживался до позднего часа. Раз даже переночевал у Григорьева; это было, припоминаю, в первое его посещение Григорьева; третий раз заходил и снова ночевал у Григорьева, по-видимому, этот же студент, но был уже в старом статском пальто, в штиблетах; впрочем, я боюсь ошибиться, может и другое лицо приняла за студента.

2. Второй, ходивший к Григорьеву несколько раз, был блондин, худенький, стройный, высокий, с еле пробивающимися усами, молодой; по первому впечатлению я приняла его за родного брата Григорьева, о чем и сказала Григорьеву; но последний мне ответил, что это его знакомый. Этот блондин заходил к Григорьеву не раз, но иногда не заставал его дома. Однажды у Григорьева встретились студент и блондин, пили втроем чай и долго беседовали. Добавляю, что блондин ходил всегда в длинном статском пальто и в высоких сапогах. Я заявила своему квартиранту Григорьеву, что у нас без заявки ночевать нельзя посторонним, но он ответил мне — было это за неделю до обыска, — что его гости больше к нему ходить не будут. Фамилии его гостей я у него не спрашивала и этих гостей никогда на улице не встречала. Опознать их в лицо я могу». (К Грину заходили брат Киски — так ласково среди друзей звали Екатерину Александровну Бибергаль — Виктор и его приятель Евгений Синегуб. — *В. С.*)

Первые дни Грин акклиматизировался. Он много бродил по городу, знакомясь с будущими маршрутами, ездил с Киской смотреть раскопки древнего Херсонеса.

Вскоре он включился в пропаганду.

Киска ввела Александра в курс дела, познакомила с солдатами крепостной артиллерии и матросами флотских экипажей. И он принялся за работу.

Катер перевозил Грина через бухту на Северную или Южную сторону, где в условленном месте «из-за кустов, бугорков, камней» поднимались матросы с балалайками, водкой, закуской, чтобы в случае появления непрошеных гостей вселить мысль о вполне безобидной пирушке.

Сходки солдат и матросов в Севастополе начались давно, но устраивались они так редко и были столь ма-

лочисленны, что до ушей жандармской команды доходили лишь невнятные слухи.

С приездом Грина положение резко изменилось. Документы охранки говорят, что с 1 по 19 октября прошло шесть сходок только у солдат крепостной артиллерии. А ведь сведения жандармов наверняка далеко не полны.

Грин вел параллельно работу и среди моряков Черноморской эскадры и солдат крепостной артиллерии.

В декабре 1965 года я познакомился в Симферополе с Григорием Федоровичем Чеботаревым, устраивавшим Грину сходки в казармах береговой артиллерии. До меня у Чеботарева побывал сотрудник симферопольского архива В. Н. Шабанов, который записал его воспоминания. Привожу часть рассказа Чеботарева:

«В 1901 году меня призвали на действительную военную службу. Попал я в севастопольскую крепостную артиллерию. И, конечно, не забыл старых знакомств с «опасными» людьми, потому что солдаты и матросы те же крестьяне и рабочие и слово правды им просто необходимо.

Со времен Крымской войны над городом осталась оборонительная стена. В ней было множество амбразур. В одной из них друзья всегда оставляли для меня пачку свеженьких прокламаций, какую-нибудь брошюру антиправительственного характера. Их я аккуратно прятал, приносил в казарму и незаметно раздавал надежным солдатам.

Из солдат крепостной артиллерии я организовал кружок. С каким интересом перечитывали мы каждый номер «Искры»! Сам-то я был не шибко грамотен, да и другие тоже. Поэтому мы стали привлекать в свой кружок агитаторов.

Снабжала наш кружок литературой Нина Васильевна Никонова, жена врача городской больницы. С ней я познакомился на одной из сходок на Братском кладбище, где мы стали бывать. Она была начитанной, образованной женщиной. Солдаты и матросы приходили на ее сходки и беседы с большим желанием.

На сходках, а подчас и прямо в казарме, выступал Канторович (социал-демократ. — *В. С.*).

Когда меня произвели в канониры и назначили заведовать столярной мастерской, мы не стали ходить тайком на кладбище по два-три человека. Стали собираться чаще всего прямо в мастерской.

Как-то я сказал Никоновой, что мне нужен еще один агитатор. Она обещала помочь. И назначила встречу на Братском кладбище. Она привела молодого человека, похожего на студента. Он представился мне:

— Товарищ!

Расспрашивать было не принято: конспирация. Лишь значительно позже я узнал его настоящее имя и фамилию — Александр Степанович Гриневский.

Чтобы не привлечь внимания посторонних, мы несколько раз собирались на Северной стороне, на Михайловском кладбище. Здесь Гриневский провел несколько сходок.

Он говорил о крепостном праве, от которого полностью так и не освободился народ, о бесправном положении трудящихся. Рассказывал о причинах такого положения. Восторженно и очень доходчиво излагал нам истории восстаний Степана Разина и Емельяна Пугачева, печальную и героическую историю выступления декабристов.

— Офицеры хотели сами, без народа, освободить страну от самодержавия, — говорил наш новый агитатор. — И у них ничего не вышло. А иначе не могло и быть: без народа ничего не сделаешь! Нужно самим браться за оружие, потому что солдаты — сыны безземельных крестьян и неимущих рабочих. Потому что только сам народ, трудящиеся могут решить свою судьбу.

Он призывал к всеобщему восстанию против царизма, против жестокостей и несправедливостей существующего строя. Говоря о положении на фабриках и заводах, Александр Степанович добавлял:

— Рабочий класс должен жить, а не умирать! Должен пользоваться всеми благами жизни, а не влачить нищенское существование!

Неоднократно заходил он и ко мне в мастерскую, где читал для солдат запрещенные брошюры.

Запомнилось его чтение брошюры В. И. Ленина «К деревенской бедноте», которую из-за границы привезла нам Е. Лам (невеста Канторовича. — *В. С.*). Читал он вразумительно, всё объясняя.

Мне было известно, что «студент» посещал также казармы флотских экипажей и был знаком с матросами Павленко, Скориком и другими, через которых собирал матросов на сходки, передавал революционные книги. Матросы чаще всего собирались на 42-м хуторе. Прихо-

дили охотно. Беседы «студента» всегда пользовались особым успехом. Он обладал каким-то талантом убеждения, способностью говорить о сложных вещах просто и доходчиво, увлекательно. Его слова, что называется, западали в душу. Это я испытал на себе. И такое же слышал от своих товарищей. Вообще мы, социал-демократы, гордились таким агитатором.

Гриневский мне запомнился молодым, сильным, энергичным. Просто было удивительно, как он везде успевает. Только что беседовал с солдатами в столярной мастерской, а потом узнаешь, что в этот же день он выступал перед рабочими прямо на полотне железной дороги. А ведь людей надо было собрать, организовать».

Чеботарев был арестован вечером 19 октября 1903 года. На допросе он держался стойко, отрицал какую бы то ни было причастность к сходкам, но солдаты, арестованные вместе с ним, разговорились со всей откровенностью. Тимофей Кириенко показал о сходке на Михайловском кладбище: «...сходка состоялась третьего или четвертого октября... Чеботарев пришел с вольным... Приметы этого вольного такие: роста среднего, худощавый, русые длинные волосы, лет двадцати восьми, без бороды, с маленькими усами, носит на шнурочке на шее маленькие дамские часы — черные. Этот молодой человек тогда на сходке ничего не читал и рассказывал солдатам историю России; помню, говорил о Рюрике, об Олеге, а затем начал рассказывать о заводах, о фабриках... о бедственном положении крестьян. Сходка продолжалась час или больше, и когда стали расходиться, то Чеботарев сказал солдатам, что предупредит их, когда будет следующая сходка. Мы отправились в казармы, а Чеботарев с вольным пошли по направлению к городу».

Ближайший товарищ Кириенко Степан Кривонос так описывает вольного, пришедшего с Чеботаревым: «Молодой, русый, с длинными волосами, в мягкой черной шляпе, с тросточкой, в высоких сапогах, пиджак, без бороды, лицо белое, а зубы черные».

На этом допросе Кириенко и Кривонос вызвались разыскать в городе «молодого человека» и «барышню», «посещавших сходки солдат и произносивших на них противоправительственные речи».

Грина в этот момент в Севастополе не было. Он ездил в Саратов за деньгами и литературой. В первые

же недели пребывания в Севастополе Грин увидел, какие широкие возможности для агитации, особенно среди матросов, открываются здесь. Наум Быховский, приехавший в Севастополь двумя неделями позже Грина, сообщает: «...в этой обстановке и атмосфере Долговязый оказался неоценимым подпольным работником. Будучи когда-то сам матросом и совершив однажды дальнее плавание, он великолепно умел подходить к матросам. Он превосходно знал быт и психологию матросской массы и умел говорить с ней ее языком. В работе среди матросов Черноморской эскадры он использовал всё это с большим успехом и сразу же приобрел здесь значительную популярность. Для матросов он был ведь совсем свой человек, а это исключительно важно. В этом отношении конкурировать с ним никто из нас не мог».

Вернувшись в Севастополь, Грин застал здесь пополнение. Из Москвы приехал брат Кати Бибергаль Виктор и его приятель прапорщик запаса Евгений Синегуб. Грину сообщили также печальную новость: арестованы Григорий Чеботарев и Николай Канторович.

Он вновь уехал, на этот раз в Ялту, на три дня.

Вслед за Грином в Ялту приехал Быховский.

«В Ялте, — пишет Наум Яковлевич, — я остановился у доктора, писателя-беллетриста С. Я. Елпатьевского, имевшего здесь прекрасную дачу. Принял он меня очень хорошо, отвел мне отдельную комнату. Он только очень пенял мне за то, что к нему направили Долговязого. Приезжавший до меня в Ялту Долговязый также остановился у Елпатьевского и увез с собою одеяло, не сказав никому об этом. Елпатьевскому не жалко было одеяла, но весьма неприятно было то, что это поставило его в неловкое положение перед горничной, которая сообщила ему об отъезде гостя и увозе им одеяла... «Хорошие гости бывают у нашего барина», — должна была подумать об этом горничная. Долговязый же взял одеяло, несомненно, совершенно беззаботно. Что значит для такого «буржуя», имеющего такую прекрасную дачу, какое-то одеяло, тем более что у него, Долговязого, не было одеяла. Так, вероятно, думал он. С такой же легкостью он мог бы отдать кому-нибудь другому взятое одеяло. Я рвал и метал и решил впредь Долговязого никуда не посылать с поручениями. Впоследствии я узнал, что Долговязый действительно оставил это одеяло другому товарищу, тоже не имевшему одеяла».

Этот случай в описании Быховского можно принять целиком, но с необходимой маленькой поправкой: судя по показаниям квартирной хозяйки, Грину одеяло было не нужно — он взял его для товарища.

С 29 октября Кириенко и Кривонос в сопровождении бомбардира Конона Сокура, пользовавшегося особым доверием начальства, стали ходить по городу в поисках «молодого человека».

Утром 11 ноября ничем, казалось бы, не подкрепленное чувство опасности охватило Грина. Он гнал его, старался думать о другом, но мысль о неминуемом аресте преследовала его настойчивостью непомерной.

В этот день на Южной стороне была назначена сходка солдат и матросов. Грин пришел к Кате Бибергаль и рассказал ей о своем предчувствии. Она подняла его на смех. Произошел крупный разговор. Он кончился тем, что Грин хлопнул дверью и направился к Графской пристани, откуда ходили катера на Южную сторону.

«Розыски по городу, — докладывал Кривонос в тот же день, — продолжались до 11 ноября и были безрезультатны; но 11 ноября около 4 часов дня, проходя по городу, мы подошли к Графской пристани, и я, почувствовав потребность в естественной надобности, зашел в городское отхожее место, которое имеет два входа, один с бульвара, а другой с улицы. Зайдя в отхожее место, я застал здесь... того молодого человека, которого мы разыскивали. Увидев его, я сейчас же вышел... и сообщил об этом Кириенко и Сокуру, причем Сокура я послал за городовым и, оставшись на улице... поставил Кириенко у другого выхода — на бульваре. Разысканный молодой человек вышел... ко мне, на улицу; тогда я подошел к нему и сказал «здравствуйте». Молодой человек не решался со мной здороваться, но когда я заявил, что он мне знаком, то он протянул мне руку и стал спрашивать о следующем: «Что у вас всё уже затихло теперь?» Я ответил — всё. Затем он спросил: «А что, тех, которых забрали, всех ли уже выпустили?» Я ответил — всех. «А Григория не выпускают?» (Григория Чеботарева, сделал пояснение в тексте показаний записывавший жандарм. — *В. С.*). Я ответил, что не выпускают. Тогда молодой человек заметил: «Нужно будет недельки через две опять этим заняться».

В это время вместе с Сокурой подошел к нам городовой, а также подошел и Кириенко, и я сказал городо-

вому задержать молодого человека. При задержании молодой человек не сопротивлялся, а только на предложение городового следовать за ним, сказал: «Куда пойдем?» На это я заметил ему, что мы, собственно, за ним и пришли. Тогда молодой человек, посмотрев на меня, сказал лишь протяжно «за мной» и последовал в участок».

В ТЮРЬМЕ. ПОБЕГИ. ОСВОБОЖДЕНИЕ

Грин жил по паспорту на имя Александра Григорьева. В комнате его нашли дорожную корзину, а в ней двадцать восемь брошюр издания как социал-революционеров, так и социал-демократов.

Начался допрос. На все вопросы — а их в протоколе немало — арестант отвечал: «Не желаю давать показаний».

В заключение Грин—Григорьев заявил: «Я не признаю себя виновным в том, что, войдя в соглашение с канониром севастопольской крепостной артиллерии Григорием Чеботаревым и с другими лицами, при содействии их, организовывал сходки солдат, происходившие в мастерской артиллерии, на Михайловском кладбище и вблизи Братского кладбища, с целью распространения между солдатами революционных изданий и произнесении речей, направленных к бунту против власти верховной и к ниспровержению правительства, а также в том, что хранил у себя на квартире революционные издания, найденные у меня при обыске 11 ноября 1903 года. *По поводу предъявленного мне обвинения никаких* объяснений представить я не желаю.

От подписи протокола обвиняемый Григорьев отказался».

Вечером того же дня товарищ прокурора в представлении прокурора Одесской судебной палаты, сообщив об аресте, обыске и допросе Грина, заключил: «В общем, поведение Григорьева было вызывающее и угрожающее. По допросе Григорьев заключен под стражу в севастопольскую тюрьму».

В Пензу был отправлен запрос о мещанине Григорьеве: севастопольские жандармы интересовались его родственными связями, приписан ли он к мещанскому сословию, на основании какого документа выдан паспорт и т. д.

Ответ пришел через несколько дней. Мещанская управа сообщала, что паспорта на имя Григорьева она не выдавала.

Грина вновь вызвали на допрос, предъявили бумагу из Пензы, но он стоял на первоначальных показаниях:

«Я настаиваю на том, что принадлежу к обществу мещан г. Пензы и что меня зовут Александром Степановым Григорьевым, и если пензенская мещанская управа сообщает, что 22 марта 1903 г. за № 351 паспорта на имя Григорьева не выдавала, то это несомненно ошибка».

Севастопольские жандармы вновь отправили запрос в Пензу. На этот раз им ответили более подробно. Подтвердив, что паспорта на имя Григорьева не выдавалось, председатель управы при этом сослался на письмоводителя и секретаря, которые сборов за выдачу паспортной книжки не заприходовали. Новая бумага выглядела солидно: подпись председателя удостоверяли четыре казенных печати.

10 декабря Грина вновь подвергли допросу. Он показал:

«После объявления мне сообщения пензенской мещанской управы заявляю, что я действительно не Григорьев и не мещанин г. Пензы, но кто я такой, объяснить не желаю. *Подписать протокол не могу ввиду того, что я скрываю свое звание и фамилию»*.

Как мы уже знаем из «Автобиографической повести», через семь дней, 17 декабря, Грин попытался бежать из тюрьмы, но неудачно. В одиночке, где он сидел, сделали тщательный обыск: нашли письмо, записку «с буквами и цифрами», знаменитый фельетон Амфитеатрова «Господа Обмановы» и несколько «революционного содержания» стихотворений.

Товарищ прокурора Симферопольского окружного суда — прокурору Одесской судебной палаты.

«...После покушения на побег именовавшийся Григорьевым был переведен в камеру нижнего этажа, чтобы устранить возможность переговариваться знаками с лицами, проходящими по улице мимо тюрьмы, и, кроме того, лишен: прогулок, чтения книг и письменных принадлежностей. Тогда Григорьев перестал принимать пищу и добровольно голодал в течение четырех суток. Наконец, 22 сего декабря, когда ему было объявлено,

что более строгое содержание его в тюрьме вызвано его же действиями, он изъявил желание принимать пищу и открыл свое имя и звание, назвав себя потомственным дворянином Александром Степановым Гриневским. Ныне предстоит поверка указаний о личности назвавшегося Гриневским».

Дав ответы на вопросы, касавшиеся только его лично (семейное положение, средства к существованию и т. д.), Грин категорически пресек какие-либо дальнейшие расспросы: «По обстоятельствам дела, по коему я привлечен, я никаких показаний дать не могу и не желаю».

Выяснив настоящее имя Грина, жандармы, как в таких случаях полагается, сразу же заполнили на него карточку. При этом оказалось, что росту Александр Гриневский 177,4 сантиметра (сидя 94,3), телосложение у него среднее, волосы светло-русые, глаза светло-карие, правый зрачок шире левого, длина головы 19, ширина 14,4. Затем шли размеры ступни левой ноги, среднего пальца и мизинца левой руки, длина распростертых рук, дотошно исследовали особые приметы: родинку на шее, татуировку — корабль с фок-мачтой на груди...

В то время, когда Грин и его друзья только еще разрабатывали план побега из севастопольской тюрьмы, среди матросов тоже нашелся предатель. В первых числах декабря царю было отправлено письмо, в котором его извещали о «значительно распространившейся преступной пропаганде», захватившей помимо воинских частей и некоторые флотские экипажи. Особенно усиленная агитация идет в морском госпитале и «среди команд военных судов „Очаков" и „Императрица Екатерина II"». По заявлению одного из матросов, «делаются приготовления к устройству на рождественских праздниках... вооруженных беспорядков». Поэтому в ночь на 1 декабря в морском госпитале был произведен обыск, «коим обнаружено несколько революционных брошюр, причем арестовано четыре лица».

После первых допросов, уже в начале 1904 года, жандармы выяснили, что пропаганду среди флотских экипажей вел всё тот же Александр Гриневский.

По документам охранки видно, что они успели схватить лишь немногих и о подлинном размахе агитации на

Черноморском флоте даже не имели приблизительного понятия.

Но и то, что они обнаружили, испугало жандармов до крайности. В Петербург срочно полетели телеграммы и письма с требованием вернуть Бибергаль из архангельской ссылки, запрашивали, следует ли объединять оба дела о пропаганде среди солдат крепостной артиллерии и флотских экипажей. Из столицы ответили: не следует.

В связи с предполагавшимся в 1904 году празднованием пятидесятилетия обороны Севастополя и возможным приездом царя Таврическое управление составило список особо опасных революционеров, действовавших в Крыму. О Гриневском сказано: «Натура замкнутая, озлобленная, способная на всё, даже рискуя жизнью. Пытался бежать из тюрьмы, голодал. Будучи арестован с 11 ноября 1903 года, пока не ответил ни на один вопрос».

В мае 1904 года Грин обратился с прошением к министру внутренних дел:

«В апреле месяце 1904 года мною было послано прошение на имя прокурора Одесской судебной палаты, в коем я просил его превосходительство о переводе меня в тюрьму города Вятки, где проживают мои родители. Означенное прошение было препровождено в главное тюремное управление. Так как на оное прошение до сего времени ответа не было, то прошу ваше высокопревосходительство сделать надлежащее распоряжение об отправке меня в г. Вятку или же о препровождении меня на место ссылки до приговора. Политический арестант Александр Гриневский. Севастопольский тюремный замок, мая 20-го дня, 1904 года».

Грин не случайно просил отправить его на место ссылки. Не видя возможности убежать из севастопольской тюрьмы, он решил сделать это в Вятке или на поселении.

Он рассказал, что отец прислал ему письмо с просьбой подать прошение на высочайшее имя. «Но он не знал, что я готов был скорее умереть, чем поступить так».

В декабре Грин вновь обратился с прошением:

«Прошу Одесскую судебную палату выпустить меня из тюремного заключения впредь до суда на поруки или же под надзор полиции ввиду того, что сидеть до суда остается довольно долго. Я сижу уже 14-й месяц».

Грину было объявлено, что освобождение его из-под стражи невозможно «за отсутствием к тому законных оснований и в виду важности предъявленного к нему обвинения», а посему прошение оставлено без последствий.

Грина должен был судить военно-морской суд Севастопольского порта.

Прокурор «потребовал двадцать лет каторжных работ», суд присудил Гриневского к десяти годам ссылки в отдаленные места Сибири.

Приговору Грин был рад. Он знал, что побег из ссылки — прочно утвердившаяся традиция.

Но радость оказалась преждевременной.

Вновь потекли бесконечные дни ожидания. И хотя арестант уже знал свой срок, он не знал, когда приговор будет утвержден.

Между тем наступила весна. И с новой обостренной силой захотелось на волю.

Старинный арестантский катехизис гласит: «Не считай дней впереди, считай только позади». Но от этого не становилось легче.

Вездесущие уголовные убеждали: «День тянется до обеда, неделя до среды, год — до сенокоса, срок каторги — до половины, а всё остальное такой пустяк, что и говорить не стоит, — отсидишь и сам не заметишь».

Грину предстоял еще один суд: по делу о пропаганде среди нижних чинов крепостной артиллерии.

6 апреля он, Канторович и Чеботарев получили повестки на суд, который должен был состояться в Феодосии.

«Меня перевезли, — рассказывает Г. Чеботарев, — в феодосийскую тюрьму.

В солнечную погоду я подошел к окну, достал незаметно зеркальце и стал сигналить зайчиком, азбукой Морзе: «Политические есть?» К моему удивлению, из противоположного окна со второго этажа таким же зай-

чиком я получил ответ: «Есть, Канторович и Гриневский».

Оказалось, что «студент» тоже переведен в эту тюрьму.

Встретились мы снова лишь на суде. Из тюрьмы Гриневского и Канторовича везли в тюремной карете, а меня под конвоем вели пешком. Вдоль улицы до самого здания, где должен был проходить суд, толпились люди. Многие меня приветствовали, бросали цветы».

Заседание открылось 23 мая 1905 года в 11 часов 43 минуты пополудни. В зал под стражей ввели подсудимых. Председательствующий обратился к ним с ритуальным вопросом: получили ли они копии обвинительного акта, знакомы ли со списком судей, свидетелей и прокурорского надзора? Подсудимые ответили утвердительно, при этом Грин добавил, «что он военно-морским судом присужден к ссылке на поселение».

Затем последовало перечисление прибывших на заседание защитников, и дальше выяснилось, что из двадцати приглашенных свидетелей присутствуют только шесть. Не явились в основном солдаты, переведенные в связи с русско-японской войной на Дальний Восток, в действующую армию или же в дальние военные округа.

«Товарищ прокурора, признавая неявку всех свидетелей законной, но вместе с сим находя личный допрос свидетеля Шендюка * существенно необходимым, полагал слушание дела отложить с изменением принятой против подсудимых меры пресечения и с отдачею каждого из них под залог в размере от 100 до 150 рублей.

Защитники подсудимых Канторовича и Чеботарева присоединились к заключению товарища прокурора, также просили об отсрочке заседания, указывая, что к следующему рассмотрению дела возможно надеяться на явку в суд свидетелей, находящихся ныне на Дальнем Востоке.

Подсудимый Гриневский ходатайствовал о слушании дела в отсутствии неявившихся свидетелей, ввиду того что показания их могут быть оглашены па суде».

---

* Генерал-майор, командовавший в момент ареста Грина севастопольской крепостной артиллерией; был затем переведен на Кавказ. Непосредственным свидетелем Шендюк не был.

Суд постановил неявку всех свидетелей признать законной. Канторовича и Чеботарева «ввиду продолжительного содержания под стражей» освободить и «потребовать денежный залог в сумме сто рублей» за каждого. Эта «мера» не касалась Гриневского, «как содержащегося... по другому делу, не зависящему от судебной палаты».

В тот же день брат Канторовича внес в казначейство двести рублей, и узники оказались на свободе.

Грин вскоре предпринял новую попытку побега, также окончившуюся неудачей. Его перевезли в севастопольскую тюрьму.

20 июня Грин обратился в Одесскую судебную палату с заявлением, прося рассмотреть его дело в ближайшую июльскую сессию «ввиду продолжительности моего заключения в тюрьме, вредно отзывающемся на общем состоянии здоровья».

Палата уведомила его, что в июле сессии не будет.

В июле Грин дважды обращался в севастопольский военно-морской суд: послан ли его приговор на утверждение и утвержден ли он?

Приговор был утвержден в августе.

Очередная сессия Одесской судебной палаты собралась только 27 сентября. Вновь повторилась старая история: суд за неявкой свидетелей, найденной законной, был вновь отложен. Защитник Гриневского «просил палату настоящее дело в отношении Гриневского прекратить, так как он... уже судился военно-морским судом и осужден к ссылке на поселение». Защитника поддержал товарищ прокурора. Палата дело прекратила.

В двадцатых числах октября 1905 года в связи с царским манифестом от 17 октября 1905 года верхние камеры севастопольской тюрьмы, забитые политическими, стали быстро пустеть. Гул в коридорах нарастал. Александр Гриневский — «весьма важный революционный деятель из гражданских лиц» (из письма министру внутренних дел фон Плеве), — ухватившись за чугунную решетку окна и подтянувшись, видел, как один за другим заключенные исчезали за воротами, где их радостно встречали жители города.

К полудню тюрьма опустела. В камеру Гриневского вошел надзиратель.

— На тебя амнистия не распространяется, лично от адмирала Чухнина передали, — сказал он, густо позевывая и нехотя крестя рот.

Едва он вышел, как в незапертую дверь камеры вошли четверо узников.

— Мы остаемся с тобой, — сказал один из них, — и выйдем только все вместе.

Гриневский кивком головы поблагодарил товарищей. Он не был уверен, что эта сидячая забастовка изменит решение Чухнина, давно пообещавшего сгноить его в тюрьме.

Но амнистия есть амнистия, и через двадцать четыре часа пятеро узников навсегда покинули душную камеру.

Грина приютил знакомый учитель.

В городе было неспокойно: ходили упорные слухи о предполагаемых погромах интеллигенции и евреев. Гриневский вместе с другими освобожденными ожидал по ночам, что придется идти воевать с погромщиками. Но всё обошлось благополучно.

Грин пробыл в Севастополе более месяца. Только однажды он ненадолго отлучился в Одессу — возил оружие. Он видел, как тяжелые крепостные орудия в упор расстреляли крейсер «Очаков». Вероятно, Грин лично не был знаком со Шмидтом, но помнил, что на сходках, которые он проводил в Южной бухте и на 42-м хуторе, было немало матросов с «Очакова». Через семнадцать лет Грин написал «Повесть о лейтенанте Шмидте», но она затерялась в недрах частного издательства «Радуга» и до сих пор не обнаружена.

Грин попросил направить его для работы в Петербург. Ему дали деньги, послали в Москву, где он получил явку в Петербург. Никто из комитетчиков не подозревал, что заставляло его торопиться в столицу.

Грин любил Катю Бибергаль.

Узнав, что Катя в Петербурге (она бежала из архангельской ссылки в Швейцарию, а затем вернулась в Россию), Грин помчался в столицу.

Вера Павловна Калицкая рассказывает, со слов Грина, что его первая встреча с Катей в Петербурге произошла в декабре 1905 года. Уже в эту первую встречу Катя поняла, что перед ней совсем другой человек, охваченный жаждой писать и внутренне отошедший от

эсеров. Катя не мыслила своей жизни без революционной работы. Произошло несколько объяснений, тягостных для обоих.

Бибергаль работала в военной организации эсеров, вела кружок. Катя очень ценила в Грине талант агитатора, умение говорить образно, живо, увлекательно. Она пригласила его провести занятие. Он согласился только ради нее. Но и здесь произошла ссора: он спрашивал, когда она станет его женой, а она неизменно отвечала, что он ушел из ее жизни с того момента, как отошел от партии.

Он явился к ней для последнего объяснения. Как всегда, Катя ответила отказом. Грин вытащил маленький дамский пистолетик, скорее игрушку, нежели боевое оружие. «Она держалась мужественно, вызывающе, — рассказывал он потом В. П. Калицкой, — а я знал, что никогда не смогу убить ее, но и отступить тоже не мог и выстрелил».

Пуля застряла в левом боку. Рана оказалась неопасной. Оперировал знаменитый хирург Греков, и вскоре Катя поправилась. Грин еще несколько раз приходил на квартиру, где жила Бибергаль, хотел с ней объясниться, но она всегда устраивала так, что в комнате находился кто-то третий.

Они расстались навсегда, но Грин часто вспоминал ее. Образ Кати Бибергаль в ранних его рассказах мелькнет не раз.

ПЕРВЫЕ ГОДЫ ПИСАТЕЛЬСТВА

7 января 1906 года в Петербурге, при «ликвидации боевого летучего отряда» эсеров, был арестован мещанин местечка Новый Двор, Волковышского уезда, Гродненской губернии Николай Иванович Мальцев.

Ровно через месяц охранка известила департамент полиции:

«...Мальцев показал, что его зовут Александр Степанов Гриневский, он потомственный дворянин, уроженец Вятской губернии, дезертировавший в 1902 г. из 213-пех. Оровайского резервного батальона и осужденный приговором севастопольского военно-морского суда... к ссылке на поселение, но в силу высочайшего манифеста... был освобожден 24 октября от даль-

нейшего наказания; на нелегальное положение перешел 10 декабря прошлого года».

Где и когда достал Грин паспорт на имя Мальцева, пока остается загадкой. Да и арестовали его совершенно случайно — он оказался в зоне облавы. На нелегальное положение Грин перешел потому, что охранка стала хватать подряд всех амнистированных и «особое совещание» без суда и следствия щедро раздавало «ордера на ссылку».

Грина заключили в Выборгскую одиночную тюрьму *. часто вызывали на допросы, но никаких сведений о явках, о товарищах по партии жандармы так и не получили.

В марте Грин подал прошение на имя министра внутренних дел:

«24 октября 1905 года я был выпущен из севастопольской тюрьмы в числе прочих амнистированных, где содержался вследствие приговора военно-морского суда Севастопольского порта, присудившего меня к ссылке на поселение по обвинению в ст. 129, 130 и 131-й уголовн. улож. 7 июня 1904 года. После этого я приехал в Петербург с единственной целью — приискать какие-либо занятия, необходимые для существования. Ввиду неопределенности политического момента и связанной с этим неуверенности в прочности своей свободы, я колебался начать жить под своим настоящим именем, вследствие чего не имел постоянной квартиры и вынужден был пользоваться квартирами частных лиц. Последовавшие вскоре аресты лиц, получивших амнистию, заставили меня — из опасения подвергнуться той же участи — взять фальшивый паспорт на имя Николая Иванова Мальцева, под каковым именем я и был без всякого повода с моей стороны арестован агентами охранного отделения 7-го января с. г. у Николаевского моста в 3 ч. дня. Затем меня отправили в Пересыльную тюрьму, где я и просидел до 26-го января, после чего был переведен в С.-Петербургскую одиночную тюрьму, где нахожусь по настоящее время, не зная ни причины своего ареста, ни срока своего заключения. Всё время я

* В официальных документах тюрьма на Выборгской стороне, неподалеку от Финляндского вокзала, именуется еще и «Петербургская одиночная». Жители города называли ее и просто «Кресты» (тюремный корпус, если смотреть на него сверху, расположен крестом).

числюсь за охранным отделением. Ни при мне, ни на квартире моей не было найдено ничего, что могло бы дать повод к такому несправедливому заключению мена в тюрьму. Если раньше, до амнистии, мое заключение и могло быть оправдываемо государственными соображениями, общими для всех политических преступников, то теперь, после амнистии, не имея ничего общего ни с революционной или с оппозиционной деятельностью, ни с лицами революционных убеждений — я считаю для себя мое настоящее положение весьма жестоким и не имеющим никаких разумных оснований, тем более что и арестован я был лишь единственно по подозрению в знакомстве с лицами, скомпрометированными в политическом отношении. На основании вышеизложенного честь имею покорнейше просить Ваше высокопревосходительство сделать надлежащее распоряжение об освобождении меня из тюрьмы, с разрешением проживать в г. С.-Петербурге. Политический заключенный Александр Степанов Гриневский. Марта 6-го дня, 1906 года».

Это прошение было его частным делом, ничьих интересов Грин не касался.

Первую страницу прошения наискось перечеркнула надпись: «Отклонить».

«От департамента полиции объявляется дворянину Александру Степанову Гриневскому, что по рассмотрении в Особом совещании, образованном согласно ст. 34 Положения о государственной охране, обстоятельств дела о названном лице, — господин министр внутренних дел постановил: выслать Гриневского в отдаленный уезд Тобольской губернии под надзор полиции на четыре года, считая срок с 29 марта 1906 года. 19 апреля 1906 года».

Приписка:

«Настоящее постановление мне объявлено мая 4 дня 1906 года А. С. Гриневский».

Поезд, увозивший Грина в ссылку, отошел от перрона Николаевского вокзала 15 мая 1906 года. Александра Гриневского сопровождал «Открытый лист», в котором сообщалось:

«Приметы:

лета: 25, рост 2 аршина $7^{7}/_{8}$ вершка (что соответствует 1 метру 76 сантиметров. — *В. С.*), лицо: чистое, глаза: карие, волосы, брови, усы: русые, борода: бреет, нос: умеренный, особые приметы: не записано».

В графе «По чьему распоряжению и по какой причине пересылается» говорится: «Согласно постановлению г<осподина> министра внутренних дел Гриневского выслать в ведение тобольского полицмейстера для водворения под надзор полиции в местности, по указанию тобольского губернатора, на 4 года, считая срок с 29 марта 1906 года». Из других глав документа явствует, что арестант «препровождается» без наручников и что от Петербурга до Москвы ему было выдано пятнадцать копеек «кормовых денег».

13 июня тобольский губернатор получил от туринского исправника телеграмму: «Административно-ссыльные политические дворяне Георгий Карышев, Александр Гриневский, одесский мещанин Михаил Лихонин, Гавриил Лубенец скрылись благодаря скоплению в Туринске семидесяти поднадзорных, незначительного числа городовых».

Тобольский губернатор немедленно известил о побеге департамент полиции, и в циркуляре разыскиваемых лиц, под номером 19000, появились сведения о Гриневском; когда и где арестовывался, за что и т. д.

Через Самару и Саратов Грин добрался до Петербурга, а во второй половине июля уехал к отцу в Вятку. Сестра Грина, Екатерина Маловечкина, напомнила в письме к брату 16 марта 1927 года: «Ярко встала в памяти наша встреча и прогулка в загородный сад в Вятке, где ты угощал меня лимонадом, а досужая молва разнесла на другой день по городу, что «вот-де Катя Гриневская кутит по загородным ресторанам», а мне, несчастной, и реабилитировать себя нельзя, не выдав тебя».

Из Вятки Грин вернулся в Петербург через Москву, где пробыл дней десять.

В письме своему бывшему защитнику Зарудному он пишет:

«Уважаемый Александр Сергеевич!

Как ни совестно мне просить у вас взаймы — а всё-таки: не можете ли вы одолжить мне, самое большое на месяц — руб. 15-ть. Конечно, это странно, но дело

в том, что у меня сейчас в Питере совсем нет знакомых и постоянного заработка. А уплатить вам я надеюсь из следующего источника: проездом в Москве я жил дней 10-ть, написал там за это время рассказ из солдатской жизни, который и продал очень быстро в книгоизд. Мягкова за 75 рублей. Кроме того, мне обещали впредь, за будущие рассказы, не в пример прочим, уплачивать все деньги сразу (обыкновенно платят по $^1/_3$) и не менее, как по 100 р. за лист. Так вот, на днях я послал туда же еще одну рукопись в $1^1/_2$ листа, тоже рассказ, и думаю, что 80 шансов на 100, что через неделю получу 150 р. или уже никак не позднее месяца.

Если дадите, то пришлите, пожалуйста, с посыльным по адресу: ул. Жуковского, д. 11, кв. 2, Алексею Алексеевичу Мальгинову.

Пишу потому, что лично — едва ли хватило бы духу. Остаюсь обязанный Вам А. С. Гриневский. 6-го сентября 1906 года».

Речь в письме, бесспорно, идет о двух первых рассказах Грина «Заслуга рядового Пантелеева» и «Слон и Моська».

У рассказов этих примечательная судьба...

27 сентября 1906 года один из членов Московского комитета по делам печати написал доклад. В нем говорилось:

«В рассказе «Заслуга рядового Пантелеева» изображается экспедиция военного отряда для укрощения крестьян, учинивших разгром помещичьей усадьбы. В то время как крестьяне рисуются вполне невинными жертвами, автор не жалеет красок, чтобы изобразить бесчеловеческую жестокость и ничем не вызванные варварские нападки войск от офицеров до последнего солдата. Сцена избиения крестьян (стр. 20, 21, 22), описание пьяной оргии солдат после убийства (стр. 23), наконец самый «подвиг Пантелеева», заключающийся в том, что он по приказанию пьяного офицера, за обещанный рубль... убивает ни в чем не повинного, случайно подвернувшегося деревенского пария, — всё это имеет конечной целью поселить ненависть к войску. Мысли и чувства автора вложены в уста солдата Гришина: «Я почему иду? Потому что велят! Потому что за шкуру свою трясешься! Из страха иду! Душа во мне подла, да!.. В другой раз — не только что убивать — рыло бы разворотил

мерзавцу, что тебя матерски ругает, — да как подумаешь, брат, о каторге, да вспомнишь про домашность — и рад бы, да воли нет! Ведь за эту кровь, что мы повыпускали, — нам бы в арестантских ротах сгнить надо, под расстрел идти! Ведь мы, окаянная ты сила, кому свои души продали! Думаешь — богу? Как попы галдят да нам в казарме офицеры башку забивают! Не богу, а черту мы ее продали! Ты думал, богу надобно малых ребят нагайками пороть? Женщин на штыки сажать, баб беременных? Старикам лбы пулями пробивать? Ведь мы защитники отечества считаемся, а заместо того что мы делаем? Там, в селе-то, что после нас осталось? Ведь всё пожгли»! Ведь мы людей мучили, истязали! Да за что? За то, что они правды хотят?..»

Находя, что названный рассказ имеет целью: 1) возбудить в читателях враждебное отношение к войску[2], побудить войска к неповиновению при усмирении бунта и беспорядков, я полагаю нужным брошюру задержать, а против автора возбудить судебное преследование...» (Сообщил литературовед А. В. Храбровицкий.)

Судебное преследование было возбуждено, но никто из обвиняемых (издательских работников) автора не назвал.

По словам Грина, какое-то количество экземпляров брошюры всё-таки успело выскочить на свободу. Во всяком случае, 29 октября 1906 года на Петербургский почтамт было сдано около сотни пакетов, рассылаемых во все концы Российской империи. Они были адресованы начальникам губерний, областей, градоначальникам, начальникам дворцовых управлений, военным губернаторам.

Главное управление по делам печати извещало их о наложении ареста и изъятии брошюры А. С. Г. «Заслуга рядового Пантелеева».

Сейчас известно только четыре сохранившихся экземпляра брошюры. Все они находятся в Москве.

Со вторым рассказом Грина «Слон и Моська» произошло следующее. Судя по письму Зарудному, Грин отправил рассказ в Москву, в книгоиздательство Мягкова, но там рассказ, по-видимому, отвергли, потому что набирали его в Петербурге в типографии Безобразова для издательства «Свободная пресса».

В фонде Петербургского комитета по печати отыскались документы:

«ПРИГОВОР

1907 года мая 23 дня, по указу его императорского величества С.-Петербургская судебная палата, по 1-му уголовному департаменту в открытом судебном заседании, в котором присутствовали... (имена не вписаны. — *В. С.*).

Слушала: предложенное прокурором судебной палаты 16 января 1907 года за № 773 дело о брошюре «Слон и Моська».

Выслушав доклад по делу, словесное заключение товарища прокурора и рассмотрев названную брошюру, судебная палата находит:

1. содержание брошюры «Слон и Моська» и изложение всего рассказа заключает в себе возбуждение к нарушению воинскими чинами обязанностей военной службы.

2. такое возбуждение предусмотрено 5 п. 1 ч. ст. Угол. Улож.

3. из отзыва старшего инспектора типографии и т. п. заведений в С.-Петербурге от 17 декабря 1906 года за № 8524 видно, что при наложении ареста на брошюру «Слон и Моська» в типографии Безобразова, где она печаталась, установлено, что означенная брошюра не печаталась, а лишь было сделано 8 оттисков для цензурного комитета. Ни одного экземпляра никому выдано не было, почему брошюра «Слон и Моська» распространения не получила.

4. при таких условиях нет основания к возбуждению уголовного преследования, а надлежит лишь к сделанным оттискам применить 6 ст. IV отд. Правил 26 апреля 1906 года и уничтожить, если имеются заготовленные принадлежности тиснения этой брошюры.

По сим основаниям судебная палата *определяет:* оттиски брошюры «Книгоиздательство «Свободная пресса» А. С. Г. «Слон и Моська» из летописей *** ского батальона, сделанные в С.-Петербурге, в типографии В. Безобразова и К-о 1906 года, уничтожить, так же как, если имеются стереотипы и другие принадлежности тиснения, заготовленные для ее напечатания».

В одном из последующих документов говорится, «что 25 сентября сего года уничтожены, посредством разрывания на части, арестованные брошюры» (идет перечисление, в числе их указана брошюра «Слон и Моська»).

Но всё-таки три экземпляра рассказа (из восьми!) каким-то чудом уцелели. Два из них находятся в Ленинградской Публичной библиотеке, один — в Библиотеке имени В. И. Ленина в Москве.

Как они туда попали — пока остается загадкой.

В третьей редакторской книге В. Г. Короленко есть такая запись (сообщил А. В. Храбровицкий):

«14 окт<ября> (1906 года; в этот день Короленко ознакомился с рассказом. — *В. С.*). Октябрьской ночью (из зап<исок> амнистированного) Александра Г. Плохо рассказанные, хотя сами по себе интересные события 18 окт. у севастопольск. тюрьмы (столкновение восторженно-революц. толпы с войсками). Известно из газет, а рассказ растянут и порой наивен. Возвр<атить>».

Здесь говорится об одном из самых ранних и до сих пор не найденных рассказов Александра Грина.

Через несколько месяцев Грин вновь появился в редакции журнала «Русское богатство». В. Г. Короленко записывает в четвертой редакторской книге:

«9 янв. Солдаты (расск. А. С. Г.). Офицер Эполетов, недурной малый, сначала доносит на солдата агитатора Фролова, потом предупреждает его, и тот скрывается. На след. день Фролов является с артиллеристами в лагерь, склоняет солдат к манифестации. Стрельба, усмирение, Фролова убивают. Офицер напивается пьян. Есть места нецензурн<ые>. Жизни мало. Возвр<атить>».

«Солдаты» — еще один до сих пор не разысканный рассказ Грина.

Первый рассказ, подписанный «А. С. Грин», начинающий писатель опубликовал в газете «Товарищ» в марте 1907 года. Рассказ назывался «Случай».

С этого времени имя Грина всё чаще начинает появляться на страницах петербургских газет и журналов.

В той же четвертой редакторской книге Короленко на странице тридцать четвертой есть еще одна запись, относящаяся к Грину:

«10 мая. Науту («Евстигней»?). Расск. А. С. Грин. Недурно набросанная фигура заводского рабочего, атлета, пьяницы и драчуна. Услышал звуки музыки. Растрогался, но затем побил светлые окна, где играла незнакомая ему музыка. Можно принять (зачеркнуто. — *В. С.*). Возвр<атить>».

Этот отвергнутый редакцией «Русского богатства» рассказ Грин несколько месяцев спустя под названием «Кирпич и музыка» опубликовал в другом петербургском журнале.

В том же мае, в журнале «Трудовой путь», появился рассказ «Марат», а месяц спустя — «Ночь». На июньский номер журнала был наложен арест.

Цензор петербургского комитета писал:

«10 июля в С.-Петербургский комитет по делам печати поступила 6-я книжка ежемесячного журнала «Трудовой путь». Почти весь вошедший в состав ее материал проникнут в большей или меньшей степени революционной тенденцией; но в трех из помещенных в ней статьях тенденция эта выражается с наибольшею, по сравнению- с другими статьями, ясностью, придавая им явно агитационный характер. В этом отношении прежде всего обращает на себя внимание помещенное на 14—15 страницах книжки стихотворение. Автор его — г. Александр Блок, обращаясь к своей возлюбленной, между прочим, говорит, что он хотел бы, но не смеет «убить».

Отмстить малодушным, кто жил без огня,
Кто так унижал мой народ и меня,
Кто запер свободных и сильных в тюрьму,
Кто долго не верил огню моему,
Кто хочет за деньги лишить меня дня,
Собачью покорность купить у меня...

Упрекнув далее себя за «слабость, за готовность смириться» и за то, что «рука его не поднимает ножа», г. Блок заканчивает свое стихотворение следующим образом:

И двойственно нам предсказанье судьбы:
Мы — вольные души. Мы — злые рабы.
Покорствуй. Дерзай. Не покинь. Отойди.
Огонь или тьма впереди?
Кто кличет? Кто плачет? Куда мы идем?
Вдвоем — неразрывны — навеки вдвоем.
Воскреснем? Погибнем? Умрем?

Вслед за этим стихотворением, воспевающим, в сущности, хотя и в несколько туманной форме, политическое убийство, помещен рассказ А. С. Грин<а> под заглавием «Ночь». Содержание этого рассказа как бы иллюстрирует собою мысль, заключающуюся в только что приведенном стихотворении. Действующими лицами в

нем являются члены одного из провинциальных комитетов партии социалистов-революционеров, а предметом — совершаемые революционерами убийства политических агентов. При этом рассказ ведется в таком тоне, что не может быть никакого сомнения в намерении автора представить убийц-революционеров лицами безукоризненной честности и высокого героизма, а агентов полиции трусами и негодяями, вполне достойными постигшей их участи».

Редактором журнала «Трудовой путь» был Виктор Сергеевич Миролюбов — «ловец талантов», как его прозвали в прогрессивных кругах, небезызвестный редактор прогремевшего на всю Россию самого распространенного демократического ежемесячника «Журнал для всех», закрытого осенью 1906 года в административном порядке.

«Ловец талантов» заметил Грина уже после первых выступлений в печати и привлек его к участию в своем прогрессивном журнале. К сожалению, «Трудовой путь» выходил только год. В январе 1908 года журнал был запрещен.

В самом начале 1908 года * вышла из печати первая книга Грина «Шапка-невидимка».

«Рассказывают, — писал в начале тридцатых годов К. Зелинский, — что, прочитав свою книгу «Шапка-невидимка», Грин отложил ее с чувством полного разочарования, с тем ощущением непоправимой неловкости, какое настигает человека, когда он делает не свое дело».

Между тем критика встретила книгу сочувственно. Так, в газете «Современное слово» безымянный рецензент писал:

«Небольшая книга молодого писателя читается с интересом. У автора есть несомненные достоинства: сжатый, выразительный слог, гармонирующий с развитием темы, красочный язык, богатый запас слов и, наконец, местами прямо захватывающее своим драматизмом действие.

В книге 10 небольших, за исключением одного, рассказов; но, к сожалению, они далеко не все одинаковы по достоинству. В таких вещах, как «Марат», «Случай»

---

* В «Литературном ежегоднике» (календарь-альманах), Спб., 1908, — говорится, что «Шапка-невидимка» вышла в 1907 году.

и «На досуге» в авторе чувствуется индивидуальный художник, умеющий пережить всё описываемое. Но наряду с этими рассказами в книге помещены фельетоны: «В Италию» и «Любимый» и растянутая, скучная повесть «Карантин».

В двух последних вещах неприятно поражает подражательность, в «Любимом» же — трафаретность выводимых лиц.

Сюжеты у автора разнообразны, хотя главным образом он берет их из среды радикальной молодежи, которую, по-видимому, хорошо знает. Наряду с цельными людьми, с их то трогательными, то мучительными, но всё-таки красивыми переживаниями, перед нами вырисовываются другие типы, как бы по ошибке попавшие в ряды идеалистов, рефлектики — как Сергей в «Карантине» и Брон в «Апельсинах».

В общем книга читается с удовольствием, оставляет запас образов, наводит на размышление».

Всю свою жизнь Грин старался не упоминать о «Шапке-невидимке», во всяком случае в Собрание сочинений издательства «Мысль» в конце двадцатых годов он поместил только один рассказ «Кирпич и музыка» (тот самый, который отверг Короленко).

Весной 1909 года Грин обратился с письмом к М. Горькому.

«Глубокочтимый Алексей Максимович!

Пишу Вам по собственному желанию и по совету В. А. Поссе. Я — беллетрист, печатаюсь третий год и очень хочу выпустить книжку своих рассказов, которых набралось 20—25. Из них — 8, напечатанных в «Русск. мысли», «Новом журн. для всех», «Образовании», «Новом слове» и «Бодром слове». Остальные — в газетах.

Но так как я никому не известен; так как теперь весна и так как мне нужны деньги — то издатели или отказывают или предлагают невыгодные до унизительности условия. Давно я хотел обратиться к Вам с покорнейшей просьбой рассмотреть мой материал и, если он достоин печати, — издать в «Знании». Но так как неуверенности во мне больше, чем надежды, — я не сделал этого до настоящего момента, а теперь решился. Сделал

я это вот почему; В. А. Поссе настоятельно рекомендовал мне обратиться к Вам, сказав, что Вы, по всей вероятности, получаете «Новый журн. для всех» и прочли там мои рассказы: «Рай», «Остров Рено» и «История одного заговора». «Так что, — сказал он, — Алексей Максимович по этим вещам, вероятно, решит — стоит ли издавать вас, и даст вам скорый ответ».

Он, может быть, и ошибся, Вы, может быть, и не читали их, но я очень, очень прошу Вас — напишите, выслать ли Вам все рассказы или довольно тех. Я потому сейчас не посылаю всех, что у меня они только в одном экземпляре каждый и, во-первых, не зная, к какому решению придете Вы, — не смогу пытаться устроить их здесь; во-вторых, посылка идет долее, чем письмо. Во всяком случае, умоляю Вас — ответьте мне, если возможно, телеграммой, чтобы я мог скорее, в случае надобности, послать Вам материал и получить от Вас решительный ответ. Надеюсь, Вы не рассердитесь на меня за «телеграмму». Вы понимаете, *почему* приходится просить о ней. Ваш А. С. Грин. СПб., Шувалово, Софийская улица, дом № 3, Алексею Алексеевичу Мальгинову».

До сих пор не удалось установить, получил ли Грин ответ от Горького, во всяком случае сборник его рассказов в издательстве «Знание» не выходил.

Своей первой книгой Грин считал том * «Рассказы», вышедший в издательстве «Земля» в начале 1910 года.

Об этой книге много писали.

«Вот писатель, — говорил Л. Войтоловский в «Киевской мысли», — о котором молчат, но о котором следует, по-моему, говорить с большой похвалой». Далее он отмечает, что критика, вероятнее всего, встретила книгу не равнодушно, а просто отложила в сторону, «не решаясь тут же на месте разобраться в ее достоинствах и недостатках. Ибо трудно найти писателя, в даровании которого было бы больше недочетов и противоречий». Войтоловский точно подмечает, что Грина «привлекает мир гигантов и чародеев, но это не страсть к экзотической красоте, не любовь к титаническому быту, нет. Чародеи его — не чародеи, а пальмы — не пальмы». И вместе с тем, замечает Войтоловский, всё это не декорации,

* По неустановленной причине на корешке сборника «Рассказы» стоит цифра I.

ибо нарисованные Грином картины «дышат красотою простора и величавой силы». И потому это не картины тропических лесов, а «точные приметы писателя, по которым сразу узнаешь его лицо. Ибо это лицо неподдельного таланта». Пытаясь определить занимаемое Грином место в современной литературе, Войтоловский говорит: Грин несомненно романтик, любящий и утверждающий жизнь, Грин близок к Горькому. «Он весь создание нашей жизни, и, быть может, он один из наиболее чутких ее поэтов».

Совсем иное уловила в «Рассказах» критик Е. Колтоновская из «Нового журнала для всех». Для нее герои Грина «это типичные современные неврастеники, несчастные горожане, уставшие и пресытившиеся друг другом». Приговор ее категоричен: «Главный недостаток творчества его незрелость и поверхностность».

Л. Войтоловский отмечал у Грина вычурность, местами незрелость, поверхностность, неуклюжесть, но он всё же видел в книге в целом нечто большее, чем просто талантливость. Впрочем, Колтоновская в последнем абзаце рецензии снизошла до признания, что у автора «ощущается интенсивная творческая жизнь и несомненная талантливость».

Почти солидарен с Колтоновской и критик из «Киевской мысли» Валентинов, напечатавший свою статью несколько ранее Войтоловского. Он замечает, что восемь рассказов из одиннадцати, помещенных в сборнике, «плавают в крови, наполнены треском выстрелов, посвящены смерти, убийству, разбитым черепам, простреленным легким. Ужасы российской общественности наложили печать на перо беллетриста. Так сказать, сделали его человеком, который «всегда стреляет». Из револьверных выстрелов Грин сделал лейтмотив своих описаний...»

Колтоновской и Валентинову возражает видный критик А. Г. Горнфельд: «Грин, по преимуществу, поэт напряженной жизни. И те, которые живут так себе, изо дня в день, проходят у Грина пестрой вереницей печальных ничтожеств, почти карикатур. Он хочет говорить только о важном, о главном, о роковом: и не в быту, а в душе человеческой. И оттого, как ни много льется крови в рассказах Грина, она незаметна, она не герой его произведений, как в бесконечном множестве русских рассказов последних лет; она только неизбежная, необ-

ходимая подробность... он видит обнаженные человеческие души... Это хороший результат, и к нему приводит каждый рассказ Грина».

В июле 1910 года Грин поехал в колонию прокаженных, в двухстах километрах от Петербурга. Что потянуло его туда — неизвестно.

Сохранилось письмо Грина Горнфельду, посланное из колонии:

«Глубокоуважаемый Александр * Георгиевич!

С чрезвычайным сокрушением обращаюсь к вам. Я живу сейчас в колонии прокаженных, в 20-ти верстах от Веймарна, станции Балтийской дороги, и не могу вернуться в Питер, потому что нет денег на дорогу и сопряженные с этим мелкие, но совершенно необходимые расходы. Не можете ли Вы одолжить мне до 10-го сентября 15 рублей? Я написал Вам потому, что сейчас мне из редакций нет никакой возможности получить даже гроша: где аванс, а где денег нет. Испробовав все средства и просидев здесь, вследствие этого — лишнюю неделю, скрепя сердце, пишу Вам, в надежде, что, может быть, если не из своих, то из кассы «Р<усского> б<огатства>» (журнал, в котором Горнфельд был членом редакции. — *В. С.*), Вы смогли бы выручить меня. Не подумайте, пожалуйста, только, что я таким путем хочу осуществить какие-нибудь свои тайные намерения. Я считал бы эти 15 р. личным долгом, как «Р. б», так и Вам.

Здесь в колонии у доктора достать немыслимо (доктор — Владимир Иванович Андрусон, брат самого близкого друга Грина поэта Леонида Андрусона. — *В. С.*) — я ему должен 10 руб. и просить вновь чрезвычайно неловко, пока не вернул эти. А вернуть их можно, только приехав в Петербург и лично стараться раздобыть некоторым... (слово неразборчиво) путем рукописей.

Всего Вам хорошего. Книжка моя (та самая, на которую Горнфельд написал рецензию. — *В. С.*), несмотря на лето, помаленьку распродается, я почти каждую неделю получаю вырезки из провинциальных газет — хорошие вырезки. До свидания. Ваш А. С. Грин». (Ориентировочно — начало второй половины июля 1910 года.)

---

* Описка: Аркадий.

Вероятно, Горнфельд прислал деньги, так как Грин смог уехать. Н. Н. Грин рассказывает, что по дороге на вокзал он встретил цыганку. «Цыганка пристала к нему: «Дай погадать». Александр Степанович дал руку. «Тебя скоро предаст тот, кого ты называешь своим другом. Но пройдут годы, и ты наступишь на врагов своих. Возьми этот корешок и всегда носи при себе, — на счастье». Александр Степанович, посмеиваясь, дал цыганке денег, сунул корешок, завернутый в бумажку, в жилетный карман, забыл о ее словах и уехал в Петербург. Сойдя на Балтийском вокзале, он пешком пошел к себе домой. А жил он тогда на 6-й линии Васильевского острова, близ Николаевского моста. Навстречу попадаются два городовых, подходят к Александру Степановичу и спрашивают: «Вы — господин Мальгинов?» Сердце, говорит Александр Степанович, сразу у него дрогнуло, пронеслись в голове слова цыганки, он ответил: «Да», и на него надели наручники; отвезли в Дом предварительного заключения. Во время первого же допроса Александр Степанович понял: он действительно предан тем, кого считал приятелем * и кому, единственному во всем Питере, поведал в минуту откровенности, что он нелегальный и настоящая его фамилия — Гриневский.

Слова цыганки, так быстро и верно исполнившиеся, произвели на Александра Степановича сильное впечатление. Он нашел в жилетном кармане корешок, зашил его в пояс брюк и носил много-много лет. Когда я вышла за него замуж, увидела этот крошечный мешочек, который он попросил меня перешить к поясу домашних брюк, и рассказал мне его историю. До 1928 года Александр Степанович носил этот корешок. Когда как-то в дом, где мы жили в Феодосии, пришел измученный и истощенный бродяга, мы накормили его, Александр Степанович долго с ним разговаривал, потом сказал мне, чтобы я отдала ему его домашние старые брюки и теплую фланелевую рубаху. И я отдала. И мы оба забыли, что у пояса пришит корешок-талисман. Так и ушел он из нашего дома».

В рассказе Н. Н. Грин есть только одна неточность: Грина арестовали у его дома, на Васильевском острове.

6 августа 1910 года из Петербургского отделения по охране общественной безопасности и порядка в столице

* А. И. Котылевым.

тобольскому губернатору, с грифом «секретно», было отправлено письмо следующего содержания:

«27-го минувшего июля, в Петербурге по 6-й линии Васильевского острова, дом 1, кв. 33, арестован неизвестный, проживающий по чужому паспорту на имя личного почетного гражданина Алексея Алексеевича Мальгинова.

Задержанный при допросе в Охранном отделении показал, что в действительности он есть Александр Степанов Гриневский, скрывавшийся с места высылки из Тобольской губернии, где он состоял под гласным надзором полиции.

Сообщая об изложенном, присовокупляю, что Гриневский, за проживание по чужому паспорту, мною подвергнут 3-месячному аресту при полиции, по отбытии срока какового будет препровожден в распоряжение Вашего превосходительства».

Через четыре дня после ареста Грин обратился с письмом к Леониду Андрееву:

«Глубокоуважаемый Леонид Николаевич!

К сожалению, меня арестовали, и я лишен пока возможности узнать содержание Вашего письма. Будьте добры, не откажите в случае успешности переговоров Ваших с «Просвещением» — свести представителя этого издательства * с моей женой, для выяснения взаимных пожеланий. Адрес ее — В. Остров, 6-я линия, Вере Павловне Абрамовой **.

Если же ничего не выйдет, — благодарю Вас за участие, которое приняли Вы в этом деле.

Я арестован, вероятно, по доносу какого-нибудь из моих литературных друзей. Мне это, впрочем, безразлично. И за то, что уехал из административной ссылки, прожив эти четыре года в Питере по чужому паспорту, Я сообщаю Вам это для того, чтобы Вы не подумали чего-нибудь страшного или противного моей чести. Ваш покорный слуга А. С. Грин (Александр Степанович Гриневский)».

---

* Издательство «Просвещение» хотело выпустить сборник рассказов Грина. Соглашение не состоялось.

** Вероятно, Грин забыл сообщить в письме номера дома и квартиры.

Грин — писатель, только писательство существует для него в жизни, это главное, а всё остальное — второстепенное, мелочи. Как относился он к своему аресту, мы только что видели по письму Л. Андрееву.

В эти дни Грин пишет два прошения — царю и министру внутренних дел. Привожу один из этих документов, на мой взгляд более интересный, полностью.

«Его высокопревосходительству
господину министру
внутренних дел
от потомственного дворянина
Александра Степановича
Гриневского

ПРОШЕНИЕ

Ваше высокопревосходительство! В декабре 1905 года (не точно: 7 января 1906 года. — *В. С.*) я был арестован в С.-Петербурге и по прошествии пяти месяцев — выслан административным порядком в г. Туринск Тобольской губ<ернии> на 4 г<ода>, откуда немедленно уехал и поселился в С.-Петербурге, проживая по чужому паспорту на имя Алексея Алексеева Мальгинова. За эти 4 г. я сделался беллетристом, известным в провинции и Петербурге под псевдонимом «А. С. Грин». Рассказы мои и повести печатались в «Образовании», «Русской мысли», «Новом журнале для всех», «Слове», «Новом слове», «Товарище», «Современном слове», «Родине», «Ниве» *, различных альманахах и сборниках.

Кроме того, до настоящего времени я состоял постоянным сотрудником журналов «Весь мир» и «Всемирная панорама». В СПб книгоиздательстве «Земля» вышла зимой прошлого года (не точно, вышла за пять месяцев до написания настоящего прошения. — *В. С.*) книга моих рассказов.

Ныне арестованный, как проживающий по чужому паспорту, я обращаюсь к Вашему высокопревосходительству с покорнейшей просьбой не смотреть на меня, как на лицо, причастное к каким бы то ни было политическим движениям и интересам. За эти последние пять лет я не совершил ничего такого, что давало бы право отно-

---

* В двух последних журналах имя Грина до 1910 года не появлялось. Думаю, что это камуфляж, ибо «Родина» и «Нива» были самыми распространенными и благонадежными изданиями.

ситься ко мне как к врагу государственности *. Еще до административной высылки в миросозерцании моем произошел полный переворот, заставивший меня резко и категорически уклониться от всяких сношений с политическими кружками. Переворот этот, как может подтвердить г. начальник Дома предварительного заключения ** (несколько дней после ареста Грин посидел в Доме предварительного заключения — Д П З . — *В. С.*), намечался во мне еще осенью 1905 года, когда, сидя в севастопольской тюрьме по делу о пропаганде, я из окна камеры старался удержать и успокоить толпу, готовившуюся разбить тюрьму ***. Это было после 17 октября.

Последние 4 года, проведенные в Петербурге, прошли открыто на глазах массы литераторов и людей, прикосновенных к литературе; я могу поименно назвать их, и они подтвердят полную мою благонадежность. Произведения мои, художественные по существу, содержат в себе лишь общие психологические концепции и символы и лишены каких бы то ни было тенденций.

На основании вышеизложенного покорнейше прошу Ваше превосходительство облегчить участь мою; тюрьма, высылка, 4 года постоянного страха быть арестованным в конец расшатали мое здоровье. Организм мой надломлен; единственное желание мое — жить тихой, семейной жизнью, трудясь, по мере сил, на поприще русской художественной литературы. Если Ваше высокопревосходительство не найдете почему-либо возможным освободить меня без всяких последствий — ходатайствую и покорнейше прошу разрешить мне покинуть Петербург и жить в провинции. Одновременно с настоящим моим прошением подано мной прошение на высочайшее

---

* Читатели, конечно, должны понимать, что за многими строчками прошения стоит обязательный в таких случаях словесный ритуал.

** Начальником ДПЗ к этому времени стал «старый знакомый» Грина, бывший начальник севастопольского тюремного замка П. Светловский. См. о нем в «Автобиографической повести», стр. 142 (сноска).

*** Грин вновь сознательно искажает факты. Из окна камеры третьего этажа он видел подошедшую к воротам тюрьмы большую группу манифестантов, требующих освобождения политических заключенных. Он не мог открыто предупредить севастопольцев, что во дворе, с винтовками на изготовку, выстроились две роты Белостокского полка. Грин кричал манифестантам, чтобы они отошли от ворот. Его не послушались, произошло столкновение: было много жертв.

имя. В крайнем случае, прошу Ваше высокопревосходительство походатайствовать, если на то будет доброе Ваше желание. Дворянин Александр Степанов Гриневский. Августа 1-го дня, 1910 года».

Что же побудило Грина написать прошения? Зная нервный импульсивный характер его, можно предположить, что прошения были написаны им в том состоянии душевной депрессии — крепко забиравшей его иногда, — когда он особенно остро чувствовал свое человеческое и писательское одиночество.

Кроме того, Грин, резко и давно порвавший с эсерами, действительно не принадлежал ни к каким политическим кружкам и партиям.

Для нас сегодня самым интересным и важным является: изменилось ли политическое лицо Грина после написания им прошений? Исчерпывающе точный и совершенно объективный ответ на этот вопрос мы можем получить только в его книгах.

Мы не должны заблуждаться относительно утверждения Грина, что произведения его «содержат в себе лишь общие психологические концепции и символы и лишены каких бы то ни было тенденций».

Нетенденциозных писателей не бывает. Грин не просто тенденциозен. Он яростно тенденциозен. Любой, кто обратится к шеститомному Собранию сочинений Грина, выпущенному в конце 1965 года литературным приложением к «Огоньку», тотчас уловит нарастание углубленно-критического отношения к «расейской» действительности. Такие рассказы, как «Пассажир Пыжиков», «Ксения Турпанова», «Зимняя сказка» и особенно беспощадные: «Далекий путь», «Жизнеописания великих людей», «Проходной двор», «Тихие будни», «Человек с человеком», «Дьявол Оранжевых Вод» — говорят сами за себя.

Разумеется, департамент полиции немедленно запросил сведения о Грине, о его благонадежности, у охранного отделения.

Исполняющий обязанности петербургского градоначальника некий генерал-майор ответил:

«Возвращая при сем прошение потомственного дворянина Александра Степанова Гриневского, ходатайствующего об освобождении его от высылки в Тобольскую губернию и гласного надзора полиции, уведомляю, что

ввиду прежней революционной деятельности Гриневского и проживания его в течение четырех лет по нелегальному документу — я признал бы ходатайство его не заслуживающим удовлетворения».

К этому документу в охранном отделении дописали, что в июне 1908 года было зарегистрировано посещение Грина эсером Владимировым.

«Других сведений о революционной деятельности Гриневского за время проживания его в С.-Петербурге под именем Мальгинова в отделение не поступало».

Участь Грина была решена.

Что же касается Владимирова, то у него и еще у нескольких арестованных эсеров в записных книжках был обнаружен адрес Мальгинова, но сам Мальгинов никакого участия в деятельности партии социалистов-революционеров уже не принимал.

В ССЫЛКЕ

Грин и Вера Павловна выехали из Петербурга 31 октября. По документам нам известно, что на два дня Александра Степановича задержали в Вологодской пересыльной тюрьме.

Еще в сентябре архангельский губернатор получил от департамента полиции бумагу следующего содержания:

«По пересмотре обстоятельств дела о подлежащем высылке в Тобольскую губернию под гласный надзор полиции на четыре года потомственном дворянине Александре Степанове Гриневском, г. министр внутренних дел 23 сентября 1910 года постановил: заменить определенную Гриневскому высылку в Тобольскую губернию водворением его в Архангельскую губернию на два года, считая срок с 29 марта 1906 года, но без зачета времени, проведенного названным лицом в бегах с 11 июня 1906 года по 27 июля 1910 года, ввиду чего срок его высылки истекает 15 мая 1912 года.

...Помимо сего департамент сообщает Вашему превосходительству, что при докладе обстоятельств настоя-

щего дела г. министру, его высокопревосходительство приказал, при хорошем поведении Гриневского в месте водворения, войти в обсуждение вопроса о дальнейшем облегчении участи названного лица».

Интересно, что на этом документе кто-то (возможно, сам губернатор!) поторопился сделать надпись: «Водворен в Мезень». Из отдаленных краев Архангельской губернии цинготная Мезень была не худшим местом ссылки. Возможно, известную роль сыграл в этом выборе сравнительно небольшой срок ссылки — полтора года, возможно и другое предположение: дипломатическая строчка о «приказе» министра «войти в обсуждение вопроса о дальнейшем облегчении участи названного лица».

Так или иначе, но события разворачивались своим чередом, совсем не по составленному заранее расписанию.

4 ноября полицмейстер донес губернатору, «что 3 сего ноября доставлен этапным порядком из г. Вологды при открытом листе С.-Петербургского губернского правления от 31 минувшего октября за № 10724 поднадзорный потомственный дворянин Александр Степанович Гриневский и впредь до Вашего распоряжения помещен во временную пересыльную тюрьму».

В тот же день Грин направил прошение губернатору:

«Будучи выслан в вверенную вашему превосходительству губернию под надзор сроком на 2 года, причем фактически срок этот истекает через 1 год и 6 с половиной месяцев, — честь имею покорнейше просить ваше превосходительство оставить меня для отбытия надзора в городе Архангельске, ввиду крайней болезненности моей, усилившейся теперь полной слабости. Моя жена, добровольно прибывшая со мной, тоже слабого здоровья, нам хотелось бы жить здесь, где существует на случай надобности более совершенная и быстрая медицинская помощь».

Разумеется, такое прошение не могло тронуть архангельского губернатора. Он получал их десятками: все поднадзорные стремились остаться в губернском городе и все без исключения были «слабого здоровья».

Грину, как и было предположено по «сценарию», назначают местом ссылки Мезень. Больше того, полицмей-

стера извещают, что все документы, касающиеся Грина, он должен незамедлительно переслать мезенскому исправнику. Документы отосланы, и тут... в дело вступает письмо полковника Х. Вице-губернатор заносит на памятный листок: «Прошу дать справку о Гриневском, к<оторый> прибыл вчера; жена его просит временно освободить его и отправить с проходным к месту назначения».

Гриневские выехали в Пинегу 8 ноября. Им предстоял долгий четырехдневный санный путь.

Пока они дремлют, мерно покачиваясь на ухабах, опередим их и побываем в забытом богом углу, что назывался уездным городом Пинегой.

«Вряд ли многие знают, — писал корреспондент «Русского курьера», — о существовании города Пинеги на Руси. Действительно, ни в историческом, ни в торгово-промышленном отношении он не представляет ничего замечательного; культурное значение его ничтожно, а количество населения не доходит и до тысячи человек. Самая наружность города, покосившиеся, деревянной архитектуры дома и постройки, две-три поросшие травою улицы с бродящими здесь и там коровами и лошадьми, пашни и огороды, прилегающие к дворам, отсутствие какой бы то ни было промышленной жизни — всё, одним словом, приближает Пинегу скорее к типу несколько зажиточного села, чем к городу. Так называемого уездного общества нет у нас, если не считать тех десятка полтора чиновных лиц, которые составляют неотъемлемую принадлежность всякого города. Они же считаются и за «интеллигенцию», с которой коренное население города, некультурные мещане-земледельцы, ничего общего не имеют. Старый уездный суд и ветхозаветная городская дума как нельзя более гармонируют с нашей еле тлеющей общественной жизнью. Человеку, попавшему сюда, в наше захолустье, «по не зависящим от него обстоятельствам» (а таковых тут много), трудно свыкнуться с этой надрывающей душу тоской, с этой безжизненностью, безлюдием, оторванностью, отсутствием человеческих интересов и скудной неприветливой природой».

Это было напечатано в июле 1880 года (год рождения Грина). За прошедшие тридцать лет в Пинеге совершенно ничего не изменилось. Только число жителей едва перевалило за тысячу, хотя более сотни из них составля-

ли ссыльные, да усилиями и пожертвованиями всё тех же ссыльных был создан Народный дом, где имелась приличная для тех мест и лет библиотека.

Впрочем, для контраста вот еще одно свидетельство о Пинеге, найденное мною в Архангельском областном архиве в фонде жандармского управления. Это перлюстрация письма старой знакомой Грина еще по Севастополю Нины Васильевны Никоновой. Летом 1910 года, за несколько месяцев до прибытия Грина, Никонова побывала в Пинеге: «Это нечто вроде дачи, деревни. Воздух хорош, можно купаться, и единственная нехватка тут — солнца. Как только выдастся солнечный день — все спешат на реку, в лес, на воздух».

По отношению к северной природе корреспондент «Русского курьера» несомненно был неправ. Люди, бывшие в ссылке одновременно с Грином, рассказывают: «Город Пинега расположен на слиянии небольших рек — Пинеги и Сотки. Берега последней отличаются особой красотой и буйной растительностью. Дремучие леса, целые ожерелья лесных озер окружали крошечный городок. Всё было живописно, девственно, свежо. Красивые, кроткие, осенние леса оставили неизгладимый след не только в памяти А. С. Грина, но и у всех, отбывавших там ссылку».

Последний отрывок взят из воспоминаний Марии Осиповны Машинцевой и Анастасии Даниловны Федотовой-Петровой, записанных с их слов в 1956 году П. Н. Грин.

Машинцева и Федотова-Петрова продолжают:

«Александр Степанович был высоким худым молодым человеком, с желтоватым цветом лица, живым, веселым и приветливым. Вера Павловна — красивая молодая женщина, всегда подтянутая и молчаливая, производила на ссыльных впечатление «тонкой дамы из аристократической семьи». Часто уезжала из Пинеги в Петербург. В обращении была приветливо-холодновата, так что, собираясь к Гриневским, ссыльные всегда говорили: «Пойдем к Александру Степановичу» и никогда: «Пойдем к Гриневским».

Александр Степанович привлекал внимание и тем, что был писателем и общительным человеком. Скоро вокруг него образовался кружок близких людей.

В этот кружок входили: Лидия Петровна Кочеткова, Машинцевы — Мария Осиповна и Василий Васильевич,

Екатерина Григорьевна Надеждинская, Иван Александрович Ноздрачев, Константин Новиков, Николай Студенцов.

Александр Степанович много читал и работал. Письменный стол его всегда был загружен книгами и рукописями. Любил охоту; иногда по нескольку дней пропадал в окрестных лесах.

Кроме вышеперечисленных лиц Александр Степанович был долго, тепло и дружески близок со студентом Суреном Николаевичем Багатуровым, очень серьезным, болезненным человеком. Багатуров умер до революции.

Николай Студенцов был сыном священника из города Пензы. Семья была революционно настроена. Его брат Александр, по словам Николая, знал Александра Степановича еще во времена солдатчины, в Оровайском батальоне, в Пензе, склонил его к революционной работе. В те годы Александр отбывал каторгу в Сибири. Студенцов, Надеждинская и Машинцева закончили ссылку осенью 1911 года.

Обычно ссыльные знакомились попросту, без церемонии. С Александром Степановичем и Верой Павловной знакомство произошло по всем правилам. Их официально познакомил Студенцов. Александр Степанович очень любил, когда к ним приходила Е. Г. Надеждинская. У нее был очень красивый голос, и Грин заслушивался ее пением.

...На рождество 1910 года Гриневские сделали рождественскую елку. Александр Степанович на елку повесил маленькие шкалики. Надеждинская много пела, особенно хорошо «Скажи, дева младая, куда нам путь лежит». Александр Степанович танцевал неуклюже, но весело.

...Случай зимой. Как-то вечером поехали компанией кататься в лес, в трех санях. Шутя и смеясь, ехали по красивой лесной дороге. Александр Степанович соскочил с саней и пошел в лес. Сначала не беспокоились, но он не возвращался. Вера Павловна заволновалась. Мужчины сошли с саней и пошли в глубину леса, кричали, аукали, ждали, Александр Степанович не возвращался. Обеспокоенные и взволнованные вернулись домой без него. Утром Александр Степанович пришел домой. Рассказал, что брел, брел, задумавшись. Видимо, далеко зашел. Устал. Набрел на избушку лесника и переночевал в ней. Был очень доволен.

...Компания, окружавшая Александра Степановича, жила дружно, весело и ласково друг к другу. Озорничали часто, как малые дети».

В декабре Вера Павловна уехала в Петербург. Почти одновременно с ее отъездом Грин послал письмо в Москву, в редакцию «Русской мысли» Валерию Брюсову:

«Пусть рукопись моя останется у Вас вместе с моей покорнейшей просьбой *по возможности* напечатать ее в течение этого года. Это просьба, а не условие.

У меня нет никаких рассказов из современной русской действительности. Всё в этом же роде. Может быть, считая рукопись принятой, Вы не откажете мне в небольшом авансе от 50 до 100 р.? Вообще я получаю с листа 125 р. Если это (аванс) сделать неудобно, то не обращайте внимания.

Очень приятно мне, что Вам понравились мои стихи.

Примите уверение в совершенном к Вам почтении *А. С. Грин».*

Речь в письме идет о рассказе «Трагедия плоскогорья Суан», который был послан в журнал еще из Петербурга. «Русская мысль» опубликовала его только в июле 1912 года. Грин не мог знать, что в марте 1911 года Брюсов в письме к другому редактору журнала П. Струве так отзовется о его рассказе: «„Трагедия плоскогорья Судан" * Грина, вещь, которую я оставил в редакции «условно», предупредив, что она может пойти, а может и не пойти, вещь красивая, но слишком «экзотичная» и к тому же большая (в ней больше 2 листов)».

Во время пребывания в Пинеге Грин старался не порывать старых связей с журналами. Его ближайший друг Л. Андрусон, превосходный переводчик скандинавских поэтов, попросил у него что-нибудь для нового журнала, где он был секретарем. Грин тотчас откликнулся, отправив рассказ «Позорный столб», написанный в Пинеге.

Познакомившись поближе с местными жителями,

---

* Описка: «Суан».

Грин вскоре увидел, что в городе большой популярностью пользуется «Пробуждение». Еще в Петербурге он оставил в редакции этого журнала рассказ «На склоне холмов», но в общем-то он недолюбливал этот сахарный ежемесячник, от которого слишком откровенно несло благополучным мещанством. Теперь Грин обратился к редактору журнала Корецкому с письмом:

«Дорогой Николай Владимирович! Я живу в Пинеге, Архангельской губ., сослан на $1^1/_2$ года.

У Вас начинается подписка. Не возьмете ли Вы, за наличные, теперь небольшой рассказ, рублей на 50—70-ть? Здесь трудно и без денег плохо.

Очень прошу Вас также высылать «Пробуждение» сюда. Да, далеко от меня Петербург. Грустно.

Напишите мне что-нибудь. Ваш А. С. Грин».

Старые связи быстро таяли: в этом нетрудно убедиться, посмотрев на маленький список произведений, опубликованных Грином в 1911 году. А ведь писал он много. В сущности, Гриневские в ссылке жили на деньги отца Веры Павловны, а Грину так хотелось самостоятельности.

Через месяц Грин вновь пишет Корецкому. На этот раз письмо его шутливо:

«Многоуважаемый Николай Владимирович! Скучно, скучно без «Пробуждения». Я привык к этому журналу, и, когда приходит почта, грустно, что не видишь знакомой обложки. Не поскупитесь, вышлите «Пробуждение»!

Я узнал, что Вы больны. Это меня беспокоит, я знаю по себе, что такое ревматизм, ибо пролежал раза три по 1,5 и 2 месяца совсем без ног. При болезнях я вообще утешаюсь всегда тем, что есть еще худшие болезни, чем претерпеваемые в данный момент.

Я грущу. Я вспоминаю Невский, рестораны, цветы, авансы, газеты, автомобили, холодок каналов и прозрачную муть белых ночей, когда открыты внутренние глаза души (наружные глаза души — это мысль). Здесь морозы в 38 гр., тишина мерзлого снега и звон <в> ушах, и хочется подражать Бальмонту:

Заворожен, околдован,
отморожен, без ушей,
Ярким снегом огорожен,
получил в этапах
вшей.

Вши давно «отведи с
«миром» — по-
лучили от небес.
Но измучен ими — ... (неразборчиво)
Я смотрю на темный лес.
Граммофон орет в
гостиной.
На стекле — желток луны.
Я нечаянно рябиной
облил новые штаны.
За стеной бушует дьякон:
На Крещенье, сгоряча,
Он, в святой воде
обмакан,
Принял внутрь «Спотыкача».
За окном скрипят
полозья;
Там, по берегу, к реке,
Ледяных сосулек гроздья
Едут вскачь на мужике.
Между тем у стен Розетты
Катит волны желтый
Нил,
Пальмы. Финики. Галеты.
Зной, чума и крокодил.

Извините за баловство. Желаю от души выздоровления».

Период затворничества, когда Грин не хотел знакомиться ни с кем из ссыльных, кончился. Затворничество это, впрочем, легко объяснимо. По опыту севастопольской тюрьмы и сибирских этапов он уже знал о бесконечных, совершенно бесплодных, а подчас и бессмысленных спорах, которые в конечном итоге всегда заканчиваются ссорами. Но и слишком долго оставаться один он тоже не мог. Грин был из тех людей, которым шумное большое общество было в общем не нужно. Он, вероятно, охотно близко сошелся бы с кем-нибудь, чтобы вести неторопливые беседы, но еще лучше в присутствии другого посидеть, помолчать, подумать, изредка перекидываясь ни к чему не обязывающими замечаниями. Таким молчаливым собеседником была для него Вера Павловна. С ее отъездом дело пошло хуже. Он затосковал по людям. Даже книги — вечное его прибежище — не помогали.

Теперь Грин сам стал искать общества людей, ходить в гости, вести «светские» разговоры, а по вечерам воз-

вращался к себе, где его ждала неоконченная рукопись. Он словно пытался выговориться за месяц молчания. Впрочем, через несколько дней он уже устал от такой жизни: он был человеком редкой душевной утомляемости. Его вновь потянуло к столу, к книгам, но дело уже было сделано: он завел знакомства, и люди не старались обходить его дом стороной.

4 февраля 1911 года пинежский уездный исправник направил архангельскому губернатору рапорт, в котором писал: «Представляя при этом прошение поднадзорного Александра Степанова Гриневского, ходатайствующего о разрешении ему отлучки в город Архангельск по болезни и заключение местного врача о состоянии здоровья Гриневского, доношу Вашему превосходительству, что Гриневский поведения хорошего и образ жизни ведет скромный».

За этим документом следовал текст прошения:

«Покорнейше прошу о разрешении мне Вашим превосходительством хотя бы кратковременной отлучки из Пинеги в Архангельск, по следующим обстоятельствам: я болен, как признал это местный врач г. Ольшанер, пороком сердца, что требует немедленного обращения к специалистам. Затем отсутствие зубного врача в Пинеге причиняет мне тяжкие страдания, так как, растеряв все пломбы, я вынужден переносить жестокую зубную боль, в Архангельске же имеются зубные врачи. В крайнем случае я прошу Ваше превосходительство об отпуске в Архангельск хотя бы на трое суток. Дворянин Александр Степанов Гриневский. Января 22-го дня, 1911 года, г. Пинега».

Пинежский исправник не торопился отправить прошение. Лишь 14 февраля губернатор милостиво согласился на трехдневную отлучку в Архангельск с 21 февраля. Но Гриневских задержал пожар.

В начале марта архангельский полицмейстер донес губернатору, «что 2 сего марта прибыл с проходным свидетельством из гор. Пинеги гласно-поднадзорный Александр Степанов Гриневский и временно остановился на жительство во 2-й части по Псковскому проспекту в доме № 89. Гласный надзор полиции за ним учрежден».

4 марта Грин обратился к архангельскому губернатору со «словесной просьбой»: «Покорнейше прошу Ваше превосходительство продлить срок моего пребывания в г. Архангельске до 1 месяца, ввиду болезни моей и жены, требующей основательного лечения».

Губернатор разрешил, но интересно, что в воспоминаниях Веры Павловны нет ни строчки о зимней поездке в Архангельск. Если бы не документы, можно было бы подумать, что Гриневские вообще ни разу из Пинеги вместе не выезжали. Этот месяц в Архангельске, по всей видимости, навсегда останется в биографии Грина белым пятном.

В начале апреля Грин выехал «домой», в Пинегу, и сразу же по приезде отправил письмо В. Я. Брюсову:

«Многоуважаемый г-н Редактор! Я много лет знаю и люблю Вас, как поэта, но, к стыду своему, не знаю Вашего отчества, почему и прошу извинить официальное мое обращение.

Я недавно приехал в Пинегу и получил Ваше письмо здесь с опозданием на месяц. Лестный отзыв о моей вещи художника строгого и требовательного был для меня гораздо приятнее быстрого напечатания. Особенно здесь, в далекой стороне, где вынужден я провести, быть может, еще полный год.

Я могу и согласен ждать и, если позволите, возьму назад рукопись лишь в том случае, когда надеяться на помещение ее в «Русской мысли» мне будет неосновательно.

Мне вообще трудно пристраивать свои вещи, вероятно, в силу этих самых особенностей их, за которые услужливые мои друзья упрекали меня в плагиате сразу всех авторов всех эпох и стран света, до Конан-Дойля включительно. Так в Петербурге знают иностранную литературу. С искренним уважением А. С. Грин. Пинега, апреля 5-го дня».

Пришло лето. Грин много охотился, по целым дням пропадая в лесах или на дальних озерах, в стране Карасеро.

Несколько лет назад москвич Андрей Станюкович передал мне фотокопии двух страничек, вырванных из

блокнота. Это было коротенькое предисловие, написанное Грином 30 июня 1930 года и озаглавленное «Охотник и петушок» (из повести «Таинственный лес») *.

Грин пишет:

«От автора. В настоящем произведении изображена природа Пинежского уезда Архангельской губернии. Автор был там ссыльным в 1910—11 году.

Среди бесчисленных озер этого края автору хорошо помнится одно огромное овальное озеро, погруженное в раму мрачно-зеленого леса. На стальной, с голубым пятном, не подверженной морщинам и... (слово неразборчиво) глади озера плавали два лебедя. Автор был тогда азартным охотником. Он целый день пытался обойти лебедей с того места берега, к которому они были ближе, но, не взлетая, не «тратя сил», лебеди спокойно отплывали к другому берегу, всегда держась вне расстояния картечного выстрела.

Автор, протискиваясь по чаще, ободрал руки, лицо и разорвал одежду.

Автор устал, а лебеди остались жить и плавать по огромному овальному озеру — прозрачной пропасти, полной облаков и рыб».

Видимо, Грину через много лет захотелось вновь пережить свой давний восторг перед страной Карасеро.

В июле Грин вновь обратился к губернатору с прошением:

«Покорнейше прошу Ваше превосходительство разрешить мне перевод в г. Архангельск из г. Пинеги и пребывание в нем до окончания срока ссылки, т. е. до 15 мая 1912 г. Причиной настоящего моего прошения служит признанная архангельскими городскими врачами болезнь сердца и общая слабость, требующая постоянного врачебного присмотра и усиленного лечения. Июня 10-го дня, 1911 года, г. Пинега».

Вероятно, исправник не решался сразу, без весомого подтверждения, отправить прошение губернатору. Первоначально он обратился к уездному врачу с просьбой

* Предисловие предназначалось к отрывку из повести, где охотник Тушин охотится за золотистым петушком.

«дать свое заключение о состоянии здоровья Гриневского».

Врач ответил: «Подтверждаю, как и в прошлый раз, что Гриневский страдает пороком сердца. Врач Ольшванер. Пинега, 30 июня 1911 г.».

Только после этого ответа исправник переслал документы губернатору.

Долгое время не получая ответа (Гриневские ведь не знали, что прошение Александра Степановича крепко подзастряло у исправника), Вера Павловна решила «усилить» давление. Она написала губернатору:

«Ваше превосходительство, Иван Васильевич, простите, что беспокою Вас письменным обращением. Вы были добры согласиться на перевод мужа моего, Александра Гриневского, на Кегостров.

Весной Вы сказали мне, чтобы я напомнила Вам еще раз о своей просьбе. В июне я была в Архангельске, но Вы были больны. Поэтому я решаюсь напомнить Вам письменно о Вашем согласии на перевод мужа. Не можете ли Вы, Ваше превосходительство, устроить этот перевод еще в августе? Буду Вам крайне обязана и благодарна. В. Гриневская. 4 июля 1911 г.»,

На тексте письма губернатор крупно написал: «Перевести на Кегостров с 15 августа».

Но Грин об этой «милости» узнал только в начале августа, когда Вера Павловна была уже в Петербурге.

В ноябре Вера Павловна обратилась к министру внутренних дел с прошением о досрочном освобождении мужа:

«Имею честь покорнейше просить Ваше высокопревосходительство о следующем: *муж мой, Александр Степанович Гриневский,* был выслан из С.-Петербурга 31 октября 1910 года в Архангельскую губернию, сроком на два года с зачетом пяти месяцев, из коих в течение трех месяцев он отбывал арест за проживание по чужому паспорту, что было следствием его побега из административной ссылки в Тобольскую губернию. Будучи арестован в июле 1910 года, он подал прошение на высочайшее имя, *результатом чего была замена ссылки в Тобольскую губернию таковой же в Архангельскую губ. и сокращение срока ссылки с четырех до двух лет.*

Теперь муж мой отбыл более двух третей наложенного на него наказания. Здоровье его плохо. Доктор пинежской больницы определил у него порок сердца; медицинское свидетельство переслано вместе с прошением о переводе из г. Пинеги в Архангельский уезд г-ну архангельскому губернатору. Следствием этого прошения был перевод мужа в село Кегостров Архангельского уезда. Врачи г. Архангельска подтвердили болезнь сердца, требующую серьезного лечения; последнее же в условиях ссылки невозможно.

Муж мой уже давно всецело посвятил себя беллетристической работе; но оторванность от литературных центров крайне затрудняет устройство произведений в журналах и издательствах, следствием чего является наше затрудненное материальное положение. Я же решаюсь затруднить Ваше высокопревосходительство еще потому, что мне приходится делать постоянные переезды с места ссылки в Петербург, где у меня отец. Я единственная дочь, а здоровье отца внушает серьезные опасения. Переезды же эти крайне тягостны как морально, так и материально.

Ввиду всего вышеизложенного имею честь покорнейше просить Ваше высокопревосходительство сократить срок ссылки мужа моего на те несколько месяцев, которые остались до конца назначенного срока (15 мая 1912 года). В. П. Гриневская. 21 ноября 1911 г., село Кегостров, Архангельского уезда, Архангельской губернии».

Подчеркивания в тексте сделаны в министерстве внутренних дел. На полях, в том месте, где говорится о сокращении срока ссылки, замечено: «Чего же больше», но потом зачеркнуто и ниже написано: «Затребовать из Арханг. губерн. сведения о поведении Гриневского».

В декабре просьбу Веры Павловны поддержал и Степан Евсеевич Гриневский.

Департамент полиции запросил о поведении Гриневского архангельского губернатора, тот — архангельского исправника, исправник дал благоприятный отзыв, но всё же министр оставил ходатайства Веры Павловны и Степана Евсеевича без последствий.

В то время как шла официальная переписка, Грин писал один из самых обаятельных своих рассказов «Жизнь Гнора». Вера Павловна переписала его начисто, и он был отправлен В. Брюсову в «Русскую мысль».

Месяца через полтора Грин запретил редакцию:

«Покорнейше прошу уважаемую редакцию «Русской мысли» сообщить мне письменно, принята ли к напечатанию рукопись моя «Жизнь Гнора», а также возможно ли рассчитывать на печатание «Трагедии плоскогорья Суан» в течение 4 ближайших месяцев. С совершенным почтением А. С. Грин» (28 января 1912 года).

В феврале Грин вновь пишет в Москву:

«Уважаемый Валерий Николаевич! *

Я получил Ваше любезное письмо и рукопись «Жизнь Гнора». Вы не можете себе представить, как приятно было мне узнать, что «Тр<агедия> пл<оскогорья> С<уан>» будет напечатана в этом году. Количество месяцев для меня теперь уже не так страшно, когда я главным образом боялся того, что рассказу этому не удастся пройти совсем. С совершенным уважением А. С. Грин» (14 февраля 1912 года).

Интересно, что еще в конце 1908 года «Русская мысль» поместила большой, более двух печатных листов, рассказ молодого, тогда мало кому известного писателя А. С. Грина «Телеграфист». Правда, оговоримся сразу, рассказ был из русской жизни. Но он не может идти ни в какое сравнение с такими первоклассными новеллами, как «Трагедия плоскогорья Суан», «Синий каскад Теллури», «Жизнь Гнора».

Две последние новеллы были напечатаны в «Новом журнале для всех».

В марте Грин обратился к губернатору со «словесной просьбой» (бланк):

«Покорнейше прошу Ваше высокопревосходительство разрешить мне отбыть оставшиеся два месяца надзора в Архангельске, вместо Кегострова, в силу болезненности моей и жены, проживающей со мной, не позволяющей мне ходить пешком с Кегострова в город. 13 марта 1912 г.».

Вероятно, губернатор дал согласие, так как через два дня он написал исправнику, что «назначив поднадзорно-

* Описка: Яковлевич.

му Александру Степанову Гриневскому дальнейшим водворением гор. Архангельск, предлагаю Вашему высокоблагородию отправить его по назначению, препроводить всю переписку о нем архангельскому полицмейстеру и об исполнении донести».

Донесение об исполнении губернатор получил от полицмейстера. В рапорте сообщалось, что «21 сего марта прибыл из Архангельского уезда гласно-поднадзорный Александр Степанов Гриневский и временно остановился на место жительства в 1-й части, в Троицкой гостинице. Гласный надзор полиции за ним учрежден».

В Архангельске Грин продолжал интенсивно писать. Скоро, теперь уже совсем скоро, оканчивался срок ссылки, и ему следовало позаботиться о хлебе насущном, там, в Петербурге, где он будет лишен материальной поддержки отца Веры Павловны и где не будет и такой дешевизны, как здесь, на Севере.

В конце апреля Вера Павловна уехала в Петербург. Она хотела нанять и подготовить к приезду Александра Степановича новую квартиру. Вера Павловна надеялась, что устраивает новое гнездо, но через год с небольшим они с Грином расстались, оставшись, впрочем, на всю жизнь добрыми друзьями.

Объяснение разрыва, которое дает Вера Павловна в своих воспоминаниях, вряд ли справедливо. «Простенькая интеллигентка» забыла, что в один из трудных в материальном отношении моментов (а таковые у Грина бывали постоянно!) она ему сказала:

— Что тебе стоит, напиши бытовой роман, его напечатают где угодно, будут деньги, не надо будет вечно одалживать!

Вера Павловна по-своему была, конечно, права. Напиши Грин бытовой роман, его действительно с великим удовольствием напечатала бы «Русская мысль», или «Русское богатство», или даже сам «Вестник Европы». Но это было бы изменой самому себе, чего Вера Павловна не понимала.

Недаром приблизительно в это же время Грин писал Виктору Сергеевичу Миролюбову:

«...Простите и извините. Мне трудно. Нехотя, против воли, признают меня российские журналы и критики; чужд я им, странен и непривычен. От этого, т. е. от

постоянной борьбы и усталости, бывает, что я пью и пью зверски.

Но так как для меня перед лицом искусства нет ничего большего (в литературе), чем оно, то я и не думаю уступать требованиям тенденциозным, жестким более, чем средневековая инквизиция. Иначе нет смысла заниматься любимым делом. К Вам же захожу я и ради денег, но и совместно с тем, чтобы подышать воздухом без строчек и кружковщины...»

«Иначе нет смысла» — этого, к сожалению, Вера Павловна не могла понять до конца своих дней.

Грин всегда был необычайно чуток к ласке, теплу, участию. Они вызывали у этого сумрачного человека слезы. Все, кто знал Грина, единогласно утверждают: даже самое незначительное проявление участия вызывало в нем такой прилив благодарности, что сразу было понятно, как ему недостает простого человеческого тепла.

При всей несомненной отзывчивости, самоотверженности, доброте было в Вере Павловне немало такого, с чем Грин никогда не мог примириться.

По образованию и воспитанию она была типичной буржуазкой, не способной, в силу целого ряда причин, до конца понять столь сложное, сотканное из противоречий явление, как Грин, окончивший университеты российских дорог.

Исход их отношений был предрешен: непонимания выбранного пути Грин простить не мог.

Отягощенный каким грузом возвращался Грин из ссылки?

Вера Павловна вспоминает: Грин не однажды говорил ей, что время, проведенное им в Архангельской губернии, было лучшим в его жизни. «Заботы о деньгах не было; отец высылал достаточно. Поэтому Александр Степанович мог писать только тогда, когда хотел, мук творчества не испытывал...» Оказывается, вся проблема заключена в деньгах!

Вера Павловна не поняла причину настоящего счастья Грина. А причина эта была простой и трудной одновременно. Изменилось отношение его героев к людям. Герои перестали быть эгоцентристами. Гнор, первый герой, думающий не о себе, уверенно заявит: «Я счастлив».

Лев Толстой, путешествуя в молодости в Альпах, взял с собой слабого мальчика, чтобы думать и заботиться не о себе. Он писал: «Я убежден, что в человека вложена бесконечная не только моральная, но даже и физическая сила, но вместе с тем на эту силу положен ужасный тормоз — любовь к себе или скорее память о себе, которая производит бессилие. Но как только человек вырвется из этого тормоза, он получает всемогущество».

Счастье Грина было в том, что он «вырвался из этого тормоза». Это было похоже на весну, когда люди начинают жить заново.

18 мая 1912 года архангельский полицмейстер отрапортовал архангельскому губернатору:

«Доношу Вашему превосходительству, что гласноподнадзорный Александр Степанов Гриневский 15 сего мая освобожден от надзора полиции за окончанием срока такового и того же числа выбыл на родину».

СВОЕЙ ДОРОГОЙ

Грин вернулся в Петербург 16 мая 1912 года. Он не был в Петербурге каких-нибудь полтора года, но как всё здесь изменилось, особенно в издательском мире! Надо было восстанавливать старые связи, налаживать новые. Через три недели после приезда Грин пишет В. Брюсову:

«Глубокоуважаемый Валерий Николаевич! *

Покорнейше прошу Вас сообщить мне, не предполагаете ли Вы напечатать мой рассказ в июне или в июле месяцах; если бы в июне, то был бы у меня некоторый повод обратиться к Вам с серьезной просьбой об авансе 75 руб., относительно июля повод слабее, и я оставляю тогда этот вопрос на Ваше усмотрение и снисходительство, да и насчет июня тоже. 16-го мая я вернулся в СПб. из Архангельска; денежный вопрос стоит во всей силе и остроте; вспомнив же, что в феврале Вы писали мне о возможности напечатать мой рассказ в течение бли-

* Описка: Яковлевич.

жайших 4—6 месяцев, пишу Вам теперь, может быть и в самом деле рассказ на очереди.

С совершенным почтением А. С. Грин.

Адрес СПб. Васильевский остров, 6-я линия, д. 17, кв. 19. Александру Степановичу Гриневскому» (5 июня 1912 года).

Ответ Брюсова до нас не дошел, но рассказ «Трагедия плоскогорья Суан» был напечатан в июльском номере журнала.

Из ссылки Грин привез немало великолепных вещей, но «пристраивать» их, как он писал Брюсову из Пинеги, ему было трудно.

Вновь, как и до ссылки, его стали часто видеть в компании Куприна. Старейший журналист Е. Хохлов вспоминает: «Помню, Куприн с характерным для него озорным хохотком сказал про Грина: «У него лицо каторжника», на что Грин, когда ему про этот отзыв сообщили, как-то при встрече с Куприным спросил его: «А вы, Александр Иванович, когда-нибудь настоящих каторжников видели? Небось нет. А вот я видел». Они тогда чуть не поссорились: Куприн таких замечаний не терпел».

Новые связи завязывались с трудом. Помня о добром отношении к нему в «Русской мысли», Грин вновь обращается к Брюсову:

«Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич!

Будьте добры, просмотрите, пожалуйста, прилагаемое мною при сем стихотворение. Если Вы найдете его годным для напечатания в «Русской мысли» — пожалуйста, сообщите об этом мне. Но и в случае неблагоприятном для меня — тоже. Я очень прошу Вас об этом, чтобы быть поставленным в необходимую для меня известность относительно сего. Равным образом прошу Вас уведомить меня — могу ли я рассчитывать на помещение в Вашем журнале небольшого рассказа, разумеется, в случае его годности для этой цели.

С искренним уважением А. С. Грин.

СПб. 2-я рота, д. 7, кв. 24. А. С. Гриневскому» (7 января 1913 года).

Речь в письме, бесспорно, идет о стихотворении «Танис» (другие названия: «Фрегат», «Мелодия»), сохранившемся в фонде Брюсова. К сожалению, ответ поэта

нам и в этом случае неизвестен. Стихотворение «Танис» на страницах «Русской мысли» не появлялось, не было напечатано и ни одного рассказа Грина.

Неожиданно Грину по-настоящему повезло. Быть может, везением это назвать нельзя: просто к писателю пришло заслуженное признание. Книгоиздательство Н. Н. Михайлова «Прометей» заключило с Грином договор на издание трехтомного Собрания сочинений. Для сравнительно молодого писателя это был успех, и немалый. Быть может, известную роль в заключении договора сыграло сообщение, появившееся в такой распространенной газете, как «Утро России». В заметке говорилось: «Один большой из английских журналов («Ежемесячный журнал») заключил контракт с беллетристом А. С. Грином, обратившим на себя внимание своими рассказами о приключениях. Новые рассказы А. С. Грина будут появляться в английском переводе одновременно с русским оригиналом».

Новый, 1914 год Грин встретил в Москве, куда приехал вскоре после рождества. 28 декабря он писал В. Брюсову:

«Глубокоуважаемый учитель!

Разрешите посетить Вас. Вы, вероятно, в Москве, и я, как приезжий, постараюсь не обременять Вас. А. С. Грин, СПб., Верейская, 13 б, кв. 5».

Состоялась ли встреча и если да, то о чем они говорили, мы, к сожалению, не знаем.

В первых числах февраля мы уже находим Грина в лечебнице доктора Трошина, откуда он вышел приблизительно через месяц.

Как же в эти годы критики воспринимали творчество Грина? Тон рецензий на его книги заметно менялся. Правда, в подписях под такими рецензиями мы почти не обнаружим крупных имен, — всё это большей частью

окололитературные люди, не оставившие никакого следа. Но всё-таки две рецензии принадлежат людям с немалым литературным именем. Одна из статей — «Мексиканский быт» — написана А. Измайловым. Сообщив читателям, что современные молодые рассказчики, коим до ужаса надоел всяческий быт, забыли традиции Мопассана и Чехова, он заключает:

«Не удивляйтесь, если среди литературной молодежи появляются уже рассказчики, претендующие на лавры русского Киплинга, Джека Лондона, если хотите, просто Майн Рида. Вот беллетрист. Русский по рождению и языку, он не хочет знать ни чеховской провинции, ни чириковских интеллигентов». Затем разговор, разумеется, переходит на дальние моря и океаны, где происходит действие гриновских рассказов (то есть в этом А. Измайлов предельно банален. — *В. С.*), два-три замечания о построении новелл и вывод: «В красках Грина так же трудно найти неправильность, несообразность, нелепость, как трудно почувствовать свое. Пока еще нет Грина, — есть его иноземные первообразы. Во что выльется этот замах не лишенного дарования беллетриста — говорить мудрено. Пока трудно признать какое-нибудь серьезное значение за рассказом, все точки и линии которого совпадают с чертами и линиями талантливых иноземцев. Но сознание, что куда-то нужно двинуться с затоптанного места, но жажду читателя отдохнуть хотя бы за мексиканским бытом Грин воплощает в себе в высшей степени убедительно».

Грина раздражало сравнение его с иностранными писателями (вспомните хотя бы строчки из письма его Брюсову из Пинеги). Писатель не без основания считал, что, усвоив некоторые чисто технические приемы, он в самом главном остается самобытным.

В 1913—1914 годах, когда в издательстве «Прометей» вышел трехтомник Грина, количество рецензий на его книги значительно возросло.

Вновь в «Киевской мысли» с большой статьей выступил Л. Войтоловский. По его мнению, ныне «творчество Грина сильно пошло на убыль. Дикая и величественная прелесть его первых героев утратила свою тоскующую загадочность... Я не хочу сказать, что Грин совершенно лишился литературного таланта. Он пишет энергично, образно, ярко. Он умеет вызывать перед вами живые сцены, умеет придавать своим героям некоторую зани-

мательность. Но весь его талант ушел в эту игру на эффектах дурного вкуса».

Л. Войтоловского так же трудно упрекнуть в непонимании Грина, как и защищать самого писателя. Сейчас, с высоты времени, мы видим: калейдоскоп приключений был совершенно необходим Грину для вскрытия сущности происходящего вокруг и одновременно как средство против «ожирения сердца», как тонко подметил Д. Гранин. Вспомним то время, вспомним о бесчисленных эксах, анархических бунтарях, за действиями которых не стояло никаких нравственных принципов. Именно против всего этого восстал Грин. Он показывал калейдоскоп приключений, которые утомляли тело, но не излечивали душу. Счастье приключений было для Грина «холодным счастьем».

Впрочем, иные ценители литературного таланта Грина шли ненамного дальше. Так, некий М. К—ов в газете «Утро России» заключил свою статью так: «...вся сурово-экзотическая фантастика Грина, не представляя собою глубокого серьезного литературного явления, приемлема, как стакан холодного, крепкого вина после длинной и пыльной дороги, порой неожиданно пленительна, словно строгая и свежая струя воздуха отдаленных горных высот, проникшая в затхлый, застоявшийся воздух торопливо однообразной тягучести города».

Другой критик в этой же газете несколько месяцев спустя, походя возведя Грина в ранг второстепенных писателей, но тем не менее отметив, что «слог у Грина энергичный, торопливо-сдержанный по своей сжатой выразительности», пришел к выводу: «...произведения Грина, полные преувеличений, достойных устарелого эпоса «плаща и шпаги», полные «пинкертоновской» ходульности по неумеренной отваге своих героев, составляющих чисто кинематографическое нагромождение невероятных событий, бравирующих своей парадоксальностью, — всё же, как это ни странно, принадлежат к литературе».

«ДНЕВНИК» СЛЕЖКИ

В охранке Грин числился политически неблагонадежным. Вероятно, в связи с началом войны охранка решила проверить его связи.

Грину дали кличку «Невский».

«Дневник» охранки. *3 сентября 1914 года* (сохранена полностью орфография и пунктуация оригинала):

«В 12 ч. дня вышел из дому и по указанию надзирателя регистрационного бюро Занчихина был взят под наблюдение по выходе отправился на Лиговский д. 19, в подъезд где главная контора журнала «Геркулес» пробыл 10 м. вышел и отправился на Невский пр., где встретился с неизвестным господином с которым прогуливался по Невскому пр. расставаясь неизвестный отправился под наблюдением филера Васильева а Невский пошел по Невскому пр. д. 81 в подъезд где имеются меблированные комнаты Белград пробыл 30 м. вышел и отправился на Невский д. 96 в подъезд где тоже имеются меблированные комнаты «Север» пробыл 1 час вышел и тут же встретился с неизвестным мужчиной с которым поговорив немного расстался неизвестный пошел без наблюдения Невский отправился на Владимирский пр. д. 16 во двор где имеется столовая пробыл 30 м. вышел пошел по Владимирскому пр. д. 1 в парикмахерскую пробыл 30 м. вышел, постригся и побрился по выходе отправился по Невскому пр. д. 96 в булочную купил булок и возвратился домой. Больше выхода не видели.

Неизвестный отправился по Лиговке д. 114 в подъезд где редакция и контора журнала и газеты «Родина» откуда до 6 ч. вечера взят не был. Лебедев Ф. Васильев».

Речь идет, вероятно, о каком-нибудь сотруднике журнала «Родина», где печатался Грин.

На следующей странице:

«Приметы Невского лет 40—45 (Грину в то время было 34 года, но выглядел он значительно старше. — *В. С.*), высокого роста, тонкого сложения, шатен, лицо продолговатое худощавое, нос прямой, рыжеватые коротко стриженные усы, бороду только что обрил. Одет черная мягкая шляпа черная накидка серые брюки».

4 сентября с 9 ч. 20 м. утра до 9 ч. 30 м. вечера:

«В 5 ч. 40 м. дня вышел из дома и тут же на углу Невского просп. и Пушкинской ул. купил газеты вернулся домой. Вторично вышел из дома в 7 ч. вечера прогулялся по Невскому просп. после чего зашел в Кинематограф пробыл там 1 ч. 30 м. вышел, прошелся по Невскому просп. и вернулся домой более его не видели, Лебедев Ф. Семенов».

5 сентября с 9 ч. утра до 8 ч. 30 м. вечера:

«Вышел из дома 11 ч. 30 м. дня на углу Пушкинской ул. и Невского прос. купил газету и пошел на Знаменскую площадь к памятнику Александра III-го где сидел 10 м. и читал газету, встал пошел на Невский просп. дом № 81 в подъезд где меблированные комнаты «Белград» где пробыл 20 м. вышел и пошел на Знаменскую ул. дом 6 в магазин ювелир «Марков» скора вышел и пошел Лиговская ул. дом № 19 в подъезд где контора и редакция журнала Геркулес пробыл 10 м. вышел и на Жуковской ул. сел в извозчика и поехал на Владимирский проспек дом № 16 во двор где столовая Глория и управление 1-го Московского участка где пробыл 15 м. вышел и пошел на Пушкинскую ул. д. № 2 в посудный магазин «Глибина» скоро вышел и пошел Пушкинская ул. д. № 4 московский мучной лабаз где пробыл 5 м. вышел и имел присибе небольшой сверток и пошел Пушкинская ул. дом 10 в магазин чая и фрукты скоро вышел и вернулся домой.

Вторично вышел в 3 ч. дня и пошел Невский прос. дом. № 96 кафе Бристоль где пробыл 20 м. вышел на углу Невского прос. и Надежденской ул. купил газету и послал посыльного № 18 а сам пошел к Литейному прос. вернулся к Надежденской ул. где ожидал посыльного через 5 м. пришел посыльный по направлению с Надежденской ул. что-то поговорил с кошелька что-то дал по-видимому деньги растался и пошел Эртелев переул. дом № 6 в подъезд где редакция газеты «Новое время» где пробыл 5 м. вышел и пошел Невский просп. дом № 88 в табачный магазин Андреева скора вышел и вернулся домой, более выхода не видели. Колотий. Васильев».

Грин посылал посыльного — в те годы в Петербурге на углах улиц стояли так называемые «красные шапки»: их использовали для мелких поручений — в контору «Нового времени» за гонораром. Но редактор отказал посыльному, попросив его передать писателю, чтобы он зашел сам.

6 сентября с 9 ч. утра до 8 ч. вечера:

«Невский... вышел из дому в 11 час. утра имел при себе книгу по-видимому журнал в переплете на углу купил газету и пошел в д. № 81 в подъезд по Невскому пр. где меблированные комнаты пробыл 20 м. вышел сел на

извозчика поехал 4-я рота д. № 18 в ворота пробыл 20 м. вышел и пошел на Измайловский пр. где сел в трамвай и доехал до Морской ул. вышел и пошел Гоголевская ул. д. № 22 где контора Нива пробыл 20 м. вышел имел при себе журнал желтого цвета дошел до Невского пр. сел в трамвай доехал до Владимирского пр. и пошел Владимирский пр. д. № 16 в ворота пробыл 25 м. вышел и дошел до Невского пр. купил газету где читал 10 м. и пошел на Литейный пр. д. 42 не заметили куда зашел или в табачный магазин и в подъезд откуда взят не был и домой прихода не видели. Колотий. Чекмарев».

7 сентября (время не указано):

«В 11 ч. 10 м. утра вышел из дома отправился в д. № 81 по Невскому пр. в подъезд где меблированные комнаты, через 25 м. вышел пошел в дом № 19—38 по Лиговке в подъезд где редакция журнала Геркулес, пробыл 40 м. вышел вместе с Неизвестным с которым отправился в д. № 5 по Дмитровскому пер. в подъезд где отель Гигиена, через 1 ч. вышли пошли в д. № 4, по Стремянной ул. в ресторан, через 45 м. вышли пошли на Невский где купили газету и пошли по Владимирскому пр. у д. № 16, расстались Неизвестный пошел без наблюдения, а Невский пошел в упомянутый дом в ворота, через 25 м. вышел и вернулся домой. Более выхода не видели. Чекмарев. Колоколузин».

8 сентября от 9 ч. 30 м. утра до 8 ч. вечера:

«...вышел из дому в 10 час. 25 м. утра сел в трамвай и доехал до Глав. Штаба слез и пошел. Б. Морская д. № 47 в подъезд где пробыл 15 м. вышел и дошел до Невского пр. сел в трамвай доехал до Пушкинской ул. слез и пошел Невский пр. д. 81 в подъезд время было 12 час. пробыл 25 м. вышел и дошел до Надежденской ул. вернулся и пошел домой, больше выход не видели. Колотий. Орехов».

По наведенным охранкой справкам, в доме № 47 по Большой Морской улице жил домовладелец Набоков Владимир Дмитриевич, сорока четырех лет, к которому и приходил Грин. Набоков был соредактором газеты «Речь».

9 сентября от 9 ч. утра до 8 ч. вечера:

«В 10 час. 25 м. утра вышел из дому пошел в дом № 19 по Литовской ул. в подъезд, где редакция газеты журнал Геркулес, чрез 40 м. вышел с неизвестным господином которому будет кличка «Лиговский» и отправились в Кухмистерскую в доме № 18 по ул. Жуковского где обедали пробыли 25 м. вышли и на углу Надежденской и ул. Жуковского взяли извозчика поехали в ресторан Соловьева по Знаменской площ. где пробыли 30 м. вышли и тутже расстались. «Лиговский» пошел в дом № 19 в подъезд по Лиговской ул., где был оставлен.

А «Невский» пошел в дом № 98 в подъезд где редакция газеты журнал «Новый Сатирикон» по Невскому пр. где пробыл 40 м. вышел и вернулся домой.

В 2 час. 45 м. дня вторично вышел из дома. Пошел в дом № 98 в подъезд по Невскому пр. чрез 5 м. вышел пошел в редакцию газеты «Речь» в доме № 21 по ул. Жуковского где пробыл 45 м. вышел, и пошел в булочную Филиппова в дом № 114 по Невскому пр. где купил булок и вернулся домой более выхода не видели. Орехов. Соколова».

Далее в записи идут приметы «Лиговского» — вероятно сотрудника журнала «Геркулес».

10 сентября от 9 ч. утра до 9 ч. вечера:

«В 12 час. дня Невский вышел из дома, тут же в своем доме зашел в магазин увеличения портретов скоро вышел дойдя до Невского пр. вернулся домой; вторично вышел в 12 ч. 10 м. дня пошел на Знаменскую ул. в аптекарский магазин в д. № 21 откуда скоро вышел по этой же ул. зашел в аптеку где пробыл 8 м. вышел пошел на Жуковскую ул. д. № 18 в греческую кухмистер, где пробыл 30 м. вышел пошел на Невский пр. д. № 98, где редакция журнала Новый Сатирикон, где пробыл 1 ч. 30 м. вышел заходил по Пушкинской ул. в молочную в д. 8, что-то купил вернулся домой. В 6 час. вечера вышел, на углу Невского купил газету «Веч. время» отправился в Художеств. электрическ. театр в д. № 102, по Невскому пр. где пробыл 2 часа вернулся домой, более выхода замечено не было. Задонский. Соколова».

11 сентября, от 9 ч. 30 м. утра до 8 ч. вечера:

«В 10 час. 15 м. утра вышел из дому на Невский пр. сел в трамвай доехал до Садовой ул. пересел во второй трамвай отправился на Приморский вокзал, где с отходящим поездом в 11 час. 30 м. утра до станции Озерки отправился, повыходе из поезда на станции Озерках взял извозчика поехал Ольгинская ул. дача № 10 зашел означенную дачу во двор скора вышел и зашел в дачу на против этой дачи во двор, скора вышел и опять зашел в первую дачу тоже скора вышел и окола дачи седел и прогуливался один час, зашел трей раз означенную дачу скора вышел опять прохаживался возли дачи 20 м. повидимому кого-то ожидал но некого не дождался, отправился на вокзал, и со отходящим поездом в 2 час. 45 м. дня по финлянской ж. дороги отправился Петроград повыходе из вокзала сел в трамвай... доехал до Невскаго пр. вышел из трамвая пошел в столовую в доме № 16 по Владимирскому пр. чрез 25 м. вышел и вернулся домой.

В 3 часа 35 м. дня вторично вышел из дому пошел в редакцию газеты Речь по ул. Жуковского в доме № 21 чрез 10 м. вышел пошел в парикмахерскую Губанова в д. № 112 по Невскаму пр. чрез 15 м. вышел пошел в молочную лавку в д. № 79 по Невскаму пр. скора вышел с покупкой прошелся немного по Невскаму пр. и вернулся домой более выхода невидели. Соколова. Орехов».

В Озерках Грин, как вскоре установила охранка, посетил дачу, где жила Вера Павловна Гриневская, его бывшая жена.

20 октября 1914 года от 9 ч. утра до 8 ч. вечера:

«В 11 час. 30 м. утра вышел из дому вместе с неизвестной дамой дойдя до Владимирского пр. расстались. Неизвестная дама села в трамвай и поехала без наблюдения, а Невский пошел по Невскому пр. д. 81 в подъезд где меблированные комнаты пробыл 45 м. вышел и возвратился домой.

Вторично вышел в 1 ч. дня и пошел по Невскому пр. в д<ом> булочную Филиппова купил булок и возвратился домой. В 2 ч. дня выходил прогуляся по Невскому купил газету и возвратился домой более выхода не видели.

Одевается осеннее черное пальто. Лебедев. Петров».

6 ноября 1914 года от 9 ч. утра до 8 ч. вечера:

«В 10 час. утра вышел из дома на углу Невского купил газету и пошел по Невскому пр. д. № 81 в подъезд где меблированные комнаты пробыл 1 ч. 20 м. вышел пошел по Невскому пр. д. 98 в подъезд где контора и редакция журнала Сатирикон (здесь явная описка: конечно, «Новый Сатирикон». — *В. С.*) где пробыл 20 м. вышел и пошел в этом же доме в кафе Брестоль, где пробыл 1 ч. 15 м, вышел и вернулся домой больше не видели. Соколова. Колоколузин».

В то время, в 1914 году, в доме Пименова вместе с Грином жил Иван Сергеевич Соколов-Микитов. Я познакомился с ним в начале шестидесятых годов. Он рассказал мне о своих встречах с Грином.

О чем рассказал И. С. Соколов-Микитов

С писателем Александром Степановичем Грином, помнится, меня познакомил путешественник Э. Ф. Сватош — человек интереснейшей жизни и судьбы, один из многих уцелевших участников полярной экспедиции Русанова *. Сватоша с Грином, очевидно, познакомил его друг, тоже полярник, гоже участник экспедиции Русанова, Самойлович, впоследствии основатель Арктического института. Мы встретились в маленькой пивной на Рыбацкой улице Петроградской стороны. Грин был в старой круглой бобровой шапке, в потертом длинном пальто с меховым воротником. Сухощавый, некрасивый, довольно мрачный, он мало располагал к себе при первом знакомстве. У него было продолговатое вытянутое лицо, большой неровный, как будто перешибленный, нос, жесткие усы. Сложная сетка морщин наложила на лицо отпечаток усталости, даже изможденности. Морщин было больше продольных. Ходил он уверенно, но слегка вразвалку. Помню, одной из первых была мысль, что человек этот не умеет улыбаться.

Я был очень молод и совсем не помышлял о писательском пути. Не знаю, как и почему, еще юношей я

* Русанов В. А. (1875—1913) — полярный исследователь. Пропал без вести в 1913 году. Соколов-Микитов имеет в виду его экспедицию на корабле «Геркулес».

оказался в среде петербургских писателей, попал в петербургскую литературную богему. В те времена как писатель Грин был мало известен. Толстые, почтенные журналы редко пускали его на свои страницы. Он печатался в бесчисленных тоненьких, маленьких журнальчиках, вроде «Родины», «Синего журнала», «Аргуса», «Огонька».

Маленькие журнальчики печатали Грина много и охотно и никогда не отказывали ему в кредите. Помню такой случай: Грину зачем-то срочно понадобилась довольно значительная по тем временам сумма в 100 рублей. На углу Пушкинской и Невского, где мы жили в меблированных комнатах Пименова, стоял рассыльный. Называли их тогда «красная шапка». Грин позвал рассыльного, вручил ему записку и отправил к Каспари, издательнице журнала «Родина». Через час «красная шапка» вернулся с деньгами.

Выходили у Грина в маленьких частных издательствах (других тогда и не было) небольшие книжки рассказов. Расходились они, насколько помню, туго. Читатель был падок на гремевшие тогда имена: запоем читали Л. Андреева, обыватели и обывательницы зачитывались Вербицкой, издававшейся небывалыми по тем временам тиражами. Читали Каменского, Арцыбашева, Муйжеля, Ясинского. Вообще шумно звенели имена писателей, теперь накрепко забытых. Имя Грина как-то терялось среди них. Но и тогда о нем уже ходили легенды. Рассказывали, будто Грин украл у какого-то моряка чемодан с рукописями и печатает похищенные у неведомого автора фантастические рассказы. К этому прибавляли, что Грин совершал какие-то необычайные преступления, с похищениями и убийствами людей, бегал из тюрем и с каторги. Все эти толки, разумеется, никаких оснований не имели, за исключением легенды тюремной. Грин действительно сидел в тюрьме за причастность к какой-то революционной организации или революционному подполью. Будучи человеком молчаливым, он вообще мало говорил, а охотнее слушал, тем более не любил, а вероятно, и не хотел рассказывать о своем прошлом. Да мало ли кто из передовой молодежи не познакомился в те времена с тюрьмой и ссылкой!

Грин никогда не был путешественником, не видел экзотических дальних стран, покрытых пальмовыми рощами и пересекаемых таинственными реками, не видел

городов с необычными названиями. Всё это он прекрасно умел выдумывать. Зоркости его глаза, точности описаний поражались крупные мастера.

Путешествия Грина обычно начинались и кончались в знакомых петербургских кабачках, встречами с приятелями из петербургской бедной богемы, с людьми, ничуть не похожими на фантастических героев его фантастических рассказов.

При всей своей мрачности Грин бывал озорным, дерзким, но, как мне подчас казалось, не слишком смелым. Правда, в такие минуты я видел его среди людей, хорошо ему знакомых, а, следовательно, там могли быть свои законы и обычаи.

Приятели Грина хорошо знали его характер, почитали его талант, но относились к нему по-разному, кто с холодком, кто дружественно...

Встречались мы довольно часто и почти всегда в компании писателей. Среди них я особенно запомнил поэта Леонида Ивановича Андрусона. Это был очень кроткий, хромой, разбитый параличом человек, с младенческими голубыми глазами. Грин шутя говорил об Андрусоне, что он беден как церковная крыса. Мне не раз доводилось у него ночевать: он жил на Невском, где-то в чердачном помещении, в крохотной полутемной комнатке. В этой же компании был поэт Яков Годин, появлялся иногда Аполлон Коринфский — рыжеволосый, косматый человек, с рыжей, как апельсин, бородою. Случалось из гатчинского уединения приезжал Куприн, вносивший оживление. Пили, сознаться, много и шумно. На этих шумных литераторов смотрел я почтительными юношескими глазами, бывал свидетелем подчас не совсем приятных историй и столкновений...

На Невском в те времена было несколько кавказских погребков. Там подавали шашлык и кахетинское вино. Начиная в одном, мы нередко перебирались потом в другой, третий.... Часто бывали в ресторане Черепейникова (в просторечии «Черепня») на Литейном, в ресторане Давыдова (у нас бытовало выражение «пойти к Давыдке») на Владимирском. Этот ресторан был штаб-квартирой петербургских газетчиков. Куприн описал его в рассказе «Штабс-капитан Рыбников». Ходили главным образом по дешевым трактирчикам; в «Вене», дорогом по тем временам ресторане, почти не бывали.

В начале войны, недолго прожив в Москве, зимою я приехал в Петербург, из патриотических чувств переименованный правительством в Петроград. Я поселился в меблированных комнатах Пименова и поступил на курсы братьев милосердия. В эту зиму мы особенно часто встречались с. Грином. Он жил этажом выше. Занимал он большую, светлую, скудно меблированную комнату, окно которой выходило на Пушкинскую. Помню простой стол, темную чернильницу и листы бумаги, исписанные стремительным характерным почерком, — разбросанные страницы рукописи. Над столом висел портрет Эдгара По и неизвестной мне женщины, вероятно Веры Павловны Гриневской — первой жены Грина, с которой он разошелся в конце 1913 года. Писал Грин быстро, сосредоточенно и в любое время дня. Я не помню случая, чтобы обещанный журналу рассказ он не сделал в срок.

Грин писал фантастические рассказы о фантастических странах и таких же фантастических людях. Он был несомненно талантлив. По определению одного маститого в то время писателя, Грин в литературе был очень способным имитатором. Его учителем был замечательный американский писатель и поэт Э. По, произведениями которого тогда зачитывались в России. Рассказы Грина читались с интересом, но они очень напоминали рассказы писателей иностранных. Сердцевина его произведений была несомненно славянская, русская, но облачены они были в одежды, непривычные для русской литературы, а привычные для Запада. Внешняя сторона гриновских рассказов заслонила от многих их истинную сущность и ценность.

Читал и я гриновские новеллы. Хорошо помню поразивший меня сказочный Зурбаган, фантастических героев, напоминающих персонажи Эдгара По, застряли в памяти строчки стихотворения из какого-то рассказа:

Подойди ко мне, убийца, если ты остался цел,
Палец мой лежит на спуске, точно выверен прицел.
И умолк лиса-убийца; воровских его шагов
Я не слышу в знойной чаще водопадных берегов *.

Стихи поразили меня своей мрачностью, нерусским звучанием. Видные писатели того времени упрекали

* Строчки из стихотворения, которым оканчивается рассказ «Зурбаганский стрелок».

Грина в неряшливости языка, в подражании иностранным новеллистам. Очень возможно, что в этих упреках кое-что было и справедливым...

В те дни, когда Грин много писал, мы мало общались. Забегали пообедать в маленькую греческую столовую на углу Невского и Фонтанки и возвращались домой. С начала войны в Петрограде запретили продавать алкогольные напитки. Но в пригородах — Царском Селе, Гатчине и Павловске — продавали виноградное вино. Иногда мы с Грином отправлялись в один из ближайших пригородов за вином. Как-то на перроне Царскосельского вокзала нам встретился Распутин. Мы узнали его по фотографиям, печатавшимся в тогдашних журналах, по черной цыганской бороде, по ладно сшитой из дорогого сукна поддевке. Грин не удержался и отпустил какое-то острое словечко. Распутин, посмотрел на нас грозно, но промолчал и прошел мимо.

Летом я окончил курсы и уезжал в действующую армию. Я должен был разыскать часть передового санитарно-транспортного отряда имени ее высочества принцессы Саксен-Альтенбургской. Большая часть отряда попала в плен, остальная бродила где-то в Литве. Мы отправились с Грином на Александровский рынок. Мне надо было купить форму, запастись шашкой. На Александровском рынке можно было купить всё: чем только здесь не торговали! Ходили недолго, вскоре нашли шинель по мне и приобрели шашку. С покупками мы вернулись в наши «меблирашки» и начали деятельно готовиться к отъезду.

Провожал меня Грин с Варшавского вокзала. Мы расстались на два года.

В Петроград я вернулся уже в семнадцатом году. Встречи наши были короткими. Помню наши разговоры. Все мы жили тревогами и надеждами тех дней. В Петрограде было беспокойно. Люди ждали событий, конца продолжавшейся войны. Грин скупо рассказал, что пришел в Петроград из Финляндии. Лицо его еще больше осунулось — уже сильно сказывалась нехватка продовольствия. Но он живо ко всему присматривался, прислушивался. В Таврическом дворце бесперебойно шли многолюдные собрания. На Невском то и дело шагали колонны демонстрантов. Выходили бесчисленные газеты и журналы, бесконечные речи произносил адвокат Керенский. В Зимнем дворце заседало Временное прави-

тельство. Я перевелся в Балтийский флот и почти безвыездно жил в Петрограде. Потом уехал в деревню. Там я получил коротенькое письмо от Грина. Он собирался приехать, но так почему-то и не приехал. Вновь мы расстались на много лет. (Запись беседы с И. С. Соколовым-Микитовым. Ленинград, 1964 г. — *В. С.*)

ГЛАЗАМИ ДРУЗЕЙ И НЕДРУГОВ

Мы вплотную приблизились к тем годам, где наши сегодняшние сведения о Грине чрезвычайно бедны. Кое-какие материалы, бесспорно, есть, но большей частью они отрывочны и случайны.

В самом начале 1915 года Грин ответил на анкету «Журнала журналов» «Как мы работаем».

«Как я работаю? Только со свежей головы, рано утром, после трех стаканов крепкого чая, могу я написать что-нибудь более или менее приличное. При первых признаках усталости или бешенства бросаю перо.

Я желал бы писать только для искусства, но меня заставляют, меня насилуют... Мне хочется жрать...»

Приблизительно в те же дни, когда был опубликован ответ на анкету, Грина повстречала Екатерина Ивановна Студенцова. Как писателя она знала его с детства, много о Грине рассказывал ей и старший брат Николай, почти год проживший с писателем в Пинеге. Е. И. Студенцова рассказывает:

«...я поехала к нему с братом. Это было в 1915 году. «Так вот вы к а к а я , — встретил меня Александр Степанов и ч , — а я думал, что придете вот такая». — И он очертил круг рукой. Этим он намекал на круглое лицо брата, представляя, что я похожа на него.

Александр Степанович жил в то время, кажется, на Литейном в номерах *. Номер был длинный, узкий. Направо от входа стояла кровать за шкафом, а налево была вешалка. Впереди было два стола — письменный и обеденный. На одной стене висело зеркало, а на другой — портрет жены, с которой Александр Степанович уже не жил.

---

* Грин жил в меблированных комнатах Пименова, Пушкинская ул., 1.

Александр Степанович много говорил, много пил мадеры. Мне он почему-то казался одиноким в этой неуютной обстановке. Он много говорил о людях, о жизни.

Потом Александр Степанович рассказывал всевозможные истории и анекдоты. Ему, по-видимому, нужны были слушатели. Я стойко выслушивала всё...

Недаром в этот вечер он подарил мне только что вышедшую книжку журнала «Современный мир», № 1, за 1915 год. В ней был его рассказ «Искатель приключений». Александр Степанович написал: «Екатерине Ивановне Студенцовой вечно благодарный Грин». Он очень ценил внимание и ласку.

Пришел поэт Л. Андрусон. Он был закутан в шубу, шарф. На одну ногу прихрамывал и был несколько похож на медведя.

«А, хромой черт», — встретил его Александр Степанович, но это было сказано так, что чувствовалось, что он его очень любит. Андрусон даже не раздевался, скоро ушел. Александр Степанович сказал, что он болеет, а вообще он с ним проводит всё время.

Было уже поздно. Мы собрались домой. Александр Степанович захотел поехать к нам. Приехали на извозчике. Дома все захотели спать. Александра Степановича положили в гостиной на диване. Он долго ходил, пил воду. Потом лежал или спал... Утром горничная сказала, что он ушел еще ночью и ничего не сказал».

Сохранилась еще одна, последняя, «дневниковая» запись в тетради слежки за Грином.

6 июня 1915 года от 9 ч. утра до 8 ч. 30 м. вечера:

«В 12 ч. 45 мин. дня вышел из дому сел на извозчика и поехал на Троицкую ул. д. № 15—17 во двор в подъезд № 3 откуда через 10 м. вышел и пошел на Невский пр. где встретился с неизвестным господином как видно журналист с которым поговорив немного расстались неизвестный пошел без наблюдения а Невский зашел в д. 55 во двор откуда скоро вышел и возвратился домой.

В 4 ч. дня вышел вторично на углу Невского и Пушкинской ул. купил Биржевки и Вечернее время и зашел по Пушкинской ул. д. 1 в овощную лавку... (слово неразборчиво. — *В. С.*) и с покупками возвратился домой.

В 6 ч. 40 м. вечера вышел в третий раз отправился по Невскому пр. д. 57 в Кинематограф пробыл 1 ч. 30 м. вышел, и возвратился домой. Больше выхода не видели. Лебедев Ф. Соколова».

На Троицкой улице Грин посетил квартиру знаменитого сатирика, редактора «Нового сатирикона» Аркадия Тимофеевича Аверченко, но не застал его дома.

С каким журналистом Грин встретился на Невском и к кому он заходил в доме № 55 — выяснить не удалось.

Несколько лет назад умерший старый журналист И. Хейсин, познакомившийся с Грином в 1915 году, вспоминал:

«Полдень. Редакция журнала «Жизнь и суд». Я сижу за работой. Звонок телефона. Беру трубку. Говорят из редакции журнала «Пробуждение» и любезно предупреждают: «К вам направился писатель Грин». Это из числа серьезных предупреждений. Грин, являясь в редакцию, умел-таки разговаривать с издателями. Отделаться от него и отпустить его без настоятельно требуемого аванса было нельзя. Грин в отношении издателей был поистине неумолим.

Я сказал о тревожном сигнале издателям — двум братьям Залшупиным. Те, не желая платить Грину аванс, быстро схватили свои шляпы, пальто — и были таковы.

Я был оставлен «на съедение», но Александр Степанович служащую в редакции братию не трогал.

Пришел Грин. Человек лет сорока, в обветшалом одеянии, в какой-то немыслимой порыжелой шляпе, плохо выбритый.

— Вот, — сказал он, положив на стол свернутую исписанную бумагу, — рукопись.

Он, не снимая шляпы, уселся против меня в кресло и неторопливо начал закуривать.

— Оставьте, Александр Степанович, — сказал я, — не задержу.

— Оставить можно, — ответил Грин, — но мне сейчас необходим аванс в сто рублей. Прошу.

— Ничего не выйдет. Издателей нет, а без них деньги контора не выплатит.

— Почему не выйдет? — изумился Грин. — Выйдет, еще как выйдет! Я подожду прихода издателей и сам поговорю с ними. Не люблю я эту людскую разновидность, но разговаривать с ними люблю.

Он снял пальто, повесил его на спинку стула, кряхтя взобрался на диван. Вскоре он повернулся лицом к спинке дивана и легкое всхрапывание послышалось в комнате.

Раздался телефонный звонок. Звонил издатель, я рассказал ему ситуацию.

— Ладно, — сказал недовольный Борис Соломонович Залшупин, — позвоню немного позже.

Позвонил позже. Ничего не изменилось, вопрос не разрешался. Раздраженный издатель предложил мне выдать настойчивому писателю пятьдесят рублей и «сплавить» его.

Я разбудил Грина и сообщил о решении издателя. Увы, Грина это не устраивало. Он, твердо убежденный в своем праве, требовал все сто.

Новый звонок по телефону, печальная информация и рев издателя:

— Дайте ему сто рублей, пусть отвяжется.

Получив сто рублей, Грин снисходительно похлопал меня по плечу и назидательно сказал: «Вот как нужно с ними действовать, иначе эти людишки не понимают. Не забудьте, что мы торгуем своим творчеством, силой мышления, фантазией, своим вдохновением! Пока!»

Если знать образ действия дореволюционных предпринимателей, в частности издателей всех видов и рангов, то судить Грина за его способы получать авансы и гонорары нет оснований. Писатель знал, какая львиная часть его творческого труда достается владельцу издания, знал, что отказы в выдаче денег неосновательны, что других средств получить деньги часто не бывает, и только нужда и крайняя необходимость заставляли его пускать в ход свои экстравагантные «действия».

И. Хейсин поведал нам, как относился Грин к издателям, к прессе.

А как же сама пресса относилась к Грину? Если в самом начале десятых годов возможны были пассажи

вроде того, что, пиши Грин по-английски, у него было бы такое же большое имя, как у Киплинга, Конан-Дойля и т. п., то теперь Грина снисходительно похлопывали по плечу, дескать «давай, давай», а в сторону в это же время делали замечания: «Талантлив, но не бог весть что!»

Глава эта называется «Глазами друзей и недругов». Поэтому закончим ее еще одним эпизодом из биографии Грина, рассказанным другом писателя.

В том же 1916 году Пензенское землячество в Петербурге устроило вечер в пользу раненых солдат и нуждающихся студентов.

«Когда, — рассказывает Е. Студенцова, — я предложила пригласить Александра Грина, среди студентов послышались такие восклицания и разговоры, из которых можно было понять, как эта молодежь любит писателя.

К участию в концерте были приглашены многие знаменитые земляки — певцы, артисты и режиссеры. Мейерхольд был со своей студией. Решено было пригласить и Грина, который хоть немного, но жил в Пензе. Он согласился читать свой рассказ — просил только взять и Година. Я. Година тоже пригласили. Он должен был читать стихи.

На вечере я была в артистической — встречала приезжающих артистов. Александр Степанович приехал с Годиным. Годину скоро нужно было читать, и я пошла проводить его на сцену; когда я вернулась, Грина не было. Приехал виолончелист Бирнбаум, который сказал, что никого здесь не видел. Ясно было — Грин сбежал. Это исчезновение, по-видимому, объяснялось тем, что Александр Степанович не любил обращать внимание на себя и чувствовал себя хорошо, когда вокруг были только друзья».

ВЫНУЖДЕННЫЙ ОТЪЕЗД

Грин любил неожиданно исчезать из города и так же неожиданно появляться вновь. В каком-нибудь маленьком городке, где его никто не отвлекал да и жизнь была значительно дешевле, ему превосходно работалось. Правда, не однажды он попадал в такие ситуации, о какой пишет критику Измайлову:

«Дорогой Александр Алексеевич! Пишу из Выборга. Я поехал в Lilla Pelinge за Выборг, понаписать нечто, требующее полной тишины и уединения. Зная, что Л. Н. Андреев обещал уплатить мне за 2-ой рассказ, я очень спокойно тронулся из Петрограда, оставив кому следует письма с просьбой перевести эти деньги в Выборг телеграфом. Получилось же следующее: сижу в отеле «Континенталь» под ежечасной угрозой быть отведенным в тюрьму за неплатеж. Срока окончательного дано мне... (неразборчиво. — *В. С.*) до 12 ч. дня Четверга. Меня не кормят, издеваются надо мной, как хотят, ругают по-фински и по-русски и еще на 20-ти найных наречиях.

Это нечто кошмарное.

Подательница сего — близкая знакомая одного выборгского чертежника — солдата П. С. Козлова, тоже беллетриста, — любезно согласилась экстренно съездить в Питер и вручить это письмо Вам... Дорогой Александр Алексеевич! Дайте ей, для меня, аванс 60 руб., ради бога! Если не сразу, то в 2 приема я его погашу непременно. Очень уж не хочется в тюрьму. Пишу и плачу, честное слово. Я, поработав много, вернусь числа 18—20-го, и в работе этой будет что погасить и этот аванс. Всегда Ваш А. С. Грин. 11 окт. 1916 г.».

Измайлов помог, прислал деньги, и Грин смог вернуться в Петербург.

Нельзя сказать, чтобы жизнь кочевника была очень по душе Грину. Правда, по его собственному выражению, он всегда с волнением думал о путешествиях. Но Грин говорил о путешествиях по зову души, а не о вынужденных.

В конце 1916 года за непочтительный отзыв о царе в общественном месте писатель был выслан из Петрограда. Он выбрал Лоунатйоки, станцию в семидесяти двух верстах от города. Временами он наезжал в редакции. Из Лоунатйок он послал редактору «Огонька» Бонди рассказ «Враги», сопроводив его такой запиской:

«Дорогой Владимир Александрович!

Посылаю Вам рассказ, кажется, на этот раз — не из плохих. Так заставляет меня думать приближение морозного и дразнящего Рождества. Честное слово — я не

мог переписать рассказ на машинке, потому что у нас, в лесу, их нет, а я прихворнул и в город не ездил. Зайду, с Вашего разрешения, во вторник, 20-го. Преданный Вам А. С. Грин».

ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ

Февральская революция застала Грина в Лоунатйоках. Поезда уже не ходили, и он пешком отправился в город.

Два человека, видевшие его после февраля, рассказывают, что часто встречали его на многочисленных стихийно возникающих митингах. Он ко всему приглядывался, прислушивался. Но, кроме этих скупых и достаточно общих сведений, мы, в сущности, ничего больше не знаем. Не найдено даже ни одного письма, помеченного семнадцатым годом.

Правда, в семнадцатом году Грин написал много рассказов, по которым нетрудно проследить его политические симпатии и антипатии. Я не буду здесь касаться данного вопроса подробно, ибо это тема для специального исследования *. Приведу только один интересный литературный документ — предисловие Грина к коротким рассказам, напечатанным в газете «Свободная Россия», которую редактировал А. И. Куприн:

«Нас давно прельщала безобразно трудная задача: написать рассказ (или несколько рассказов) с таким расчетом, чтобы весь вполне законный сюжет его разработанно уместился в 15—20 строках. Это не гимнастика слова. Современная мысль, разбросанная в ужас-

* Несколько лет назад в предисловии к сборнику А. С. Грина «Джесси и Моргиана», вышедшему в «Лениздате» в 1966 году, я писал, что рассказ «Восстание» (Грин опубликовал его за неделю до Октября) — злая сатира на Февральскую революцию. Ту же мысль я повторил в статье «Как приплыли к нам „Алые паруса"», напечатанной в журнале «Детская литература», № 1, за 1968 год. Кандидат филологических наук В. Ковский в книге «Романтический мир Александра Грина» (М., «Наука», 1969) заявил, что я «сознательно», «с лучшими намерениями» искажаю факты. Процитировав строчки из двух моих статей, Ковский приходит к выводу: «Дело представляется так, будто реакционные журнальчики и газетки наперебой стремились приобрести у Грина антибольшевистские писания, а взамен получали (и печатали почему-то!) произведения ярко антибуржуазные». Вывод Ковского, быть может, был бы убедителен, если бы он не допустил одну странную вещь. Процитировал он меня так: взял начало и конец абзаца и выкинул середину, со-

ных мировых потрясениях, запойно длящихся уже несколько лет подряд, едва ли полностью вдохнет самый прекрасный роман, самую ароматную поэму, если они выходят за пределы пятисот строк. Разумеется, мы не имеем в виду провинцию. Там краткость, аскетическая краткость была бы принята за насмешку. Провинциал (да простит он нас!) читает только то, что написано; содержание междустрочия ему в тягость. Наш ученический опыт имеет в виду — пока что — людей нервной спазмы, мастеров понимания».

В том же семнадцатом году в мартовской книге «Русского богатства» появилась статья А. Горнфельда о Грине. Это была рецензия на сборник «Искатель приключений», вышедший в конце 1916 года. Статья Горнфельда — лучшее, что написано о Грине до революции.

«Грин, — пишет Горнфельд, — незаурядная фигура в нашей беллетристике; то, что он мало оценен, коренится в известной степени в его недостатках, но гораздо более значительную роль здесь играют его достоинства. После всего вышесказанного мы можем с полным правом и с уверенностью сказать: у Грина... в основе нет шаблона; он не самобытен в манере, которая принадлежит школе, но самостоятелен в процессе создания, и хочется иногда

держащую самую суть моей мысли. А текст мой был такой: «В журналах, журнальчиках и газетках, где он (Грин) был давним сотрудником, у него требовали: «Дайте сатиру, Александр Степанович, сатиру в вашем духе, на большевиков. Он не отвечал и приносил рассказы, полные смятения, ожидания, надежды, веры в добрые начала человека. И всё же он написал сатиру — рассказ «Восстание», — злую сатиру на буржуазную революцию». Вот, оказывается, какие рассказы приносил Грин. Ковский допустил полемическое преувеличение. В противном случае, как бы он мог объяснить такой факт: буржуазные издательства выпустили в свет «Красное и черное», «Воскресение», «Сагу о Форсайтах» и множество других произведений, куда более антибуржуазных, нежели рассказ Грина.

В спор с В. Ковским вступил кандидат филологических наук Э. Алиев. В статье «О некоторых малоизвестных произведениях А. С. Грина» («Литературный Азербайджан», 1970, № 7) Алиев подробно разобрал рассказ «Восстание». Он пришел к такому выводу: «Пристальное изучение литературной деятельности Грина в этот период (1917—1918 гг. — *В. С.*) позволяет сделать вывод, что в отдельных произведениях он глубже воспринимал революционные события, чем кажется на первый взгляд. Рассказ «Восстание» всё же, думается, написан в результате неудовлетворенности Февральской революцией и веры в неизбежность нового революционного переворота».

сказать, что, несмотря ни на что, Грин был бы Грином, если бы и не было Э. По.

В этом особенно убеждает то, что он, как и Э. По, очень сознателен в своем творчестве. Он знает, куда идет и куда ведет своего читателя. Как всякий художник, он, конечно, колеблется, ищет, но он ищет единственно верного пути и, найдя его, уже не может от него отречься».

Восемнадцатый год явно значительно более благосклонен к нам, интересующимся всем, что связано с именем Александра Грина.

В 1918 году в Москве крикливые афиши известили о вечере-диспуте «О женщинах» в театре Ростойчиной (ныне театр имени В. В. Маяковского). Приглашались все писатели; к ним была особая просьба: выступить на тему: «Человек ли женщина?»

Театр не мог вместить всех желающих, люди стояли в проходах. Кассира организатор вечера А. Каменский заблаговременно удалил, боясь, что публика, разочаровавшись в диспуте, потребует деньги обратно.

Председатель, открывший диспут, начал с того, что в настоящее время распространилось мнение, что женщина — существо, резко отличающееся от мужчины своим ограниченным умом, мелочностью, ничтожностью желаний, что ее надо считать существом низшей расы. Вслед за ним взяла слово какая-то третьеразрядная поэтесса и стала скучно, скучными словами доказывать противное.

Вечер проходил вяло. В публике заметно нарастало недовольство. Каменский, надеясь на самотек, даже не счел нужным подготовить ораторов.

Вдруг на сцену, чуть пошатываясь, вышел худощавый человек с бледным лицом, энергичным и вместе с тем трагическим выражением темных глаз, одетый в старый темный свитер и поношенные брюки. В зале, ошарашенном неряшливым видом незнакомца, раздались смешки. Человек на сцене стоял и молчал, потом обвел зал взглядом, кашлянув громко, вызывающе и повелительно крикнул: «Женщина! Что такое женщина!» И он сказал много высоких слов о женщине, о терпении ее, любви и сострадании, о радости, приносимой ее улыбкой.

А когда он кончил, зал встал и, стоя, рукоплескал ему — человеку в старом темном свитере и поношенных брюках.

Это был Александр Грин.

Когда после диспута Грин вернулся в Петроград, здесь его поджидало пикантное известие. Вот что о нем рассказывает одна из столичных газет (заголовок: «Под А. Грина»):

«Из Киева в Петроград пробиралась молодая дама, жена б. офицера. По дороге познакомилась — из соседнего купе перешел — со штатским господином.

Хорошо одет, под англичанина, в деньгах, видимо, не стесняется, ботинки лакированные и вообще — барин барином. Лицом — не очень вышел. Но женщины, как известно, придерживаются старой пословицы о мужчине: «Немножко лучше черта...» А у спутника — большие преимущества: писатель, беллетрист, известный, столичная штучка.

— Я — Грин. Не читали?!. Изумительно!.. Погодите — я вам сейчас свои книжки принесу...

В ж.-д. киоске нашлись томики рассказов А. Грина. Они были торжественно вручены хорошенькой барыньке с соответствующим ее качествам автографом.

Писатель тоже возвращался в Петроград, где живет постоянно.

— Голодный город? Ну это как для кого! Умный человек, да с деньгами, нигде не пропадет! Литература кормит меня. Других — мало, а я — сыт... Плачу за всё бешеные цены, но зато сыт...

Дама по части русской литературы была достаточно беззаботной, больше французами увлекалась. Но было лестно — внимание писателя, у которого есть книги, который и по продовольствию может...

Приехали в Петроград, и А. Грин стал бывать у дамы. В глазах, а еще более — «в крови горел огонь желаний». И был писатель бесконечно любезен — и театр, и обеды в хорошем ресторане, и продукты добывал. По ценам неизвестным. А к тому же то газету принесет, то журнал, то новую книжку — всё «А. Грина» сочинения. Лестно!

...И случилось, как случается часто с молодыми дамами, мужья которых вне Петрограда...

Но вскоре обман разоблачился, и самозванцу на днях пришлось ретироваться. И от барыни, и вовсе из Петрограда.

Подлинный беллетрист А. Грин, опрошенный нами по этому казусу, удивился храбрости своего неизвестного заместителя и вместе с тем заявил, что для него весьма лестно очутиться в одной компании с корифеями русской литературы, именами которых в свое время злоупотребляли разные проходимцы. Были Хлестаковы — под Надсона, М. Горького, Чехова. Один такой «Чехов» ездил на волжских пароходах и даже занимал деньжонки...»

Восемнадцатый год был временем, когда одна за другой закрывались буржуазные газеты, вставшие в оппозицию к советской власти. Взамен их появились новые, порой совершенно безобидные, но и они держались недолго: не хватало бумаги.

Возможности печататься стремительно сужались. Тем, кто жил только литературным заработком, приходилось туго. Когда Грина пригласили участвовать в новой газете «Честное слово», он первым делом позвонил А. Блоку. В записных книжках Блока находим: «12 августа. Утром — телефон от А. С. Грина: дать материал для беспартийной левой газеты, редакция П. Ашевского, в Москве, — «Честное слово». Пошлю «Что надо запомнить об Аполлоне Григорьеве», строк 100 стихов.

16 августа. Утром будет звонить Грин. (Не звонил. По-видимому, мама напрасно трудилась переписывать. Газетчикам верить пора перестать.)

17 августа. Грин позвонил, что московская газета закрыта».

В десятых числах августа Грин возвратился из Москвы, а двадцать первого вновь уехал туда.

В Москве, в газете «Мир», Грина попросили написать статью о Толстом. Он с радостью согласился. Эта небольшая работа — прекрасный человеческий документ, как нельзя лучше характеризующий самого Грина, документ, в котором соседями оказались мыслитель и растерявшийся интеллигент, тонкий критик и гражданин, с надеждой заглядывающий в будущее.

СКРОМНОЕ О ВЕЛИКОМ
(Памяти Л. Н. Толстого)

Однажды А. И. Куприн в разговоре о великом покойнике выразился таким образом:

— Старик нас всех обокрал: за что ни возьмешься — уже им написано...

Шутливость замечания этого очевидна, и всё-таки так велико, так разнообразно художественное наследие Толстого, так разносторонне, на протяжении полувека, изображена им жизнь русского общества и народа, что, заменив слово «обокрал» словом «предупредил», приходится согласиться с А. И. Куприным по существу дела.

Толстым не оставлено без внимания малейшее душевное движение человеческое. Читая «Анну Каренину», с изумлением, с подавленностью убеждаешься, что здесь изображена, главным образом, вся русская жизнь того времени, вся русская душа в ее целом, а уж затем, в огромном узоре этом, в этой сплошной толпе лиц, страданий, судеб уделяешь необходимое внимание интриге собственно романической.

Толстой как художник является демократом в самом возвышенном значении этого слова. Он демократичен, как солнце. Сила и равномерная страстность художественного проникновения одинакова у него для мужика и царя, пьяницы и священника, светской дамы и простой бабы. Одно прикосновение творческого внимания Льва Толстого делает всех людей одинаково прозрачными и удобочитаемыми. Толстой, как никто, совершенно лишен *оттенков* отношения к своим персонажам в смысле их социального положения или рода их деятельности. У него отсутствует (чего не избегали подчас крупнейшие таланты) социальная мистика и социальная, обывательская щепетильность. Как художник он пленительно суров и бесцеремонен в раздевании душ.

Страсти, заблуждения, страдания, подвиги, удовольствия и подлости человеческие вытекают из одних и тех же духовных явлений, причин, кого бы он ни описывал: князя или полудикого черкеса, казака или Николая 1-го. Благодаря великой простоте выражения, описания человеческих жизней со всеми их внутренними пружинами, читатель неизменно убеждается в тождественности духовной основы всех людей и, вместе с Толстым, видит, как жалки все ухищрения, все разделения, искусственные, все различия одежд, званий, чинов, занятий. *Вообще* человек, а не человек такой-то и такой изучается и понимается им в книгах великого писателя.

Особенность художественного таланта Л. Н. Толстого, его эта беспощадная сила реального изображения, в связи с огромной любовью к жизни во всех видах ее и окрасках, его плодовитость и ревнивое отношение к каждому слову, имевшее целью наибольшую, совершеннейшую полноту впечатления, — сделали то, что действительно после Толстого осталось немного (если только осталось) сторон жизни, почему-либо не охваченных его волшебным пером.

Без преувеличения можно сказать, что жизнь и творчество Толстого равны силой своей целой революции. Тот возвышенный демократизм художника, о котором упомянули мы выше (кстати: единственно истинный демократизм), из года в год, из поколения в поколение, оставляя свой мощный след в читательских массах, привел к тому, что слова «Толстой» и «толстовство» стали синонимами гуманности, возвышенного отношения к жизни, человечности и самоусовершенствования. Сама жизнь Толстого, столь удивительная и сложная, является одним из наиболее глубоких и ценных его произведений. Он был близок к природе и звал к ней. Вспоминая Толстого, в сущности вспоминаешь Россию, — народ, обще-

ство, исторические их судьбы, вспоминаешь даже всю русскую литературу.

Да, Толстой — это Россия. Россия в настоящее время переживает период мучительной, героической борьбы с самой собою, — с своим прошлым. Лик ее затемнен ударами и искажениями. Потому-то хорошо и нужно всем нам вспоминать от Л. Н. Толстого о том, какая она, эта Россия, в своих духе и сущности, в целях своих и силах, чтобы, оглянувшись на великое и прекрасное, идти далее по трудному пути с надеждами укрепленными.

Осенью 1918 года Грин переехал к Марии Владиславовне Долидзе, но, кроме фамилии, мы пока что ничего о ней не знаем. Он вскоре ушел от нее и поселился в доме барона Гинцбурга на Васильевском острове, где при ближайшем участии М. Горького был организован Союз деятелей художественной литературы.

На заседании Союза в начале февраля 1919 года было решено издать книгу рассказов Грина с предисловием А. Горнфельда.

5 марта на заседании редакционной коллегии было вынесено постановление: «Принять для напечатания во вторую очередь представленную на рассмотрение книгу А. С. Грина «Львиный удар», с условием замены некоторых неудачных рассказов другими».

Книга не вышла.

Грин, как не достигший сорока лет, был мобилизован, прошел по дорогам гражданской войны, вернулся с санитарным поездом в Петроград.

А. ГРИН ПИШЕТ М. ГОРЬКОМУ

26 апреля 1920 года Грин написал Горькому из Смольнинского лазарета:

«Дорогой Алексей Максимович!

У меня, кажется, сыпняк, и я отправляюсь сегодня в какую-то больницу. Прошу Вас, — если Вы хотите спасти меня, то устройте аванс в 3000 р., на которые купите

меда и пришлите мне поскорее. Дело в том, что при высокой температуре (у меня 38—40°), — мед — единственное, как я ранее убеждался, средство вызвать сильную испарину, столь благодетельную. Раз в Москве (в 18 г.), будучи смертельно болен испанкой, я провел всю ночь за самоваром и медом; съел его фунта $1\frac{1}{2}$, вымок необычайно, а к утру был здоров.

В См<ольнинском> лаз<арете> известно, куда меня отправили.

Во втором письме мое завещание. Жена живет: Зверинская, 17б, кв. 25, но еще не приехала из Казани и вестей о ней давно не имею.

Горячо благодарный А. Грин.

ЗАВЕЩАНИЕ

Находясь в здравом уме и твердой памяти, в случае моей смерти завещаю все права собственности на все мои литературные произведения, где бы таковые ни были напечатаны, а также ненапечатанные, исключительно и безраздельно моей жене Вере Павловне Гриневской *. Александр Степанович Гриневский, «А. С. Грин». 26 апреля 1920 года. С.-Петербург. Смольный лазарет».

Горький помог Грину.

В июле Грин уже выступил посредником между Горьким и Верой Павловной Гриневской.

«Глубокоуважаемый Алексей Максимович!

Предъявительница сего письма, Вера Павловна Гриневская, хотела бы написать какую-нибудь биографию из намеченных в плане из<дательства> З. И. Гржебина (Коперник, Гальвани, Вольт, и др<угие>, еще не разобранные), но, будучи смущена тем, что отдел этот из компетенции С. Ф. Ольденбурга ** и перешел в ведение г. Пинкевича ***, который приедет лишь в конце августа, *решается* обратиться к Вам за указаниями, советом и выяснением, возможна ли, для нее, такая работа.

---

* Несмотря на то что Грин и Вера Павловна разошлись еще в 1913 году, она оставалась для него единственным близким человеком.

** Ольденбург С. Ф. — востоковед, академик. Был близок к Горькому, участвовал в некоторых его литературных начинаниях.

*** Пинкевич А. П. — профессор, доктор педагогических наук. Работал в ЦКУБУ.

Не зная, в литературе, пристрастий по отношению к кому бы то ни было, тем самым я считаю себя вправе написать Вам это письмо, которое написал бы для каждого автора, зная, что он хочет и может выполнить работу добросовестно, талантливо и интересно; написал бы потому, что считаю желание работать соответственно своим способностям — весьма почтенным желанием, вытекающим из чистого родника.

В. П. Гриневская писала в «Всходах», «Детском отдыхе», «Всеоб<щем> журнале», «Читальне Народной школы», «Тропинке», «Проталинке», «Неделе „Совр<еменного> слова"» и «Что и как читать детям».

Когда пишут такое письмо, — ясно, что податель его труслив, панически боится сложных редакционных отношений и недоверчиво косится на собственные произведения.

Всё, что Вы написали на моей рукописи, принял к сведению и не согласен лишь с упреком в аверченкоизме, так как он смеется *вниз,* а я смеюсь *вверх,* но не примите это как гордыню, а лишь как направление шеи.

Должен признаться Вам также, что я люблю встречать на своей рукописи Ваши пометки, ибо вижу в них и ценю Ваше совершенно незаслуженное внимание.

Относительно сцены найма Смита * должен сказать, что она необходимо нужна для дальнейшего, а всё начало поправлю и, частью, переработаю.

Затем, с просьбой извинить за помехи, чинимые мною Вам в Вашей общей работе, — остаюсь *неизменно* преданный Вам А. С. Грин. 29 июля 1920 г.».

И еще одно письмо к Горькому, относящееся, по-видимому, к концу 1920 года. К сожалению, не удалось установить, за кого на этот раз просит Грин, быть может за своих молодых товарищей по Дому искусств:

«Глубокоуважаемый Алексей Максимович!

Меня просили передать Вам эти списки с просьбой к Вам подписать прилагаемое письмо Цыпкину. На кухне (очевидно, речь идет о кухне Дома искусств, где часто собирались общие собрания. См. об этом в воспоминаниях Вс. Рождественского. — *В. С.*), действительно, большой сквозняк, резкие перемены температуры, работают

---

* В неоконченном романе «Таинственный круг».

они много и долго, очень серьезно. И часто похварывают.

Если Вы подпишете, я сходил бы и к Цыпкину, так как, если не ошибаюсь, этого некому, пока, сделать, за неимением свободного времени у всех. Извините, пожалуйста, за беспокойство. Ваш А. С. Грин.

P. S. Не найдете ли возможность прибавить мне к авансу аванс т<ысяч> 10? Я работаю. А. Г.».

«АЛЫЕ ПАРУСА»

Пребывание Грина в Доме искусств довольно подробно освещено в мемуарной литературе. Правда, в самое последнее время (журнал «Звезда», 1970, № 12) появилась новая, очень интересная «картинка» (в воспоминаниях художника В. Милашевского). Она интересна с нескольких точек зрения, но прежде всего тем, что одна из причин ее появления — Грин.

В. Милашевский пишет:

«Вероятно, это было недели за две до Кронштадтского мятежа. Утром мглистого серого дня постучал в мою дверь Виктор Шкловский, в руках у него были какие-то серые мешки.

— Ну-ка, собирайся, я нагружу тебя целым богатством. Бери с собой мешки для дров! Сойдем вниз, и я познакомлю тебя с человеком, который нас там ждет!

Мы сошли вниз. Во дворе стоял человек с ласковым и печальным лицом. Оно имело желтовато-серый оттенок и было иссушено не то напастью страстей, не то невзгодами болезней.

Человек, ожидавший нас, довольно высокого роста, сутуловат и узкогруд.

— Александр Грин, — громко сказал Виктор Шкловский.

Одет он был в какое-то черное пальто, вероятно на легкой южной ватке. «Чеховское пальто», — мелькнуло у меня...

На Грине не было черного цилиндра моделей Моне, на нем была надета не то какая-то ушанка, не то теплый картуз... Глубокие морщины избороздили его лицо. Может быть, бури океанов оставили на нем свои следы, а может быть, неизбывная нужда, горе, водка. Океаны — они ведь милостивее!

Грин, разумеется, просто ждал нас, стоя у помойки...

— Ну, теперь пошли за мной! — бодро сказал Виктор.

Мы завернули опять за какой-то трубообразный выступ елисеевского Карлштейна и нырнули в дверь. Лестница наверх, по которой, казалось, никто не ходил десятки лет, была узка, пыльна и как бы скорчилась от стужи.

Как ни странно, дверь наверху отперлась ключом, который каким-то образом Шкловский выудил у «предкомбеда», бывшего елисеевского дворецкого.

Миновав замусоренную комнату, мы вошли в огромный зал.

Это и был зал финансовых операций «Лионского кредита». Огромные окна выходили на Невский, следовательно, «меблирашка», в которой я жил, находилась как раз над залом. Меня поразил чистый, снежный, какой-то пустой свет, льющийся из этих окон. Это свет ровный и жесткий, белый свет математических абстракций, может быть и финансовых крахов и катастроф, подумал я.

Эти залы, конечно, не только не отапливались, в них никто не дышал четыре года. Красный дом напротив был виден ясно и четко. Виден был Полицейский мост и заснеженная Мойка. На полу, большом, как городской каток, лежали несколько банковских гроссбухов, они валялись, распахнутые настежь. Огромный парапет черного дуба, за которым в капиталистическую эру сидели клерки, шел параллельно окнам вдоль всей залы. За парапетом — шкафы с делами и «бухами».

Каждая строка этих книг означала для кого-то: «Жизнь», «Богатство», «Средства», возможность покупать дома и дачи, проживать в парижах и ниццах, ужинать с женщинами и отвозить их в ландо, обязательно в ландо — черт возьми! — в фешенебельные номера отелей и, наконец, жрать ананасы в шампанском.

— Вот вам дрова! Дрова двадцать первого года! — сказал Виктор. — Обогащайтесь!

Мы стали по примеру Шкловского засовывать эти «бухи» в грязные мешки.

— Что же вы делаете? Что берете? — обратился ко мне и Грину Виктор. — Вот уж типичные консерваторы! Вы переносите старые методы на новый материал! Вы относитесь к пухлым гроссбухам, как к березовым поленьям, и выбираете, что потолще, а надо брать тонкие гроссбухи, так как у них такие же картонные переплеты,

как и у толстых, и, следовательно, погонная сажень тонких дает больше тепла, чем тот же объем толстых!

— Браво! Вполне научно! — говорю я. — Но разреши научное положение развить и дальше. Например, иллюстрированные издания восемнадцатого века или эпохи романтизма горят лучше, чем произведения Чехова и Короленко или сборники «Знания». В них бумага лучше, печать содержит больше черной масляной краски, и она лучшего качества. Давай выпустим руководство по топливу!

Грин поежился, он не был истым петербуржцем и не вполне привык к городу классических балагуров, краснобаев, любителей острых словечек, «для красного словца не пожалеющих и родного отца».

На кого он был похож, этот Грин? На уроженца русского приморского юга? Феодосии, Новороссийска, Одессы? Словом, на писателя «расцвета» одесской литературы советского периода, или «левантийца», как иронически называл их такой «русак», каким был Александр Малышкин.

Он не похож на Ильфа и Петрова, Катаева или Юрия Олешу. Совсем другой тон, совсем другие манеры. Да и говор другой. Да, конечно, это волжанин с Верхней Волги или из-под Нижнего. Хотя в его говоре не было никакого оканья, от которого Горький не избавился за всю свою жизнь!

Грин несколько оправился от «наплыва» новых идей в области топлива и с виноватой, мягкой улыбкой сказал:

— Как это всё надо знать и уметь!

Тем временем мы впихивали в грязные мешки с дырами толстые и тонкие гроссбухи. Каждая строчка в этих книгах хорошо прогревала чью-то жизнь. Мы топтали их мерзлыми подошвами плохо чиненных ботинок.

Этот пустой, холодный и белесый денек так великолепно был потом описан Грином в рассказе «Крысолов».

Я позабыл этот эпизод моей жизни и вспомнил его несколько лет спустя, читая этот рассказ, может быть лучший рассказ Грина».

В связи с Домом искусств мне хочется напомнить читателям одно имя — семнадцатилетней Марии Сергеевны Алонкиной, секретаря Дома искусств, романтической

любви Грина *. Это была невысокая смуглолицая девушка, «похожая на взмах крыла». К. И. Чуковский говорит, что в нее по очереди были влюблены все жившие в Доме искусств. Будущий французский писатель коммунист Владимир Познер посвятил ей такие стихи:

На лестнице, на кухне, на балконе
Поклонников твоих, Мария, ряд.
Лев Дейч, Альберт Бенуа, Волынский, Кони —
Тысячелетия у ног твоих лежат.
А ты всегда с бумагами, за делом,
А если посмотреть со стороны,
Ты кажешься, о Мусенька, отделом
Охраны памятников старины.

Сохранилось письмо и записка Грина, адресованные Мусе Алонкиной. Они написаны летом 1920 года.

«Милая Мария Сергеевна, я узнал, что Вы собирались уже явиться в свою резиденцию, но снова слегли.

---

* Ирина Сукиасова в статье «Новое об Александре Грине» («Литературная Грузия», 1968, № 12) пишет: «Хотя сам А. С. Грин, согласно своей воле, посвящает «Алые паруса» Н. Н. Грин, но в «Крымской правде» от 6 января 1966 года в статье В. И. Сандлера «Как приплыли к нам „Алые паруса"» сделана, на наш взгляд, неубедительная попытка найти прообраз Ассоль в лице Марии Сергеевны Алонкиной, секретаря Петроградского Дома искусств, которой Грин симпатизировал и, судя по двум приведенным в статье письмам, дважды проявлял к ней элементарное дружеское внимание, послав больному человеку подводу дров и однажды подарив свою книгу.

В печати и в архивах нет фактов, которые говорили бы за то, что она вдохновила Грина на создание Ассоль, а тем более, что без нее его паруса „никогда не стали бы алыми"».

В своей статье я нигде ни слова не говорю, будто Алонкина послужила прообразом Ассоль или что она «вдохновила Грина на создание Ассоль». Это трудно объяснимое полемическое преувеличение: видеть в статье больше, чем в ней есть на самом деле. И. Сукиасова, как и я, знает, что к моменту знакомства Грина с Алонкиной Ассоль уже существовала в «Красных парусах» (первое название «Алых парусов»). Казалось бы, отсюда И. Сукиасова могла сделать элементарный вывод: считать Алонкину прообразом Ассоль нельзя.

В статье «Как приплыли...» я лишь высказал предположение, что романтическая любовь помогла Грину завершить «Алые паруса», превратить красные паруса в алые. Правда, И. Сукиасова романтическую любовь почему-то именует «симпатией». Между тем это была именно романтическая любовь. О любви Грина к Алонкиной автору этих строк говорила Н. Н. Грин (кстати, об этом она пишет и в своих воспоминаниях, см. стр. 395) и ближайшие друзья Грина и Алонкиной — М. Л. Слонимский и его жена.

Это не дело. Лето стоит хорошее: в СПб. поют среди бульваров и садов такие редкие гости, как щеглы, соловьи, малиновки и скворцы. Один человек разделался с тяжелой болезнью так: выпив бутылку коньяку, искупался в ледяной воде; к утру вспотел и встал здоровым *. Разумеется, такое средство убило бы Вас вернее пистолетного выстрела, но, всё же, должны Вы знать, что болезнь требует сурового обращения. Прогоните ее. Вставайте. Будьте здоровы. Прыгайте и живите...

Желаю скоро поправиться.

А. С. Грин».

«Дорогая Мария Сергеевна!

Не очень охотно я оставляю Вам эту книжку, — только потому, что Вы хотели прочесть ее. Она достаточно груба, свирепа и грязна для того, чтобы мне хотелось дать ее Вашей душе.

Ваш А. Г.».

Кто знает, быть может «Красные паруса» (в черновой рукописи феерия называется «Красные паруса») никогда бы не стали алыми, если бы не эта романтическая любовь Грина. Этой книгой он хотел сказать любимой женщине, сколько нерастраченной нежности в нем, изголодавшемся по теплым женским рукам, ласке и уюту.

«Алые паруса» были окончены в декабре 1920 года, а увидели свет лишь в 1923-м. За это время на смену романтической любви к Грину пришла любовь взаимная. М. Л. Слонимский рассказывал автору этих строк, что, увидев впервые Нину Николаевну, будущую жену Грина, он удивился ее сходству с Алонкиной.

Грин посвятил феерию Нине Николаевне Грин.

Критика встретила «Алые паруса» по-разному. В маленькой заметке в «Красной газете» говорилось:

«Милая сказка, глубокая и лазурная, как м о р е, — специально для отдыха души. Грин любит музыку, маскарад, экзотику, всё необычайное и непохожее на действительность, но в свои произведения он обязательно вносит душу, жизнь...

---

* Грин пересказал собственный рассказ «Вырванное жало» («Борьба со смертью»).

Издана книжка любовно, цена недорогая».

А в «Литературном еженедельнике» статья была озаглавлена не без иронии «Щучье веленье»:

«„Tempora mutantur", всё меняется на свете, — этого закона не желает признать А. Грин и потому, оставаясь верным себе, пишет всё те же паточные феерии, как писал когда-то в «Огоньке» (ни одной феерии в дореволюционном «Огоньке» Грин не напечатал. — *В. С.*).

И чего же больше ждать от автора, который пишет: «Каждый изгиб, каждая выпуклость этого лица, конечно, нашли бы место в множестве женских обликов, но их совокупность — стиль — был совершенно оригинален, оригинально мил, на этом мы остановимся. Остальное неподвластно словам, кроме слова очарование».

Такова наружность Ассоло (! — *В. С.*) — центральной фигуры повести, такова гриновская «совокупность» — его стиль, какая же это дешевая сахарная карамель! И кому нужны его рассказы о полуфантастическом мире, где всё основано на «щучьих веленьях», на случайностях и делается к общему благополучию. Пора бы, кажется, делом заняться».

Совсем по-другому приняли «Алые паруса» настоящие литераторы. Так, Н. Ашукин писал в журнале «Россия»:

«Новая книга Грина на титульном листе названа повестью, но на титуле стоит другой подзаголовок: «Феерия». Мы не знаем, есть ли в этом различии подзаголовков воля автора или (что теперь очень часто) типографская ошибка; ошибка в данном случае счастливая. Сказочное волшебство феерии сливается с четкостью жизненных образов повести, делает «Алые паруса» книгой, волнующей читателя своеобразным, гриновским романтизмом».

Н. Ашукину вторил в журнале «Печать и революция» поэт и теоретик С. Бобров:

«Грин долго не печатался. Его не было видно за время гражданской войны. Вот перед нами его новая повесть. Видно, как автора перемолола революция, — как автор уходит в удивительное подполье, как исчезает красивость, мелкая рябь излишества, как она подменяется глубоким тоном к миру, как описание уходит от эффектов и т р ю к о в , — к единственному трюку, забытому нашими точных дел мастерами, — к искусству...

Идеализм автора всюду и во всем. Его описания другой раз образцовы, его замечания и образы — так и просятся в пример».

В. Шкловский вспоминает, что «Алыми парусами» восторгался Горький, особенно любил читать и перечитывать гостям то место, где Ассоль встречает корабль с алыми парусами.

В середине двадцатых годов Грин решил написать киносценарий «Алых парусов». Замысел так и не был осуществлен, но среди бумаг Грина сохранилось написанное им либретто:

«Основным композиционным стержнем сценария должна быть ясная четкая линия неизбежности соединения Грэя и Ассоль.

Главные композиционные узлы:

1. Встреча Эгеля и Ассоль.

Сцена должна быть своеобразной интродукцией к основной сюжетной линии — соединение Грэя и Ассоль. Этот мотив сплетается с темой алых парусов и с первых же тактов звучит в унисон. Ибо, как нет счастья друг без друга, так нет счастья и без той аллегорической мечты, которая ассоциируется с алыми парусами.

2. Встреча Грэя с Ассоль.

Далее действие быстро развивается, осложняясь своеобразным комментарием, на котором, однако, не делается акцента, но из которого становятся известными причины своеобразных условий жизни Ассоль и ее отца. Здесь же появляются социальные мотивировки создавшегося положения.

Всё это, однако, лишь фон, на котором особенно явственно выделяются основные образы, темы, т. е. мотив алых парусов и мотив неминуемого соединения.

В музыкальном сопровождении этой сцены появляется та же тема, которая была уже при встрече Ассоль с Эгелем. Но здесь она уже господствует, усиливается, доминирует над другими.

По своему месту — это центральная сцена композиции, осложненная всеми предшествующими ее коллизиями, которые настойчиво являются как странные иллюзии и еще более осложняются странностью самой ситуации.

Вторым социальным мотивом является своеобразный бунт Грэя, этого аристократа в прошлом, вырвавшегося

затем к морю и забывшего, плавая по безбрежным океанам, о длинной веренице своих предков, смотревших на него давно знакомыми глазами из потускневших овалов золоченых рам.

3. Под алыми парусами.

Между финалом и предшествующей частью прямая последовательность в развитии темы нарушается. Однако развитие действия продолжается в той же поступательной последовательности (Грэй покупает алый шелк. Корабль отправляется в устье реки. Нанимаются музыканты). С завершением этого мотива вновь и уже господствующей является тема Ассоли с Грэем и алых парусов, которые в финале сливаются.

В качестве социальной концовки является своеобразный рефрен в настроениях толпы, провожающей недружелюбными взглядами девушку, быстро плывущую к алым парусам».

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

В январе 1921 года на Невском Грин увидел давнюю свою знакомую Нину Николаевну Миронову.

Стали встречаться.

В начале мая Горький получил от Грина письмо следующего содержания:

«Глубокоуважаемый Алексей Максимович!

Простите за беспокойство. Я обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой. Будьте добры, просмотрите содержание этих двух прилагаемых бумажек и, если не найдете их почему-либо странными, — скрепите, пожалуйста, их тексты Вашей подписью с присоединением хотя бы небольшого количества тех Ваших строк, которые уже не один раз лечили мою скверную жизнь.

У меня создалось впечатление, что Вы не имеете, и дома, свободных минут, почему, не решаясь беспокоить Вас лично, передаю это письмо. С совершенным к Вам и неизменным уважением А. Грин. 7 мая 1921 года.

Соблаговолите, А. М., направить ответ, при оказии, в изд<ательство> Гржебина.

P. S. *Третья* просьба, очень неожиданная для В а с , — следующая. Дней через шесть, семь я собираюсь соединиться законным браком. Не осчастливите ли Вы меня содействием в получении где-либо 1-й бутылки *спирта?*»

Лето 1921 года Грин и Нина Николаевна провели в Токсове. К моменту пребывания в Токсове относятся две интересные записи в одной из пяти записных книжек Грина, которые он заполнял только в начале двадцатых годов:

ПАХУЧИЙ КУСТАРНИК

Мои воспоминания впечатлений природы обычно упираются в оригинальный контраст между гористым местом Кленфмиль и окружающими его болотистыми равнинами. Этот контраст всегда привлекал меня. Он представляет одно из редких соединений разнородного, которое нет желания отнести к какой-нибудь географически определенной территории; думая о нем, кажется, что природа вложила в этот свой каприз весь запас странных противоречий, свойственных душе нашей с значительным и тонким намеком.

ПОЛЗУЧИЙ КУСТАРНИК

В 192... году мне предстоял выбор, не покидать города, довольствуясь крохами общего пайка, или выполнить, — как ни уродливо, ни жестко по отношению к идеалу, — давнишнюю мечту свою о жизни в природе. Под тенью этих романтических облаков я прожил, действительно, всю жизнь, иногда думая обо всем этом более серьезно, чем то позволяли облик и привычки давнишнего городского жителя. Но в моем прошлом были сечения, если не в стиле Жан-Жака Руссо, то близкие к настроениям увлекательных страниц тех смелых, умеющих любить жизнь романистов, о которых принято говорить с легкой улыбкой. Я заметил одно: как только моя жизнь начинала складываться тревожно, как только борьба за существование начинала принимать темные и безжизненные формы, тотчас воскресал старый *детский* бред Цвету-

щей Пустыни. Она, издали, обещала отдых и напряжение, игру и поэзию.

Ходить с этим внутри себя было мне не смешно, но грустно, так как я хорошо знал, что не могу стронуться никуда, кроме окрестных дач. Одна из главных ошибок наших состоит в том, что мы ценим природу, насыщенную мечтами, и подходим с усмешкой карикатуриста к той, где живем. Между тем наша пригородная природа — есть мир серьезный не менее, чем берега Ориноко, и, может быть, задумчиво произнося имена неизвестных нам стран, мы смотрим за пределы земли... Во всяком случае, птица, растение и животное, под какой широтой их ни видеть, — есть тот же живой мир, что и везде. Как ни груба сила контраста, она дает чувствовать эту несомненную истину в веере впечатлений тонких и сложных, если природу переместить в город.

Так было весной всех этих только что прошедших лет. Лес и поле явились на Бассейную улицу. Когда магазины были закрыты — почти все, или когда цветочные лавки довольно удачно обманывали прохожего горшком резеды, затерянным среди имитации лилий и р о з , — все кроткие чудеса окрестной растительности хлынули, — по рукам и корзинам, — с полей в спаленную пустоту города. Казалось, произойдет зарастание исторических городских перспектив лютиками, ромашкой и колокольчиками. Дорога шествий открывалась подснежниками; затем шли: фиалки, ландыши, черемуха, сирень и вся многочисленная красота лета, всё, что видишь в благоуханных пестрых полях. Безвкусие собирателей, мешающих ромашку с «кошачьей лапкой» или ирис с метелками, искупалось подлинностью явления, самим видом цветка в большой или загрубелой руке.

Каждый вечер пригородный поезд Финляндского вокзала изливался шумной толпой, прибывающей, главным образом, из Тэ,

> Эль и По, — с букетами, букетиками, связками и ворохами цветов. Можно было подумать, что разорен рай. Однако рай оказывался весьма практическим раем, если присмотреться к остальной ноше, часто весьма тяжелой. Это было царство женщин, выволакивающих из недр природы всё съедобное, всё годное на продажу. Жестянки с молоком, корзины ягод, грибов, вязки хвороста, ведра с полуживой рыбой, береста для растопки, шишки для самовара, — тысячи рук и плечей расползались по городским улицам, — согревать желудки и кипятить кипятки...

Приведу еще несколько выдержек из записных книжек писателя:

«Я жил в стране вымысла всех времен и народов.
Там я нашел и понял героев моих,
Среди отчетливых, всем знакомых лиц
Я видел смутные намеки жизней,
Толпу, фон... и в ней нашел много людей,
Оказавшихся живыми, как фокстерьеры,
Со своими делами и судьбой.

Сюжеты: челов<ек> потерял глаз и боится совсем ослепнуть. Поэтому он записывает свою жизнь, чтобы видеть ее и видеть иное.

Сюжет: Ангелы на земле.

Сказки Нины.
Перо из крыльев ангела.
Белая ворона на полюсе.

Слова отбрасывают тень.

Каторжники воображения (писатели в виде арестантов каторжной тюрьмы, таскающие тяжести творчества).

Как человек, соскочив с поезда и снова вскочив в него, узнает, что прошел год».

Жизнь постепенно входила в норму. Грин покинул Дом искусств, но вопрос о заработке продолжал оставаться острым. Беда была прежняя: негде печататься, (Мало было бумаги, почти не было издательств.) За весь 1922 год * Грин едва ли опубликовал десяток рассказов да малюсенькую книжечку, куда вошли три новеллы. Несколько раз он ездил в Москву, пытаясь что-нибудь напечатать там. Один из таких приездов описывает Эм. Миндлин в книге «Необыкновенные собеседники».

«Еще в конце 1922 года Александр Степанович Грин, писатель старшего поколения, известный всем нам по своим дореволюционным рассказам, узколицый, сухой, немногословный, пришел и молча положил на редакционный ** стол рассказ «Тифозный пунктир». Я пообещал на другой же день отправить рассказ в Берлин. Грин сказал, что отправить рассказ можно и послезавтра, и послепослезавтра, даже через неделю — ему это всё равно.

— Отправляйте когда хотите. И печатайте тоже когда хотите. Лишь бы мне гонорарий сейчас.

Пришлось идти к Калменсу на поклон. День был, как назло, неплатежный, и мы все сидели без денег. По счастью, Калменс знал Грина и очень высоко ценил его рассказы. Деньги были выданы, и Грин потребовал, чтобы все — нас было человек пять молодых литераторов — пошли с ним в столовую Дворца союзов. <...>

— Зачем, Александр Степанович?

— Сегодня зайчатина. Я уже был там. Детки, мы с вами идем на зайчатину.

Денег не было ни у кого из нас. Грин обиделся:

---

* И. Сукиасова в статье «Новое об Александре Грине» («Литературная Грузия», 1968, № 12) говорит (на основании воспоминаний одного из сотрудников газеты «Заря Востока»), что летом 1922 года в Тбилиси из Одессы вместе с И. Бабелем приехал Грин и прожил там полтора месяца. У нас нет никаких данных в подтверждение этой версии.

** Эм. Миндлин был московским корреспондентом газеты «Накануне», которая печаталась в Берлине и продавалась в киосках Советского Союза.

— Деньги есть у меня. Я же только что получил. Завтра их у меня не будет. И завтра вы поведете меня обедать. С пивом. Мы не пианицы, — так он произносил: «пианицы», — но обедаем, детки, с пивом!

Мы пошли. Пешком — по Тверской, через Охотный ряд, площадь Ногина — на Солянку. По пути встречались знакомые — Грин останавливал их и требовал, чтобы они повернули и пошли с нами.

— Идем есть зайчатину, детки.

В столовую пришли табуном — человек десять, если не больше.

Грин не ушел из столовой и не позволил никому из нас встать, пока не была истрачена последняя тысяча из многих миллионов рублей, полученных им за рассказ „Тифозный пунктир"».

28 октября 1922 года на одном из петроградских «толчков» появился высокий мужчина. Он скинул с себя серое пальто и зычно крикнул:

— Ну, ну, налетай — заграничное пальто, на шелковой подкладке, со всеми пуговицами!

В мгновение ока к человеку подскочили два базарных типа, сунули деньги и скрылись. Подошел еще один покупатель и с огорчением сказал:

— Продешевили, гражданин. Я дал бы больше.

Но человек уже не слышал его. Его широкая спина скрылась за дверью цветочного магазина. Откуда он вскоре выбежал с несколькими розами и тотчас кинулся в кондитерскую.

Это был Александр Грин. В тот день жене исполнилось двадцать восемь лет, а денег... денег, как почти всегда, не было.

А потом для Грина настали хорошие дни. В редакциях — а они росли как на дрожжах — он был желанным гостем. Ему охотно давали авансы, еще охотнее печатали. Появившись в середине 1923 года в Москве проездом из Ялты, он писал И. Касаткину, работавшему в «Красной ниве»:

«Многоуважаемый Иван Михайлович! Я с женой здесь проездом из Ялты в Петербург. Я обращаюсь к

Вам с двумя покорными просьбами: 1-я вручить мне корректуру романа для возможной продажи отдельным изд-:м; и 2-е — соблаговолить устроить аванс 5000 р., потому что у меня, благодаря спешному отъезду из Ялты (опасно заболела мать жены), денег нет. Я думаю, что при желании с Вашей стороны мог бы в течение месяца погасить этот аванс одним рассказом. Вам я ничего не должен, С уважением А. С. Грин».

Корректурой Грин был незамедлительно обеспечен, аванс ему был выплачен, об издании романа он договорился с издательством «Земля и фабрика». Затем он уехал в Петроград. Затеял ремонт квартиры. Между тем издательство не торопилось выполнять договорные обязательства.

Во второй половине июля Грин написал А. Свир--ому:

«Дорогой друг Алексей! Издательство «Земля и фабрика» меня режет. Благодаря его неисполненному обещанию выслать деньги, я попал в страшно трудное положение с ремонтом квартиры и, благодаря этому же обстоятельству, должен был отказаться ехать в Северный океан. 10 дней тому назад я послал им заказное письмо, на которое не получил даже ответа. Так как они, очевидно, хамы, то я очень прошу тебя сообщить им о моем нетерпении, трудностях и негодовании. Больше с ними иметь дело закаюсь.

Нина Николаевна и я шлем привет Вам с Татьяной Алексеевной и желаем здоровья. Пожалуйста, толкни их! Твой А. Грин. 19 июля 1923 г. 8-я Рождественская, 21, кв. 10».

Роман «Блистающий мир» вышел в 1924 году. В книге было сделано множество купюр, допущена масса опечаток. Даря книгу бывшему редактору журнала «Аргус» Василию Регинину, Грин написал на титуле: «Вам на память о безумных и нервных днях искусства А. Грин. Все недоразумения стиля прошу отнести к опечаткам».

В мае того же года Союз писателей задумал в связи с приближающейся знаменательной датой — 125-летием со дня рождения А. С. Пушкина — выпустить одноднев-

ную газету. Собрали материал, дал небольшую заметку и Грин. По техническим причинам газета, к сожалению, не вышла. Заметка Грина сохранилась. Пусть читателей не смущает ее странный заголовок «Воспоминания об А. С. Пушкине». Для Грина Пушкин был вечным спутником жизни. Заметка эта — краткий рассказ о спутнике души.

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ А. С. ПУШКИНЕ

Сто двадцать пять лет — очень немного на весах истинного искусства. За такое короткое время можно, однако, успеть повернуться спиной к своему собственному восторгу и поставить над вчерашним днем подлинного искусства вопросительный знак.

Мы призваны, — согласились, — и я в том числе, — написать о *гении*. Написать, — значит *судить*. Подлежит ли *гений* суду? Возможна ли канцелярская бумага, посланная Александру Сергеевичу Пушкину с требованием немедленно пересмотреть «Бориса Годунова» и выкинуть из этой книги всё, что я не понимаю, или с чем не согласен?

Ответ ясен. Итак, можно написать только, — что дал он тебе и что ты взял от него, — и, пожалуй, — еще: сохранил ли до сего дня?

Да, сохранил.

Почему *этот* гений — не страшен? Без молний и громов, без режущего глаза блеска? Когда я думаю о А. С. Пушкине, немедленно и отчетливо представляется мне та Россия, которую я люблю и знаю. Я знаю его всю жизнь, с той поры, как начал читать. Лет восьми-семи, в гостях, я уединился с книгой Пушкина, прочел «Руслан и Людмила», и у меня до сего времени, несмотря на тот бессильный читательский возраст, остается ясное сознание, что я *очень* хорошо понимал всё, о чем читал у Пушкина — в первый раз. Путь воплощения строк в образы, а образов в подлинную

действительность был краток, мгновенен и оставил сознание не чтения, а переживания.

Так было и дальше. Входя в книги Пушкина, я переживал всё, что было написано в них с простотой летнего дня и со всей сложностью человеческой души. Так полно переложить в свои книги самого себя, так лукаво, с такой подкупающей, прелестной улыбкой заставить книгу обернуться Александром Сергеевичем, — мог только он один.

Я слышал, что где-то в воздухе одиноко бродит картинный вопрос: *«Современен* ли А. С. Пушкин?» То есть: «Современна ли природа? Страсть? Чувства? Любовь? Современны ли люди вообще?» Пусть ответят те, кто заведует отделом любопытных вопросов.

...Пушкин представляется мне таким, как он стоит на памятнике, и взглядом настоящего, большого, а потому и доброго человека смотрит на русский мир, задумывая поэтическое создание с трепетом и тоской при мысли, какой гигантский труд предстоит совершить ему, потому что нужно работать, работать и работать, для того, чтобы хаотическая пыль непосредственного видения слеглась в ясный и великий пейзаж.

P. S. А. С. Пушкин знал, „что такое искусство".

ПИСЬМА ИЗ КРЫМА И В КРЫМ

Возможности часто ездить в Москву и устраивать свои дела у Грина, конечно, не было. Жизнь в Крыму была много дешевле, чем в Москве или в Ленинграде, но издательские работники не торопились переводить деньги. Выплаты часто относились на неопределенное время. Поэтому Грину поневоле приходилось обращаться со всевозможными просьбами к своим многочисленным друзьям и знакомым.

Один из них, редактор журнала «Россия» И. Лежнев, писал Грину 17 июля 1924 года:

«Дорогой Александр Степанович!

Вашу телеграмму получил. Немедленно пошел в «Землю и фабрику». Там мне разъяснили, что денег Вам с них никаких не причитается. «Алые паруса» и «Серый автомобиль» изд-вом отклонены. Выходит в издании «Земли и фабрики» «Блистающий мир», и Вам будут высланы 25 авторских экземпляров по адресу, указанному мною. Говорил с Бочаровым. Он нажал на завед<ующего> фин<ансовой> частью некоего Кузменко. Говорил я и с Кузменко. Он жаловался на плохие дела, но после настояния моего и Бочарова деньги Вам на днях обещал выслать. «У меня, — говорит, — уже значится в списке неотложных платежей. Сколько сумею, на днях вышлю». Вот Вам все результаты моих хлопот. Как видите, жидко. Но большего, при всем желании, добиться я не мог.

Вышел № 2 «России». Книжку Вам передаст, если еще не передала Эстер Соломоновна *. Я ей выслал специально для Вас. Сейчас на всех парах двигаем № 3. «Крысолов» уже в наборе. Гранки, если будет досуг, вышлю Вам (очень я сейчас загружен работой; без помощи Э. С. приходится крутенько). Корректуры ждать от Вас не сумею, т. к. мы будем печатать лист за листом по мере того, как материал будет набираться (верстка пойдет тут же)... Ваш И. Лежнев».

Иногда — правда не слишком часто — картина менялась, и тогда уже не Грин требовал от издательства деньги, а какая-нибудь редакция, где он взял очередной аванс, извещала его, что задолженность есть и каким способом ее надо погасить.

Об этом письмо И. Касаткину:

«Многоуважаемый Иван Михайлович! Лишь приехав домой и разбирая свои пометки в записной книжке, куда заношу всё даваемое и браемое, увидел я огненный знак «3 р.». И я спешу их послать Вам с признательностью и настоящими извинениями.

Холодно-с. Крым погружен в 10-градусный сон. Чрезвычайно прошу Вас сообщить в контору, неувядаемому А. И. Бушуеву, что по его выписке на мою задолженность я ничего возразить не имею. Срок, поставленный

* Жена И. Лежнева.

конторой (20 января), совершенно убийственен. А как я всегда плачу, то довожу до его (и Вашего) сведения, что, усиленно заканчивая новый роман «Золотая цепь», почту своей обязанностью немедленно представить его в «Ниву» или «Новый мир», — чем (надеюсь!) с излишками и покрою все свои грехи. Невольные.

Совесть моя чиста и дух бодр. Судак 5 к. фунт, яблоки — 5 к. ф., масло — 60 к. Сердечный привет Вам, Ваш А. С. Грин.

P. S. Эту рукопись «Золотая цепь» я пришлю не позже 15 февраля 1925 г. А. Г. *. 27 декабря 1924 г.».

В письме говорится о конторе издательства «Известий», выпускавшего кроме газеты журналы «Красная нива» и «Новый мир». Роман «Золотая цепь» был напечатан в «Новом мире» в 1925 году, в № 8—11.

1925 год был самым насыщенным (по количеству изданий) для Грина. В этом году одна за другой вышли шесть его книг. Правда, выход некоторых достался ему не без труда. Уже знакомый нам Лежнев сообщил Грину 17 января:

«Сегодня к вечеру получил Ваше письмо, созвонился с Кремлевым ** — и вот пишу. Он мне сообщил следующее:

1) Вам на письма он не отвечал до сих пор, так как не было денег, а писать впустую ему не хотелось.

2) Первые деньги будут послезавтра, в понедельник. Он Вам вышлет 50 руб. в расчет за 1-ю книжку — и одновременно напишет.

3) Причитающиеся Вам за 2-ю книжку 150 р. он не может обещать раньше чем через две недели. К этому сроку он надеется выслать Вам новые деньги.

4) Помимо этих двух книжек он скомпоновал третью из сборника Ваших рассказов, вышедших в Госиздате.

5) За третью книжку Вам будет причитаться такой же гонорар (150 р.), каковые будут высланы во благовремение.

Порадовали Вы меня известием, что «Фанданго» у Вас подвигается и что в скором времени сумеете

* На рукописи «Золотой цепи» стоит дата окончания: 27 апреля 1925 года.

** И. Кремлев в те годы был редактором сатирической библиотеки «Красной звезды».

выслать первые два листа. Не забудьте о своем обещании переписать рукопись на машинке в Феодосии и выслать в трех экземплярах (два — для Главлита, один — в набор). С деньгами у нас сейчас тесно — тем не менее не позже как через неделю после получения рукописи деньги вышлю...

Климат в Крыму благодатный, вино дешевое, настроение письма бодрое. Рад этому очень: 1) по человечеству, 2) из «эксплоататорских» побуждений: знаю, если настроение бодрое, значит, пишется хорошо».

Через полтора месяца Лежнев вновь пишет Грину:

«Дорогой Александр Степанович!

«Фанданго» получил уже давно. Не писал Вам до сих пор по 101-й причине...

«Фанданго» мне очень понравилось. Цельного впечатления еще нет, да и не может быть — по 1-ой части. Но чувствуется, что должно выйти хорошо... Сейчас важно получить окончание. Когда пришлете? Когда будете здесь? Ни рукописи не шлете, ни письма не пишете — значит, сердитесь, а я — по совести — ни в чем не повинен.

Через пару недель выйдет № 5. Уже готовится № 6, посвященный трехлетию журнала. Кроме того, в конце марта собираемся устроить литерат<урный> вечер, посвященный тому же 3-летию. Если б приехали к тому времени (а Вы, кажется, собирались до Пасхи еще побывать в Москве), приняли б и Вы участие в торжествах. Жду рукописи, отклика, письма. Привет Нине Николаевне. Ваш И. Лежнев» (3 марта 1925 года).

Из трех книг, задуманных И. Кремлевым, вышло только две.

А рассказ «Фанданго», о котором шла такая интенсивная переписка, хотя и был окончен в августе 1925 года, но так и не появился на страницах «России»: журнал из-за финансовых затруднений был закрыт. Рассказ впервые был опубликован только в 1927 году. Журнальному тексту Грин предпослал предисловие, которое в дальнейшем не перепечатывалось: «Настоящий рассказ есть, конечно, фантастический, в котором личный и чужой опыт 1920—22 гг. в Петрограде выражен основным мотивом этого произведения: мелодией испанского тан-

ца «Фанданго», представляющего, по скромному мнению автора, высшее (популярное) утверждение музыки, силы и торжества жизни. Автор».

Кончался 1925 год. Грин не знал, что об одной из вышедших в этом году книг, «Гладиаторах», Горький напишет Воронскому: «В области «сюжетной» литературы всё интереснее становится А. Грин. В его книжке «Гладиаторы» есть уже совсем хорошие вещи» (17 апреля 1926 года). Не знал он и того, что в 1928 году Н. Асеев в письме к Горькому спросит, не был ли Грином тот человек, что когда-то приходил с Куприным к Горькому и при знакомстве назвал себя «человеком весьма обыкновенным». Горький в ответном письме возразил, оказав, что Грина он хорошо знает, что «Грин — талантлив, очень интересен, жаль, что его так мало ценят», и добавил, что Грин «ни в коем случае не назвал бы себя человеком «обыкновенным», для этого у него нет оснований».

В это время (конец 1925 года) Грин интенсивно работал над самым значительным своим произведением — романом «Бегущая по волнам».

А. Грин — Д. Шепеленко

«Дорогой Дмитрий Иванович! Что происходит в Москве среди литературных предприятий? Так ли велик кризис книжного рынка, о котором стали писать в газетах? Ваше письмо я получил как раз в момент, когда вспоминал Вашу новую квартиру. Это было уже довольно давно. Так в Феодосии разленивается, что трудно взять перо написать письмо и даже трудно сходить на почту, хотя для этого надо только перейти дорогу. Я много читаю ныне выходящих книг (иностранных) и поражаюсь убожеству мысли, формы, затем... перевода, наконец. Всё отвратно. Не радует и русская книга, топчущаяся на месте, бесцветная, убогая, истеричная, напоминающая задачу арифметического учебника. По этому поводу внутри меня тихо и зевотно.

Я пишу — о бурях, кораблях, любви, признанной и отвергнутой, о судьбе, тайных путях души и смысле случая. Паросский мрамор богини в ударах черного шквала, карнавал, дуэль, контрабандисты, мятежные и нежные

души проходят гирляндой в спирали папиросного дыма, и я слежу за ними, подсчитывая листы. К весне окончу роман «Бегущая по волнам», а там будем биться в издательских кассах головой о кассира. Дурное настроение — скажете Вы? Ничего подобного. Просто сейчас позавтракал и блажу. Пишите чаще! Ваш А. С. Грин. 10 декабря 1925 г.».

Из широкого потока посредственной литературы Грин, как мы знаем из воспоминаний Н. Н. Грин, выделял произведения Фадеева, Федина, Малышкина, А. Толстого, Булгакова и некоторых других писателей.

В предвидении своем по поводу «Бегущей» Грин, к сожалению, оказался прав. Рукопись романа два года «плавала» по редакциям журналов и издательств и не находила окончательной пристани. Сохранилось письмо Грина, в котором он наивно «рекламирует» роман:

«Завтра, уезжая в Ленинград, я оставляю Вам рукопись романа *«Бегущая по волнам»*. О нем я не говорил вчера лишь потому, что он предполагался в одно издательство, у которого, как узнал я, нет денег. Теперь я передаю его Вам и прошу известить меня о результатах сделки на адрес: Ленинград, ул. Халтурина, 27, общежитие Ц. К. У. Б. У. В рукописи как раз требуем. вам количество: $10^{1}/_{2}$ печ. листов; роман написан с «простотой» «Ал<ых> пар<усов>» и представляет фантастическое произведение, могущее быть напечатанным без убытка даже на 250 т. экземпляров».

Грину еще раз пришлось вернуться в Москву и переслать роман в Ленинград, в издательство «Прибой», которое на первых порах, кажется, его приняло. Во всяком случае, в письме к Мих. Слонимскому Грин писал об условиях:

«Дорогой Михаил Леонидович! * Я получил вчера Ваше письмо, посланное на имя В. Эттер, и спешу выслать недостающую 77 страницу (случайность), а также уведомить Вас, на каких условиях я могу уступить этот роман (при цензуре и проч.). До сих пор за лист ману-

---

* Вверху страницы, над обращением, два слова: *«Между нами»*.

скрипта — в «Нов. мире», «Пролетарии», «Недрах» и др. я получал 200 р.; надеюсь, что и в данном случае цена такая окажется справедливой. Во всяком случае — поскольку это зависит от Вас — надо бы установить эту цену.

Лишь в случае совершенной невозможности, по обстоятельствам, Вами непредвиденным, — уплатить требуемый мной гонорар, — скрепя сердце, скину 25 р. с листа, но об этом моем вынужденном, предположенном намерении знаете только Вы.

Второе, *главное* условие, — 50% при подписании договора, к<а>к это делается везде.

Нам с женой всё это важно потому, что мы могли бы уехать домой и полностью заплатить долги.

Роман я писал около 2-х лет.

Став капитаном, не сбивайтесь с курса и не слушайте никого, кроме себя. Привет от Н. Н. Кланяюсь Вашей жене. Ваш А. С. Грин. Кропоткинская набер., д. 5, общежитие ЦКУБУ, комн. 15. А. Грин. 8 окт. 26 г. М<осква>. P. S. Официальное письмо прилагаю».

М. Л. Слонимскому удалось устроить всё наилучшим образом. С Грином был подписан договор на выгодных для автора условиях.

Перед отъездом в Феодосию Грин попросил Слонимского:

«Дорогой Михаил Леонидович! Ваше второе письмо положительно тронуло меня и от всей души благодарю Вас за внимание, с каким Вы отнеслись к моему делу.

Сегодня мы уезжаем домой, в Феодосию. Прошу Вас как редактора присоединить к моему роману (на титульный лист) посвящение. Я хочу набрать шрифтом, потому что мой почерк очень нехорош для клише.

Кому мы, литераторы, посвящаем наши книги, — если не на бумаге, то в душе? Конечно, нашим женам. Вот и я посвящаю книгу Нине Николаевне.

Надеюсь, это невинное и законное желание автора не встретит возражений со стороны других членов редакции.

По адресу: Галерейная, 8 (Феодосия) обязательно вышлите мне корректуру; я не задержу больше 2 дней и верну спешной почтой. Привет! Ваш А. С. Грин. 19 окт, 26 г.» (Москва).

По невыясненным причинам роман «Бегущая по волнам» так и не увидел свет в издательстве «Прибой».

Грин пишет Слонимскому:

«Дорогой Михаил Леонидович! Спасибо за извещение. Никто не виноват, это понятно. Но меня интересует еще судьба книжки рассказов «Брак Августа Эсборна». Она тоже не прошла?

Не поленитесь, и ответьте на этот вопрос. И, совершенно, Вы плените меня, если пришлете мне сверстанный экз. «Бегущей». Она отпечатана! Если *да,* то хотя бы один экз., *для меня лично.* Кроме того, пришлите мне с надписью 1 экз. Вашего романа «Лавровы». Здесь нет в продаже. Жму Вашу руку А. С. Грин. 12 января 27 г.».

ГРИН И ЖУРНАЛ «СМЕНА»

Переписка между Грином и различными редакциями и издательствами довольно обширна. Я приведу здесь только переписку Грина с журналом «Смена». Она характерна для вообще всей переписки Грина и, кроме того, содержит в себе немало примечательных черт. Несколько лет назад бывший секретарь журнала Б. В. Лунин передал мне копии писем Грина к нему. Таким образом, мы располагаем теперь всей перепиской. Она началась в конце 1926 года.

Б. Лунин («Смена») — А. Грину

«Многоуважаемый Александр Степанович! Одновременно с этим высылаем номер «Смены» с Вашим рассказом. Как Вы убедитесь — внешность номера на этот раз подгуляла. Вызвано это перетасовкой в художеств. редакц. журн. неудачные, м. б., и иллюстрации к «Личному приему».

Благополучен ли был Ваш отъезд из Москвы и обжились ли снова в Вашем крымском прибежище? Мы твердо рассчитываем на новый Ваш рассказ к первым номерам «Смены» нового года. Шлем Вам привет. Ваш Б. Лунин». 11. 11. 1926 г.

А. Грин — Б. Лунину

«Многоуважаемый Борис Владимирович! Благодарю за журнал. («Смена», № 20, в котором был напечатан

рассказ Грина «Личный прием». — *В. С.*). Рисунки отвратительны. Герой моего рассказа — какой-то жуткий конферансье из кабаре. Отчего у нас нет хороших иллюстраторов? Рисунки $^3/_4$ успеха журнала. Смелые, тонкие, изящные и художественные рисунки. Нетути таких. Моя фамилия: «А. Грип» — совершенно точно напечатана. Но я хочу переменить на «А. Грин».

Как захотите напечатать мой рассказ — черкните о том... Ваш А. С. Грин (бывший «Грип»)». 17 ноября 26 г.

Б. Лунин — А. Грину

«Настало время поднять вопрос о новом Вашем рассказе для «Смены». Но мы... (размыто. — *В. С.*) корыстные люди и очень хотели бы, чтобы этот рассказ для Вас, Александр Степанович, не был бы одним из многих, а одним из любимых, к которому Вы приложили бы особое внимание. У Вас неисчерпаемый запас сюжетных сплетений, и перед Вами же многообразные вопросы современности, имеющие свою сюжетность и свою локальность. Организуйте из этого вещь, которая была бы цепка к запросам читателя. Я боюсь, что Вы, Александр Степанович, запротестуете такому вмешательству в Вашу работу, но примите во внимание, что во мне говорит только искреннее желание и забота о красивом появлении Вашего рассказа на страницах «Смены». Я, можно оказать, не только обращаюсь к Вам с просьбой о рассказе, но и делаю Вам вызов и знаю, что Ваш темперамент не позволит Вам не ответить. Азарт, соревнование — не чуждые Вам стихии» (14 декабря 1926 года).

А. Грин — Б. Лунину

«Рассказ можно п р и с л а т ь, — на прежних условиях» (30 декабря 1926 года).

Б. Лунин — А. Грину

«Уважаемый Александр Степанович! Благодарю Вас за скорый ответ (вопреки праздникам). Рассказ Ваш мы ждем — постарайтесь выслать его в ближайшее время...

В «Смене» произошла смена власти. Мы теперь под эгидой «Комсомольской правды». (Хотя адреса пока не изменили.) Новая редколлегия считает крайне желательным Ваше участие в журнале. Только огромная просьба от меня к Вам — полюбите «Смену» и выделяйте ее от других еженедельников, т. к. мы отвечаем перед молодежью. А это — новый, складывающийся читатель. Ваш Борис Лунин». 8. 1. 1927 г.

Б. Лунин — А. Грину

«Многоуважаемый Александр Степанович! Что-то Вы не действуете на этот раз со свойственной Вам точностью и быстротой?! Рассказа от Вас нет. А мы его ждем. Почта приходит, но Вашей бандероли мы не получаем. Ждем и очень ждем.

А Вам шлем наш общий и дружный привет. Ваш Б. Лунин». 1. 2. 1927 г.

А. Грин — Б. Лунину

«Уважаемый Борис Владимирович! Я отзывчив. Получив Ваше второе письмо я, как мне не хотелось отрываться от работы над романом («Обвеваемый холм». Роман вышел в 1929 году под названием «Джесси я Моргиана». — *В. С.*), сажусь — писать Вам рассказ. Через неделю он будет у Вас... Название «Слабость Даниэля Хортона». Ваш А. С. Грин. 7 февраля 1927 года. Феодосия».

Б. Лунин — А. Грину

«Многоуважаемый Александр Степанович! «Даниэль Хортон» редколлегией «Смены» отклонен. Отвлеченная постановка темы встретила возражение. И по внешнему оформлению рассказ оставляет впечатление торопливости. Я благодарю Вас, что Вы отозвались на мои письма, но я всё же должен сказать, что Вы не дали на этот раз того, что вы могли бы дать вообще. Нам категорически необходимо представлять авторов наиболее характерным произведением. По стилю своей переписки с Вами я предполагал, я ожидал, я мечтал получить такую вещь, которую мы напечатали бы с Вашим портретом и очерком о Вас. «Даниэль Хортон» — всё же бледен, чтобы им Вас представлять. Рукопись лежит в этом конверте.

Вкладывая ее, я вынужден снова обращаться к Вам о Вашем рассказе...» (11 марта 1927 года).

А. Грин — Б. Лунину

«Многоуважаемый Борис Владимирович! Ввиду чрезвычайно странно сложившихся отношений между ред. «Смены» и мной, выраженных с Вашей стороны, по-видимому, привычкой к так называемым «социальным произведениям», а с моей — совершенной уверенностью, что для «Смены» был бы достаточно хорош даже, — действительно слабый мой рассказ, — я более ничего Вам писать не стану даже при условии помещения моего портрета, А. С. Грин. 22 марта 27 г. Феодосия».

Очевидно, гнев Грина был справедлив. «Слабость Даниэля Хортона» действительно первоклассный рассказ. В том же году он был напечатан в журнале «Красная нива» — одном из лучших еженедельников двадцатых годов.

Впрочем, такой ответ Грина не помешал журналу вновь обратиться к писателю в начале 1928 года за рассказом. И «Смена» его получила. Это был рассказ «Легенда о Фергюсоне».

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДВАДЦАТЫХ...

Готовясь к десятой годовщине Октября, журнал «30 дней» обратился к видным советским писателям с просьбой ответить, как они живут и работают. Анкета так и называлась «Писатели дома».

В октябрьском номере был напечатан ответ Грина:

«ОДИН ДЕНЬ

Я опишу один день. Встал в 6 ч. утра, пил чай, пошел в купальню, после купанья писал роман «Обвеваемый холм», читал газеты, книги, а потом позавтракал. После этого бродил по квартире, курил и фантазировал до обеда, который был в 4 дня. После того я немного заснул. В семь часов вечера, после чая, я катался с женой на парусной лодке; приехав, еще пил чай и уснул в 9 ч. вечера. Перед сном немного писал. Так я живу с малыми изменениями, вроде поездки в Кисловодск. Когда сплю, я вижу много снов, которые есть как бы вторая жизнь».

В том же году Н. Ашукин, собирая материал для статьи «Писатели и книги», обратился к Грину с анкетой о личной библиотеке:

«1. Имеется ли у Вас личная библиотека? Если да, то сообщите количество томов.

Около трехсот томов.

2. Какой состав Вашей библиотеки? В чем особенность личной Вашей библиотеки? Что в ней преобладает (беллетристика, философия, социология и т. д.)?

Исключительно беллетристика, главным образом иностранная: английская, испанская и французская.

3. Давно ли Вы собираете свою библиотеку?

Два года.

4. Если у Вас нет библиотеки, то есть ли вообще книги, которыми Вы пользуетесь для своих работ (справочники, словари и т. д.)?

Нет.

5. Пользуетесь ли Вы библиотеками общественными?

Нет.

6. Ваше отношение к собирательству книг?

Хорошо начать собирать книги в пожилом возрасте, когда прочитана Книга Жизни.

7. Книги и Ваша литературная работа,

Я не пользуюсь книгами».

Ответы Грина не совсем точны. Из воспоминаний Н. Н. Грин мы знаем: одной из первых книжных покупок писателя был энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона (более 80 томов), хотя справедливо, что никакими справочниками для работы Грин не пользовался.

Это было в то время, когда интерес к творчеству Грина был явлением повсеместным. В аннотациях то и дело мелькало: «Блестящий новеллист», «Замечательный русский писатель» и т. п.

Очень характерно в этом отношении полученное Грином в декабре 1927 года письмо читателя:

«Уважаемый Александр Степанович!

Услуга, которую Вы можете мне оказать, заключается в следующем:

Первое. Укажите мне, какие из Ваших книг, кроме перечисленных у Владиславлева в его сборнике «Русские

писатели», вышли в свет за все время Вашей литературной деятельности. Если я не ошибаюсь, есть первая книга Ваших рассказов, вышедших ранее 1913 года (у Владиславлева упомянута «День возмездия» — 1913 г.). Дополнительно укажите, если помните, я периодические, и иные издания, в которых печатались рассказы, не вошедшие в отдельные сборники.

Второе. У Владиславлева, в упомянутой книге, совершенно не указана критическая литература о Вас. В этом отношении Вы также могли бы мне помочь. Не сомневаюсь в том, что альбома с вырезками рецензий и статей о Вашем творчестве у Вас не имеется. Оставим этого рода коллекционерство провинциальным трагикам. Но всё же запомнили Вы, по вполне понятным причинам, значительно более, нежели я, следивший за всем, что Вами выпускалось и печаталось о Вас издавна, но без какой-либо специальной цели, и именно поэтому поставленный перед тяжелой задачей — вновь перерыть все периодические издания за полтора десятка лет в архивах и библиотеках, не имея при этом никаких руководящих нитей.

Чтобы облегчить Вам эту задачу, перечислю то, что мне помнится. 1) Статья о Ваших книгах покойного Измайлова в «Бюллетенях новой литературы» за 1912 или 1913 год. 2) Там же, кажется, писал что-то о Ваших рассказах Ясинский. 3) Статья Левидова в «Журнале журналов» за 1917 г. 4) Ряд рецензий в Ленингр. «Вечерней Красной газете», «Книгоноше» и др. Упомянутое разыщу самостоятельно. Что же касается остального, то, повторяю, был бы крайне Вам признателен, если бы получил от Вас по возможности полный список изданий с указанием хотя бы приблизительных дат появлений в них статен и рецензий о Ваших книгах.

Всё это крайне мне необходимо, потому что с ближайшего времени (вероятно, с января 1928 г.) я приступлю к работе над докладом о Вашем творчестве, предполагаемым к заслушанию весной в Научном обществе марксистов по секции литературы и искусств (секция так и называется. Литература от искусств случайно отделена). Доклад этот в значительно расширенном виде предполагаю печатать.

Теперь, кончая с деловой частью письма, позволю себе напомнить то обстоятельство, что мы с Вами, Александр Степанович, знакомы с 1917 года и в моем лице

Вы еще с 1915 года, когда мне было всего еще 15 лет (из чего Вы можете сделать справедливый вывод о том, что мне сейчас 27), имеете горячего поклонника Вашего таланта и одного из фанатических «гринистов», которых в Ленинграде не мало.

Впервые я имел удовольствие говорить с Вами в ресторанчике «Петрушка» на углу Литейного и Невского, сидя за одним с Вами столиком и не зная еще, что говорю с одним из любимейших моих авторов. Тогда же Вы были причиной того, что я в один присест одолел все статьи Метерлинка, горячо Вами рекомендуемого.

В 1921 году встретил Вас, по приезде своем с фронта, в Доме искусств на Мойке и слушал «Алые паруса» — книгу, которую Вы мне подарили в 1922 году при моем посещении Вашей квартиры на Рождественских улицах.

Зовут меня Наум Семенович (это на случай обращения в Вашем ответном письме, которое я рассчитываю получить, в чем Вы меня в первом Вашем письме любезно заверили)».

Далее автор письма сообщает свой адрес, приводит список книг, перечисленных у Владиславлева, и заключает, что был бы рад помочь Грину «по части всяких справок и услуг в Ленинграде».

Грин много раньше других почувствовал на себе нелегкую руку вульгарного социологизма. Признаки надвигающейся беды он разглядел еще в середине 1926 года. Но пока его продолжали интенсивно печатать, и лишь немногие критические отзывы были неблагосклонны. Правда, уже кое-где мелькало: «Роман «Золотая цепь» ни в какой мере не связан с современностью. Построенный по принципу халтурной безответственной фантастики, он повествует о сказочных дворцах, где люди охотятся друг за дружкой с ловкостью героев Шерлока Холмса (высококультурный рецензент перепутал героя с автором, Конан-Дойлем. — *В. С.*) для призрачных целей, лишенных смысла и логики».

Круг возможностей Грина начал сужаться. Там, где современность понимали только как злободневность, его не печатали.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

После долгих плаваний «Бегущая по волнам» наконец бросила прочный якорь в издательстве «ЗИФ». Роман вышел в конце 1928 года.

Вскоре Грин получил и первый читательский отзыв. Он был от поэта Г. Шенгели:

«„Бегущая" не роман, а поэма, глубоко волнующая, и это ощущение разделяют со мной многие друзья, которым я давал ее читать. Мне кажется, я не ошибусь, сказав, что это лучшая Ваша вещь: в ряду других произведений, увлекательных, захватывающих, чарующих, — «Бегущая» просто покоряет, после нее снятся сны... Спасибо и за присылку книги и, главное, за то, что Вы ее написали» (12 декабря 1928 года).

В самом начале следующего, 1929 года в Ленинграде, в издательстве «Прибой», вышел роман «Джесси и Моргиана», который тоже много путешествовал по редакциям.

Совсем недавно автору этих строк пришло письмо из города Михайловка Волгоградской области. Написал его старый петербургский книжник Прохор Иванович Шкуратов. Письмо показалось мне заслуживающим внимания. Вот оно:

«С Александром Степановичем Грином я встречался три раза в конце двадцатых годов в букинистическом магазине на Литейном, 51, где работал товароведом. На Литейном было тогда семь магазинов, да несколько киосков от магазинов. Все мы друг друга знали. Молодых, новых работников было мало, всё больше пожилые, бывшие частники, народ прожженный. Литературой как таковой они почти совсем не интересовались, но знали ее *продажно,* и надо сказать, хорошо знали! Например, мой учитель, заведующий магазином Коровин, если видел, что я беседую с покупателями о литературе, говорил:

— Я вот за всю жизнь только и прочитал, что Мартына Задеку да «Тайны Мадридского двора», однако не хуже Баратова руковожу магазином, а ты мне всё тычешь: «Баратов! Баратов!»

Баратов, мой приятель, молодой напористый комсомолец, был вечной темой наших споров. Он много читал

и по каждой книге имел собственное мнение. Коровину это было не по душе, и он вечно попрекал меня Баратовым.

В товароведческой у нас (она же директорская) было две полки справочников-каталогов. Однако подпускал меня к ним Коровин весьма неохотно.

— Вот будешь завом, тогда всё и узнаешь.

Мы с Баратовым, когда зав отсутствовал, часто говорили по телефону, делились новостями. Было у нас с ним общее, как теперь говорят — хобби: знакомиться с живыми писателями...

Однажды Баратов сказал:

— Жди, к тебе скоро зайдет Грин, я ему дал твой адрес. Предупреждаю: серьезный господин и непохожий на писателя... Мне так и не удалось разговорить его — может, тебе удастся...

На мое счастье, Коровина не было, и я стал ждать Грина.

В те годы у меня, очень еще молодого и неопытного, сложился некий собирательный тип писателя. В магазин к нам часто заходили писатели. Некоторые долго копались в книгах. Я присматривался к ним, и получалось так, что все они, живые, подходили под мой собирательный образ, но в то же время, при сравнении их со старыми писателями, с которыми я тоже когда-то встречался, чем-то меня не удовлетворяли. Новые были уж очень простые, разговорчивые и всё чего-то искали. Не было в них степенности.

Если зава не было в магазине, можно было с ними поговорить, поискать вместе книжку, а если *он* в магазине, то не разговоришься: тотчас одернет тебя, а нередко и самого писателя:

— Что надо товарищу? Пусть ищет вон в развале. Нам торговать надо, а не разговаривать!

В каждом магазине был стол — «развал», на котором стопками лежали книжки ценой от 5 до 40 копеек. Там надо было только глядеть в оба за ребятишками, а взрослым было полное раздолье: копай сколько хочешь!

От начальства было особое указание: отдельно учитывать продажу с развала. Это было нечто вроде эксперимента: натуральная реклама и проверка честности покупателей (следили за «усушкой, утруской»).

В ожидании «серьезного господина» я быстро просмотрел развал. Ни одной книжки Грина не обнаружил и уже ждал его с некоторым конфузом. Потом вспомнил о новых покупках, кинулся туда и нашел «Алые паруса». Книжка новенькая, паруса прямо сияют на цветной обложке.

Грин пришел не один, а со знакомым писателем, к тому же, пожалуй, самым разговорчивым — Арсением Георгиевичем Островским. Островский со мной поручкался, вступил в разговор, но скоро попрощался и ушел. А Грин уткнулся в развал.

Да, прав Баратов, Грин мало похож на писателя. Некрасивое грубое лицо, хорошо выбритое, и от этого еще грубее кажутся продольные и поперечные глубокие морщины.

Порывшись в развале, Грин спросил что-нибудь приключенческое. Я попросил его зайти за прилавок, в отдел, стал показывать книжки, но он только скользил по ним взглядом, отмахивался: не всучай, мол.

Тут я ему кое-что шепнул. Грин с удивлением на меня посмотрел, повернулся, пошел опять к развалу. А «Алые паруса», свернутые в трубочку в моей руке, *горели...* Зава всё еще не было, да и покупателей было немного, и я направился к развалу. Как фокусник, одним движением расправил «Паруса», хлопнул ими о стопку книжек перед Грином, наблюдаю за эффектом. А он на меня и не глянул. Взял в руки книжку, смотрит на обложку, а я смотрю на него. Я увидел его карие, просветлевшие глаза и вдруг покрасневшее лицо. Некрасивые морщины как-то удивительно расправились. Он тихо засмеялся, глянул на цену, пошел к кассе. Уплатив копейки, повернулся ко мне:

— Спасибо, товарищ!

В дверях помахал рукой. Я издали увидел, что рука у него хоть и большая, но красивая — *писательская...*

Вспомнил, догнал его уже на улице, сказал:

— Приходите, товарищ Грин, завтра, я принесу вам из дома «Бегущую по волнам»!

Он что-то хотел ответить, но я уже побежал обратно.

...Мы, товароведы, в конце двадцатых годов вечерами собирались в правлении Ленторга у главного товароведа Бориса Марковича Гуревича, вырабатывали ценник на

старую букинистическую и антикварную книгу. Это была интересная работа. Большинство шло на собрания, как на праздник. Бывал здесь вечерами праздничный стол.

Помимо товароведов приходили на собрания некоторые завы и даже работники киосков. Завы большей частью были похожи на моего Коровина, настаивали на приоритете продажном. Мало кто запомнился мне из тех, кто решал тогда судьбы букинистической и антикварной книги, но один человек запомнился хорошо, может быть потому, что он долгие годы был связан с Грином. И как потом выяснилось, с Грином дореволюционным.

Базлов (имя и отчество забыл, но припоминаю, что все мы звали его Иванычем) был среди нас в некотором роде уникумом. Бывший владелец самой старинной в России фирмы книгопродавцов и книгоиздателей, старик лет под семьдесят, он работал киоскером на Владимирском около собора и ни за что не хотел уходить на пенсию. На собраниях был очень активен. Слово его чаще всего было и законом: он знал литературу не только продажно, но и как она, старина, может заиграть по-новому.

В тот вечер, после того как мы приложились к праздничному столу, шумливый Баратов спросил меня:

— Ну как Грин, правда господин серьезный?

Я замялся, не умея точно изложить Баратову мое сложное впечатление от встречи с Грином.

Иваныч всполошился.

— Ты, Мишка, — спросил он Баратова, — о ком это говоришь, об Александре Степаныче?

Председатель Гуревич уважительно относился к Иванычу, однако тоже «стрелял» по живым писателям. Он обратился к Базлову:

— Расскажите о Грине. Он ведь и новый и букинистический — всем будет интересно.

Базлов кивнул на Баратова:

— Пусть вон Мишка расскажет, какой Грин серьезный. Тебе, Мишка, нужно, чтобы писатель был в шляпе, с «гаврилкой» и всеми прочими онёрами, вроде «будьте любезны», «покажите, пожалуйста», и чтобы это было, как у Островского, с писательской улыбкой. Нет, Мишка, ты хоть и комсомолец, да мелко плаваешь, чтобы давать ярлыки на таких, как Степаныч.

Вообще Иваныч тоже прибегал к этим «скажите, пожалуйста», «будьте любезны» и прочим онёрам, а тут вдруг распалился на Мишку. И Мишка, что было на него не похоже, сдался:

— Да я так говорю, к слову. — И вдруг бросился в бой: — Целый час его крутил по-всякому, и с подходами и напрямик, молчит, копается в развале, и непонятно — чего он там ищет. Ну хоть бы раз спросил у меня, так ведь нет. Поклонился уже в дверях и засмеялся... Какой бы ярлык нацепил ты на него, Иваныч?!

Базлов встал (у него была привычка: когда он что-нибудь рассказывал, он брал лежащую рядом на скамейке шапку и ею размахивал) и начал:

— Степаныч как-то зашел ко мне в киоск. Я когда-то давно рассказал ему, как в первые дни революции горел окружной суд. На этом месте теперь большой дом, а я жил почти рядом и всё, что видел, рассказал Степанычу. В этот раз он почему-то об этом вспомнил. Я снова стал рассказывать, и мы оба смеялись, как шпики и жандармы под видом рабочей дружины таскали корзины с бумагами и бросали их в пламя. Но кто-то догадался, какая это дружина, и что тут было! Начали жандармов дубасить, а они выскакивают из дома, а на некоторых под рабочими балахонами мелькают жандармские мундиры. Ну тут их прогнали сквозь строй! Бегут жандармы и натыкаются на кулаки да палки. Вдогонку им улюлюкают. Все даже о пожаре позабыли. Несколько жандармов так и остались лежать на панелях и торцах. Люди мимо нас со Степанычем идут в церковь, а мы хохочем. Потом я его спрашиваю: для чего тебе это понадобилось? «По твоим рассказам, отвечает, хочу написать рассказ, отомстить *им!»* А вот как он сказал это «отомстить», тут он был не только серьезный, но и страшный. Все свои муки от жандармов вложил в одно слово. А ты, Мишка, ждал от него «будьте любезны». Да ведь какой человек!

Копаясь в развале, вынул, показал мне книжонку Радионова «Наше преступление». «А этой-то мерзостью зачем ты торгуешь?» Взял я эту книжонку об колено и напополам да бросил через ограду. Степаныч вынимает кошелек, дает мне два двугривенных: «Моя, говорит, вина, я и плачу...» Скажите, пожалуйста, какой он богач, Степаныч! Когда, говорю, ты стал таким Фордом? Сам без тебя вывернусь. Ты лучше выпей за мои греш-

ные доходы. Какой же я был бы торговый, если бы жил без доходов.

А тут как раз подвернулся доход. Принес мне парнишка знакомый пирожков, ну мы со Степанычем и угостились моими доходами. Спрашивает он меня: «Внучок, что ли?» Да таких внучков, говорю, у меня десятка полтора бегают по Владимирскому и Кузнечному. Даю им на прочтение детские книжки, и то сами ребятишки, то их мамы приносят мне каждый день то одно, то другое.

Такие разговоры бывали на наших собраниях, хотя и не часто. Гуревич был в некотором роде барометром. Уловив, что Грин заинтересовал всех, он обратился к Иванычу:

— Я вспомнил, как вы, товарищ Базлов, рассказывали мне что-то про старого, дореволюционного Грина. Расскажите товарищам. Ведь стыдно нам не знать человека, писателя, который ходит среди нас. А я думаю, что его не только не знают, но едва ли кто и читал...

Баратов вскочил, напетушился, но Гуревич его остановил:

— Я знаю, Миша, что ты-то читал, но тут ведь три десятка других, а у нас уж были разговоры о новых писателях, писавших в старое время, и я уже получил разрешение, если это нужно, увеличивать цены на старое, которое заслуживает этого и как редкое и идеологически ценное, и мы уже поступили так, например, с Брюсовым, с его книгой «Огненный Ангел». Дело тут не в одном только Грине, но Грин, по-моему, для нас прецедент интересный: мне известно, что старые книжки Грина это уже редкость, и нам надо знать, *почему они редкость.*

Иваныч редко прикладывался к спиртному, но тут приложился, по-стариковски крякнул и как-то молодо рассмеялся:

— Потешный у нас со Степанычем как-то спор вышел. Давно дело было, до революции еще. Принес он мне четыре рассказа (уж забыл и какие) и уговаривает напечатать: «Раз, говорит, ты не снял из каталога свою издательскую фирму — обязан напечатать!» А моя фирма уже захирела. Сначала солдатенковы да поляковы, а потом пришел этот наш «форд» Суворин, и моя

самая старая фирма уже просто сходила на нет. Но я еще брыкался и нет-нет да у того же Суворина тисну кое-что под свою фирму: совестно ему, «форду», было, что ли, — не отказывал. Из четырех рассказов вышла бы книжечка листа на полтора, и я решился. Дай, думаю, попробую.

Заговорили о цене. То ли Степанычу было туго, то ли ему хотелось со мной поершиться — только заломил он такую цену, что я уж просто не мог бы выдержать в чужой типографии. Торгуемся. Получил от него «эксплуататора» и «кровопийцу» получил, и чего только он мне не наговорил, а потом рассмеялся: «Они, говорит, рассказики-то эти, не прошли в цензуре. Ты их устрой где-нибудь из-под полы, договорись с рабочими, а цена — это я просто хотел тебя пощупать».

Кое-какие книжки я издавал из-под полы. Но это всё были стихи, которые я и покупал чохом, а на стихи и цензура была не придирчива. Словом, взял, заплатил Степанычу какой-то авансишко. Отнес рукопись к своему приятелю — владельцу типографии. Так он на следующий день сам прибежал ко мне в лавку, сует рукопись, оглядывается: «Возьми, говорит, ради бога, и не ходи ты ко мне с такими...»

Через несколько дней пришел Степаныч, принес мне мой авансишко. Веселый, смеется: «Выручил, говорит, ты меня из финансового прорыва. Не ходи ты никуда с этой рукописью. Я тебе оставлю ее на память. Много я уж разбросал «на память» таких рукописей, а тебе оставлю с надписью. Мне, говорит, тоненький журнальчик отвалил полсотни кое за что, а там и еще что-нибудь напишу... Жить, говорит, можно и... нужно. Вот и судите, *как* должны мы расценивать, — копейки в рубли или наоборот.

Иваныч заметно устал. Гуревич, куда-то услав Мишку, спросил Базлова:

— Скажите, пожалуйста, а эти рассказы с надписью целы?

— Архив я сохранил весь и завещание написал: после моей смерти всё поступит государству, а там есть много, и не только Грина. Может, кое-кого заново откроют в этих бумагах...

Прибежал Баратов, подхватил Иваныча, сказал ему:

— Прости меня, я теперь не буду судить о писателях по «гаврилке». Пойдем вниз, там машина, я тебя доставлю домой.

Часто мы вспоминали это собрание. Так оно и осталось в памяти как гриновское. Были и последствия. До этого вечера высоко ценились тоненькие книжки только Ахматовой, Кузмина да еще кое-кого, а после даже мой зав, Коровин, просматривая за мной то, что я покупал, не сбрасывал в хлам тоненькие книжечки, а лишь — чего с ним раньше никогда не бывало — говорил: «Ну, это ты уж решай сам!»

Многое тогда значило — в каких руках находится право решать. На расстоянии думаю, что мы с Баратовым сохранили от забвения очень многих авторов тоненьких книжек. И толчок этому дал не корифей Шилов, а «отставной» издатель самой старинной фирмы Базлов, в тот вечер, когда он *открыл* нам Александра Степановича Грина!

При передаче «Бегущей» произошел у нас с Грином коротенький диалог:

— Это ваша личная книга?

— Нет, Александр Степанович, — это, как и у Базлова, от... «доходов».

Грин понял, засмеялся:

— Я его вздрючу за разглашение наших с ним тайн.

Хотел я было рассказать ему про гриновский вечер, но воздержался, подумал: «Вот в этом Грин, пожалуй, может быть, и... серьезный».

В третий визит Грина я был очень занят: только что принесли большую партию книг, и я не мог оторваться. Покопался Грин в развале. Я на секунду к нему выскочил. Пожали мы друг другу руки, и он, уже какой-то родной, медленно пошел к двери, у порога остановился и помахал мне своей большой писательской рукой...»

В конце двадцатых годов Грин подружился с И. А. Новиковым. Новиков жил в Москве и охотно выполнял множество деловых просьб Грина. На долю Ивана Алексеевича часто выпадала неблагодарная миссия; сообщать Грину об отказах.

А отказы появлялись всё чаще. Наконец, в тридцатом году в «ЗИФе» Грину сказали откровенно: «Вы не хотите откликаться эпохе, и, в нашем лице, эпоха вам мстит».

Мстила Грину (если вообще можно говорить о мести) не эпоха, а чинуши, засевшие в издательствах, до мозга костей пропитанные идеями вульгарного социологизма, трактовавшего современность только как злободневность.

Чем труднее становилось Грину, тем больше замыкался он в себе.

«Дорогой Иван Алексеевич! — писал он Новикову. — Сердечно благодарю Вас за хлопоты. Оба письма Ваши я получил и не написал Вам доселе лишь по причине угнетенного состояния, в каком нахожусь уже два месяца.

Я живу, никуда не выходя, и счастьем почитаю иметь изолированную квартиру. Люблю наступление вечера. Я закрываю наглухо внутренние ставни, не слышу и не вижу улицы.

Мой маленький ручной ястреб — единственное «постороннее общество», он сидит у меня или у Нины Николаевны на плече, ест из рук и понимает наш образ жизни» (3 ноября 1929 года).

Каким же видели Грина в этот труднейший и сложнейший период его жизни? Вот что рассказывает писатель Ю. Домбровский: «В 1930 году после угарного закрытия тех курсов, где я учился (Высшие государственные литературные курсы — сокращенно ВГЛК), нас, оставшихся за бортом, послали в профсоюз печатников. А профсоюзные деятели, в свою очередь, послали нас в издательства, на предмет не то стажировки, не то производственной экспертизы: если, мол, не выгонят — значит, годен. Я попал в такое акционерное издательство «Безбожник». Там у кого-то возникла блестящая мысль: надо издать литературный сборник рассказов видных современных писателей на антирелигиозную тему. Выбор участников этого сборника был предоставлен моей инициативе. Так я сначала очутился у В. Кина, а потом у Александра Степановича. Кто-то — уж не помню кто — дал мне его телефон в гостинице. Я позвонил, поговорил с Ниной Николаевной и от нее узнал, что Грин будет

сегодня во столько-то в доме Герцена. Столовая располагалась в ту пору — дело летнее — на дворе под брезентовыми тентами. Кормили по карточкам. Там, под этим тентом, я и увидел Александра Степановича. Я знал его по портретам в библиотечке «Огонька» и сборника автобиографий, выпущенных издательством «Современные проблемы». Он оказался очень похожим на эти портреты, но желтизна, худоба и резкая, прямая морщинистость его лица вносила в этот знакомый образ что-то совершенно новое. Выражение «лицо помятое, как бумажный рубль», употребленное где-то Александром Степановичем, очень хорошо схватывает эту черту его внешности. А вообще он мне напомнил не то уездного учителя, не то землемера. Я подошел, назвался. Первый вопрос его был: «У вас нет папирос?» — папирос в то время в Москве не было, их тоже давали по спискам. Папирос не оказалось, мы приступили к разговору. Я сказал ему, что мне нужно от него. Он меня выслушал и сказал, что рассказа у него сейчас такого нет, но вот он пишет «Автобиографическую повесть», ее предложить он может. Я ему стал объяснять, что нужна не повесть, а антирелигиозное произведение, которое бы показывало во всей своей неприглядности... Он опять меня выслушал до конца и сказал, что рассказа у него нет, но вот если издательство пожелает повесть, то он ее может быстренько представить. Я возразил ему, что сборник имеет определенную целевую установку и вот очень было бы хорошо, если бы он дал что-нибудь похожее на рассказы из последнего сборника «Огонь и вода». Он спросил меня, а понравился ли мне этот сборник, — я ответил, что очень — сжатость, четкость, драматичность этих рассказов мне напоминают новеллы Эдгара По или Амбруаза Бирса. Тут он слегка вышел из себя и даже повысил голос. «Господи, — сказал он горестно, — и что это за манера у молодых всё со всем сравнивать. Жанр там иной, в этом вы правы, но Эдгар тут совсем ни при чем». Он очень горячо произнес эти слова, — видно было, что этот Эдгар изрядно перегрыз ему горло. Опять заговорили об антирелигиозном сборнике, и тут ему вдруг это надоело. Он сказал: «Вот что, молодой человек, — я верю в бога». Я страшно замешался, зашелся и стал извиняться. «Ну вот, — сказал Грин очень добродушно, — это-то зачем? Лучше извинитесь перед собой за то, что вы неверующий. Хотя это пройдет, конечно. Скоро пройдет».

Подошла Нина Николаевна, и Грин сказал так же добродушно и насмешливо: «Вот посмотри юного безбожника». И Нина Николаевна ответила: «Да, мы с ним уже разговаривали утром». Тут я нашел какой-то удобный момент и смылся. «Так слушайте, — сказал мне Грин на прощанье. — Повесть у меня есть, и если нужен небольшой отрывок, то, пожалуйста, я сделаю! — и еще прибавил: — Только, пожалуйста, небольшой».

Из редакции в редакцию путешествовали рассказы и неизменно возвращались к автору. И не какие-нибудь однодневки — «Комендант порта», новелла, которая теперь включена во все сборники Грина.

Но Грин продолжает работать. Он заканчивает «Автобиографическую повесть», задумывает и продумывает роман «Недотрога», который, он считал, будет лучше «Бегущей», но который ему так и не удалось закончить.

В феврале 1931 года Грин делится с И. А. Новиковым своими творческими планами, рассказывает о своей жизни:

«Дорогой Иван Алексеевич! Простите меня за поздний ответ, за позднюю благодарность за книги: грипп; боялся передать письмом микробы.

Грипп прошел.

Вы оказываете мне честь, интересуясь моим мнением о Ваших этих произведениях. Написать — и легко, и трудно. Книга — часть души нашей, ее связанное выражение. Характер моего впечатления — в общем — таков, что говорить о нем можно только устно, и, если, когда мы опять встретимся, — Ваше желание не исчезнет, — я передам Вам свои соображения и впечатления.

Здесь установился морозный февраль, снег лежит, как на Севере, хотя и не такой толщины. Я кончил писать свои автобиограф<ические> очерки и отдал их в «Звезду» — там пойдут. Теперь взялся за «Недотрогу». Действительно — это была *недотрога,* т. к. сопротивление материала не позволяло подступиться к ней больше года. Наконец, характеры отстоялись; странные положения приняли естественный вид, отношения между дейст<вующими> лицами наладились, как должно быть. За

пустяком стояло дело: не мог взять верный тон. Однако наткнулся случайно и на него и написал больше $1^1/_2$ листов.

Нина Николаевна «сама себе», «в себе» и «через себя» учится рисовать, но, так как она хочет сразу одолевать трудные вещи, то у нее пока получается «м-м-м», точно так, как говорят, набрав в рот воды. Впрочем, зачем обижать человека? На днях уже ясно произнесла: «ма-ма» и «пап-па...».

Я перечитываю А. Дюма. Вчера было смешно: «...что еще сказать? Вертел крутился, печь трещала, прекрасная Мадлен рыдала, и Артаньян остался жить в гостинице». Глухо, но строки божественны. Перевод (теперешний) местами искажает текст. Д'Арт. говорит: «Большие деревья притягивают молнию» (в смысле, что он не великое древо), а книга произносит: «Молния не ударяет в низины». Смысл переделки ясен...

До свидания, дорогой Иван Алексеевич! Не сердитесь на умолчания: дело серьезное, но для письма почтового не годится» (11 февраля 1931 года).

Издательство «Федерация», выпустившее в 1930 году маленький сборник рассказов Грина «Огонь и вода», теперь, по настоянию И. Кремлева, заключило с Грином новый договор только для того, чтобы как-то поддержать его материально: к печати книга не готовилась. А Грин постоянно интересовался ее судьбой.

А. Грин — И. Новикову

«...На днях я затеял пройти пешком в Коктебель (из Старого Крыма. — *В. С.*). Я шел через Амеретскую долину, диким и живописным путем, но есть что-то недоброе, злое в здешних горах, — отравленная пустынная красота. Я вышел на многоверстное сухое болото; под растрескавшейся почвой кричали лягушки; тропа шла вдоль глубокого каньона с отвесными стенами. Духи гор показывались то в виде камня странной формы, то деревом, то рисунком тропы. Назад я вернулся по шоссе, сделав 31 версту. Очень устал и понял, что я больше не путешественник, по крайней мере — один; без моего дома нет мне жизни. «Дом и мир». Всё вместе или — ничего.

Попробуйте, дорогой Иван Алексеевич, узнать что-нибудь в «Федерации» относит<ельно> окончат<ельной> расплаты — 60%. Мне опять сунули (это было 24-го) 230 р. и ни гу-гу. Ни слова. А за ними еще 600 рублей. Хотя бы выяснить, что они кладут в такой странный расчет со мной: бедность или высокомерие!» (29 апреля 1931 года).

А. Грин — И. Новикову

«Дорогой Иван Алексеевич! Здравствуйте. У нас чудная установилась погода, град<усов> 25. Мы переезжаем на новую квартиру. С 15 мая наш адрес: Октябрьская улица, дом 51 (Власьевой).

Я вскопал небольшой огород, садим цветы. Если «Федерация» наконец решится уплатить мои деньги, то купим два улья» (8 мая 1931 года).

«В СВЕТЕ РАСКРЫТЫХ ОКОН...»

«Незадолго до смерти, — писал К. Паустовский, — в августе 1931 года, Грин поехал за деньгами в Москву. Жена с трудом заняла ему денег на дорогу.

В Москве Грин столкнулся с случаем исключительного бюрократизма, который сейчас кажется просто невероятным. У меня хранится заявление Грина в Издательство художественной литературы. Он предлагал издательству свою «Автобиографическую повесть». Издательство не давало ясного ответа. Грин не мог ждать, — жить в Москве было не на что, не было даже денег на обратную дорогу. Грин написал заявление. Привожу из него отрывок: «Уезжая сегодня домой в Крым, я лишен возможности дождаться решения издательства, но обращаюсь с покорнейшей просьбой выдать мне двести рублей, которые меня выведут из безусловно трагического положения».

Это было осенью 1931 года. Кажется невероятным, что талантливому умирающему писателю бюрократы из издательства отказали в такой ничтожной помощи».

Грин вернулся из Москвы с ничтожной суммой. Надо было отдать долги, а жить опять было не на что. Поэтому по возвращении он сразу же написал заявление в Союз писателей с ходатайством о пенсии:

«В Правление Всер. Союза
Совет. Писателей
А. С. Грин

ЗАЯВЛЕНИЕ

Обращаюсь к Вам с просьбой походатайствовать о назначении мне персональной пенсии.

22 ноября тек. 1931 г. исполняется 25-летие моей литературной деятельности.

После Октябрьской революции по сей день напечатаны мои следующие книги:

В «Пизе»: 1. «Рассказы», 2. «На облачном берегу», 3. «Золотой пруд».

В «ЗИФе»: 1. «Бегущая по волнам», 2. «Штурман „Четырех ветров"», 3. «История одного убийства», 4. «Капитан Дюк», 5. «Сокровище африканских гор», 6. «Блистающий мир».

В «Мол. гвардии»: 1. «По закону», 2. «Вокруг центральных озер».

В Гос. Военн. изд. ГВИЗ: 1. «Пролив бурь», 2. «Остров Рено».

В «Пролетарии»: «Золотая цепь».

В «Недрах»: «Гладиаторы».

В «Прибое»: «Брак Августа Эсборна».

В «Огоньке»: 1. «Вокруг света», 2. «Крысолов», 3. «На облачном берегу».

В «Ленгазе» *: «Джесси и Моргиана».

В «Федерации»: 1. «Огонь и вода», 2. «Дорога никуда».

В изд. «Мысль»: 1. «Шесть спичек», 2. «Золотая цепь», 3. «Окно в лесу», 4. «Веселый попутчик», 5. «Черный алмаз», 6. «Корабли в Лиссе», 7. «Приключения Гинча».

В дореволюционных издательствах напечатаны книги: «Искатель приключений», «Позорный столб», «Загадочные истории», «Пролив бурь», «Штурман „Четырех ветров"».

М. б. — что-нибудь я забыл (Грин забыл перечислить очень много книг — более десяти. — *В. С.*).

В журналах нового и старого времени помещено мной свыше 500 рассказов, очерков, повестей и стихотворений, перечислить которые пока нет возможности.

---

* Не точно: в издательстве «Прибой».

Теперь мне 51 год. Здоровье вдребезги расшатано, материальное положение выражается в нищете, работоспособность резко упала.

Уже два года я бьюсь над новым романом «Недотрога» и не знаю, как скоро удастся его закончить. Гонораров впереди — никаких нет. Доедаем последние 50 рублей. Нас трое: я, моя жена и ее мать, 60 лет, больная женщина.

О состоянии нашего здоровья, требующего неотложного лечения, прилагаю записку врача Н. С. Федотова, пользующего нас уже более года.

Ходатайствую о выдаче мне единовременного пособия в 1000 р., на предмет лечения и, особенно, о назначении пенсии, размер которой, естественно, определять надлежит не мне. С уважением А. С. Грин. г. Старый Крым, Октябрьская улица, д. 51. 26 августа 1931 г.».

На заявлении написано: «Правление ВССП. всецело поддерживает ходатайство т. А. С. Грина. Ответственный секр. ВССП... (подпись неразборчива) 11 сентября 31 года».

Пятьдесят рублей, о которых Грин писал в заявлении, были вскоре истрачены, а ответа из Москвы не было. Грин пишет письмо старому своему знакомому Г. Шенгели с просьбой выяснить, как его дела (письмо написано рукою Н. Н. Грин):

«Дорогой Георгий Аркадьевич!

Мне запрещено читать, писать, говорить и двигаться: о диктовках доктор не говорил. Под мою диктовку пишет Нина Ник<олаевна>. Скоро три недели, как я не покидаю кровати. По возвращении домой открылся у меня *легочный туберкулез, в острой форме,* по словам доктора, возраст туберкулеза 3 месяца.

Я лежу с температурой 38 и изредка плюю кровью.

Естественно, что в таком положении из моего письма Вы не усмотрите ничего, кроме просьбы.

Дней 12 назад я послал в Правление Союза Писат. заявление о пособии на болезнь с прилож<ением>. доктор<ского> свидетельства о здоровье моем и Н. Н. Н<нна> Н<иколаевна> незадолго перед моей поездкой в Москву перенесла очень опасную болезнь, воспа-

ление желчного пузыря, пролежав около месяца; теперь она хронически больна, а я остро.

В моем заявлении еще содержится просьба о назначении мне персон<альной> лит<ературной> пенсии за выслугу 25 лет. *22-го ноября 25 лет. мой юбилей, т. ч. это в сущности пенсия на старость и ее болезни.*

Ответа не получил. Не откажите лично навести справку в Прав. С. П. *(у А. А. Богданова)*, дан ли ход моему заявлению и когда будет ответ.

Мы *бедствуем, — болеем, нуждаемся и недоедаем.*

Пока — всё. Впрочем, если бы Вы могли присоединить к старому долгу стоимость четвертки чая и ее прислать, был бы я Вам по гроб жизни обязан.

С нетерпением жду ответа. Сердечный привет Нине Леонтьевне. Ваш А. С. Грин» (9 сентября 1931 года).

P. S. А. С. сильно тает и слабеет, нервность и недоедание доканывают его. Будьте добры, скажите в Союзе, чтоб они поторопились. Так трудно. Жму у Вас обоих руки. Н. Грин».

Шенгели передал письмо Грина в Правление Союза писателей, присоединив от себя несколько строк:

«Правлению Всероссийского Союза
Советских Писателей

Товарищи —

направляю Вам письмо, полученное мною от Александра Степановича Грина.

Из письма Вы с несомненностью усмотрите тяжелое положение, постигшее одного из оригинальнейших русских писателей.

Не может быть двух мнений о том, что экстренная и радикальная помощь необходима. Я не сомневаюсь, что ВССП эту помощь может, должен и захочет оказать. Помощь по двум линиям: 1 — единовременное пособие; 2— энергичное ходатайство перед правительственными органами о назначении А. С. Грину персональной пенсии. В этом ходатайстве, между прочим, должно быть отмечено революционное прошлое А. С. Грина, его пропагандистская работа, его тяжелая ссылка.

Товарищи, — время не ждет, наш товарищ голодает — и я призываю Вас к спешным практическим мерам. Георгий Шенгели, 18 сентября 31 года».

Грин не знал, что у него рак. Поэтому в октябре он подумал, что ему будет лучше в Москве, в больнице. Он просил И. Новикова, как и где можно устроить Нину Николаевну, пока сам он будет на излечении.

«Дорогой Иван Алексеевич! Наступила осень, лист начинает опадать; солнечно и свежо. Уже несколько дней стоит, после месяца дождей и холода, довольно сносная погода. Я чувствую себя немного лучше: часа два-три в день могу сидеть за столом; даже в саду; но пройти три-четыре квартала мне еще трудно, — слабею. Температура неровная; большей частью 37,2 по утрам и 37,7 в середине дня, а то и 38,4, к<ак> вчера.

Мне запрещено писать, но привычка вторая натура, и 2—3 страницы (вот такие, к<а>к эта) я пишу каждый день. Застряла моя «Недотрога»; написал только первую часть (5 листов), да и то требует хорошего, частого гребня.

Мы с Ниной Николаевной необходимо должны быть в Москве в середине ноября и пробыть там месяца 2. Сложные, большие дела. Скажите, пожалуйста: возможно ли было бы на это время Н. Н. поселиться у Вас за желаемую Вами плату? Я намерен лежать с приезда в больнице Ц. К. У. Б. У. (или другой), откуда и буду рассылать через жену по редакциям свои (неразборчиво и далее обрыв в письме. На следующей странице)... нее — вещь мудреная, жестокая вещь. Такая, вероятно, фантастическая мысль (мы по себе горько знаем, что такое чужой человек в доме) пришла нам в голову, конечно, бестактно, но с утешением, в перспективе, что Вы всегда можете — и лично и письменно — покачать нам укоризненно головой.

Общежитие Ц. К. У. Б. У.? Здесь вопрос особый, словесный.

Отринув нашу просьбу — укажите, если знаете, такую не подозрительную квартиру, где сдали бы на 1,5—2 месяца комнату, — пожалуйста» (12 октября 1931 года).

Пришел ответ от Шепеленко *. Он писал, что всё, о чем просил Грин, он сделал, а результаты: они, к сожалению, от него не зависели.

---

* Грин просит Шепеленко похлопотать о сборе денег среди знакомых.

А. Грин — Д. Шепеленко

«Дорогой Дмитрий Иванович! Спасибо Вам за хлопоты. Очень Вас прошу справиться в Союзе о результатах... пенсии (два с лишним месяца тому назад я подал о ней заявление).

Лежу уже 4-й месяц с t°, и неизвестно, когда смогу встать. Будьте здоровы. Неважны дела мои» (23 ноября 1931 года).

Письмо написано рукою Н. Н. Грин.

Внизу приписка (расползающимися буквами) рукою Грина:

«Без денег и без чая. А. С. Грин».

Из Союза Грину переводили небольшие суммы, а в апреле 1932 года он получил известие, что его собираются поместить в санаторий. Он написал управляющему делами Союза Григоровичу (письмо написано рукою Н. Н. Грин):

«Тов. Григорович! Я получил Ваше письмо о предполагаемом помещении меня в санаторий. От лежания в санатории я отказывался зимой, отказываюсь и теперь, — по следующим причинам: мне нужен совершенный покой, который я могу иметь только дома, и такой пристальный внимательный уход, каким пользоваться можно только у себя дома. Это у меня есть. Нет только надлежащего и регулярного питания, какое представляет санаторный пансион.

Что касается климатических условий, то они в Кр. Крыму везде одинаковы.

Поэтому я и писал Вам, что нуждаюсь лишь в выдаче санаторного порциона на дом. Один врач, организатор местного санатория, сказал мне, что для этого нужно только ходатайство Союза в местный куртрест, в ведении которого находится этот санаторий. Если для возбуждения такого ходатайства Литфонду мало справки здравотдела, я подожду комиссии.

Два местных врача завалены этой весной работой из-за повышенной заболеваемости населения, а потому мне надо ждать случая.

Но особливо и главнейше я мучаюсь желанием узнать, что происходит с пенсией. Об этом, будьте добры, — известите поскорее; нужда стала пыткой. С уважением Алек. Степанович Грин» (11 апреля 1932 года).

Разговоры о санатории и санаторном питании были уже бесконечно запоздалыми.

Развязка близилась.

За неделю до. смерти Грин получил последнее письмо от И. Новикова:

«Марина (дочь И. Новикова. — *В. С.*) захватила с собою Вашу «Дорогу никуда». Я даю ее с осторожностью, чтобы не потерять. Но нельзя не дать потому, что эти молодые читатели любят Вас — очень, и эту книжку особенно. С ней спорит только „Бегущая по волнам"» (28 июня 1932 года).

Эти теплые слова скрасили последние дни Александра Степановича Грина.

Сорок лет прошло после смерти А. С. Грина. За последние пятнадцать лет тираж его книг превысил 4 000 000 экземпляров. Мы как бы заново открыли для себя этого писателя.

«После долгого безмолвия, — пишет Вера Панова в заметке «Чистое сердце», — одна из этих книг (Грина. — *В. С.*) снова вышла в свет, другая, — и словно ветром их сдуло с прилавка. Словно ждали их, ждали — и дождались наконец. Молодежь их расхватывает и читает с жадностью, и неизвестно, какие нужны тиражи, чтобы утолить эту жажду. В единое мгновение ясно стало, что книги Грина не только не забыты — они и не могут подвергнуться забвению, ибо есть в них нечто вечно сияющее, вечно живое, необходимое читателю прежнему и новому, старому и молодому».

«...он любил живую, красивую, сильную жизнь, его герои ищут справедливости, свободы, верят в высоту человеческих подвигов, исканий, в высоту духа».

Н. Тихонов.

«Это писатель замечательный, молодеющий с годами. Его будут читать многие поколения после нас, и всегда его страницы будут дышать на читателей свежестью, — такой же, как дышат сказки».

М. Шагинян.

«Когда дни начинают пылиться и краски блекнут, я беру Грина. Я открываю его на любой странице, так весной протирают окна в доме. Всё становится светлым, ярким, всё снова таинственно волнует, как в детстве. Грин — один из немногих, кого следует иметь в походной аптечке против ожирения сердца и усталости. С ним можно ехать в Арктику и на целину, идти на свидание; он поэтичен, он мужествен».

Д. Гранин.

В 1970 году в Феодосии, в доме, где Грин прожил четыре года, открылся литературный музей писателя.

На следующий год такой же музей открылся в домике Грина в Старом Крыму.

Большая экспозиция посвящена писателю в Кировском литературном музее.

Имя Грина носит одно из крупных судов, приписанных к Одесскому порту.

В Ленинграде ежегодно в конце июня, через несколько дней после окончания выпускных экзаменов, проводится праздник юности «Алые паруса».

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ГРИНА

ПРИМЕЧАНИЯ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ГРИНА

Перечень составлен в хронологическом порядке по годам публикаций произведений, внутри года — по алфавиту заглавий. В скобках указаны заглавия, под которыми эти произведения перепечатывались позднее; обратных ссылок не дано. Ко всем произведениям, кроме рассказов, в скобках указан жанр: б — басня, м — миниатюра, п — повесть, р — роман, с — стихотворение, ф — фельетон.

Всего в перечень, учитывая и найденные позже посмертные публикации, без учета публикаций с измененным заглавием, включено 467 произведений.

1906

В Италию
Заслуга рядового Пантелеева
Слон и Моська

1907

Апельсины (м)
Кирпич и музыка (Столкновение)
Любимый
Марат
На бирже (м)
На досуге
Ночь
Случай (Прусский разъезд)
Элегия (с)

1908

Бродяга (с)
Горбун
Гость
Два мужика (с)
Ерошка
Игра света (Она)
Игрушка
Капитан
Карантин
Каюков (Наказание)
Лебедь
Маленький комитет
Мат в три хода
Молодая смерть (с)
Приключение (часть рассказа «Рай»)

Рука
Телеграфист (Телеграфист из Медянского бора)
Третий этаж
Трюм и палуба
Убийца (Страшный злодей)
Человек, который плачет

1909

Барка на зеленом канале (Ловушка для крыс)
Воздушный корабль
Дача большого озера
История одного заговора (Маленький заговор)
Кошмар
Маньяк
Молчание (с)
Мотыка (с)
Ночлег (Конец одного самоубийцы; Конец)
Окно в лесу
Остров Рено
Петух (Интермедия, часть рассказа «Наследство Пик-Мика»)
По брачному объявлению
Происшествие в улице Пса
Рай
Смерть девушки (с)
Событие (Событие моряка, часть рассказа «Наследство Пик-Мика»)
Циклон (Циклон в равнине дождей)
Штурм «Четырех ветров» (Штурман «Четырех ветров»)

1910

Арвентур (часть рассказа «Наследство Пик-Мика»)
В лесу (Тайна леса)
В разливе (Бытовое явление; На реке)
В снегу
Вечер (часть рассказа «Наследство Пик-Мика»)
За рекой, в румяном свете (Заря) (с)
Имение Хонса (Море блаженства)
История одного убийства
Колония Ланфиер
Малинник Якобсона
Марионетка (Дуэль)
На острове
На склоне холмов
Находка
Пасха на пароходе
Пороховой погреб (Пришел и ушел)
Пролив бурь
Рассказ Бирка о своем приключении (Рассказ Бирка)
Река
Серебро Юга (Возвращение «Чайки»)
Смерть (Смерть Ромелинка)
Ящик с мылом

1911

Лесная драма
Лунный свет
Позорный столб
Система мнемоники Атлея
Слова

1912

Гостиница Вечерних огней
Жизнь Гнора
Заяц (Тоскливый заяц; Пассажир Пыжиков)
Зимняя сказка
Из памятной книжки сыщика
Ксения Турпанова
Летчик Киршин (Тяжелый воздух)
Лужа бородатой свиньи
Первый снег (с)
Приключения Гинча
Проходной двор
Рассказ о странной судьбе
Синий каскад Теллури
Трагедия плоскогорья Суан
Четвертый за всех

1913

Авантюра
Балкон
Всадник без головы
Глухая тревога (Глухая тропа)
Горные пастухи в Андах (Далекий путь)
Гранька и его сын

Дьявол Оранжевых Вод
Жизнеописания великих людей (Маленькие могилы)
Зурбаганский стрелок
История Таурена
Наивный Туссалето (Грозное поручение)
На склоне холмов
Новый цирк
Племя Сиург
Последние минуты Рябинина
Поцелуй смерти (с)
Придешь ты, и счастьем повеет (с)
Продавец счастья
Сладкий яд города
Табу
Таинственный лес
Тихие будни
Три похождения Эхмы
Человек с человеком
Происшествия в квартире г-жи Сериз
Русские выдающиеся люди о спорте
Совесть заговорила
Со ступеньки на ступеньку
Страдалец
Странное происшествие на маскараде
Судьба, взятая за рога
Тайны руки (сф)
Три брата
Турецкий сентимент (с)
Урбан Грац принимает гостей (Мой дом)
Черный хрусталь сипая
Что будет через 200 лет. Русские выдающиеся люди о спорте.
Эпизод из взятия форта Циклоп

1914

Без публики
В защиту немцев (с)
Военный летчик (с)
Военный узор (с)
Журналист в беде (б)
Забытое (Воспоминание на экране)
Загадка предвиденной смерти
Земля и вода
Знай наших (б)
И для меня придет весна
Испорченный аппетит (с)
Как силач Ганс Пихгольц сохранил алмазы герцога Померси (Как Ганс Пихгольц спас алмазы герцога Помер--; Покаянная рукопись)
Как силач Рыжий Джон боролся с королем
Легенда войны
Мертвые за живых
На волоске
Огненная стрела (Редкий фотографический аппарат; Предательское пятно)
Один из многих
Отрывок из Фауста (с)
Повесть, оконченная благодаря пуле
Поединок

1915

Авиатор-лунатик
Акула
Алмазы
Армянин Тинтос
Атака
Баталист Шуан
Без вести пропавший
Битва в воздухе
Блондинка
Блоха и ее тень (с)
Бой быков
Бой на штыках
Больная душа (Ночью и днем)
Борьба с пулеметом
Брат и сестра (с)
Будущие дачники (с)
Вечная пуля
Взрыв будильника
Военный узор (с)
Военная хроника (с)
Возвращенный ад
Волшебный экран
Встреча (с)
Выдумка Эпитрима
Гарем Хаки-бея
Голос и звуки (Голоса и звуки)
Два брата
Двойник Плереза

Дело с белой птицей, или Белая птица и разрушенный костел
Дикая мельница
Дон-Кихот. Гидальго поэза (с)
Друг человека
Железная птица
Желтый город
Звери о войне (сф)
Зверь Рошфора
Золотой пруд
Игра
Игрушки
Интересная фотография
Искатель приключений
Как я работаю
Капитан Дюк
Каприччио (с)
Качающаяся скала
Кинжал и маска
Князь Бюлов (с)
Король на войне (с)
Кошмарный случай
Леаль у себя дома
Летающий дож
Медведь и немец
Медвежья охота
Морской бой
Над бездной (Выступ скалы)
Наемный убийца (Игрок; Подаренная жизнь)
Наследство Пик-Мика
Непробиваемый панцирь
Ночью (м)
Опасный прыжок
Оригинальный шпион
Остров
Охота в воздухе
Охота на Марбруна
Охота на хулигана
Охотник за минами
О чем пела ласточка (с)
Письмо литератора Харитонова к дяде в Тамбов (с)
Пляска смерти
Поединок предводителей
Порыв (с)
Предсмертная записка
Происшествие с часовым
Птица Кам-бу
Путь
Пятнадцатое июля
Работа (с)
Разведчик
Ревность и шпага
Роковое место
Рука женщины
Рыцарь Мальяр
Свадьба Маши
Своего рода анкета (с)
Серьезный пленник
Сила слова
Синий волчок (Волчок)
Слово-убийца
Смерть Аламбера
Спокойная душа
Странное оружие
Страшная посылка
Страшная тайна автомобиля
Судьба первого взвода
Тайна Диего (с)
Тайна лунной ночи
Там или там
Три встречи
Три пули
Убийство в рыбной лавке
Убийство романтика
Удушливый газ
Ужасное зрение
Флюгер (с)
Хозяин из Лодзи
Черные цветы
Черный роман
Черный хутор
Чудесный провал
Эстет и щи (б)

1916

Большое счастье маленького борца
Веселая бабочка
Вокруг света
Воскресение Пьера (Пьер и Суринэ)
Высокая техника
За решетками
Захват знамени
Идиот
Как я умирал на экране
Лабиринт
Львиный удар
Невозможное — но случилось (Огонь и вода)
Непобедимый
Нечто из дневника
Отшельник Виноградного пика
Призвание
Романтическое убийство (Меблированный дом)

Сказка далекого океана (Отравленный остров)
Слепой Дей Канет
Сто верст по реке
Таинственная пластинка
Тайна дома 41
Танец
Трамвайная болезнь
Фантазеры
Черный алмаз

1917

Буржуазный дух
Возвращение (Маятник души)
Волдырь, или Добрый папа (ф)
Восстание
Враги
Враги (из коротких рассказов)
Главный виновник (Эрна)
Дайте (с)
Каждый сам миллионер
Колокола (с)
Ли
Любовница пристава
Маятник весны
Мелодия (с)
Мрак
Незамерзающий ключ (с)
Нож и карандаш (Талант)
Обезьяна (с)
Огненная вода
Оргия
Петроград осенью 1917 г. (с)
Пешком на революцию
Покой
Поэты-японцы в Петрограде (ф)
Продолжение следует
Рене
Рождение грома
Рождественский дед (с)
Роковой круг
Самоубийство
Сказка о слепой рыбе (Струя)
Создание Аспера
Торговцы
Труп-невидимка
Узник крестов (Цензурно-нецензурный анекдот)
Ученик чародея
Фантастическое провидение
Человек с дачи Дурново
Черный автомобиль
Шедевр
Эсперанто

1918

Ату его!
Борьба со смертью (Вырванное жало)
Бука-невежа
Бычки в томате (с)
Ваня рассердился на человечество
Веселый мертвец
Вперед и назад
Выдумка парикмахера
За газетой (с)
Искажения
Истерика (с)
Как я был царем
Карнавал
Клубный арап
Колосья
Лакей плюнул в кушанье
Легче стало
Не совсем уяснил (с)
Отставший взвод
Пасынкам природы (с)
Преступление Отпавшего Листа
Пустяки
Разговор
Рапсодия
Реквием (с)
Сделайте бабушку
Сила непостижимого
Скромное о великом
Старик ходит по кругу
Стороннее сообщение (Что кушал канак) (с)
Три свечи

1919

Больной волк (с)
Волшебное безобразие
Движение (с)
Истребитель
Сон (с)
Фабрика дрозда и жаворонка
Хрустальная ваза (с)

1921

Гриф
Состязание в Лиссе

1922

Белый огонь
В гостях у приятеля
Из записной книжки химика (с)
Канат
Корабли в Лиссе (Бит-Бой, приносящий счастье)
Монте-Кристо
Нежный роман
Новогодний праздник отца и маленькой дочери
Сарынь на кичку
Тифозный пунктир

1923

Алые паруса (п)
Блистающий мир (р)
Бунт на корабле «Альцест»
Гениальный игрок
Гладиаторы
Голос и глаз
Ива
Как бы там ни было
Лошадиная голова
Приказ по армии
Пропавшее солнце
Путешественник Уы-Фью-Эой
Русалки воздуха
Сердце пустыни
Словоохотливый домовой
Убийство в Кунст-Фише

1924

Безногий
Белый шар
Бродяга и начальник тюрьмы
Веселый попутчик
Гатт, Витт и Редотт
Голос сирены
Заколоченный дом
Крысолов
На облачном берегу
Обезьяна Сопун (Обезьяна)
По закону
Случайный доход

1925

Золотая цепь (р)
Золото и шахтеры
Победитель
Серый автомобиль
Сокровище африканских гор (р)
Четырнадцать футов
Шесть спичек

1928

Автобиография
Брак Августа Эсборна
Змея
Личный прием
Нянька Гленау
Чужая вина

1927

Вокруг центральных озер (п)
Два обещания
Легенда о Фергюсоне
Один день
Слабость Даниэля Хортона
Странный вечер
Фанданго
Четыре гинеи

1928

Акварель
Бегущая по волнам (р)
Социальный рефлекс
Элда и Анготея

1929

Ветка омелы
Вор в лесу
Гнев отца
Джесси и Моргиана (р)
Измена
Открыватель замков

1930

Бочка пресной воды
Дорога никуда (р)
Зеленая лампа
История одного ястреба
Молчание
Урал (Глава из «Автобиографической повести»)

1931

Баку, Бегство в Америку, Одесса, Севастополь (Главы из «Автобиографической повести»)

1932

Автобиографическая повесть

1933

Бархатная портьера
Комендант порта
Пари
Тюремная старина

1935

История Дегжа (отрывок из неоконченного романа «Недотрога»)

1936

Недотрога (отрывок из неоконченного романа «Недотрога»)

1960

Встречи и заключения (Встречи и приключения)

Пахучий кустарник
Посидели на берегу
Размышления над «Алыми парусами» (Сочинительство всегда было внешней моей профессией)

1961

Ранчо «Каменный столб»

1962

Я знаю его всю жизнь

1967

Ответ на анкету (Для книги Н. Ашукина «Писатель и книга»)

1968

Единственный друг (с)

1970

Репетиция
Таинственный круг (Отрывок из неоконченного романа «Таинственный круг»)

Составил Ю. Киркин

ПРИМЕЧАНИЯ

Эта книга — первый опыт издания сборника воспоминаний об А. С. Грине.

К сожалению, ни один период жизни Грина не освещен в мемуарной литературе с достаточной полнотой, а по некоторым (как, например: детские годы, период скитания по России) мемуары вообще не существуют и вряд ли когда-нибудь появятся. Здесь единственный источник наших знаний о Грине — «Автобиографическая повесть» и немногочисленные документы из архивов.

Основным критерием для включения мемуаров в настоящий сборник была достоверность. В него не вошли воспоминания, достоверность которых под сомнением.

В книгу включено полностью или в отрывках четырнадцать воспоминаний. Печатаются они в основном по рукописям. Подавляющая часть воспоминаний публикуется впервые.

Примечания носят преимущественно справочно-уточняющий характер.

Принятые сокращения:

ВАГ — «Вокруг Александра Грина»;

СС — Собрание сочинений А. С. Грина в шести томах. М., «Правда», 1965 (далее указывается том, например: СС, т. 4).

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Впервые напечатана отдельной книгой «Издательством писателей в Ленинграде» в 1932 году.

Печатается по этому изданию.

В середине двадцатых годов А. С. Грин написал несколько автобиографических рассказов: «Случайный доход», «Золото и шахтеры», «По закону», «Смертельный декофт» (пока не найден), но вряд ли можно считать, что уже в то время писатель задумал «Автобиографическую повесть».

К работе над книгой Грин приступил в начале 1930 года. Первоначально, в рукописи, он озаглавил ее «На суше и на море»,

дав подзаголовок «Автобиографические очерки А. С. Грина». Есть сведения, что он хотел назвать повесть, по одному источнику, «Книга о себе», по другому — «Легенда о себе», так как считал, что о нем столько рассказывали небылиц, что его подлинная жизнь будет воспринята как легенда, выдумка. Современное название, по утверждению Н. Н. Грин, дало «Издательство писателей в Ленинграде».

Работая над повестью, Грин вспомнил легенды о себе, рассказанные ему, и решил написать к повести предисловие под названием «Легенда о Грине». Рукопись предисловия он отправил критику Ц. Вольпе, но она так и не увидела свет. (Ц. Вольпе погиб во время войны. В конце пятидесятых годов архив его — сундук с рукописями — был отдан неизвестной женщине. Местонахождение архива пока не установлено.) В статью Ц. Вольпе о Грине («Об авантюрно-психологических новеллах А. Грина») включен небольшой отрывок из предисловия. Приводим его полностью:

«С 1906 по 1930 год я услышал от собратьев по перу столько удивительных сообщений о мне самом, что начал сомневаться — действительно ли я жил так, как у меня здесь написано. Судите сами, есть ли основания назвать этот рассказ «Легендой о Грине»?

Я буду перечислять слышанное так, как если бы говорил от себя.

Плавая матросом где-то около Зурбагана, Лисса и Сан-Риоля, Грин убил английского капитана, захватив ящик рукописей, написанных этим англичанином. «Человек с планом», по удачному выражению Петра Пильского, — Грин притворяется, что не знает языков, он хорошо знает их.

...Грин не ограничился одной жертвой. Убив капитана, он убил свою первую жену и бежал с каторги, куда был сослан на 12 лет».

Бегство в Америку. Впервые в журнале «Звезда», 1931, № 2, с подзаголовком «Автобиографическая повесть».

[1] *Копф, гунд, эзель, элефант* — голова, собака, осел, слон *(нем.)*.

[2] *Рекреационная комната* — комната для отдыха и игр учащихся во время перемены.

[3] См. ВАГ, стр. 414.

[4] Стихотворение А. С. Пушкина называется «Собрание насекомых».

[5] См. ВАГ, стр. 414.

[6] См. ВАГ, стр. 418.

Охотник и матрос. Впервые в журнале «Звезда», 1931, № 2.

[1] *Пеммикан* — измельченное в порошок и высушенное на солнце мясо — пища североамериканских индейцев.

[2] См. воспоминания В. П. Калицкой и ВАГ, стр. 471—487.

[3] *Лотерея-аллегри* — лотерея с немедленным розыгрышем; название произошло от итальянского allegri — «будьте веселы» — шутливой надписи на билетах лотереи.

[4] Петров Дмитрий Константинович.

[5] См. ВАГ, стр. 420.

Одесса. Впервые в журнале «Звезда», 1931, № 3.

[1] При наборе «Автобиографической повести» в журнале, по-видимому, потерялась страница. Это вовремя не было замечено.

С журнального варианта была затем отпечатана книга, и ошибка путешествует из издания в издание.

К сожалению, рукопись главы «Одесса» не сохранилась полностью, а имеющиеся в распоряжении составителя несколько листочков по тексту не идентичны журнальному варианту. Тем не менее приведу два отрывка в подтверждение своей гипотезы. Рукопись, стр. 66:

«<…> Через три дня и три ночи пароход утром пришел в Казань. Здесь было так много барж, пароходов, пристаней, лавок и нефтяных цистерн, что я, сдав свой багаж на хранение в чайную, немедленно отправился смотреть жизнь и людей. Разгуливая по набережной, я встретил компанию парней, которые, загородив дорогу, стали звать меня идти с ними в трактир и нагло уверяли, что я с ними знаком. Но у мошенников ничего не вышло, так как нетрудно было сообразить, что это за птицы. Отделавшись от них, я попробовал удить рыбу в грязной речке, текущей близко от пристани, для чего купил удилище и крючок, но не поймал ни одной штуки, а затем отправился на конке в город. Побродив без цели по улицам, я вернулся на пристань...»

Затем сразу следует стр. 67 об.:

«...Смотреть выставку за два часа до отъезда было дикой затеей, однако я огорчился и, совершив по городу круг в трамваях, опять попал на вокзал...»

Далее идет рассказ, как Саша Гриневский в первый раз увидел поезд.

По-видимому, дело было все-таки так: приехав в Казань, Грин отправился на конке в город, вернулся на пристань, сел на пароход компании «Кавказ и Меркурий», доехал до Нижнего Новгорода, хотел посмотреть здесь какую-то выставку, сделал на трамваях круг по городу и поехал на вокзал.

[2] В. П. Калицкая пишет в воспоминаниях (эта часть воспоминаний не вошла в настоящий сборник): «На семейном совете решили послать Александра в Одессу. Там были мореходные классы, а кроме того, там же, в порту, служил знакомый Степана Евсеевича (отец А. С. Грина. — *В. С.*). Фамилии его Александр Степанович не помнил. Отец дал Саше двадцать пять рублей и письмо к этому знакомому с просьбой оказать сыну возможную помощь».

[3] В воспоминаниях Калицкой читаем: «Когда он (т. е. Грин. — *В. С.*) прибыл в Одессу, прием в Мореходные классы был уже закончен, мальчика не приняли».

[4] В. П. Калицкая сообщает: «Знакомый Степана Евсеевича принял Сашу ласково, * сказал, что в случае нужды мальчик может обратиться к нему за помощью, но, пока оставались кое-какие деньги, Саша не обращался к своему покровителю. Но вот деньги кончились. Волнуясь, Александр Степанович рассказывал: «Представь себе: город чужой, ни еды, ни ночлега, ни копейки денег. Я чувствовал себя мучительно одиноким, беззащитным, гибнущим. Шел среди складов и амбаров в порту. Спрятался за углом одного из них и горько плакал. Потом решил пойти к знакомому отца; шел и боялся: а вдруг не примет».

Но приятель отца спас Сашу: накормил, отправил ночевать в здание береговой команды и определил учеником на пароход «Платон», совершавший рейс по Крымско-Кавказской линии. Как ни тяжела была для слабогрудого подростка работа юнги, он был

всё-таки обеспечен едой и кровом. Хотя имени своего спасителя А, С. не помнил, но вспоминал о нем всегда с большой благодарностью».

[5] У Грина стоит имя «Василий», но это, очевидно, описка, так как речь, несомненно, идет о Николае Ивановиче Хохлове.

[6] В автобиографическом рассказе «Случайный доход» Грин излагает эту историю несколько иначе: «Самый старый житель карантинного бордингауза Р. О. П. и Т., некий прямой как палка хрыч лет шестидесяти — Иван Касьяныч (звали его просто Кастратыч), рассказывал об английских «фунтах». Если ему верить (а я верил безусловно всему, что хоть отчасти напоминало роман), то в парке по сию пору стоит дерево, к вершине которого привязан мешок с золотом. Оно шло почтой из Адена в Одессу. Почтальон был мрачен и пьян, товарищ его — лукав и жаден. Лукавый подбил мрачного вскрыть мешок и слимонить оттуда двести фунтов. После этого мрачный пошел покаялся и был посажен в тюрьму, а лукавый повесил краденое на дерево в парке, но не успел им воспользоваться, так как хотя и скрылся, но умер от холеры. Довольно сказать, что мои поиски этого клада окончились фарсом: заметив вечером что-то белое на вершине одного тополя, я отважно влез и увидел запутавшийся бумажный змей».

[7] В автобиографическом рассказе «Золото и шахтеры» Грин так передает свое посещение Александрии:

«Когда еще юношей я попал в Александрию (Египетскую), служа матросом на одном из пароходов Русского общества, мне, как бессмертному Тартарену Доде, представилось, что Сахара и львы совсем близко — стоит пройти за город.

Одолев несколько пыльных, широких, жарких, как пекло, улиц, я выбрался к канаве с мутной водой. Через нее не было мостика. За ней тянулись плантации и огороды. Я видел дороги, колодцы, пальмы, но пустыни тут не было.

Я посидел близ канавы, вдыхая запах гнилой воды, а затем отправился обратно на пароход. Там я рассказал, что в меня выстрелил бедуин, но промахнулся. Подумав немного, я прибавил, что у дверей одной арабской лавки стояли в кувшине розы, что я хотел одну из них купить, но красавица арабка, выйдя из лавки, подарила мне этот цветок и сказала „селям алейкюм"».

Баку. Впервые в журнале «Звезда», 1931, № 4.

[1] Первоначально Грин начал главу «Баку» иначе. Приводим отрывок из рукописи: «Мало кто знает, как я провел свою молодость, а между тем она была не легкой. Я был матросом, грузчиком, актером, переписывал роли для театра, работал на золотых приисках, на доменном заводе, на торфяных болотах, на рыбных промыслах; был дровосеком, босяком, писцом в канцелярии, охотником, революционером, ссыльным, матросом на барже, солдатом, землекопом...»

[2] У Грина стоит 1901 год. Это, по-видимому, описка, так как он в это время был уже в Вятке. О суханском пожаре см. в конце настоящей главы.

[3] В. П. Калицкая со слов Грина рассказывает: «Однажды поймали такую огромную белугу (шестьдесят пудов весом), что она не умещалась в лодке: хвост торчал наружу. Продавать ее запретили, так как в желудке нашли останки человека».

Урал. Впервые (в сокращенном виде) в журнале «Всемирный следопыт», 1930, № 12.

[1] Отчество Петрова было Константинович.

[2] Между главами «Урал» и «Севастополь» существует промежуток (время повествования) в три года. См. об этих годах в ВАГ, стр. 425—436.

Севастополь. Впервые в журнале «Звезда», 1931, № 9.

[1] В. Т. Голиков,

[2] Ф. И. Рейхбаум.

[3] Е. А. Бибергаль.

[4] С. И. Мельников.

[5] Севастопольский адрес Грина и показания квартирной хозяйки см. в ВАГ, стр. 436—438.

[6] По тому, какую роль в революционной агитации отводит Грин Палицыну (фамилия вымышленная), можно подумать, что он подразумевает Григория Федоровича Чеботарева (см. ВАГ, стр. 439 и далее), однако из описанной далее сцены ареста на Графской пристани Палицына можно принять за Кириенко или Кривоноса (см. ВАГ, стр. 441 и далее).

[7] Программа РСДРП, принятая на 11 съезде партии (1903 г.), не содержит никаких указаний о терроре, но В. И. Ленин, неоднократно и решительно выступая против индивидуального террора, признавал возможность революционного террора как одного из «военных действий, которое может быть вполне пригодно и даже необходимо в известный момент сражения при известном состоянии войска и при известных условиях» (В. И Ленин. Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 7).

[8] По данным охранки — Пятнов И. В.

[9] Имя брата — Виктор.

[10] Фамилия этого приятеля Синегуб.

[11] См. ВАГ, стр. 437—438.

[12] См. ВАГ, стр. 443—444.

[13] 24 октября. См. ВАГ, стр. 453.

[14] Корпус севастопольской тюрьмы трехэтажный.

[15] В камеру третьего этажа.

[16] По документам, Грин подлинную свою фамилию назвал только 25 декабря 1903 года. До этого он числился А. С. Григорьевым.

[17] Характеристику Грину, данную товарищем прокурора Симферопольского окружного суда, см. ВАГ, стр. 447.

[18] Евг. Синегуб. Из записок невольного туриста. «Русское богатство», 1910, № 9—12.

[19] В журнале глава начиналась иначе: «Как описать все встречи, все эпизоды, когда редактор отвел автору только печатный лист».

[20] Бибергаль выслали из Севастополя за два дня до побега Грина, 15 декабря 1903 года.

[21] По-видимому, здесь описка: фельдшером в севастопольской тюрьме был И. Кучеров.

[22] Прошения Грина см. в ВАГ, стр. 447, 448.

[23] К. Фельдман не сидел в севастопольской тюрьме. Он бежал с гауптвахты, и совсем иначе, нежели описывает Грин.

[24] Суд состоялся 22 февраля 1905 года.

[25] Грин был приговорен к десяти годам ссылки.

[26] По документам, в Феодосии состоялся суд над тремя лицами: Канторовичем, Чеботаревым и Гриневским.
[27] См. ВАГ, стр. 449—450..
[28] См. ВАГ, стр. 450.
[29] См. прим. 13 к настоящей главе.
[30] См. ВАГ, стр. 451.

В. КАЛИЦКАЯ. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ.

Вера Павловна Калицкая (до замужества Абрамова; 1882—1951) — первая жена А. С. Грина. Окончила Литейную гимназию в Петербурге с золотой медалью, а затем и физико-математическое отделение Высших женских (Бестужевских) курсов. В 1904—1907 годах преподавала в Смоленских классах для рабочих Технического общества, в Никольском женском училище и в гимназии Песковой. Работала в Геологическом комитете. Уехала с Грином в ссылку. Возвратившись из Архангельска в Петербург, стала постоянным сотрудником, а затем и членом редакции журнала «Что и как читать детям». В 1914 году вновь поступила в лабораторию Геологического комитета, где проработала до 1922 года. В дальнейшем В. П. Калицкая, с небольшими перерывами, постоянно работала во Всесоюзном нефтяном научно-исследовательском геолого-разведочном институте.

В. Калицкая — автор рассказов для детей и статей о детской литературе, а также нескольких книг, в частности книги о своем втором муже, видном геологе К. П. Калицком.

В. Калицкая работала над воспоминаниями о Грине (судя по косвенным данным) в конце сороковых годов. Существует (в частных собраниях) несколько экземпляров воспоминаний, которые, к сожалению, пока не удалось сверить между собой. В настоящем сборнике воспоминания В. П. Калицкой печатаются в сокращении по рукописи, хранящейся у составителя.

[1] Тенденция искать в каждом из произведений Грина черты его сложного образа в значительной мере исказила воспоминания В. Калицкой.
[2] Персонажи произведений Грина (последовательно): «Приключения Гинча», «Наследство Пик-Мика» и романа «Дорога никуда».
[3] В. Калицкая писала воспоминания в те годы, когда Грина мало издавали. С тех пор прошло почти четверть века, книги Грина переизданы большими тиражами, и потому нет необходимости в развернутых цитатах из произведений писателя. Они сокращены либо убраны совсем и оставлены лишь в тех случаях, где это необходимо.
[4] Родители Грина, поженившись в 1872 году, долго не имели детей и взяли на воспитание подкидыша Наташу. Н. С. Гриневская много лет жила в Петербурге. Была акушеркой.
[5] См. ВАГ, стр. 454.
[6] О дне отправки эшелона см. ВАГ, стр. 454.
[7] В. Калицкая жила на Фурштадтской, 33 (ныне ул. Петра Лаврова).
[8] См. ВАГ, стр. 455—456.
[9] См. ВАГ, стр. 456—457.
[10] См. ВАГ, стр. 457—459.
[11] Имя, отчество и фамилию подруги В. Калицкой установить не удалось.

12 Абрамов П. Е. — чиновник Государственного контроля.

13 Грин и Калицкая поселились в доме № 44.

14 Текст посвящения: «Единственному моему другу — Вере — посвящаю эту книжку и все последующие. А. С. Грин. 11-е апреля 1915 года».

15 В. Калицкая имеет в виду первый легально вышедший рассказ. Наборщик ошибся в названии и набрал «В Италии».

16 См. прим. 2 к воспоминаниям Э. Арнольди.

17 Если В. Калицкая точно передает слова Грина, то это несомненно была минутная, случайная оценка, оценка по настроению. Из воспоминаний Н. Н. Грин и высказываний самого писателя известно, как высоко ценил он Чехова.

18 Это можно принять лишь как предположение.

19 Журнал «Мир божий» в 1906 году стал выходить под новым названием — «Современный мир».

20 Высота Эйфелевой башни триста метров.

21 Рассказ был напечатан только в 1921 году.

22 Сравните в воспоминаниях М. Слонимского, стр. 267.

23 См. ВАГ, стр. 467.

24 Подлинную фамилию полковника выяснить не удалось.

25 См. ВАГ, стр. 471.

26 См. ВАГ, стр. 471.

27 Грина первоначально предполагалось отправить в Мезень. См. ВАГ, стр. 472.

28 Грина выпустили из тюрьмы 7 ноября 1910 года.

29 См. ВАГ, стр. 479—480.

30 Гриневские прибыли в Пинегу на четвертый день (12 ноября).

31 Издание называлось «Всеобщий журнал литературы». Рассказ Грина «Позорный столб» был напечатан в 1911 году, в № 7—8.

32 Мария Владиславовна Долидзе.

33 «Красный милиционер».

34 См. ВАГ, стр. 515—516.

35 В то время Петроград и прилегающие к нему районы назывались Петроградским укрепленным районом.

36 Вот это стихотворение:

За рекой в румяном свете
Разгорается костер.
В красном бархатном колете
Рыцарь едет из-за гор.

Ржет пугливо конь багряный,
Алым заревом облит.
Тихо едет рыцарь рдяный,
Подымая красный щит.

И заря лицом блестящим
Спорит — алостью луча —
С молчаливым и разящим
Острием его меча.

Но плаща изгибом черным,
Заметая белый день,
Стелет он крылом узорным
Набегающую тень.

Виктор ШКЛОВСКИЙ. ЛЕДОХОД.

Шкловский Виктор Борисович (род. в 1893 г.) — прозаик, литературовед, сценарист. Воспоминания о Грине написаны специально для настоящего сборника. Впервые напечатаны в журнале «Кодры», 1971, № 11. Печатаются по рукописи.

[1] См. «Автобиографическая повесть», стр. 134.

Ник. ВЕРЖБИЦКИЙ. СВЕТЛАЯ ДУША.

Вержбицкий Николай Константинович (род. в 1889 г.) — писатель, журналист, автор книг «Записки старого журналиста», «Встречи с А. И. Куприным», «Встреча с Есениным». Воспоминания о Грине написаны специально для настоящего сборника. Печатаются но рукописи. Отрывок из воспоминаний был впервые напечатан в журнале «Наш современник», 1964, № 8.

[1] Н. Вержбицкий имеет в виду день рождения Куприна по новому стилю (7 сентября), в то время как в 1913 году это было 26 августа.

[2] Возможно, у Н. Вержбицкого смешались в памяти два факта: день рождения Куприна и пребывание А. С. Грина в лечебнице доктора Трошина (см. ВАГ, стр. 489).

[3] К сожалению, здесь Н. Вержбицкий повторяет ошибку В. Калицкой: он ставит знак равенства между Грином и его героем Галиеном Марком из рассказа «Возвращенный ад».

[4] С этим рассуждением Н. Вержбицкого согласиться невозможно. Грин, напротив, стремился ворваться в орбиту действительности со своим нравственным миром, чтобы утвердить его, «навязать» его читателям.

[5] Несомненно, весь этот эпизод выдуман Грином. Быть может, он писал в то время рассказ «Голоса и звуки», сюжетно очень напоминающий рассказанную историю, и хотел на слушателе «проверить» органичность своей выдумки.

[6] В газете «Честное слово» Грин напечатал рассказы «Вперед и назад», «Выдумка парикмахера» и маленькую заметку «Колосья».

[7] О таком случае во время службы Грина в торговом флоте ничего не известно.

Л. ЛЕСНАЯ. АЛЕКСАНДР ГРИН В «НОВОМ САТИРИКОНЕ».

Лесная-Шперлинг Лидия Валентиновна (род. в 1889 г.) — журналистка, поэтесса, актриса театра кукол. Воспоминания написаны специально для настоящего сборника. Печатаются по рукописи.

[1] «Вена» — ресторан, в котором был специальный писательский зал. С начала войны официально именовался рестораном Соколова.

Всеволод РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. В ДОМЕ ИСКУССТВ.

Рождественский Всеволод Александрович (род. в 1895 г.) — поэт и переводчик. Впервые воспоминания о Грине были напеча-

таны в книге воспоминаний «Страницы жизни». Для настоящего сборника Вс. Рождественский их значительно расширил. Печатаются по рукописи.

[1] «Журнал для всех» был закрыт в 1906 году. После него В. С. Миролюбов редактировал журналы: «Трудовой путь», «Заветы», «Ежемесячный журнал».

Мих. СЛОНИМСКИЙ. АЛЕКСАНДР ГРИН РЕАЛЬНЫЙ И ФАНТАСТИЧЕСКИЙ.

Слонимский Михаил Леонидович (род. в 1897 г.) — прозаик. Воспоминания о Грине впервые напечатаны в журнале «Звезда», 1939, № 4. В сокращенном и переработанном виде вошли в «Книгу воспоминаний». Печатаются по «Книге воспоминаний».

[1] Вероятнее всего, речь идет о рукописи неоконченного романа Грина «Таинственный круг» (роман о Нансене).

[2] Роман о Ливингстоне и Стенли «Сокровище африканских гор» вышел в 1925 году.

[3] Роман «Бегущая по волнам», по не зависящим от Грина обстоятельствам, вышел только два года спустя в другом издательстве, без посвящения Н. Н. Грин.

[4] Рукопись пьесы не обнаружена. Неизвестно даже ее название.

[5] Рассказ пока не найден.

Леонид БОРИСОВ. АЛЕКСАНДР ГРИН.

Борисов Леонид Ильич (род. в 1897 г.) — прозаик, автор многочисленных рассказов, повестей и романов из жизни замечательных людей. Воспоминания о Грине впервые были напечатаны в журнале «Литературный современник», 1939, № 7—8. Печатаются по книге «Незакатное солнце». Л., ГИХЛ, 1940.

[1] Рассказ Грина, в котором герой «шел лесом и пел», неизвестен.

[2] Случай такой с Грином действительно был. Только произошел он в конце двадцатых годов, и не в Петрограде, а в Москве.

[3] Воспоминания Л. Борисова были впервые напечатаны в 1939 году.

Э. АРНОЛЬДИ. «БЕЛЛЕТРИСТ ГРИН...»

Арнольди Эдгар Михайлович (род. в 1898 г.), в двадцатых годах — журналист, корреспондент центральных газет в Ленинграде. С тридцатых годов работает в кино как историк и сценарист. Автор книг «Комическое в кино», «История кино», «Жизнь и сказки Уолта Диснея» и других.

Воспоминания о Грине написаны специально для настоящего сборника. Сокращенный вариант был напечатан в журнале «Звезда», 1963, № 12. Печатаются по рукописи.

[1] «Вечерняя Красная газета» не выходила по понедельникам.
[2] Грин Анна Катарина (1846—?) — английская и итальянская писательница (писала книги на двух языках).
[3] В 1922 году у Грина вышла только маленькая книжка «Белый огонь».
[4] Первый номер журнала «Красная нива» вышел 7 января 1923 года.
[5] Собрание сочинений Грина в трех томах вышло в 1913—1914 годах в издательстве «Прометей».
[6] В газете «Чертова перечница» Грин напечатал в 1918 году несколько рассказов и стихотворений.
[7] В «Новом сатириконе».

Вл. ЛИДИН. ОСТРОВ ТРИГОЛОТИД.

Лидин Владимир Германович (род. в 1894 г.) — прозаик. Впервые воспоминания о Грине были напечатаны в журнале «Москва», 1963, № 10. Печатаются по рукописи.

[1] Книга «Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков» вышла в 1926 году.
[2] Грин окончил четырехклассное городское училище.
[3] Сравните: «Автобиографическая повесть», стр. 23.
[4] Грин сделал только два рейса малого каботажа по Черному морю и один рейс в Александрию (описал его в рассказе «Пасха на пароходе»).
[5] См. прим. 15 к воспоминаниям В. Калицкой.
[6] К этому времени (1925 г.) Грин опубликовал более четырехсот произведений.

Константин ПАУСТОВСКИЙ. ОДНА ВСТРЕЧА.

Паустовский Константин Георгиевич (1892—1968) — прозаик. Воспоминания о единственной встрече с Грином впервые напечатаны в журнале «Новый мир», 1963, № 10 («Книга скитаний», глава «Проводы учебного корабля»). Печатается по пятому тому Собрания сочинений К. Паустовского. М., ИХЛ, 1968. Название дано составителем.

[1] В 1924 году Грин только что переехал в Феодосию. Прожил там немногим более месяца и двинулся в Москву добывать деньги. См. воспоминания Н. Н. Грин, стр. 347.
[2] В 1924 году Грин не нуждался в деньгах. Стрелять из лука перепелов для пропитания ему не приходилось. Ср. восп. Н. Н. Грин.

Лев ГУМИЛЕВСКИЙ. ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ.

Гумилевский Лев Иванович (род. в 1890 г.) — прозаик, автор многих романов и повестей, а также книг из серии ЖЗЛ («Рудольф Дизель», «Вернадский» и др.). Воспоминания о Грине написаны специально для настоящего сборника. Печатаются по рукописи.

[1] Издательство Богельмана помещалось на 7-й Рождественской (ныне 7-я Советская), 30.
[2] Редактором богельмановских журнальчиков был Иван Заяц.

[3] Более всего рассказов (свыше ста) Грин напечатал в богельмановских журнальчиках.
[4] Подробнее см. об этом в статье О. Вороновой «Еще одно переиздание...». «Дон», 1962, № 11, стр. 182.
[5] Л. Гумилевский, не называя авторов, цитирует здесь главу «Автор Гаврилиады» из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев».
[6] Книжка «Капитан Дюк» вышла в 1925 году.
[7] Рассказ «Капитан Дюк» был написан и напечатан Грином в 1915 году.

Ю. ОЛЕША. ПИСАТЕЛЬ-УНИК.

Олеша Юрий Карлович (1899—1960) — прозаик и драматург. Ю. Олеша не написал воспоминаний о Грине. Здесь объединены несколько отрывков, взятых из книги «Ни дня без строчки»; впервые некоторые из них были опубликованы во втором сборнике «Литературная Москва». М., ГИХЛ, 1956. Название дано составителем.

[1] Не исключено, что весь этот эпизод — выдумка.
[2] Ю. Олеша не точно излагает рассказ Грина «Вокруг света». См. этот рассказ в СС, т. 4.
[3] Ю. Олеша не точно излагает рассказ Грина «Пропавшее солнце». См. рассказ в СС, т. 4.
[4] Быть может, Грин назвал имя А. Горнфельда. Во всяком случае, статья Ю. Айхенвальда о Грине пока не найдена.
[5] Роман «Блистающий мир» был напечатан в журнале «Красная нива» в 1923 году.
[6] У башенных часов.
[7] Ю. Олеша свободно излагает рассказ Грина «Огонь и вода». См. рассказ в СС, т. 4.
[8] Ничего подобного в комнате Грина не было. Н. Н. Грин в воспоминаниях говорит, что эта выдумка прекрасна потому, что она могла быть в действительности.

О. *ВОРОНОВА.* РАССКАЗ ГЕОРГИЯ ШЕНГЕЛИ.

Воронова Ольга Порфирьевна (род. в 1924 г.) — журналистка, автор многочисленных искусствоведческих статей и книги «Шадр» (вышла в ЖЗЛ). Беседа с Г. Шенгели печатается по рукописи.

[1] См. прим. 1, 2 и 3 к воспоминаниям Л. Гумилевского.

Н. Н. ГРИН. ИЗ ЗАПИСОК ОБ А. С. ГРИНЕ.

Грин Нина Николаевна (Миронова) (1894—1970) — вторая жена А. С. Грина. Училась на Высших женских (Бестужевских) курсах. В годы гражданской войны окончила курсы сестер милосердия. После смерти А. С. Грина работала медсестрой и фельдшерицей в разных больницах. Воспоминания о Грине (основной текст) были написаны в конце сороковых годов. В дальнейшем Н. Н. Грин не

однажды возвращалась к воспоминаниям, расширяла их. Некоторые эпизоды имеют несколько редакций. Воспоминания печатаются по рукописи в сокращении.

В настоящих воспоминаниях Н. Н. Грин пишет, что познакомилась с А. С. Грином в 1918 году в газете «Петербургское эхо». У литературоведа И. Сукиасовой (Тбилиси) хранится написанный рукой Нины Николаевны рассказ «Знакомство с А. С. Грином». Здесь говорится, что они впервые встретились и познакомились в 1917 году в газете «Биржевой курьер». Проверить, какая из двух версий правильна, к сожалению, пока не удалось.

[1] Отдельного издания романа А. Виванти «Поглотители» («Пожиратели») найти не удалось. Роман был напечатан в журнале «Вестник иностранной литературы». Быть может, Грину попалась книга, сброшюрованная из журнальных отрывков.

[2] В. Калицкая говорит о Пскове. Проверить, кто прав, не удалось.

[3] Н. Н. Грин излагает историю болезни Грина не совсем точно. См. воспоминания В. Калицкой, стр. 196—197.

[4] Центральный комитет по улучшению быта ученых был организован в 1919 году.

[5] Вероятнее всего, всё описанное здесь было до болезни Грина, так как после выздоровления, по ходатайству М. Горького, он сразу же был направлен в общежитие Дома искусств.

[6] З. Гржебин никакого отношения к издательству «Земля и фабрика» не имел. У него было свое издательство.

[7] М. Горький редактировал роман Грина «Таинственный круг» (сохранилась рукопись романа с правкой Горького). Редактировал ли он «Сокровище африканских гор» — неизвестно.

[8] Повесть «Вокруг центральных озер» (сокращенный вариант романа «Сокровище африканских гор») вышла в 1927 году.

[9] Кроме названных Н. Н. Грин в этом же коридоре жил Н. Тихонов.

[10] Повесть была напечатана в журнале «Нива» в 1913 году.

[11] См. воспоминания Э. Арнольди, стр. 297 и далее.

[12] Фильм вышел на экраны в 1923 году. Он назывался «Поединок» (анонсировался: «Последняя ставка мистера Энниока»). Лента не сохранилась.

[13] Заметка, очевидно, напечатана не была. Найти ее не удалось.

[14] Роман «Блистающий мир» печатался в «Красной ниве» летом 1923 года, № 20—30.

[15] См. ВАГ, стр. 444 и далее.

[16] Вопрос об издательстве «Мысль» достаточно сложен. В какой-то мере сам автор был виноват в запутывании дела.

[17] Если эпизод, рассказанный Н. Н. Грин, верен, то он никак не мог быть в 1923 году, ибо еще в 1922 году рассказ «Корабли в Лиссе» был напечатан в книге Грина «Белый огонь».

[18] Может быть, Н. Н. Грин имеет в виду Василия Регинина, который был редактором «Аргуса».

[19] Рассказ «Ива» был опубликован в 1923 году в декабрьском номере журнала «Петроград».

[20] Сборник «На облачном берегу» вышел в 1925 году.

[21] Известен лишь один рассказ «Случайный доход», опубликованный в газете «На вахте».

[22] Студенцов Н. П. — врач, пользовавший многих петербургских писателен. Бумаги Грина так и не поступили обратно к владельцу.

[23] По ассоциации со сказкой Киплинга «Кошка, которая ходит сама по себе».

[24] См. об этом в воспоминаниях Г. Шенгели, записанных О. Вороновой.

[25] Авторы Г. Картер и А. Мейс.

[26] Такого издания на русском языке не было. Быть может, Н. Н. Грин имеет в виду издательство «Скорпион».

[27] Пока не установлено точно, когда именно Грин был выслан из Петрограда, но, вероятнее всего, не ранее конца октября 1916 года.

[28] В журнале «Новый мир» (1925 г.) был напечатан роман «Золотая цепь».

[29] Впервые роман «Блистающий мир» полностью напечатан в СС, т. 3.

[30] Это несомненно произошло во время авиационной недели в Петербурге. См. воспоминания В. Калицкой, стр. 171 и далее.

[31] Книга Д. П. Шепеленко «Прозрение» вышла в двадцатые годы дважды, в Тифлисе и в Москве.

[32] Глава «Баку» (в сокращении) была напечатана в журнале «Всемирный следопыт», 1930, № 12.

[33] Известны семь ответов Грина на анкеты журналов и издательств.

[34] Мария Владиславовна — Долидзе. См. воспоминания В. Калицкой, стр. 195 и ВАГ, стр. 515.

[35] Мария Сергеевна — Алонкина. См. ВАГ, стр. 520 и далее.

[36] О псевдонимах А. С. Грина см. в статье Вл. Сандлера «Шел по земле мечтатель», в сб. Грина «Джесси и Моргиана». Лениздат, 1966, стр. 6.

[37] В 1912 году издание пятитомного Собрания сочинений Эдгара По было завершено. Выходило с 1901 года.

[38] В современных переводах — «Аннабель Ли».

[39] Грин получил предложение участвовать в коллективном романе в конце 1926 года.

[40] Роман «Большие пожары» открывался главой А. С. Грина «Странный вечер», «Огонек», 1927, № 1.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

СОДЕРЖАНИЕ

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ ГРИНЕ

Редактор Н. А. Чечулина
Художник Б. А. Комаров
Художник-редактор О. И. Маслаков
Технический редактор Г. В. Преснова
Корректор И. Е. Блиндер

Сдано в набор 28/IX 1971 г.
Подписано к печати 29/VI 1972 г.
Формат бумаги 84X108 1/32
Бумага тип. № 1
Усл. печ. л. 31,92. Уч.-изд. л. 33,08 + вкл.
Тираж 100 000. М-51238
Заказ № 272

Лениздат, Ленинград, Фонтанка, 59
Ордена Трудового Красного Знамени
типография им. Володарского
Лениздата, Фонтанка, 57
Цена 1 р. 35 к.